

# КОНТИНЕНТ

1998

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNETT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 95



...Что такое иудеохристианство? Существует ли вообще такое явление или это миф? Я всю жизнь вокруг этой темы и думал, и действовал...

*Свящ. Александр Мень*



Те, кто говорили,  
что Бога нет,  
ставят теперь свечи,  
заказывают молитвы,  
остерегаются  
иноверных.

*Ольга Седакова*



Пастернак не был арестован и сослан, всемирная известность спасла его от этого, но травля стала непосредственной причиной его смертельной болезни.

*Евгении и Елена*

*Пастернаки,*

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ.

*Стихи:*

Ефима Бершина. Евгения Блажеевского. Виталия Дмитриева

*Повести и рассказы:*

Анатолия Бахтырева. Юрия Бердана. Владимира Илюшенко. Бориса Козлова. Владимира Сутырина. Се-  
рафима Четверухина

*Статьи:*

Ренаты Гальцевой. Евгения Ермолина. Игоря Меламеда. Олега Хрипкова

Как не поверить в чудо? поневоле станешь фаталистом, с лету уверуешь в чудеса промысла, когда в твоей жизни только что случилось нечто невероятное, экстраординальное...

*Евгений Федоров*

Благодаря тому, что о Букеровской премии много и постоянно пишут, она - лакомый кусочек для любого, кто хоть раз брал в руки перо. Последствия очевидны...

*Мария Ремизова*



## ЧИТАТЕЛЬ!

*Вы держите в руках журнал, который был основан в 1974 г. в Париже Вл. Максимовым и за 17 лет своего зарубежного существования приобрел мировую славу как ведущий орган вольного русского слова, противостоявший идеологической экспансии коммунистического тоталитаризма.*

*После крушения коммунизма, когда задача духовного сопротивления ему утратила свой актуальный смысл, Максимов передал журнал новой редакции в Москву, и новый «Континент», сохранив преемственность с прежним, стал в ряд отечественных периодических журналов.*

*Как видим мы себя в этом ряду, что отличает «Континент» от других «толстых» журналов?*

**Во-первых**, «Континент» выходит 4 раза в год и не печатает прозу с продолжением. Поэтому каждый его номер делается как вполне самостоятельная «книга для чтения», в которой мы стремимся к тому же всегда представить достаточно разнообразные по художественным манерам тексты, отражающие главные тенденции литературного процесса. Журнал открыт для молодых талантов, но читатель всегда, в любом номере, встретится в нем и с самыми известными писателями сегодняшней России.

**Во-вторых**, ни в одном журнале нет столь объемных и столь разнообразных публицистических рубрик, где обсуждаются самые острые проблемы современной российской и мировой жизни. При этом, печатая из номера в номер большие тематические подборки, мы всегда стараемся представить в них разные точки зрения. «Континент» стал сегодня, можно сказать, своего рода постоянным форумом такого рода дискуссий, в которых участвуют самые видные авторы России и Запада.

**В-третьих**, мы регулярно печатаем раздел БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА», не имеющий аналогов в других журналах: в каждом номере — подробный аннотационный обзор прозы и критики в русской периодике за предыдущий квартал, а раз в полгода — религиозно-философской и культурологической мысли. Это дает читателю уникальную возможность надежно ориентироваться в современном культурном процессе.

**И в-четвертых**, журнал постоянно и широко знакомит своих читателей с творчеством выдающихся деятелей современной зарубежной (в том числе и русской) культуры, значительно превосходя в этом отношении почти все другие общелитературные «толстые» российские издания.

*Что представляет собою «Континент», осознающий себя традиционным для России «журналом с направлением», по своим ценностным позициям? Ваши ли это журнал?*

*Мы могли бы ответить на это примерно так:*

— Если Вы противостояте всякой угрозе коммунистического реванша, но отнюдь не приемлете и торжествующий беспредел современной рос-

*Далее см. 3-ю страницу обложки*

*Редакция «Континента» сердечно поздравляет нашего постоянного автора выдающегося современного философа, культуролога и публициста Тригория Померанца с 80-летием, желает ему доброго здоровья, долгих лет жизни, новых книг и новых публикаций в нашем журнале.*





**Финансирование**  
**типографского и редакционно-издательского процесса**  
**выпуска журнала «Континент» обеспечивается**  
**ИНКОМБАНКом**

# КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический  
и религиозный журнал*

*Выходит 4 раза в год*

**95**

**1998, № 1**

**январь — март**

**ПАРИЖ • МОСКВА**

## **КОНТИНЕНТ — CONTINENT**

Журнал основан в 1974 году в Париже  
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

### **Издатели:**

Редакция журнала «Континент»  
Издательство «Московский рабочий»

### **Учредитель — И.И. Виноградов**

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.  
Свидетельство о регистрации № 014255

**Адрес редакции: 101923, Москва,  
Чистопрудный бульвар, 8.  
Телефон: (095) 928-97-42  
Факс: (095) 201-57-41**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,  
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»  
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность  
приводимых ими фактов и цитат

*Главный редактор*  
**Игорь ВИНОГРАДОВ**

*Редакционная коллегия:*

**Сергей АВЕРИНЦЕВ**

**Василий АКСЕНОВ**

**Виктор АСТАФЬЕВ**

**Ценко БАРЕВ**

**Александр БЛОК**

**Армандо ВАЛЬЯДАРЕС**

**Галина ВИШНЕВСКАЯ**

**Георгий ВЛАДИМОВ**

**Ежи ГЕДРОЙЦ**

**Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ**

**Пауль ГОМА**

**Алла ДЕМИДОВА**

**Ион ДРУЦЭ**

**Андрей ЗУБОВ**

**Вячеслав ИВАНОВ**

**Фазиль ИСКАНДЕР**

**Оливье КЛЕМАН**

**Роберт КОНКВЕСТ**

**Наум КОРЖАВИН**

**Эдуард КУЗНЕЦОВ**

**Александр КЫРЛЕЖЕВ**

**Николаус ЛОБКОВИЦ**

**Эдуард ЛОЗАНСКИЙ**

**Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ**

**Жорж НИВА**

**Амос ОЗ**

**Мишель ОКУТЮРЬЕ**

**Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ**

**Лариса ПИЯШЕВА**

**Виктор СПАРРЕ**

**Юлиу ЭДЛИС**

**Сергей ЮРСКИЙ**

## Представители «Континента»

- Германия      Юлия Аронс  
Kaltenhoferstraße 2,  
86154 AUGSBURG, BRD  
☎ (821) 42-26-58
- Израиль      Юлия Эйдельман  
Hashaftim 22  
64365 TEL-AVIV, ISRAEL  
☎ (03) 69-67-375
- Италия      Джулия Филиппелли  
Via Olmetto, 5  
20100 MILANO, ITALIA  
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада      Ольга Бутенко  
1221, Boul. Rene Levesque  
SILLERY QC G1S1V8, CANADA  
☎ /fax (418) 688-1221
- США      Эдуард Лозанский  
1800 Connecticut ave., N.W.  
WASHINGTON, D.C. 20009 USA  
☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
- Франция      Татьяна Максимова  
5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE  
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария      Жан-Филипп Жаккар  
104 rue de Carouge  
1205 GENEVE, SUISSE  
☎ (22) 321-4052
- Нелли Биуль-Зедгинидзе  
25 Malagnou  
1208 GENEVE, SUISSE  
☎ (22) 736-40-69
- Латвия,  
Литва,  
Эстония      Леон Габриэль ТАЙВАН  
Raina bulv., 19  
LV 1586, Riga, LATVIA  
☎ (3712) 234-145

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Ольга СЕДАКОВА</b> Начало книги. <i>Стихи</i> . . . . .	9
<b>Евгений ФЕДОРОВ</b> Кухня. <i>Повесть</i> . . . . .	13
<b>Анатолий БАХТЫРЕВ</b> Белая уточка. <i>Рассказы</i> . . . . .	54
<b>Сергей ЧЕТВЕРУХИН</b> Портрет. <i>Рассказы</i> . . . . .	68
<b>Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ</b> Семь стихотворений . . . . .	88
<b>Борис КОЗЛОВ</b> Тени острова Иос. <i>Рассказ</i> . . . . .	93
<b>Юрий БЕРДАН</b> Улыбнитесь, Джордж!. <i>Рассказ</i> . . . . .	118
<b>Владимир СУТЫРИН</b> Нечто. <i>Русский триллер</i> . . . . .	127
<b>Виталий ДМИТРИЕВ</b> Попробуй в былое взглядеться... <i>Стихи</i> . . . . .	139
<b>Владимир ИЛЮШЕНКО</b> Попытка философии, или Комментарий к «Чжуан-цзы» в рассказах и воспоминаниях. <i>Повесть</i> . . . . .	144
<b>Ефим БЕРШИН</b> Монолог осколка. <i>Стихи</i> . . . . .	203

## РОССИЯ

*Чтения памяти Владимира Максимова.*

<b>Олег ХРИПКОВ</b> Иван Ильин и его программа национального возрождения России . . . . .	211
---	-----

## *ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ*

<b>Елена и Евгений ПАСТЕРНАКИ</b> В осаде .....	221
--	-----

### *РЕЛИГИЯ*

<b>Священник Александр МЕНЬ</b> Возможно ли иудеохристианство? .....	255
---	-----

<b>Рената ГАЛЬЦЕВА</b> Записки прихожанки .....	269
--	-----

### *ПРОЧТЕНИЕ*

<b>Игорь МЕЛАМЕД</b> Совершенство и самовыражение .....	294
--	-----

### *ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ*

<b>Мария РЕМИЗОВА</b> Большой пасьянс 97-го года. Взгляд на литературу через призму Букеровского жюри .....	336
---	-----

<b>Евгений ЕРМОЛИН</b> Антикритика. Ответ Юрию Малецкому .....	352
---	-----

<b>БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»</b> ....	366
---	-----

### *РАЗНОЕ*

Письма в «Континент» .....	424
----------------------------	-----

## НАЧАЛО КНИГИ

*Посвящается Его Святейшеству  
Иоанну Павлу II*

### Дождь

— Дождь идет,  
а говорят, что Бога нет! —  
говорила старуха из наших мест,  
няня Варя.

Те, кто говорили, что Бога нет,  
ставят теперь свечи,  
заказывают молебны,  
остерегаются иноверных.

Няня Варя лежит на кладбище,  
а дождь идет,  
великий, обильный, неоглядный,  
идет, идет,  
ни к кому не стучится.

---

**Ольга  
СЕДАКОВА**

— родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой культуры при МГУ. Автор поэтических сборников «Ворота, окна, арки» (Париж, 1986), «Китайское путешествие» (Москва, 1990), «Шелк времени» (Лондон, 1994, на рус. и англ.), «Стихи» (Москва, 1994), «Дикий шиповник» (Лондон, 1997, на рус. и англ.), «Старые песни» (Иерусалим, 1997, на рус. и иврите). Лауреат «Премии Андрея Белого» (Ленинград, 1980), «Парижской премии русскому поэту» (Париж, 1994), «Европейской премии по поэзии» (Рим, 1996). Живет в Москве.

## Ничто

Немошная,  
совершенно немошная,  
как ничто,  
которого не касались творящие руки,  
руки надежды,  
на чей магнит  
поднимается росток из черной пашни,  
поднимается четверодневный Лазарь  
перевязанный по рукам и ногам  
в своем сударе загробном  
в сударе мертвее смерти:  
ничто,  
совершенное ничто,  
душа моя! молчи,  
пока тебя это не коснулось.

## Sant alessio. Roma

Римские ласточки  
ласточки Авентина  
когда вы летите  
крепко зажмурившись  
(о, как давно я знаю,  
что всё, что летит, ослепло  
и поэтому птицы говорят: Господи!  
как человек не может)  
когда вы летите  
неизвестно куда неизвестно откуда  
мимо апельсиновых веток и пиний...  
беглец возвращается в родительский дом  
в старый и глубокий, как вода в колодце.  
Нет, не всё пропадет  
не всё исчезнет.  
Эта никчемность  
эта никому-не-нужность  
это  
чего не узнают родная мать и невеста

это не исчезает:  
Как хорошо, наконец.  
Как хорошо, что всё  
чего так хотят, так просят  
за что отдают  
самое дорогое —  
что всё это, оказывается, совсем не нужно.

Не узнали — да и кто узнает?  
Что осталось-то?  
язва да кости.  
Кости сухие, как в долине Иосафата.

## Письмо

*Professor Donald Nicholl  
'Rostherne', Common Lane Cheshire*

Здесь, где Вы так и не побывали, Доналд,  
в этой стране  
которую вы так любили  
и от которой у нас  
ноет уже не сердце, а что-то попроще  
в нашей невыносимой стране  
я вспоминаю Ваш дом  
на Общей Лужайке  
простой и достойный дом рабочего человека  
и Дороти с чаем на подносе  
и светлую Вашу кончину.

Святая Русь, Вы говорили,  
Китежский град  
где Преподобный делит хлеб с медведем  
где пасхальный Серафим  
говорит: Здравствуй, радость моя!  
и от его улыбки  
загорается звездами дневное небо  
где каторжные молятся за своих конвойных...

Теперь, быть может, они Вас встречают, Дональд:  
как же они не встретят того, кто так им поверил,  
Серафим и Преподобный и те, с Колымы и Магадана,  
чьи имена неизвестны и чьи лица  
как Вы говорили  
сложатся в лик Святого Духа.

Доналд  
сердце мое жестоко  
как земля, по которой прокатили тяжелые танки  
если что на такой взойдет, то не скоро  
лет через двести.

Ваши слова  
о том  
что всё устремляется к неотвратимому миру  
как река к океану  
что всё  
изменится и простится  
впадая в общую неизмеримую воду  
в бездну милосердия  
о которой мы знаем —

Ваши слова не проникнут в него глубоко.  
Убитой земле  
нечем принять и выхаживать семя.

Вот некрасивое страданье,  
о котором Вы спрашивали меня  
с прямотой человека, привыкшего молиться.  
Не зло, не обида, Доналд,  
это всё довольно легко проходит...

Но здесь  
нашей поздней ненастной осенью  
исполненной жалости и согласия  
безумной жалости и безумного согласия,  
я вспоминаю Вас  
и на другом языке Вашим голосом произносимое слышу  
о пасхальном Серафиме  
о Преподобном и его медведе  
о соловецкой молитве  
о шумящей, как северное море  
бездне милосердия.

**КУХНЯ****Повесть**

*Для прозы Евгения Федорова характерно, что его герои кочат из одной повести в другую. Читатель «Континента» мог в этом уже убедиться, знакомясь с предыдущими публикациями прозы Е. Федорова в нашем журнале — повестями из цикла «Бунт»\*, напечатанными в 89-м и 91-м номерах. Так и Бирон, центральный персонаж печатаемой в этом номере новой его повести «Кухня», тоже не раз уже появлялся на страницах цикла. Однако, как мы уже говорили об этом, предваряя предыдущие публикации Евгения Федорова в нашем журнале, для читателя любой его повести знакомство с предыдущими или последующими повестями цикла отнюдь не обязательно — они могут читаться и отдельно. Точно так же и «Кухня» — это тоже вполне самостоятельное произведение, которое хотя и примыкает, по замыслу автора, к циклу «Бунт», но прямо в него не входит.*

*Знакома читателя с этой повестью, мы хотели бы обратить его внимание и на то, что другой персонаж повести, Кузьма, — это не только (как и многие другие персонажи Е. Федорова) вполне реальное лицо, но к тому же имеет и свой собственный голос как писатель.*

---

**Евгений  
ФЕДОРОВ**

— родился в 1929 году в г. Иваново. В 1949 году, студентом 1-го курса филологического факультета МГУ (искусствоведческое отделение), был арестован по обвинению в групповой антисоветской деятельности и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ в лагерях общего типа. В 1954 году реабилитирован. Окончил МГУ в 1959 году. Автор книги «Жареный петух», в которую, кроме одноименной повести, вошли еще две: «Былое и думы» и «Тайны семейного альбома» (Москва, 1992), а также повестей из цикла «Бунт», напечатанных в журналах «Нева», «Звезда», «Новый мир» и «Континент». Лауреат парижской литературной премии имени Вл. Даля и финалист Букеровской премии 1995 года. Живет в Москве.

---

\* Полный состав цикла «Бунт» и последовательность входящих в него повестей указаны в № 89 «Континента» (с. 16).

**Анатолий Иванович БАХТЫРЕВ**, выведенный в повести Федорова под именем Кузьма (так в реальности звали его друзья), родился в Москве в 1928 году, успел окончить только семилетку и уже в 1948 году был арестован как антисоветчик и осужден на десять лет ИТЛ по Особому совещанию — как признанный лидер студенческой компании (тоже, естественно, репрессированной). Реабилитирован он был лишь в 1964 году, а в 1968 году уже безвременно скончался.

Оригинальная, яркая личность Кузьмы оказала сильное влияние на многих представителей российской творческой интеллигенции (проза, поэзия, литературная критика, кино). О нем — как об исключительном явлении нашей жизни — писали П. Гольдштейн (Израиль), Г. Лесскис, Г. Померанц, Е. Федоров, Т. Янушевич (Новосибирск). Проза Кузьмы принадлежит к лучшим литературным образцам той эпохи, и о ней без преувеличения можно сказать, что она написана действительно свободным человеком. В печатаемой ниже повести Е. Федорова «Кухня» об одном из прозаических опусов Кузьмы говорится, в частности, так: «Белая уточка» — совершенно шедевральная штучка, вкус и энергия, точное, мускулистое слово, без изъяна, фактически это поэма, лучшее, что есть в современной русской литературе ... смекалистая своя морфология, свой синтаксис, новое, нужное слово, ничего не скажешь».

Между тем обычному русскому читателю литературное наследие «Кузьмы», по-видимому, совершенно не знакомо — лишь в Израиле крошечным тиражом был опубликован в 1973 году небольшой сборник его рассказов и литературных заметок под названием «Эпоха позднего реабилитанса» (публикация посмертная, название не авторское). Поэтому (и в особенности учитывая то, что андерграунд русской литературы советского периода, в отличие от андерграунда в живописи, вообще сегодня почти не известен и недостаточно исследован) мы решили сделать исключение из нашего обычного правила не перепечатывать тексты, уже однажды напечатанные, и предложить вниманию нашего читателя пять небольших рассказов Анатолия Бахтырева из названной книжки. Нам представляется, что соединение их с повестью Е. Федорова, после которой мы их печатаем, и с рассказами еще одного бывшего зека — Серафима Четверухина, которые мы печатаем вслед за рассказами А. Бахтырева, и сведения об авторе, которые читатель найдет в биографической справке на с. 68, создает яркий, интригующий, сложный ансамбль, способный привлечь внимание читателя и возбудить не только познавательно-исторический, социальный или психологический, но и чисто эстетический его интерес.

Как не поверить в чудо? поневоле станешь фаталистом в духе Лермонтова, с лету уверуешь в чудеса промысла, когда в твоей жизни только что случилось нечто невероятное, непонятное, экстремальное, да, Кто-то всесильный взял тебя крепко за шиворот, извлек из окружающей реальности, из экстремальной ситуации, вырвал из страшных лап смерти, минута прозрения, отречение от тухлой истины обыденной жизни, долой ее нещадную глупость, полное отречение от нее, застилающей, зашторившей, зашоривающей зрение, воля к чуду, все невероятное по ту сторону здравого смысла и разума, утверждение без основания (случай?), минута абсолютного фатума, пронзен новым знанием, так, именно так! без всяких преувеличений, мощь и торжество фатума, новая истина становится самоочевидной, как банальность, как и идея твоего особого предназначения (эта экстравагантная жар-птица — не редкий гость в голове Эдика, не случайная залетка, не долог час, она полностью овладеет его сознанием, волей, к этому вроде идет дело); кум и начальник спецчасти с трудом вырвали его из рук остервенелых надзирателей, мастаков отнимать здоровье, хорошо обработан, синяк на синяке, били смертным боем, живого места нет, нутро отбили, еле ноги унес, с трудом верится, что жив, настоящее кажется нереальным, с физикой неважнец, узнают ли родные? выпихнули раба Божьего за ворота ОЛПа, прощай славный комендантский ОЛП, просиявший звездой в системе ГУЛАГа! Прощай Каргопольяг! Нас там нет. Справку в зубы, в справке: освобожден из мест заключения *за отсутствием состава преступления*. Таково решение Верховного суда. Приговорен к свободе. Снялся, спорхнул и улетел. Новые времена. Славно, благополучно и без призора вологодского конвоя, который, как известно, шутить не любит, поддал, осененный благодатью, в вагоне-ресторане, я был, я есть, вот что значит чудо! истина на ладошке, голенькая! Не заметил, как оказался на площади трех вокзалов. Шел благополучно по городу, в котором родился, дорогу-то до дому знал наизусть и нашел бы с завязанными глазами, оглушен, испытывал бурное клокочущее, пережестывающее через край физиологическое, живое, предрвотное отвращение, омерзение. Проклятый город, Ковчег мерзавцев! Подлое гнездо террора! Чужой! Все чужое. И люди, и дома, назойливые, злые гримасы чужих домов, личины, маски, страх, скверна и ложь, царство страха, разлитое море злых, агрессивных, пошлых масок, перегородки доходят до самого Неба, чумное дыхание пошлости и лжи, страшный копмар. Карфаген лежит во зле и должен быть разрушен! Копмар! Мерзавцы! Жить здесь это уже падение и подлость.

Прикоснулся к воле — вот, значит, какая она есть на самом деле. Припекла. Травмирован ею.

Стремительный и безоглядный бег времени. Катится колесо жизни. Живет, как миленький, свыше года живет в Москве, блудный сын вернулся под родительский кров.

Эдик Бирон прилежно, долго, старательно, пристойно счищал грязь с ботинок, прислушивался к разговорам в комнате. Говорил отец. Эдик немного выпил, у Кузьмы опивался, благо близко, выпьем тут, закусим тут, на том свете не дадут, что верно, то верно, нашего брата ждут, уж поверьте, не наливочки густые, а раскаленные добела сковородки, и выпили с Кузьмой самую малость, пригубили, что русскому здорово, то немцу смерть, нет, нет, по-божески тяпнули, ну, мужики, еще по сто грамм, и еще, и еще, у этой истории не бывает конца, как у кольца, а еще опаснее рвущаяся к небесам, самораскручивающаяся, полная злой динамики спираль Архимеда, до бесчувствия не надирались, не ввалились ненароком в беспробудный загул с явлением черного человека Гофмана, Моцарта, Есенина, голова моя машет ушами, не бедовали, хотя ее смерть как любили, тихо, мирно, культурно и без хулиганства, Цирцея не успела превратить их в свиней, раздавили хороший огнетушитель вермута, разумеется, особой, высокой репутации, веселящего душу, что-то есть изумительно волнующее в самом звуке открывающейся бутылки, когда вы сбиваете сургуч, молитвенное священнодействие, наконец, он сбит, и — сдвинули разом, да здравствует солнце, да скроется разум, первый глоток, хороший, честный, нормально-гомерический, одним духом, на одном дыхании, сама пошла, лошадиный, первый удар алкоголя в голову, просветление, жизнь, мощное дионисийское озарение, озарение на озарении, вы на седьмом небе, где нескрываемая сладость и глаголы неизреченные; и «малыша» по велению сердца и по внушению свыше добавили, норму не нарушили, не пей, спяна ты можешь обнять своего классового врага, слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по краям Креста; гранеными стаканами чокнулись, будем здоровы, и вам не хворать, дай Бог не последнюю, не налегали, может, чуть облокотились на великолепные, смахивающие на лосиные, барочные, отнюдь не бутафорские, могучие рога, отнюдь не заваливались, не больше заваливались, чем святой Антоний у Флобера, лишь тяпнули, чтобы захмелеть, чтобы разговор получился, душевно и со вкусом потрещать, перепихнуться, как говорится, в духе и истине. А вообще-то Эдик последнее время частенько к Кузьме заглядывает, слегка травит печень, самую малость, «выпью двести грамм, Советская власть для меня пере-

стает существовать, нет ее, нет вездесущей воинственной пошлости». А ваш Кузьма — славный парень, острый, живой ум. Согласен, уже и мой. Отзывчивый, быстр разумом, «Белая уточка» — совершенно шедевральной штучка, вкус и энергия, точное, мускулистое слово, без изъяна, фактически это поэма, лучшее, что есть в современной русской литературе, и этот, как его, «На семь метров против ветра», чудесный рассказ, с интересным подтекстом, волнующие, прочувственные, тонкие метафоры, сложный, с выдумкой, Бога нет, но есть деревья, чудная мистика, ей-ей новый (или воскресший) Сковорода (мир меня ловил, но не поймал!), с ним сподручнее, чем с кем-нибудь из вас, «Молодая Россия», раздавить бутылку, абсолютная свобода плюс высокая техника человеческого общения без всякой навязчивой, нудной дидактики, неверно, не водка нас сблизила, хотя признаемся, мы большие охотники до нее; одно его присутствие настраивает вас на философский лад, открытость миру и собеседнику, понятно теперь, почему именно он в вашем шалмане был коноводом, фельдмаршалом, задавал тон, и вы роились и хороводились вокруг него, как пчелы; все же идеи его тухлые, завиральные, хаос, хмарь, волхования, дичь в башке и что-то неудобовыразительное; как в наше время можно серьезно относиться к Маяковскому? а пишет Кузьма хорошо, искусник, талант, смекалистая своя морфология, свой синтаксис, новое, нужное слово, ничего не скажешь.

Эдик не хотел, чтобы родители заметили, что он выпил.

— Где был? — не преминул спросить отец.

— На улице гнусно, — сказал Эдик, уклонился от ответа. И он пустил скороговорку, в природе плохо, ветер, грязища. Он не ответил не потому, что не хотел сказать, что пропадал с утра у Кузьмы: он знал, кожей чувствовал, что отцу совершенно безразлично, где он был, у Ольги ли, у Вали, у Витьки Красина или прошвырнулся к Кузьме (благо близко, рядом: ушел напротив!) — «а вот все-таки мы имеем право спросить, где ты был, хотя тебе и 28 лет». Он инстинктивно боялся воли, но все же не предполагал, что так тяжело будет, не думал, что жизнь с родителями обернется адом. Он приходит домой, видит хмурые, недовольные лица. Они недовольны всем, что он делает, всем, всем. Они ничего не говорят, но он это чувствует. Они имеют право быть им недовольны: право родителей, право тех, кто тебя любит. И он ест их хлеб. В лагере у него был надежный, роскошный финансовый тыл, ни у кого не было таких посылок. Будь благодарен. Помни. Надо терпеть!

— Что с тобой? — спросила мать.

— Я представил себя прокурором.

— Можно быть адвокатом.

— Нет, я буду прокурором! — выпалил, как чихнул, категоричность и вызов: вся панихида сводилась к таким заявлениям.

— Тебе придется вступить в партию, поцеловать руку, — равнодушно сказал отец.

Пушкин гениален: плюнь да поцелуй злодею ручку, свиной пасти, и на то ваша боярская воля. Эдик брезгливо внимательно рассматривал свои руки, словно их надлежало вскоре поцеловать, прилежно мыл, мнительно нюхал, ему чудился дурной запах, чужой запах, запах Москвы, опять упрямо мыл, нюхал мыло, противно, этим мылом пользуются отец, мать; сел наконец к столу. Он ест хлеб родителей. За это он платит свободой. Дорогая цена! В душе клякло и серо. Надо жениться, переменить жизнь. Они хотят, чтобы он женился на Вале. Вот и женюсь! Этого требуют и высшие соображения, и от этого не отвертишься! Жить у Вали, работать, учиться, но быть свободным. Хлеб или свобода? Он готов жениться на черте, тем паче на милой Вале, только бы не слышать вопроса: где был? Он придет домой, и если Валя спросит, где тебя нелегкая носит, то спросит, как жена, а это совсем другое дело. Не на любви должна строиться семья, любовь проходит, красота приедается. Ничего, настрогаю детей. Свобода только в лагере. Истинно свободный человек это человек загула, эх, эх! без креста! тра-та-та-та! нам с Кузьмой не след выходить из лагеря, вечный лагерь, которому нет конца и края, наше место там! Там никто тебя не терзает, ни о чем не спрашивает, всем на тебя наплевать с высокой колокольни, а это и есть свобода, полная, абсолютная свобода, прежде всего свобода от привязанностей, от угнетающей любви ближнего.

— Ты сегодня рано, — сказал отец.

— Да, рано.

Он глянул на часы. Может, попытаться поймать «Голос Америки»? Надоело, все надоело! Лишь Гитлер был на что-то способен. Последние дни он все чаще вспоминает незабвенный комендантский ОЛП, лагерь. Там нормальное кровообращение, там полнота бытия, абсолютная полнота жизни. Принадлежишь самому себе. Ему казалось, что там — воля, здесь — клоака, гангрена, тюрьма! Лучше бы меня забили надзиратели, написали бы чернильным карандашом номер дела на пятке, для верности еще проломали бы голову ломиком, не симулирует ли падла, так-то надежнее. Есть, есть инстинкт смерти, и эта скорбная мысль не противоречит во всяком случае одной из мировых религий, буддизму: то, что обещает буддизм нам за гробом, если не считать перевоплощения, это нирвана, а нирвана очень сильно

напоминает небытие; и у Фрейда, по ту сторону принципа удовольствия, эту мысль вы найдете! переключка идей? влияние? мистерия развоплощения души и тела, экспансия небытия, воля к смерти! искушение, искушение! Эдик месяца три мочился кровью, саднило в боку, там, где почки, саднило в паху, порывно летал в уборную, рези, рези, к врачу не обращался, сейчас лучше, отступили боли. Время зализало раны. На живом все заживет. Что в молодости прореха, то в старости дыра, бесследно не пройдет, до старости еще дожить надо.

— Помешай чай,— сказал отец.

— Я мешал.

Со стаканом чая Эдик переключался к приемнику.

— Не слушал бы, прошу, суший пустяк, свихнулся на глушилке, как паровоз пыхтишь, возбуждаешься, шалеешь, не далеко и до инфаркта,— бубнила мать.

— Жизнь только *там*,— сказал Эдик.

Ждал, что начнутся попреки, мать пойдет читать нотации, пилить, пилить, осенний дождь, ножовка, опять он услышит, что *в их роду*, и это будет сказано многозначительным тоном, у мужчин ранние инфаркты, что ее брат умер в возрасте Эдика, не следует вести такой беспорядочный образ жизни. Нет, промашка, мать не читает нотацию, не проповедует абсолютно правильные правила жизни, надо жить в дружбе с жизнью, как живет наша интеллигентная квартира, не талдычит об историческом предназначении их рода, по прямой линии идущего от Палеологов (скоро интерес к генеалогии войдет в моду, а до критики чистой генеалогии еще далече). Вот те раз, вот те два, вот те три: довел! Мать сурова, постное лицо, поджатые губы, спина прямая, даже не вздохнула. Стоило Эдику включить приемник, сразу наглухо забыл о родителях, зуд, зуд какой-то, добросовестно, ритуально, старательно, самозабвенно, в каком-то медиумическом состоянии, вертел, ладил ручку «Мира», тупо, отчаянно слушал глушилку, пригвозжден к глушилке, то корчился от смеха, презирал себя, продолжал увлекательное занятие, то приходил в безумный телячий восторг, глушилка все сильнее, сильнее захватывала, заворачивала, посул истины в последней инстанции, влечет и манит, как юное, упругое лоно, засасывает, сводит с ума, и он забывал обо всем на свете, на лице появилась тупо-блаженное выражение, наполнялся до самых краев кипучим счастьем, подъем душевных и физических сил, восхождение и нарастание бытия, заходил в энтузиазме, горячий интим с нежной глушилкой, вдохновенно, жадно, как поцелуи возлюбленной, самозабвенно глотал треск глушилки, глотал и глотал; темна, омерзительна сексуальная

сфера мужчины и должна находиться, притом без всяких уступок и поблажек, под грубым, строгим репрессивным контролем морали, культуры, ясного дневного сознания, которое пускай сурово, бескомпромиссно расправится с коварным и хитрым прохиндейством, увертками, уловками полового инстинкта, ищущего выхода, ищущего возможности обойти препоны, выплеснуться, сублимироваться, рвущегося вулканически вверх, все выше и до потолка; правда, после работ Фрейда, наметилась тенденция к реабилитации темного низа человека, темной, грязной изнанки сексуальных импульсов, их промашек, их канальства, новейшая психология считает, что душу человека для полного здоровья и избавления от истерии целесообразно спасти от гнета и репрессивного засилья приличных нравственных норм и ложных представлений о том, что нормально, а что аморально и преступно, ибо нет противоречия и зла в сексуальной сфере, а есть сплошной и вечный праздник. Тем не менее на интуитивном уровне, более чем очевидно, в интиме с глушилкой есть что-то темное, гнетущее, сомнительное, хуже всякого рукоблудия (для оправдания Эдика отметим, в этом действе легко можно усмотреть специфическую форму протеста, яркий новаторский, пионерский шаг в развитии нашего общества, смелый дух бунтарства, бешеный штурм железного занавеса, его прорыв, соблазны вкусить запретный плод, прометеевский порыв смелых, иступленных, ищущих, пусть пока сольный, имплицитный далеко идущие последствия, вызов веку сему; наше разлюбозное правозащитное движение, бесстрашно, решительно рвущееся в бой за вселенскую правду, кипит наш разум возмущенный, революционный, включая перестроечный циклон, поднялись и выросли из флирта с глушилкой, спросите Красина, если не верите).

Волшебная глушилка! Очухался, рёхнулся, опомнился, с грехом пополам перевел дух, еле укротил странную страсть, пора начать упражняться в отшельничестве, пойти на самоограничение и самообуздание, вырваться из объятий абсурда и оголтелого, дурного солипсизма, вернулся к действительности; в изнеможении трет виски. Изнурен, рубашка мокрая, выжимать можно, жадно налег, хватил несколько больших глотков остывшего чая, сахар не растворился, на дне, снег неокрепший на речке Студеной, словно как тающий сахар лежит, противно, это в детстве хотелось сладенького, хочешь сладки слони? Глушилка — вредная привычка, сердце жаждет глушилки, тоскует, радостное, свободное, сладострастное, экстатическое погружение в хаос, непосредственное, жгучее сияние хаоса, только хаос! душа распята черным экстазом, черная плерома, сам не свой, выход из себя,

потеря самого себя, сладостное самозабвение, по рукам бить, всепоглощающее начало неправды, смени руку, лети, лети, мать твою, на кухню, надо, надо, направляйся, там Ванюпин, ждет — не дождется. Всё, на всех духах лечу, займусь, с пол-оборота заводится, заведу скотину, жалкий паллиатив глушилки, все же мед и услада. И Бирон заспешил, нелегкая несет, прыть развил, миг — на кухне, кодекс на забыл, захватил с собой. Наша интеллигентная дивная кухня, из которой Ванюпины (и отец, и сын) выламываются и с которой никак не рифмуются (давайте не будем, не говорите нам, соседи, как соседи, все в порядке вещей, что это обычные, простые, ортодоксальные характеры — извиняемся, чужие, сторонние они здесь, в нашей квартире и на кухне, да от этого ура-патриота на километр разит густым антисемитизмом, у нас отличный нюх, обоняние, как у осы), уже несколько раз рассудительно урезонивала неукротимого, невыносимого Эдика:

— Типун на язык. Одурил что ли? Уймись, не дразни гусей: допрыгаешься. Мало сидел?

— А, собственно говоря, в чем дело? — по привычке вломился в амбицию.

— Сам знаешь.

Прозорливая кухня всегда права. Как не знать! Добром не кончится, но, с другой стороны и важной, должна же у нашего брата, бывшего зэка, быть хоть скромная, махонькая капля радости в жизни, кроме экстагической плеромы-глушилки. Истинное, несравнимое удовольствие (вот счастье, вот права!) — ласы поточить, культурно поизгаляться, раздрочить, до говна довести скотину тупую и злобную, отличное, устойчивое послевкусие, как губы в вермут окунал, но без последствий, всяких там головных болей на другой день, тяжелого похмелья, поисков пива, полцарства за глоток пива, в крайнем случае нужного, изготовленного в Китае огуречного рассола, душа горит, требует, кислородное и водное оголодание организма, всегда, как на зло, все закрыто, пива нигде нет, Москва — город будущего! Люблю врагов, сказал поэт, но не по-христиански! Это, кажется, Лермонтов, кажется Печорин. Помню со школьной скамьи. Литературные параллели, соблазны, горячий порыв к высокому и прекрасному, фейерверки, красивый, яркий стих лишь ослепляет, как молния в глубокой, темной ночи, тут же затемняет истину, Аркадий, не говори красиво, вредит простой, ясной прозе жизни, ее мудрым, тихим, штилевым будням.

И бесит отпетого, окаянного Карацупу, что я, отщепенец, перерожденец, мазурик, подонок, злопыхатель, злобный очернитель, вражина и вражонок, откровенная гидра, архиконтра, в

Москве, в столице нашей родины, реабилитирован, учусь на прокурора, злые шутки, сказал петух, накрылась кое-чем и *оборвалась дней связующая нить*, сказал бы на месте Ванюшина испуганный, запугавшийся Шекспир (на своем месте он сказал именно это устами Гамлета), всё стало иначе, скверно и не поймешь, кругом неправда и кривда; подставлен по крупному, тяжелые времена, заколдованный круг зла, полный крах: его, Ванюшина, взяли отнюдь не деликатно за шкирку, дали увесистого пинка под зад, вышвырнули, как последнюю шелудивую собаку, время нагло и безоглядно мчит вперед и вперед, благополучно уверенно выталкивая ежечасно и ежесекундно настоящее в небытие и тлен, идет непрерывный процесс выпадения в погибель, а это и есть жизнь! очень и очень огорчительные обстоятельства, тяжелая година, непредсказуемая остросюжетная круговерть, плотный, мутный, густой, мощный поток, подлое, паскудное время, черная, мутная кинетика 53-го года, поругание святынь, дни лукавы, поползло, оползень, полетел, загудел Лаврентий Павлович (в лагере Эдик успешно дразнил, дровичил 58-ю, фашистов, сев на борзого любимого конька: — Наш министр плохой, значит, и мы плохие!), поехало, передраги, глянть, Ванюшин, какой человек! начальник лагеря, чудеса! глаза не верят! из тех чекистов, которыми восхищался сам Горький, нарекая их восторженно «чертями полосатыми», оказался в глубокой жопе, влетел в опалу непотопляемый, ухватистый хозяин жизни, не востребован, не нужен сильный хозяйственник, капитан индустрии; служил верой-правдой, руки по локоть в крови, а тут, знаете, взапшей вышибли, пенсии никакой, о пенсии нормальной не моги и думать, пшик, обычная, как у всех, вот и не разогнать тоску рванул в Москву, так абсолютно ничего не поняв, а за последней правдой (*чем я вам не угодил?*), перед нами ходатай за справедливость и права человека, о положенной пенсии хлопочет, икру мечет, отдай, что мне принадлежит по праву, и не грехи, упирает на справедливость, обивает пороги, мается, а в доброе старое время был живым Богом! представляете, полковник, не жук чихнул, толкается во все двери еще вчера родного ГУЛАГа, ну и денек, позеленел аж, с тела спал, не достучишься, сплошное унижение, фраернули, по шапке, по хоботу и еще по одному месту мешалкой, штурм ГУЛАГа кончился ничем, тщета усилий, полное фиаско, от ворот поворот, даже слушать не хотят, обидное, непривычное, огорчительное слово слышит, ГУЛАГ, мол, *не наградная комиссия*, уязвлен, серпом по яйцам, уму непостижимо, потерял хватку. Потеряешь! оплеуха за оплеухой, выбит из колеи, обречен на поражения, эдакое канальство объективной законо-

мерности, захвачен ею, несет, как щепку, деться некуда, ощутил тяжелое дыхание исторического фатума и свое ничтожество перед вероломными и торжествующими силами зла, почувствовал, как в него ткнулась волчья морда, прошиб насморк душу, жуткий, мощный, наполеоновский насморк (Ватерлоо!), разрушающий вас, как наводнение, вашу волю, вашу личность. Устинов, последняя надежда, не принял, к заму записали, зачем ему зам, когда Устинову он хочет в глаза посмотреть, объяснял, что по личному делу; после всех мытарств и хождений по мукам, хвост опущен, как у крепко и со вкусом побитой собаки, изнутри интенсивно темный, как сама египетская тьма, руки опустятся и у настоящего воина, дух вон, все из рук валится, бунт вещей, будет валиться, получил неожиданный нокаут, сам подставился, полез; молча, как огорченная мымра, разогревал наваристый борщ на кухне, на нашей просторной, я те дам! ныне весьма знаменитой кухне...

(29 метров, есть где повернуться, еще как есть! глаз радуется! вообще необыкновенно резиновая, Ося Бродский здесь свое читал, собралось не меньше ста человек, девочки на коленях гладиаторов-мальчиков сидели, полумрак, романтика, и не забеременели девочки, 3 плиты, 12 конфорок, кругом вшивота, пустыня, тухлое болото, смердит, царство тьмы, а у нас современность, литературный клуб, цветение наук и искусств, прямо-таки оазис в безумном мире, в суровой бездуховной пустыне, чудо, а не кухня.)

...распространил по всей квартире интенсивный аппетитный аромат, слюнки невольно текут, под такой борщ не грех и блондиночку удочерить, эх, белая пробка, единственное утешение и спасение, она хорошо укрощает злые разбушевавшиеся эмоции, снимает приставшую, приклеившуюся душевную боль, а боль, понятно, это альфа и омега, арбуз и Ямайка, первая и последняя реальность, сверхреальность, что может быть более бесспорным и очевидным, чем боль, это самое сумасшедшее томление духа, небо с овчинку, как горько и обидно, когда правительство навстречу не идет, завьем горе веревочкой, другого ничего не остается, чарка зелена вина, ты оказываешься под благотворным наркозом, трын-трава, извечный, банальный русский сюжет, очень русский, слишком русский! почему и не выпить? вредно? а инфаркт полезен? выжрал ли он ее, родимую, или нет, история умалчивает, молчание, тишина, нет закона сохранения информации, в природе такого закона нет, и не может быть, энергия сохраняется, материя, но не информация.

Представляете, вывалилась к нам на кухню огнедышащая гора, Ванюшин-старший собственной персоной, тяжел и страшен, в

голубых штанах, рожа — кирпичного цвета, пунцовые пятна на щеках, важность не слиняла, в крови, живот вперед, привычка, привычка свыше нам дана; у каждого свой заворот, заскок, чесотка, свой любимый предмет разговора, зуд, психанул, плесканул горлобесием, как бы продолжая с кем-то старый спор, неиссякаемый безудержный поток слов стремительно несется на нас, словесный понос, потоп, холера ему в бок, пасть не закрывает, настоящее стихийное бедствие, ведет себя, как у себя дома, воцарился на подмостках нашей славной кухни, где мы каждый вечер устраиваем уютные посиделки с чтением стихов, устроил необыкновенный концерт, рехнуться можно, узурпатор, закрой хлебало, щами пахнет, прет, как на буфет, пусть, пусть выговорится, выпустит пар, а мы не успеваем ахать, отбиваться, отбредиваться, во — врать-то, ври, мол, да знай меру, брех заливистый, дичь порет, чепуха, белены объелся, балду гонит, не морочь нам голову, просим, умоляем, довольно, хватит, рассказывай в другом месте. Оказывается, он, Ванюшин, совершил ошеломляющий подвиг прямо с земной шар, не меньше, мы со смеху чуть не померли, со стульев разом попадали, день был без числа, это он, друг ситный, Лилькин свекор, а не Жуков разбил Гитлера, изволил спасти нашу кухню и мир от коричневой чумы, осчастливил нас, и мы обязаны ему победой, еще напор и враг бежит, над Германией. И Устинова он открыл и выдвинул, и тот круто пошел в гору, теперь у пирога; Устинов многим ему обязан, не многим, а всем.

Здесь наша кухня проявила известную темноту и неосведомленность, ибо слыхом не слыхивала, кто такой Устинов, не в курсе, не интересовалась; на портретах его нет, Маленкова, Молотова, Булганина, Хрущева кухня знает; начнешь хвастать, с кем не случается, да еще под пьяную лавочку, этим грешат все на малохольной Святой Руси, разойдешься, почему слегка не приврать, интересно расцветишь прошлое, инкрустируешь! это в природе русского человека, умный хвастает доброй матушкой, глупый хвастает молодой женой, это во время оно, былина, на пиру князя Владимира, а значит, выходит и само получается, как ни вертись, в этом Лилькином свекре есть что-то любопытное, лирическое, русское, даже слишком русское, как же опасно в человеке увидеть человеческое, понять человека это все одно, что простить, принять, получается, душа русского человека, когда он под сильной мухой, рвется в экстазе к общению, я для меня мало, к мистическому слиянию с другими душами, пусть, гречневая каша сама себя хвалит, аж захлебывается, вообще-то безвредное хвастовство, тянет нас к исповеди, по душам поговорить, все о

себе, о себе любимом, не мешайте человеку о себе рассказывать, жаждем найти отзвук, отклик в другой душе, это просвещенный, цивилизованный Запад хлещет ее, родимую, если верить Парамонову, в одиночку, сидит себе в баре, закладывает за воротник, к нему не подсядешь, один ее глушит, это его абсолютное право глушить в одиночку, право свободного человека, хабеус корпус, это право завоевано всей историей, крестовые походы, рыцарские турниры, готические соборы, как все это красиво! Лютер, историю творят, и красиво творят, лишь европейские народы, нет, мы не такие, мышиный визг, писк, беготня да шорох пустых веков, Запад есть Запад, а мы Восток, но нам свое дорого, нас тянет в гущу людскую, к исповеди, мы любим хором петь, нет, мы не против Запада, но у нас абсолютно другой репертуар, каждому свое, выбирай, у нас воля к соборности и этим, считается, и только этим разнится Святая Русь от хваленого Запада с его филиотикой, если Парамонов прав, надеемся, что не совсем прав, Паскаль, Фейербах, Бубер с ним бы не согласились (Бубер: «Всякая действительная жизнь есть встреча»); идеал Парамонова нам не подходит, и для русской мысли характерна другая тенденция, само бытие мы готовы определять, как встречу, связь, валентность (Франк, Лосский, Шмаин, встреча конструирует, формует личность и само бытие в его глубинной мистической сущности). А Ванюшин, старший, значит, сильно воодушевился, через край хватил, в разнос пошел, на лбу испарена, бесчинно чернухой галопирует, трудно, просто невозможно остановиться, гром победы раздавайся, амбициозный треп, масштабность, наглая, хвастливая манера, голосистый, утяжеленный оглушительно зычный голос, трубу услышали, а голос ваш это не что иное, как голая, откровенная проекция вашего агрессивного характера, точно уловленная голосовыми связками, хамское, необрезанное слово: знаете ли вы, что я, я войну выиграл, я, а не ваш Жуков, знаете ли вы, что в некоторый критические моменты войны крутая воля и умелая организация определяют успех, победу, ура! мы ломим, гнутя шведы, великолепный и хвастливый размах, да, ведаю, разумею, лучше вас знаю, положил, не моргнув глазом, не счесть сколько, на войне, как на войне, насилие не только побеждает, но и хорошо, убедительно убеждает, тем паче когда за ним стоит высокая идея, двести тысяч положил при строительстве железной дороги (нарочно не придумаешь! вот оно что, вот какую драматургию развел, мы идем по ледяным пустыням, Божий бич, приветствую тебя, тю-тю, это уже крайне и до чрезвычайности интересно: воля к власти, оголтелая, неукротимая воля к победе, «пассионарность», открытие Л. Н. Гумилева, объясняющее тайны

истории, перводвигатель, а моральные фикции и химеры, совесть — враги жизни и всего живого, враги победителей, настоящих мужчин, героев, так было, так будет, это честно, смело, мужественно формулировал Ницше, всегда и везде! воля к власти имеет глубокие и разветвленные онтологические корни, она сродни самой жизни, ее блеску, ее тайне), но я *дал уголь стране*, (я памятник себе воздвиг нерукотворный!), *я!* и это решило исход войны ...

(Погодите, стойте, замрите, все так и было, без туфты, ей-ей, не вовсе пустое базарит, не на все сто процентов хмель, огульное вранье, хвастовство, есть золотая крупица истины в этих словах, тяжелая, внушительная, угнетающая серьезность, зловещая и правдивая, логика фактов, и важно вскрыть суть дела, вспомним вдохновенный, пассионарный, безудержный, безумный порыв Германии, Гитлера, а у Роммеля, военный гений, ну ты подумай только, бензина не хватало, примечательно, жаловался на нехватку бензина, слезы лил, был бы бензин, еще не так бы славно врезал англичанам, еще не так бы погонял их по Африке, да неизвестно, удалось ли бы усмирить пассионарность и тевтонскую ярость и чем бы война кончилась, будь бензин, зарвался Гитлер, успех вскружил голову, нельзя воевать со всем миром и на два фронта, кишка оказалась тонка, разделяй и властвуй, учили благоразумные римляне.)

... А сколько *ваш Жуков* положил под Сталинградом?

Нам дурно! Мамаша в обморок упала, сестра сметану пролила. Захлестаны эмоциями, убиты наповал. Ради Бога, перестаньте звучать! Кухня видала виды, слыхивала и не такое, Кузьма потчевал нас «Белой уточкой», гвоздь, обомлели наши девочки после «Уточки», а Кузьма от нас ушел с подружкой соседки, милейшее создание, полукровка, они потом захаживали к нам вместе. Кухню не удивишь ничем, сам властитель дум бывал у нас, здесь познакомился с Наташкой, с нашего телефона хулиганил аноним, знаем кто, да хвастаться не любим, звонил, орал в трубку, театр: — Наташка, какие девочки по телевизору! Гони своего мерина, пусть телевизор смотрит! у нас роились (уверяем, без всякого зазывания) великий Шаламов, последний из могижан, неомарксист, обескураживающий диалектик Рапопорт, маститый, всеми уважаемый Пинский, Лепин, имя Лепина окружено ореолом, это и ппоралист, и святой, и воин, отличающийся рыцарским бесстрашием, и вообще чудный трогательный человек, тонкий ценитель поэзии и вообще всякой изящной словесности, Желудков, всеми уважаемый Гельфант, Мелетинский, Фильштинский, Наташа Столярова, всеми уважаемая Лидия Яковлевна, Наташа Трауберг,

Женя Левитин, Злотников, Вейсберг, Якир, представьте, как только Якир появлялся на пороге кухни, все мы, как по команде, вставали, стоя приветствовали героя, запускали, гремели, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку, *Петьку забияку!* Красин, Паша Литвинов, *гуманный внук воинственного деда*, аристократ в революции, в аристократизме что-то есть волнующее, мы относились к Паше благоговейно и с повышенным вниманием, Алик Гинзбург (Там некогда гулял и я! Еще как! А — то!), витийством резким знамениты, собирались члены сей семьи, наши, наши! вся московская интеллектуальная элита собиралась у нас, паслась, идей набиралась, тянулась к нам, в Мекку, кухня аккумулировала интеллектуальную жизнь Москвы и России, здесь зародилось и расцвело пышным махровым цветом инакомыслие, всяческий и разнообразный андерграунд, правозащитное движение, да и вообще, хочется смело говорить о тайнах чудесного промысла, путь зерна, ведь и Наташка, по сути, если хорошенько и досконально разобраться, с нашей кухни, и Люська у нас познакомилась с Заступником, милейший человек, святой, наш кадр, мы ему подкинули идейку, не будем распространяться на эту тему, у нас их тьма-тьмущая, наводнение, куры не клюют, нам не жаль. Так называемые «шестидесятые годы» родились в пятидесятых и на кухне; мы принимаем коварный, ядовитый, злобно-трусливый вызов Шафаревича, фанатически злобен, в сердце клубок змей, антисемит чистейшей, прозрачайшей воды, антисемит высокой пробы, так сказать, просвещенный антисемит, что бы он ни говорил в свое жалкое оправдание! никто не сомневается, что под *малым народом* он понимал евреев, а самое интересное и любопытное, что о малом народе он говорит в терминах, которые обычно используются медиками, когда речь заходит о раковых опухолях, страшных монадах, привнесших в тему смерти особую остроту и горечь; так вот, мы принимаем вызов и готовы встать на защиту святыни, кухни, громко и во всеуслышание гремящего громами открытого письма, отбросив благодушие, не медля, швырнуть в лицо обвинение, сказать Шафаревичу, что разлюбозное ему христианство было таким малым народом, жило по своим законам, сначала двенадцать апостолов, затем еще семьдесят, маленькая община со своим моральным кодексом, со своими заповедями, со своей Дверью, промелькнуло несколько веков, и античный мир оказался разрушен изнутри христианством, христианство становится государственной религией, так-то, разве не так? а Шафаревич считает себя христианином! что вы на это скажете, Шафаревич? вам остается сказать, что есть хорошие малые народы, а есть плохие! Погоди,

и до твоей математики доберемся, все ли там в порядке, не вкралось ли огрехов, нет ли ошибок, передержек? Берегись! Жди сенсационных разоблачений.

Много позже, кажется в 69-м, в славную летопись кухни записано черным по белому и крупнейшими буквами, что у нас бывали и Володя, и Ледик, приводили Веню Ерофеева, и Веня на нашей интеллигентной кухне опубликовал впервые «Петушки», учинил шумный куриный переполох (самое оно! самооткровение!), наши девушки, затаив дыхание, слушали, обезумели, рты разинули, и у них от энтузиазма и бешеного восторга это самое, целки полопались (бывает, бывает, к последней метафоре подтолкнул нас Герцен, читайте Герцена, страница о Гарибальди, «Былое и думы»), словом, хор в восторге! неумеренно изумлен, раззадорен, бурлит и даже слегка глупеет, о, это колдовское обаяние мата! и щит, и меч! свежие девичьи ножки сами забедовали, выйдя из-под контроля головок, и в прекрасном порыве сердца изволили пойти в безудержный пляс, баба сеяла горох, прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок, пусть цветут все розы зла! там, где по тексту следует подпустить знойного матюга (в мате есть что-то бодрящее и освежающее нежную девичью душу, рождающее подлинное «воодушевление» — в духе эстетики Фихте, вспомним, что восторг по своей имманентной природе тяготеет к соборности, в этом, и только в этом смысле, можно говорить о его глубинной объективности), полумрак, романтическая обстановка, Веня перебирает струны гитары, о, власть струн! голос Вени неопытный, хриплый, срывающийся в сухой, ларингитный кашель, ларингит — болезнь профессиональных болтунов и ораторов, Демосфен страдал ларингитом, но проникновенный голос, очень старательный, и, все мы дружно, хором решили, что голос Вени «вещий», и Веня стал для нас выше солнца и выше богов, первооткрыватели, пыл Колумба, носились с ним, как с писаной торбой, тут же быстро, оперативно перепечатали замечательное произведение, себе один экземпляр оставили, с благоговения добрейшего Вени по Москве пустили, и эта гениальная вещица мигом разошлась по рукам, головокружительный успех, принесла Вене мировую славу, не кухня у нас, а литинститут, где раскрываются, куются, пестуются, шлифуются, полируются и ...

(Поздравляем Веню: — Холоймес! Блеск! Самый смак! Не в бровь, а в глаз! Снайперский выстрел! позволили с женской пытливей бестактностью удовлетворить горячее, страстное женское любопытство, ум за разум, досаждали, экстравагантный, полуфантастический образ нас нисколько не смущал, не оскорблял, мы понимали, что здесь кроется что-то важное, глубокий и

таинственный смысл, хранятся тайны для ума взыскательного, глубокого, пронизательного, спросили прямо, почему Веня, ну, естественно, его лирический герой, alter ego, совсем не пысает, вопрос, что ни говори, бестактен, желание проникнуть во внутреннюю динамику основного вдохновения и интуиции, а все же безумно интересно, ломаем голову, в чем ключ к этой загадке? романтический порыв и прорыв в заоблачные дали? посрамлен низ человека? нет ли здесь теологического подтекста, аллегии, иносказания, символа? Некоторые считали, что Веня здесь дрейфует, скользит к католицизму, хитро, лукаво посрамил православие; Веня — ослепляющая глаз звезда первой величины, редкостный прозорливец и пророк, его книга для взрослых, а не для дураков, носит исповедальный характер, провидческое видение России как страшной, опасной, затягивающей трясины, расширяющейся черной дыры, игрища темных, отвратительных иррациональных сил, честная книга, мистерия, хочется со вкусом и вкусом процитировать: *типические характеры в типических обстоятельствах!* никто другой, окромя избранника небес Вени, не смог бы так глубоко проникнуть в русскую душу, развратную, мерзкую, растленную, распушенную, пустую, пьяную, грязную, книга о русском человеке, о России; холоймес холоймесом, но мы позволили себе и критические замечания, а как без этих замечаний шлифовать талант, незначительные уколы не отменяли восторга и неумеренного изумления перед вещницей, может быть, мы немного увлеклись, настырно, рьяно старались убедить, охмурить Веню, пускались во все тяжкие, пошли дружно переиначивать, не мытьем, так катаньем, учинили маленькую бузу, говорили все вместе, складно, согласованно, ликом неистовым, порывно, азартно навязывали автору свое мнение, пошли пороть отсебятину, чуть ли не в соавторство лезли, давали советы, как улучшить, усовершенствовать роман, и смех, и грех, допустили не очень уравновешенное, выверенное слово, обидное; и Веня после недолгой распри с самим собою демонстративно заткнул уши, впал в патологическую откровенность и одновременно ушел, уполз в себя, улитка, можно сказать, спрятался за шокирующей откровенностью, не видно нашего Вени, назвал свой характер «говнистым», сказал что-то в том роде, что и сам подумывал внести именно эти изменения, но теперь на зло нам ничего не будет менять, довольно об этом, расписался в своем ослином упрямстве, отверг все, что мы предлагали, а давали мы Вене вполне ответственные и разумные советы, ничто так не оскорбляет, как разумный совет, как разумный довод! предлагали изменить конец для пушей гениальности, не упрямясь, не ленись

Веня, ну зачем так явно, откровенно идти на плагиат, это же стибрено у Кафки, да стибрено, слямзено, зачем это дурацкое Ю, вырезать, выкрасить и выбросить, где ножницы? кухня не молчала, кухня честно сказала: — Веня, дружок, голубчик, измени конец и как можно скорее, все, все, включая пошлое Ю, выкрасить и выбросить, и только не уверяй нас, Веня, что ты никогда не читал Кафки; начало у тебя гениально: «Все говорят: Кремль, Кремль. Ого всех я слышал про него, а сам ни разу не видел». Вот и закончить тем, где твой замечательный герой видит Кремль, сам вот же пишешь: «и вот теперь, наконец, — увидел». А дальше гимн Кремлю страницы на две! Никто так хорошо не напишет восторг перед Кремлем, как Веня, может, твой герой даже становится трезвенником, увидев Кремль, великолепный, сияющий мавзолей, а!? напустилась, разошлась, перестаралась, переусердствовала кухня, без обиняков нехорошие слова долдонила: слямзил, стырил, плагиат, глупое, пошлое Ю, выбрось Ю, тупица! слюной брызгали, бывает, слишком переусердствовали в педагогике, ложка рвотной касторки, когда боролись, яко лев, за очевидности, утверждали нормы литературного вкуса, перегнули палку, уязвили, обидели мы славный талант, видать, блаженный Веня раскатал нос на одни похвалы и восторги, у Вени свое отнюдь не крошечное самолюбие, естественно, не без этого, тонкая душевная организация.

Наш славный Веня, анфан терибль, большой ребенок, хохмач, бедовый шалун, безудержный проказник, весь нахохлился, сперва что-то невнятно, неразборчиво прогумкал себе под нос, нечленораздельные звуки, Пифия, нечистое, неинтеллигентное, развязный полубред, потерял рассудок, изволь догадываться и интерпретировать, мол, не судите выше сапога, что-то о нашем высокомерии, самоуверенности, самоупоении, чванстве, о ядовитых зубах евреев, так мы расслышали, мы не глухие, мы навострили уши, за живое задел, внимательны, засим шепнул о разьедающей все и вся еврейской иронии, что-то еще о трагедии еврейского гения, который фатально обречен на подозрительность, ужасы, страхи, бзики, на полное непонимание России и русского призвания, русской идеи, на патологическую ненависть к Христу, мир хорош! к христианской цивилизации; если Веня думает, что его балагурство и шутовство очень остроумно, то жестоко ошибается! пить, голубчик, надо красиво! Мы сосредоточились, проявили жгучую озабоченность, странно нам это слышать, хороши оговорки, жди кишиневского погрома, заявили с оттенком нарочитого, форсированного недоумения, мол, дико извиняемся, но мы абсолютно не понимаем Веню, ослышались

что ли, очень вежливо предлагаем спокойно все обсудить, попросили пояснить, растолковать, объяснить, сделай милость, дружок, растолкуй, точнее выразишь, изъясни, дружок, в чем собственно дело, ответь за галстук, не трожь рабочий класс, а то получишь в глаз, навалились, куча мала, всем кагалом, почти скандал, Веня лишь буркнул что-то вовсе нечленораздельное, раскис, на глазах редуцируется в громадного караса, бледный вид, демонстрируя, видимость почему-то была плохая, интеллектуальную немощь, осекся, поперхнулся, сделал морду, изобразил, кость в горло попала, залетела, встала поперек, ни туды, ни сюды, гладил нежно, долго горло, смутился, трусливо хвост поджал, готов дать деру, вилял, темнил, морда блудливая, противная, бесхарактерная, растерянная улыбка на лице, капризная, давился улыбочкой, пролепетал робким хриплым, бедным интонациями, замогильным, отнюдь не пророческим голосом, бульканье бессвязных слов, чур чура, все не так, то была шутка, схулиганить потехи ради очень и очень хотелось, фрондировать, чтобы разрядить затхлость, закрытость, футлярность, скорлупность обстановки, скорлупностью, футлярностью и невыносимым высокомерием мы якобы отсекаем, изничтожаем живую жизнь, за словечко «шутка», как за костыль, ухватился, в душевном смятении повторял его.

Наша взяла!

Головонойка пошла на пользу, усмирен распоясавшийся было Веня, наше искушение и головная боль, кухня, по правде сказать, не считала, что это классическая визитная карточка Вени, что в нем поселился дух тьмы, так, мелкий сатанойдик сиганул в обиженную душу, пусть очень активный, но как сиганул, так и выскочит, простила ему пошлую, дурного пошиба шутку, зачеркнули смутные предчувствия и кощунственные догадки, знаем, знаем, все говорят, что этот Веня большой шутник, речистый остряк, любит придуриваться, озорник, охальник, немного юродивый, затейник, балагур, шалун, мистификатор, мастер галиматии, сарказмов, глумов и завиральных гротесков, страсть к хохмам, проделкам — творческая страсть, бедокур и безобразник, со всячинкой, соскальзывающий порой в достоевщину, не будем же ахать, что нас ждет? Веню следует приручить, выдрессировать, пасти, оградить золотой клеткой, человеком сделать; надемся и верим, что то были не сокровенные бессовестные думы помраченной пьяной души, лезущие из потайных иррациональных глубин сердца, физкульт-привет, следи за собой, обуздывай; есть ситуации, когда шутки и хохмы, кривое ружье, амфибии, перекасти-поле, пятый ташкентский, квазиритуальное убийство царя, неуместны, а тем паче — ядовитые зубы, геббельсовская терми-

нология, не будем абсолютизировать случайно сорвавшуюся с языка обмолвку, мы от Володи знали, что Веня отнюдь не православный, а просвещенный католик, кухня тихо искренне радовалась, что Веня не православный: нет ничего более омерзительного, грязного, вредного, рвотного, чем кондовое, сермяжное, тухлое, вонючее, раболепствующее перед властью, социально опасное, реакционное, черносотенное православие, обряды, жесткий формализм, ритуал, свечечки, батюшка, благословите, батюшке не до тебя, небрежен, невнимателен, некультурен, туп, бестолков, темен, нет душевной тонкости, рассеян и замучен бытом, затюкан катехизирующими поучениями уполномоченного по делам религии, все они, включая патриарха, большого патриота, одним мирром мазаны, мирротечение, протоколы сионских мудрецов, самодержавие, православие и народность, торжеству православия, попам вонючим, нельзя давать власти, костры инквизиции сразу вспыхнут, запольхают, злоба, лицемерие, псевдодуховность, средневековые, дикость и бескультурье, страх перед прогрессом, наукой, общечеловеческими ценностями, черносотенцы махровые, воинствующие, служат *там*, связаны кровно с системой и несут прямую ответственность за *катастрофу*.)

... и раскручиваются таланты; глянь, примечательная, забавная, пикантная подробность, отнюдь не приснилось, все на яву и при свете солнц в шестьдесят свечей, вообразите, ненадежный, трудновоспитуемый, инфантильный (инфантилизм — болезнь русской интеллигенции), зацелованный Веня ...

(Продолжаем строить мост, в этом мы непревзойденные виртуозы, окатив педагогическим презрением, простим ему, нервному и раздражительному, психопатические амбициозные шалости, вывихи, заскоки, закидончики, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких, для молитв, талант требует призора, тем паче русский, слишком русский, нуждается в том, чтобы его одернули, укоротили, направили на путь истины, ввели в строго определенные рамки; свобода антиномична, иррациональна, трагична, русский человек внутренне свободен, увы, душу его рвут ревущие, вопиющие антиномии, грязная отвратительная есенинщина да сатанинские экстазы пьяного Мити Карамазова, темна природа русского гения, своеволие, бездонный декаданс, разврат, распад личности, поражения и неудачи свободного духа, его провалы, падения, утрата свободы, свобода оборачивается рабством, зависимостью от бутылки, да, таким неуравновешенным и слабым, как Веня, нужны внешние скрепы, обручи железные, кованые, колодки, колючая проволока, шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения, еще Достоевский

долдонил и очень уверенно, широк, широк русский человек, обуздить не плохо бы, как это метко! а вот Бердяев, тоже казалось бы прозорливый ум, пророческий, почему-то удивлялся, как могло случится и приключиться, что самый свободный народ, русский, тяготеющий к безгосударственности, анархизму и пугачевщине, в берега не загонишь, создал такую огромную и могущественную государственность, а чего тут понимать? потому и создал, что излишне свободен! трагедия свободы! дураку ясно, говорим же мы о людях сорта Вени, что такому другая жена нужна, чтобы в тисках, шорах и узде держала! на обывательском уровне все понятно и просто! чем свободнее человек, тем сильнее ему нужны внешние скрепы: антиномия! диалектика! в России эти самые антиномии на каждом шагу, ужасны, страшны, как гул океана; вспомним Достоевского, еще раз вспомним: начиная с беспредельной свободы, я кончаю беспредельным рабством.)

... ушел с нашей кухни ...

(Замечательная квартира, никаких ситуаций, трений, тем паче шумных скандалов, отдыхаем в Крыму всей колонией, Коктебель — наша вотчина, Бироны вполне приличные люди, хотя вообще-то семейка странная, мутная, к ним никаких нареканий, ведут замкнутый, непонятный образ жизни, тараканом быстрым проскальзывают в щель своих комнат, в Коктебель с нами не ездят, звали, идеальные условия, это тихие, культурные, корректные, аккуратные люди, безобразий не устраивают, на стене уборной говном не пачкают, не малюют лирических художественных откровений, посмотри налево, посмотри направо, посмотри сзади, ... ли ты, сука, вертишься! свет в уборной гасят, руки моют, хотя и русские, мы их, за глаза, разумеется, называем «почетные евреи», да и фамилия Бироны весьма сомнительна, явно не русская, на нехорошие мысли и подозрения наводит, а мало ли что там в паспорте у вас стоит, бить будут не по паспорту, а по морде и почем зря, что же касается Игорька, Ванюшина младшего,— так, Лилькин, пагубная нечаянность, вляпалась девочка, мать-перемать, наш позор, впечатляющий, полезный, поучительный урок, мы дружно и недоуменно пожимаем плечами, эка напасть, эка непотребство, экспромт, приспичило девке иметь мужа, вынь да положь, притом амбала спортивного, танцы-шманцы до добра не доведут, девка на вторую жирную, смачную букву и без царя в голове, как ты дошла до жизни такой, прямо-таки Мария Магдалина, но не та, которая встретила Христа, а та, которая еще не встретила и никогда не встретит, вот вам результат, лучше бы в подоле принесла, комод, комод здоровенный, не подходит к сердечной интеллигентной квартире, буйвол, проле-

тарская и из ряда вон выходящая серятина, пакостная пошлость и сплошное неприличие!, разведись, заклинаем памятью отца, какое счастье, что он не дожил до такого позора, эта сучка фыркает, эту пластинку она уже слышала, брыкается, как кобылица задом и передом, дерзит хамка, разводит агрессию, подколотная, не уважает старших, оказывается, мы старомодны и дики, колкости, не ваше дело, не учите меня жить, бунт против кухни, нахалка, хабалка, наглая, наглая! вздорная дура, забросила за мельницу узду элементарного стыда, демонстративно напялила крест, вольнодумство, вызов, символ свободы, моральной распушенности, хороша нынешняя молодежь! не суйте свой длинный классический нос не в свое дело, не по хорошему мил, а по милу хорош, говорит, живут душа в душу, глаза лживые и порочные, вся в мать, мой миленок, что теленок, говорить с ней, что воду в ступе толочь, дерьмо собачье, этой вонючей паразитке пошла бы хорошая порка: и не проси пощады! этот Игорек ее — пронзительное концентрированное хамство актуализировалось, прямо на поганой, пакостной морде написано, бич пошлости, тьфу, слышать о нем не хотим и не желаем; горячее, любящее, настоящее еврейское сердце знает, что в смешанных браках нет ничего путного и хорошего, тема деликатная и крайне щекотливая, реализм, из реализма и выше головы не прыгнешь, да, таковы догмы честного, мужественного, любящего еврейского сердца; одна надежда, что Лилька поганую морду не пропишет, пора пресечь в корне все поползновения, извергнуть из тела кухни, потом хлопот не оберешься, уйди от нас, добром просим! А этот, отец Лилькиного, так сказать, свекор, Ванюшин старший, Иван Иванович — феномен, холодный пот, иррациональный, патологический страх, шоковое состояние, наша беда, наша паника, эсэовец, фашист, кухня робеет перед страхом, затхлый дух и одичалый мозг, сыск и кухня тайных канцелярий, дикий свист шпицрутенов и розг, по-настоящему испытывает великий, вселенский мистический ужас, представьте, на вашу кухню входит Макбет или Сталин, сознаемся, сходу теряем душевное равновесие, увидев Ивана Ивановича, в этой душе громадный злобный тупой крокодил, душа человека имманентна своим проявлениям, устроит нам счастливую жизнь, этот **какосодигос** ( $k+a+k+o+c+o++d+n+r+o+c=20+1+20+70+200+70+4+3+70+200=666$ ) вырос и трансформировался в наших глазах прямо-таки в сказочно-былинного богатыря дикой, титанической, сверхъестественной силы.

Ой, странно и страшненько, гипнотическое воздействие, жуть берет, кровь стынет, в глазах темнеет, суеверный рвущий душу

ужас! прямо страшный, лютой, допотопный исполин, сверхмонстр, Илейко, помните Васнецова, «Богатырская застава», эта картина, орясина, которую и назвать произведением искусства нельзя, ее эстетическая ценность крайне сомнительна, если просто не равна нулю, не случайна эта дешевка любима, на обоях, она действуют на нас даже хуже, чем мог бы задеть какой-нибудь прямой акт нетерпимости, действует, как красная тряпка на быка, да, да! самодержавие, православие и народность! невыносима, страшна магическая власть этих магических слов, как взгляд змеи околдовывает вас, энергетика, они так и пышут энергетикой, чудо-богатыри, великаны, каких не бывает, сказочно-былинные монстры, взбесившиеся Голиафы, русские архетипы, вечное, давящее прошлое, заиклившееся на себе, Алепа Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, муть, страшный болотный призрак, темная и безумная злоба, черносотенные идейки, отрицающие в корне глубокою кухню, поступательное движение истории, отрицающие веление времени, прогресс, цивилизацию, элементарный правовые нормы, кровь холодеет, степь да степь кругом, ковыль, скучная полынь, чего интересного в ней нашли, романтический емшан, неременная и примечательная чарка зелена вина, темное, тупое, лютое скопище монстров, эта страшная, беспощадная мифологема грозно приближается, надвигается на вас, мстит неразумным хазарам, следы невиданных зверей, на этих следах запросто можно зуб мудрости сломать, все это так называемый русский героический эпос, гей, славяне! а как же тогда *несть ни элина, ни иудея*, лицемерие сплошное, как до революции, так и сейчас, сидень, атаман ихний, тридцать три года, возраст Христа, «Илья Муромец и Жидовин», не имеем вкуса к подобным былинам, огорчительная антисемитская мерзость, необъяснимый и всеобразный магнетизм, сила, этого зверя мы патологически боимся и очень, есть к великому сожалению такая былина, фальшак скорее всего, следует проверить и перепроверить, безусловно фальшак, типичный фальшак, видно невооруженным зорким глазом, случай для студентов, хотя сделан, отдадим должное, талантливо, махнет Илейко рукой правою, — / поскользит у Илейки ножка левая, / пал Илья на сыру землю; / сел *нахвалящина* на белы груди, / вынимал кинжалище булатно, / хочет вспороть груди белыя, / хочет закрыть очи ясныя, / по плеч отсечь буйну голову. Илейко, Илья Муромец — защитник земли русской, мать-сыра земля ему помощница, символизирует неоторимую мощь, здоровые, витальные силы народа, народа-богоносца, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный, исходил благословляя, это уж непременно!

А у нас одна забота, грызущая, очередная задача, даже сверхзадача— развести Лильку и этого, хи-хи, Игорька, бывают ситуации, когда надо быть деспотичным, жестоким и даже несправедливым, как раз такой случай, основная интуиция нас никогда не подводит, вперед! за святой призыв вперед! твердость и жестокость, жестокость и твердость, жизнь есть борьба, и вся-то наша жизнь есть борьба, мы раздуем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравниваем с землей, наш священный долг, азбука! потаскуха Лилька! разбитная вертушка, пылкая, фигуристая, смазливая вертихвостка, можете себе наглядно представить, нагло, затейливо, агрессивно, энергично, inferнально вертит и виляет правым полужоппием, одного мужика явно ей мало, как всякая лживая русская баба, готова отчаянно флиртовать и кокетничать с первым встречным мужчиной, Пушкин журил жену за то, что та вся искокетничилась, чем это кончилось, всем известно, ведь флирт, кокетство, есть не что иное, как тайное согласие на бесстыдное, жадное прелюбодеяние, в этом смысл, логика и динамика флирта, Пушкин прав, было бы корыто, свиньи найдутся, наша ягодка страшно любвеобильна, темпераментна, сочные, жаркие, нетерпеливые губы густо накрашены, голая сексуальность, праздник похоти, в сердце бурлит и клокочет вечный праздник, заземлена, трясины, где у нее душа? помолчала бы лучше, между ног у нее душа, вместо сердца пламенный мотор, одно на уме, вся в мать, выблядок, задиристая поганка, безобразница, глаза бесстыжие и наглые, глаза наглой, лживой русской бабы, глотничает, ей слово, она — десять, зубастая, бестактная и наглая метростроевка, полукровка, гнида всегда вошью вырастет, как ее ни воспитывай, это уж непременно, генетика, закон это, оставим главное на потом, не надлежит спешить, форсировать, с нами Бог! Ты держишь жребий наш! да восстанет Бог!)

... сразу, не поверите, с тремя прелестными девами, исключительные грации, розы, глаза разбегаются, цветущие розы, загляденье, все трое замороженно потянулись за ним, слаженно, разом хвосты Вене подбросили...

(Дело прошлое, для вящей справедливости нельзя не отметить, одна из дев полукровка, гордость наша, самая молоденькая и занозистая, юное дарование, всезнайка, профессор, решительное совершенство, интеллектуалка, с изюминкой, и изюминка не с мелкого таракана, шкодливое, бессмертного, рыжего, а с добрый кулак, на тебя заглядеться не диво, тонкая штучка, а стихи какие пишет, следует все же отметить для полной объективности, некоторые злые языки утверждают, что под Пастернака густо шмаляет, пустопорожние, заумные, головоломные, выпренные,

прихотливые сложности, пустое псевдо, пустая вычура, редукция, чешет левой рукой правое ухо, затемняя Истину и Солнце, чванливый бред сивой кобылы в лунную ночь, завистники так говорят, чужь собачья, никакая не вычурная сложность и не специфический темный лес, где нет деревьев, пустое мелют, язык без костей, оригинальные стихи, пусть немного заумные, намеки, полутени, мистические серебряные дали, мыслей хоть мало, но они большей частью подлинно глубокие, переусложненные метафоры — не пустые темницы смысла, за всем этим знаток увидит поиск внутренней семантики слова, скрытого за предательской, внешней, нечаянной, озвученной оболочкой, раскрытие тончайших нюансов эмоциональных вскрипов души, слово на ваших глазах расцветает в символ, разгадан шифр Трансцендентности, и вы, ошпаренный, очищенный, как после парилки, внутренне окатарсисованный вдруг оказываетесь перед эмоциональным престолом истины; темна, ой, темна бездна поэтической гениальности! это мощный, зрелый талант, поэты, математики рано взрослеют и сплющ да рядом достигают вершин, пределов в нежном возрасте, наша-то гениальность с грудного возраста ловка и сильна в стихосложении, и откуда, скажите на милость, такая умница? откуда это юное совершенство? сеют ли? сами собой зарождаются? как откуда? с нашей кухни! на кухне ее стихи высоко котируются, бесцеремонно цыкнем на невеж: — Осторожно, искусство! А какая девочка! егоза, трепетная лань вечной мужской грезы, изысканные, чудные телеса, цветут, как май майский, сочные, талия я те дам, осиная. А ножки! свежи! вы знаете их наизусть, они будут потом мучить ваше сердце, преследовать всю жизнь, качественные, первой свежести, ослепительные икры, очень озорные эти ножки, озорная юбочка, современно, фасон давит, от хитрой, шаловливой юбочки исходит опасность для мужиков, в глазах темнеет, воображение жутко воспламеняется, все помыслы вашего слабого мужского сердца фокусируются, концентрируются, устремлены на них, вы влипли, как муха в мед, на всю оставшуюся жизнь, горестные заметы, искалечена ваша психика, все идет кругами, крутится, вертится шар голубой, лезут, лезут в голову эти проклятые ножки, в ночные грезы врываются, самозарождаются, наплывают, сосут сердце, язвят его, пучина наваждения, дьявол! красючка долговязая, век свободки не видать, очаровашка, милашка, нежная, с места в карьер прознобит, задерет, всполохнет вас, будь вы хоть непогрешимым Папой Римским, хоть печальником, отшельником, пустынным, искушение святого Антония, прошедшим невыносимый духовный подвиг, простоявшим на камне восем-

надцать лет, разбудит нетерпеливый высший голос природы и тогда не спрашивай, по ком звонит колокол, сердце разбито вдребезги, да что пресловутые ножки, глаза какие! серые, томные, глаза испуганной газели, и одновременно какая искрометность, пронзительный, пронизывающий вас насквозь девичий робкий взгляд, из этих чудных глаз струится свет нездешний, обещающий нездешнее блаженство тому, кого душой она полюбит, к сердцу прижмет, блаженство здесь, на земле грешной обрящете, рай у вас в кармане и на аркане; поведет стервоза, это мы любя ее так назвали, серыми глазами, улыбнется, и вы уже готовы на немислимый подвиг, вы уже рыцарь, Георгий Победоносец.)

... отлично Венья смотрится в цветнике, очаровательный контекст, эмпирическая картина на наших глазах нетерпеливо переплывала и довоплощалась в мощный символ; но как сразу с тремя гневить Троицу? Где-то когда-то кому-то Кузьма, умный башка, ей, умный, с мудрым спокойствием парировал, что перспективнее уходить с одной (своя и очень интересная арифметика, Кузьма всегда прав!), ему виднее, гению и Моцарту интима, глубок и разносторонен интимный опыт, но, отметим, очень своеобразны звериные лукавые тропы, которыми крадется и ведет к цели все живое инстинкт жизни, и если верить Мазусу, можно и с тремя гневить Иегову (Ягве?): блеснул Мазус на нашей кухне фантастической историей, которая якобы приключилось совершенно случайно, опять, который раз! жуткое стечение обстоятельств, такого вообще не могло быть никогда! Чудеса в решете! запало в души, обыкновенное чудо! не шинель, не метафора, а вакхическая мощь, сияющий лагерь, золотые деньки, в лагерях все возможно, все ярче, лучше, талантливее, фееричнее, лагерь — экстракт и квинтэссенция реальности; и на нашей кухне, ныне такой легендарной, высота потолков — во всей невозможной красе поднебесье, здесь выкристаллизовывался и определялся вектор современной культуры, не преувеличиваем, а если и преувеличиваем, не слишком сильно, не очень, не одного Веню вывела на орбиту наша интеллигентная кухня, дух захватывает, дореволюционные головокружительные потолки, я те дам, так нынче не строят, экономят на всем, на здоровье нашем, ай да кухня! чистенькая, ухоженная, звенит, сияет.

Лишь Эдик Бирон не понял нас, целиком и полностью свихнулся на Иване Ивановиче, Лилькином свекре, от него ни на шаг, это как-то даже некрасиво, да, выходит некрасиво, дурно и постыдно, подозрительная, смущающая странность, любит больше треп с этим неприличным, грязным типом (судя по всему, антисемит, каждое словечко антисемитизмом подпахивает, прямо

эпидемия антисемитизма, такого Илейко и человеком в полном смысле слова считать нельзя, грязная нелюдь!), чем нашу сердечную теплоту, наши обильные ласки и всяческие расшаркивания, реверансы, наши искренние восторги перед сидельцами и страдальцами с настрадавшими душами (с придыханием и на ура Эдика приняли! прощали ему «австрийский шарм лапочки Адика», так, хохма, эпатаж, шутку мы понимаем, ценим, прощаем и Вене, и Эдику), не пленен Эдик нашими посиделками, чтением стихов, которые ритуально начинаются с того, что мы весело дружным, спевшимся, слаженным хором рываем, словно то символ веры, «Заблудившийся трамвай» Гумилева: наш гимн; эти радения Эдик не принимает всерьез, не жалует вниманием и нос воротит, не ловится на блесны уловистые, демонстративно и нарочито моргает глазами, брезгливо морщится, как на фальшивую монету, брюзга, вечное брюзжание, с нами ему неинтересно, дребедень и лабуда, журфикс, скучная, болотная, затхлая мертвечина, с тоски можно удавиться и со скуки, океан мещанства! умора, три ха-ха, претят ему наши восторги, курьезный характер у Эдика, большой оригинал, представляете, он обвиняет нас в мещанстве! хорош гусь, умора, три ха-ха! черствость и хромота душевная, не достучишься, обдает нас презрением, мура да и только, а что не мура? считает нас неискренними, научи, как быть искренним? бойся Бога! колючка, злая сплошная колючка! чего еще надо? урод, какого рожна? вниманием не удостаивает нас, свинья же ты, как не стыдно, не плюй в колодец, всему есть границы, есть границы терпению, хотя они и сильно размыты, у нас на душе могут нарасти мозоли, кому-то будет ой как плохо, наплачешься, да будет поздно; смотрим мы во все глаза на Эдика, на его тайную влюбленность в бедоносного, одиозного Ванюшина, разбившего Гитлера, не нравятся нам их сомнительные разговоры, как бы антиподы друг другу руки не протянули, не обнялись, того гляди обнимутся, жизнь глубже нравственности, не удивимся, если Эдик с Иваном Ивановичем, Лилькиным свекром, пойдут водку пить, и пью особую московскую я водочку, и по-особому бываю пьян потом, разлюли малина, у нас здесь не распивочная! это на Руси называется свержением самодержавной власти мещанства, протестом, а вот у поэта всемирный запой и мало ему конституций, а по-нашему это не что иное, как стремительная деградация личности в алкогольную пошлость, пьянь, гадкая, русская, беспросветная, до чертиков назююкиваются, пляска смерти, достоевщинка, черная, грязная, отвратительная, пьяная есенинщина, кузьмовщинка, сложные, двусмысленные, нерелевантные, опасные отношения начинаются и никогда не

кончаются, запредельны, извращенная зеленым змием и беспутная воля, распушенность, развращенность сознания, предательство; в том, пожалуй, и состоит уникальность и подлинность еврейской души, что она трезва, четко сознает границы миража, радуги и земли, добра и зла, умеет сказать решительное, непреложное, *героическое нет!* иммунитет, нам с вами не по пути! в этом наша гениальность; да, вполне допускаем нравственные перевороты, на этом держится вера в человека, гуманизм, но перевороты редки, как святость, практически можно считать, что их не бывает; мы Эдика увещевали, энергично предупреждали и не раз, серия одергиваний и предупреждений, придержи язык, впрочем, как знаешь.

Нет, уж поверьте нам, не по наущению кухни, не кивайте, что с нашего голоса, что это мы специально его науськали, сам полез, сам, быка за рога, не чикался, с расстановочной, въедливо, лихо, язык непроизвольно сам собой заботал, заблямкал, чувствует себя в отличной форме, взбодрен глушилкой, минута умственного озарения, обсасывает вкусные слова, и они легко с языка соскальзывают:

— Ваш Устинов говно, палец о палец для вас не ударит, шобла, советское говно, и этот, вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач, Георгий Робеспьерович, говно, и, так называемое, руководящее ядро ЦК говно, да они в тысячу раз хуже Сталина, согласен с вами, вы трижды правы, восстанавливают ленинские нормы, да зачем нам все эти сомнительные тенденции в динамике базовых политических ценностей, неужели не понимают, что сами под собой сук рубят, к чему эти разговоры о руководящей роли партии, курам на смех, она лишь мешает работе, вообще запретить ее следует, как зло! Сталин прав, трижды прав, что презирал малявок, всю эту сволочь, не созывал съезда партии, настоящим работягам съезд не нужен; быстро распустились без Хозяина, подняли голову силы зла, и вся эта бесчестная, подлая, трусливая шобла навалилась на Лаврентия Павловича, *остались от Берия одни лишь пух да перья*, мысленно почтим его память вставанием, разумеется, лишь мысленно, будем осторожны, а он хотел центр власти перенести в правительство, колхозы распустить, в газетах о колхозах писали, ей-ей, сам читал.

Затем Эдик совсем тормоза отпустил, отколол огнеопасный номер, гори все синим пламенем, забвение себя полное, чистое безрассудство, напомнил, обналичил этак запросто, что Ванюшин живет в Москве без прописки и на птичьих правах, квартира общая, мы не против, нам, татарам одна, трам-бам-бам, следует

повелительное наклонение от глагола ховать, помните исторический анекдот, едут в карете император Николай Павлович, Жуковский и наследник, наследник видит на заборе это словечко из трех букв и спрашивает, папа, что сие слово значит, а император увернулся от ответа, говорит, что с тобой рядом учитель изящной словесности, пусть и объясняет, для того и держим, у него и спроси; Жуковский нашелся, говорит, что это повелительное наклонение от глагола *ховать*, император рассмеялся, вынул золотой портсигар, обсыпанный бриллиантами, протянул Жуковскому: — На, ...!

— Так на чем же мы остановились? о чем, бишь, я говорил? да! наша хата с краю, меньше знаешь — меньше спросится, но какая-нибудь Капа-Капитолиночка не может не капнуть, стукнуть, о тэмпора, о морес, еще Цицерон говаривал, о времена, о нравы, люди есть люди, заявится ночью участковый, накроет с поличным, предъявите документы, выведет на чистую воду, вообще-то непорядок с точки зрения закона и чистоты принципа, которому вы всю жизнь честно и самоотверженно служили, блюли кодекс чести, несли ратный крест, крест вояки и воина, ваша замечательная жизнь проникнута единым идеалом, мощным единым принципом, а тут мелочитесь, слабина, без прописки живете, фи! за это можно и срок схлопотать, не будем стущать краски, годик лагеря, промелькнет, не заметишь, пять лет, говорят, сами знаете, язык, понятный посвященным, а мы с вами посвященные, детский срок, а тем паче годик, больше года первый раз не дадут, пустяковое дело; в «Матросской тишине» будете сидеть, там нынче такие дела, я там практику проходил, режим не строгий, это недалеко отсюда, совсем рядом с метро «Сокольники», студенческое общежитие МГУ там, психушка, туберкулезный диспансер, ах, да, туберкулезный диспансер не там, ближе к метро, вы абсолютно правы, как всегда; а вы (тут же не замедлил ввернуть) интересовались, значит, «Матросской тишиной»? передача, ларек чудный, были бы деньги, и сыну недалеко передачу носить, позвольте пояснить, у меня и кодекс в руках, случайно с кодексом вышел на кухню, юрист, настольная книга, не расстаюсь, с ним ложусь спать, как с бабой, очень занятая и интересная книга, так вот, раскошесьте на малую толику внимания, прошу внимания, на нас идет Германия, она нам нипочем, ее мы кирпичом, пора этот вопрос нам проработать, как следует, ха! не ошибся ничуть, у Бирона отличная память, все так и есть, звон достойно! фирма! марка! смотрите, черным по белому, не требуется особого интеллектуального напряжения, но все же мобилизуйте свое внимание, больше трех дней не разре-

шается в столице нашей родины Москве без прописки жить, тут так сказано, нехорошие, серьезные слова, «влечет за собой», как говорится, преступление и наказание, не шутите с этим, не говорите, мало ли что, закон, что дышло, как повернул, так и вышло, по воде вилами писано, так-то так, а выльндят, запоешь, не так еще запоешь, я понимаю, это возмутительно и ни в какие ворота не лезет, немыслимая страна! демон этого ведомства не мой покорный, преданный слуга, и не я такие прекрасные законы писал; судьи, судите, рядите сами, новая публика, молодые карьеристы, очернители прошлого, ничего святого, перед начальством стелются, для них не существует старых заслуг и подвигов, вашего брата они недолюбливают и побаиваются, свою независимость почуяли, для них вы были и есть опасный осколок Берия и его правая рука, ваше политическое лицо не вызывает сомнений, Змей Горыныч, удушающий смог, мешающий движению, вы же озлоблены, ожесточены сердцем, реакционный заслон на путях светлого прогресса, оттепели.

— Эренбург, проститутка старая, подлая, пробы негде ставить, пустил словечко *оттепель*,— продолжал Эдик, — а ведь был любимым евреем товарища Сталина, лауреат Сталинской премии и не одной, ублажали его, зря большевики не дают премии, угодил. Как волка ни корми.

Какая оттепель? подумать только, Университет, Академия наук живут тихо, по старинке, солидные учреждения, там ничего не изменилось, броня крепка и танки наши быстры, а этим, срань либеральная, полное ничтожество, больше всех надо, безрассудные новшества, включая зачеты в лагерях, с ума посходили, эклер, метель, буран, смута в умах и сердцах, а поганая смута до добра не доведет, верен, точен диагноз; с нашим народом нужна строгость, лодыри и воры; говорите у сына живете, за правдой приехали, и не думаете здесь осесть, жидкий ответ, кто вам поверит, что и в мыслях не имеете осесть, наверняка заритесь и самым подлым образом, все хотят в Москву, да вы не похожи на пылкого, романтического искателя правды, ой, не похоже, что вы из тех, кто алчет и жаждет правды и вам нужен живительный глоток ее, что вы ее домогаетесь. Смышляете, Бирон насквозь человека видит, мне бы быть начальником следственного отдела по особо важным делам при министре госбезопасности: предомной честный, основательный, деятельный, крутой, хозяйственный, инициативный, напористый, энергия и воля, вы — русский мощный Штольц, России необходим жадный до живого дела Штольц, урядник, важный кулак, палка, Петр, читали Гончарова «Обломов»? Россия это страна сплонтяев, мечтателей, золото-

струйных губошлепов, маниакальных, патологических бездельников, разгильдяев, Обломовых, того гляди уснем или самовар изобретем, велосипед; предо мной вояка, лютый, тертый калач и роскошный стратег, а не безумный мечтатель и романтик, о! какой ушлый, какой прохиндей (безоглядный беглый огонь), устряк, какая устрица, какая хитрожолая устрица! у сына, значит, живете, насчет сына это вы хорошо придумали, советую запомнить и слово в слово на суде будете говорить, отбрехиваться, фуфло гнать, надо развить, усовершенствовать эту мульку, хотя, конечно, все равно получается нескладный стих, не в рифму получается, живете без прописки, голый факт, голый, голый! Москва слезам не верит; а вы явно обдумывали, что на суде будете говорить, так вот!

Эдик растянул свой яркий рот в торжествующую и с серьезным, наступательным подтекстом (лимон и уксус) улыбку (развязный адвокатский вывод под занавес, на этом надо было закончить партию, не смог, само, непроизвольно сорвалось с языка, несло, завис над пропастью, садистический приступ):

— За милую душу загнут салазки, от суммы и от тюрьмы, все под Богом ходим, два предупреждения, суду все ясно, вльндят вместо укропа, влепят за милую душу, со вкусом, и глазом не моргнут, и — лагерь, гунька третьего срока, сами знаете. Что? Через плечо! Туда и дорога. Поставят раком. Там словишь, там кому-то врежут, рога обломают, там кого-то взбодрят, там блатные тебя, суку, в два счета пришьют! Песенка спета, отжил. Деревянный бушлат тебе корячится, ждет не дождется, гондон сраный, сука позорная, рваная, гной!

Толкнуло сильно в бок, бди: — *Осади в зад!*

*Дайте дух перевести.*

*Береженого Бог бережет, заигрался, кончай балаган, кончай далеко зашедшее, затягивающее дураковаление, дурь, дурдом, антракт! кончай представление, отпрянь, не лезь на рожон.*

*Донесет, как пить дать!*

Неразвитый лоб Ванюпина, приплюснутый, боксерский нос, сила, какая сила! брови, щетина, жесткие, торчат торчком, дыбом, видели ли вы раненого, загнанного, взбешенного дикобраза, нет, вы не видели, полюбуйтесь: истребительная Медуза Горгона, огнедышащий дракон, клыки жутковатые сверкнули, вопрь свирепый, глаза интенсивно сатанеют, кровью налиты, набычился, косяка крутого из подлобья давит, ядом дышит, взмылен, как Буцефал под Жуковым на параде Победы, хвост бешеной змеей бешено вьется, кинется в карающем, хорошем, верном мощном, тигровом прыжке, амба! полетят клочки по закоулочкам.

*Берегись, пошла! Оторвись! Полуандра, рви когти!*

*Понух.*

К Ванюшину тянет, конечно, не так, как к глушилке (глушилка — ожог, черная зарница полного счастья, темного хаоса светлая дочь, прорыв, оргазм из глубокого солипсизма и в то же время как бы деликатес, изыск, увлекающее, чарующее, смущающее душу откровение, сулящее несказанное, революционное раскрепощение), все же очень тянет, мощным магнитом, краном тянет, сам, сам нарываешься, не скули, не жалуйся, не проклинай весь мир и все человечество, соблазны, соблазны, нет сил устоять, сопротивляться, пристрастился, болезнь, от страха адреналин в крови повышается, и — злодейка, лихоманка, мучает бессонница, лопушка.

Спать специально завалился пораньше, анархия чувств, жуть, уснуть не может, хоть плачь, аж во рту полынно-горький вкус бессонницы. Не приведи Бог залететь в тиски бессонницы. Не умеет усмирить злобные страхи, и, если днем он бесстрашен, как бульдог, яко лев, царь зверей, то ночь берет свое, сковыривает болячку и — понеслось! У каждого свои страхи, фобии, прославленный в веках Суворов, военный гений, патологически боялся зеркал, а чего в них страшного, зеркало и зеркало, отсутствует крупца, зерно горчичное здравого смысла, ну — каждому свое. У Эдика не так уж беспричинные страхи. Кто-нибудь донесет! Точно — Ванюшин, Карацупа вонючий, а то! не может не донести, профессионал, чекистская рожа, сам Бог ему велел, закон природы и жизни, влетел безвозвратно в ощип, влип Эдик, влип. Либо Оля донесет, либо ее распрекрасный, умный муж, очень взрослый, сухой, этому все заранее ясно, все, все хорошо объяснит вам, по полочкам разложит, расклассифицирует, сильный аналитический ум, высоко держащий планку, высоколобый интеллект, лысеющее темя, голова напшпигована благородными мыслями, в благородной манере их высказывает, очень прогрессивен и хорошо зарабатывает, витален, живет, как кум королю, сухопарый стилиста, комильфотен, знает себе цену, Бог не обидел внешностью, с таким экстерьером и на люди не стыдно показаться, оглобля, рост гренадерский, вымахал, косая сажень в плечах, спортивного вида широкоплечая громада, как говаривала легендарная Зойка, бабе нужна работа полегче, мужик потяжелее, выкроен недурно, на племя! ей-ей только на племя! моржовый! кандидат, пишет докторскую, истину шупает по-крупному, подшустрит, цепкий, оскорбительно удачлив, находчив, увертлив, хватист, проворен, пластичен, без свойств, но богато одарен, верное чувство жизни, под счастливой звездой родился, оттопы-

ренные красные уши, тяжело вылезал, знает самые нужные слова, сухоумие и давящая эрудиция, безошибочный инстинкт жизни, волчье чутье, нос по ветру, шагает в ногу со временем и чувствует биение пульса современности, видит окружающий мир в благоприятном для себя зеркале, не упустит, что само в руки плывет, напишет и докторскую, точный прицел, подметки рвет, целеустремленная энергия, гораздый, везучий, защитит с блеском, а летом интересный байдарочный поход, нам бы с вами такое счастье.

Претит сердцу Эдика вся эта похоть жизни: тихо минуй скверну, отойди, что престижно пред людьми, то мерзость пред Богом, не должен праведный муж идти на совет нечестивых, царский путь — одиночество, глубже, глубже, дна нет, бездна, будь молчальником, молчание и глушилка, молчание наш щит и доспех, здесь не лагерь, где есть полная свобода слова, где тебя охраняют стороживые псы от гнева народного, отвернись, отойди от скверны, унесем зажженные светы в катакомбы, пустыни, пещеры, тихая внутренняя эмиграция, так зачем же ты, непрошенный, бесцеремонно шлендаешь туда-сюда, остыть не можешь, заваливаешься к этим людям? Не первый раз, третий, зачастил, заладил, повадился. И без звонка, эксцентричный возмутитель спокойствия, не подарочек, привносишь везде дискомфорт и уныние, пресная, постная, кривая, унижающая вас улыбочка, незванный гость хуже татарина. Шарик, шарик, шарик катился, / мы веселые ребята в гости к вам явились. Ходит по старым знакомым, душу отводит: кроет, крошит Советскую власть, крепкий массаж. Ему до фени, за кого она вышла замуж, жутко бесят и деморализующее действуют эти сытые, счастливые, довольные хари, их холодильники, телевизоры, словно Волга полная течет, они считали, всегда так думали, уверены были, что Эдика арестовали по ошибке! необоснованные репрессии! пошляки! а интерьер каков, залюбуешься, посмертная маска Пушкина, бюст Вольтера, Нефертити, зеркало высокого вкуса! аккуратные, чистенькие, умытые, хорошо ухоженные детки, школы с английским языком, специализированные, злая змея жалит сердце, бесит эта достойная жизнь, на зависть достойная, стоячее, тухлое болото, все тиной, ряской затянуло, не легкая эта работа, из болота тащить бегемота, все правильно, так завещано Толстым, примат семьи, частной жизни, тоска, тоска, скучно на этом свете, господ! на сердце зеленая тоска, самое страшное, что все правильно, и в этом смысл исторического процесса, не придерешься, он ощущает себя мухой в стакане молока, кошмар! мерзавцы! буря бы грянула что ли, все чужое, психологические барьеры до

третьего Неба, он выбросил флаг, пароль, вперед без оглядки, море по колено, Рубикон перейден, сжигаем мосты, отмочил, рванулся, как князь Андрей со знаменем в руках (— Ребята, за мной!), с дымящимся, как Кандид у Вольтера, вперед, сверзился в омут мутных, противоречивых чувств, показал себя, как лагерника, брякнул для затравки, что ждет войны и поражения Советского Союза, затем оголтело, в пророческом негодовании обрушил священный гнев и обличительный пафос, замастырил, запустил лагерный шаблон, говорил, усугублял, визжал, что голод, разрушения, апокалипсис, гибель лучше их сытого, тухлого, дурно пахнущего, болотистого рая (треп, туфту заряжает, эпатаж просвещенного, московского интеллигента, слова сами собою льются, высказывают, без какого-либо напряжения левого полушария, злобу срывает, пусть, пусть в приличном обществе так не говорят, не постыжусь, скажу, уйду весь в сквозной гудок, бывший зэк по сути своей внутренней истины неприличен и отвратителен, язык хорошо у нас подвешен, не жалуемся на убогость, не ропщем на Бога, а вообще-то это не его система фраз, не его интимные мысли, а мура завиральная, еще как-то терпимая в лагере, но не здесь, сам-то он отнюдь не верил в то, что плел, знал, что эта подлая система незыблема, будет еще долго торжествовать, не одно тысячелетие, подомнет под себя весь мир, царствию ее не будет конца, и американцев мы слопаем со всей их хваленой техникой, хваленая Америка стинет, как великолепные динозавры, от чрезмерного избытка собственных сил, отличную перспективу имеет наша кровавая, пошлая скверна, и только те, кто боится смело смотреть правде в глаза, рассчитывают на помощь тухлого, развращенного Запада, и не мало таких людишек встречал Эдик в лагере, презирает их).

Пошли грубые пререкательства, препирательства, ты пьян, в тебе водка плачет! Оля взорвалась фугаской, хлестануло, заблужила (стихия истерики: в подборе выражений чувствовался ужас перед Эдиком), она русская, *почва, кровь*, а значит, и судьба, глумление над Россией ей противны (— Чтобы я этого больше не слышала в моем доме!), за Россию глаза готова выцарапать, и! и! не желает получать свободу из рук американцев, она первая пойдет в партизаны, сыр-бор во всю разгорелся, гудели; он в свою очередь разбушевался, с удовольствием, вдохновенно выдал ей по первое число, оттянул, как следует, скандальным, осатанелым голосом, зашелся в неправдоподобном крике буйно помешанного, вошел в окаянный раж, оттянул по лагерному, бил что есть мочи по этим тухлым мозгам, бил до посинения (— Никуда ты не пойдешь, мешанка, курица!), противный скандальный фаль-

цет, как у кастрата, переходящий в срывающийся козлетон (козел — tragos, вот так, совершенно спонтанно рождается трагедия и отнюдь не из духа музыки, сам себе противен, наследственность, дурная проклятая наследственность, дурные гены, и у отца такой же фальшивый гнусный фальцет, когда разойдется, войдет в раж и штопор, бывает, не частые, но основательные ссоры с матерью). Атака удалась, развиваем бешеный успех, Эдик совершил прыжок в невероятное, орал, что пойдет в антипартизаны, в полицаи пойдет (— И вас, сволочей зажавшихся, вешать буду! Не попадайся на глаза!); она заткнулась, потом ни к селу, ни к городу, резко и раздраженно сказала, что он сильно растолстел, потучнел, как женщина после беременности, «грузен, слишком грузен, и это при твоём анекдотическом росточке» (удар ниже пояса! не без удовольствия пущен нечестивый микроб зла! не укус комара, а яд, ядовита змеюга), в дверь скоро входить не будет, придется силком пропихивать, как у Гоголя Ивана Никифоровича пропихивали; и Эдик в карман за словом не полез, нашелся, как ответить, не отходя от кассы, молниеносная реакция, дерзости не занимать, вдохновился и просиял, лови и получай за «анекдотический росточек», враз проучу, отучу, хорошо огорчил, помнить будет, пять с плюсом поставил себе, сказал, что и она не первой свежести, как хороши, как свежи были розы, вытащи бревно из глаза своего, посмотришь в зеркало, окно вечности, не больна ли, может что-нибудь онкологическое, грозное, бегом к доктору пока не поздно, само не рассосется, с этим шутки плохи, скорее, скорее, летящим галопом, спасибо мне скажешь.

А муж *молчал!*

Молчал, словно в рот воды набрал, свирепо выверился, очень напомнил Ивана Ивановича Ванюшина, жесткое выражение лица, *ядом дышит, видели ли вы раненого, загнанного, взбешенного дикобраза, ради этого стоит родиться и жить, еще раз полюбуйте: истребительная Медуза Горгона, огнедышащий дракон, клыки жутковатые сверкнули, вопрь свирепый, глаза интенсивно сатанеют, кровью налиты, набычился, косяка крутого изподлобья давит*, оцепенел, остро трагический момент, у себя дома, а не чувствовал в своей тарелке, машинально и почти неслышно постукивая по томику Хемингуэя, флаг, символ, мол, и мы не пальцем деланы, нос по ветру, узкие брюки, веление моды, стилин, чтобы такие натянуть нужно пятки хорошенько мылом натереть, стиль жизни, пижон, стилияга, рвется к душевному комфорту, чтит Хемингуэя, любим и обожаем, кого любить и обожать положено, «Пятая колонна и тридцать шесть первых рассказов», у Гладкова такой же был, издавался еще в тридцатые годы.

Широко разинутые глаза твердо смотрят на Эдика, смотрят, как на выродка, гаденыша: вылезла и заполонила все эта некра-сивая, нехемингуевая, лагерно-бушлатная правда, паршивец, без-образник, кровь стынет в жилах, химера злого кошмара. И эту лагерную падлу, это страшилище выпустили из зоны, реабили-тирован, что же такое творится, что будет, если живой лагерь начнет поставлять нам подобные экземпляры, и эта скверна из лагерей повально и обвально хлынет на нас лавиной? первая и неприят-ная, гадкая встреча с лагерем; ждали чистого, светлого праздника, послов великой, высокой правды, жаждали услышать правду о 37-м годе, где и когда была допущена роковая ошибка, хотелось вдумчивого, серьезного разговора, чтобы спокойно разобраться, в чем наш грех перед историей, услышать правду чистую, святую, а что услышали! шокирующая непристойность, озлоблен на весь мир, чумная голова, ум бывшего зэка заволакивает мстительная, маниакальная злоба; накладка, вкрался серьезный промах в наши фундаментальные представления о человеке, о добре и зле, в наше ожидание тех, кто оказался жертвой репрессивной политики, мы чересчур романтизировали, идеализировали этот сорт людишек, вот и нарвались, пред нами сюжет трудных исторических повес-тей, на поверку вылезло откровенное безобразие, жуткий тип, ожесточенный, ненасытный мститель, сор, шлак, копоть, позор, срам, в *полицаях готов служить*, все это в высшей степени зна-чимо и показательно, свастику на рукав, свастику на лоб, это же мститель, ненасытный мститель.

Прямо на глазах Эдика и как-то вдруг муж Ольги стал синеть, как захлебывающийся, кончающийся удавленник, проняло суку, лишь уши красные, продолжал упорно, свирепо молчать; агрес-сивное молчание мужа, его настырный, умный, исполненный давящей ядовитой злобой глаз, интенсивно красные самые кон-чики ушей подливали масло в огонь; деятель нового типа, новый человек, мнит себя прогрессивно мыслящим интеллигентом, све-точем, умеет и любит раздуть прогрессивное кадило, негодяй, сволочь советская, так бы въехал в рыло, плюнуть в морду: у меня сифилис! Искушение. Жуткий кретин! Не искушай судьбы, уко-роти поганный, злой язык, лезвие обоюдоострого меча; этот ин-тенсивно синий, жилистый доberman-пинчер, очень либераль-ный, очень прогрессивный, затаился, молчит, как сверхмогучий, страшный Тихий океан, так и хлещет неистовым кипятком мол-чания, конвертируется в мощный принципиальный решительный бросок.

*Донесет, как пить дать!*

*Берегись, пошла! Оторвись! Полундра, рви когти!*

## *Понух.*

Ностальгический зов, рвущийся откуда-то из прошлого, и вот она решительная очная ставка с прошлым: очнулся от обморока, слава Богу, а мог бы жениться на ней, еще как мог, что-то в ней было, роковое явление, неужто случайный взлет домашней птицы, знобило от шелеста ее шелковистых, дивных волос, и душа начинала вибрировать в пандан таинственному их шелесту, зацеп, сел на крючок, удавка, куда все уходит, молот времени, у Дюрера есть образ текущего вещества времени, может, и не у Дюрера, даже не верится, как она подурнела, ей нет тридцати, ей двадцать семь, поблекла ты, Ольга, сдала, лютый художественный выверт, глаза бы мои не смотрели, ни на что уже не годишься, страшнее войны, вобла сушеная, птичьи мозги, дура пустая, шмотками забита голова, самоуверенная.

А я мечтал о ней!

Эх, Ольга, Ольга! Всепоглощающая, чистая, светлая любовь, тайна его сердца, юношеская, первая, пронзительная, глубокая, вечная! Заноза, петля собачья, может, из-за нее и лагерь; родители хотели, чтобы он женился на Варе, туманный, сложный расчет, высшие соображения, густым сплошняком идут эти высшие соображения, коверкают, корежат жизнь, последний царь отверг Россию, «всюду кругом трусость, обман, измена», пошел колоть лед, пилить дрова, великий человек! и Эдик пытается найти самого себя, взбрыкнул, сверг Россию и русский народ, смело, круто повернул вектор линии жизни, романтично рванул от себя прочь, в бок от роковой линии судьбы, развилка, и эти шустрые, проворные две линии стремительно, как ему казалось, разбежались в разные стороны, как прозорливые раки, предчувствовавшие, что того гляди их начнут для вкуса варить живыми, а вкусны же раки, сваренные живыми в крутом кипятке, да и Варе тогда было десять лет, ребенок, ему говорили, терпи, не женись ни на ком, жди. Дождался, подросла Варя, бутон, ждет, когда он ее заметит, приголубит. Всё: будущее уже наступило. Россия — Сфинкс. Ничего не делай, а тем паче этого самого, против ветра. Не рыпайся, прекрати бунт, всю жизнь бунтуешь, ерепенишься, беги в неприметность, в щель, как таракан. Так проще, сюжетней. Да, те самые высшие соображения, та самая угнетающая, подавляющая, раздавившая его тайна, заговор сквозь века, требуют смирения, ну и смирись, отбрось самодурство и своеволие, пророк Иона бежал от судьбы на корабле в Испанию, был возвращен, за ним пришлось посылать огромного кита, Иону скушал морской гад, через три дня и три ночи у берегов Палестины выплюнул назад, смиренно носи свой крест, не рыпаться, как смиренно,

меланхолично, стоически, тихо и достойно несут крест родители, все пойдет, как по маслу, само в руки будет плыть, шире держи их, раны зализуются, невообразимая, пугающая, чудовищная фантастика, как в жуткой судьбе Эдипа, может актуализироваться, стать действительностью, кто знает, неодолимая мощная потенция, титанический надличностный фатум истории благосклонен к установке родителей, она отнюдь не безумна, как когда-то казалось, содержит скромный и трезвый посул и кое-что еще.

Подъехала машина; сердце предынфарктно кольнуло, дрогнуло, замерло, до омерзения малодушно заледенело сердце, самым серьезным образом гуляет, обратилось в полоумнейшее бегство, врассыпную, натиск холода, оккупирован холодом с ног до головы, отчаянно сиганул за пределы самого себя (что мы знаем о границах души и тела!), прямехонько в запретку, бежать пустился, позорно полез под кровать, как маленький, деться некуда, полководье страха, манифестируется полное впечатление, что машина встала у их подъезда, недобрый час, сомнений никаких: «за мной!». Эдик вскочил с кровати, шкодливо, крадучись подошел к окну, осторожно заглянул, машина остановилась у соседнего подъезда, не к нам, пронесла нелегкая, вздохнул громко, облегченно, колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет; стыдно сознаться: ночь страшна, коварна, каверзна, опасна, абсолютно лжива, рождает мощные сатанинские фантомы, душа заколдована, обессилена, заражена соблазнами и мерзостью зла, любит падения и грех, она в смятении, в трагическом конфликте с дневным сознанием, во власти всякой мерзопакости, наваждения тут как тут, в ночи господствуют банальное извращение истины, дикие ошалелости, дурные страхи, злобные демонические начала; паника отпустила, но не на сто процентов, сломлен внутренний обруч, да, даже дневной трезвый рассудок подсказывает, что не увернуться; душа продолжает диссонировать, как сильно расстроенный рояль, начинается буриданово интервью с самим собою, зачем мне все это, живи тихо, лучше уж глушилка, счастливая, вдохновенная минута с глушилкой, да, да, это в тысячу раз лучше. И слаще. Не сегодня, так завтра, неизбежно, как восход вечного солнца после ночи с трезвыми, благоразумными советами, обречен, уже отпет: *донесут!* И — по новой!

Смятенный ум.

Смутился. Все кости его возопили: Авва Отче! Мимо пронеси чашу сию!

Болезнь воли.

Тянет, тянет назад, в трясиину, в болото глубокое, жгучий соблазн, в конце концов пусть будет у человека радость, развле-

чение, общение с людьми, как в лагере, утешение, хоть какая-то радость, хоть маленькая: кухня, здравствуйте Иван Иванович, рад вас видеть, кураж, неизъяснимы наслаждения, поизгиляться, танец среди мечей, игра с огнем, бессмертья, может быть, залог.

Лагерь он сдюжил; не то, что ломом подпоясывался, но тем не менее гонористо жил, все нипочем, были когда-то и мы рысаками, прибил яйца к нарам, мазохистски заглядывал в бездну, поплеывал; bravo! молоток! кремь! На воле — стыдобушка: враз и малодушно сломался, удручающе припух, лапки кверху, готов! притом сразу, с лету, признай всамделишный швах, не хоронись, не обманывай самого себя — худший грех, лучше преступление, чем ложь самому себе; впал в ничтожество, ехать дальше некуда; он и в лагере падал, было, было дело, наломал дров, снял лагерь с него стружку, сбил спесь, сполна, крепко хлебнул, указали, приземлили нового, зарвавшегося оленя, опростоволосившегося Икара, тю-тю, высоко паришь, где сядешь, приземлили опытные землители, лопухнулся, дерболызнулся, почти свернул шею, неблагословенный, иррациональный, романтический, дерзкий вызов пресловутой судьбе, а пошли вы! да соси ты по девятой усиленной! там было не так, как здесь, на воле, иначе было, держись браток, и я, силен бродяга, да я ли то был? держался, моложе может был (судьба, как женщина, любит над собой насилие, любит молодых, что-то такое или эдакое говорил пронизательный Макиавелли); там, в лагере, *настоящее* (лучше уклониться, не помнить, как нас энергично утихомиривали, укорачивали, простенько, пиф-паф, а что с нами оставалось делать? убит Минаев, страшно оглядываться, от вахты до санчасти чернели бушлаты, убитые, сколько их, статистика, убит Женька Васяев, пасынок случая, приняла его в себя мать-сыра земля с биркой на ноге, Женька, Женька, лучший друг и большой педагог, самый близкий человек, так и не вкусит Женька волюшку-волю, не узнает, что это за ад, летит, в звезды врезываясь; в предсознании копошится, скребется какое-то странное чувство, какая-то осторожная, робкая мысль, мышшь, мышшь скребется, старается, вот-вот вылезет на поверхность сознания, выпорхнула, устремлена вверх, в полете: он просто завидует Женьке, почему-то именно Женьке, мышшь не должна летать, нонсенс, а как же, летучие мышши, дар напрасный, дар случайный, от деревянного бушлата никому не уйти, у Женьки все позади, и девятый день, и сороковой, сведены счеты с жизнью, хорошо ему), здесь гнилое равнодушие, жизнь-подлянка, ты сидел в лагере, а этот говорит, тонкое, остроумное замечание, нельзя не согласиться, нечем крыть, поднимай лапки кверху, говорит, что это время можно было бы

провести более интересно и талантливо, всем своим существом и видом отрицает тебя, с порога отрицает (— Эдик, не снижайте разговор, а лучше скажите, с каким багажом вы вышли из лагеря?), позор и постыдство вместо хоть какой-то компенсации за страдания и лагерь, к этому, к этой скверне, невозможно порядочному человеку приноровиться, не изловчишься. Ложь, пошлость, фальшь. Живут во лжи, все, все, не замечают, примечательно! лжи, они активно, жутко счастливы.

Опять мучительная, страшная бессонница, Ванюшин, Ольга, ее пресловутый просвещенный муж с томиком Хемингуэя в руках, бегущий, летящий на легких крыльях впереди самого быстрого прогресса, так и прет из него просвещенность и эрудиция, воля к жизни, воля к власти, опять Ванюшин, Ольга, этот, они единосущны, неслиянны и нераздельны, все вместе, общее мы, Мы Губим Бирона (МГБ), вбивает осиновый кол, дружно взялись за руки, не поодиночке, а все вместе, единый фронт, союз, хунта, полное морально-политическое единство, обречен, бессонница бессонниц, а в лагере отлично спалось, лес, запах хвои, *я его не сажал!* Сознание начало туманиться, лагерная столовая, она же клуб, она же буфет, это образы еще квазидневного сознания определили, предвосхитили вектор и экспозицию сна, его размытую диалектику и динамику, они проплыли в тумане, и он, страдающая душа, отнюдь не элегантно страдающая, тошнит, от всего тошнит, неожиданно тяжелым камнем он сверзился в сон, наконец-то поверженный погорелец духа опочил забытjem, но и во сне измученной душе нет покоя, нет мира: *все тот же сон*, навязчивый, в который раз, сколько меня можно мучить! Стигматы ада. Ему снилось, что он погрузился в источник чистой, безначальной реальности, и она воссияла, такая голенькая, как вечно юная девочка, сияние Истины, она порождает историческую субстанцию, именуемую просто комендантский ОЛП, ОЛП-2; момент истины: Россия! природа имени магична! да, это и он, Эдик Бирон, и Кузьма, и Женька, душевный союз, друзья, прекрасен наш союз, он нерушим и вечен, свобода, самосимволизируемая святая истинная свобода: воля; заново отделанная, обустроенная столовая о восьми колоннах, прямо как у Большого театра, она и столовая, и клуб, и наша восторженная кухня, сияющий мрамор, в каком-то магическом ореоле таинственный и восхитительный пейзаж, калики переходящие, вечные странники, глянь-ка, Женька, с ним милый, золотой Кузьма, Кузьма с Женькой, обнявшись, идут, тихо по воздуху шастают, левитация, плывут бесшумно, блаженный бесшумный счастливый полет, Христос учил ходить по воде, значит, можно и по воздуху, от

монастыря к монастырю на облаке перелетают (чей-то голос, не просек чей, злая ирония в голосе: — Вместо того, чтобы работать!), русалки на ветвях висят и манят, соблазны, соблазны, как на картине Маковского, воля-вольная, где-то вблизи неведомый град Китеж, звонят трезвонят его колокола, ангел пролетел, счастье было так близко, так возможно, на закате наша тюрьма прекрасна; что-то заколдобило, разладилось, в разгар волшебного сна врывается и повисает пронзительно-печальная нота, оглушительное и несусветное безмолвие оборачивается чем-то иным, ложка дегтя (— Оставьте меня в покое! — Эдик кричит во сне, несчастный жаждет абсолютного покоя, крик во тьме ночи. — Нет! Нет! — сам же испуган лингвистической экспансией вечного покоя, небытия), зарождается страдание, дырявая, фальшивая неотвратимая тень, туча портит, какофонит, жадно, азартно наплывает, зафиговывает переиначку, прет наперекосяк, ухилила и сбилась картина, полнота бытия утекает в прореху, как с горы покатился, сбивается напрочь сюжетная логика, наплывает тяжелая, окончательная тень, убедительная, густая тень от вечной глубокой ночи, слышит слова, как Иов, из бури, *вологодский конвой шутить не любит*, воссиял смысл ужасный: его должны освободить, но какая-то непонятная проволочка, задержка, заминка, тягомотина, что-то там случилось-приключилось, одно к одному, не было печали, так черти накачали, нашкодили, обожгло шибче огня гиенного, на решение Верховного суда о его реабилитации Ванюшин, держиморда, изверг рода человеческого, начальник лагеря смерти, страж революции, Карацупа вечный, хамская, бандитская морда, волчья повадка, злыдень, злобное насекомое, гнида мстительная, России нужна узда, узда железная, о мощный властелин судьбы! не так ли ты над самой бездной, / на высоте, уздой железной / Россию поднял на дыбы? и Ольга, и ее, этот, благородный, просвещенный и прогрессивный, бесовская тройца, дружное, спаянное, восхитительное триединство, единодушно наложили дружную резолюцию, на редкость и зависть красивый у них почерк, единосушная каллиграфия: ***до особого распоряжения.***

Зарыдал в голос; во сне.

1956, 1997

**БЕЛАЯ УТОЧКА**

Как мне ее описать?

Видел я это чудо один раз.

Рассказывал о нем много.

Носил ее за пазухой.

Носил, как камень, как солнечного зайчика.

Как мой ответ всем, кто думает не так, кто пишет не так.

И много раз уже написал ее.

Но не на бумаге.

Я берег ее, как одно из самых любимых, и подзаголовок придумал в скобках: «Ей-богу, факт».

А время шло, и то, что было радостным брызгом, стало в значительной степени минором.

И она всегда была прологом книжки о друзьях.

Теперь...

...Совгавань... воспетый порт Ванина... он для меня обернулся не страшно. Я был там на трех лагпунктах, и каждый лагпункт стоил того, чтоб о нем рассказать.

Белая уточка...

У меня есть свидетели.

Другие, кажется, хохотали, — передать свое я не могу — это было диво, чудо, черт знает что.

Я не могу назвать это время несчастливым. Чувство солидарности и широкой дружбы среди людей, которые тебе симпатичны, бескомпромиссности и равенства — что ж тогда счастье.

Господи, какие великолепные имена и какой отзвук будят они в моей душе.

Даст Бог — все были молоды, а посему — еще живы.

Я тогда не знаю как (не помню) занял первую и последнюю придурочью (так сказать, придурочью) должность, — был костро-жом.

В бригаде было около тридцати душ, в основном — десятый, или около того пункта. Ходили на объект довольно далеко в поселок — или ездили на развалившейся автомашине.

«Наш ишак, хотим — едем, хотим — ...» (то есть толкаем в зад), потом — застрял в грязи.

Как хочется сейчас перечислить имена...

Бывалочка, сосед по нарам, проснувшись, — эстонец (криминальная привычка не называть имен, хотя проще, приятней и ясней, но заменять или искажать не буду, они сами песни), проснувшись, очень индивидуально и ритуально, не вставая, выкуривал одну сигарету.

Едкую. Потом уже целый день нормальная пролетарская махорка.

Супротив, наискосок, с нар спрыгивал А, мягковолосый брюнет с голубыми глазами, всегда чистоплотный и перешивший зэчью одежду по фигуре. Всегда мрачный, несколько сонный.

Супротив, наискосок в другую сторону, горилисто слазил другой.

Подо мной Коровье — чукча. С дикарски точным представлением о благородстве.

Да, не перечислишь.

По морозной зорьке мы шли на объект.

Всегда в одном и том же месте нам навстречу попадалась «оса» — девица с удивительно тонкой талией и удивительно длинным носом.

Понятно, до девок мы были охочи.

Рядом со мной шел стройный литовец — кажется, такой минорный юбочник, ... все рассеяно, развязно, скомкано и перебито.

Потом, освободившись, он застрял где-то из-за юбки в Сибири.

Мы перебрасывались парой слов (всегда) и, наверное, млели. А... мрачнел еще больше.

Юбка! Да, это часть человеческих чувствований.

И вечное скопление всего отвратительного, смешного и великолепного.

Я чувствовал это в строю, и еще какой-то богатырский пошвист: «они ничего не могут так, как мы». Они — это конвоиры.

Насколько я мог уследить, в Совгавани великолепны ранние весны и отвратительны концы мая. В конце мая может выпасть снег по колено. Но ранняя весна — март, апрель — тихи, ясны, прозрачны, с заморозками.

Выходим по ясному солнцу и по льдинкам. Днем разогреемся. (Бог с ним, с лагерем.) Мы строим три дома. Два двухэтажных, кирпичных и один деревянный — двухквартирный особнячок. Я жгу костер под чаном с водой для раствора.

Друзья кладут кирпичи и гоняют тачки.

Да! (можете улыбаться) чувство коллектива и любви. Хотя часто звереем друг на друга.

Вокруг колочка, на вышках попки.

За колючкой тут же, впритык, развешано белье, бродят куры, козы, гуси, выскакивают полуобнаженные жители.

Куры, козы, кошки заходят к нам в зону.

Попытка жестокости по отношению к животному пресекается тут же — не шути! — это «десятая бригада», у всех 58-10, а то и 11 — болтуны, это не первый послевоенный набор.

Рабочий день. Передо мной за колючкой обычный, грязный дачно-поселковый дворик с бельем, курами, козами, лужами.

За спиной раздается рык. Поворачиваюсь.

Говорят: «Смотри».

Смотрю.

Ей-богу, факт.

По двору, по лужам идет, чуть вразвалочку, удивительно маленькая, удивительно белая, удивительно чистая уточка.

Сбоку, сзади с вполне серьезными намерениями идет за ней селезень, красавец с изумрудной башкой.

Сзади, как на нитке, два огромных гусака, крайне заинтересованных. На них-то и реакция моих товарищей.

Уверен, вы не видели ничего, красивее той утки. Селезень пытается схватить ее за хохол, она уклоняется.

По эту сторону проволоки полбригады наблюдают за происходящим, не веря в возможность гусаков.

Дальше — селезень оказывается на утке, и... гусак на селезне.

Я видел это своими глазами... Второй гусак — на первом. «Источник» всего этого не виден, он совершенно вмят в мокрую землю. Только на селезне гусак, держащийся клювом за перья на голове селезня, и в том же положении на гусаке второй гусак.

Наконец, селезень как-то вываливается из этой пирамиды наоборот. Но держится за голову уточки; первый гусак, будучи на утке, держится за хохол селезня. Какое-то время селезень нелепо топчется сбоку.

Потом пирамида разваливается.

И виден источник злосключения — удивительно маленькая, удивительно белая уточка.

Только сейчас у нее ровно наполовину — ватерлиния. Нижняя часть совершенно черная от грязи, от лужи, верх — ослепительно белый.

И до чертиков красивая! Белая уточка.

1-5-63 г.

## НА СЕМЬ МЕТРОВ ПРОТИВ ВЕТРА, В ТРИДЦАТЬ ТРИ СТРУИ, НЕ СЧИТАЯ МЕЛКИХ БРЫЗГОВ

Однажды чем-то накормили лагпункт.

И как крепенько!

Бараки запирались на ночь.

Поверка. Почти всегда мучительная. Звон железа, спертый воздух, тела, тусклая лампочка и царство парашаи.

Причем, это — лучшее, потому что морозная работа хуже.

Холодно.

И ужас наступления дня я проверял на параше.

«Слава Богу, еще только половина».

Ядовитая жижа, пиво с хлористой пеной, течет через верх, струей по полу.

Сто тридцать человек наполнили бочку. Звон железа — «Подъем!».

Если кому живот прихватит ночью, тот мучается совестью — орлиная поза на параше — нарушение товарищества.

Злобная фраза или сочувственное понимание всегда ложатся камнем на живой, страдающий, частенько звуковой ужас. (Памятник Христа в пустыне работы Крамского.)

Ужасны моральные страдания — к вискам идет холод, глаза кошмарны. Минуй меня, чаша сия!

А тут прихватило каждого второго.

Чем, бляди, накормили?

В моем бараке, в моей секции было еще, сравнительно, благополучно, — поэтому все размеры зэчьей солидарности я увидел уже на разводе. Это был, наверное, декабрь, потому что тьма стояла египетская, только по снегу, по зоне, мышами, тенями, нетопырями метались зэки в столовую, в уборную, в санчасть.

Зэки угнездывались и вокруг уборной.

Царили паника и юмор.

Я работал в 47-й шахте, идти туда далеко и жуткая поземка, кажется, смерти подобно обнажить полушария в этой свистопляске тьмы, снега и ветра.

И вот, шла огромная колонна, мне кажется, зэков четыреста. Как это могло случиться — желудки всех национальностей, всех точек зрения, всех пунктов 58-й статьи.

«Гражданин начальник» — четыре шага в сторону — поза. И еще, и еще, и еще...

Голгофное шествие.

Рана в живот — страшная рана, — это проверено на Черной речке.

Безумные глаза и обязательно почему-то с юмором — уж больно колоссально.

«Каждый расхохочется, твою мать»...

Это о страдании коллектива...

А теперь о личных...

В тот раз Господь меня миловал.

Но Бог посетил меня. Уж на другом лапункте, на другой шахте.

Там было похуже, там полицейский порядок осуществлялся планомернее.

Люди, согнутые, приближались к идеалу быдла.

Но и там была жизнь, а наш этап принес еще и несколько убийств падл.

Там было больше стен, больше замков, садик без людей, где я увидел впервые в Джезказгане деревья.

Скорбный образ нашего бригадира — Григоренки!

Тяжесть и страдание. Не знаю, была ли у него доброта, но молчание было.

Он дотягивал срок и не верил в наши болтливые порывы. Слишком много видел.

Злобен, но я не видел, чтоб он кому-нибудь нес зло вне необходимости.

Не видел человека, с которым он когда-нибудь общнулся.

На той шахте 3-бис мы пели хохлацкие песни белого царя и рождественские колядки «ангелы ликуют» и «тридцать третьего полка... до потолка».

«Цыкал, цыкал мотоцикл».

Меня прихватило.

И крепенько. «На семь метров против ветра, в тридцать три струи, не считая мелких брызгов».

Душа заметалась. Как быть? Где выход?

И сложилась комическая ситуация.

И в санчасть.

«Показать можете?» Идем. Четверо строим и строим садимся на доски в уборной.

Меня душит смех. Понимаю всю трагическую для меня безвыходность. Где мои семь метров против ветра?

Обречен. Психологический запор.

Но вот как я дойду до вахты, не говоря уже о том, чтобы дойти до шахты.

Получив естественный отказ в санчасти, чудом дохожу и до вахты и до шахты.

Работаю на откатке вагонеток у ствола.

Отогнав одну, говорю напарнику, Ваське Карпинскому: «Гони один, я пойду в зумф».

Иду в почему-то очень вонючий зумф.

И так через вагонетку.

Честно. Одну гоним вместе, одну он один.

У ствола стоять нельзя, нужно выдавать план на гора.

Работа строго ритмична.

Я тоже ритмичен.

Возвращаюсь строем по пятеркам со злобной мыслью: «Донесу — продемонстрирую».

Но охватывает ужасная мысль: «О, не донесу!»

И как не донесу — все время, то в жар, то в холод.

После длинного ужасного шмона с раздеванием, когда вертухаи нас ощупывают, а мы, держа в одной руке ботинки, в другой шахтерскую каску (помню на каске клеймо с адресом: Москва, Ульяновская) и портянки, подставляли грудь и бока для лошахего похлопывания, мечусь мыслью: «Куда? В санчасть или в уборную?»

«Не донесу!» В санчасть уже идти не с чем. И так три дня, почти не ем, накопил хлебные пайки, но в зумф бегаю исправно.

Господи, как им выложить всю мою мощь на стол?

На один день врач мне дал освобождение, сказав: «Я почему тебе дал? Уж больно доходной».

День не помог.

Жрать охота тоже до ужаса. В головах пайки. Параша вынесены, но бараки открыты — все ушли в кино. Мне не до кино.

Решаю сожрать две пайки по шестьсот граммов (тот, кто хоть раз отведал тюремной похлебки!), чтоб было чем доказать честность свою им завтра утром.

С диким наслаждением съедаю одну и... мне уж не до второй. Такая боль! Меня скручивает в узел.

Бараки открыты, но я с зелено-красными огнями в глазах добираюсь от нар до параша.

Ничего.

Ничего и два пальца.

Злобные голоса стариков, не пошедших в кино.

Я крчусь так, что не вижу ничего.

И так ползу (почти буквально) в санчасть.

Закрыто. Нет никого. Все в кино. «Откормленные хамы в белых халатах. Царство на костях». Как щенок, сваливаюсь на ступеньках санчасти. Скулю тоже, как щенок — конца боли не видно. «Господи! О-о-ой!»

Холодный пот катит.

Чуть отлегло. Прямо вечное богатырское издевательство: «Спутешествую в кино».

Бреду тенью. Добредаю до места, где стоящие и сидящие люди смотрят электрическую проекцию черного и белого.

Музыка.

Улыбаюсь. Смотрю. Вижу качели, девицу и венки роз. И блондинистый хам — кретин-красавец... Лунатиком смотрю и ползу на нары.

Наутро в санчасти: «Показать можете?» — «Нет».

«Оставайся — пойдешь в стационар».

Там сразу все кончилось. Осматривал доктор Оппель. Сказал: «Милый, ты себе чуть заворот кишок не устроил». И — наступил великий пост. Оппель: «Ходил?» — «Нет, доктор». — «Клизму!» — «Доктор, пощадите мою девственность!» — Он смеялся и угрожал изнасилованием. Я разрепился от бремени на седьмые сутки. Я семь суток отдыхал и смотрел на Оппеля — очень хороший человек был. С небольшой бородой и лицом дореволюционного интеллигента.

«Завтра выпишу — комиссовка. У тебя какая категория и категория здоровья?»

«Первая, шахтерская».

«Иди ты! Я на поверхность тебя направлю».

Комиссовка. Комиссовал такая свинья, рыло, который разом совмещал в себе три хамства: русско-еврейское и чекистское. Кроме того, он помнил меня по шумку, хипежу, карманному бунту.

Не помню уж названия занимаемой должности — наверное, начальник сано.

Мы в коридоре ждали результатов комиссовки.

Вышли — хам, за ним Оппель.

У всех в глазах вопрос.

Несмотря на отсутствие вопроса в моих глазах, Оппель за спиной падлы развел руками, пожал плечами и показал мне один палец, что значило — первая шахтерская.

Я думаю, что меня комиссовали правильно.

## СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Ошпариться — нехорошо.

Хорошенько ошпариться — еще хуже.

В каком году это было?

Предположительно, в 44, 45, 46-м.

В 44-м была война, а как-то я ее не чувствую в эпизоде.

Скорее всего в 45-м, потому что очень жизнерадостным и юным ощущаю лето.

С другой стороны, летом 45-го чувствовалась победа, а здесь — не связано.

Только связано с летом и юностью.

В 46-м зимой умерла мама. А это было летом, последним ее.

И голодно сильно было. И эпизод как-то был бы значительно и ассоциативнее...

Это юность, начало юности и лето порогово, как перед входом в залитую светом комнату.

Мать, усталая, как всегда, лежит на кровати. Вечер. Но у меня сейчас ощущение, что все происходило при солнце.

На высоком, неудобно стоящем столике, электроплитка маленькая и на ней очень большая кастрюля. В кастрюле, слава Богу, пока что только чистая вода.

Мать что-то говорит, не то «посмотри», не то «засыпь».

А мне 17 лет, поэтому движусь немножко вальсово, неуклюже, притом, конечно, рассуждаю...

И неустойчивая кастрюля летит на меня. Ошпарился.

От пояса и ниже, почитай до колен.

Прямо скажем — избрал мишень...

Медицинского обслуживания как-то не помню, кроме тревожных вскриков матери. И свой героический вид: «ничего»...

И зулусские танцы по комнате.

Кожа слезла и откуда надо, и откуда не надо. Что самое печальное, — что откуда не надо.

Как будто всегда был без кожи, сплошное сердце...

Ну, слезла и слезла. Теперь другая пусть нарастет.

Регенерация — восстановление органов...

Органы мне, слава Богу, восстанавливать не надо, все на месте, в норме, но вот кожицы бы неплохо. Неудобно без кожи. Восстановилась.

А малая нужда, это частенько уж не такая и малая нужда.

Говорят, у Наполеона генерал умер от этого. Некогда было. Наполеону докладывал.

И умер. Смертью героя.

Мне предстояло заглянуть этой смерти в глаза. То есть...

Вынужден объяснить:

Есть такая средневековая гравюра — монах доходит до конца земли и хочет заглянуть за небесную сферу, а в ней ни одной дырки. Чтоб заглянуть, он прорывает небесную сферу головой.

Хорошо было ему — головой...

Как Коперник.  
Мне было хуже.  
Поверьте.

...Ну, жидкость. Между двумя сферами.

Которые, кстати, не сферы, а суть едина. Отрывая их одну от другой, превращая в сферы, сдирая кожу, ища выхода...

Хочу донести до вас необыкновенность, не боль, а необыкновенность, и это не в силу какого-то героизма, а в силу своего рационалистического устройства. Ужасно смешно, когда мир — фортель выкинет. Тут не боль, а удивление. Чудо — туда, чудо — сюда.

Чудо!

Однажды, когда меня измордовали до такой степени, что лицо — морду я не мог пронести в дверь (весь входил, плечи, бедра, а лицо — нет, не мог протащить, не входило, пришлось в профиль), я попросил зеркало и хохотал от души (есть свидетели), уж больно невероятную ряшку сделали! Недаром в народе говорят: «бей в лоб, делай клоуна».

И кто сделал? Почитавший себя товарищем.

Я-то знал, что это не так.

Моя ряшка это свидетельствовала.

Больно было, конечно, но еще смешно.

Больше.

Это тоже было чудо — чудо подтвержденное.

Так вот, — восстановилось.

Восстановилась заново.

Это не тавтология.

Это горькая истина.

Заново, черт, не желая знать, как было допрежде, то есть лучше прежнего, **без изъяна. Необходимого!**

Восстановилась идеально, решительно сбрасывая со счетов мою предыдущую неидеальность.

Прямо-таки сухой закон — идеальное человечество.

Одни духовные нужды, и — ни малейшей малой нужды.

Таков закон борьбы старого с новым.

(Проклятый старый, несовершенный мир!)

Сами понимаете, в силу классовой сущности и корыстной, личной заинтересованности я стремился к реставрации.

Мать, конечно, не подозревает, что у меня так. Не догадывается, что для меня каждый раз все внове и по-разному.

Меня и сейчас это восторгает своей непредставимостью.

Затейное зрелище! Сам себя шарахаешься. Сюрпризы невообразимые.

(Опять по живому мясу, отдирая кожу, выскажешь правду-матку, крайне затейливого рисунка, а хотелось бы попроще.)

Врачиха, старая, толстая и очень милая еврейская старуха, сказала, сидя на табурете: «Положи на стол» — как будто пачку сигарет... «Ну-ка».

Стол какой-то странный, как будто обычный, а пришелся мне в самый раз... Никогда не думал, что есть такая возможность.

Теперь представьте себе мое лицо, когда она, внимательно разглядывая, сказала обычное «до свадьбы заживет».

(Зачем же так прямо!)

Мне-то казалось, что такого никогда и ни у кого не было!

## СТЕП-СПЕЦ-ЛАГ

Степ-спец-лаг, I лаготделение, II лагпункт.

Летом жара до 60 градусов. По слухам — термометра я не видел. Зной, и по красноземной степи гуляют смерчи. Вьется такой седой — и разбивается о лагерные стены.

Белокаменный (точнее — беленый) лагерь стоит в степи сказочным видением. И средневековорыцарские башни по углам.

И в Джеккагане, где-то под землю,  
Туннель глубокий себе я буду рыть.

Так неудачен наш фольклор — стремление приспособить к местным условиям и выразить вековечную значительность проходящего.

И вместе с тем, хорошо!

Друзей-товарищей мне теперь не надо,  
Мой друг-товарищ — вечная тюрьма.  
Кирка, лопата — это мой товарищ,  
А тачка, тачка — верная жена.

Там был надзиратель Марченко. Считал: «Пер-ая, друга...»

И еще был Николаев — человек, тоже надзиратель. Он, говорят, тоже потом срок схватил. Он был похож на Николая II. Маленький, с бородой, ну, впрямь, гвардейский полковник. Говорят, за ревность срок схватил, и посадили его к нам в бур — в барак усиленного режима, я там допрежде сидел.

Мы радовались, когда раздавался визгливый голос Николаева.

Радовался я, радовались баптисты, радовались пятидесятники, радовались «истинные христиане», бандеровцы, радовались латыши, когда раздавался визгливый голос Николаева:

«По пятеркам — разберись!»

Как тебе сейчас сидится, мужик Николаев, впрочем, ты уже, наверное, отсидел.

И, видит Бог, эзки, несмотря на мат, любили тебя.

Потом говорили: «Николаева привезли в бур, посадили...»

«Да нет... он в лейтенанта разрядил пистолет». Баптист на нарах вздыхал: «Господи». Молдаванин отвечал: «Из ревности».

Ты нас не мучил, в колонне раздавалось: «На вахте Николаев» — этот не заставит с угольной (каждый из нас негр) пылью на морде стоять на морозе. «Николаев — человек».

«По пятеркам разберись!»

И наш бригадир Вышекутов (ингуш) говорил вроде бодрого: «Мальчики, мальчики».

Мы улыбались: «Николаев — человек».

Потом, говорят, из-за ревности сел.

«На вахте Николаев».

И радовался я — русский, радовался баптист (была такая пацла — Володя П...), радовался Трохин и Шернаескас.

Этот (Николаев)

«По пятеркам разберись»,

пробегал (пробегал!) по рядам и

у него всегда счет «сходился».

«Николаев, сейчас в баньку».

«Ух, ребята, потрите» (чего там потереть, — лучше не спрашивай).

«Николай второй!» — вопил кто-то, опрокидывая шайку.

«Сейчас нам по 150 грамм кашки».

«А я к жене пойду», — говорил Николаев, нежась.

Из-за ревности, говорят, сел.

В бур привели — я был в этом буре. До и после.

Джезказган.

Кто спросит: «Надзиратель?»

Я отвечу: «Поруби мой ... на пятаки

— лучше маленький Ташкент, чем большая Колыма».

И еще скажу: «День кантовки — месяц жизни».

А Широаяна (или Широаянса) прирезали, и приятно слышать — «неизвестно кто».

Широаянс — бригадир, и знаете, что он сделал, то есть эзк, мальчика, который «живой ... не видел», опускаясь в подземелье

И в Джезказгане, где-то под землю,

Туннель глубокий себе я буду рыть, —

заставил в клетке (мальчик был слаб) стоять перед собой на коленях.

«Боялся шахты».

«Широянс всегда был падлой».

Приятно, что его с его шарфиком выдали на гора.

С удовольствием вижу лица, когда Широянс посыпался в отвал.

Три лица смотрели на шарфик Широянса, и потом всем было плевать, даже Куму (читай — оперуполномоченному, к опере — никакого отношения).

## ПАДЛО

Строго наблюдали, чтобы номера (на лбу, на коленке, на руке, на спине) были написаны, и написаны ясно.

Для этой цели на разводе (помню, я острил: «Сначала еще надо жениться, потом думать о разводе», намекая на нашу дикую плотую молодость, — на что Генриетта Михайловна, была такая кровавая женщина, — помнач по труду — ответила, мягко стеля: «Ничего, Бахтырев, еще переженитесь» — тоже ощущая нашу эту дикую, плотую молодость)...

Для этой цели на разводе, на холоде обязательно стоял (с повешенными на шею двумя баночками кузбасслака) художник — песок сыплется — бородатый и замерзший.

Мы вываливались из барачков. Здоровые, сильные, крепкие, речотущие от суровости предстоящего. И не замерзшие еще, в ботиночках, — топтать далеко, — шахтеры.

И сосулька-художник (руки не владеют) стоит жертвенным столбом с баночками на шее.

Поэтому номера намазывали сами: черный кузбасслак на колено насыпщику, белый на брезент — бурильщику.

Я получил брюки с новыми латками для номеров, и чуть не схватил изолятор — не успел вовремя написать номер.

И вдруг выдернули на этап.

Уходили многие — малосрочники.

Мне удалось скользнуть под окошко секции барака друга карачаевца Магомета.

Он сказал: «Почему меня не дернули?»

Я сказал: «Брось! Я не жестокостей их боюсь — милостей. Когда переводят в говно человека. Убить нельзя — купить можно. Исстрадавшегося — задешево. Тебя не дернули из почтения к Кавказу. Нужны быдло, а не горцы, — долинные жители, упёртые,

ломом перепоясанные. Есть из-за чего трястись, из-за одной жизни!»

Всех нас, этапников, перевели на заранее освобожденный соседний лагпункт.

Велели замазать, стереть номера.

Тут я чуть не схватил опять изолятор — вовремя не стер номер. Потом всех по одному вызывали к оперу.

Мне он сказал: «Так, едете в обычный лагерь — смягчение режима, так что по дороге никаких фуевинок».

Я сказал: «Хорошо».

И заперли нас по секциям, как сельдей в бочке. И поставили парашу.

Зной. По степи гуляют белые смерчи, разбиваясь о беленые стены лагеря. «Стой! Кто идет?» Звезда на костылях. «Звезда, ко мне, костыли на месте».

Дышать, как в раскаленном воронке.

Мальчики уже у дверей бушуют, что параша полна, что бежать не намерены, что «суки-падлы, не могут с одним вертухаем сводить в нужник», «не лепить же нам фигурки из теста».

Со мной та же история.

Причем, не из солидарности, а нечто, напоминающее расстройство.

Перепахивая через головы, подхожу к дверям и начинаю в дверь колошматить — душа хипежа просит, жаждет.

После долгого колошматенья у двери появляется иезуитское падло — вертухай. «Что, изолятора захотел?» «Захотел, — я там высьр..., никому жизнь не портя».

Еще серия вопросов и ответов.

Ему же ровным счетом ничего не стоит. И инцидент исчерпан.

Нет, падло.

«Веди в изо».

Ведет через двор (так выглядел этот лагпункт, там были двухэтажные бараки и зона между ними, как двор). Раскаленное солнце, слепящие стены и удивительно тихо и пусто — раскаленный покой.

Изолятор заперт — никого нет, дежурного тоже нет.

Ведет обратно. Уборная в двух шагах, говорю: «Дай схожу, чего ты выгребываешься, я же не притворяюсь». — «Фуя».

Встречаем вертухая — они говорят о запертом изоляторе, прислонясь к уборной на восемь очков. (Видит Бог — очко — термин технический, сам читал в нормативе.)

Говорю (уже с чувством): «Дайте схожу, две секунды делов-то».

— Фуя.

— Я пошел.

На самом деле — секунда, я встаю, вертухай в луче солнца входит.

Улыбаясь, говорю: «Уже всё».

Брюки у меня еще на коленях.

В ответ получаю удар под дыхало.

Сильнейший. Мирно валюсь на бок. На все восемь очков. И получаю удар сапогом под ребро. Тоже весьма подходящий. Злоба душит — овечкой встаю.

Смотрю ему в лицо, мирный.

Не могу ровно ничего. Он меня, как на веревочке приводит и толкает в секцию. Злоба.

Ребята: «Ты чего?»

— Ничего.

Полез на нары. Ребро хрустнуло.

Падло.

А ведь я скушать был его готов, не выплевывая косточек.

Серафим Ильич Четверухин (22.04.1911—8.12.1983) родился в Троице-Сергиевом Посаде в семье священника. К моменту революции семья переехала в Москву. Отца С.И. назначили настоятелем Николо-Толмачевского храма. В 1929 г. храм был закрыт и разгромлен (передан Третьяковской галерее, ныне реставрируется). В 1930 г. арестовали отца С.И. — Илью Николаевича, выслали в Пермские лагеря, где он вскоре трагически погиб.

Мать С.И. — Евгения Леониловна, урожденная Грандмезон, осталась с пятью детьми почти без средств к существованию, служа регентом в одном из замоскворецких храмов.

С.И. — как сын священника — испытал на себе все тяготы жизни социального изгоя. С большим трудом ему дали закончить школу и совершенно закрыли дорогу к высшему образованию. Он очень любил историю, хорошо знал ее и всю жизнь ждал, что ему не придется учиться в Университете. С помощью прихожан его отца ему удалось закончить чертежно-картографические курсы при 2-й Картфабрике в Москве, где он и остался работать — сначала чертежником, затем техником, а потом инженером. В 1932 г. он был переведен в 1-ю Картфабрику в Ленинграде.

9 мая 1936 года он был арестован и осужден по ст. 58, п. 7 и 10. По «делу» прошло 20 человек, остался в живых один С.И., остальные погибли в лагерях. Срок кончался в начале войны, и С.И. уже начал пересидживать, но тут начальству срочно понадобилась сводная карта Печерского угольного бассейна, которую С.И. сделал в предельно короткий срок, за что и был освобожден из-под ареста. Но выехать из Воркуты как спецпоселенец он права не имел. В 1945 г. к нему приехала, тоже из заключения, жена, с которой он прожил на Воркуте еще 15 лет. В 1946 г. родился сын Александр. В 1957 г. С.И. был реабилитирован, и в 1960 г. вся семья переехала в Ленинград.

С.И. был религиозен и как настоящий христианин был добр, отзывчив и внимателен ко всем людям. Очень любил детей. Он был прекрасным графиком и художником. Реставрировал старинные иконы и книги, очень любил серьезную музыку. Писать начал в 1940 г., сначала стихи, потом прозу. Его литературные произведения заслужили высокую оценку А.И. Солженицына, И.Л. Андронникова и А.А. Ахматовой.

Скончался С.И. от инфаркта, похоронен в Санкт-Петербурге на «Южном» кладбище. Его литературное наследие составляют более семидесяти рассказов, повесть «Толмачи» и две тетради стихов.

И. ЧЕТВЕРУХИНА

Всё было так и не так, как тринадцать лет назад. Был согрет солнцем тихий замоскворецкий переулок. Над мостовой протыгивали ветви старые тополя, и в них звенели воробьи. Дремали столетние особнячки, правда, двух-трех уже не было, и на их месте зеленели молодые деревья. Около обезглавленной церкви стоял и наш красный кирпичный дом.

За облупившейся дверью глаз привычно метнулся в ящик для писем, а в темном коридорчике ноги сами нащупали три ступеньки. Наверх вела желтая, еще более стертая лестница. В маминой комнате в углу стоял киот, уставленный иконами, перед которыми учили молиться в детстве, и горела зеленая неугасимая лампада. На подпертом ящиками папином письменном столе, на окне, на полу так же лежали старые книги, на стенах висели потускневшие картины, а над фисгармонией — папин портрет. В буфете знакомо дребезжала посуда, и мама поила чаем из треснувших чашечек. Всё было то же и не то же... Приехал я в этот раз не один, а с худенькой, истомленной тревогами и дорожной усталостью женой и маленьким, бледным до синевы, кудрявым сынишкой, которому бабушка припасла целый мешок некрашенных чурочек.

Бабушка — моя мать — стала совсем маленькой. По ее худеньким плечикам, согнувшейся спине и частой сетке морщин без слов угадывалось, как прожила она эти годы. А в прежних, синих глазах читалось, насколько изменился я сам... И хотелось без конца гладить и целовать ее когда-то мягкие, а теперь шероховатые руки...

В комнате слышались мне давно отзвучавшие голоса, и за окном подходили и уходили прочь шаги давно отшагавших людей...

И в душе вместо мира было смятение. Я был дома — но это не мой дом. Любой милиционер может забрать меня, заставить начать всё сначала из-за ядовитой пометки в паспорте. Я так давно не был дома, а через день снова не буду дома. Совсем у меня нет дома, так как не могу я дать святое имя — дом — лачуге за Полярным кругом, где приходится ютиться, видя в окно сторожевые вышки и колочую проволоку...

Меня окружали родные предметы, я мог касаться их. Из окна виднелись крыши, деревья, золотые маковки, что так часто грезились. Но что-то заслоняло, отделяло от этого, как если бы я не возвращался.

Радостно, но и непереносимо было ощущать, что переулочек, дом, комната продолжали существовать в дни, когда мир сузился

до барака и зоны. И что жизнь моя — если это называть жизнью — проходила так чудовищно несообразно с точки зрения комнаты, а бытие комнаты — так неправдоподобно с точки зрения барака. Утнетало сознание, что в дни, когда тут рядом рвались бомбы, сметая особнячки, когда мать оставалась одна в выстуженном, без стекол доме и дежурила на чердаке — я даже не знал об этом. А если бы и знал — был бессилён помочь.

От находившегося здесь исходил аромат дней, прожитых без меня. Я принес резкий запах лет, проведенных там. И делалось душно. Воздвигалась стенка, прозрачная, но упругая, как бы сетка из проволоки. И я в каждом углу наталкивался на эту сетку...

Лишь один предмет в комнате не был отгорожен от моей души — папин портрет. Привезла его мама семнадцать лет назад после свидания с отцом как его прощальный подарок, за полгода до его гибели. Портрет писал товарищ отца по заключению, но не успел закончить. Картина — в то время — произвела на меня тяжелое впечатление. Такого папу я себе не представлял. В моей памяти он был полным, представительным, в просторной священнической одежде. К нему шла негустая рыжеватая борода, и нельзя было представить себе отца без длинных легких волос. Сквозь толстые очки смотрели добрые, умные, спокойные глаза. Один их взгляд часто решал возникавшие в душе вопросы.

На портрете был изображен худой человек с коротко остриженной головой и маленькой бородкой, одетый в вязаную кофту и нелепое желтое пальто. Взгляд близоруких глаз был напряженным и сосредоточенным, будто желал передать что-то очень важное... Портрет был написан на картоне и оправлен в дешевую позолоченную рамку.

Теперь краски пожухли, картон покоробился, рамка почернела, и портрет не мог служить украшением. Но глядя на него, я чувствовал, что он для меня дороже прочих папиных портретов. Прежних...

Я понял этот портрет.

Папа мой, папа. Незабвенный, самый чудный человек, какого я знал! Благословил он меня в самостоятельную дорогу, когда сам был еще дома, — и не встретились мы больше на земле!.. Не я проводил тебя, не я ездил в твою далекую темницу. Не так завидую брату, посетившему тебя, как не уважаю себя, что не собрался. А потом было поздно. Затерялась, затопталась казенная могила, куда чужие, равнодушные руки положили твои останки с привязанной к ним биркой. Никто из нас не найдет ее...

Ушел ты — и мне показалось, что не смогу без тебя. Пришлось собирать по крохам, что ты щедро давал, а я небрежно терял. И

даже это оказалось богатством. Может быть, из-за того, что не видел я тебя в гробу, ты остался живым перед моими глазами... Я малодушно не подарил тебе шести дней свидания, зато сам испил потом полную шестилетнюю чашу. И тогда ты приходил ко мне. Нет, не в виде мистических явлений, не в знаменательных снах. Просто было ощущение, что ты близок...

...Когда, с глухим стуком топора, захлопнулась обитая железом входная дверь тюрьмы и отрубилась напрочь всё дорогое и светлое, грядущее предстало мне в виде жутких переходов, поворотов, подъемов и спусков, по которым меня вели.

Стоя в ящике-шкафе, куда втолкнули до сортировки, я лихо-радочно перебирал жизнь, пытаюсь сособразить, что привело меня в этот ящик. Говорят, утопающий в мгновенном свете видит всю жизнь, заново переживает ее. И я вспомнил всё... Вспомнил и отца, его взгляд, улыбку, негромкий голос, предостережения и советы — как если бы совсем недавно расстался с ним. И пришло на ум, что отныне я становлюсь ближе к нему, как бы товарищем, повторяя его путь. И на этом пути могу встретить его след...

Перед глазами возникло поле спеющей ржи и одинокая тропинка по меже. Золотые колосья закрывают с головой. Иду и грущу, и вспоминаю уехавшего вчера папу, прогулки с ним, наполненные неповторимой близостью к обычно занятому отцу. И в дорожной пыли вижу след папиных больших сандалий, такой свежий, что хочется закричать и броситься вдогонку. Но это старый след, и остаешься на месте, и всхлипываешь, и утираешься рукавом. А потом смотришь вокруг с теплой печалью, и не так одиноко, как минуту назад...

Меня взяли из ящика, и начались дни и ночи, о которых не вспомнить без муки...

Мутным осенним утром нас вывели по гулким лестницам старинного дома из сводчатого помещения, где мы провели ночь, наверх, в зал суда для прочтения приговора. Ночью одни из нас ходили из угла в угол, другие, оцепенев, скорчились на лавке. Никто не уснул, ведь некоторым грозила смерть...

Четыре дня сидели на возвышении судьи, горячился прокурор, пытались что-то сказать защитники, и зорко наблюдала «публика» — наши же следователи. Как изваяния, стояли конвоиры.

Нас вызывали, допрашивали, переспрашивали, напоминали, угрожали, лишали слова. Не делали одного — не выясняли истину. Истину заменяли пухлые папки на красном столе. Требовалось — еще раз — подтвердить написанное в этих папках... На плечи давила безмерная усталость, и было стыдно. Стыдно не за то, в чем обвиняли: к этому мы были так же причастны, как к

намерению украсть Исаакиевский собор, а за то, что грязь, выпиравшая из пухлых папок, замарала душу. Что растерянная душа какое-то время верила, что белое — это черное, а черное — это белое... И бесполезной оказалась надежда что-то исправить, доказать и объяснить.

Ночью, кстати, было странное происшествие. Когда я, изнемогая от ходьбы, прислонился к полукруглой решетке, отделявшей нас от конвоя, по ту сторону стоял начальник конвоя, красивый молодой сержант. Поблизости никого не было. Сержант вдруг наклонился и прошептал: «Ничего не понимаю! Четыре дня слушаю и не разберу, в чем же вы виноваты, за что вас судят?». И отошел...

Но как же не было ясно важным людям на возвышении то, что дошло до конвоя?! Или они поэтому и были так злы?

Страшно не было. Было безнадежно...

«Встать! — Суд идет!» — «Именем...» — мы не слушали бессмысленной первой части, ждали конца. Как водится, чтобы не было преждевременных истерик осужденных, начали с мягкого. Оправдали троих — настолько неожиданно, что пришлось растеряться. Товарищи, пережившие то же испытание, сейчас возьмут паспорта, выйдут на улицу, сядут в трамвай и через полчаса будут дома?! Дома!.. Всё увиделось так, будто предстояло пережить самому. А судья читал дальше: высылка, ссылка, три года, пять, шесть — это мне шесть? — десять... Всё. Конец. Слава Богу, значит, все останутся живы! И вместо горя испытываешь радость еще и потому, что люди, перед которыми вольно или невольно — это не имеет значения — виноват, получили меньше меня.

Шесть лет, семьдесят два месяца, триста тринадцать недель, две тысячи сто девяносто дней — не укладывались в сознании и не омрачали этого дня. И мне казалось, что отец ободряюще смотрит на меня...

От Камчатки до Карелии, от Карского моря до Каспия раскинулись лагеря. Многое множество всяких людей доставлялось туда в запечатанных вагонах, баржах, гналось гуртом по дорогам. И везде всё было одинаково — бараки, зона, порядки. Где немного лучше, где похуже. И была еще уголовная масса — мерзкая, низкая и несчастная, общение с которой было тяжелее самой неволи... Куда бы ни попал я — всё было тем же, что видел, что перенес отец. И хотя не довелось мне быть в его краях, ни даже встретить людей, бывших с ним, я не терял чувства одинаковости переживаний. В этапе, на работе, в бараке я ставил отца как бы на свое место — и представление это было подчас невыносимо... Становилось стыдно падать духом, и всё равно я падал духом.

...Декабрь. Первая лагерная зима. Но зимы нет. Мокрый снег и дождь. Черный, насквозь промокший лес. Черная чавкающая земля. Скользкая лежневая дорога, уходящая из ворот. Куда — не знаю, привели ночью. Знать и не надо: не выхожу из зоны. Мне повезло. Медицинская комиссия признала меня инвалидом по истощенности, и гонять на работу не имеют права. Но там дают четыреста граммов хлеба и черпак баланды в день, а я захотел жить. От воздуха, от молодости... И за прибавку двухсот граммов и каши стал дневальным в бараке лесорубов.

В бараке сорок человек. Барак низкий, срубленный из тонких, плохо ошкуренных бревен, стоит прямо на земле. Вход с торца, без тамбура. Посреди проход, по сторонам — двухэтажные сплошные нары. Нары прерываются, открывая два окошка, разбитых и заткнутых тряпками. Третье окошко прямо, в конце прохода. В ящике с глиной стоит печь с круглой трубой. За ней — стол и лавки, у входа кадка с водой. Вот и всё. Постели ни у кого нет, спят на голых досках или подстилают что лишнее из одежды. Но лишнего мало: или украдено, или проедено. Недалеко от барака на берегу лесной темной речки — банька, она же сушилка для одежды и обуви. Зона обозначена кольшками с надписями. Всё равно никуда не уйдешь — глухомань и топи, а на дорогах — посты.

Моя работа — утром принести воды для мытья и питья. Вскипятить ее. Притащить высушенную одежду. Поднять всех. Получить и раздать пайки хлеба с приколотыми к ним довесками, также и талоны на завтрак, кто заработал. После ухода людей вымыть горячей водой нары и пол, чтобы лепком остался доволен. Иначе попадет! Натаскать и нарубить дров на сутки. Поддерживать постоянный — день и ночь — огонь в ненасытной печи. Встречать приходящих с работы, раздавать им талоны на обед. Собирать мокрое и нести в сушилку. Составить, по сведениям конторы, ведомость паек и талонов для получения из каптерки. Следить, чтобы после вечерней проверки не выходили одетые из барака. Чтобы спали только в белье. В любое время рапортовать коменданту о наличии людей. Ночью не спать.

Когда я грезил о еде, она виделась мне горбушкой хлеба. Однажды на лотке оказалась лишняя пайка. В испуге и борении я отнес ее к каптеру. Тот изумился. «Подставляй!» — сказал он и смел со стола хлебные крошки в мою протянутую ладонь...

Спать приходилось урывками, днем, упросив подежурить у печки приходивших с работы товарищей. Но только закроешь глаза — «Сходи, принеси, сделай!..» В голове был чад...

Но товарищи были несчастнее. Я знал их еще по пересылке, шел одним этапом. Когда-то они пели и шутили. Теперь молчали

или бранились. У всех отросла щетина, ввалились глаза, руки были в ссадинах, избиты. День ото дня приходили с работы позже и позже. Норма давалась всё тяжелее, а от нее зависел размер пайки... И я, некогда чистошлой и белоручка, теперь не видел ничего унижительного в должности дневального, если мог что-то делать для людей. Но сил больше не было...

Когда я продал начальнику, выходящему на волю бывшему бандиту, последнюю домашнюю рубашку и получил за нее пригоршню пшена, сварил и съел, мне показалось, что всё кончено. И охватил ужас, черный, как окружающий лес. Во мне перестали существовать вера, мужество, воспоминания. Я смог только кричать: «Папа, если не ложь то, что ты говорил нам, если ты слышишь, — помоги!»...

Была ночь, трещали дрова, стучал, стучал по крыше дождь. Стонали во сне намаевшиеся за день люди. И думалось, что никто не может ответить...

А утром пришел на «командировку» — так назывались наши три барака — зубной врач. Он бывал там изредка и только рвал зубы. Мне надо было удалить два, и я пошел к нему. Разговорились. У нас обоих оказалось по шесть лет срока, но врач кончал, а я начинал. Это был еврей из Варшавы, как-то сумевший жениться на сестре министра. При оккупации им пришлось бежать в СССР. А на границе схватили, обвинили в шпионаже и обоих послали в лагерь. Так что нашей жизни на воле мой знакомец не знал и с интересом расспрашивал свеженького. А под конец обещал замолвить, чтобы меня взяли статистиком ветеринарной части отделения. Я сказал, что я картограф, работы статистика не знаю. Врач обозвал меня сумасшедшим и ушел.

Дня через три комендант велел собираться, вручил пакет и отправил одного в отделение. Я шел километров двадцать лесами, полями, полупустыми деревнями и почти не заметил дороги, всё думал — оставят меня в отделении или нет? Встретил меня ветеринар — мой новый начальник — приветливо. Работа оказалась простой. Надо было привести в порядок книги и бумаги, запущенные, пока делом заправлял неграмотный завхоз, а начальник сидел в лагерной тюрьме-изоляторе в ожидании нового срока. Теперь у него впереди снова было десять лет. Я глядел на этого человека с испугом, а он казался бодрым и мне советовал не унывать.

Поместили меня в итээровский барак, высокий и светлый, с топчанами и заправленными постелями, с тумбочками и книгами. Накормили в столовой с тарелок, на столах, накрытых белым. Радио передавало музыку. За заборчиком начиналось село. Казалось — сон.

А из глаз лились слезы — и благодарности, и жалости к оставшимся в лесу, и недоумения. Там лагерь — и тут лагерь. Там думают и говорят о смерти, здесь — о кино. Так что же такое лагерь?

А под окном проходила дорога в больницу, и по ней вскоре стали возить моих бывших товарищей. Первым умер здоровенный грузчик...

Через несколько месяцев опять начались странствования — этапы, пересылки, новые места, новые тяготы, доброе участие новых людей...

Тяжело шагали годы. Оставалось пять лет, четыре, три, два, один... Где-то люди ели, пили, радовались, грустили, работали, любили, строили планы. А рядом молчала нечеловеческая мельница, перемалывая в прах судьбы, плоть и дух человеческий. Но дух — не всегда...

А когда осталось меньше года до конца, оказалось, что не видно конца. Началась война.

Мы носили кличку врагов. Напали враги. Их надо уничтожить. А что делать с нами? Никто не знал. Кое-кого без шума ликвидировали. Освобождение прекратили, а уехавших — вернули с дороги. Переписку тоже отменили.

И в это время усиленной тягости вдруг оказалось, что мы перестали быть самыми несчастными. Несчастной стала сама родина, которую мы никогда не смешивали с пославшими нас сюда. Несчастливыми стали кровные, близкие, знакомые и незнакомые соотечественники. Хриплый репродуктор оповещал о всё новых оставленных городах, сожженных селах. Часто в бараке находился человек из тех мест, и он, а за ним и мы видели своих родных убитыми, искалеченными, опухшими от голода, бездомными...

И в этой чаше общего горя растворились наши страдания. Не уменьшились, а стали иного значения. Это настраивало иначе. Проснулись глубоко запрятанные чувства — ведь в праве на них нам было отказано. И вспомнился отец, как он немногословно, но глубоко любил Россию — ее природу, историю, людей. Гордился ими. Он благословил бы меня умереть за нее. Я и сам хотел бы умереть, но среди вольных людей, а не в этом нечистом месте...

А потом пришло освобождение. Выйдя со свертком за ворота зоны, я был в угаре. Но угар быстро рассеялся. Понял: немного удлинилась веревочка. Прежнее — только прежнее, строить надо заново. Очень многое связывает с оставшимися в зоне, прежде всего — строй чувств. А с новыми окружающими трудно говорить на понятном языке...

Я стал догадываться, что не только терял в потерянные годы. Созвездия добрых, умных, блестящих людей мерцали в темноте прошедших дней. Общение с каждым заронило какую-то искорку, и если сопоставить искорки и муки, то каков будет итог? Не сразу ответишь...

А там оказалось, что и прошлое, став нынешним, возвращается.

И вот я, через тринадцать лет, сижу в комнате своей юности, и вокруг меня родные вещи. И самый родной — папин портрет. Гляжу на него, и он не спускает с меня внимательный взгляд. И кажется, хочет сказать: «Вот ты снова увидел дом, мой сын! Надеюсь, что пережитое было твоим университетом, как было для меня высшей академией. Не расстраивай сердце обидой, но прощай только за себя, за других прощать нам не дано. И помни: мне было труднее, чем тебе, — ты был моложе, был один, а я болел душою за каждого из вас. Я испытывал муку, недоумение, но хранил веру и достиг внутреннего мира, самого благого дара! И ты скажи — слава Богу за всё!»...

Я вытер глаза и оглянулся. Хлопотала мама, уснула жена, деловито что-то строил сын. В окно махали зеленые руки тополей, и бодро переговаривались воробьи. И всё было таким родным, близким, и решетка стала таять.

И я сказал: «Слава Богу за всё!».

## СВИРЬ

*«Откуда начну плакати окаянного  
моего жития деяний?!..»*

Ладожское озеро переплыли ночью. Хотелось посмотреть с озера на свирские берега — и не удалось. Поздно лег и крепко спал под мерный стук. А когда стук заглох — проснулся. Ощутил толчок, услышал жужжание, слова команды и звонкий крик — «Свирица!». Увидел занавеску, оранжевую от солнечных лучей, и заторопился на палубу, досадуя на себя.

Озера уже не было. Река, разделившись на протоки, не то текла, не то стояла в низких берегах, поросших кустарником и мелким лесом. На открытых местах высились стога сена. Вдоль кромки воды торчали красные и белые фигуры, похожие на людей в балахонах. На коньке крыши пристани чинно уселись чайки. По дощатым тротуарам медленно шли люди. На воде покачивались лодки. Пахло сеном, сетями, дымом. Легкий розовый туман

очень принарядил эту простенькую картинку, и я совсем было поддался ее очарованию... Хотел поддаться — и не смог...

Мучительное это слово — «Свирь»!... Не слово, а черта, отделявшая одну жизнь от другой, юность от взрослости, волю от порабощения. Ведь «Свирь» в тридцатые, полунепонятные годы было не столько названием порожиистой реки, сколько половиной термина «Свирылаг»... Множество мирных имен на географической карте было загажено тогда добавкой этих трех букв!..

...Невольником, рабом, заключенным стал я, правда, на несколько дней раньше, чем был привезен тогда на этот берег.

Октябрьским утром тридцать шестого года была оценена моя, тогда еще очень коротенькая, жизнь и подведен итог — шесть лет исправительно (истребительно!)—трудовых лагерей.

Как осужденного, меня уже не вернули в следственную камеру-одиночку, а отвезли оттуда в пересылочную тюрьму. Передали новой охране и повели в баню. Перед мытьем остригли. Парикмахер провел несколько раз машинкой, и я увидел в зеркальце, висевшем напротив, незнакомую голову на тонкой шее, с торчащими прозрачными ушами, с лицом, обтянутым голубоватой кожей, обернулся — за мной никого не было. Провел ладонью по затылку и ощутил колючий ворс. И отчетливее, чем прежде — при чтении многословного приговора, — постиг необратимость, серьезность происходящего...

Шевельнулось дикое желание — вместе с волосами скинуть с себя и всё домашнее, начиная с платья, облечься в линочное казенное, окунуться с головой в неизвестное, заставить привычку работать на себя...

И малодушно жаль было пушистоволосого мальчика, только что переведенного через этот порог и как бы кончавшего жизнь на моих глазах...

В горячей, пахнувшей паленым одежде привезли нас в карантин — полуподвальное помещение, отделявшееся толстой — как в зверинце — решеткой от коридора. Камеру набили так, что не только лежать — сидеть было негде. Спали, приткнувшись куда попало. Ночью, добираясь до «параши», всегда полной, стоявшей в вонючей луже бадьи, из-под ног кого-то надо было выбираться, через кого-то перешагивать...

В тесноте, да и в обиде... Но, сами обиженные, друг друга не обижали. Не ссорились, не спорили. Просто плохо различали чужие лица. Душа, забившаяся в скорлупу собственных переживаний, чуть-чуть вылезала из нее лишь вечерами, когда затихал дневной гул и кто-то тихонько запевал, а остальные в четверть голоса подпевали:

Ревела буря, дождь шумел,  
Во мраке молния блистала...

ИЛИ

Далеко в стране Иркутской,  
Между двух огромных скал,  
Окружен большим забором  
Александровский централ...

и больше всего бередившую:

Не для меня придет весна,  
И соловей в саду залетит,  
И сердце радостно забьется —  
Такая жизнь не для меня!...

В скорби давно сложенных слов находила выход наша затравленная сущность. Пока пели — ощущали себя человеками, а не мусором, сметенным в поганый угол...

Еще поддерживало придавленную жизнь отчаяние, малодушное ожидание (именно ожидание, а не надежда, до нее мы еще не доросли!), что вот-вот где-то наверху спохватятся и исправят и всё будет по-старому... Что перевезут в лучшую камеру... Что дадут свидание...

Через четырнадцать дней ожидания начали сбываться. Увы, не все...

Рано утром отвели в баню, а оттуда новой дорогой наверх. Здесь разместили по статьям — «шпану», «бытовиков» и нас, «контриков».

В новой камере показалось настолько свободно, что я спросил о месте. Объяснили, что новенький ложится в проходе у двери и, постепенно двигаясь, может попасть на лавку, стол и, даже, койку — одну из двадцати пяти массивных, привинченных к полу кроватей с рваными решетками. Места между койками идут в счет, а под койками «не нумерованы», так как не всякий сможет поместиться. Но занявший такую «ложу» выбывает из очереди. Я не знал этих извечных тюремных правил просто потому, что впервые попал в общую камеру, странствуя до сих пор по одиночкам. Будучи худ, как платье на вешалке, я, не раздумывая, полез под ближайшую же койку и с наслаждением вытянулся...

Днем вызвали на свидание с женой. Никогда, ох, никогда после не тянулся я так к моей тоненькой девочке, как в дни, когда оба узнали, что разлучили нас на шесть лет... В те дни показалось, что жена, что мечтать о ней — единственный гвоздик, прикрепляющий к жизни. Бедненький, хрупкий гвоздик!..

Неутоленная любовь этих дней огненной сваркой приварила одно несчастное сердце к другому... Ничто потом не могло стереть следы того припая...

Дотянувшись через два барьера, судорожно сцепившись кончиками пальцев, не находя слов и плохо разбирая произносимое, моргая, чтобы смахнуть влагу, мы мечтали об одном — дожить до встречи через неделю, еще, еще, еще через неделю. Пусть так, как в этот раз!..

С набухшими глазами, почти не видя, прибрел я в камеру, таща охапку вещей и продуктов, принесенных женой. Втиснулся на свое место, зарылся лицом в вещи и вдыхал несравненное домашнее благоухание — запах чистого глаженного белья, сухих ароматных травок, которыми перекладывали белье в гардеробе, любимых духов жены, сдобной пищи — предметов, не опаленных в вошебойке, не провонявших портянками, не пропитанных махорочным дымом... Вдыхал и забивал рот тряпьем, и глотал спазмы, стараясь сделать плач беззвучным...

А надо мной в это время умер человек. Старик лет пятидесяти, которого я и разглядеть не успел.

Сидел он вместе с другими тесно на койке, разговаривал. Потом — откинулся. Никто и внимания не обратил — ну, полежать человеку захотелось!.. Спустя время окликнули — «спишь?!» — не ответил. Тронули — не шевелится. Вызвали надзирателя, врача. Те — носилки... Просто и быстро. Жужжащая камера не сразу поняла, что произошло. Потом притихла. И снова загудели...

Я вылез, когда расступились ноги, теснившиеся у койки. Увидел, как в дверях безвольно мотнулась заброшенная восковая голова.

— Освободился досрочно! — сказал кто-то.

— Обманул начальство на десять лет! — откликнулся второй.

— Повезло, — вздохнул третий...

Я поинтересовался, отдадут ли тело для погребения родным. На меня посмотрели как на дурака.

Тяжко стало так и неудобно. Подумалось об осиротевших близких, которые Бог знает что вообразят об этой смерти. О бесконечности, что так молниеносно сомкнулась с конечностью бытия и безапелляционно взяла на себя решение всех недоуменных, всех мучительных вопросов этого человека...

Скребли сердце услышанные реплики. Маска ли это? Фанфаронство перед ликом смерти? Окамененное нечувствие? Или защитная «философия»?

Может быть, такая безболезненная скорая кончина и выход, но не хотелось завидовать! Отчаянно захотелось умереть не среди

насквозь чужих, а дома, вернувшись хотя бы ради этой смерти... Чтобы плакали рядом, касались бережными теплыми руками, проводили до ямы под кустиком, обыкновенной могилки, вдруг показавшейся необычайно привлекательной! По сравнению с общей ямой, куда сволокут, как пса смердящего, да еще известью присыплот...

Я опять забился под койку...

«А ну, вылезь!.. — кто-то кричал и больно пихался ногой. — Собирай вещи, становись!..» Я сгреб имущество и вылез. В камере начался обыск. Заключенных согнали в один угол и приказали подходить с вещами к столу, где проворные надзирательевы руки выворачивали мешки и карманы, залезали за пазуху, прощупывали каждый шов одежды и охлопывали человека спереди, сзади, с боков. Другие стражи в это время оглядывали углы, поднимали с полу клочки бумаги, всякий мусор, лазали под койки...

У заключенных отбирали письма, фотографии, красные одеяла, красные наволочки, рубашки, платки — каждую красную тряпку. «Зачем?» — шепотом спросил я соседа. «Всегда так, перед каждым праздником. Боятся, идиоты, что демонстрацию устроим!» «Ну и ну!» — подумал я и стал опасаться за старенькое свое одеяло. Но оно было с рисунком, и его не взяли. Зато отняли почтовую открытку, что получил в карантине. Жена писала, что надеется на скорое свидание, беспокоится о моем здоровье. После фразы «крепко целую» стоял жирный тюремный штамп «Проверено».

...Не помню уж, сколько осталось спать от этой ночи. А утром, едва были розданы пайки хлеба с довесками, прищипленными лучиной, и дежурные внесли кипяток, пришел надзиратель со списком и стал выкликать на этап. Назвали и мою фамилию. Я забрал пожитки, кивнул настороженным остающимся — и вышел, больше всего огорченный тем, что следующее свидание — через неделю — не состоится. Куда этап — не объявили. Вызванных отвели в полуподвал.

Огромное помещение гудело. Немногие, приличного вида, люди сидели, сжавшись на чемоданах и узлах, а мимо, с нахальным видом шныряли татуированные типы с бегающими, шупающими глазами, с низкими челками, с выпущенными из-под жилетов рубашками, в штанах «с напуском», сапогах «с отворотами». Типы ухмылялись, поглядывая на чемоданы, и одобрительно отзывались о величине «сидоров», как они именовали наш скарб. Произносили они немало и других непонятных слов, но перемежали таким количеством общепонятной омерзительной ругани, что стало тошнить. От типов это не укрылось. «Погоди, трепань!» — обещали они.

Ждать пришлось не очень долго...

После проверки «установочных данных» — кто, что, где, куда, кем, когда, на сколько — нас вывели во двор. Там стояли грузовики. Странно было ехать в открытой машине по улицам! Я вертел головой в тайной надежде, и в страхе, увидеть знакомое лицо. Отовсюду смотрели на меня миновавшие годы, и я прощался с каждым зданием, каждым перекрестком...

На запасном пути ждал длинный состав из красных вагонов «сорок человек — восемь лошадей» с зарешеченными окошками. «Давай, давай» — и мы прыгали с грузовиков и бежали к открытым дверям вагонов. Отсчитывали по списку. Вагон наполнился, двери стукнули, запоры лязгнули. Наступила темная тишина...

Натыкаясь на тела, я нашупал свободное место и улегся, крепко держа пожитки. Глаза привыкли, и я огляделся. В вагоне еще держались запахи коровника и лабаза. По обе стороны от входа стояли грубо сколоченные двухэтажные нары. Посередине вагона помещалась чугунная печка и зияла в полу обитая железом загаженная дырка.

На нарах происходила какая-то непонятная возня. Слышался хриплый шепот, шмыгали какие-то личности. Начался отлив с нашей стороны нар на противоположную. Около меня остались лишь два пожилых человека, так же как я, державшие вещи. А товарищи без вещей, собравшись кучкой, ругались свистящими голосами, хватались «за грудки», но до побоища дело не дошло. Пришли к соглашению.

На завидном месте — вверху, у полуразбитого окошка, очутился жирный малый с узенькими глазками на мучнистом лице. Весь он был какой-то гладкий и скользкий. Противными казались его короткие, быстрые, как бы порхающие пальцы.

Главарю — а это был главарь — подостлали ватное одеяло, а за спину навалили подушки в засаленных цветастых наволочках. Рядом с ним устроились «чины двора» — воры поменьше. Прочих потеснили, а то — просто согнали. Всё как-то утряслось и затихло...

Стояли мы долго. Я несколько оправился от первоначальной смеси страха и любопытства. Голову заняли другие мысли.

Одиночка, суд, пересылка — всё это было как бы продолжением — чудовищным, мучительным, но всё же непосредственным — прошлой моей жизни. Я это время не расставался с городом, в тюремное окно видел то же небо и плывущие по небу облака, что были видны из окон бывшего моего дома. В передачах приносили мне мои старые вещи, и перечень их был написан на клочке бумаги родным почерком...

А сейчас — конец. Рвется что-то кровоточащее — и я рождаюсь в новую жизнь. Умираю для старой. Одновременно. В ящике на колесах, в котором — до этого — возили скот на заклание...

Я то старался представить себе потустороннюю лагерную жизнь, то снова и снова копался в прошлой, ворошил горькое и нежное, обидное и радостное, когда я причинял боль и когда мне причиняли боль, когда я давал радость и когда мне дарили радость... Всё осталось по другую сторону, и ничего ни починить, ни удержать, ни изгладить...

...А поезд тронулся. И едва под колесами зацокали первые стыки и стрелки — в вагоне всё пришло в движение и ринулось на нас. Полезли, облепили, обдали зловонным запахом. Хватали за горло, растопыренными пальцами тыкали в глаза, одновременно вырывая, таща, вспарывая. Совали руки за пазуху, прощупывали швы, выворачивали карманы, охлопывали спереди, сзади, с боков. Второй раз в одни сутки...

Быстро началось, быстро и окончилось. У меня остались — сломанный чемодан, распоротый рюкзак, кружка с маркой «Зингер», потертое одеяло и то, что на мне. Сапоги оказались полустянутыми — вероятно, из машинальной воровской предосторожности. Зато пропали очки в футляре, лежащие во внутреннем кармане куртки. Не осталось ни табака, ни продуктов, включая сегодняшнюю пайку хлеба...

Сгоряча, больше всего огорчила пропажа очков. Испугала кража хлеба. Слез я с нар, подошел к толстому, который не принимал участия в набеге, но явно был его руководителем, и говорю:

— Не знаю ваших порядков. Только слышал я, что настоящие воры пайку не берут. А у меня — взяли. И очки. Зачем они вам? А я без них пропаду!

Толстый с любопытством уставился на меня, потом ухмыльнулся и сказал:

— Человек правильно говорит! Мы воры в законе, а не сявки! Кто, трепанный, взял пайку?!

С нижних нар слез малец в рванье. На худом темном лице блестели глаза и зубы, острые, как у хорька. Он достал из-за полы наполовину сгрызенную пайку и подал мне.

— Дерьма кусок, оторву на чем кепка держится! — крикнул ему главарь. — А очки!?

По рукам пошел футляр. Главарь примерил очки, сощурился, произнес похабщину и швырнул мне — «Бери!». Я сказал «спасибо» и вернулся на место. Пайку больше не отнимали, но этапный сахар и селедка до нас не доходили...

Странная повлеклась жизнь. Ни торопишься, ни цепляешься... Лязгнет замок, проскрежещут двери, ворвутся стрелки, обстукают пол под нарами, стены, крышу, ощупают решетки у окон, пересчитают нас — и опять мы одни. Потом опять приоткроют дверь, поставят окутанное паром ведро кипятку и ящик с хлебом — значит, сутки прошли...

Где мы ехали, где мы стояли — я не знал. Услыхал только слово «Волхов». Бывалые урки спорили между собой, куда нас везут — в «Свирьлаг» или «Беломорканал». Мне было всё равно. Безразлично. Это чувство всё больше овладевало мной. Иногда я вспоминал о доме, который казался как бы уже не бывшим, о городе, о работе, товарищах — всё было, как на другой планете. И горько... Вспоминал, что идут праздничные дни, горят гирлянды, развешаны флаги, улицы заполнены толпой. Но праздник — не для меня. И веселая толпа совсем не знает, что такое тюрьма, правда и кривда, и ящик на колесах, и такие соседи... И показалось мне, что, может быть, будет еще тяжелее, еще грустнее, нелепее, но унижительнее пережитого в этом вагоне — никак не может быть. Вагон — дно... И в ощущении дна было успокоительное — коснулся, а жив... А соседи нас больше не замечали. Сидя со скрещенными ногами на верхних нарах, куда достигал серый свет из неплотно забитых окошек, соседи резались в карты. Карты фабриковались тут же, из газетной и книжной бумаги, склеенной в несколько слоев жидко разжеванным хлебом и просушенной под собой. Бумагу разрезали по формату колоды, огрызком химического карандаша по трафарету наносились достоинства и масть карты. Картинки — валеты, дамы и короли — заменялись сочетаниями знаков масти. Ножи, бритвы, бумага, химические карандаши находились, несмотря на обыски, в нужном количестве. Играли азартно. Проигрывали всё. Мои рубашки мелькали то на одном, то на другом игроке. Не имущие барахла расплачивались спинами. Били жестоко, сполна, но — ни стопа!

В темноте пелись песни:

Гуляй моя детка, пока я на воле,  
Пока я на воле, я твой.  
Тюрьма нас разлучит, я буду жить в неволе,  
Тобою завладеет кореш мой...

Поминали и могилку, и старенькую маму. Чувствительно, со слезой пели... И тут же переходили к отвратительному хвастовству. Друг перед другом расписывали грабежи, убийства, надругательства, обман. И гордились своими занятиями, и презирали глупых, фраеров, годных лишь на то, чтобы работать...

И до меня дошло, что всю жизнь я провел бок о бок с подобными. Ездил в трамвае, сидел в кино, мылся в бане, может быть, жил на одном дворе. И не замечал. А они готовы были ежеминутно вторгнуться в мою жизнь, искалечить или погубить ее. Мою и близких...

И задним числом сделалось страшно за прошлое, больше, чем за нынешнее. И думалось, что если, авось, кончатся невзгоды — до конца дней не избавлюсь от этого брезгливого страха... И думалось еще — а кто, в сущности, горше — шарившие за моей пазухой в вагоне или шарившие в тюрьме?!

А потом мы приехали. Это было после того, как в вагон четыре раза вносили хлеб.

Отпирали замки, раздвигали двери — «Давай, давай!». Окаменевшими ногами мы слезали, падали, строились. Нас пересчитали снова, подвели к столикам, где заполняли какие-то карточки, потом новое начальство произнесло краткую речь.

«Пополнение... Ленинградцы... Специалисты, значит. Вижу, вижу — интеллигенция. Это хорошо! Специалисты нам нужны. По лучковой пиле, по продольной и поперечной. По топору. Других — не требуется! Учтите. Чем скорее поймете, тем лучше!..»

Стемнело совсем. Мы озябли и хотели есть. Нас отвели в большой сарай. У двери повесили «летучую мышь» и заперли снаружи. Весь красновагонный состав поместился в сарае. Не знаю, сколько сотен человек. И тут повторилось то же, что произошло в вагоне. Урки выбрали свой «генералитет» и снова общарили всех прочих. Оказывается, в некоторых вагонах обладатели чемоданов не пострадали — или воры оказались жидковаты, или было много морячков, или нацменов. Но теперь всех уравнивали. Когда кто-нибудь оказывался несговорчивым и начинал кричать и звать на помощь, все урки в двести глоток вопили «воды!», «воды!». И крик их превозмогал... Отпирались ворота, входила стража, щелкали для порядка затворами, матерились — и нас запирали снова. И так до утра.

Отупевшие, разбитые, утром мы снова были проверены и построены колонной на уходящей по долам и горам в бесконечность дороге, перпендикулярной железнодорожному полотну. Здесь, на станции Токари, я впервые услышал и затвердил на всю жизнь лагерную обязательную «молитву». После того, как какой-то второстепенный чин доложил начальнику конвоя о том, что мы все «одеты и обуты по сезону и каптерочным довольствием удовлетворены», начальник конвоя отошел несколько в сторону и зычным голосом провозгласил:

— Шаг вправо, шаг влево считается побегом, оружие применяется без предупреждения, пошли!..

Пошли...

Не знаю, сколько десятков километров сделали мы в этот нескончаемый день.

## СКВОЗЬ НОЧЬ ИДУЩИЕ

«Пошел!..» Тронулись.

Ночь. Холодно. Когда налетает порыв ветра, то залатанная, много раз пережаренная в вошебойке одежда не защищает. Кажется, будто пробираешься голым сквозь колючий кустарник. Я не один. Нас колонна. Идем медленно, ежимся, плотнее запахи ваемся, на остановках топаем ногами. От рабочей зоны до жилой — ОЛПа — два километра, но идем час, полтора. Бедные старики — из-за них! Ставят слабосильных в голову колонны, и они первыми преодолевают ветер и колючий снег, а мы плетемся сзади, приноравливаясь к их шагу... А поставь их в середине или хвосте колонны — начнут отставать, путать строй, растягивать колонну. И — остервенелая брань, щелканье затворов, лай...

Останавливаемся, перестраиваемся, ворчим про себя. Снова идем. Каждый день. Туда. Обратно... Привычно... Но ходьба согревает. Ее ритм успокаивает. В крепком морозном воздухе растворяются душевные мысли, накопившиеся за длинный день. И, право, не так уже хочется спешить, чтобы из-за одной колючей проволоки попасть за другую, в постылый вонючий барак, где с особенной безнадежностью сознаешь свою арестантскую долю. На работе можно забыться, в бараке — никогда... И спишь настороже...

Те, что на общих работах, считают нас счастливыми. И они правы. Работаем в тепле. Не изнуряет нас непосильный физический труд. Положен нам «твердый котел», не зависящий от дневной выработки. Но на тончайшей ниточке висит наше благополучие. В любой день — этап, изолятор, те же общие работы. Или опять придет какой-нибудь невзрачный лейтенант. Вызовет. Спросит фамилию. Пошарит пустыми глазами в списках. Пошевелит бесцветными губами и, возможно, поставит птичку... Есть такая дорога — на «старый кирпичный», по которой только уводят, но никуда не приводят... И вот побредешь ты с сотней других бедолаг. Ночью. Такой же серебряной ночью, как нынче...

А ночь вся выкована из серебра... Ярко сияет диск луны. Вокруг него серебряные с радужным отливом кольца. Над редки-

ми фонарями высокие, до неба, морозные свечи. Из массивного серебра отлиты кусты на дороге. Парчой укрыты склоны холмов. Вуалью затянуты серебристые дали... Сама тишина, висящая над тундрой, кажется наполненной серебряным звоном.

Вырваться бы из-под конвоя и брести одному среди нерасказанной сказки. Лечить ее прелестью свои окаянные раны...

Сзади, несколько в стороне, рядом с призрачными силуэтами копров, высится огромный черный треугольник, перечеркнутый гирляндами фонарей, — террикон. По его матовой поверхности бесшумно катятся вниз куски породы, загораясь синими, красными, зелеными огнями. Воздух порой доносит запах серы. Преисподняя, убранный к празднику... В мерцающей оправе ночи умещается и серебряная чистота, и черная мрачность. И мы — наиболее фантастическая деталь... Облитые неверным светом, растянувшиеся по косогору, согнутые, нелепые, мы меньше похожи на людей, чем на призрачные тени. Собственные тени. Черные на белом, от желтых придорожных фонарей.

Возникают тени где-то сзади, догоняют, прячутся под ноги, карабкаются на сугробы, спасаясь от длинноногих теней собак. Выбираются на дорогу, неимоверно вытягиваются и — пропадают. И вновь появляются сзади, при следующем фонаре...

Мы ведь тоже тени для обыкновенных людей. Для кого — пугающие ярлыком «враги народа», отгалкивающие видом и кличкой «зека-зека»... Для кого — дорогие, но уже оплаканные тени прошлого. Если вспоминаемся, то в прежнем, утраченном навсегда облике... Какими глазами глядели бы, какие слова сказали бы наши дорогие, встретясь сейчас лицом к лицу? Заплакали бы? Улыбнулись бы ободряюще? Или отвернулись, не узнавая? Не желая узнать?

Да, трудно сказать, трудно различить. У всех нескладная одежда, серые лица, неистребимый лагерный запах... Но всё же различают. Говорят: «Вот бывший профессор... бывший комкор...».

Все мы бывшие. Бывшие громкие имена, бывшие обычные люди. Бывшие счастливые. Бывшие мужья, жены, дети, деды. Мудрые и неразумные, честные и бесчестные, добрые и злые, простые и изворотливые, ученые и безграмотные, белые и красные, партийные и духовные. Всякие тут. У всех — одна доля...

Всех нас ведут в общем строю запуганные, задерганные «вохровцы», готовые стрелять при первой же команде, и подгоняют псы, рвущиеся с поводков, скалящие желтые зубы. Всех нас... Моряка, сумевшего в рабской одежде сохранить лоск. Девушку с испуганными глазами, дочь командарма. Юношу с иконописным

лицом — сына протодьякона. Крутловатого, крупноносого турка — члена Коминтерна. Старика-искусствоведа, несущего за пазухой бушлат книгу о самых красивых в мире вещах. Дремучего работягу, звякающего подвешенным к поясу котелком. Скрученного подагрой кавалергарда с отметиной дуэли на голом черепе, лет двадцать кочующего по лагерям. Изукрашенного шрамами чапаевца, начинающего второй год срока. И многих-многих других...

Как мы здесь — знаем. Почему, столь разные, здесь — не знаем. И думается нам, что и никто не знает...

Позади нас растворился в белесой мгле террикон. Впереди, над гребнем холма — россыпь мелких северных звезд. Над головой ковш Медведицы. И вдруг что-то вспыхнуло, метнулось. Заполоскались зеленоватые ленты. Свиваются, развиваются, разворачиваются в шатер, загораются багрянцем, рвутся в клочья, гаснут. И опять дрожат озябшие звезды...

Кажется, всё притупилось в нашей душе. Знаем, где больно, и не касаемся в разговорах. Но вот находит минута — и первому встречному у костра на этапе, на нарах изолятора, поведаешь всё — и обиды, и радости, и горчайшие унижения. И знаешь, что поймет тебя встречный. И поверит. Даже надежде поверит...

«Подтянись!..» Забегали, засуетились стрелки. Скоро ОЛП. Мы вышли на гребень. Затмевая луну и звезды, показались созвездия зоны. Огни вдоль ограждения, фонари у барачков, «юпитеры» на вышках — иголку, и ту найдешь! У вахты будет обыск. Расстегнешь бушлат, поднимешь руки и будешь стоять, пока оцупают. Привычно, но противно...

Что ж, ищите, слепые!

За годы пути мы не только теряли. И сохранили, и нашли, и поняли. И это помогает нам идти, идти сквозь ночь. И ждать рассвета. А рассвет — будет!.. Вам пока не понять, ослепленные, и вам, видящие, но зажавшие рты, и тем более вам, продающим тела и души человеческие!

Еще несколько часов — и настанет утро. Обычное утро. Для всех. Но не для нас. Для нас всё равно ночь. Глухая ночь. Пока... Пока мы пришли.

«Стойте!..»

*Ленинград, 1962*

**СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ**

\* \* \*

В Сокольниках сентябрь.  
И я к Преображенской  
До станции метро  
Шагаю через мост.  
А под мостом ленивая вода  
Течет уклончиво,  
Как бы издалека  
Рождая эхо,  
И печалью женской  
Тревожат душу  
Осень и река.

И видятся дома,  
Стоящие на склоне,  
И голубой дымок,  
Ползущий от люля,  
Зеленое пальто  
И баба на балконе  
На фоне простыней  
И прочего белья...

Всё кружится в лучах  
Червонного заката,  
Уплывшего туда,  
Где ночь и перегной,  
Но женское лицо,  
Любимое когда-то,  
Опять, как наяву,  
Опять передо мной  
Проходят наши дни

---

**Евгений  
БЛАЖЕЕВСКИЙ**

— родился в 1947 году в г. Кировобаде (ныне Гянджа, Азербайджан). Окончил Московский полиграфический институт. Автор книг стихов «Тетрадь» (1984), «Лицом к погоне» (1995) и «Черта» (1998). Живет в Москве.

В квартире на девятом  
Высоком этаже,  
Где музыка и свет...  
Но столько лет прошло!  
И больше ни тебя там,  
И ни меня давным-  
Давно в помине нет.

И что сказать? —  
Что жил певцом опальным  
Под сенью то серпа,  
То нового орла,  
Что проживаю я  
В другом районе спальном,  
Что, вроде бы, женат,  
И мама умерла...

А за окном прошли  
Немыслимые сроки.  
Тебе ж и тридцати  
Веселых лет не дашь...  
И может потому  
Пишу я эти строки,  
Чтобы убить в душе  
Еще один пейзаж.

1997

### Из дневника

Всё реже встречаемся, по принуждению звоним.  
Ни прежний азарт, ни желанье не рвутся наружу.  
Январь пролетел и метельный февраль, а за ним  
Пахнуло весной, и я знаю, что слово нарушу.

Ненужная память об этой усталой любви  
Исчезнет в пространстве, где прошлому нет и следа.  
Прости, если можешь, и больше к себе не зови.  
Седьмое число. За окном наступает среда...

\* \* \*

Когда-нибудь настанет крайний срок  
Для жизни, для судьбы, для лихолетья.  
Исчезнет мамы слабый голосок  
И грозный голос моего столетья.

Исчезнет переплеск речной воды  
И пёс, который был на сахар падкий,  
Исчезнешь ты, и легкие следы  
С листом осенним, вмятым мокрой пяткой.

Исчезнет всё, чем я на свете жил,  
Чем я дышал в пространстве оголтелом.  
Уйдет Москва — кирпичный старожил,  
В котором был я инородным телом.

Уйдет во тьму покатошь женских плеч,  
Тех самых, согревавших не однажды,  
Уйдут Россия и прямая речь,  
И вечная неутоленность жажды.

Исчезнет бесконечный производ  
Временщиков, живущих власти ради,  
Который породил, помимо зол,  
Тоску по человечности и правде.

Исчезнет всё, что не сумел найти:  
Любовь любимой, легкую дорогу...  
Но не жалею о своем пути.  
Он, очевидно, был угоден Богу.

### Дорожные стихи

Над Тольятти метели тень,  
Снег зализывает пороги.  
Нет письма семнадцатый день,  
Видно, письма замерзают в дороге...

Но мне чудится: вдоль проводов  
Поднялась и летит, нарастая,  
На Москву, на Казань, на Ростов  
Сквозь метель непонятная стая.

Это письма в полет повело  
В несуразных конвертах без марок,  
И несет их зимы помело  
В мир домов, подворотен и арок.

И мое — в их несметном числе —  
Полетело гонцом виноватым  
К вам, Марина, чей голос и след  
Затерялись за военкоматом,

Где снегами пути занесло  
И пропели армейские трубы...  
А волос вороное крыло,  
И глаза, и вишневые губы,

Что так долго мерещились мне  
В перестуке и грохоте стали,  
Отступили в дрожащем окне  
И за Сызранью вовсе пропали.

В темноте небывалых кулис  
Ни звезды, ни дорожного знака...  
Пенелопа не ждет, а Улисс  
Не вернется в отчизну, однако,

Над Тольятти метели тень,  
Снег зализывает пороги.  
Нет письма семнадцатый день,  
Видно, письма замерзают в дороге...

\* \* \*

И наступило великое безмолвие книги,  
Подобное безмолвию сечи,  
Когда текст и читатель  
Несутся навстречу друг другу,  
Но спшибки еще не случилось,  
А воспаленный мозг  
Всё глубже оседает в тенетах  
«Преступления и наказания»...

И вдруг — отчетливый стук,  
Требовательный стук в ночное стекло!..  
И взгляд мгновенно выхватывает из глубины  
осеннего мрака

Ветку глицинии,  
Что оплетала оконную раму  
Моего кавказского дома,  
И бесформенно сидящую на ветке,  
Словно полусдутая крышка мяча,  
Тронутую ржавчиной канализации крысу...

Властительница ночи заглянула в мое окно,  
Сверкая бисером глаз,  
Страпа отвратительной желтизной оскала,  
И между нами возник вкрадчивый ужас,  
Который был —  
Не знаю почему —  
Обут в малиновые сапожки  
Из дорогой замши.

1997

## Набросок

*И. Сурину*

Серый московский денек  
Отговорил, поблек.  
С неба летит снежок —  
Медленный порошок  
Лепится по фасаду,  
И открывается взгляду,  
Сколько в округе сырого  
Сурика,  
                        сколько олова  
Оплавило фонари!..

Как на портрете Серова,  
Сумерки,  
                        словно Ермолова,  
Возникли в проеме двери.

1997

\* \* \*

Еще одно лето, с которым так много надежд  
Я связывал, кончилось самым банальным обманом.  
У мертвого времени, вместо зеленых одежд,  
Остались расписки банкрота и анжамбеманом,  
Точней, переносом на поздний расплывчатый срок,  
Оно сохранило надежд и желаний объедки,  
Когда перед носом отчетливо щелкнул курок,  
Когда барабан повернулся на русской рулетке  
Нагана, и ты разглядел, как покрыла слюда  
Осеннего солнца резные подробности клена...  
Я твердо уверен — удача вернется сюда,  
Но некому будет открыть на звонок почтальона.

1997

## **ТЕНИ ОСТРОВА ИОС**

### *Рассказ*

#### **1**

Кто-то затопал наверху. Шаги волной прокатились по палубе: тук-тук-тук-тук.... Но в нем не родилось беспокойства: это была нестрашная деловито-суетливая волна — не мягкие, замедленные шаги, когда перебираются по палубе просто так, меняя место, но и не резкие прыжки, не бег-грохот, перемежающийся сдавленным — так он отсюда слышится — людским криком. Тогда действительно пора вскакивать. Обыкновенная деловая суета: на палубе что-то затевали. Поспите в «гробике» один дальний поход, другой — и тоже легко будете отсюда, из темноты, различать происходящее там, на палубе, над вами...

Крышка над ним откидывается — он чувствует приток воздуха, приятное дуновение прохлады. Хорошо просыпаться так.

Еще толком не разлепив глаз, он потягивается в своем ложе, среди чуть пахнувших тленом старых парусов. Бледная голубизна набес. Седые волосы и загорелые плечи склонившегося к нему в «гробик» человека. Это капитан, Владимир Федорович Стрелкин, — он что-то ищет у него в ногах, под парусами.

— Андрей... тут итальянцы... воду дают... им включили, они заплатили... заправились... и нам дают.

Голос капитана мягок, как это голубое небо, как это не слишком жаркое пока утро. Федорович копошится, вытягивая кишку от заправочной емкости. Капитан решил заправиться водою «нашармачка». Тут, на греческих островах, вода платная. Что ж, повезло.

Кишка утягивается наверх. Над головой мелькает загорелый торс седого человека, и — только утреннее небо, да где-то в стороне коверканная английская речь...

---

**Борис КОЗЛОВ** — родился в 1950 году в Челябинске-40. Мастер спорта по парусному спорту. Окончил Московский инженерно-физический институт. В 1992 году в журнале «Знамя» была напечатана его повесть «Записки ликвидатора». Живет в Москве.

Приятная истома в теле. Легкая ломота в отдохнувших мышцах.

Это голубое небо с берилловым оттенком — оно и знакомо и незнакомо. Интересно — бывает ли над его родиной небо с подобным оттенком — бледно-зеленого? Выцветшее от вечной жары небо — белесо-голубое, и явная примесь в нем бледной, берилловой, зелени. Но пока ещё не жарко. Утро.

Они хорошо стоят. Где-то в укрытой бухте. Хотя он еще только тянул с наслаждением свои руки, сжав пальцы в кулаки, и не успел выглянуть из своего убежища, множество признаков указывали на это. «Арго» не мотает, кранцы не трутся, не скрипят по борту, мачта спокойно торчит в высь, а не елозит циркулем по небу. И быстро же они сюда добрались: когда в четыре часа ночи сдавал он вахту, была ещё темень кромешная, а остров проступал из мрака темною глыбой — далеко ли до него ли? близко? какой-то одинокий огонь мерцает, еще огонек проступил... Туда идти?...

С того времени, наверное, прошло часа три. Сейчас, значит, часов семь... или восемь?

Он поднялся из вороха парусов, выпрыгнул в кокпит. Точно — «Арго» стоит носом к причалу, на кормовом якорю, в хорошо укрытой бухте. Рядом, слева и справа, едва-едва покачивались на воде белоснежные корпуса еще трех-четырех яхт.

Тепло, и свет солнца пока не режет глаз, и не давит жара. Тело словно купается в утреннем солнце. По коже будто кто-то поглаживает мягким, влажным тампоном. А вода под бортом прозрачна, точно легкая голубая дымка.

На носу Федорович — босой и в одних плавках, голова украшена седоватою гривой, осанистый торс, весь он похож на умиротворенного Посейдона, — делает жесты любезности, изъясняясь о чем-то с человеком в шортах на причале. Вероятно, — это и есть итальянец, сужающий пресную воду.

Бухта имела вид запятой. И вход в неё — хвост запятой — виден не был. Блюдо прозрачной воды — и уходящие вверх со всех сторон... горы? холмы? скалы?.. Для гор слишком низко; холмы? — но у холмов округлые силуэты, а здесь все больше пирамидальные, и потом тут слишком сухо и безжизненно. На «скалы» тоже не тянет... Обыкновенные греческие берега. Берега греческих островов. Когда-то здесь был рай, эдем, а теперь земля истощена, измучена солнцем. Но все равно — быть тут неплохо.

Красивые домики плоско, в один уровень, выстроились цепочкой по берегу бухты. Домики в основном двухэтажные, белые-белые, с черепичными красными крышами — и все сплошь

увешаны рекламами-вывесками. Красивыми и аккуратными, словно подведенные помадой губки девушек. Только от этих вывесок ни холодно, ни жарко — они явно «не про нас»...

Домики еще спали. Под навесами кафе — пустые столы и столики.

Таких красивых домиков, таких белых, таких нарядных — не было в его России. Они так красивы, словно не настоящие, а декорации. Впрочем, к этому легко привыкнуть, к этому легко привыкаешь и существуешь — в декорациях.

Две молодые женщины пропорхнули мимо «Арго» по мостовой причала куда-то неподалеку. Они вертели головами, щебетали между собою — кажется, по-немецки. Обе были в шортах и маечках. Та пара ног, что побелее, принадлежала блондинке с накрученными волосами. Другие ноги загорели нежно-оливковым загаром. Вскоре, попив и помочив ноги в фонтанчике на площади, женщины вернулись на роскошную яхту, причаленную через один корпус от «Арго».

Еще недавно за «железным занавесом» мог ли он подумать, что окажется под этим небом, на островах, где каждый камень буквально дышит Историей? Ему, спортсмену-паруснику, после окончания технического института завязавшемуся с атомными секретами, путь сюда был, казалось, навсегда заказан, а теперь... Всего милях в двадцати отсюда лежит вулкан-остров Сантарин — прообраз Атлантиды. На Эгине, острове, где была их предыдущая стоянка, прятался от македонцев не слишком храбрый Демосфен. На этом же, нынешнем, острове как будто бы похоронен сам Гомер. Тут всё и вся. И тут они, русские, — такие же, как и все прочие мелькающие иностранцы. Мысль эта пронеслась вполне обыкновенную, потому что после всех утолений осталось только спокойное любопытство к этому миру, спокойное ожидание, спокойный интерес. Терпеть он был странник — Синдбад-мореход, и, кажется, ничто уже не могло его поразить. Вот и этот день — что принесет он? Что бы ни принес — он был рад ему.

## 2

В девятом часу утра «Арго» уже валил по ветру вдоль кругого берега острова ходом до восьми узлов — и под одним лишь стакселем. Шикарный свежий ветер по временам еще усиливался до отчаянного: невидимые осы-шквалы принимались разбойно свистеть-жужжать в вантах, колотить фалами о мачту.

Солнце.

Яркое солнце и удивительная, прозрачно-фиолетовая вода Эгейского моря.

Вода шипит вдоль летящего корпуса. На Балтике такой ветер — был бы шторм. И там было бы хмуρο и сурово на вид. И брызги бы ледянили. Здесь же вода так тепла, что капли лишь освежают. А облаков в этих краях не бывает в принципе: неделю назад, в Афинах, им сказали, что дождя не было уже полгода.

Андрей держал руль и смотрел на выдутый пузырем стаксель — чтобы не хлопнул тот, не перекинулся на фордевинде. Остальные пять человек команды — все загорелые, все в одних плавках вместо одежды — вольно расположились на палубе, любопытствовали на берег и спорили.

«Арго» принадлежал Московскому Институту Ядерной Физики — в те времена, в 1990 году, яхт такого класса в частной собственности в России еще не было. Сотрудники института и составляли экипаж — чинили яхту, участвовали в гонках и перегоне судна, проводя под парусом отпуск. И хотя сами себя они могли дразнить «моряки с Москва-реки», однако три года назад сумели победить в престижной Балтийской Регате, пройдя дистанцию от Ленинграда до экс-Кенигсберга и обратно мимо шведских маяков. А теперь вот очутились на своей московской яхте за тридевять морей от дома. Впрочем, это был первый их «южный» поход, — прежде за пределы Балтики выходить им все-таки не удавалось.

— Смотри, вон они... голые!.. — ткнул вдруг пальцем в сторону берега Валера, отчаянно стройный брюнет лет двадцати пяти, в горделивых чертах лица которого явно проступали следы кавказской крови.

— Где? — тотчас повернулся к нему повисший на вантах матрос Серега Манин, из отдела «ускорителя заряженных частиц», за вредный характер и очки, укрепляемые на голове резинкой, прозванный на «Арго» «четыреглазым».

— Да нет, они не голые, просто без лифчика..., — спокойно констатировал Колюня, сотрудник того же отдела, невозмутимый флегматик и философ.

— Голые, голые! Дай бинокль, спорим, что голые!

— Да ну вас, дикари! Не показывайте хотя бы пальцем! Неудобно же! — Бородатый щеголь Дима, кандидат наук с «медпучка», по совместительству корабельный баталер и кок, умевший из любой подручной чепухи соорудить вполне ресторанный обед и при всем своем жизнелюбии отличавшийся какой-то неумной стыдливостью, бурно выразив свое негодование, даже спустился в каюту. Не желая быть спутанным с остальной компанией, он принялся разглядывать берег оттуда в бинокль, приставив его к иллюминатору.

— Ну и как? голые? — спросил, нагнув к нему в каюту голову, философ Колюня.

— Голые, — со сдержанной жизнерадостностью ответили оттуда...

Под расщелинами скал открывались маленькие, в несколько метров, пляжики-бухточки, и загорелые тела вспугнутых девушек то и дело соскальзывали там с камней в фиолетовую воду.

Дакроновый стаксель опять завибрировал от ветра, поймав в свое пузо целый рой невидимых ос. Андрей крепче взял руль.

— Андрей, давай все-таки пойдём чуть подальше, а то мало ли что... Рифы... — мягко, как и всегда, когда обращался к своему старшему помощнику, попросил уважавший его способности и опыт капитан.

Андрей, чуть промедлив из мальчишеского упрямства, отрулил на несколько десятков метров подальше. Губы его улыбались. Ему думалось: в самом названии острова слышится гудение ос. Шквалы роями срываются с прокаленных круч острова. И так везде здесь: чем свежее ветер, тем пьянее он возле островов. Своею оглаженно-пирамидальной формой прокаленные солнцем острова не рвут потоки, а, наоборот, ускоряют обтекающие их вихри. Если не переменится ветер — придется несладко: ведь возвращаться надо будет против ветра, в лавировку.

Они рассчитывали к вечеру вернуться в прежнюю бухту.

— Андрей, а мы, похоже, не зря пришли сюда, — утром, на пирсе, сказал капитан. — Этот итальянец рассказывает: тут молодежь — сейчас их не видно — отсыпаются, а вечером они нанюхаются чего-то и, говорит, такое творят, такого насмотришься...

Вот ведь причуда, подарок судьбы: кто-то платит сотни долларов или фунтов стерлингов, чтобы попасть сюда, на Греческие острова. Кого-то обуревают тут мелочные деловые вопросы. Им же дарована возможность просто идти и смотреть. В карманах пусто, но зато никто не стоит над душой. Кров и еда — есть, «Арго» набит провиантом. Правда, в Афинах им пришлось выкинуть ящик испорченных, подмоченных морской водой макарон. По причине скудости финансов трудности были и с хлебом. А фрукты, коль можно назвать так ту зеленоватую недозрелость, удалось отведать лишь дважды: когда попались на берегу дико-растущие инжир и виноград.

Если смотреть с круч, их яхта должна походить на порхающую внизу маленькую бабочку. Они же — с воды — смотрели на скользящие мимо жженные-пережженные солнцем берега, которые круто уходили вверх. Через каждые несколько сотен метров на

склонах можно было видеть насыпи из камней, точно рубцы на теле, — границы прежних землевладений. Когда-то из-за каждой пяди этой земли вздорили эллинские роды и семьи, а теперь пуста она, лишь редкие козы караулят, когда пробьется под гнетущим солнцем ещё одна травинка.

— Забросили земледелие... — то ли осуждая, то ли сочувственно прокомментировал Федорович, качая седовласою гривой.

— Да у них всю Грецию козы сожрали: первая экологическая катастрофа, порожденная цивилизацией! — откликнулся Серега-четырёхглазый, умно посверкивая очками.

— Интересно, как же они живут-то? — удивился добродушный, гладкий телом Перцев. По возрасту он стоял где-то посередине между седовласым капитаном и молодежью, а по складу характера — был у Федоровича кем-то вроде оруженосца, на берег «деды», как правило, сходили вместе. Недавно он защитил докторскую диссертацию, за что в экипаже его величали «пан профессор».

— Туристам жопы подлизывают. — Это уже гордец Валера внес свою лепту в дискуссию.

— А что тебе туризм? Что туризм? Ну и туризм! А ты попробуй — обеспечь такой сервис! — щегольская борода Димы опять показалась на палубе. Закоренелый ревнитель западничества бурно негодовал.

На этом острове тоже были какие-то древние развалины храмов. Они изображались в рекламном проспекте, который служил одновременно и планом острова. Эта земля вся была соткана из Истории, однако торжественное благоговенье перед нею удерживалось лишь усилием сознания, ибо — удивительно — ничего из прошлого, кроме камней, земля эта не сохранила.

Странное впечатление оставалось от нынешних греков — особенно здесь, на островах. Они словно бы и не хозяева этой земли, а обслуживающий персонал. На острове Леросе, когда Андрей всходил на дальнюю высокую улочку, ведущую к крепости — это была уютная пешеходная улочка, даже мостовая её была побелена, — из побеленного же маленького домика в маленькое оконце выглянула немолодая черноволосая гречанка; утомленное её лицо говорило, как не хочется ей выходить под палящее солнце. Тогда ему вдруг пришло на ум: наверное, и в самом деле несладко всю жизнь провести на маленьком островке, в маленьком домике, под немилосердным солнцем...

Рекламных проспектов на «Арго» оказалось три штуки. Их выдавали в туристическом агентстве, расположенном в одном из ярких домиков на набережной, по одному экземпляру каждому

посетителю, — бесплатно! Неутомимый энтузиаст Дима обнаружил это, едва сойдя поутру на берег. За ним ещё двое смотались по указанному адресу. Сначала — четырехглазый Серега Манин, нахальство которого свободно вмещало в себя любое попрошайничество. Затем, сделав лицо посеядонисто-серьезным, сходил босыми ногами туда и капитан, Владимир Федорович Стрелкин, в миру экс-начальник лаборатории, принявший в сердце парусный спорт еще со времени изготовления советской водородной бомбы.

Дима вообще вернулся с берега возбужденный.

— Мы всё узнали! Всё! — он словно закусил удила. За его спиной согласно помалкивал Валера. — Нудистский пляж! Там у них нудистский пляж, — тыкал Дима пальцем куда-то сквозь гору, — с другой стороны острова! Пойдем сейчас туда?!

Но утро было таким блаженным, что Димины суета вызвала у Андрея лишь скептическую улыбку. И Димины губы среди пажонской рыжей бороды в отчаянии скривились:

— Ты ничего не понимаешь! Здесь все днем пыивут туда! Мы всё узнали! Вот и они идут туда! — указал он торжествующе на пеструю группу загорелых молодых людей с рюкзаками, показавшуюся на берегу.

Впрочем, до вечера времени было полно. Федорович, прислушиваясь к разговору молодых, раскрыл принесенный планчик острова, полюбопытствовал и ткнул пальцем:

— Вот он, Андрюш, тот «бич».

Теперь Андрей держал руль, а ему под нос — для ориентировки — совали рекламную план-карту. Неожиданно подле мыса они увидели дно. Он увидел его первым — и рассердился, потому как был уверен, что Федорович непременно ему сейчас укоризненно на это укажет. Капитан «Арго» был лучшим яхтенным штурманом, какого только можно вообразить. Однако из-за излишней осторожности однажды испортил им гонку на Балтийской регате. Но Федорович молчал.

Под ними проносились огромные валуны, поросшие короткими, густыми, как волосы, водорослями. Глубина была метров десять, а впечатление — будто леишь в метре от дна: прозрачная вода приближала, точно линза. Федорович просто ничего еще не успел заметить — он смотрел на скалы мыса и вперед, где открывалась бухта. Но через минуту все-таки скоился вниз, под борт, и повернул голову:

— Андрюш...

— Вижу, — ответил Андрей.

На гору он уходил уже в гулубоких южных сумерках, последним, — ему досталось караулить яхту, пока путешествовали остальные; черед его настал, лишь когда оттуда спустились разомлевшие в телячьем восторге яхтенные «деды».

— Иди, Андрей! Иди! Посмотри! Вот как жить надо! Я сыну своему об этом расскажу! Все танцуют! — восторгался Перцев. Федорович из своей гривы смотрел с ним вполне солидарно.

...По склону горы — главной горы греческого острова — плыла феерическая толпа молодежи. В теплой, густой ночи всё перемешалось: мрак и свет фонарей, пестрая полуодежда тел, гомон, улыбки, смех, грохот музыки. Людской поток неспеша тек по неширокой, мощеной булыжником улице вниз, к морю. Редко кто шел поодиночке — всё больше это были обнявшиеся парочки, веселые, взявшиеся за руки компании. Густую темень кажется можно было черпать ладонями, разгребать руками... Ночь, расцвеченная зазывными огнями дискобаров, пульсировала ритмичною музыкой — мелодии наслаивались друг на друга, пожирали одна другую...

Пахнуло сигаретным дымком. И опять где-то рядом смеется девушка...

Навстречу спускающемуся потоку, сквозь него, поднимался встречный, такой же неспешный — такая же, занятая сама собою, здоровая и красивая молодежь, тысячи людей. Запахи молодых тел, за которыми тянутся прилипчивые шлейфы косметических ароматов, французских духов; запахи пива и коктейлей. Запах кофе.

Какая-то девушка и парень, мимо которых прошел Андрей, полусидели на каменном парапете, держали друг друга в дружеских объятьях. Было полно таких, но разговор этих он невольно подслушал: «...О-о!.. Ю ис френч?.. Ай эм итальяно!..» Она уверенно и независимо восхитилась, отстранившись после поцелуя.

Ветерок прохладною струйкой лизнул его влажное после энергичных танцев тело — лизнул щеки, шею, ноги, на минутку удалив все запахи вокруг.

Черт побери, да ведь они все едва знают здесь друг друга, во всех этих компаниях! И эта смеющаяся итальянка целуется с французом, похоже, просто случайно встретившись тут у парапета пару минут назад, где их столкнула толпа...

Эта мысль сколько-то времени занимала его. Нет, ничего он не имел против итальянки этой или против её молодого фран-

цуза. Ни против кого-либо другого, не в этом было дело. Он пытался понять что-то о себе самом: откуда в нем это чувство неприкаянности? Может, он просто завидует им, этой толпе? Этот праздник, всеобщее это братанье... Вот и он идет — похожий на всех, одетый примерно так же, как большинство... И разве не пытался он влиться в праздник? Он честно пытался плясать с ними. Ведь ему нравилось — танцевать. Но вот что у него никак не получалось — забыться, как они. Никак не мог он попасть в тот пласт, в тот душевный настрой, чтобы почувствовать их...

Он шел и смотрел в упор в лица. Здесь, в толпе, никому не было ни до кого дела, и можно было смотреть так, никто не замечал твоего взгляда... Вот беловолосая шведка с простоватым, некрасивым лицом, вешается на шею какому-то прыщавому юнцу. Оба они изрядно навеселе. Юнец кажется довольным, однако откровенно предпочитет её же подружку, целуется вза-сос — с тою. Но шведка словно бы не хочет видеть, пристаёт к нему опять. И она не выглядит обиженной. Она выглядит просто капризной... В другом дансинге — то же самое: ритм! ритм! ритм! Какие-то потные парни влезают танцевать прямо на огромные грохочущие акустические колонки. На их лицах — истинное упоенье, они в восторге от собственной проделки. Им достаточно этого, чтобы прийти в такой восторг? Им достаточно этого?... Боже, даруй счастье восторгаться столь малым! Или нет, не даруй — оставь всё как есть... Каждому свое?.. Откуда прибыли сюда эти парни — из Германии? Они приехали из Германии, чтобы днем отсыпаться в палаточном кемпинге, а ночью само-забвенно отплясывать на акустической колонке?

Вскоре ему надоел грохот, но толпа — не надоела. Ночь представлялась ему насадкой, накрывшей остров своим телом, а ветерок — это порождение трепета черных крыльев её. Остров — Гора плывущая в окружающем со всех сторон море — во всеобъемлющем мраке.... Освещенная улица — словно туннель, наполненный людьми. Он продолжал спускаться, по-прежнему глядя в лица.

Вдруг впереди — о славная картина, достойная улыбки! — две головы в людском многоголовье — приметные, точно сигнальные буйи среди моря волн. Головы плыли в противотечении, поднимающемся наверх. Что выделяло их в этой пестрой, канареечной толпе? Среди сонма занятой собою молодежи, воркующих девиц и парней с короткими, обращенными друг на друга взорами, — словно два печальных аиста. Нет, они не стояли на одной ноге, они двигались вместе с толпою. Но взоры их были протяжны, длины, пронзительны и неприкаянны, будто аистьиные клювы.

«Вы ли то, други моя?» Да, это были Дима и Валера. Ощущение родственности, прокатившее ласковой волной, даже позабавило. Можно было польли бы они дальше втроем, неприкаянные. А ему лучше было сейчас одному...

Прятели проплыли рядом, так и не узнав его скорбными и пронзительными глазами своими.

#### 4

Через два часа он сидел на «Арго» в позе роденовского мыслителя, подперев кулаком подбородок, морщился и разговаривал с Димой, который тоже недавно спустился с горы.

— Понимаешь, ведь я едва не ударил его... Я хотел его ударить, не знаю что остановило меня в последнюю секунду! — Андрей высвободил руку из под подбородка и посмотрел на свой сжатый кулак.

Это случилось, когда на обратном пути его вдруг подхватила какая-то нахлынувшая сзади компания — рослые гогочущие парни. Они были навеселе, окликнули его, обняли за плечи. Наверное, их удивило, что он один. Они совали ему в руку банки с пивом. — «Веа ви гоуинг?» — пытался спросить он, куда они идут; те показывали куда-то в темноту, объясняя, что направляются к себе в кемпинг. Они непременно хотели, чтобы и он пошел с ними продолжить гулянку.

Он шел, обнятый за плечи голоколенным ладным и статным мальчиком, молодым мужчиной. По крайней мере рука того была крепка, а росту в нем было под метр девяносто. Свободной рукой новоявленный спутник размахивал, помогая себе объясняться. «Ю ис май френд! — Ай эм ё френд! — Ю ис май френд!» — его указательный палец, перелетая в воздухе, тыкал то ему в грудь, то в свою.

Это опять была немецкая компания. Немцы спросили его, кто он по национальности .

— Рашен.

— О! Раша... — немцу это было явно все равно. — Ай эм ё френд! Ю ис май френд! — У него была одна пластинка. Немец похлопывал его по плечу и неожиданно попробовал потрепать за щеку. Злоба вспыхнула, тело напряглось. И только одна мысль удержала....

— Понимаешь, как так? — думаю..: ведь вот мои же глаза видели: десять тысяч этих молодых парней танцуют, десять тысяч молодых людей тусуется на улице — и нигде ни одной драки, ни

одного задиранья! И ни одного полицейского тут нет — ты видел полицейского? Все только улыбаются... И вдруг я один здесь ударю человека... Думаю, может я чего-то не понимаю? что-то не доходит до меня? Может, так принято здесь — такая фамильярность?!

— Нет, надо было ...Ну, и что ты сделал? — Дима весь был сочувственное возмущение.

— А знаешь, взял и потрепал того за щеку. И по плечу придавил...

Андрей соорил-таки улыбку — когда взялся трепать, мять эту чужую щеку, но все равно немец почувствовал недоброе — отстранился, посмотрел из темноты, и отвязался через несколько метров.

Андрей старался понять охватившее его чувство. В гогочущих немцах раздражала больше всего самоуверенная выкормленность. Они отпляшут и встанут к немецким станкам, чтобы с немецкой аккуратностью делать добротные немецкие вещи. Из веселящихся подростков-бройлеров станут аккуратистами-немцами. А он — русский. Но что с того? Над возникшим смутным, тревожащим, болезненным ощущением надо было думать. Мир, с которым он столкнулся, задавал загадки, и мысленный взор невольно обращался куда-то в огромное назад: в дали, в просторы страны, именуемой *Россия*. Там было полно всякого, но чего-то, видно не было, если мысленное желание устремиться оттуда сюда, в мир этот, наталкивалось на какое-то препятствие. Напрашивался утешительный вывод: этот молодежный фейерверк, беззаботное веселье — если оно постоянно, если вся жизнь заключается в нем — нравственно ли? Примеряясь, он не хотел бы всю жизнь прожить так, какого-то другого хотелось исполниться смысла. Но это достойное чувствование пробивалось и сквозь унижающую горечь: где-то совсем близко, за плечами, лежит огромная его страна — стиснутая, придавленная. Шел 1990 год, и перед глазами возникали оставленные на родине пустые прилавки магазинов — очереди, очереди, очереди....

Внутри «Арго» кто-то посапывал. Спали, наверное, капитан и Перцев, возможно, кто-то ещё. Остальные блуждали где-то на горе, откуда еще доносилась негромко музыка. Шел второй час ночи.

Спали и пять-шесть яхт рядом с «Арго» — кроме той, роскошной, через корпус от них, куда утром пропорхнули две молодые женщины. Они и сейчас были там, среди небольшой компании, расположившейся на палубе за длинным, выдвинутым в обширный, удобный кокпит столом, уставленном бутылками, — их

голоса звенели время от времени залиvistым, колокольчиковым смехом. Маечки они поменяли на рубашки, но оставались в шортах; мужчины в пляжном полуодеянии вольно гоготали под темным темным небом...

Нырнув в каюту, энергичный Дима разыскал недопитый джин, принесенный вечером итальянцами. Им выпшло по стопочке. В каком-то другом уголке Дима разыскал и недопитую водку. Вышло еще по четверть-стопочке.

Они сидели на борту «Арго», а остров у них за спиной — что с него? Полно таких: точно клецки набросаны в Эгейском море... Да и что это, к черту, за остров, где вавилонское столпотворение каких-то пигмеев высокорослых и где только танцуют — малыцы беззаботные... Им за колбасой в очереди, по талонам, не стоять. И надо же: мамыши всесветные не боятся чад своих отпускать в такую даль чужестранную! У нас их петишкам, в Казани или в Люберцах, быстро бы рога пообломали...

Со стороны, даже зная русский язык, но не будучи русским, иронию их разговора с Димой вряд ли бы кто-то понял.

— И никто не плюет под ноги! Они и сплевывать не умеют? Я смотрел, я везде смотрел: никто. Из десяти тысяч человек — никто...

— Дикари все-таки западноевропейцы: к ним не проникли ещё передовые идеи насчет развития общества, — соглашаясь с Андреем, деланно-глубокомысленно кивнул Дима.

— Совершенные дикари, к ним даже бусы еще рано везти, стеклянные, чтобы обменивать на ихние безделушки. Не поймут!...

— Они и домов не запирают, и машины бросают просто так открытыми.

— Дикае люди: по-русски — ни бельмеса не говорят. Не наученные... Слушай, не пойму: почему у них земля сожжена солнцем, заводов нигде не видно, трубы не дымят, а всё есть? А у нас — наоборот: из земли всё пучится, на каждом шагу дымящие трубы — и шаром покати.

— Так у нас в этих трубах как раз и сжигают то, что из земли пучится, это же ясно.

— А зачем?

— Ну там... для плана, план по сжиганию.

— А-а-а... Логично. А этим, пигмеем местным, которые тут на тарабарщине лопочут, как будто каши в рот набрали, — им ведь того не понять?

— Не понять. Да ну их, к бесу.... Слушай, кой черт занес нас сюда? — затосковал вдруг Дима.

— Мы много выпили с тобою, Дима, сегодня. Я же говорил: не надо гнать такой темп...

Дима энергично кивнул ему в ответ, затосковал еще сильнее.

— Слушай, давай споем чего-нибудь, — попросил он.

И верно — наступал момент, когда волки воют на луну.

Дима слазил в каюту, принес гитару, сунул её в руки Андрею.

— Только сойдем на берег, — решил старший помощник. — А то этих, спящих тетерь, в каюте, разбудим.

Остров не интересовал их больше. Да и нет никакого острова, есть только лавочка, чтобы примоститься. Потому что пока беседовали они, провалился остров в тартарары, куда-то за реку Стикс, за перевозчика Харона. И это на самом деле уже не люди ходят — ну вон те, которых можно еще заметить на берегу, а тени. Тени острова Иос.

«Как на лунный берег, да за черный Е-е-рек.... выгнали казаки десять тысяч лошадей... И покрылся берег, весь укрылся бе-е-рег...сотнями порубанных, погубленных людей...»

Тут они даванули уже хором:

— Любо братцы, лобо, ...лобо братцы жить! ...С нашим атаманом не приходится тужить...

Они наловчились устраивать себе маленькую Россию, пока стояли в Афинах. «Арго» швартовался в королевской гавани, в «микрролимане», где по берегу шла непрерывная череда ресторанов, открытых к морю. Под вечер столики на треть заполнялись публикой, и карманные греческие гитаристы по заказу наигрывали что-то негромко, — каждый своему заказчику. А они, вернувшись из долгих хождений в огромный западный город, рассаживались у себя на борту под черным теплым небом и, не обращая ни на кого внимания, заводили: «Цыганка с картами всю ночь гадала мне...»

На берегу собиралась толпа. Люди подходили ближе, затевался разговор. А потом — обыкновенно то бывали греки-эмигранты из СССР — гости забирались на борт. Греки рады были увидеть своих — похвастаться, как хорошо устроились здесь, что приобрели. Греки рады были найти тех, кому можно похвастаться. Ведь не станут же слушать их местные греки. Те и сами живут не хуже, приезжие только отбивают у них рабочие места. А когда эмигранты-греки напивались уже не по-гречески, вздыхали одно и то же: «Эх ребята, родина не там, где пьешь и ешь, а там, где родила тебя мать, где рос ты, бегал босыми ногами, где дрался с мальчишками на твоей улице, девушку первую любил, в армии служил...» Они все говорили одинаково. Но это их дела. Сами должны думать о себе.

«Крутится, вертится шар голубой...»

Пять или шесть яхт у причала спали, но на той, фешенебельной, где гудели, люди часто поворачивали головы в их сторону. С лавочки, на которой сидели двое, это было видно хорошо. Дими́на тоска занимала сегодня какой-то несвойственный ему злой оттенок. Поглазев-поглазев туда, он вдруг обратился к приятелю:

— Сейчас пойду и набьюсь к ним в компанию, пойдешь?

Но Господь Бог для верности готовил, видно, запасной вариант развития событий. Ибо не успел бородатый российский щеголь проговорить, как с яхты по перекинутому краснодеревому трапу к ним сбежал человек. Мужчина смотрелся как ковбой, раздетый до южных маек, — он был поджар и крепок. Короткие волосы ершиком стояли на голове, с симпатичного и мужественного лица серые глаза смотрели прямо. Английская речь его была быстра, её мог понять только Дима, насобачившийся на своем мед-пучке, имевшем связи с границей. Однако и жесты незнакомца не оставляли сомнений: их приглашают разделить компанию.

На яхте четверо мужчин пересели, освобождая гостям место. Блондинке с полуколечками завитых волос можно было дать на вид и двадцать, и двадцать пять, — сразу определить возраст было трудно. Вторая... — пожалуй, она была года на два постарше. Ощущалось, что они занимают здесь несколько привилегированное положение.

Такая, явно быстроходная, фешенебельная яхта должна была стоить дорого, очень дорого, миллион долларов, и Андрей приглядывался, пытаясь разгадать, кто же хозяин.

Яхта оказалась швейцарской, и все пригласившие их тоже были швейцарцами — французский, немецкий, но, чтобы русские могли понимать, швейцарцы, разобрал Андрей, договаривались говорить на английском.

Закуски на столе почти не было — так, одно блюдечко с какими-то сухариками. Зато початых бутылок — штук двадцать пять, причем одинаковых не наблюдалось — то было решительное воинство. Компанейский толстяк, с лицом пунцовым даже в полусвете береговых фонарей и лунного освещения, улыбаясь, указал Андрею на гитару:

— Мьюзык?

Андрей тронул струны. Но сначала всем налили, хотя и груден был выбор для русских, когда просили указать сосуд — из которой. Потом Андрей запел. Но он сделал это больше для себя,

своя душа просила. А они? — коли пригласили, пусть слушают. Он чувствовал себя свободно.

«Эх, дороги....пыль да ту-у-ман...»

И здесь на горизонте показался Колюня. Как выяснилось позднее, он только что спустился с горы, и тут русская песнь донеслась к нему. Взор его растуманился. Нить Ариадны повела его, и он уверенно зашагал к цели. Таким, уверенно шагающим, и увидел его Андрей.

Позже, вспоминая происшедшее, Колюня не переставал возмущаться поступком беспардонного «четырёхглазого» Манина, который незванным татаринoм тоже приперся на швейцарский борт. Справедливости ради следует, правда, отметить, что и его самого никто не успел пригласить. Колюня поступил как скромный Александр Македонский: подошел, увидел и зашел. Но ему все были рады. Колюня, философ, оказался нужен здесь, в завязывающейся атмосфере дружелюбия, — нужен своею мягкою, чуть заикающейся речью, своим вполне сносным английским, своей улыбкой и вниманием к собеседнику. Дима держался как-то чуть плебейски, чуть угоднически, чуть — слишком шумно. А Колюня, умница, оставался на высоте. Колюня вписался в компанию, точно уходил лишь покурить. По философскому складу характера он и сам принял это как должное; потому-то и возмущение его поступком «четырёхглазого» было вполне искренним. Четырёхглазый, сверкая заговорщически своими стеклами, приперся минут пятнадцать спустя после него. Оказывается — спал внутри «Арго», но пение призывно его разбудило. Поначалу он скромно притулился в дальнем конце стола.

Дима о чем-то говорил и говорил взахлеб с Бруно, так звали напомнившего киноковбоя. «Спроси его, кто хозяин яхты», — толкнул приятеля в бок Андрей. Дима спросил. И Бруно, — а он понял от кого исходит вопрос, принялся представлять экипаж, поочередно показывая ладонью то на одного, то на другого. Однако старший помощник с «Арго» понимал не очень. Компанейский толстяк, похоже, был тут добровольным коком. «Бруно — механик, — растолковывал ему Дима, отрываясь от своей беседы, — вон тот у них — за боцмана...»

Колюня сбегал на «Арго» за «пшеничною», ящик которой они взяли с собой в плаванье. И принесенная бутылка белого тонкого стекла с белою же этикеткою встала — тонкая, робкая и скромная, — среди воинства пузатых пестрых сосудов. И так и стояла — словно поджав ручки куда-то между ног и втянув щеки. Сиротинушка босая. Но она была как родниковая вода — после всех этих вонючих чудищ. Родная слезинушка ты наша, не тушуйся...

— Тучи над городом встали... В воздухе пахнет грозой...

Бруно наливал в рюмки. Когда поднимали бокалы, говорили: «Хелз!». Или: «Чин-чин!» Но это, как будто, по-итальянски. «На-здо-рофье!» — повторяли, вслед за русскими, швейцарцы.

Девушки принесли новую порцию закуски: порезанные на тонкие ломтики кусочки мяса, на вид напоминавшие вымя: красноватая, влажная мякоть.

Та, что ставила блюдо на стол, опять взглянула в глаза.

— Ай вонт ту сэй эбаут... — поднялся за дальним концом Серега, предлагая тост.

Закуска оказалась сильно поперченной.

Колюня не захотел сидеть на лавке, сполз с нее и улегся у свободного конца стола прямо на тиковый настил палубы. Примерился: брать рюмку с невысокого стола оказалось удобно. «Мей би, мей би», — кивал он при этом головою, поддерживая разговор с соседом.

Дима же затеял вдруг разговор насчет Горбачевской перестройки. Зря. — «Переструойка...», — сочувственно закивали головою за столом. Нечто неприятное было в сочувствии этом.

— Утро красит нежным светом стены древнего кремля!...

Да, и о чем говорить с этими путешествующими в свое удовольствие швейцарцами? Люди другого мира... Но ведь сейчас это совершенно не важно! Ведь эта ночь для них и для него одна! И нет никакого напряжения — сидеть с ними за одним столом...

В путанице мыслей и чувств было не прорваться. Он вспомнил и о немцах — рослых мальчиках на берегу. Почему предки тех были столь воинственны? Но вот парадокс: немцы едва не взяли Москву, дошли до Волги, а потом, когда война пришла в Германию, даже не пытались партизаниить. А в Белой Руси каждый четвертый погиб сопротивляясь...

Этот западный мир, который он увидел — прочно ли его ошеломляющее изобилие? Не подобно ли оно летнему цветению тундры, под тонким слоем почвы таящей лед вечной мерзлоты? Что за фундамент лежит под этим изобилием? Вспомнился грек, заговоривший с ними на торговой афинской улице. Грек услышал их речь, подошел и спросил:

— Из Союза?

Хмурая ностальгия в его глазах подсказала почти очевидный вопрос:

— И ты оттуда?

— Да.

— Ну и как тебе тут?

— ...А! — махнул он рукой, — тут одни жады.

Это словцо запомнилось.

Сидя среди швейцарцев, Андрей пытался понять происходящее внутри себя, смутно догадываясь о *столкновении культур*.

Вообще-то сидеть было вполне неплохо. Им нравятся русские песни, а это кое-что уже значило.

Тогда, дьявольщина, во имя чего Федорович корпел молодые свои годы над водородною бомбой? А во имя чего «пан профессор» Перцев и до сих пор рассчитывает лазерные системы навендья?

И вообще — как связать это теплое море, этот фальшфейерный остров, где танцуют и никого не насилуют, с его далекою страной? В сравнении с мельканием европейских пестрых лоскутков Родина напоминала ему сейчас тот рулон грубой мешочной ткани, от которого нянечка тетя Поля в детском саду, куда когда-то водила его за ручку мать, отматывала кусок на половую тряпку. Режимы, подписки, прописки, разрешения, серые кабинеты... Здесь же — поразительный опыт! — куда ни причаливай, откуда ни отчаливай, никто у тебя не спрашивает ни документов, ни паспортов, — даже в Афинах они причаливали и опять уходили в море, будто б навсегда, три раза, так и не познакомившись с портовыми чинами. А в родной Одессе и девчонку без письменного разрешения пограничников на яхте не прокатишь. И этот танцующе-молодежный остров... Год назад посылали его на уборку картошки, запомнились танцы деревенские: разваленный барак-клуб, самодельный оркестр, изрыгающий кошмарный деревенский рок, не умеющие толком танцевать, будто пыльным мешком ударенные ребята. Там была прима по прозвищу «Слива», компанейская девчонка. Она была ярко раскрашена — аж в три слоя, да только от неё за три метра разлило потом. К ней подходит подружка: «Пойдем, покурим?» И та отвечает спокойно и буднично: «Куда курить-то еще, у меня уже из манды никотин капает...» А в темноте, возле забора, деревенские парни-недомерки выбивали друг другу последние зубы.

Или рассказать им, швейцарцам, что Россия вспрыгнет-таки ото сна?

— Чин-чин!

Чин-чин — это потому что «чин-чинарем»?.. А Эгейское море — потому что здесь все встречные должны кричать «Эгей!»?..

Странная горечь, разлитая в груди, затягивала всё больше.

Но ведь был же маленький, сухонький старичок с бородою, которого во всем мире считают самым мощным писателем? Правда, сказал тот напоследок про свою «Войну и Мир» — «многословная дребедень»...

А плеяда великих русских музыкантов, — ведь были же они?

И как же Карамзинское: «Русский по крайней мере должен знать цену свою: станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородной гордостью!»?.. Десять веков ожиданий и надежд...

Правый дальний край стола захватил Четырехглазый Серега, он царил там и был неукрестим. Его глаза горели за стеклами, как плашки. Что можно рассказывать с такими глазами? А с такими, поднятыми локтями вверх, руками? Может быть, он рассказывает, как охотятся на мамонтов в Сибири? А может, рассказывает, что изобрел синхрофазотрон. Или другие чудеса в решетке. Серега завладел даже компанейским толстячком. Даже разговорный пыл того сумел превозмочь.

— Энд ай вонт ту сэй... — Серега взгромоздился поднимать следующий тост.

Сейчас стол объединяли уже только тосты и песни. Стол разросся до размеров Швейцарии, разделился на все свои кантоны. И чтобы сообщить что-нибудь в другой кантон, надо было посылать туда гонца или полчаса кричать, сложив рупором руки.

Колюня возлежал, как римлянин в триклинии, смотрел со своего древнеримского ложа спокойными глазами философа:

— Мей би... мей би.

— Слушай, а эти две штучки ничего... — бурно зашептал, поворачиваясь к Андрею бородач.

Андрей отмахнулся.

— Слушай, я выяснил, у них никто толком не понимает в парусах! — опять зашептал разгоряченный Дима — Бруно говорит, они с трудом дошли сюда с Родоса. Они шли только под дизелем, представляешь?! Хочешь я тебя сосватаю к ним?

Андрей только пожал плечами — его уже давно занимал новый интерес, который был силен и смущал сердце.

Но дело пошло всерьез.

— Мастэ! («мастер») — показывал Дима на него горячо, словно рыночный купец, рекламирующий свой товар. Можно было понять, что Дима перечисляет его спортивные регалии. Бруно озабоченно выплянул из-за Димы, о чем-то перекинулся словами с толстячком.

— Слушай, они дают тебе сразу две тысячи долларов в месяц! — сообщил Дима. — Две тысячи... Но это мало, я не соглашаюсь, буду говорить еще, ты как?

— Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...

Теперь он пел не только для себя и не для абстрактной компании, а ещё для одного человека. Петь было легко: в бухте

была хорошая акустика. Вот сейчас положит он в воздух слова и посмотрит, как войдут они в другую душу.

— Тишина ...за Рогожской заставою... Спят деревья у сонной реки...

А ведь она не понимает ни слова по-русски, значит это и не важно? Слова важны для него, поющего, а у неё отзываются чувства?..

Он уже много раз ловил её взгляд. Со стороны, вероятно, заметно было мало: ведь не видишь же ты сбоку прикрытый козырьком семафора свет. Но ему-то эти глаза были открыты. Они открывались, когда он во время песни останавливал на них взгляд своих. Они перестали прятаться от него уже и без песни. Он поглядывал в них с потаенной улыбкой. И ответная улыбка отзывалась в других устах. То не была блондинка с закрученными волосами. Блондинка все-таки напоминала холодный манекен. Это была другая. Как он сразу не разглядел эти глаза? Приятно петь для таких глаз. Для таких глаз можно было спеть даже «Клен ты мой опавший». И он спел.

Глаза долго оставались открытыми ему. Они сулили многое. Они сулили большее, чем можно было сразу придумать. Он мог отбить её у Бруно. В том, что она подруга Бруно, он почти не сомневался: не мог же Бруно заинтересоваться белокурый манекеном. С другой стороны, Бруно был единственным по-мужски достойным соперником в швейцарской компании. Значит она — подруга Бруно. А он может обрести власть над нею. И он уже обрел над нею невидимую власть. А она — властвует над ним. Он не часто смотрел на неё прямо. Он старался на неё не смотреть, но его тянуло. И когда взгляд его обращался в ту сторону, приятно было видеть округлые колени загорелых ног, замечать её улыбку, зная, что она адресована тебе, даже если и отведен в сторону, из предосторожности, взгляд. В какой-то момент весело подумалось: дело грозит международным скандалом.

Он взглянул на Бруно: не хотелось ему обижать его. Но хотелось и глядеть в ее глаза. Дима как раз о чем-то договорился с Бруно. «О кей? — О кей!»

— Четыре тысячи! Четыре тысячи! Они дают тебе четыре тысячи! Только учти, дело серьезное, без шуток!

— Понял, — покачал он головой, улыбаясь.

Бруно проследил, чтобы все наполнили бокалы, что-то сказал, поднимая тост. Все смотрели на гитариста.

— За нового парусного шкипера на яхте! — перевел Дима.

— Ес, ес, — даже Колоня приподнялся со своего ложа.

Выпили.

Так, дело запуталось. Но ничего страшного. Просто начинается очередное приключение.

Манекенистая блондинка переговорила о чем-то со своими соотечественниками. Кажется, речь шла о том — а не спеть ли и нам что-нибудь в ответ, а то, мол, только русские песни? Она исчезла ненадолго в каюте, затем вернулась с песенником. Швейцарцы изготовились. И русские тоже вежливо изготовились слушать. Швейцарцы дружно запели. «Ен кляйне майне вандершляйн...» — что-то похожее — на слух, потому что немецкого языка никто из русских не знал. А мотив был вроде как у нашей «В лесу родилась елочка...» Добросовестно допели и принялись выводить другую. Она тоже была как «В лесу родилась елочка...» По крайней мере, на слух различить было нельзя. Потом запели третью «Елочку» — и сами же рассмеялись. Толстяк показал русским — всё! Пойте вы...

Дима некстати завел какой-то разговор про сложности навигации на Балтике, про туманы — как надо в тумане, чтобы избежать столкновений, дудеть в горн. Толстяк покивал ему, покинул свое место, исчез в каюте и вернулся, держа свернутую в калач серебряную трубу. На ней было штук пять клавиш-клапанов, толстяк принялся их нажимать, и бледно голубеющее утро острова Иос огласилось нестройными, но бодрыми звуками.

Тут откуда-то с берега стал кричать совершенно отчаявшийся, судя по всему, человек. Как выяснилось, это был француз с одной из яхт неподалеку. Он призывал сохранять порядочность. Он призывал дать тишину. Он трагически негодовал, что на его яхте, из-за них, не спят всю ночь.

Его успокоили, и он ушел.

А потом толстяк начал трубить снова, потому что уже предчувствовал зорю. Оказывается и заграничные джентльмены способны на легкое свинство. Серега указывал толстяку, какие клавиши надо нажимать.

И тут действительно случился международный скандал.

Дима вдруг потяжелел, посоловел и начал нести грубятину: — Вот из ё нейм? — нагло спросил он у блондинки.

Та поменяла место на чуть от него подальше. Дима замолчал. Но тут в поле его зрения попала другая. Он спросил и её — мимо сидящего между ними Бруно: «Вот из ё нейм?» — И прибавил, словно бы никого не было за столом: «Ай вонт ту слып виз ю олл зэ найт!»...

Она тактично будто ничего не слышала. Дима замолчал, и на какое-то время о нем забыли, потому что Серега совсем расхотелся на своем правом фланге, размахивал паучьими руками, словно орел крыльями. А толстяк опять засобирился дудеть. Но

прошло минут пять, и Дима опять заставил мир содружества содрогнуться. Его рука протянулась к столу, взяла с него тарелку. И вдруг, замахнувшись тарелкой, он с силой, плашмя, кинул её об стол. Звон-хлопок — почти как выстрел. И — тишина. Секунда шока, словно разверзающаяся бездна. Или — для швейцарцев — то была пасть, из глубины которой донеслось до них дыханье российского зверя?.. Пресловутая загадка русской души.

Отчаянно захотелось удержать невозвратно проваливающеся нечто.

Дима сидел безмолвно, совсем осоловевший. На дальней стороне стола полуиспутанно-уважительно забормотал толстяк: «О-о!..Рус, рус...»

Колоня, приподнявшись, на руке, смотрел на Андрея. Четырехглазый замер, как остекленелое изваянье.

Но дело решило не только сохраненное русскими достоинство.

— Фор хэппи! — оборвал паузу Бруно, улыбаясь.

— На счастье! — поддержал его Андрей.

Обстановка разрядилась, и сердце с облегчением отпустило.

Опять за столом засмеялись, девушки быстро принялись убирать бой со стола. И даже Дима воспрянул и стал смотреть по-человечески. Но это было уже слишком. Эту ночь надо было кончать. Андрей поднялся.

— О?.. Мьюзык? — сожалея, попытался удержать Андрея толстяк.

Однако девушки куда-то пропали с палубы. И он попрощался.

## 6

Что день грядущий нам готовит? Укладываясь спать, он, улыбаясь, попытался угадать. Не получалось ничего...

Его обитель находилась не как у всех, в каюте, а в кармане для парусов, под банкою кокпита. Сюда в свежую погоду часто поливало штормовой водой, но он привык. Зато ведь ему слышно все, что происходит у руля, и можно выскочить в любую секунду. Да ему и нравилось спать в парусах — он привык к ним с детства, ведь он, можно сказать, вырос в яхт-клубе. В синтетических парусах обитать, правда, плохо; однако на «Арго» оставались льняной трисель и штормовой стаксель. Они и составляли основу его ложа. Он заодно и высушивал их своим телом, чтобы не тлели без призора.

Андрей стянул с себя майку, по-пояс высунувшись из своего кармана-гробика. На оставленной яхте компания все еще за столом. Девушки опять вернулись на палубу — опять там смеются.

Она кого-то разыскивает взглядом. Она ищет его — он безошибочно чувствует это. Вот она поворачивает голову, смотрит.... Увидела... Тотчас вспыхивает ее улыбка. Он машет ей в ответ и принимает взмах ее руки. Приятно, что она видит его обнаженное тело, грудь.

Солнце готовилось уже вывалиться из-за горы, когда он опустил за собой крышку «гробика».

## 7

Проснувшись, он услышал журчание воды. Черт побери! — звуки эти сказали многое. Крена почти не ощущалось, чуть-чуть на правый борт. Итак, сомнений не было: «Арго» идет куда-то левым галсом — ходом около четырех узлов. Погода наверняка хорошая: волны нет. Интересно, давно они идут так? Они ведь не собирались пока уходить с этого острова. «Арго» совершил побег? Мелькнула догадка, что Федорович, подслушав разговоры на швейцарской яхте, заторопился умыкнуть его, собственного старпома, от греха подальше, — чтоб не остаться в бурных чужих морях, за тысячи миль от дома, без нужной руки.

Но тогда... Нет, не нужна ему была никакая швейцарская яхта, однако это значило — у него хотят похитить суливший так много взгляд! И, остро не желая лишиться этого взгляда, он откинул крышку «гробика».

...Голубое небо, благословенный день, солнце, спокойная вода вокруг, легкий верховой ветерок... За кормой, из моря, торчит голубоватый огромный зуб, — вот он, остров. Федорович, с лицом по-утреннему безмятежным, у руля.

Будто впавший в детство Посейдон, Федорович поворачивает к нему невинный взгляд — в лице капитана ничего, кроме утренней благодати: словно так и надо, словно и не было никакого острова, словно вот так плывут они и плывут уже целый век. Можно ничего не спрашивать и ничего не говорить...

Андрей скинул за корму «купальный» фал и выпрыгнул, сделав сальто назад. А потом, резко прокрутившись в тепло-прохладной прозрачной купели, вынырнул на поверхность, в два гребка достиг фала, ухватил скользящую в воде веревку, быстро выбрался по ней сквозь буруны вод на борт. Заглянул в рубку. Настенный хронометр показывал десять часов тридцать минут. По судовому расписанию в десять часов должна была начаться его вахта. Прямо на полу каюты, загораживая проход, философски спокойно спал Колюня. Вокруг него, на сланях, валялись разбросанные сигареты. Андрей собрал их, спрятал и выбрался наружу. Спросил

капитана, почему тот не разбудил его. «...А я думал... пусть поспит... Чтоб ты поспал...»

Загорелое тело капитана разнежено утренним солнцем: поза — будто сама безмятежность. Так. В нем ещё не поспела определенность — смеяться ему или печалиться. Вроде бы все привиделось во сне. Но кое-какие признаки минувшей ночи еще лезли в глаза. На подветренной палубе корчился, свесившись за борт, стонал, держался за живот Серега Манин. «Серега!», — попробовал он позвать. Но тот не среагировал, только покосился маленькими, мутными глазками без очков.

Из лючка рубки заговорщицки выглянул Перцев.

— А где Дима? — спросил Андрей.

— Спит.

— Поднять. Полчаса уж как наша вахта.

Он взял у капитана руль. Федорович скрылся в каюте.

Диму будили долго. У лючка — с кислой физиономией — объявился Валера, горделивый неучастник вчерашнего финала. Он, несомненно, слышал всё происходившее у швейцарцев, но, в отличие от Манина, нахальства не набрался. Наружу Валера не вылез.

— Ты чего там сидишь? Выходи, — позвал Андрей.

— Да ну, — последовало кислое возраженье. — Там Серега ползает, как первобытный ящер.

Это было ещё легко сказано, зрелище и впрямь было неаппетитное: «ящер» ползал в чем мать родила, и зелень лица мерзко контрастировала с покрасневшими ягодицами.

«Арго» скользил по гладкой, чуть подернутой рябью воде. Солнце висело уже высоко. От острова их отделяло миль десять. Это значит, «Арго» отчалил буквально через полчаса после того, как Андрей лег спать. Курс, переданный ему капитаном, говорил, что они идут к Турецким берегам.

— Андрей, что у вас там приключилось? — воспользовавшись отсутствием капитана, зашептал Перцев. — Я спал, Федорович поднимает: отчаливаем! Срочно отчаливаем! Дима кричит: вы все испортили! все испортили! Мы, мол, обо всем договорились! О чем вы договорились? Но он был совершенно пьян...

Вид у Перцева был обалдевший. Андрей пожал плечами.

— ...А этот? — продолжал Перцев, указывая на «первобытного ящера» — Может он умрет? Может у него прободная язва? ...Я уж говорю Федоровичу, давай вернемся на Иос, а то — неровен час... Лучше вернемся, вызовем вертолет — пусть его спасают?

В какой-то момент прищиглило, и море улеглось вокруг прозрачной дымкою, прозрачной паутиною: что есть оно, что нет. Даже

глаза захотелось протереть: есть или нет? Вокруг — нечто едва заметное, туманное, прозрачно-фиолетово-голубое... Такого цвета бывает бензин, когда переливаешь его из канистры. Он даже потянул с опаскою воздух. Но нет — пахло морем... благословенно.

К полудню зуб острова Иос вдвое уменьшился в размере. Тянул ветерок, и «Арго» летел курсом на зюйд-ост. Около рулевого собралась компания.

— Ну и я чего сделал? — в который раз выспрашивал Дима.

— А ты как возьмешь тарелку, да как шарашнешь ею об стол, — усмехался Андрей.

— Да?... А они?

— А они?... Ну, эти молчат, а толстяк забормотал: «О! Рус, рус!» — Прибалдел, мол, страшен в гневе...

— Да?... Не может быть, я этого не мог сделать.

Андрей посмеивался. Колюня улыбался. Перцев молчал, но слушал тоже с удовольствием. В каюте спали капитан и Серега. Валерий загорал, лежа на палубе.

— А может, они что-нибудь оскорбительное сказали? — пробовал оправдываться Дима. — Ты, может, не слышал, а я — услышал! Ну не мог я просто так... Значит, было что-то... Андрюш, ну ты скажи мне... ну не очень скверно получилось?

— Да нет, ничего... Бруно сказал: «Фор хэппи!» ...Кстати, так я и не понял — кто у них хозяин яхты? Ты спрашивал: «Ху из зе мастэ», — а надо было, наверное: «Ху из зе оуэн?»

— Я всё понял, я всё понял! — вскричал вдруг Дима. — Она! Она и есть владелица! Теперь-то я понял — ну, по тому, как они с нею обращались! Она!

— Кто?

— Ну, не блондинка, а другая, которая еще на меня смотрела! Она весь вечер на меня смотрела!

— Она на Андрея смотрела, — тихо вздохнул Коля. Но Дима его не услышал.

— Она! — Дима едва не рвал на себе волосы.

И тут Перцев сказал, что когда «Арго» предпринял свое неожиданное бегство, команда «двенадцатиметровика» наблюдала за ними. И как будто с удивлением. А толстяк, о котором теперь он знал, даже затрубил в свою трубу, а потом прыгнул в воду.

— Это он в знак траура о нас, — сказал философски Колюня. — Вообще-то по-свински получилось: как будто мы обманули их. У них не приняты шутки такие: насчет Андрея договорились... Они ведь всерьез...

— Да! Да! — Затряс бородкою Дима.

— И Анн-Мари будет ждать нас вечером на спагетти...

Девушка с оливковым загаром была уже далеко. «Бруно, я был честен с тобой, помни это!»

Андрей взглянул в сторону острова. Совсем тот стал маленьким и синим.

Он попрощался мысленно с ее швейцарскими глазами. Она засмеется — будто валдайский колокольчик зазвонит, взглянет — теплая бездна доверчиво позовет...

Ну, Бог с ней. Ему, в общем, было спокойно. И не было раскаянья в его сердце, как не было и сожалений. Если повернуть голову на восток, на северо-восток, за тоненькую, невидимую ниточку можно было потянуть сюда и вытянуть... нет, все-таки ни к чему сейчас тянуть сюда этот огромный, больной ком чувств и мыслей. Да и зачем? Не отрекаются, любя.

***О, Русская земля, за тремя морями ты!***

— Эй, а чего ты сегодня весь день сачкуешь? — обернулся он к Валере. — Ну-ка, поддержи руля...

Скинул за корму фал. И обретенный побратим — Эгейское море — опять приняло его в свои объятия.

## **УЛЫБНИТЕСЬ, ДЖОРДЖ!**

### *Рассказ*

Чертыхнувшись, электричка выскочила из тоннеля, и Джордж вперил глаза в окно, которое внезапно из пронзаемого фонарными бликами черного прямоугольника превратилось в кадр ослепительной живописности. В этой части Америки, а может, и в других тоже, — нигде больше в этой стране Джорджу побывать не пришлось и сказать по этому поводу он ничего не мог — осеннее угасание не было привычным с младенческих глаз оранжевым половодьем. Здесь оно переливалось мозаичным разноцветьем и походило на захватывающие дух панорамы видового кино. По экрану окна, тая в дымчатой голубизне горизонта, ярко-желтыми и багрово-малиновыми разводьями плыли рощицы и перелески, всеми оттенками зелени переплясывали луга, красновато-сиреневой рябью громоздились полузаросшие скалы... Красотища, ядреный порох! Как жаль, что ехать всего ничего — каких-то двадцать минут. А то бы сидеть вот так час, может, все два и глазеть расплывчато, расслабленно, не дергаться, ни о чем не думать, ничего не ворошить...

Правда, роскошное это зрелище доставалось только взгляду, не пробивалось вглубь, застревало где-то по пути. Оно не изнывало внутри, не трепетало там, словно бабочкины крылья в замершей мальчишеской ладони, как это было прежде и не здесь при виде подобных красот. То ли подсох душой — возраст всё же, то ли — еще чужеватое, не прикипевшее, то ли просто — не до того...

Впрочем, всё это было мелочью. А главным было то, что вот уже третий день Джордж был доволен жизнью. Вообще-то в течение пятидесяти трех лет с самого рождения называли его Георгий, а многие просто Жора, но хозяйка заведения, где он начал служить два дня назад, сказала, что звать его на работе

---

**Юрий  
БЕРДАН**

— родился в 1940 году в Харькове. Закончил Харьковский инженерно-строительный институт и факультет журналистики Ташкентского государственного университета. В 1990 году эмигрировал в США. Автор двух сборников художественной прозы. Живет в Нью-Йорке.

отныне будут Джорджем, что в принципе одно и то же, что и Георгий, и даже пишется одинаково: хоть по-русски, хоть по-английски. Вот она, к примеру, до приезда сюда, в Одессе, была Басей, а теперь уже двадцать два года — Бэсс. И это очень даже красиво и в местном духе. Раз уж они здесь, раз уж они в Америке, то всему надобно быть, как здесь принято. А что было «до» — нужно из памяти выбросить. Клички, привычки, словечки... Всё!

Джордж, так Джордж. Пусть зовут хоть Шариком, лишь бы платили, лишь бы работа была. А работа была нехитрая, хотя и со своими тонкостями. И платить обещали не ахти сколько, но зато история, дай Бог, вроде бы надолго, а не какая-то случайная подработка. Так что имелась возможность рассчитывать жизнь хотя бы на ближайшее будущее. Вот туда, в тихий полуфешенебельный пригород он и ехал сегодня, чтобы начать свой третий рабочий день.

Как ни смешно, место ему обеспечили чисто внешние стати. Ни почти болезненная порядочность, ни обостренное чувство ответственности, ни бойкий саркастический интеллект, — что было его тавром, индивидуальной отметиной в разномастной сутолоке лиц, характеров и карьер, — не сыграли никакой роли. Как и всё то, что выгучил и узнал за свою жизнь, проглатывая с удовольствием или безжалостно в себя вталкивая. Все жертвоприношения, все насилия над исходившими иступленной капелью весенними днями, над зимними полднями, морозно гудящими, над изумрудными августовскими вечерами молодости, проведенными над конспектами, книгами, рукописями, в спорах и мозговых штурмах, — всё это не имело в данном случае никакого значения. Только экстерьер, только его довольно непримечательная внешность, разве что посчитать достоинством хорошо сохранившуюся густую заросль седоватых уже волос впридачу к того же оттенка усам и бородке, заведенными совсем недавно.

— Вы, пожалуй, то, что нам нужно, — сказала Бэсс, когда он пришел на собеседование по адресу, указанному в газетном объявлении. — Я уже человек двадцать осмотрела — ничего подходящего. Необходим человек с интеллигентным лицом, в зрелом возрасте, худошавый и не очень высокий. Но и не коротышка, разумеется.

Это было что-то вроде русского клуба или светского салона для состоятельных эмигрантов. Место изысканного общения городской эмигрантской элиты. Фуршеты, рауты, бильярд, милый треп, расслабление, светский кайф... Выступления знаменитостей, как приезжих, так и местных: музыкантов и певцов, писателей и поэтов, киношников и художников... Ковровые до-

рожки ручной работы, картины модных художников, статуэтки, китайские вазы, антиквариат... Всё, как в описаниях русских дворянских приемов серебряного века или как в кино, где происходит нечто подобное в особняках магнатов или мафиози. Ну и как в кино, — чем мы хуже?! — непременно должен быть при всем этом человек благообразной внешности: привезти из ресторана и расставить по столикам напитки и закуски, принять верхнюю одежду, обойти всех с подносом, уставленным заполненными бокалами, и затем неподвижно замереть у косяка двери, в борзой готовности незамедлительно, но плавно отреагировать на жест, кивок головы или оклик любого из присутствующих... Ну и само собой — чтоб предварительно было пропылесосено, влажно обработано, чтоб туалеты — в чистоте, благоуханьи и при полном инвентаре, и всё такое прочее...

Бэсс с ним повозилась часа полтора, уча премудростям неведомого ему ранее дела. Что нужно и что нельзя, что слышать и что видеть, а лучше всего — разговоры здесь ведутся всякие, люди бывают разные — ничего не слышать и ничего не видеть, кроме положенного... Как наполнять, как подавать, как стоять, как отвечать, как ходить, как держать поднос, как чуть-чуть при этом сгибаться... В свое время она держала небольшой ресторан и умела мастерски школить службу. Показав-рассказав-посмотрев, она вздохнула с облегчением: новый служащий оказался на редкость понятливым и удивительно для его возраста пластичным (еще бы — ежедневные пробежки и упражнения с гантелями).

— Теперь последнее и главное, — сказала она, присаживаясь на оббитый золотистым бархатом лавсит и подтягивая ладонями колготки: сначала на щиколотках, а затем поверх широкой складчатой юбки на бедрах, — улыбка! Постоянная мягкая уважительная улыбка.

И Джордж улыбнулся.

— Вот-вот! Именно! Найс! Профессионально! Вы прямо рождены для этой работы!

Вот так! Может, ты, Жора, и впрямь выбрал не ту карьеру? Как раз время исправлять ошибки молодости.

«Улыбка как средство выживания — отличная концептуальная формула», — подумал Джордж и впридачу к улыбке, вызвавшей восторг начальства, непроизвольно со всхлипом хохотнул.

— Ну, это слишком, — поморщилась Бэсс и, засунув руку под блузку в районе плеча, поправила бретельку лифчика, — только легкая вежливая благодарная улыбка. Вот-вот. Прекрасно!

Хотя в первый день Джордж изрядно поволновался — не толкнуть бы, не уронить, не оступиться, не опрокинуть... — всё

обошлось спокойно. Разнося напитки, вытирая салфеткой инкрустированные столики или торча, как никелированный штырь, у дверного косяка, он чувствовал себя глупо и скованно и по обыкновению всех самоедов представлял со стороны нелепость своей фигуры в белом смокинге, который выдала ему Бэсс в качестве спецодежды. Хорошо, что еще не ливрею! Разок только мелькнуло: «Примите, Георгий Саныч, сраный кандидат никому не нужных наук, искренние поздравления: теперь вы лакей по имени Джордж». Но это так, случайно, мимолетно, до того ли было? Нужно было прилагать усилия, чтобы соответствовать. Забывал, например, улыбаться. Спыхватывался и, чувствуя себя начинающим дебилом, невпопад раздвигал губы...

На второй день, то есть вчера, пришли уверенность и легкость тела. Вообще-то люди собирались довольно милые, достаточно интеллигентные, в основном семейные пары. Джорджа постоянно, хоть и походя, машинально благодарили, однако никто на него, кажется, и не взглянул. А вечер был интересный: принимали крупного издателя из Москвы, разговор шел о делах литературно-театральных. С каким удовольствием он принял бы в нем участие, тем более что покалякать-посудачить ему было о чем: это была сфера близких ему интересов. У большинства же собравшихся имелось весьма приблизительное представление о сюжете беседы, да и просто не хватало достаточной, даже просто любительской эрудиции. А он — какие еще участия!.. — то шествуя по кругу с подносом, то выдерживая караульную неподвижность в предназначенной стойке у косяка двери, отрешенно хранил предписанное должностью молчание.

От станции до клуба было минут десять ходьбы, и прошел он этот путь в полном пешеходном одиночестве. Здесь не было даже тротуаров, здесь ездили только на автомобилях, и ходить в этом районе пешком по кромке шоссе было вроде мини-вызова общественным устоям или потугой на экстравагантность. Но заметить этого было некому: людского присутствия вокруг не наблюдалось, машин за всё время проскочило две-три. Вокруг были только дома, при них лужайки и цветники, обрамленные аккуратно выстриженными кустами, а над всем этим простирала теплые прозрачные крылья благодатная индийская осень — прямой эквивалент русского «бабьего лета».

Ну вот, худо-бедно, но определилось — плавно и спокойно в такт неспешным шагам мыслилось Джорджу. Должность, конечно, лакейская, но какое это может иметь для нормального человека значение? Работа, не более того. Всего лишь способ добычи средств к существованию. Есть ли разница — унитаза мыть,

асфальт класть, ящики грузить, за раковым больным ходить? Ушел с работы, прикрыл дверь — и ты опять то, что ты есть. Хоть интеллигент и энциклопедист, хоть знаток поставангардистской музыки и жуткий поклонник имажинизма, хоть тонкий специалист по части концепций о роли личности в истории. Или просто утонченный психопат... Двадцать лет пробалдел в своем отделе, наначальствовался, наинтеллигентничался — пора и честь знать, Жора-Джордж...

— Сегодня у нас никаких событий, — словоохотливо инструктировала Бэсс, помогая Джорджу расставлять кофейные приборы и десертные тарелочки и периодически поправляя бюст, будто устанавливая свои обширные груди в надлежащие пазы, — все, в основном, свои. Поболтаем, посплетничаем за кофейком. Ну а мужчины, кто захочет, — бильярд, шахматы... Вы, Джордж, следите, пожалуйста, внимательно, не дожидайтесь, чтоб вас звали, когда опустеет у кого-нибудь чашка... Вам надлежит оказаться сразу же рядом, с кофейником. И при этом сказать: кофе, мадам или сэр, не желаете еще? И всё. Ничего лишнего. Ну, а шампанское с вином, это, как прежде, с подноса — вы знаете.

Но была бы Бэсс нормальной женщиной, если бы могла на этом остановиться?

— Все будут свои, один только приезжий из России. Коммерсант. Он уже был у нас в прошлый приезд, в марте, кажется. Они с нашим Штербергом партнеры по бизнесу. Очень богатый человек. Очень.

Бэсс надолго застряла у зеркала, устанавливая на новое место жесткую прядь крашенных под красное дерево волос:

— А начал с нуля. Голодранцем был. Ведь знаете, что сейчас в России творится! Можно из копачьих какашек состояние сделать. Только бы связи и расторопность. Усадил его какой-то туз в районный совет, или исполком, как там это называется, я уже и забыла, заниматься приватизацией. Миллион государству, миллион шефу, миллион себе... У него и гринкарта есть. Чуть что — и здесь. И думать не о чем: счет в американском банке, дай Бог какой, два шикарных дома — во Флориде и Иллинойсе...

— Насчет домов понятно, — протянул с сомнением Джордж, — а вот гринкарта... Он что, здесь постоянно живет? У него здесь близкие родственники?

— Да какие там родственники, — отмахнулась Бэсс, — деньги — вот его родственники. За бабки всё можно, — и оставив в покое зеркало, вернулась к делу:

— Я буду встречать у дверей, а вы стойте на паркинге и открывайте дверцы машин, когда остановятся. Здраваться не

надо, молча открывайте и помогите выйти. Сначала дамам, а если за это время мужчины сами не вылезут, тогда им тоже. Так, пошли — кажется, кто-то прибыл. Ага, это Штерберг со своим российским компаньоном. Вперед, Джордж! И не забудьте: улыбка, улыбка, и еще раз улыбка! А то я обратила внимание: вчера у вас иногда было каменное лицо. Это старый стиль.

На заднем сиденьи серебристого мерседеса располагались женщины, поэтому Джордж сначала открыл заднюю дверцу и помог выбраться первой даме. Это была жена Штерберга, милотвидная женщина лет пятидесяти. Следом за ней выпрыгнула, не обратив внимания на протянутую Джорджем руку, смазливая блондинка, настоящая секс-бомба с обложки таблоида. Расклад был ясен: она — принадлежность мужчины, сидящего впереди: такие вряд ли бывают женами, они, обычно, придаток к крупному счету в банке и особнякам во Флориде и Иллинойсе...

Грузный Штерберг вышел из машины самостоятельно и, позвякивая связкой ключей, уже балагурил с Бэсс. Передняя пассажирская дверца не открывалась: видимо, российский коммерсант очень себя уважал и ждал полноценного сервиса. Быстренько обогнув автомобиль, Джордж подскочил к дверце, открыл ее, и в кожаных недрах машины проявился маленький лысоватый человек в костюме песочного цвета и при ярком галстуке.

Если бы из штерберговского мерседеса вылез живехонький динозавр или вампир с выпирающими изо рта клыками и электронно светящимися зрачками, Джордж поразился бы куда меньше...

Из штерберговского мерседеса вылез Рудько.

\* \* \*

Последние слова, которые сказал ему Георгий Александрович лет двадцать назад, пред тем как напроць забыть об этом суетливо-угодлимом человеке, были: «Ну и гнида же ты, Рудько! Пошел вон отсюда!».

Забылись подробности той давней мелкой склоки, осталось только ощущение гадливости. Рудько служил в их издательстве кем-то на подхвате — то ли экспедитором, то ли помощником завхоза, проворовался на каких-то мелочах и потом слезно обходил заведующих отделами с липовым актом на списание недостачи. Георгий Александрович, брезгливо поморщившись, подмахнул бумагу. Но вместо благодарного заявления на увольнение, которое Рудько обещал написать в обмен на прощение, он (загадка!) накатал другое заявление — в парторганизацию и дирекцию издательства и почему-то на Георгия Александровича.

Было в кляузе что-то о сионизме, о родственниках за границей и о любовнице-машинистке... Заявление разорвали, Рудько заставили из издательства уйти, но перед тем как исчезнуть, он как ни в чем не бывало зашел к Георгию Александровичу в кабинет попрощаться. Пробормотав что-то вроде «не поминайте лихом», он протянул для прощания руку. Вот тогда-то и сказал ему Георгий Александрович те слова.

Мог ли он тогда, даже в самой дикой, самой изощренной фантазии представить, что через двенадцать лет будет, чуть согнувшись, как научили, стоять с мельхиоровым кофейником в руке перед креслом, на котором полулежит прихлебывающий кофе Рудько, и вопрошать сдавленным полупшепотом: «Кофе. Не желаете ли еще, сэр?».

Как и большинство присутствующих, Рудько на него ни разу не взглянул. Это было счастье. Да и борода с усами изрядно изменили Георгия Александровича. Если бы Рудько узнал его, если бы сказал ему что-нибудь, пусть даже что-то дружелюбное, он тут же, не сходя с места, умер бы. Так Джорджу казалось. Он не слышал, о чем говорили, не понимал, что вокруг делали... Одно сверлило: выдержать!.. не подать виду!.. улыбаться, черт побери, улыбаться!..

«Заткни свое самолюбие знаешь куда?» — сказала ему жена после того, как он швырнул заявление об уходе в физиономию директору. Было за что.

«Не заткну! — ответил Георгий Александрович. — Я лучше пойду дворником или сантехником в ЖЭК, но никогда не буду жополизом и лакеем!»

А что? Если бы тогда не улеглось и директор не извинился, может, и пошел бы дворником или сантехником в ЖЭК...

Да, Георгий Александрович? Неужели? А вот если бы тебя так же там приперло?.. Когда б никаких тебе дворников и сантехников, когда б они, дворники и сантехники, были бы, как здесь, мечтой тысяч и ничего бы тебе не светило — никаких щелочек, никаких «авось», никаких над тобой «ахов», ни рубля, ни буханки, и крыша над головой — половина прежней зарплаты, и без твоего заведельского стола тебе кранты, конец, амба, швырялся бы ты заявлениями в рожи директоров?

Он вздрогнул, возвращенный в реальность настойчивым голосом Бэсс:

— Джордж, вас!

Не прерывая разговора, который вел с кем-то из мужчин, Рудько пощелкал пальцами поднятой руки, подзывая обслугу. И дождавшись подоспевшего Джорджа, не отрывая глаз от собесед-

ника, молча ткнул пальцем в пустой бокал, стоявший перед ним на столике, — наполнить!

И Джордж наполнил, не пролив ни капли.

Швырял бы ты в рожи директоров заявлениями, если бы знал, что не будет ни метлы дворника, ни ключа сантехника, ни прилива уважения к себе от себя и от всех, кто об этом бы узнал, за столь редкое проявление принципиальности, гордости и человеческого достоинства?

Нет, наверно, ты бы не швырял. Наверняка был бы ты и тогда отличным жополизом и лакеем!

\* \* \*

На следующее утро, в воскресенье, Георгий и его сосед по дому Иосиф сидели на валуне на берегу озера и ловили рыбу. Договорились об этой поездке еще неделю назад, и хотя Георгий в отличие от Иосифа не был таким уж большим любителем рыбалки, ему нравилось возникавшее на берегу водоемов ощущение отрешенности и уединения, будто освобождался он на эти несколько часов от налипшей на кожу, душу и мозги плотной чешуи каждодневности.

Озеро серебристо рябилось, покачивался и бездумно шелестел подступавший к самой кромке воды кустарник, не ловилась рыба.

— Попробуй на червяка, — посоветовал более удачливый в это утро Иосиф и подвинул поближе к Георгию банку с червями, накопанными им с вечера в дальнем уголке ихнего запущенного дворика.

Георгий освободил крючок от кусочка копченой колбасы, соблазнившей в прошлый раз двух стограммовых окуньков, и достал из банки длинного жирного червя. Тот, видимо, чуя свою скорую участь, яростно и упруго извивался, два раза ускользал из пальцев и падал на землю, превратившись из глянцево-розового в серый, покрытый земляными комочками пружинистый жгут.

Наконец, исколовшись о кончик крючка, наполовину раздавив непокорную скользкую плоть, обмазав пальцы червячными внутренностями, Георгий кое-как подцепил ошметки червяка на крючок.

Иосиф, скосив глаза, молча наблюдал за этой неаппетитной возней и, дождавшись ее завершения, спросил:

— Что сегодня с тобой, Жора?

— Что-то настроения нет, — ответил Георгий. — Вчера встретил одного... Прикатил из России на вечерок. Ничтожество, но теперь, понимаешь, правит бал... Бабы, бабки...

— Н-да, — философски заметил Иосиф, умелым рывком далеко забрасывая наживку, — оно так... Тебя это расстроило? С чего бы...

— Да нет, — помялся Георгий, — мне, в общем-то, начхать... Не в этом дело...

— А в чем? Чего ты хочешь?

— Чего хочу? — со странной для самого себя интонацией в голосе протянул Георгий, неподвижно глядя в заозерное акварелье осеннего леса. — Чего я хочу?...

И вдруг натужно заорал, отбросив в сторону удочку:

— Революцию хочу! Пролетарскую революцию! С экспроприацией! Чтоб к ногтю их!..

Он утирал щеки, размазывая по ним смешавшиеся вместе слезы, землю и червячную слизь:

— Чтоб они дрожали, крысы! Революционнго беспощадного суда, вот чего хочу!..

Назад ехали молча.

Иосиф, поставив кассету с Сороковой симфонией Моцарта в джазовой интерпретации и небрежно поддерживая баранку, с наслаждением покачивал головой в такт аккордам. Георгий, полужакрыв глаза, думал о том, что завтра к двум на работу, интересно, что будет, кто придет, надо, чтоб с его стороны всё было в порядке, необходимо завоевать реноме, полностью вписаться, стать неотъемлемым, чтоб не возникло желания заменить его при случае на кого-нибудь более умелого, надо научиться непринужденней работать с подносом и не пялиться на людей — есть такой недостаток, а главное... что главное, Джордж?

И его губы сами по себе раздвинулись в мягкой уважительной благодарной улыбке...

## НЕЧТО

### *Русский триллер*

Меня будит муха. Она села мне на кисть и продвинулась вверх по руке. Я засек ее на исходе предплечья, пропустил через локоть, но когда она достигла плеча и стала спускаться подмышку, я вздрогнул и шевельнул рукой. Муха улетела, я проснулся.

Я проснулся и повернул лицо к окну: какая погода? Судя по тому, что меня не гладит солнце — что-то пасмурное. Но дождя нет, нет и ветра — я не слышу шума деревьев. Воздух плотноват — наверное, всё же волгл: улица звучит ровно, в пределах средней высоты.

Что в палате? Кряхтят, скрипят пружинами соседи — видимо, только встали, говорить еще не о чем. Что в коридоре? Будничное движение.

Кто сегодня дежурит? Очень хочется знать...

Я протягиваю руку — мой самокат на месте. Сейчас выберусь из постели, нащупаю на тумбочке мыло и поеду умываться. Я не требую, чтобы мне подавали тазик с водой в постель, я не пользуюсь краном, что иногда журчит в противоположном — по диагонали от меня, углу палаты. Я каждое утро сажусь на свой катафалк и, сбивая углы, еду в общую умывальню. Это по коридору направо, в самый конец. Мимо поста, мимо холла — я ощущаю их слухом; мимо дежурной каталки, пахнувшей старой клеенкой; через порог какой-то промежуточной двери — пожарной, что ли; мимо лестницы с ее вертикально звучащим эхом; мимо телефона-автомата или просто телефона — я никогда не слышу звука опускаемой монеты, но, судя по уровню источника

---

**Владимир  
СУТЫРИН**

— родился в 1951 году в Ужгороде (УССР) в семье военнослужащего. Окончил филологический факультет Уральского университета и сценарный факультет ВГИКа. Впервые напечатался как критик в 1976 году в «Новом мире». Автор сборника стихов (1994), лауреат премии журнала «Юность» (1995) за цикл «Новые уральские сказы». Последние 15 лет работает режиссером на Свердловском Гостелерадио. Живет в Екатеринбурге.

звука — рта говорящего — это все-таки автомат, повешенный на стену. Дальше — ординаторская, дверь всегда закрыта, но голоса тех, что за дверью, — всегда деловиты и строги. Так разговаривают на службе. Мне знаком этот тон разговора... Дальше снова пост, но он справа, а слева за деревянной стенкой — массажный кабинет. Оттуда целый день слышен скрип кушетки и доносятся охи и вздохи оргазмирующих пациентов.

И, наконец, умывальня. О ее приближении свидетельствует легкий дух табачного дыма. Это в бытовке тайно курят самые бодрые из нас, у кого легкие работают, как добрые меха старой гармонии. Но таких немного — судя по голосам, человек пять-семь... Табак бодрит, будит последние силы и заставляет жить дальше, до завтра, а завтра — будем посмотреть.

Минуя бытовку, делаю поворот налево и въезжаю в умывалку. Здесь никого, пахнет размокшим мылом и водой. Я вытягиваю правую руку, рекогносцируюсь в пространстве и подтягиваю себя к пойманной рукой раковине. Отвинчиваю краны — горячий, холодный, и дальше ладонью плещу себе в лицо застоявшуюся в трубе влагу... Она стекает на грудь, проникает под майку, мочит колени. А я плещу, плещу без конца, будто собака, лакающая из лужи и не могущая налакаться... За спиной, в дверях кто-то вздыхает. Это дежурная нянька — ей опять выгирать после меня. Да еще мокрую грязь я развезу колесами по коридору. Но указать мне на это она не решается — жалеет. И наверняка думает, когда же Бог (или черт) приберет меня в свои закрома... Ничего, тетка, терпи — такая у тебя служба. Иногда мне кажется, что она слышит мои мысли. По крайней мере вздохи прекращаются, и она исчезает — я чувствую это затылком.

После помывки — в курилку. Это святое дело. Я толкаю ногой дверь, она с шумом распаивается. Ядреный дымный воздух взвивается и поднимается к потолку. Голоса курильщиков разом стихают, а потом оживают снова:

— Давай, давай. Милости просим, а то скушно без тебя... Сигареточку прикурить?..

Чьи-то руки берут мою лайбу за подлокотники и паркуют поудобнее. Кто-то сует в рот зажженную сигарету...

Мы живем здесь вместе достаточно долго — я уж и не знаю, сколько. Но они до сих пор не поняли, как со мной обращаться. Одни думают, что я глухой, другие — что немой, третьи вообще считают меня пустым местом и при мне могут меня же и обсудить как следует. Некий злой голос всерьез сказал, что таким, как я, надо идти вкалывать на гвоздильную фабрику, а не жрать здесь задарма их ветеранскую кашу. Мне стало обидно, и я, припод-

нявшись на руках, пнул его, ориентируясь на голос. Ногой почувствовал, что попал — мягко! Но не в того... Тот, злой, был у окна, а я угодил в другого. Но все вдруг смолкли и тихо разошлись... Я заплакал от бессилия, и что-то липкое текло у меня по щекам — я не вытирал, вид моего лица мне безразличен...

В палату меня вернула сестра. Молча и решительно. О том, что это она, я понял по запаху лекарств и резким движениям.

Я медведем перевалился в постель и, натянув на себя одеяло, забылся. До следующей мухи.

Моя жена была на удивление впечатлительной женщиной. Когда я ходил еще в поклонниках, то завоевывал ее уважение умопомрачительными случаями из армейской жизни. То, закемарив на посту, часовой нечаянно убивал командира полка, который хотел проверить его бдительность; то боевая машина пехоты в условиях учений налетала на штаб «противника» и в первобытном охотничьем азарте утюжила его, будто плац на параде; а то я сам в увольнении, убегая от патруля, проваливался в уличный люк и сидел там по горло в талой воде, пока меня не спасали прохожие.

— У-ужас! — восклицала она, и взгляд ее простодушных глаз застывал, точно грильяж в шоколаде.

А я отряхивался от невидимых несчастий и, улыбаясь, говорил: — Ерунда. То ли еще может быть!

И она прижималась к моему суконному плечу, благодарная силам судьбы за то, что все мыслимые катаклизмы обходят ее стороной...

Так мы и жили потом: «Ужас! — Ерунда... — Ужас!.. — Ерунда».

Моя жена была педагогом и с удовольствием читала своим воспитанникам сказки. Особенно ей нравились африканские. Дома она пыталась внушить эту любовь и мне.

— ...Нет, нет, ты послушай, как это интересно: у каждого племени есть свои духи — добрый и злой. Иногда эти духи сердятся, и тогда люди их успокаивают — знаешь как? — доброму делают много зла, а злему — много добра. Духам не под силу справиться с таким обилием трудностей сразу, и они надолго оставляют людей в покое... Ты слушаешь меня? Любопытно, правда?.. Мне кажется, если думать, как эти племена, то можно любую мысль прочесть наоборот... Например, у нас над клубом надпись: «Мы за мир», а если взглянуть на нее по-африкански, то получится: «Мы готовы к войне»... А? Как ты думаешь?..

Когда приходишь со службы и сбрасываешь с себя грязное и мокрое в прихожей, такие разговоры кажутся пустой, ничего не значащей болтовней, а под телевизор они и вовсе навевают дрему.

Схваченный у начсклада дежурный стакан водки делает свое дело. Я голосую за мир и дружбу мощным артиллерийским храпом...

По сути дела наша гарнизонная жизнь — это гетто. Мы добровольно заключаем себя за бетонный забор с колпачей проволокой, и каждый нештатный выход в свободный мир чреват для нас сомнениями, разочарованием, а то и полной депрессией... Для меня нет вопроса, почему военные пьют: зеленый змий — это великий психотерапевт всех времен и народов. Количество наркологических диспансеров взаимосвязано с количеством психушек. Сегодня первых больше. Но если их сократить, то во вторых просто не хватит мест. Поэтому психически здоровая часть населения настойчиво требует: «Свободу зеленому змию!». Но даже он, змий, не в силах изменить истину, которую не с трибуны любил повторять замполит нашего полка: «Военные без войны выглядят по крайней мере нелепо». Иногда подшофе он слово «нелепо» заменял на «.....», что не касалось сути, но автора цитаты всё равно не помнил — видимо, тот жил еще при Александре Македонском. «Мы вместе не служили», — хохотал замполит.

А военный, да еще с головой — человек впечатлительный. В его мозгу оседает всё услышанное. Одна информация ложится на другую, вступает с ней в малообъяснимую связь, затем, разверзаясь, они впускают к себе еще и еще — одно, второе, третье. В итоге после 10—15 лет службы серое вещество военного представляет собой крепкий настой из уставных, житейских и гипотетических представлений о мире, где добрые боги войны и злые божества мира растворились без остатка и надежды воскреснуть, и ты веришь только в грядущую пенсию, которая выдернет тебя из этого беспросветного омута армейского бытия и позволит безбедно прожить вторую половину жизни...

Сказка витала в нашей комнате, и незаметно для себя я сам стал сказочным персонажем.

Муха всё не летит. Это верный признак того, что наступает время обеда, и она нашла себе другой интерес. Я понимаю это и потому просыпаюсь без посторонней помощи. Мои соседи нетерпеливо ерзают на своих койках, перекаладывают на тумбочках ложки. Я слышу, как урчат их выдрессированные внутренним распорядком желудка.

Приподнимаюсь, сажусь и направляю свой первый локатор — слух в коридор. Везут? И кто? Она?..

«Я милого узнаю по походке» — была в детстве такая песня. Я всё терзал мать вопросом: «Как это — узнает по походке?» — «Ну, значит, услышит шаги и поймет, что это милый». — «А

почему она не может его просто увидеть?» Мать не знала, как мне объяснить этот порыв человеческой души и отвечала просто: «Потому что девушка — слепая». И с тех пор, слушая эту песню, я представлял себе слепую васнецовскую Аленушку, что сидит на берегу в напряженной позе и, вслушиваясь, ждет прихода Ивана-Царевича... Мне было ужасно жаль эту бедную девушку, и я придумывал: если через пять минут этот ее милый не появится, то тогда к Аленушке из-за кустов выйду я...

Скрип несмазанных колес. Это едет кормушка. Я не слышу шагов... Я не слышу! Кто?!

В палате напротив брякает посуда. Похлебка льется в миски, стучит о металлический край ложка, бузырит в стаканы чайник. «Чай да каша — пища наша» — тоже из детства... Я включаю локатор № 2 — обоняние... Кто?! Кормушка, спотыкаясь о порог, въезжает к нам. Я ничего не чую!!! Бля, это сквозняк сдувает в коридор все запахи... Я мотаю головой и мычу в отчаянье.

— Ну, ну, что ты, милый! Сейчас, сейчас я тебя накормлю.

Это ее голос! Капа... Я падаю на подушку и плачу. Что-то течет по моему лицу...

Считается, что таких пациентов, как я, нужно кормить с ложки. Но я с самого начала всё делал сам. Я отлично ориентируюсь в пространстве — моя тумбочка стоит в ногах, у самой кровати. Стоит мне сесть, спустить ноги, протянуть руку вправо — и я уже нашел свою тарелку. Слева от нее — всегда ложка, на ложку положены два куска хлеба. Пододвигайся и хлебай! Но Капа...

Она чувствует мое волнение. Она кладет мне на плечо большую теплую руку и говорит:

— Сам? Ну, и молодец. Кушай, кушай. А я приду потом...

Ресторан на колесах выезжает на коридорный проспект...

Ближе к вечеру, когда наши вялые желудки перемелят нехитрую пищу, у меня с Капой будет сеанс секса. Она придет за мной в палату и увезет на самокате в ту комнату за деревянной стенкой. Там она, освободив мой торс от ветхого больничного камуфляжа, передислоцирует меня на кушетку и, склонившись надо мной, начнет гладить своими мягкими, но сильными руками...

Я не знаю, сколько ей лет. Думаю, где-то посередине между детством и старостью. Если бы я был здоров, мы были бы с ней ровня. Но в этом случае наши пути бы никогда не скрестились — я не нуждался бы в ней, а она не стала бы тратить на меня свою душу. Но мы сошлись в общей точке и дальше движемся параллельным курсом. Капа для меня сейчас — единственная в мире реальная женщина. И хотя мне известно, что я у нее не один —

во мне нет ревности. Я люблю ее нежные руки и знаю, что тепло и нежность в них — неиссякаемы.

Она, забывшись, проводит пальцами по тому месту, что было моим лицом. Я дергаюсь и кривлю рот.

— Нет, нет, милый, нет, — говорит она. — Не буду...

Дальше ее ладонь стекает по моей шее, переваливается через ключицу, переходит на радиатор груди, приминает сосок, достигает диафрагмы и возвращается обратно по сопредельной стороне торса. Это как бы пролог — она вспоминает мое тело... Дальше вступает в действие вторая рука, и обе они начинают признаваться в любви моим плечам, бицепсам, предплечьям и пальцам. Мягкая, но настойчивая любовь проникает внутрь моих конечностей, и я начинаю балдеть, как банту от миамбы... Наверное, то же испытывают девственницы в момент грехопадения. Я, как и они, начинаю неотвратимо терять контроль над собой и всё дальше погружаюсь в лоно беспредельного удовольствия...

Капа уже не церемонится со мной. Она командует моим безвольным телом, как хочет, по-хозяйски кантуя его со спины на живот и впиваясь своими жадными пальцами в жесткие и мягкие места.

Я не дышу — я крихчу, слюна плывет из моего рта на подушку, и голосовые связки, сомкнувшись, без команды, выдают наружу непристойные звуки телесного сладострастия. И чем больше терзает меня Капа, тем беспощадней, тем громче стонет мое истосковавшееся по любви тело... И только скрип кушетки напоминает, что это небесное удовольствие даруется мне на земле.

Оргазм бесполого человека...

Позже я неведомым мне образом оказываюсь у себя в кровати. Голова плывет, тело не слушается, остаток сознания темнокожей змеей уползает в джунгли ночного забытья.

В одно из воскресений, когда в цивилизованном мире военные действия не ведутся, к советническому домику в Атсонги, где я жил в то время, подкатил «уазик» с тремя военными в диковинных для этих мест латиноамериканских сомбреро. Это были наши союзники-кубинцы.

— Хей, камарада! — крикнул один из них. — Аделанте эн ла сафари! Айда, айда! Окота пуче неволи!..

Кубинцы чуть-чуть выучились по-нашему, мы — по-ихнему, поэтому худо-бедно могли потрепаться между собой и понять смысл сказанного. Сегодня «кубанос-камарадас» звали меня на охоту по случаю туземного праздника молодого охотника.

В отличие от нас — «русос-советикос» — они жили в землянках и временных хибарках на территории гарнизона, но несмотря

на революционный аскетизм бытия, их никогда не покидало бодрое настроение. Я поначалу думал, они что-то себе покуривают для куража, но, побывав рядом с ними в деле, понял, что дрожжи веселья бродят под их смуглой кожей самым естественным образом.

Я вышел на балкон и увидел еще один «жипо советико» (так здесь называли наш «уаз») с тремя африканцами в пятнистых форменках. Это были тральщики. Они тоже улыбались и махали мне руками, но их-то веселье наверняка было из бутылки... Нужно отдать должное кубинцам — эти умеют уговорить местных на что угодно. Даже на безрассудный риск ради одной-двух заваленных антилоп. Занять себя в этот день мне было особо нечем и, захватив «калаш» и четыре магазина, я присоединился к охотникам.

Два наших «жипо» — впереди африканцы, сзади мы — газанув, покатали по главной улочке бывшего колониального городка и уже через пару минут, подпрыгивая на ухабах, неслись по проселку среди кустов и деревьев. Охотиться предстояло в саванне. Но до нее нужно было пересечь мату, целое пространство высокорослого густого кустарника. Здесь тоже водилась дичь, но в мате не охотились — из-за плохого обзора можно было запросто вместо зверя подстрелить друг друга.

Мы ехали на хорошей скорости. Кубинцы врубили «соньку» со своими румбами и кайфовали, покачивая в разные стороны тарелками сомбреро.

— Карочая пагода, — улыбнулся мне сидящий рядом капитан. — Сегодня вечером будем пить ла бальшой компания!

— Си, си, — кивнул я, постепенно проникаясь их настроением. — Вива Куба!

— Вива Фидель! Патриа о муэрте! — привычно, точно «здравия желаю», выкрикнул он в ответ и дал вверх очередь из автомата.

Африканцы на передней машине оглянулись и что-то весело нам крикнули. В кусты полетела пустая бутылка...

Что меня восхищало в туземных вояках, так это то, как они непринужденно живут на свете. Сегодня жив — смеюсь и пляшу. Завтра хана — ну, и ладно. Без стонов, слез, молитв уходят они из жизни, будто уезжают в другую деревню, зная, что через неделю как ни в чем ни бывало вернуться обратно. Вот где образцовый психологический настрой! Никакой ГлавПУР им не нужен...

Мы с кубинцами так не можем. Камарады подпорчены тщеславием и религиозностью. Им нравится здесь: их манит бесконечная борьба и бессмертная слава. Назад они мечтают вернуться в ореоле истинных борцов за веру в К. Маркса и Ф. Кастро... Для нас, русских, советничество за границей привлекательно другим — это о с о б а я

зарплата, модное барахло для семьи, это, как правило, машина, если не было раньше — квартира в очереди, ну и, конечно, престиж в глазах менее удачливых сослуживцев. Шкурный интерес, одним словом, — какая там к черту интернациональная помощь!.. Эти туземцы воюют испокон веку — деревня с деревней, род с родом, племя мамбу с племенем вьямбу. И весь их идейный антагонизм заключается в том, что одни от сотворения мира носят в носу спицу, а другие — кольцо. Впрочем, им никто не мешает на денек-другой сменить убеждения и перейти в стан противника, а потом безо всякого покаяния и репрессий со стороны соплеменников вернуться в прежнюю веру. Порой сидишь с таким в одном боевом расчете и до конца не знаешь, «за красных» он или «за белых»... Именно поэтому наши специалисты взяли моду, выходя из дому, подвешивать на пояс под форменку гранату Ф-1. Так сказать, на всякий туземный случай. Чуть что, чеку долой и — хрен вам, а не Чапай...

Дорога пошла вниз, к неширокой речонке, через которую был хорошо накатанный брод. Первый «жипо» при въезде в воду сбросил скорость, и мы приблизились к нему чуть не вплотную, когда он, неожиданно взбрыкнув задними колесами, взлетел в воздух и развалился на запчасти...

То, что это была мина, понял каждый из нас в первую же секунду. Но как она сработала в воде, мне не ясно до сих пор. С такими гостинцами от дядьки Черномора в этих местах никто из нас раньше не встречался... К тому же было очевидно, что водитель-камарада нарушил правило езды в колонне с тралом. Нехрен было пускать впереди себя машину с африканцами, чтобы затем в нужный момент приклеиться к ее задку... Судьба машины-трала всегда одна — лететь на небеса, но зато те, что едут сзади, остаются невредимыми. Такова тактика местной войны. Мы же сдуру разделили с тральщиками их порцию судьбы чуть не пополам...

Когда сознание вернулось в мою голову, я не смог открыть глаз, потому что мир вращался внутри меня пропеллером «вертушки». Во рту жил отвратительный вкус тротила, желудок выпрыгивал из пищевода, и рот мой был распахнут, как зев у глубинной рыбы, поднятой на поверхность... Что-то монотонно стучало вне меня. Последним трезвым кусочком мозга я понял, что этот стук не принесет мне добра...

Барабаны дробили воздух, им тонко подбрякивали погремушки, и голоса — радостные голоса туземцев не оставляли сомнения, что случившееся с нами — дело их рук. Но кто они — мамбу или

въямбу? А мы с кем — с теми или с этими? Ч-черт, как плющит мозги...

Кто-то, приподняв за волосы мою голову, стал пальцами открывать мне глаза. Я увидел перед собой плывущую, точно в тумане, физиономию негра в конфетной боевой раскраске. «Праздник у них, — вспомнилось мне. — С удачной охотой, господа аборигены...» Земля колебалась в моих глазах, но я всё же рассмотрел поляну, на которой вокруг жертвенного камня, потрясая копьями и «калашами», плясали яйцеголовые разукрашенные негры. Другие били в барабаны и орали воинственные песни...

По всем правилам равновесия с такой головой я должен был лежать на земле. Но тело мое оставалось в вертикальном положении. Я понял, что привязан к дереву... Ко мне подбежали черные мальчишки в помятых кубинских сомбреро и набедренных повязках и стали тыкать в меня ритуальными копьями. Было что-то среднее между болью и щекоткой. «Брысь, сучата...» — выдавил я, и меня стошнило. Негритята взвыли от радости и запрыгали на месте еще активней... Видимо, моя блевота удачно легла в образный ряд победного танца... Я опустил веки: в голове гуляла шальная метель. Хотелось упасть и забыться — так бывало на родине поутру с большого перепоя. В таких случаях нужно время, чтобы отлежаться, а потом — сотка для восстановления равновесия — и хоть на парад... Сегодня парад у противника. А впрочем, какие они мне противники? Говорили, будто у сепаратистов тоже есть наши советники. Не война, а партия в крапленые карты: кто кого вперед обжулит...

В этот момент барабаны стихли. Недобрый озноб пробежал по моему безвольному телу... Я разлепил тяжелые веки и увидел, как пестрые партизаны принесли к жертвеннику несколько обнаженных безжизненных тел. Они не были чернокожими!.. Кто-то из туземных командиров махнул рукой, к трупам подбежали мальчишки — молодые охотники. Орудуя костяными ножами, они мгновенно отсекли у трупов мужские принадлежности и с гордостью побежали по кругу, пачкая всех подряд вражеской кровью. Вражеской?! Меня как током ударило: неужели эти трупы — мои камарады-кубинцы? Господи Всевышний!.. Я напрягся, чтобы что-то сказать, но вместо этого меня опять вывернула рвота. Я готов был по уши оказаться в своей собственной блевотине, только бы уползти отсюда, куда угодно. Однако веревки напоминали о себе вежливо, но прочно... Нет, они не сделают со мной то же — я офицер Советской Армии, мой статус определен международной конвенцией, я подлежу обмену как военнопленный — неужели они не знают об этом?!

Туземцы подняли крайнее тело на жертвенный камень. Из-за спин ряженных, хромая, вышел негр в камуфляже, я узнал в нем одного из наших тральщиков. Ему дали какое-то оружие, вроде тесака, и он с крайней охотой стал расчленять им труп кубинца. Кровь брызгала ему в лицо, и это распаяло его пуще алкоголя...

Ужас овладел мной. Превозмогая головокружение, я закричал диким предсмертным ором.

Мясник поднял на меня свой возбужденный праздничным ритуалом взгляд и приятельски улыбнулся...

Я вспомнил, что под форменкой у меня должна быть спасительная граната. Я рванулся, но руки были прочно привязаны к стволу дерева. Я потянулся к поясу зубами, попытался поддеть «эфку» бедром — но всё было напрасно. Льготный пропуск в рай был выписан на чужое имя... На мои действия обратили внимание эти черножопые вурдалаки. Один из них, беззубо улыбаясь поверх седой бороды, снял с пояса деревянную фляжку и насильно влил мне в плотку что-то вязкое, молокообразное. Мое сознание вспыхнуло на мгновенье, будто лампочка при перенакале, и стало медленно и неподконтрольно гаснуть. Последнее, что я помню — это намокшую камуфляжную спину и ритмично взлетающий окровавленный тесак...

То, что началось со мною потом, назвать жизнью невозможно. И все-таки это было ее продолжением... Я дышал, мой желудок автоматически переваривал заряженную в него пищу, мои почки ритмично очищали поступающую в меня влагу и отправляли наружу то, что было ненужным. И еще, после долгого блуждания в лабиринтах памяти, ко мне вернулось сознание. Это было сознание нового существа — существа амебного типа, которое безошибочно ориентируется в пространстве и во времени. Но только в пределах своей капли... Я тонко улавливаю запахи и различаю звуки. Я полюбил концерты симфонической музыки из репродуктора, потому что симфония не подразумевает пения. И стал мечтать о музыкальном инструменте, посредством которого я смог бы говорить с людьми, оставшимися вне меня. Другого способа общения с ними у меня не находилось... Поначалу они пытались задавать мне вопросы, но я тупо молчал, и они думали, что я снова в отключке... Постепенно от меня отстали, и моя дальнейшая судьба решалась в закрытых кабинетах, и решения выносились без моего участия.

Менялись континенты, страны, голоса врачей, руки медсестер. Менялся вкус воды и скрип кроватей, и только я — нечто — был неизменным и следовал во времени, не зная ничего наперед...

Зато прошлое, каким бы оно ни было, стало для меня неизмеримым богатством, и я с искренней радостью жил в нем — ходил по тем улицам, встречался с теми людьми, выполнял ту работу, и самое неприятное из бывшего со мною когда-либо лелеялось, будто высшая благодать. Я стал историком и хранителем моей прошлой жизни. Я же был единственным посетителем частного музея моей биографии... Я мысленно сортировал людей по характерам и привычкам, выстраивал их по алфавиту, говорил комплименты их женам, решал задачки их детям и переводил через улицу их стариков... Они здоровались со мной и, значит, узнавали и помнили меня, и мне казалось, что меня любят. И мне сильно хотелось быть таким же, как они, — ни в коем случае не хуже, и уж тем более не лучше. Адекватным.

В путешествии назад я проводил всё свое нынешнее время и бывал удивлен, когда вдруг привозили обед — ведь я уже пообедал с капитаном Д. в пельменной на Патриса Лумумбы, заплатив за две порции 1 руб. 20 коп... Ах, да! — в моем музее тоже бывает перерыв. Неужели пролетело полдня?..

Вот уже долгое время меня никуда не передислоцируют — я больше не слышу перестука колес и рева авиатурбин, мне не чужд запах шпал и гарь сожженного керосина. По разговорам понимаю, что я на родине, в одном из ее богоугодных заведений. Что ж, здесь мой причал, и здесь моя судьба?..

К нам часто стали приходиться посторонние люди — я узнаю их по сдержанным голосам и топоту уличной обуви. Они что-то приносят, кладут на кровать и тумбочку. Это что-то, наверное, приятно или полезно в их жизни. Но я не могу порадоваться вместе с ними — у их подарков незнакомые запахи и непонятное назначение. Я не знал таких предметов в прошлой жизни и не понимаю, почему с ними лучше, чем без них...

Однажды пришел еще кто-то. Молча, гнетуще. Я необъяснимо заволновался: что еще от меня нужно?.. Я максимально напряг слух, но пришедший молчал, словно окаменел. Тогда я нетерпеливо постучал ладонью по колену и издал горлом вопросительный стон. И услышал в ответ лишь одно слово, произнесенное шепотом: «У-ужас!!!» И чьи-то каблучки панически застучали по коридору... Кто это мог быть? Я лихорадочно перелистывал в памяти свою картотеку голосов и не находил этот — все голоса шипят одинаково. Так и не нашел... А потом успокоился, решив: «Ерунда...» А что еще можно ответить на это? Все ужасы случились со мной в той жизни, в этой же — осталась одна ерунда...

У меня нет глаз, чтобы воочию убедиться в обратном. Вместо лица — сплошная система рубцов от ритуального ножа, совмест-

ная благодарность доброго и злого духов за вклад в дело дружбы между народами... Мои уши больше не торчат — они отсечены, и в фас я, вероятно, похож на спящую курицу. А мой язык — это культя непонятной формы, которую я с трудом уместаю во рту... Классно, не правда ли? Фредди Крюгер рядом со мной — красавец мужчина...

Но это еще не всё. Если снять с меня казенные штаны, то можно увидеть там, где у всех мужиков соответствующий предмет — у меня торчит фистула, трубка, через нее в резиновую грелку день и ночь стекает результат моей нынешней жизни... Кто-то лепит кирпичи, печет булки, кто-то производит материальные ценности различного назначения. Моя же продукция отныне — только моча, цвета которой я никогда не увижу, а пахнет она известно чем — задворками, сырыми и грязными, куда приходят умирать бездомные собаки...

И только раз в году, 23 февраля, когда персонал богадельни приходит поздравить каждого из нас с Днем защитника Отечества, я забываю свои увечья, встаю им навстречу и, выслушав дежурные слова, мычу мелодию гимна, под который когда-то поднимали наш флаг. И все плачут. А главврач откупоривает бутылку с водкой — я хорошо помню этот запах.

## **ПОПРОБУЙ В БЫЛОЕ ВГЛЯДЕТЬСЯ...**

\* \* \*

Снег плясал, бесновался в объятиях тьмы,  
и метель под серебряной крышей зимы,  
закипая, плескала свой дымный отвар  
в подворотни домов, захлестнув тротуар.  
Снег летел, торопясь залепить до утра  
этих улиц названья, домов номера,  
чтоб из хаоса белого утром возник  
безобразного города чистый двойник.  
Снег метался по улицам, падал, взлетал,  
заполнял серой кашей ослепший канал,  
и сквозь саван непрочный, сквозь ветер и снег  
проступал всё ясней девятнадцатый век.  
Возникал наяву уничтоженный мир:  
серебро, позолота, барокко, ампир.  
Даже блочных коробок уродливый бред  
был лепниною снежной роскошно одет.  
Снег кружился над городом в небе пустом,  
и антенна на церкви казалась крестом,  
и на этом кресте был навечно распят  
Петербург, Петроград, Ленинград...

*Ленинград, 1982*

\* \* \*

Попробуй в былое взглядеться  
сквозь толщу загубленных лет,  
где даже бездарное детство  
окрашено в розовый цвет,  
и память, наверно недаром,

---

**Виталий  
ДМИТРИЕВ**

— родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Печатался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

еще обдаёт сквозь года  
простудным малиновым жаром,  
мучительной краской стыда.  
Детали достаточно мелкой —  
во времени сделать прокол,  
чтоб после подглядывать в щелку.  
Вот так я однажды нашел,  
обои слоями сдирая,  
до боли знакомый узор.  
За ним — голубятни, сараи,  
заросший акацией двор,  
чернильницы «непроливашки»  
и группы продленного дня,  
«поджиги», и Вильгусов Сашка,  
стреляющий лучше меня.  
Сбор лома и макулатуры,  
и запись погоды в тетрадь,  
и страшный урок физкультуры,  
где мне выше метра не взять,  
где кольца и «шведская стенка»  
украсили пыточный зал,  
где я перед Митиной Ленкой  
с «козла», не допрыгнув, упал.  
И всё это рядом, так близко.  
Учитель, к журналу склонясь,  
проходится ручкой по списку  
и тыкает прямо в меня,  
и двойка, и некуда деться —  
иду без портфеля домой  
за мамой. И всё это — детство  
счастливое. Боже ты мой!

*Ленинград, 1987*

\* \* \*

Глухие вологодские места:  
разграбленная церковь без креста  
над темною водою, а в реке —  
гнилое дно, топляк на топляке.  
Кругом растет железо из земли,  
как будто здесь бои недавно шли,  
как будто здесь вчера прошел Мамай

и даже Бог покинул этот край,  
оставил, отвернулся, позабыл...  
Гляжу на свежий хлам среди могил,  
на пыльную дорогу в никуда  
и нет во мне ни злости, ни стыда,  
ни жалости. Что было, то прошло,  
сошло на нет, в Онегу утекло,  
и вспоминать, наверно, ни к чему.  
Но страшно жить, привыкнув ко всему.

*Москва, 1991*

\* \* \*

*И. Бродскому*

Здесь который год поминают Цоя,  
в шоколад подмешивают сою,  
малому предпочитая большое,  
не любят евреев, хотя в лицо я  
не знаю ни одного юдофоба,  
но если веками копится злоба,  
нужен объект, разрядиться чтобы.  
Впрочем, это вопрос особый  
и не будем пока об этом.  
Здесь зимой морозно, дождливо летом,  
здесь, охотясь, стреляют всегда душетом  
и довольно просто прослыть поэтом.  
Здесь, ошпарясь, принято дуть на воду,  
в недородах любят винить погоду,  
здесь всего четыре времени года  
и страшнее рабства только свобода.  
Уходя в траву, здесь ржавеют рельсы,  
самогона в деревне — хоть залейся,  
ты отсюда выбраться не надейся, —  
неприменно шваркнут об «тэйбл» «фейсом».  
Здесь пространства меряют на парсеки,  
здесь нельзя купить аспирина в аптеке,  
здесь забыли путь из варягов в греки  
и леса вырубают вдоль рек, а реки,  
высыхая, мелеют от лесосплава.  
Здесь любая слава — дурная слава.  
Здесь нельзя налево, здесь нельзя направо,  
но и в центре тоже грозит расправа.

Здесь любви платонической или плотской  
не бывает, ее заменили скотской.  
«Всё не так, ребята!» — крипит Высоцкий.  
Здесь каким-то чудом родился Бродский.

1993

\* \* \*

Ю.К.

Город. Памяти осколки.  
Здесь вот жили где-то  
Юра Колкер, Таня Колкер,  
дочь Елизавета.  
На Шпалерной в коммуналке  
я бывал когда-то.  
Навестить бы их, да жалко —  
съехали куда-то,  
вроде в Лондон. Мне б, пожалуй,  
разузнать при встрече  
у друзей. Да их не стало,  
а кто жив — далече.  
У живых другие беды,  
радости другие.  
Я, наверно, тоже съеду,  
сгину из России.  
Город. Памяти осколки.  
Здесь вот жили где-то  
Юра Колкер, Таня Колкер,  
дочь Елизавета.

Петербург, 1995

\* \* \*

Сколько помню себя — только ветер да мрак ледяной,  
только холод крошечный. Да где ж это было со мной?  
В Воркуте? Или нет — в нефтяной факелящей Ухте,  
где сам воздух горел, прожигая дыру в пустоте,  
всё сжигая дотла, кроме мерзлых казарменных стен,  
не давая тепла, ничего не давая взамен.  
Сколько помню себя — то похмелье, то взлет, то запой.  
Очарованный бомж, пожиратель помады губной,

раздвигатель коленок, искатель нехитрых чудес,  
проходящий по жизни с гитарою наперевес,  
столько раз разведенец, что стыдно менять паспорта,  
но читающий музыку даже с пустого листа,  
повторяющий все бессмертные строки навзрыд  
в полутемном подъезде, где не был однажды убит.  
Сколько помню себя — только цепь бесконечных утрат:  
Саша, Боря, Олег... Кто продолжит трагический ряд?  
Обольщаться не стоит — продолжить сумеет любой.  
Ты ведь знаешь, что список кончается только тобой.  
Ничего. Отпустишь. Перечти «Мушкетеров» Дюма.  
Это жизнь. Просто жизнь. И она от тебя без ума.  
Посмотри, как любят ветер, и солнце, и снег —  
вот идет вдоль канала счастливый смешной человек,  
улыбается встречным, рифмует дома на ходу  
так легко и беспечно... В каком это было году?  
И в какой это жизни? — Не знаю, и знать не хочу.  
Я любовью к Отчизне за это еще заплачу.

1997

**ПОПЫТКА ФИЛОСОФИИ,  
ИЛИ КОММЕНТАРИЙ К «ЧЖУАН-ЦЗЫ»  
В РАССКАЗАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ**

*Повесть*

Время рождается в сердце.

*Чжуан-цзы*

**1**

Одна кошка говорила мышке:

— Если бы ты была собакой, я бы тебя съела как собаку. А так — придется съесть тебя мышкой ... свинья ты этакая!.. Поняла, ссоббака?

Вы думаете, что это басня про кошку и мышку, — скажем, басня Крылова в переводе Эзопа. Между тем это правдивый рассказ о трагической судьбе народа в годы царствования Николая II Кровавого. Рассказ сей дивно изложен в гениальной комедии Джугашвили «Краткий курс истории ВКП(б)».

В каждой мысли, в каждом суждении, в каждом цветке, каждой птице, каждом человеке есть частица Истины. Но только частица. Их сложение и даже синтез не дают Истины. Их сопоставление высвечивает грани Истины, которая поистине необозрима, поскольку проста.

Истина мерцает, как звезда в тумане. Ее можно почувствовать, но не выразить: у нас нет для этого средств. Мысль изреченная есть ложь — что уж говорить об Истине?

У каждого своя правда, своя правда. Но Истина — одна, потому что она вмещает всё и не может быть сведена ни к чему.

---

**Владимир  
ИЛЮШЕНКО**

— родился в 1932 году в Москве. Окончил Московский государственный историко-архивный институт. Председатель общества «Культурное возрождение» имени о. Александра Меня. Автор ряда прозаических и стихотворных публикаций, а также многих статей по истории и политологии в разных российских и зарубежных журналах. Живет в Москве.

Модель Истины — парадокс («Я царь — я раб — я червь — я Бог»). Парадоксальна Троица, парадоксален Сын Человеческий — нищий Мессия, неузнанный Богочеловек. Парадоксальны притчи Христа да и всё христианство.

Вопрос Пилата: «Что есть истина?» — неправомерен. Истина — не «что», а «Кто», она — Живая Личность. Именно поэтому Христос оставляет вопрос без ответа. Его молчание бездонно.

Сила в слабости, и поэтому побеждает — слабейший. Последние станут первыми. Конец — в Начале.

Конец — в Начале, а начало  
В конце. Чтобы вместить сие,  
Нам мало, чтоб слова звучали, —  
Нам надо, чтобы бытие  
И самый дух светились Словом.  
Его надмирная печать  
Есть мира главная основа.  
Достроить мир — его начать.

— Начало не возникает, — говорил божественный Платон, — из Начала должно неизбежно возникнуть всё, что возникает, а само Оно ни из чего не возникает».

Царство Божие подобно горчичному зерну, почти точке, но в этой точке царствует дух.

Дух первичен, утверждает христианство, ибо дух может сотворить материю, а материя не может сотворить дух.

Но материя одухотворена.

Свет может светить только во тьме.

Всемогущий приходит только к немощным.

Парадоксальность — предвестие Истины. Однако истинен лишь осмысленный парадокс.

Пример истинного: «Блаженны нищие духом».

Пример неистинного, мнимого: «На безрыбье и слон соловей».

Смысл пульсирует, как электрон. Спрашивайте — отвечаем.  
А надо ли отвечать словами?

— Значит, правильный ответ на вопрос — дать вопрошающему по физиономии?

Даоские учителя так и отвечали на вопрос ученика — мордобитием. Этого заслуживал, однако, не всякий вопрос, а только самый важный — в чем смысл жизни, что такое «дао»? Ученика следовало бить до тех пор, пока он не осознает бессмысленность своего вопроса. В этом отношении древние даосы были предтечами апофатического богословия.

Истина, тем не менее, заключалась не в мордобитии, а в том, на что оно указывало. Хотя мордобитие было истинным.

### З а я в л е н и е

*Настоящим довожу до Вашего сведения, что никаких сведений в настоящем не имею. Что и довожу до Вашего сведения в настоящем, которое есть проекция будущего в прошлое.*

(Без подписи)

В прошлом всё было по-настоящему, а настоящее быстро проходит и остается только тогда, когда становится прошлым.

Вперед, в светлое прошлое!

В будущем мы — другие, хотя, казалось бы, берем всё из прошлого.

Вечность — остановленное мгновение. Вселенная, сжавшаяся в точку, в горчичное зерно. Взрыв точки, Большой взрыв, порождает Вселенную.

Во внеположной нам вечности соположены все времена. В вечности все они мирно сосуществуют, в настоящем — даже минуты и секунды конфликтуют друг с другом.

Кто ранен временем жестоким,  
Тот жаждет вечности одной  
И поздние торопит сроки  
Нетерпеливою душой.

А вечность, временем играя,  
Сквозь время всякое бежит.  
Но путник, время проклиная,  
Мгновением

не дорожит.

Осипу Эмильевичу Мандельштаму.

Дорогой Осип Эмильевич!

Вы меня не знаете, а я Вас знаю. Вы скажете: «К чему писать письмо — ведь мертвые читают мысли?» — и будете правы. Но письмо я пишу для себя: мне легче так излагать свои мысли, которые Вы потом прочтете. Я даже не знаю, сумел ли бы я сказать, что хочу, если бы только думал об этом.

Итак...

## 2

— Пошла вон, собака, — сказал главный врач поликлиники Никодим Александрович другому врачу, Айгуль Фаридовне, вовсе ему не подчиненной и из другой поликлиники, и даже вообще не из поликлиники, а из Президиума Верховного Совета СССР, где

она как психиатр призвана была выявлять среди посетителей сумасшедших, вечно норовивших попасть на прием. Она их отлавливала как психиатр — точнее, не отлавливала, а опознавала и фиксировала, после чего их отлавливали совсем другие люди.

Впрочем, Никодим Александрович сказал ей «Пошла вон, собака» вовсе не как психиатру и не как главный врач поликлиники, и не в Президиуме Верховного Совета, а на улице, где она якобы бежала за ним, а он повернулся к ней, прищурился и сказал: «Пошла вон, собака».

Она и пошла.

Так он, по крайней мере, говорил.

Он давал понять, что она ему надоела. Он, собственно, и не давал понять, а прямо говорил: надоела, мол, собака.

Вы спросите: «А какое отношение эта собака имеет к той — с которой имела дело кошка?».

Да никакого!

Хотя все собаки имеют друг к другу какое-то отношение.

До того, как Никодим Александрович сказал мне «Пошла вон, собака», то есть не мне сказал, а рассказал, как он это сказал Айгуль Фаридовне, я бы никогда не подумал, что она имеет отношение к собакам. У нее был ясный взгляд, темные внимательные глаза на широком скуластом лице. Она была человеком спокойным, скрытным и выдержанным, с немалой внутренней силой.

Но не о ней пойдет речь. И вообще, как она могла бежать за Никодимом Александровичем, если она была женой, а точнее, вдовой, симпатичного чекиста, скончавшегося в 43 года от инфаркта миокарда? И был он, кстати говоря, не татарин, а, наоборот, евреем. А Никодим Александрович еще до того, как стать главным врачом поликлиники, уже был сыном военного министра в последнем правительстве Керенского. Папу, естественно, расстреляли за то, что он стал сотрудничать с Советской властью. Расстреляла его, естественно, Советская власть, с которой он сотрудничал, за то, что он был военным министром в последнем правительстве Керенского. Хотя он был аналогичным народным комиссаром в первом правительстве Ульянова (Ленина). Это уже потом, в конце 50-х годов, вышли в свет его воспоминания в серии «Военные мемуары», которые Никодим Александрович мне показывал. И не только показывал, но даже дал почитать, хотя и не подарил, говоря, что у него самого остался один-единственный экземпляр.

*Читая чужие книги, я часто думал о своей, еще не существовавшей, но вместе с тем, в каком-то измерении, уже существующей.*

*Потенциальное могло стать актуальным. Пока же оно существовало как фотобумага, уже принявшая на себя изображение, но еще не опущенная в проявитель. В голове моей скопилось множество глупостей, обрывков фраз, мыслей и наблюдений, но эту разрозненную массу следовало скрепить и одухотворить общей идеей, а идеи-то как раз и не было. Судьба грядущей книги зависела от меня. Но не только от меня. Не я, а Кто-то свыше должен был пустить в ход маятник, и тогда вдохновение не замедлит явиться...*

Папа Никодима Александровича таки был министром и даже где-то народным комиссаром, а Никодим Александрович всего-навсего торговал липучкой, хотя и в особо крупных размерах.

Это было после Великой Отечественной войны, до которой его папа, естественно, не дожил.

Гремя огнем, сверкая блеском стали.  
Пойдут машины в яростный поход,  
Когда нас в бой пошлет...

### *Чудные песни пели во время Великой Отечественной!*

Вернувшись с фронта, Никодим Александрович задумался: а что же делать дальше? Чулки-паутинки уже кончились, и делать что-то надо было. Из Германии Никодим Александрович вывез не какие-нибудь радиоприемники, ликеры или там мейсенский фарфор, а мешок, набитый чулками-паутинками. Родная страна после Великой Отечественной знала вигоневые, бумажные и полшерстяные чулки, помнила еще фильдеперсовые, хотя и смутно, а вот паутинки отродясь не видывала. У женщин они вызывали глотательный рефлекс. Они, то есть женщины, млели не только от их вида, но даже от их шуршания. Имея чулки-паутинки, с женщиной можно было сделать что хочешь, а уж если это были паутинки со стрелками — то и больше, чем хочешь.

Загвоздка, однако, состояла в том, что чулки-паутинки кончились — и со стрелками, и даже без стрелок. Всё когда-то кончается, кончились и чулки-паутинки. Что же было делать?..

Поглядев на мух, бестолково бившихся об оконное стекло, Никодима Александровича осенила гениальная идея. Это, конечно, галлицизм: «поглядев на мух, его осенила идея», это всё равно, что «проходя по улице, у меня слетела шляпа». Тем не менее осенившая его идея была гениальной.

Как всё гениальное, она была проста.

Она основывалась на мухах.

Мухи тогда совершенно обабдели. То ли они разжирели на войне, как фабриканты оружия, то ли они отощали на войне, как всякое живое существо, — как бы то ни было, они обабдели и в

этом обалдевшем состоянии тучами носились по домам, засиживая всё, что можно засидеть и даже чего нельзя. Житья от них, одним словом, не было.

Не долго думая, Никодим Александрович поглядел на мух и помчался в аптеки. Объездив решительно все, он скупил всю имеющуюся там липучку и стал монополистом, как иные фабриканты оружия, хотя липучка была оружием оборонительным.

Без липучки люди совершенно обалдевали от мух. Кинувшись в аптеки, они убедились, что липучки нет, и обалдели еще больше.

Когда Никодим Александрович дал понять, что липучка у него есть, люди побежали не в аптеки, а к нему. Как монополист, сын военного министра и потомственный дворянин Никодим Александрович не был заинтересован продавать липучку по госцене. Он и не продавал. Цена была монопольно высокой. Но люди были настолько благодарны ему, что эта монопольно высокая цена казалась им низкой.

Однако эта эйфория длилась недолго. Липучку, хотя ее было много, раскупали еще быстрее, чем летели мухи, и когда к Никодиму Александровичу пришли люди из некой Организации и спросили: «У вас есть липучка?», Никодим Александрович посмотрел на них во все глаза и страшно удивился: «Липу-учка?.. Какая липучка?». Пришедшие были, естественно, смущены, поскольку изумление его было неподдельным, а липучки, сколько они у него не искали, не оказалось. Они, правда, не знали, что, хотя липучки не было, был Никодим Александрович, сын военного министра в последнем правительстве Керенского. Чего-то они, видимо, недоучили.

В общем, проиграли бедные мухи, а трудящиеся от липучки только выиграли, и Никодим Александрович справедливо за них радовался: что хорошо трудящимся, то хорошо каждому из нас.

Таким образом, гегелевская идея отрицания отрицания действительно является универсальной. Другой вопрос — к чему вообще отрицать? Не лучше ли хвале и клевете внимать равнодушно, как нам в свое время и рекомендовали? К тому же философы-эмпирики установили, что недостатки человека суть продолжение его достоинств.

Кстати, после истории с липучкой Никодим Александрович задумался: что же делать дальше? Поглядев на страдания мух, приклеенных к липучке, он решил избрать стезю Асклепия, Гиппократ и народного комиссара Семашко и действительно стал врачом, к тому же главным, хотя и не сразу.

Рассказывая про собаку или про липучку, он делал паузу, а потом, глядя мне в глаза, заразительно хохотал, обнажая при этом

кривые прокуренные лошадиные зубы, которых у него было больше, чем у нормального человека. Когда он кончал хохотать, то зубов обратно не прятал, давая тем самым понять, что я могу продолжить его хохот.

Справедливости ради надо сказать, что Никодим Александрович далеко не всегда показывал зубы (разумеется, в буквальном, а не в переносном смысле). Как главный врач поликлиники он отдавал приказания своим подчиненным резким, отрывистым голосом и был необычайно серьезен. Его решения были молниеносны, непредсказуемы и не подлежали обсуждению. Подчиненные, прежде всего женщины, трепетали, ибо не подозревали, что его серьезность была чисто функциональной. Самый смех его казался им грозным и предвещающим расправу. Их трепетание усиливал селектор, который Никодим Александрович завел раньше всех других начальников. Эту особенность своих подчиненных он тонко учитывал, отчего и отдавал им приказания резким командирским голосом. Между прочим, как специалист по липучкам и женской душе, он был прекрасным диагностом и незаурядным психологом.

### 3

Однажды я обратился к Айгуль Фаридовне, тоже как к специалисту, с просьбой оценить поэму нашего знакомого «Красный призрак». Знакомый был Шимко, имени которого никто никогда не знал (да и фамилия у него, честно говоря, была другая). Он работал редактором в каком-то нефтяном журнале.

Волосы у Шимко имели рыжеватый оттенок и, поскольку он был поэт, вдохновенно спадали ему на плечи, располагаясь вокруг обширной тонзуры, как у католического патера. Иногда они неожиданно становились фиолетовыми или приобретали цвет воронова крыла. А однажды я встретил на Петровке человека с дымчато-зелеными волосами. Это было эффектно. Естественно, этим человеком оказался Шимко, который меня, правда, не узнал, ибо я стоял в стороне, онемев от восторга. Он прошел, глядя поверх толпы на что-то прекрасное, открытое ему одному.

«Красный призрак», собственно, был не просто поэмой, а *ораторием* (так его называл автор). Предполагалось, что он прозвучит в исполнении нескольких оркестров (включая государственный симфонический) и хора в составе 300 человек. За неимением хора и оркестра Шимко приходилось исполнять ораторий самому, чередуя декламацию, речитатив, пение и особую технику, которую требовали отдельные трудные места.

Поэма имела четыре эпитафия. Первый — из Маркса и Энгельса: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Все силы реакции объединились для борьбы с этим призраком».

Далее следовали эпитафии из Ленина, Сталина и Маленкова. Впоследствии Маленкова пришлось убрать и заменить Хрущевым, так как когда он, то есть Маленков, попал в антипартийную группу, выяснилось, что его слова о типическом в искусстве, цитированные в эпитафии, были заимствованы у князя Святополка-Мирского, разделившего судьбу военного министра из последнего правительства Керенского, хотя и несколько позже. Бедный князь, на нервной почве вернувшийся из эмиграции, написал однажды, что типическое в искусстве не есть массовидное, а Маленков взял да и воткнул в свой исторический доклад на XIX съезде нашей партии. То есть воткнул не он, а его референты, потому как он Святополка-Мирского отродясь не читал, но это уже дела не меняло. Кстати, судьба князя показала, что он заблуждался: типическое оказалось одновременно и массовидным, хотя, быть может, у искусства другие законы.

Между прочим, когда Маленков покинул Усть-Каменогорскую ГЭС, куда его тихо спровадили, и вышел на пенсию, ему как бывшему члену бывшей антипартийной группы было разрешено вернуться в Москву. Он с женой тут же стал ходить в Елоховскую церковь и исповедоваться. Исповедовался он у одного лишь патриарха Пимена, потому что был не только бывшим членом антипартийной группы, но и бывшим членом Политбюро. А у кого же еще должен исповедоваться член Политбюро, как не у патриарха? К тому же его жена была бывшим ректором Энергетического института и супругой бывшего члена Политбюро. Стало быть, и ей полагалось исповедоваться у патриарха.

Так или иначе, Маленкова из поэмы пришлось убрать даже до того, как он начал исповедоваться у патриарха, потому что он все-таки оказался членом антипартийной группы и это как-то снижало убедительность его слов о типическом в искусстве.

Еще раньше, по причинам объективного свойства, из эпитафия исчез тов. Сталин и был заменен цитатой из постановления XX съезда. Однако в тексте поэмы он каким-то образом остался, причем соответствовал генеральной линии XVII и XVIII съездов.

Но дело в конце концов не в эпитафиях, а в самой поэме. Она представляла собой высокоэмоциональный, хотя и зарифмованный рассказ о злочлечениях Призрака коммунизма, начиная с эпохи первоначального накопления и кончая принятием Сталинской конституции. Однако основной корпус поэмы предваряли 48 строк, содержавшие философию истории с древнейших вре-

мен. Сложность и глубина этой исторической прелюдии настолько превышают всякое воображение, что я вынужден обратиться к единственному верному ее истолкованию, которое некогда записал со слов автора.

«Призрак бродит 100—200 тысячелетий. Никто его не понимает. Появляется пророк — Маркс, он его понял. Первая мировая война. Противоречия капитализма. Во время войны в Призраке было много толстовского, непротивленческого. Призрак бросился в море крови, выходит весь красный. Вот он летит к Богу. Он не выдерживает — сердце его разрывается. Вот он летит без сердца, и ему что-то не легче, а руки наливаются мощью. И вдруг в руках его меч. Что за меч? Как тяжел.

Ленин в Швейцарии видит полет Красного призрака, впитавшего в себя кровь, и Сталин в далеком ледяном краю — тоже. Керенщина. А дальше всё очень просто — приходит рабочий, говорит: выметайтесь! Призрак — красный, поэтому его многие понимают».

Тут мысль Шимко делает поразительный диалектический скачок: «По мере строительства социализма он (то есть Призрак) всё более бледнеет. И когда сталинская конституция — он больше не красный». Автор, видимо, тонко уловил подспудную историческую закономерность. Во всяком случае побледнение Призрака в такой ответственный период, вплоть до полной потери красного цвета, представляется весьма многозначительным.

Призраку, надо признать, все эти бесконечные тысячелетия было худо, особенно в эпоху капитализма, и полегчало только после Великой Октябрьской социалистической революции.

Капитализм живописался яркими красками:

Нежна и лоснится вся кожа чудища,  
Косметики, жира претолсты слоища.  
Высоки, видать, перехваты сычуги  
Коровьей породы вампира-зверюги.

Капитализм был как бы одушевлен и издавал особый рык, который так и назывался: «Рык капитализма».

Встретившись с чудовищем, Призрак поначалу проявляет толстовскую ипостась своей натуры и обращается к врагу пролетариата с кротким призывом:

Прошу, умоляю, преслезно молю.

Ответ был недвусмысленным:

Ха-ха-ха! — хохочет зверь.

И не только хохочет: «Хы-гы-гы», но и требует:

Крови и крови, крови и крови,  
Крови и крови, крови и крови,  
Крови и крови...

и так 100 раз.

Призрак убеждается, что коровья порода вовсе не сделала зверюгу травоядным животным. Он начинает понимать беспочвенность своего реформизма и постепенно переходит на классовые позиции, к конкретным замыслам борьбы с чудовищем:

Клянусь, подлый сгусток насквозь я проткну!

(«Это есть 9 января в масштабе мирового духа», — пояснял автор.)

Но капитализм отвечает на угрозу лишь своим любимым «Хы-гы-гы!»

Это повергает Призрака в крайне мрачное расположение духа (если вообще уместно говорить о духе призрака). В состоянии острой ипохондрии, переходящей в маниакально-депрессивный психоз, он летит на небеса. При этом он напевает «скорбную песню», или «плач скорби», сопровождаемый валторной, хотя плач вроде бы напевать трудно:

Земля стонет, гибнет ведь, ой-ёй-ёй, стонет!  
В мозгах помраченье, ой-ёй-ёй!  
Земля гибнет, кровь тоже, — этот сказал.

Кто «этот» — оставалось неясным.

Надо сказать, что Призрак был настроен не только антиимпериалистически, но и атеистически, хотя его атеизм был непоследовательным. Он вроде бы летит к Богу, собираясь предъявить счет, и вроде бы при этом знает, что Бога нет.

Сам Шимко в одном из интервью мужественно констатировал: «Меня больше всего занимает вопрос о небесах. Если там что-то есть — значит, признать существование Божества. А если нет, — зачем лететь?».

Резонно.

Со свойственной ему скромностью поэт объявил: «Мне кажется, я эту задачу разрешил. Слово «Бог» не произносится. Я и говорю что-то и ничего не говорю. Бога нет — есть какой-то бледный страж диковинным пугалом».

Впоследствии Шимко дал понять, что страж — это люмпен-пролетариат. Получалось так, что люмпен-пролетариат упал к нам с небес. Маркс с Энгельсом, надо думать, порадовались бы этому открытию, хотя, возможно, и увидели бы в нем подозрительный оттенок фидеизма.

Как бы то ни было, Призрак посещал Небеса не как космонавт, а как существо, разыскивающее истины в Царстве Божиим. Однако положение, которое он там застал, совершенно не удовлетворило его, точнее глубоко удручило, ибо он увидел там

святые застенки,  
От них расширяются ангелов зенки.

В ответ на недоумение Призрака

Синклит невидимых взвизгнул что-то дико.

Между Призраком и Стражем происходит по этому поводу такой диалог:

- Дрожу и бледнею при мысли одной.
- Вопить перестань!
- Пощади же, родной!

Однако душевная конструкция Призрака слишком хрупка: вопить он не перестает. Естественно, это быстро надоедает властям предержавшим. Дело кончается тем, что Призраку дают по шее и он падает с небес туда, откуда пришел — на грешную землю. «Падающий Призрак, — пояснял Шимко, — персонифицированная диктатура пролетариата. Это на подступах к коммунизму. Самое главное — смысл».

Таким образом, диктатура пролетариата, хоть бы и на подступах, тоже свалилась к нам с небес. Пикантность этого обстоятельства не помешала Призраку усвоить азы научного мировоззрения. Более того, именно в падшем состоянии Призрак обретает идейную закалку. Он, в частности, решительно выступает против демократии. Эту буржуазную выдумку, сам не понимая, что ему нужно, отстаивает пролетариат, в которого еще не внесли социалистическое сознание:

Демократья же цветет,  
Чудно дерево растет.  
Вкусные его плоды  
Попадут во все же рты.

Вкусы, конечно, бывают разные, но не до такой же степени! Марксистски образованный Призрак терпеливо разъясняет передовому классу его методологическую ошибку:

Пролетарий! Пролетарий!  
Обездоленный ты парий!  
Этих ты не ешь плодов:  
Много страшных в них ядов.

По-видимому, разъяснительная работа Призрака дала-таки плоды, поскольку пролетарий, не в силах более противиться своей революционной миссии, бросается в воду и совершает Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Выйдя из воды, он стройными рядами шагает навстречу Сталинской конституции, по пути стремительно бледнея.

Как всякий истинный поэт Шимко не знал, откуда явились к нему его образы, воплощенные в бессмертных строках. Откуда взялись, например, святые застенки, спрашивали его, или же рыцари науки? Он только пожимал плечами.

— Как это пришло к тебе? — спросил однажды Шимко мой папа.

— Отражение бытия, — кратко ответил автор.

Шимко не знал, что он является бардом. Тем не менее он знал, что одного наития мало.

— Без таланта нельзя, мой милый, — говорил он мне. — Это концентрация внимания. У меня литературная подготовка хорошая, грамотность такая. Мне музыкальность много помогает. Тут мировоззрение важно.

Дело происходило в конце 40-х годов. Это был урок на всю жизнь.

— Лет двадцать назад я понимал меньше, но я переживал острее, — с грустью говорил поэт. — Сейчас я занимаюсь стилистической шлифовкой и некоторыми уточнениями философского порядка.

Шимко был не из тех, кто довольствуется раз найденным. Он постоянно совершенствовал свой шедевр более тридцати лет. Он шлифовал его до тех пор, пока не достиг стерильной чистоты, изгнав из него последние остатки того, что филистеры называют здравым смыслом.

— Как капля долбит камень, так ты продолбишь свою поэму, — говорил папа.

Айгуль Фаридовна, которую я ознакомил с отдельными сценами из «Красного призрака», высказалась однозначно: это история болезни, автор же — махровый психозник.

Меня это не смутило. Мало ли на свете болезней! К тому же все мы были записаны в историю болезни гениального автора «Краткого курса истории ВКП(б)», который, правда, не был психозником, потому что был параноиком.

Я всё же спросил Айгуль Фаридовну, как Шимко, будучи психозником, может быть одновременно редактором журнала. Она сказала, что вполне может, тем более, что журнал — нефтяной.

Надо отметить, что Шимко был выдающимся исполнителем своей поэмы. Причем бескорыстие его простиралось столь далеко, что исполнял он ее по первому требованию и даже без требования. Чтобы послушать ораторий, к нам сходились родственники, знакомые и соседи. Эмоциональное воздействие его было ни с чем не сравнимо. Уже после вступления у наиболее впечатлительных начинались конвульсии, и они постепенно сползали на пол. Шимко, охваченный экстазом, ничего этого не замечал. Правда, закончив исполнение, он как бы пробуждался от транса и спрашивал папу: «Отчего люди плачут?». Папа отвечал, что плачут они от счастья, потому что встреча с истинным искусством переворачивает человека. Шимко это объяснение удовлетворяло, поскольку он и сам так думал и как творец шедевра, при всей своей скромности, понимал закономерность такой реакции.

«Рык капитализма» в исполнении Шимко производил потрясающее и неизгладимое впечатление. Я не рискую воспроизводить его, так как боюсь сорвать горло, да и если бы не сорвал, это бы у меня не получилось, ибо — не дано. У Шимко же был от природы поставленный голос, который он постоянно упражнял. Пение романсов и оперных арий было его второй страстью после шлифовки «Красного призрака».

У него был тенор специфического горлового тембра, напоминавший голос блиставшего тогда в Большом театре Соломона Хромченко. Но если Соломон Хромченко больше любил петь «Несчастье алмазов в каменных пещерах», то Шимко предпочитал, как он сам говорил, арию Валентина из одноименной оперы Гуно «Фауст». Причем пел он столь же самозабвенно, сколь при исполнении «Красного призрака». Когда он пел «Привет тебе, приют священный» своим прекрасным тенором, который отдельные люди именовали козлетоном, сразу чувствовалось, что это действительно Валентин, несчастный малый, кому вскоре предстоит пасть от рук Сатаны из-за своей еще более несчастной сестры Гретхен. Шимко закрывал глаза и пел: «Привет тебе, приют священный», потом открывал их и, часто моргая, продолжал: «Привет тебе, приют невин-н-н-ный», что как раз и подчеркивало невинность этого приюта.

#### 4

Мой дядька, Митя, который, в отличие от Никодима Александровича вывез из Германии после войны не чулки-паутинки, а мейсенский фарфор, радиоприемник «Телефункен» и ящик

ликера «Какао мит нус», — изумительно копировал Шимко, потому что он, то есть мой дядька, мог петь даже и женским голосом — колоратурным сопрано или контральто, столь сильным, что сотрясались оконные стекла и все стеклянные предметы в доме мелодично позванивали. Дядька вообще любил переиначивать всё, что ему попадало под руку, скажем, оперные арии. Так, он пел:

Прости, немецкое сознание,  
Что я нарушил приемный твой покой.

Или:

— Кто там стоит под окном  
С большим бородо-ом?  
— Это я, гугенота!  
— Войдите, войдите, войдите, войдите!  
— Нет, нет, нет, да, да — войду!

То же самое он проделывал с пословицами и поговорками, причем не хуже шимковского героя. К примеру:

Не пей из колодца — пригодится плюнуть.

Или:

Что имеем, не храним, потерявши платье.

Он говорил, что суп — не жидкий, а еврейский. Он посылал телеграммы: «Выезаем — выехайте». Он пел:

Как свежи были розы,  
Как хороши стервозы...

При встрече он рывкал: «Здравия желаем!», прощаясь, — говорил: «Бонжурчик покеда!».

Мейсенский фарфор — немислимой красоты чайный сервиз, заключенный в гигантскую сафьяновую коробку и вывезенный им с дачи Геббельса, дядька подарил Авиаконструктору, у которого до войны работал, причем сделал это не из корыстных побуждений, а просто потому, что любил соприкасаться с сильными мира сего и еще больше любил делать им подарки. Хмурый Авиаконструктор хмуро принял чайный сервиз доктора Геббельса, не переставая расхаживать по комнате. Эту привычку он заимел, видимо, оттого, что был постоянным партнером по билиарду автора гениальной комедии «Краткий курс истории ВКП(б)».

Кстати говоря, четвертую главу этого эпохального произведения, которому уступал даже «Красный призрак» (центральный раздел ее назывался «Диалектический и исторический материализм»), главу эту никто не мог прочесть до конца, хотя ее

ежегодно изучали и конспектировали в сети партийно-политического просвещения. Дело в том, что богатство сохранившихся в ней мыслей настолько подавляло, что, добравшись до середины, вы вынуждены были поворачивать обратно, к началу, и это движение вообще никогда бы не прекратилось, если бы ученые не доказали, что вечный двигатель в принципе невозможен.

Радиоприемник «Телефункен» дядька отдал за починку сапог в генеральской мастерской, хотя это вовсе не требовалось. Сапожник был потрясен, а дядька доволен, поскольку обожал широкие жесты. К тому же генеральская мастерская льстила его самолюбию. Таким образом, из трофеев оставался лишь ящик ликера «Какао мит нус».

Это была бесцветная жидкость, в которой какао таинственно растворилось, зато нус чувствовался даже очень, и от него слегка першило в горле. Это был не только нектар, но и амброзия. Поэтому он исчез даже быстрее, чем мухе требовалось сесть на липучку. «И мучеба во взорах немуха», — писал Хлебников.

*А во взорах муха — вы себе представляете?..*

Жена моего дядьки, Рита, была необычайно образованным и культурным человеком. Он подцепил ее после войны в какой-то оперетке или скоротечном ансамбле, где она подвизалась в качестве не то хористки, не то статистки. Ее смазливая мордочка произвела на дядьку неизгладимое впечатление, еще более неизгладимое, чем «рык капитализма». Под действием мгновенного озарения он ясно понял, что если бывает на свете идеальная женщина, то это как раз тот случай.

До Риты Митя был убежденным холостяком. Жена у него, естественно, имелась, но она его не устраивала еще до войны, после же войны окончательно перестала устраивать. Будучи актрисой разъездного театра, она постоянно уезжала на гастроли, и он это с трудом выносил. Когда же она возвращалась, он этого вообще не выносил.

Первая его жена, а моя тетка, была женщиной довольно доброй, но вздорной. Скандалы, которые она ему закатывала, по своей виртуозности напоминали игру Паганини, хотя они выступали на разных поприщах. От этих концертов Митя морально слабел.

Впрочем, тетка была сущим дилетантом по сравнению со своей старшей сестрой Аней. Та была не только звездой сцены, Чаплином в юбке, но и гениальной актрисой в жизни. Благодаря этой гармоничности она достигала поразительных эффектов, например, когда ругалась со своим первым мужем Мулей или со

своим вторым мужем Мишей. Ругалась же она всегда, кроме тех случаев, когда выступала на сцене, и тогда делала это лишь в антрактах. Скандал был для нее родной стихией, более родной, чем вода для щуки. Присутствие при этом действе, — а не было ничего проще, ибо скандалы были публичными, — само это присутствие доставляло подлинное эстетическое наслаждение.

— Выливаю, — говорила она Муле или Мише, глядя на него с ненавистью, — шванц ланцуцкий, какерище! Твой грязный язык уже едят черви, хотя им противно, — мимикой она показывала, насколько им противно. — Пусть эта потаскуха, которая тебя родила, эта змея гремучая, перевернется в гробу семь раз, ублодок! — У нее была прекрасная дикция. — Пусть твои кишки вывалятся, и их бросят свиньям! Пусть твои мерзкие глаза выскочат из твоих мерзких орбит! Пусть твой гнилой мозг высохнет и станет глиной, в которую тебя закопают!

Естественно, это была только разминка, так сказать, прелюдия, которой я здесь и ограничусь, поскольку хотел всего лишь дать понятие о том, каким даром импровизации наградил Аню Творец. Следует заметить, что роль мужа в этих случаях была чисто функциональной: ему надлежало подбрасывать реплики и вяло огрызаться, что накаляло вдохновение Ани до нестерпимого блеска. Вообще же она возвышалась над ним подобно вершине Эвереста над Марианской впадиной. Присутствовавшие при этих сценах неизменно бывали потрясены, ибо только теперь догадывались, как играли, скажем, легендарный Кин или Сара Бернар.

Да, были люди в наше время,  
Не то, что нынешнее племя...

*Между прочим, нынешнее племя настолько философски необразованно, что не знает, каким словом кончалась гениальная поэма Джугашвили «Краткий курс истории ВКП(б)». А наше племя знает: это слово — «конец». Мы знали, кто на протяжении «Краткого курса» дважды уходил в кусты и на какой странице. Мы знали, что бывают политические уроды типа Ломинадзе и Шапкина, а бывают еще троцкистско-бухаринские изверги, они же — белогвардейские пигмеи, белогвардейские козьявки и ничтожные лакеи фашистов.*

По сути дела, Аня была добрейшей женщиной: чаще всего, внезапно обрывая свой несколько затянувшийся монолог, она бросалась Муле или Мише на шею и осыпала его страстными поцелуями. Эти переходы совершенно деморализовали его и он вынужден был отвечать адекватно. Сартр, который тогда еще не был Сартром, сказал бы, что так она выражала свою экзистенцию, а против экзистенции, как известно, не попрешь.

Однажды Аня пришла к нам и стала звонить в Ленинград своей старшей сестре Леле. Она заказала разговор, и вскоре ей ответили, что к телефону никто не подходит.

— Этого не может быть, — твердо сказала Аня. — Моя сестра никуда не выходит. Она вообще лежит на смертном одре. Она не может подняться.

— Попробую еще раз, — согласилась телефонистка и после короткой паузы сообщила:

— Не отвечают.

— Девушка, — тихо сказала Аня с очень убедительной интонацией, — вы умрете нехорошей смертью.

Судя по длительности паузы, это произвело на девушку глубокое впечатление. Она отпала, и на ее месте возникла старшая дежурная, которую постигла та же участь. Позднее выяснилось, что Лели-таки не было дома: она ходила в булочную.

## 5

У Мити было какое-то чисто физиологическое влечение к пошлости. Он любил сальности, скабрзности и этим отличался от своих братьев. Даже если пошлость ходила на двух ногах, это его не отвращало. Напротив, именно потому, что она ходила на двух ногах, она вызывала у него род священного трепета — он ее буквально обожал. В этом смысле Рита была эталонным экземпляром и полностью отвечала его гурманскому вкусу. Одним словом, дядька, знавший женщин, как свои пять пальцев, предложил ей руку и сердце (к тому времени свою первую жену он уже отринул, то есть развелся с ней).

Она охотно приняла эти органы, тем более, что к ним прилагался изрядный капитал. В те поры дядька был при деньгах, ибо развил бурную деятельность на почве процветавших тогда инвалидных артелей. Он настоял, чтобы она покинула сцену, ибо не желал делить ее ни с кем.

Женившись на Рите, которая была моложе его вдвое, Митя обрел, наконец, семейное счастье. Он называл ее «Мамочка», а она его — «Папочка» (для своих родных она была «Ритуша»). Он находил в ней тьму талантов, и, действительно, по части лицедейства с ней мог справиться разве что Марсель Марсо, которого тогда еще не было. Однако именно этот талант дядька не замечал, хотя, как всякое подлинное дарование, он просто бил в глаза. Вернее, дядька очень даже замечал этот ее талант, но относил его исключительно к подмосткам, где она принимала разные соблазнительные позы, из среды же домашней — исключал. Это была

ошибка, за которую он впоследствии заплатил. Митя полагал, что у нее другие таланты. Однако они, по-видимому, были так глубоко скрыты, что никто, кроме него, их не углядел. Впрочем, любовь отверзает внутреннее зрение.

При встречах с новообретенными родственниками Мамочка почему-то считала необходимым изображать на своем лице мировую скорбь, которую она постепенно с видимым усилием превозмогала.

Папа говорил, что лицо Мамочки — вовсе и не лицо, а плачущая жопа. Это определение было настолько точным, насколько вообще могут быть точными научные определения. Во всяком случае, оно было более точным, чем  $E = mc^2$ . Но потребовалась эйнштейновская пронизательность папы, чтобы вывести его краткую формулу, после чего всем стало ясно, что так оно и есть и иначе быть не может.

Таким образом, папа скептически смотрел на женитьбу своего брата, но полагал, что если тому хорошо, то не надо ему препятствовать. Мамочка, с присущей ей спинномозговой интуицией, осознавала, как к ней относится папа, и поэтому при встречах с ним целовала его с преувеличенной родственностью. Делала она это так: умильно улыбалась, после чего складывала накрашенные губки бантиком (или, вернее, гузкой) и наносила поцелуй. При этом она норовила попасть папе в губы, от чего он уклонялся, целуя ее в напудренную щечку и подставляя свою, ненапудренную.

Меня Рита боялась, как и папу: возможно, она что-то читала в моем лице (или, как теперь говорят, считывала). Во всяком случае, в моем присутствии она обычно воздерживалась от своих ужимок и гримас, которых у нее в запасе было предостаточно.

Мать Риты, благородная парикмахерша Фелиция Болеславовна, или, по-домашнему, Фея, улыбавшаяся родне зятя с оболстительной светскостью, была объемистой, сдобной женщиной с несколькими подбородками. Нос бульбочкой утопал в аппетитных щечках. О таких говорят: берете в руки — имеете вещь. Отец же Риты, лицо неопределенной профессии, Чеса, полного имени которого никто не употреблял, а голоса никто не слышал, напротив, был сухоньким щедушным человеком, тоже улыбавшимся, но как-то вымученно. Этот бледный рябой поляк неизменно находился возле своей монументальной жены, но как бы терялся рядом с ней. Злые языки утверждали, что Ритуша действительно была дочерью благородной парикмахерши Фели, но вот дочерью Чеси в действительности не была. Тем не менее она на него всё же смахивала, причем, как и на всех остальных поляков.

Рита жила с дядькой не одна, а вкупе со своей младшей сестрой Шварце Маус, поскольку моя двоюродная сестра, дочь дяди Мити от первого брака и, следовательно, падчерица Риты, обнаружив свою с ней биологическую несовместимость, поспешила выйти замуж за военного и, бросив комнату, отбыла с мужем в Брестскую крепость. Правда, прописку она предусмотрительно сохранила. В этой комнате и поселилась Шварце Маус.

Шварце Маус получила свое прозвище потому, что в отличие от Риты, которая была блондинкой и чистокровной полькой, будучи тоже чистокровной полькой, была, однако, жгучей брюнеткой и смахивала на таджичку или узбечку. Злые языки утверждали, что ее, вернее, их мать, благородная парикмахерша Феля, жила перед войной в Средней Азии, откуда Шварце Маус и заимствовала свою масть. Действительно, на своего папу Чесю Шварце Маус была вовсе не похожа. Во всяком случае, в Средней Азии даже аборигены постоянно принимали ее за какую-нибудь Мамлакат Насреддинову. По-видимому, такая мимикрия объяснялась воздействием местного солнца, а быть может, влиянием среднеазиатской культурной отсталости.

По части хитрости Шварце Маус далеко превосходила свою старшую сестру, поскольку та была дилетантом, а эта профессионалом. Шварце Маус была чрезвычайно хитрой и даже обладала каким-то изощренным коварством, Мамочка же — почти простодушной, ибо уступала ей в этом отношении на несколько порядков. Слово «простодушие» надо воспринимать здесь лишь как условную маркировку: язык, как уже говорилось, не может выразить некоторые реалии. По-видимому, правильнее было бы сказать, что она была менее хитрой, чем Шварце Маус.

Были и другие отличия: Мамочка отродясь ничего не читала, а Шварце Маус временами брала книжку в руки; у Шварце Маус был «черный глаз», а у Мамочки — глаз был бесцветный, хотя оба их глаза были бесстыжими.

Шварце Маус была не та маус, которую могла съесть кошка. Напротив, эта Маус сама могла съесть любую кошку и даже собаку. Однако она брезговала этими животными, потому что была по призванию каннибалом. Лишь нелепые условности европейской цивилизации мешали ей реализовать свое призвание во всей полноте, то есть ей приходилось кушать людей метафорически, психологически и в астральном плане.

Было бы, однако, прямой клеветой утверждать, что сестры вообще ни в чем не были схожи. Если не считать кратковремен-

ного пребывания Ритуши на подмостках, они нигде и никогда не работали и вообще ничего не делали как особы шляхетской крови, хотя Шварце Маус время от времени что-то вязала. К тому же они были очень дружны, и это объяснялось именно сходством, но не внешним, а внутренним, основополагающим. Это основополагающее сходство они унаследовали если не от мамы Фели, то от ее сестры тети Мухи.

Тетя Муха, в отличие от своих тезок, процветавших после Великой Отечественной войны, не летала бессмысленно в обалдевшем состоянии, а занималась коммерцией. Она, если пользоваться языком обличительных романов XIX века, «торговала своим телом», то есть была представительницей почтенной и, как утверждают, древнейшей профессии.

Лицо тети Мухи было испытаным лицом постаревшей Мамочки, а лицо Мамочки — еще не вполне испытаным лицом помолодевшей тети Мухи, то есть это было не лицо, а плачущая... Правильно.

На семейных праздниках в доме дядьки на почетных местах сидели Феля и Чеся, насмерть запудренная тетя Муха и Шварце Маус. Но это были не все родственники Риты.

Однажды, находясь в гостях у дядьки, я зашел в ванную помыть руки. Подставив их под воду, я ощутил на себе чей-то взгляд. Я обернулся — никого не было, дверь была закрыта. Намылив руки, я ощутил тот же пристальный взгляд. Оглянувшись, я посмотрел в ванну и похолодел. Весь ее объем до краев заполняла аморфная студенистая масса, напоминавшая медузу. Но для медузы она, а вернее, оно было слишком велико. К тому же оно, подобно инопланетянину, смотрело на меня спокойными бесстрастными глазами. Неужели это осьминог?.. Но откуда он в квартире?.. Все эти мысли молнией проскочили в моем мозгу. Я продолжал таращить глаза, призвав на помощь всё свое мужество. Оно тоже смотрело — молча, спокойно и отрешенно. Так могло продолжаться долго, если бы я внезапно не осознал, что о н о — бабушка Риты и Шварце Маус, мать Фели. Осознав же, я пулей вылетел из ванной, не домыв руки. Сердце мое лихорадочно билось.

Эта история напомнила мне другой случай. В начале 50-х годов мы с двоюродной сестрой, дочерью Мити и его первой жены, оказались в городе Вильнюсе, куда приехали после отдыха в Паланге, которая тогда была маленьким курортным местечком, где дюн было больше, чем людей. В Вильнюсе мы жили у знакомого сестры, некоего Кроника, который был то ли инженером, то ли стоматологом. Кроник куда-то лобезно уехал и предо-

ставил свою квартиру в наше распоряжение. Квартира была прекрасной и была бы еще прекрасней, если бы в ней имело место одно полезное помещение, которое обычно имеет место в отдельных квартирах. Драматичность ситуации усугублялась тем, что этого помещения не было ни во дворе, ни вообще в пределах досягаемости.

Уезжая от нас, инженер-стоматолог Кроник показал-таки нам, как его найти. Надо было долго пробираться проходными дворами, чтобы, пройдя несколько кварталов, достичь искомого. При моем топографическом кретинизме было почти невозможно запомнить этот путь. Но потребность была столь велика, что я запомнил. Искомое представляло собой дощатое заведение на два очка, разделенных дощатой же перегородкой. Мне объяснили, что одна половина предназначена для женщин, другая же — наоборот. Память у меня была тогда хорошей, и я это выучил.

В одно прекрасное утро, пройдя положенные проходные дворы, я зашел в это заведение. Когда глаза мои освоились с темнотой, я обнаружил, что прямо перед моим носом какое-то довольно крупное существо прыгает наподобие лягушки. «Эт-то что такое?» — задал я глубокомысленный вопрос, и под ложечкой у меня засосало. Вопрос был риторическим, и существо это поняло, поскольку не ответило, а продолжало прыгать, только еще выше. Наконец в неверном сумеречном свете я увидел, что это женщина, сидящая на корточках. Вернее, не сидящая, а прыгающая.

В этом случае я не похолодел: кровь бросилась мне в лицо. Я выскочил из заведения, хлопнув дверью, и убежал, проклиная архитекторов, строящих квартиры, подобные квартире инженера-стоматолога Кроника.

Я это говорю к тому, что бабушка Риты и Шварце Маус, однако уже одетая в платье и потому казавшаяся менее студентской, тоже сидела за праздничным столом, правда, сравнительно редко, прежде всего в день рождения Риты. Этот день был красным числом в календаре, и справляли его торжественно. Важная роль на этом празднестве отводилась другу моего дядьки Георгию Изосимовичу Кухмистрову.

Кухмистров был вылитым потомственным дворянином, хотя никогда им не был: он замечательно грассировал, имел офицерскую выправку (в армии он никогда не служил), тщательно и продуманно одевался. После первых поздравлений он вставал, вынимал свернутый в трубочку желтый шуршащий пергамент и читал начертанное на нем стилизованной вязью стихотворное

послание, обращенное к новорожденной. Образцом для него служила «Ода Фелице» или какое-либо другое, не менее благородное произведение. Тщательно грассируя, делая в нужных местах паузы и расставляя продуманные акценты, он зачитывал оду под благоговейное молчание присутствующих, которые временами всё же не могли сдержать возгласов восторга. Наша прелестница и шалуныя, уподобленная Венере или Юноне, представляла во всем своем великолепии, причем избранный жанр требовал, чтоб ни одна реальная черта именинницы не проступала сквозь густую сеть метафор и аллегорий.

Закончив, Кухмистров под бурные аплодисменты сворачивал пергамент в трубочку и, повязав его красным шнуром, вручал Мамочке, которая скромно сидела, потупив влажные глазки. Мамочка вставала и, подарив ему ритуальный поцелуй, милостиво принимала послание. Больше всего при этом радовался Папочка, то есть Митя, который обычно был действительным творцом оды, но тщательно скрывал свое авторство. Иногда он бывал, правда, лишь соавтором. В любом случае роль Кухмистрова была неоценимой.

Кстати, Кухмистров имел одну замечательную особенность: начиная с выборов 1937 года, после принятия сталинской конституции, прошедших в обстановке неслыханного политического и трудового подъема, и в течение последующих сорока с лишним лет он ни разу не голосовал за блок коммунистов и беспартийных. Против — тоже, ибо не голосовал вообще.

С 1937-го по 1953 год он являлся накануне выборов в свой избирательный участок и требовал, чтобы ему дали открепительный талон. В ответ на удивленный вопрос членов комиссии он пояснял, что желает голосовать лишь в том районе, где баллотируется гениальный автор «Краткого курса истории ВКП(б)». Такое желание почиталось священным и никогда не встречало отказа. Получив открепительный талон, Кухмистров не объявлялся не только в вышеназванном районе, но и в каком-либо ином районе нашей великой родины. Таким образом, открепительный талон он использовал вовсе не по назначению, хотя бумажный кризис еще не наступил.

После 1953 года Кухмистров последовательно требовал от избирательной комиссии всё новые и новые открепительные талоны, ибо желал голосовать только за Маленкова, Хрущева, Брежнева и т.д. В редких случаях он изменял свою классическую формулировку и брал открепительный талон в связи с командировкой в Ленинград. Короче говоря, Кухмистров вел себя как настоящий потомственный дворянин, хотя никогда им не был.

Тем не менее за праздничным столом царил не Кухмистров, а мой дядька Митя. Начинал он так: вставал и кричал, выпучив глаза, с грузинским акцентом:

— Тэчет бурный рэка Терек. На одним бэрегу стаит скала, на другим бэрегу стаит скала. На одним скала стаит дэрево, на другим скала стаит дэрево. На одним дэрево сыдыт голуб, на другим дэрево сыдыт голубка. Паднимається ветер, паднимається ураган — дэревя наклоняются, голуб с голубкой цалуются. За лубов, пажалста!

Все с удовольствием присоединялись к тосту, а Митя уже произносил новый, переходя на сей раз на украинский акцент:

— С телеграфный столб, — говорил он с рыданием в голосе, — соскочила печальна новост: не так давно — рокив усто двадцать тому назад — от руки немецко-фашистского наймита погиб велький украинский письменник Лександр Сэмэнович Пушкин.

Когда Лександр Сэмэнович хотел писать малый праизведе-ние, — тут дядька почему-то вновь переходил на грузинский акцент, — он шел на базар, пакупал малый гусь, выдирал малый пэро и писал малый «Капитанский дочка». Кагда Лександр Сэмэнович хатэл писать вэликий праизведе-ние, он шел на базар пакупал балшой гусь, выдирал балшой пэро и писал балшой «Евгений Онегин».

Смерть нэмэцко-фашистским захватчикам и да здравствует индустриализация народного хозяйства!

Митя был прирожденным тамадой, и больше, чем тамадой: он был непревзойденным рассказчиком. Рассказывал он анекдоты, байки и разные истории.

— Рабинович, — говорил он, обращаясь к воображаемому гостю, — кушайте, кушайте, пожалуйста!

— Я кушаю, — вежливо отвечал Рабинович (т.е. дядя).

— Нет, вы не кушаете — вы жрете! — громоподобным голосом говорил хозяин. — А я прошу вас кушать!

Другая история тоже была гастрономической.

— Батюшка, — говорил дядька, обращаясь к воображаемому священнику, — почему вы едите только икру? Другие тоже ее любят.

— Но так, как я люблю, никто ее не лобит, — отвечал «батюшка», съедая икру дочиста.

Засим дядька пел меццо-сопрано «Я ехала домой» и баритоном «Случайный вальс» (ныне «Офицерский»), где вступление исполнялось «на трубе»:

Ночь коротка. Спят облака,  
И лежит у меня на ладони  
Незнакомая ваша нога.

Нога, естественно, была изобретением дядьки.

Потом, задрапировавшись простыней, он декламировал «Шакья-Муни», причем голос его нарастал крещендо, так что иные долго не могли очухаться от звона в ушах.

Однажды муж моей сестры Костя притащил магнитофон. Их тогда еще не было. Этот экземпляр был техническим, и Костя взял его у своего приятеля, радиоинженера, а тот — у себя на работе. Магнитофон был тяжелым и громоздким, лента то и дело сбивалась, но всё же он как-то действовал. Пользуясь случаем, я записал на нем в собственном исполнении весь дежурный репертуар дядьки — от Рабиновича, которого просит кушать, до «Случайного вальса» с прелюдией «на трубе». На ближайшем семейном празднике я прокрутил эту ленту в самом начале вечера. Шутка имела успех — все смеялись. Дядька же как-то сник, поскутнел и весь вечер сидел грустным, не проронив ни слова.

Я пожалел, что сделал это. Это было жестоко.

Коронным у Мити был номер под названием «Жена Аркатова». После войны, как уже упоминалось, во множестве расплодились кооперативные, а по существу частнокооперативные, инвалидные артели. Это были подозрительные заведения, созданные на деньги закулисных вкладчиков и державшие в штате одного-двух инвалидов исключительно ради проформы. На средства вкладчиков добывалось сырье и оборудование. После налаживания производства выпущенная продукция — как правило, остродефицитная — в основном сбывалась налево. Вкладчики и организаторы получали неслыханный процент на капитал. Тем не менее инвалидные артели восполняли гигантские дыры в системе снабжения трудящихся, которые государство даже не пыталось залатывать, поскольку перед ним стояли слишком грандиозные задачи. Вы скажете: что хорошо трудящимся, то хорошо каждому из нас. Однако государство имело другую точку зрения и принималось мстительно преследовать инвалидные артели, стоило им только встать на ноги и начать снабжать население остродефицитной продукцией. Между созданием артели и ее разгромом с последующей посадкой администрации протекало иногда 1—2 года, а то и меньше. За этот смехотворный срок вложенный капитал надлежало пустить в оборот несколько раз. Таким образом, работа в артелях была крайне рискованной и требовала не только солидных вложений, но и недюжинного ума. К слову

сказать, закулисные вкладчики, которых тоже именовали артельщиками, как правило, оставались в тени.

Митин знакомый Аркатов был крупным артельщиком, судя по всему, миллионером. Жена Аркатова тоже была колоритной личностью. Лицо ее — по-видимому, от треволнений жизни сей — было слегка перекошено на сторону и имело интересную особенность: одна половина его смеялась, в то время как другая плакала. Именно эту его особенность прекрасно имитировал мой дядька. Он сосредоточивался, и после небольшой паузы происходило чудо:

— Митечка! — говорил он голосом жены Аркатова. — Митечка! — и при этом одна половина его лица смеялась, а другая плакала.

Это зрелище буквально завораживало присутствующих. Они готовы были упиваться им без конца. Жена Аркатова никогда им не надоедала, в отличие, скажем, от Айгуль Фаридовны, которая в короткий срок так надоела Никодиму Александровичу, что он сказал ей: «Пошла вон, собака!» — и показал при этом большие желтые зубы.

После застолья у дядьки заводили патефон, и все танцевали под звуки ностальгических польских танго «Впистко ми едно», «Манолита» или под романсы Лещенко — разумеется, не нынешнего, Льва, а прежнего, Петра.

Не уходи, — пел Лещенко, —  
побудь со мной еще минутку,  
Не уходи: мне без тебя так будет жутко.  
И чтоб вернуть тебя, я буду плакать дни и ночи,  
И грусть мою пойми ты и — не уходи!

Так он пел, в то время как Мамочка танцевала с Папочкой, а я — с тетей Мухой.

Еще он пел:

У самовара я и моя Маша,  
А за окном совсем уже темно.  
Как в самоваре, так кипит страсть наша,  
А месяц смотрит ласково в окно-о-о.  
Маша чай мне наливает,  
А взор ее так много обещает...  
У самовара я и моя Маша —  
Вприкуску чай пить будем до утра.

Там были еще слова:

Ночка снежная, а у меня на сердце лето.  
Женка нежная — пускай завидуют мне это.

Я не понимал, что значит «завидуют мне *это*», как не понимал еще раньше «кому не остановка» или «стремимый полет наших птиц».

Впрочем, все ли в этой жизни можно понять?

Были там, конечно, и «Голубые глаза», и «Татьяна», и «Сладко спи, мой бэби», и так далее, и так далее.

Митя и Кухмистров выработали особый язык, на котором они говорили при посторонних, нимало не стесняясь. Язык был русский, но посторонние ничего не понимали, ибо некоторые слова были шифром, понятным только им двоим.

— Я был у инженера Защемилина, — говорил Митя, — и он выполнил все наши заказы, даже с превышением.

— А я как раз собирался к инженеру Брюхатину, — говорил Кухмистров.

Этот вполне невинный диалог был совершенно неинтересен окружающим, поскольку они не знали, что «инженер Защемилин» кодировал известную некоторым женщину, а «выполнение заказов», да еще «с превышением», я, пожалуй, не стану расшифровывать.

У Мамочки, однако, был нюх, и при ней об инженере Защемилине никогда речь не заводили.

Одним словом, мой дядька усвоил босяцкие замашки, причем смолоду, чему способствовало пребывание в юные годы в одной компании с Бумкой Шнеерсоном, впоследствии ставшим доктором технических наук.

Дело происходило в городе Николаеве вскоре после гражданской войны и эпохи военного коммунизма. Бумка был старше Мити и коноводил в их компании. Время было голодным, и члены компании были озабочены в сущности одним: где достать продукты или хотя бы просто пожрать. Предприимчивый Бумка нашел способ: ходить к богатым нэпманам, по большей части евреям, под предлогом сватовства к их дочерям. Надо заметить, что НЭП только начинался, и угаром еще не пахло. Женихом был сам Бумка.

Сватовство начиналось со смотрин, а приходить на смотрины подобало с друзьями. Одним из дружков был Митя, которого Бумка повсюду таскал за собой. Вдоволь насмотревшись на невесту, друзья приступали к трапезе, которая по тем временам была преизобильной. Наевшись до отвала, они уходили, стараясь прихватить с собой как можно больше съестного. Если удавалось, Бумка со товарищи приходил в этот дом достаточно часто. Когда

родители невесты начинали понимать, что сватовство затягивается, Бумка перекочевывал к следующей невесте, неплохо справляясь таким образом с гибельными последствиями гражданской войны.

Однако, как уже приходилось говорить, всё имеет конец. Бумку перестали пускать в приличные дома. Он и его друзья вскоре почувствовали, что гибельные последствия гражданской войны вовсе не миновали. Бумка как будущий доктор технических наук был неглупым человеком. Спасаясь от гибельных последствий, он предпринял дерзкий и рискованный маневр: он сделал предложение дочери самого богатого нэпмана.

Звали ее Липа, или, по-домашнему, Липитышка. Липитышка была довольно некрасивой девушкой. Благодаря этому и несмотря на то, что художества Бумки были уже хорошо известны в городе, родители Липитышки приняли его предложение. Наступил райский период, во время которого Бумка и Митя буквально купались в вине, семге и фаршированной рыбе, если вообще в семге и фаршированной рыбе можно купаться. Приближался день свадьбы.

Надо сказать, что Бумка питал к Липитышке глубокое и непреодолимое отвращение. Наивная Липитышка этого не понимала и всячески досаждала ему своими телячьими нежностями. С другой стороны, Бумка давал для этого повод, ибо время от времени обращал к ней затуманенный взор и говорил:

— Липечке!.. Ангел мой!.. Крокодильчик мой холёсенский!

На свадьбе друзья Бумки нажрались так, будто намерены были питаться подкожным жиром в течение всего периода восстановления народного хозяйства. Наконец, придя в совершенно осоловевшее состояние, они ушли. Родители Липитышки тоже деликатно удалились.

Бумка, хотя и был босяком, но не до такой степени, чтобы насиловать свою натуру. Чмокнув Липитышку, он ушел в другую комнату, закрылся и лег.

Липитышка, прождав немало томительных минут, если не часов, наконец возникла в дверях комнаты в заплетенных косичках и батистовой ночной рубашке.

— Бумочка, — сказала она, — что же ты не идешь?

— Во-он отсюда! — гаркнул Бумка, потерявший всякое хладнокровие, и, как разъяренный тигр, вскочил с кровати. Заливаясь слезами, Липитышка исчезла.

Родители Липитышки подали на Бумку в суд как на брачного афериста. Некоторые основания у них были, поскольку Бумка получил не только самое Липитышку, но и приданое в виде движимого и недвижимого имущества и астрономической суммы денег.

Родители выиграли процесс. Как говорилось (по другому поводу) в гениальной комедии Джугашвили, «советский народ одобрил приговор и перешел к очередным делам». Бумка отсидел положенный срок. Возможно, это как раз и способствовало тому, что впоследствии он стал доктором технических наук.

## 8

Расставшись с Бумкой в юные годы, Митя тоже пошел по технической части.

Он кончил рабфак, потом МВТУ и стал работать в разных авиационных КБ — то у Яковлева, то у Камова, то у вертолетчика Миля. Дядька был толковым инженером, и на его счету имелось немало изобретений. Он даже получил огромный нагрудный знак, где в центре красной звезды покоились выпуклые серп и молот со струящейся вокруг надписью: «Завод им. Менжинского». Всё это осеялось красным знаменем, на котором были начертаны слова: «Лучшему изобретателю», а по краям, по голубой эмали, летали самолетики с серебряными пропеллерами. На обратной стороне была выгравирована фамилия дядьки и дата: 21 октября 1931 года. Таких знаков выпустили всего несколько. Эта реликвия хранится у меня, и если бы я появился с нею на рынке любителей значков, живым они бы меня не выпустили.

Во время войны дядька, естественно, попал в авиацию и дослужился до заместителя начальника штаба корпуса. Он был награжден многочисленными орденами и демобилизовался в звании инженер-подполковника. Перед ним не стоял вопрос, что делать дальше. Ясно что — вернуться в авиационное КБ.

Но не тут-то было: времена поменялись. Его не захотели взять ни Камов, ни Миль, ни Яковлев: пятый пункт. Его вообще никто не захотел взять, и он вынужден был искать себе другое поприще.

Так он вышел на артельную тропу. Положение облегчалось тем, что он имел инвалидность. Изобретательский дар Мити опять пригодился. Начав с раскрашивания пуговиц нитрокраской, он перешел затем к выпуску дефицитного трикотажа и, наконец, — к изготовлению сухофруктов.

Дело оказалось необычайно прибыльным, и Митя мог ежедневно, точнее, ежевечерне устраивать кутежи в дорогих ресторанах. Деньги были шальные, и тратить их надлежало тоже по-шаловному. Мамочка, которая была уже его женой, продолжала вести себя как содержанка — ей это ужасно нравилось. Она привыкла к разливанному морю — шампанского, водки, к черной икре и балыку, к сотенным, небрежно бросаемым лабухам и

официантам. Дома она готовила редко. К чему — когда есть рестораны? Жизнь напоминала фейерверк: Митя в полной мере удовлетворял свою страсть к дешевому пижонскому шикю, к пусканию пыли в глаза, Ритуша пристрастилась к положению «королевы бала», к ежедневной перемене туалетов, к подобострастным взглядам подхалимов, случайных кавалеров, шестерок, привыкших жить задарма.

В результате, жарким летом в начале 60-х годов я сидел в пыльном помещении районного народного суда и слушал дело по обвинению Мити в хищении, причем в особо крупных размерах. Несколько дней я выковыривал из ушей слова: сухофрукты, крафтпакеты, пересортица, перевозки, Мосплодоовощторг, сухофрукты, сухофрукты...

Митя произнес жалкое последнее слово. Озирая зал, он видел в нем Риту, одну только Риту...

Не уходи, побудь со мной еще минутку...

Снисходя к военным заслугам и учитывая, что эта судимость — первая в его жизни, ему дали всего лишь 8 лет по двум статьям Уголовного Кодекса РСФСР.

Не уходи, мне без тебя так будет жутко...

После оглашения приговора его увели, и мы пошли во двор, где его еще раз провели мимо нас с руками за спиной. Садясь в воронок, он затравленно оглянулся: бонжурчик покеда, бонжурчик покеда...

Митю увезли под Курск в заведение п/я ОД 216/7. Первое время после его посадки (а следствие тянулось почти год) я приходил к Рите довольно часто. Лицо ее изображало еще большую мировую скорбь, чем обычно. Всё в доме как бы приобрело траурную окраску. Однако вскоре после того, как Митю отправили в лагерь, Рита дала понять его родным, что не нуждается в их обществе. Я перестал приходить к ней. Она как бы замкнулась в своем горе.

Кто-то из знакомых однажды рассказал, что встретил ее, что она весела и прекрасно выглядит. Затем через третьих лиц, главным образом Митиных соседей по квартире, начали доходить слухи, что дом Риты и Шварце Маус по-прежнему полная чаша: вино льется рекой, до поздней ночи гремит музыка, слышится хохот, из комнат время от времени выходят вальяжные мужики, которые, впрочем, время от времени сменяются.

Словом, сестры пустились во все тяжкие.

Поняв, что с артелями покончено, Рита сделала отсюда достаточно трезвый вывод: стало быть, покончено и с той жизнью, которую обеспечивали артели, — с ресторанными сотнями, с кольцами и ожерельями, с меняющимися ежедневно шмотками, с выпендриванием, со всем тем, к чему она привыкла. Поняв это, она приняла решение. Возможно, она бы не приняла его, если бы не Шварце Маус, которая отличалась аналитическим умом и разложила ей всё по полочкам.

Между тем Митя продолжал писать письма, исполненные грусти, но и надежды на встречу с любимой. После того, как он отсидел почти три года, администрация исправительно-трудового заведения п/я ОД 216/7 и даже Курский центральный район МВД, учитывая его возраст (ему было под 60), безупречную работу и примерное поведение, ходатайствовали перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о его помиловании. Появился шанс, что вскоре его освободят.

Тем временем Мамочка оформила развод с ним, а поскольку он был зеком, это не составило труда. Естественно, Митя автоматически лишился при этом прописки. Нас о своей акции она не известила.

Есть, есть справедливость на свете! Президиум Верховного Совета РСФСР и в самом деле помиловал Митю. Незадолго до освобождения я начал готовить его к тому, что ситуация изменилась. Я указывал на отдельные недостатки, которые имели место в характере Риты. Постепенно моя критика стучалась, и, наконец, накануне его приезда я прямо и грубо написал ему, как обстоят дела.

Все слова были сказаны. Но что слова для любящего сердца?

За несколько дней до возвращения Мити мне позвонила Рита и попросила о встрече. Я согласился. Она пришла с небольшим чемоданом. Я мгновенно всё понял. В чемодане уместился весь жалкий Митин скарб.

Она начала что-то лепетать насчет того: что ее чувства к Мите изменились, что дело не в том, что он сидел, а в совсем, совсем другом, что вообще-то он ей близок и дорог, что...

Я перебил ее:

— Всё понятно, Рита. Ты зря тратишь время.

Рита заплакала:

— Я так и знала, так и знала! — крикнула она и побежала к дверям.

Я не стал ее провожать.

Летом 196... года я встретил Митю на Курском вокзале. Усохший, ссутулившийся, одетый в обтерханную синюю курточ-

ку, он вышел из вагона. В руках его был узелок. Он увидел меня, стал искать глазами Риту и нашел. Она стояла поодаль. Он кинулся к ней, раскрыв объятия. Она холодно подставила щечку. Он попытался еще раз обнять ее — она отстранилась. Засуетившись, Митя взял ее под руку и сказал:

— Ну, поехали?

— Нет, — отрезала она и остановилась.

— Почему? — обалдело спросил Митя.

— Не приезжай, — твердо сказала Рита.

— Но почему, почему? — спрашивал он с мучительной интонацией. — Почему?..

Она молчала.

— Пойдем, — сказал я Мите и взял у него узелок. Будто ушибленный мешком, он механически поплелся за мной. Подождя, пока мы не удалились на приличное расстояние, Рита пошла своим путем. В метро он молчал. Я напомнил ему некоторые тезисы своего последнего письма. Он не отвечал.

Мы приехали ко мне домой, где Митя и прожил до самой своей смерти, которая была не за горами.

Предательство Риты подкосило его, больше того — сломило. Он жил теперь по инерции. Прошедший войну, лагерь, переживший смерть братьев, — э т о г о он не выдержал. Он быстро превратился в сторбленного, худого старичка. Никаких шуток, баек, передразниваний и анекдотов больше не было и в помине. Он замкнулся и стал мрачен.

Когда однажды в каком-то застолье он всё же попытался воспроизвести свои хохмы про Рабиновича и батюшку, они прозвучали жалкой пародией на него самого.

Не уходи, тебя я умоляю.

Слова любви сто раз я повторю...

Несколько раз он приезжал к Рите и делал попытки всё переиграть (даже когда она обменяла их комнату и съехала с родителями). Это было напрасным занятием: он натолкнулся на стену.

Пусть осень у дверей — я это твердо знаю,

Но всё ж не уходи, тебе я говорю...

Наконец, после одной из таких встреч, до конца осознав случившееся, Митя пришел и бросился к большому семейному альбому, куда он клеивал фотографии родных и близких. Примерно третью часть альбома составляли портреты его родителей, братьев, дочери, его самого, племянников и племянниц, Чкалова, брезгливо-пресыщенного Авиаконструктора, генерала Дзусова,

Федрови и прочих, а две третьих — фотографии Риты: Рита стоя, лежа, сидя, в шляпке, без шляпки, вместе с Митей, вместе со Шварце Маус, с Фелей и Чесей, с тетей Мухой, Рита улыбающаяся, Рита серьезная, Рита, Рита, Рита... Он вытащил все фотографии Риты и разорвал их на мелкие клочки. Я молча наблюдал за ним. Он аккуратно собрал клочки и спустил в уборную. Это был полный расчет с прошлым. Альбом, который хранится у меня, по сию пору зияет пустотами.

Председателю Президиума  
Верховного Совета РСФСР  
товарищу Игнатову Н.Г.  
от такого-то,  
1904 года рождения,  
инженер-подполковника запаса,  
инвалида II группы.

### З а я в л е н и е

Уважаемый товарищ Игнатов!

Прошу Вашего разрешения на прописку меня в г. Москве по такому-то адресу на площадь моей дочери.

В Москве я прожил 43 года, из них 27 — по вышеуказанному адресу.

При рассмотрении моей просьбы прошу Вас учесть, что я являюсь инвалидом II группы, страдаю гипертонической болезнью и тяжелой болезнью сердечно-сосудистой системы. Жизнь без родных и ухода за мной при моем состоянии здоровья невозможна. Нигде, кроме Москвы, родственников у меня нет.

Я прошу прописать меня на площадь дочки, так как проживающая в Москве жена во время моего пребывания в заключении прекратила со мной всякие отношения и переехала к своим родителям, заявив о том, что возобновлять со мной брачные отношения она не желает.

По приговору Народного суда я находился в п/я ОД 216/7. 15.05.196... г. был помилован Президиумом Верховного Совета РСФСР.

В связи с тем, что органы милиции отказались восстановить мою прописку в Москве и прописать меня на площадь дочери, я вынужден обратиться с этой просьбой к Вам.

Я прошел большую трудовую жизнь: с юных лет работал, затем учился на рабфаке, много лет отдал авиации. Участвовал в гражданской войне и провел на фронте всю Великую Отечественную войну, занимая различные посты в авиационных частях. После войны в связи с резким ухудшением здоровья я вынужден был

оставить авиацию и перейти на работу в систему Министерства торговли. В 196... году я был судим в первый и, могу Вас заверить, в последний раз.

Тяжелое состояние здоровья, 41 год непрерывной трудовой деятельности, участие в гражданской и Великой Отечественной войнах, правительственные награды за личное участие в боях за независимость нашей Родины дают мне основание полагать, что в моей просьбе Вы не откажете. Убежденный в Вашей справедливости, я вверяю Вам свою судьбу.

Медицинскую справку, документы о трудовой деятельности и участия в войнах, ходатайство Свердловской конторы Моссплодоовощ прилагаю.

С уважением

(Подпись)

(Дата)

Мите отказали. Он не хотел жить на моем иждивении и пытался что-то делать — ходил за продуктами, подметал пол, сам себе стирал и гладил. Было больно смотреть, как он угодливо заискивает перед нашими соседями — редкостными жлобами (мы, естественно, жили в коммунальной квартире). Со временем он добился какого-то пособия по инвалидности, мало того, как участник войны и инвалид был поставлен на очередь в жилуправлении. Наконец, он получил ордер на комнату (разумеется, в коммуналке) и пошел ее смотреть.

Обратно он не вернулся: через несколько дней мы увидели его в морге института Склифосовского. Потом выяснилось, что будущие соседи так встретили его, что он получил инсульт, не выходя из своей новой квартиры. «Скорая» увезла его к Склифосовскому, где он, не приходя в сознание, скончался. Ордер на комнату остался в кармане его брюк.

Когда во дворе института, у морга, собрались родственники и немногочисленные знакомые покойного, моя сестра, дочь Мити, увидела в отдалении Риту. Она была в черном платье и выглядела неважно. По-видимому, ее оповестил Кухмистров. В сестре взграла материнская кровь:

— И эта мразь посмела прийти! — крикнула она. — Я ее не пушу! Я не позволю ей осквернить папин прах! Пусть она катится к своим хахалям!

Я успокаивал ее, Кухмистров пытался отговорить — она была непреклонна.

— Если она войдет, — сказала сестра, указывая пальцем на Риту, — я расцарапаю ее пакостную морду!

Рита не посмела войти и просидела минут сорок на скамейке, где ее утешал Кухмистров.

Когда мы приехали на Донское кладбище, она приехала на такси отдельно. Гроб внесли в крематорий — она опять-таки не посмела войти.

Гроб ставят на постамент. Мы тесной кучкой окружаем его. В дверях возникает Рита, которая робко жметя у входа, не решаясь двинуться дальше. Сестра замечает Риту, глаза ее сверкают, дыхание становится бурным и прерывистым.

— Не устраивай сцен, — тихо говорю я. — Пожалуйста. Это неудобно... Все-таки папа любил ее.

Сестра отворачивается, дыхание ее постепенно становится более ровным. Родные подходят к гробу, прощаются. Я оборачиваюсь к Рите. Она подбегает и целует покойного. Лицо ее сведено судорогой. Заливаясь слезами, она убегает.

Через несколько дней мой брат принес большую серую урну. Никто не посмел внести ее в комнату. Урну поставили в коридоре под вешалкой. Тогда это царапало мне сердце, теперь — кажется кошунственным.

Ночь коротка. Спят облака...

И это — Митя? То, что лежит под вешалкой в серой цементной урне, — это Митя?

От Кухмистрова, который продолжал поддерживать с Ритой отношения, я узнал, что она пошла по стопам мамы Фели — стала парикмахершей, точнее, маникюршей, поскольку квалификация ее была низкой.

## 9

Всё, что я нагородил здесь, вряд ли есть Истина, ибо Истина неопишима и неизреченна.

Мне жаль и Риту, и Шварце Маус, и тетю Муху, и даже в особенности тетю Муху, потому что я помню ее страдальческие глаза, помню, какая доброта светилась в них. Мне жаль Риту, потому что она могла быть хорошей женой и хорошим другом. Мне жаль Нику, которую зачем-то прозвали Шварце Маус, потому что она была способным человеком и многого могла достичь. Мне жаль их всех, потому что с их падением, с их уходом что-то необвратно изменилось, рухнуло, испарилось.

Кто знает, каково было их истинное предназначение? Кто знает, какую участь уготовал им Бог?

Кто знает?.. Кто знает...

Чжуан-цзы когда-то приснилось, что он маленькая бабочка, порхающая среди цветов. Проснувшись, он не мог решить, Чжуан-цзы ли он, которому снилось, что он — бабочка, или бабочка, которой теперь снится, что она — Чжуан-цзы.

Это прекрасный образ, но бабочка не очень-то вписывается в наше неромантическое время. Можем ли мы порхать среди цветов даже во сне?

Кто мы такие? Мухи, возомнившие себя людьми, человеки, увязшие в липучке?

## 10

Я пишу эти строки в подмосковной больнице санаторного типа «Покровское». Палата на троих, но сосед у меня только один — сутулый близорукий человек с тихой обезоруживающей улыбкой. Он спит как сурок и почти не храпит. Это вообще не храп, а так — легкое дуновение. Он чуть старше меня, но уже был на войне — убежал из дому в 14 лет и служил в морской разведке, потом строил приборы для космоса, работал на урановых рудниках. У него вялотекущий сепсис, и он умеет водить самолет. Он грассирует не хуже Кухмистрова, а может быть, и лучше. Зовут его Леопольд. Он похож на шушлого, внезапно состарившегося мальчика. До чего симпатичный человек!..

Лаванда-а, горная лаванда...

Чем-то этот человек раздражает меня: то ли тем, что всегда тихо улыбается, но никогда не смеется (это говорит, разумеется, о моем, а не о его дурном характере), то ли тем, что его близкие друзья, по его словам, сплошные академики, которых он зовет по именам — Юлик, Таня, Гриша, то ли тем, что в уборной постоянно пахнет лавандой. Он, собственно, не так часто выходит оттуда, что было бы вполне терпимо, если бы после того, как он все-таки выходит, там не пахло лавандой.

Впрочем, лаванда — это наименьшее зло, потому что если бы ее не было, там наверняка пахло бы чем-то другим.

Иногда, когда я захожу в санузел помыть руки, он входит и, вежливо извиняясь, присаживается рядом. Я ускоряю темп, зная, что вскоре запахнет лавандой.

«Не судите, да не судимы будете». Господи, как это трудно! Даже сейчас, когда я пишу эти строки, меня раздражает мягкий и добрый человек только из-за того, что у него близкие друзья среди академиков и он зовет их по именам. На что это похоже? Тем более, что у него, как выяснилось, полно близких друзей

среди высокопоставленных врачей, космонавтов и милиционеров и сверх того попадаются отдельные экземпляры друзей среди простых смертных. Возможно, я сам являюсь его близким другом.

Лаванда-а, горная лаванда!  
Наших встреч с тобой синие цветы...

А то, что он постоянно что-то отхаркивает, так ведь он действительно больной человек: у него гемолиз, диализ и диабет.

Даже сейчас я пишу эти строки в его присутствии, что совсем уже неприлично, хотя у меня хватает ума не читать их вслух. Кошмар!..

И я еще смею поучать людей, как им жить! А что, как явятся сюда Юлик, Таня и Гриша и устроят мне хорошую взбучку?!

Неужели он раздражает меня только потому, что привез с собой одеколон «Горная лаванда» и средство после бритья «Мажор» с растительными экстрактами? А ведь он вежлив и предупредителен и почти не храпит ночью.

О человек, ничтожество тебе имя!

Мало ли что кого раздражает? Некоторых раздражает, что я помешиваю чай ложечкой не по часовой стрелке, а против часовой. Так что же мне — стреляться?.. А если я не могу по часовой? Я вообще люблю всё делать против часовой стрелки!..

За что же я обидел (пусть мысленно!) моего друга? Тем более, что он предложил мне перейти на «ты» и не только предложил, но и перешел. Придется и мне перейти...

А мне трудно, ибо у меня — камень за пазухой...

Друг мой Каин, где друг твой Авель?..

Пауэлл рекомендует в этих случаях возлюбить себя как ближнего своего. Но если я не умею любить ближнего своего, как могу я возлюбить себя?..

Кстати, он деликатен и никогда не спрашивает, что я там пишу. У него у самого в запасе уйма всяких историй из собственной жизни.

— Знаешь, как я научуся 'етать? — говорит Леопольд. — Я быу тогда на уановых 'удниках, и надо быу пееетать с одного объекта на д'угой. У нас быу дья этого само'ет ПО-2, этаже'ка. Пи'от быу ас — Вася Ст'ижов. Я с ним часто 'етау. Он тоже вое-вау. Он 'аз гово'ит: хочешь, научу тебя 'етать? Хочу — гово'ю. Он меня сажает на место пи'ота, а сам сзади. Пово'ачивай гово'ит эту 'учку. А тепей эту. Поеха'и. А тепей, гово'ит, эту — жми изо

всех сиу. Мы взъеи. Хоошо!.. А как садиться — я не знаю, я даже машину не умею водить. А дайше что? — сп'ашиваю Васю. А дайше — сажай. А как?.. Я деугаю 'учки, он не садится. А Вася ко мне пеесесть не может — нет места. Я, гово'ю, не могу его посадить. А он гово'ит: посадишь, своочь! Иначе мы вместе г'охнемся. Ну — я посадиу. Так я научиуся 'етать.

Полно историй у Леопольда — и каких занимательных! — а слушать другого он не умеет.

— Ну, а я-то разве лучше? — спрашиваю я себя, уже зная ответ.

— Конечно, лучше, — отвечает мне льстивая часть моего Я.

— Посмотри на себя как следует! — говорит бесстрастно-объективная часть моего Я.

— Нет таких грехов, которые бы ты не совершил! — гремит обличительная часть моего Я. — Оттого, что большинство их мысленные, ты мнишь себя чистым. Но ты ведь не только прелюбодействовал в сердце твоём, ты в сердце твоём творишь все смертные грехи. Все, без исключения.

— Господи! — говорю я. — Куда мне деться от сердца моего? Ведь это не я, а оно творит всё непотребства. Не вырвать ли мне его, подобно глазу, если оно соблазняет меня?

Но эта новая, только более тонкая уловка. Я ведь жду, когда мне скажут:

— Да не-ет, сердца не вырывай!.. На что ты будешь похож без сердца, даже такого порочного, как твое?

— Но я ведь и гла́за не хочу лишаться, Господи!..

Между прочим, блаженный Иероним предупреждал: «Мы не должны пить из чаши Христовой и чаши бесовской».

Не пью ли я из двух чаш сразу?

Но говорил же блаженный Иероним: «Люби науку Писания и разлюбишь грехи плоти!..».

Вот этим, Господи, я и утешаю себя, только этим...

...А то, что он постоянно что-то жуёт и ночью грызет сухарики, так ведь у него 58 кг, при росте 169!

Нет, он лучше меня, потому что ничего такого обо мне не думает, я чувствую. К тому же от меня не пахнет лавандой.

Однако не довольно ли эксгибиционизма? Этого не одобрил бы даже Сартр, основатель экзистенциализма! Вот маркиз де Сад, тоже основатель, тот бы, наверно, одобрил! Хотя нет! Он бы как раз и не одобрил. А вот доктор Захер-Мазох, опять-таки основатель, тот бы, конечно...

А всё эта стерва, его жена, которую он заставлял надевать на голое тело меха и в таком виде хлестать его плеткой! Так ему, видите ли, было слаще...

Лобзай меня, твои лобзанья  
Мне слаще мирра и-и вина,  
Слаще ми-ирра и — вина!

Так пел Шимко и был прав...

А я что пою?

Не уходи, побудь со мною,  
Я так давно-о тебя люблю.  
Тебя я лаской огневою  
И обожгу и утомлю-у-у...

Какое там — «обожджу»! Утомлю — может быть. Что да, то да. Нет, с Захер-Мазохом пора кончать! В конце концов сейчас совсем другое время — время маркиза де Сада. Ему следовало родиться именно сейчас. А в свое время он не получил признания, хотя и заслужил его.

Что мешает мне самому взять плетку в руки?.. Да где же ее достать...

Кстати, даже Захер-Мазох, вероятно, меня бы не одобрил. Эта стерва, его жена, кутаясь в меха, хлестала его с каждым годом всё больней и больней, что в конце концов надоело не только ей, но даже ему. Он, видите ли, обиделся... А кто дал ей плетку в руки?..

Плетку в руки, плетку в руки  
И — по каменным задам.  
Получайте для науки,  
Я еще сейчас вам дам!

Вы зачем избили время  
И картинки унесли!  
И над местностями всеми  
Вой звериный растрясли?

Вы куда ведете ветер,  
На какую благодать?  
Скоро жить на белом свете  
Вы разучитесь опять.

Но пока еще не поздно —  
Укротите ваш тротил!  
Чтоб не встал товарищ Грозный  
И усы не подкрутил.

...Я даже задумал два стихотворных сборника — «Архитектура ночи» и «Осенние бегемоты». Разумеется, они не состоялись...

А ведь я мог что-то сказать... Ведь я мог, Господи!..

Господи! Что могу я сказать миру? Что могу сказать я, чей мозг зарос тиной и камышами? Там не хватает только сомов, которые певелят усами. Симпатичных жирных сомов, блаженно замерших в теплой воде под корягой. А коряга — в мозговой извилине.

Душа обленилась, и в некогда просторном храме — ни звука божественного, ни вздоха...

Душа обленилась. В просторном пространстве —  
ни звука,  
Ни вздоха. Душа обмирает, а день догорает.  
Единственный день, где за смутным закатом  
разлука  
Ее ожидает. И что там за гранью, за твердью —  
кто знает?  
Не свечи горят в этом брошенном храме,  
как тайные знаки,  
А угли чадят в этом ветхом Адаме.  
Мерцают созвездья в моем зодиаке...

Зима, зима... Мороз такой, что ломит переносицу. Я иду по широкой белой дороге. Это дорога на Николину гору. Огромный простор. Бескрайнее поле, окаймленное со всех сторон лесами. На розовые сахаристые снега падают голубые тени.

Утомленное солнце...

Отчего оно утомилось — от холода, что ли?

Зима. Крестьянин, торжествуя...

Вы себе можете такое представить — чтобы крестьянин торжествовал?..

Да и дровней у него нет. Лошадки тоже нет, так что некому чують снег. Рысью нестись — тоже более некому.

Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал?..

Гоголь — это все знают.

А ничего подобного: тройки появились только после убийства Кирова, так что выдумал их тот, кто убил Кирова, — драматург наш гениальный.

Впереди идет человек с собакой, которую он отстегнул от поводка. Собака забегает вперед, потом останавливается, оборачивается и смотрит на меня. Так она делает раз, другой... Это мне мешает, потому что я тоже останавливаюсь и смотрю на нее. Когда она снова убегает, я жду, что она остановится, обернется и будет смотреть на меня.

Так и происходит. Что же делать? Пошла вон, собака!.. Не уходит. Наконец, человек свернул на боковую тропинку, и она перестает оборачиваться.

Я замечаю, что на поле особняком стоят два дерева — две невысокие, раскидистые, похожие на японские сосны. Я подхожу ближе: оказывается, это одна сосна — невысокая и раскидистая. Иду дальше, потом оборачиваюсь, подобно собаке. Нет, две сосны! Два ствола и две кроны. Наверно, они ждут, когда я перестану оборачиваться... А может, они просто играют со мной и как раз хотят, чтоб я оборачивался?.. Собака ведь тоже играла...

Последний раз я видел Риту лет через пять после Митиной смерти. Я встретил ее на улице. Потасканная, с обвисшими щеками, одетая в какую-то линялую хламиду, она была копией тети Мухи. Я остановился. Неужели эта женщина с шаркающей походкой, с авоськой в руках, почти старуха, — неужели это Рита?..

Это была она. Меня она не заметила. Больше я не встречал ее...

## 11

— А ты всё пишешь? — спрашивает Леопольд. — Счастливый человек. Ес'и не секьет, что ты пишешь?

— Так, кое-какие воспоминания — о семье, о близких, — говорю я.

И это правда.

И это не совсем правда, потому что я пишу не только воспоминания.

— Я пишу для себя, — добавляю я.

И это правда.

И это не совсем правда, потому что временами я все-таки думаю о предполагаемом читателе, вернее, о слушателе.

Леопольд тоже вспоминает вслух:

— Веа Аамовна, зав отде'ением, где я 'ежау, — она мой б'изкий д'ут — 'аз'еша'а мне пойзоваться истоеией боезни, так что я ежедневно знау все свои анаизы.

Не dokonчив своей мысли, Леопольд бежит в санузел. Когда он возвращается, его уже поджидает врач. Она начинает его общупывать, обмеривать и обстукивать.

— Преждевременность пока не менялась, да... — произносит врас загадочные слова.

— Веа Аамовна, — говорит Леопольд...

Я выхожу в соседнее помещение. По кафелю и по ванне рыскают симпатичные юркие мокрицы, похожие на маленьких головастикав. По полу снуют не менее симпатичные паучки,

которые, в отличие от своих товарищей в банке, живут мирно, ибо, подобно великим державам, поделили всю территорию на сферы влияния. Наискосок от умывальника стоит ваза, наполненная мочой. Этот янтарный натюрморт впечатляет. Он чем-то напоминает икебану, но не полностью. Вот если б воткнуть туда палочку или цветок, напоминал бы больше, так сказать, русская икебана.

Я возвращаюсь.

Веа Аамовна... — говорит Леопольд.

Лаванда-а, горная лаванда...

— К'ивая пошуа вве'х, — говорит Леопольд. — Я не мнитейный, но я здешним в'ачам не доверяю. Надо позвонить Веа Аамовне.

Между прочим Маяковский, чей отец умер от сепсиса, наколовшись на какой-то ржавый металлический предмет, был настолько мнителен, что всю жизнь обертывал руку носовым платком, прежде чем взяться за ручку двери. Это не мешало ему потом покончить жизнь самоубийством.

Твой выстрел был подобен Этне...

Но самоубийство ли это?..

Вряд ли, считают особо проницательные литераторы.

Впрочем, это совсем другая тема...

Врезаясь вновь и вновь с наскоку

В разряд преданий молодых...

Но есть и немолодые преданья. Не так давно опочила известная писательница. До Великой Октябрьской революции она исправно посещала литературно-философские салоны Вячеслава Иванова и Дмитрия Мережковского, т.е. Зинаиды Гиппиус, что в принципе одно и то же. Ее первые литературные опыты, относившиеся к жанру высокой лирики, были исполнены религиозно-мистического трепета, ибо автор твердо стоял на почве христианства и отличался даже некоторым неопитским пылом. Эти опыты были тепло встречены Вячеславом Ивановым, Дмитрием Мережковским и даже Зинаидой Гиппиус. В общем молодое дарование явно находилось под влиянием литераурно окрашенного фидеизма.

После Великой Октябрьской революции писательница стремительно перековалась и твердо встала на почву диалектического и исторического материализма. Говорят, что впоследствии она даже пропгудировала одноименную четвертую главу, во что хо-

телось бы верить. Писательница пережила всех попугачиков и разоблачила их идейно-политическую отсталость.

Страдая недержанием речи, она написала 100 томов партийных книжек, часть которых составляли детективы, мемуары, романы и очерки о восстановлении народного хозяйства, большинство же относилось к жанру агиографии (в чем сказались ее ивановско-мережковская закваска) и являло собой жизнеописание исторического деятеля. Деятель этот беспощадно разоблачил махизм, эмпириокритицизм и вообще все виды философского идеализма, в особенности же фидеизм. Он разбил их до основания, а затем воздвиг на их обломках собственный «изм».

От фидеизма после этой основополагающей критики ничего не осталось, как и от его основателя Фидия, — практически одно воспоминание. Беда, однако, в том, что, в отличие от Фидия, его творение умеет самозарождаться, что и делает неукооснительно в каждую историческую эпоху. В этом отношении фидеизм паразитительно напоминает пресловутую птицу Феникс (так, по крайней мере, звали ее родные и близкие). У нас же эта птица самозарождается еще быстрее. А происходит всё на нервной почве, потому что другой у нас нет: вся наша почва — нервная, и все мы произрастаем на этой почве.

Одним словом, за свой подвиг на ниве агиографии писательница была осыпана с головы до ног всеми видами государственных премий и наград (Леопольд предпочитает говорить не «с ног до головы», а «до жопы»).

Достигнув возраста Мафусаила, писательница в состоянии весьма деятельного маразма сочинила свою 101-ю партийную книжку, которую венчало настоящее философское открытие.

— Однажды, — писала она, — некий римский прокуратор спросил некоего бродячего философа: «Что есть истина?» Бродячий философ молчал, ибо не знал ответа, что предрешило его печальную участь. И лишь через 2000 лет, — ликующим фортиссимо продолжала писательница, — явился человек, который ответил на вопрос прокуратора.

Он сказал: «Истина — конкретна».

Легко догадаться, что этим человеком был ее излюбленный герой, чье житие она писала всю свою долгую жизнь. В отличие от Мафусаила, она не была патриархом. Не была она даже матриархом, так как родила всего одну дочь. С другой стороны, дети у нее всё же имелись: это были 100 томов ее партийных книжек, и даже 101 том.

Ее герой был святым, ибо мощи его, хотя и оказались тленными, были всё же в некотором отношении нетленны, поскольку

они подверглись бальзамированию. К сожалению, бальзамированием этим занялись не древние египтяне, а современные нам врачи-отравители, за что их заслуженно упрятали в места не столь отдаленные. Однако они неплохо там устроились, ибо в связи с тем, что древние египтяне вымерли, секретом бальзамирования, кроме этих врачей, никто не владел. Поэтому их периодически выковыривали из мест не столь отдаленных и привозили в Вавилон, где они вновь и вновь занимались бальзамированием. Когда их, наконец, реабилитировали, причем некоторых даже не по-смертно, они передали свои алхимические знания ученикам. Вот отчего не совсем тленные мощи по ночам периодически изымаются из места своего упокоения и подвергаются всё новому и новому бальзамированию. Это ставит с большой остротой проблему качества, за которое в последнее время не борются со всей принципиальностью.

Но я, к сожалению, отвлекся. Я хотел сказать, что классическая формула «Истина конкретна» в чем-то правильна, ибо она, т.е. истина, действительно не абстрактна. Однако конкретность этой истины на практике означала, что каждый день появлялась новая конкретная истина, которая напрочь отрицала вчерашнюю конкретную истину. Таким образом, истин оказалось много, и все они враждовали друг с другом. Единой, незыблемой Истины, разумеется, более не существовало. В нее могли верить только наивные идеалисты (то бишь гнусные фидеисты). В конце концов со всей очевидностью выяснилось: истинно то, что выгодно сегодня. Служебный характер этой конкретной истины породил релятивистскую нравственность, которую не следует путать с релятивистской физикой.

Вообще глубокие формулы этого мыслителя, по-видимому, истинны, ибо — парадоксальны. Взять, например, такую максимум: «Материя есть объективная реальность, которая дана человеку в ощущениях его». Но если объективность этой реальности мы можем установить лишь с помощью ощущений, наиболее субъективного из человеческих свойств, то кто поручится за ее объективность? К тому же человек бывает разные и ощущения у них разные: у меня такие, у тебя сякие. А если эта объективная реальность всё же человеку дана, то, простите, **Кем** она дана?..

Господи, что же это я никак не стану материалистом?

## 12

— У Чу'банова, — говорит Леопольд, каодок — по яйца. У него всего на два оудена меньше, чем у Бъежнева.

Я ужасно рад: мой друг Леопольд больше не вызывает у меня раздражения. Нет, правда, — он мне просто нравится.

Теперь я вызываю у него раздражение. Вечером, когда мы вели философский диалог, который я хотел сделать сократическим, а он не хотел, я сказал, что человек устроен так, что в него встроено, вкоренено преклонение перед прекрасным, перед тем, что выше его. Леопольд резонно заметил, что он встречал немало людей, у которых таким преклонением и не пахло, однако жили они припеваючи.

Я возразил, что эти люди устроены точно так же, но вследствие их образа жизни рецепторы и каналы, посредством которых они воспринимают возвышенное, оказались заблокированными. Леопольд потрогал свою голову и заявил, что дело все-таки в башке, а она у всех разная. С этим можно было бы и согласиться, но тут Леопольд высказался в том смысле, что всё объясняется просто: в башке находится мозг, и мысль есть функция мозга — к чему привлекать что-то возвышенное и потугостороннее? В этом смысле он, Леопольд, был и остается материалистом.

Я сказал, что это софизм, к тому же отпечатанный в миллионах экземпляров, что его можно разбить чисто логически и водрузить на его место другую гипотезу, ничуть не менее правдоподобную.

Он согласно кивал головой, но видно было, что я раздражил его. Возможно, дело еще в том, что от меня не пахнет лавандой. Но мне-то он нравится, и чем дальше, тем больше.

Я, наконец, возлюбил ближнего моего и теперь имею полное право возлюбить себя самого.

Он сказал также, что не верит во всякую чертовщину, например, в НЛО, биополя и прочее.

Я сказал, что в НЛО можно и не верить, а в биополя и не надо верить, так как они есть и это легко проверяемо. Этот Фома Неверующий отрицает собственное биополе!..

В Колумбии индейские воины в промежутках между боевыми вылазками развлекаются любопытной игрой «Нопо», в которой двое соперников до тех пор бьют друг друга дубинками по голове, пока слабейший не упадет.

Не играем ли мы всю жизнь в эту милую игру?..

Я вновь иду по дороге посреди огромного заснеженного поля, окаймленного лесом. Светлое пятнышко на сером небе обозначает солнце. Снег идет...

Снег идет, снег идет.  
Снег идет, и все в смятении —  
Убеленный пешеход,  
Удивленные растенья,  
Перекрестка поворот.  
Снег идет...

Снег идет. Две японские сосны продолжают свои игры. Я один. Тишина и благодать.

Неожиданно доносится фырчание. Навстречу мне по этой дивной дороге едет трактор. В прошлый раз его не было.

Я не выношу трактора́ из-за их тарактеня. Правда, этот — маленький и почти бесшумный, поскольку рядом правительственная трасса. Но всё равно — он изгадил прекрасный пейзаж!

Трактор поравнялся со мной и катит дальше. Ну, слава тебе...

Но что это?.. Он возвращается. Он перегоняет меня и едет к лесу, потом вдруг разворачивается — опять навстречу мне. Что это за шутки?..

— Скотина ты, скотина, — говорю я трактору, когда он проезжает мимо меня. — Что это за разбегды?

Он не слышит или делает вид, что не слышит.

Он вновь разворачивается, вновь обгоняет меня, опять разворачивается и так — раз, другой, третий...

— Пошла вон, собака, — говорю я трактору. — Я с тобой не играю.

Настроение испорчено — я поворачиваю назад. Трактор как ни в чем не бывало едет навстречу мне. Батюшки! Да ведь там двое в кабине: один учит другого, старый — молодого. Где ж им учить, если не на пустынной дороге? Что я разворчался?..

Хочешь, спою тебе песенку? — говорит мой друг, разведчик Леопольд.

— Давай.

Он поет:

Не кочега'ы мы, не п'отники,  
Не т'убачи, не ск'ипачи —  
Опе'ативные 'аботники — да! —  
Мы стукачи, мы стукачи!

Недурно. Жаль, что у него нет голоса. Хотя голос тут, пожалуй, необязателен.

Между прочим, Шимко рассказывал, как однажды в дом отдыха, где он пребывал, приехал Соломон Хромченко. Он выступил перед отдыхающими. Приняли его кисло-сладко и проводили жидкими (т.е. еврейскими) аплодисментами. Потом вы-

ступил Шимко, и его проводили бурными аплодисментами, переходящими в овацию. По-видимому, он исполнял арию Валентина из одноименной оперы Гуно (а может, и Бизе).

### 13

У нас, наконец, появился новый сосед — высокий смуглый мужчина в черных усах, одетый в голубой спортивный костюм. Он моложе нас с Леопольдом, но ненамного. Он похож на военного, а на самом деле — физик-теоретик. Леопольд — тоже физик, но прикладник. У них немедленно завязывается профессиональный разговор, в который я не встречаю. Инициатор, разумеется, Леопольд. Два физика на одного отнюдь не физика — не много ли это?

Я, собственно, ничего не имею против физиков-теоретиков, однако вечером, когда мы легли и я начал засыпать, новый сосед стал как-то гнусно цокать. Мне это мешает.

Ночью он храпел за милую душу, а утром возобновил свои штучки с цоканьем. Я только заснул, потому что за час до этого, около 7 утра, явилась сестра и громким шепотом напомнила Леопольду, что ему надлежит идти на ЭКГ. Разумеется, она разбудила и меня. Возмущившийся Леопольд, бормоча, что кабинет ЭКГ работает до двух часов, вышел, потом вернулся, благоухая лавандой, и, наконец, исчез совсем. Примерно через час мои старания заснуть увенчались успехом, и тут — цоканье!

Нет, он определенно последователь маркиза де Сада, хотя, возможно, и не знает об этом. Ежели ты храпишь ночью, зачем цокать (хотя бы утром)? Я сам умею цокать.

Воспользовавшись техникой йоги, я заснул, сохраняя контроль над своим сознанием, и услышал, что действительно издаю звук — нечто вроде акустической запятой. Немедленно последовало цоканье.

Он ведь явно уже не спит и спать не будет (вставать пора!) — зачем же цокать? Мало того, он применил комбинированный прием — стал вздыхать, зевать и громко почесываться.

Мой друг Леопольд ни за что бы этого себе не позволил!

Дождавшись, когда сосед кончит вздыхать, зевать и чесаться, а потом встанет и уйдет нюхать лаванду, я тоже встал и оделся. Бодрый, с посвежевшим лицом, сосед вернулся и как ни в чем не бывало приветливо со мной поздоровался:

— Здрассьте!

Я не стал ему ничего говорить, хотя внутри у меня всё кипело... Все-таки физики-прикладники мне нравятся больше.

В столовой я встретил своего близкого друга Леопольда.

— Знаешь, — сказал он мне, — сегодня ночью ты х'апеу ужасно. Наш сосед поцокау-поцокау, и ты пеестал х'апеть.

«Господи, — подумал я, — за что я наклепал на ближнего своего?» Сам же сказал:

— Меня, наверно, опоили зунактином — я к нему не привык. А, кстати, я слышал е г о храп ночью, видимо, когда проснулся после его цоканья.

И это тоже была правда. Но, сказав так, я опечалился. Опечаленный, я покинул столовую и, опечаленный, пошел гулять.

Перед этим я разговаривал с инструктором лечебной физкультуры, весьма дельным учеником профессора Саркизова-Серазини, который сообщил мне, что, поскольку все мои болезни — от горла, зимой я должен гулять без собеседников и дышать только носом, причем вначале погулять пять минут, затем зайти в помещение и опять же в течение пяти минут отогреться, а потом уже гулять без ограничений, но и без собеседника.

Под этим впечатлением я решил погулять пять минут, не выходя за ограду, и направился к Покровской церкви, которая находится на территории больницы. Церковь эта реставрируется так долго, что теперь нуждаются в реставрации уже и леса.

## 14

Впереди меня вышагивал человек в палочкой, в серой шапке-ушанке со спущенными ушами. И немудрено: мороз-то больше 20 градусов! «Пусть он дойдет до церкви, — думал я, — а я за ним, и прежде чем он обернется, я поверну обратно».

Но человек обернулся первым.

— А это ты! — сказал он. — Погуляем?.. Ты чем сейчас занимаешься?

Это был историк Петя. Собственно, Петей он давно уже не был, но все его звали Петя. Вообще же он давно был Петр Васильевич — седой, прихрамывающий инвалид войны, завотделом в своем институте.

— Петя, — сказал я, — я не могу разговаривать. Так что ты говори, а я буду слушать.

— Хорошо, — согласился Петя. — А про что рассказывать?

— Про что хочешь, только не про болезни...

— Хорошо, — сказал Петя и начал.

— В одна тыща семьсот двадцать шестом году граф Петр Матвеевич Апраксин, знаменитый флотоводец и любимец покой-

ного государя Петра Алексеевича, ехал по своей надобности подмосковной дорогой. Покойный государь Петр Алексеевич даровал графу земли под Звенигородом, но граф их даже никогда не видел, ибо не имел в том надобности. После смерти государя граф Петр Матвеевич ушел на покой и решил посмотреть, что же за земли даровал ему государь.

Едет граф по селу Покровскому, что на Москва-реке, — говорил Петя, всё более воодушевляясь. — Огляделся он и приказал вознице:

— А ну-ка, останови!

Вышел он на крутой берег Москва-реки и задохнулся:

— Господи, красота-то какая! Благодать-то какая! А я, окаянный, вместо того, чтоб глядеть на эту красоту, сколько скверны совершил, сколько девок перепортил, сколько баб извратил!.. А ведь надо Божие дело делать!

Так он сказал и заложил церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы.

А в самом селе Покровском — грязь, запустение, бабы и мужики бедствуют, детишки бегают голодные, с рахитичными ножками!..

Когда-то я вместе с Петей писал капустники, но с тех пор он значительно усовершенствовался. И хотя я знал, что Петр Матвеевич Апраксин не был знаменитым флотоводцем (флотоводцем был его брат Федор) и что он заложил не Покровскую церковь, а деревянный храм Воздвижения Честнаго Креста Господня, на месте которого почти через 100 лет была построена каменная Покровская церковь, — всё это ничуть не портило живой прелести Петиного рассказа, и я слушал его с упоением.

— И проезжал по этим местам немец — Карл-Иоганн Фелдльпштейн из Голштинии, — продолжал Петя. — Огляделся он и купил село Покровское. И построил он этот дом с башенкой и конный завод. И всё вокруг преуспевать стало. И бабы, и мужики ходят довольные, и детишки радуются, и всё благоденствует.

А у Карла Иоганновича Фелдльпштейна было две дочери — Марта и Луиза. Марта — вон в той комнате жила — видишь? — где теперь кабинет Марии Никитичны, зам. главного врача. Марте и Луизе скучно здесь до ужаса, пойти некуда, торчат целый день в доме и в окошко смотрят. И думают: зачем мы уехали из Голштинии?.. — Голштиния, да? Есть такая?

— Есть, — говорю я. — Но можно сказать — Шлезвиг-Гольштейн.

— Да, — соглашается Петя, — лучше Шлезвиг-Гольштейн. Сидят они и думают: зачем мы уехали из Шлезвиг-Гольштейна?

И вот однажды, когда Карл Иоганнович куда-то отлучился, проезжает по Покровскому гусар. И видит этот дом. Дай, думает, заеду, посмотрю, чего там есть.

Подъезжает, выходят Марта и Луиза. Гусар представляется (Петя прикладывает два пальца к виску):

— Поручик Радзиевский, честь имею.

Они его приглашают в дом, сажают за стол и говорят:

— Лука, принеси бургундского.

— И рейнского, — говорит гусар.

Сидят они за столом, гусар этот крутит им мозги. Говорит, я, говорит, с Александром Васильевичем Суворовым воевал. Как, говорит, саблей махнешь, так турка... Ну, известно — гусар.

А тут возвращается Карл Иоганнович Федельштейн. Входит он и видит: сидит какой-то с усиками за столом, а на столе вино — уже три бутылки.

— Лука, — говорит Карл Иоганнович, — унеси бургундское. И рейнское.

Подходит он к столу и сухо так спрашивает:

— А собственно, кто вы такой?

Тот встает и говорит:

— Поручик Радзиевский, к вашим услугам (Петя прикладывает два пальца к виску).

Ну поговорили о том, о сем, а Карл Иоганнович Федельштейн был страстным игроком, но тайным — никто об этом не знал.

— Карл Иваныч, — говорит гусар, — а не сыграть ли нам в карты?

— Во что, например? — спрашивает Карл Иоганнович.

— Ну, в дурака подкидного.

— Можно, — говорит Карл Иоганнович.

Сыграли они в дурака.

— Карл Иваныч, — говорит гусар, — а не раскинуть ли нам пулюку?

— Что есть «пулюка»? — спрашивает Карл Иоганнович. — Пу-пу?

— Да нет, — говорит поручик, — это преферанс.

Сели они играть. А Карл Иоганнович был игрок ужасно азартный, но никто этого не знал. Он сам — тоже не знал.

Играют они. Карл Иоганнович говорит:

— Лука, принеси рейнского.

— И бургундского, — добавляет поручик Радзиевский.

— Да, — говорит Карл Иоганнович, — пожалуй, можно.

В общем, проиграл он поручику Радзиевскому всё — и дом, и конный завод, и всех крестьян — в общем, всё.

Проиграл и ушел к себе — переживать.

А поручик Радзиевский надел шерстяные носки и крадется к комнате Марты. Известно: прощелыга, игрок. Словом, гусар!

А Марта была уже вся налитая, ей уже самая пора была, всё в ней трепетало. В общем, она сама его ждала. И не успел он корябнуть дверь ногтем своим нечистым, как она его приняла.

А Карл Иоганнович попереживал-постереживал и пошел поцеловать на ночь жену, Марту и Луизу. Открывает он дверь в комнату Марты и видит, что она стоит нагнувшись, а гусар этот, поручик Радзиевский, совершает ужасное непотребство.

Карл Иоганнович закрыл дверь, пошел и нашел крюк — знаешь там, на площадке, когда мы спускаемся в столовую? И на этом крюке Карл Иоганнович повесился.

Марта и Луиза куда-то сгнули, никто их больше не видел. А здесь стали жить Радзиевские. И скоро наступило опять запустение: детишки опять забегали рахитичные, мужики и бабы с голоду дохнут.

И вот едет однажды купец Савва Мамонтов со своим братом и видит дом.

— А что там такое, не знаешь? — спрашивает он брата.

— Понятия не имею, — говорит брат.

— А давай заедем, посмотрим.

— Давай.

Подъезжают они и видят этот дом — засранный, обшорканный. Но вид отсюда — благодать невозможная.

Вышел из дома Радзиевский. А дом ему надоел ужасно! Чего тут делать, он не знает.

Савва Мамонтов говорит:

— А продай нам дом!

— Пожалуйста, — говорит Радзиевский.

— А сколько за него хочешь? — спрашивает Мамонтов.

Тот думает: назову самую большую сумму, невозможную — и говорит:

— 20 тыщ.

Те вынимают ему деньги, так, не глядя, — на!

И стал жить тут брат Саввы Мамонтова. Как его? Сергей? Кажется, Сергей. Гуляет, привозит цыган, они тут поют, пляшут. И привозит он один раз цыганку. Грушу из «Яра», от Соколовского. Или Соколова?..

— Нет, Соколовского. Там еще помнишь: «Соколовского гитара до сих пор в ушах звенит».

— Значит, из соколовского «Яра». Привозит и говорит:

— Вот тебе, Груша, дом, вот будет твоя комната, вот моя, а между ними будут в комнате ковры и больше ничего — одна любовь. А я буду к тебе приезжать.

Ну и приезжает к ней раз в две недели — гуляет, пьет, потом уезжает.

Ну, ей это скоро надоело, она ему и говорит — как мы его назовем — Сергей? Сережа.

— Сережа, — говорит, — я всё ж-таки цыганка: я так не могу — всего раз в две недели.

Ну, через две недели он приезжает, она к нему заходит, а там Даша белокурая сидит.

Сережа говорит:

— Груша, — говорит, — на тебе деньги, — и дает ей пачку такую — и уезжай отсюда! Куда хочешь уезжай — только скорей.

Она уехала. А он стал жить с Дашей белокурой.

А после революции здесь был приют для сирот, а потом летчики жили. Потом здесь был Институт леса.

А после войны приезжает тут один армянин и спрашивает:

— А что в этом доме?

Ему говорят: Институт лесоводства.

Армянин говорит:

— А кому он нужен?

И устроил здесь реабилитационное отделение академической больницы. Армянин этот был Чихмахиев Григорий Гайкович, управляющий делами Академии.

Мы подошли к дверям.

— Ну, — говорю, — Петя, спасибо: утешил ты меня. Я тоже хочу тебе кое-что рассказать, чего ты, может быть, не знаешь. Ты знаешь, что здесь был не просто Институт лесоводства, а лаборатория Сукачева, где собирались недобитые генетики и работали тут много лет, и дожили до признания?

— Нет, — говорит Петя, — не знаю.

Мы вошли в больницу и остановились в вестибюле.

— А ты знаешь, Петя, что работали они под носом у Лысенко? Он тут хозяйничал в Горках-вторых.

— Ну как же, — говорит Петя, — он кормил тут коров какавеллой.

— Да, верно. А про генетиков этих не знал. А ты знаешь, что когда его сковырнули, приезжает тут Хрущев и видит: на поле под дождем какая-то фигура маячит долговязая, как пугало, вся облепленная грязью. Он спрашивает: «Кто это?». Ему говорят:

«Это народный академик Трофим Денисович Лысенко. Он выращивает тут небывалый урожай и поднял удойность молока вдвое» А Хрущев говорит: «Значит, меня неправильно информировали. Это безобразие». Подошел к Лысенко и спрашивает: «Это правда, что у вас жирность молока у коров шесть процентов?». Лысенко говорит: «Конечно, правда. Сушая правда. Можете проверить. Враги на меня клеветают». Хрущев прослезился и выковырнул опять Лысенко из грязи. И защищал его до самого конца, пока его самого в грязь не загнали.

— Это замечательно, — говорит Петя, загораясь, — я это вставлю обязательно. Я этого Лысенко в говне вываляю с ног до головы.

— Ну зачем, Петя? — говорю я. — Зачем его вываливать. Он ведь отродясь в этом самом — вот в том, что ты сейчас назвал.

— Нет, ты представляешь, — говорит Петя, — приходит он в свой хлев, а там корова-рекордистка Феня, которую он какавеллой кормит. А ей эта какавелла надоела до ужаса — она ее видеть не может. Лысенко к ней подходит, похлопывает ее по спине и говорит: «Ну что, Феня?». То есть он не говорит, а булькает чего-то: у него ведь не голос был, а клекот. А она этот голос слышать не могла — он для нее хуже какавеллы. Она — рраз! и струю на него — он весь в дерьме. На следующий день приходит и спрашивает: «Ну что, Феня?». Она — рраз! — и опять струю на него. И так каждый день... Ну, спасибо тебе.

— Да не за что, — говорю. — Это тебе спасибо.

## 15

В прекрасном настроении я поднимаюсь на лифте на свой третий этаж.

Лаванда-а...

Знаете ли вы, что горная лаванда принадлежит к семейству губоцветных? Знаете ли вы, что это пахучий полукустарник высотой 20—100 см с многочисленными приподнимающимися листьями? Между прочим, листья эти супротивные (воистину так!), причем молодые — с серовойлочным опушением. Сухие цветы и листья лаванды используют для отпугивания моли (и не только моли).

Если вы этого не знаете, то откройте 16-й том Большой советской энциклопедии, и вы это узнаете. Вы даже узнаете то, что вам совсем не нужно знать.

Знаете ли вы, что на озере Титикака растет ипекакуана?..

— Я у тебя спёу одну вещь, — говорит Леопольд.

— А именно?

— Банку из-под кофе, — он указывает на пустую банку, стоящую на окне.

— Божже мой! — театрально говорю я.

— Боже мой! — с удовольствием повторяет физик-теоретик.

— Я их соби'аю, — извиняющим тоном говорит Леопольд.

— Да ради Бога, — говорю я. — Мне она не нужна.

Леопольд отбывает к паукам и мокрицам.

Пользуясь случаем, я говорю физику-теоретику:

— У меня к вам просьба. Причем нахальная.

— Да... — он заинтересован.

— Не цокать сегодня ночью. Завтра я уезжаю и хотел бы выспаться.

— Ради Бога! — он — сама любезность.

Леопольд возвращается, а физик-теоретик уходит.

— У меня есть бызкий д'ут, — начинает Леопольд, — он фотог'аф пат'иа'ха, поуковник. П'ек'асный паень, ф'онтовик. У него на два с'ова т'и т'ёпа, танцует меуким бисеом, выпивоха, бабник — в общем, святой.

Я выслушиваю очередную историю, которая кончается тем, что полковник, побывав с коллегами в Тель-Авиве, перестает быть фотографом патриарха, вернее, фотографом он остался, а полковником уже не был.

— Вызывает их пан Ю'эк, — подытоживает Леопольд, — и говоит: вот что, 'ебята, вы ни в чем не виноваты, но вы засвечены. И давайте на пенсию. Некото'ые из вас уже выс'ужи'и, д'угим еще не хватает нескойко 'ет — будет спецайное постанов'ение. Так что топайте.

Они и потопали — им не привыкать.

Кстати, «пан Юрек» — конспиративная кличка Андропова. Так его любовно звали в Комитете.

И всё-то Леопольд знает...

Я, наконец, понял, откуда у Леопольда столько близких друзей: он немедленно переходит на «ты». И так с каждым. Не успел появиться физик-теоретик, как он его уже зовет на «ты». Я не сомневаюсь, что скоро он станет близким другом Леопольда. Возможно, для него (Леопольда) — это отзвук фронтового братства. Я завидую ему. Он живет поверх барьеров, как Пастернак, на которого он меньше всего похож. Надо научиться этому: в конце концов все мы друзья и братья.

Все мы друзья и братья,  
Всем от рожденья даны  
Солнце золотое, сердце молодое...

...плюс дезактивация всей страны.

## 16

А завтра мне ведь действительно уезжать. Жизнь не ждет...

Потому что жизнь не ждет.  
Не оглянешься — и святки.  
Только промежутки краткий,  
Смотришь, там и новый год.

Бежит время... Не бежит, а мчится, как угорелое. Оно просто  
взбесилось...

Что с временем? Оно взбесилось —  
С горы лавиной покатилось,  
И не успеешь оглянуться,  
Собратся с мыслями, очнуться,  
Как ты уже засунут в ящик  
И орошен слезой скорбящей,  
И в землю брошен, как зерно.  
А внукам будет всё равно,  
Какие там еще печали,  
Какие страсти раздирали  
Твою страдальческую грудь —  
Ведь их самих в последний путь  
Сатурн безжалостный проводит,  
Едва они на небосводе  
Найдут свою звезду. И в горе,  
Полузабытым предкам вторя,  
Они пошепчут, глядя ввысь:  
«Мгновение, остановись!..»  
Остановись, остановись —  
Не потому, что ты прекрасно,  
А потому, что мрак безгласный  
С тобой — мою уносит жизнь.

Это написано в шестидесятых, лет двадцать тому назад. Сейчас я бы так не написал. И дело здесь не в докторе Рональде Моуди, хотя и в нем тоже. Дело в чем-то глубинном и неопределенном, что произошло со мной за эти двадцать лет. Назовем его условно «*дао*». Я следую своему дао, и поэтому говорю я точно так же, как лет двадцать назад:

Остановись, остановись —  
Не потому, что ты прекрасно,  
А потому, что мрак безгласный  
С тобой — мою уносит жизнь.

Но думаю я при этом совсем другое. Действительно, мгновение стоит остановить. Так говорит мое дао, которое одновременно и ваше, потому что всё есть дао.

Или же мы назовем это глубинное и неопределенное «Атман» (он же — «Брахман»).

И всё равно: говорю я, как лет двадцать тому назад, ибо ничего не хочу менять в своем прошлом, а думаю я иначе, ибо ничего не хочу менять в своем настоящем — и даже не потому, что оно есть майя (это еще как посмотреть!).

Ведь в самом деле, мрак безгласный уносит м о ю жизнь, которая и т в о я , потому что всё есть Атман...

Ну, уносит — как же ему не уносить, если в этом его дао, если всё есть Атман?

Но, собственно, зачем мне дао или Атман? — это мы проходили уже давно. Я же не говорю, что их нет — напротив! Но просто они сами по себе, а я сам по себе, хотя это и не так.

Дело в том, что есть Он, и потому пусть дао или Атман, что вовсе не одно и то же (хотя и одно и то же) — пусть они живут себе и поживают, я ничего против них не имею, но я хочу жить — с Ним.

...и не как мальчик же я верую...

И не думайте, что это я из-за дао или Атмана писал тогда: «а потому, что мрак безгласный» — я тогда о дао и об Атмане знал позорно мало, как ни стыдно в этом признаваться, хотя и приходится. Впрочем, теперь я знаю о дао и об Атмане еще меньше, ибо по мере познания сфера незнаемого расширяется. Всё равно они были тогда дао и Атман, как бы мало я о них ни знал. Но они стали другими, совсем другими, и потому — зачем мне дао или Атман? Они, кстати, вовсе на меня не обидятся, ибо они знают, что если я так говорю, — значит, в этом мое дао. Это Атман так говорит — мой и ваш. Бог с ними — с дао и с Атманом.

Просто дао и Атман как-то меньше меня устраивают сегодня.

Вы чувствуете какой-то режущий диссонанс в этих словах: «меньше меня устраивают» — это же нахальство! — Кто я, а кто они? Но я ведь тоже они, и поэтому я себе это позволяю по совести, как Раскольников позволял себе — по совести...

Но это уже какая-то совсем жуткая аналогия получается. Я вовсе не позволяю себе по совести то, что Раскольников себе позволял, я просто позволяю себе «по совести» — но совсем другое.

Одним словом, мне нужна Истина как живая Личность — на меньшее я не согласен. И, к счастью, не надо Ее искать, потому что Она есть, была и пребудет... Но ведь искать-то Ее как раз надо — как же не искать?.. И я ищу — и тогда, и теперь, и всегда. И ныне, и присно, и во веки...

## 17

Ночью я не спал и выслушал все виды храпа, как-то: залихватистый, прерывистый, гремучий, богатырский, с придыханием и с колокольчиками. Наконец я деликатно кашлянул. «Понятно», — сказал сосед хриплым басом и снова захрапел. Потом откашлялся и опять захрапел.

Я этого не понимаю: как можно откашляться и тут же захрапеть?

Есть многое на свете, друг Горацио,  
Что и не снилось нашим мудрецам...

Кстати, о снах. Какой-то крупный ученый после долгого размышления выдал формулу: «Сон — это небывалая комбинация бывалых впечатлений». Все обрадовались, включая Луначарского: во-первых, это научно; во-вторых, — материалистично; в-третьих, этот материализм — диалектический; в-четвертых, — он всё объясняет.

Это несомненный парадокс. Но истинный ли?

Сомнительно. Божественный Платон так бы не сказал. Ведь не только Сократу, но и себе самому он приснился в виде лебедя. Стало быть, он понимал символизм снов.

Герой Куприна, хоть и не был божественным Платоном, а был всего лишь мелким чиновником, не хотел просыпаться: настоящая жизнь была во сне, а когда проснешься — одна рутинка. Поэтому он и умер во сне с улыбкой на устах. Видимо, приснилось ему что-то поистине небывалое, для чего земных впечатлений-то не подыщешь.

Меня Бог миловал: во сне и на всех стихиях я не был ни тираном, ни предателем. Ни разу. Только узник. За мной гнались, преследовали, ловили, обыскивали, бросали в камеру, допрашивали...

А еще я летал. Делается это очень просто: слегка подгибаешь ноги и — летишь. Крыльев не надо.

Да я и сейчас летаю.

Это что — «бывалые впечатления»? Не было у меня таких впечатлений!

Скрученных листьев хрустящая медь.  
Дымная, странная местность.  
Как мне тоскливо, как страшно лететь  
Вниз головой в неизвестность.

Дикая сила уносит меня  
И не дает шевельнуться.  
Мне б только сон, как заклятие снять  
Но невозможно проснуться...

Подите определите, что такое сон и что такое явь, если они неотделимы друг от друга, если это одно и то же.

Вы можете определить импульс частицы, зная ее координаты?

А можете вы определить ее координаты, зная ее импульс?

Вот то-то.

Во сне ведь человек не умирает, а живет — это не «комбинация впечатлений», а путешествие души, «другая жизнь», как говорил покойный Трифонов, хотя и по иному поводу. Кстати, говорил тогда, когда еще не был покойным.

## 18

Мы с Леопольдом бегаем наперегонки (или взапуски?) к паукам и мокрицам. Но Леопольд хоть бегаёт за делом, а я — записать на клочке бумаги клочки мыслей. У меня зуд в руке. Я не зажигаю света в комнате, ибо жаль мне ближнего моего, друга моего, нещадно храпящего на соседней кровати. А цокать — не имею права, раз сам просил не цокать. Я пал жертвой собственной просьбы.

Господи, спаси меня от меня самого!

...Наконец-то стихло. Я закрываю глаза: по красным, точнее, багровым облакам бежит голубая точка. Бежит куда-то вправо.

На пороге сновидений  
Посреди большой страны  
Чую близость милой тени,  
Слышу голос тишины.

Полуявственным движеньем  
Тишина меня зовет,  
Будто легким дуновеньем  
Кто-то знаки подает.

Будто кто-то ищет встречи,  
Но не знает, как начать,  
Чтобы разум человеческий  
Чуждый лепет мог понять.

Но покамест не сомлею  
И не окунусь во тьму,  
Всё надеюсь, что сумею,  
Что узнаю,  
что пойму.

А время-то уходит... Время *per se*... Да нет, *per se* оно как раз и не может быть. Оно ведь вырастает из сердца — значит, оно со мной уходит. Мене, так сказать, текел... Мене, мене, еще как мене!.. И фарес — тоже. Фарес — безусловно! Или — упарсин?.. Всё отмерено, и даже страсти...

Отмерены страсти,  
И время мое сочтено,  
И приступ, как заступ,  
Вонзает в меня острие.  
Прими же дыханье —  
Оно не мое, а Твое, —  
И дай мне покой,  
Только дай мне покой,  
А потом всё равно —

Ты двери откроешь,  
Покроешь сукном голубым  
Безмерные своды,  
А воды опять потекут,  
И вечное время  
Растает, как медленный дым.  
И птицы Твои на родном языке  
Навсегда запоют...

## 19

То, что пульсировало и мерцало, то, что было рядом, но не давалось в руки — голубая вода, ветер, маслята, сгрудившиеся у забора, ветер на взгорке, и лица, лица... — может быть, и хорошо, что это не поймано, не схвачено намертво, не прижато кнопкой или булавкой, а свободно бродит, как мандельштамовское слово вокруг вещи.

Поэзия, где ты? Ау!..

Нет ее. Лирическая стихия иссякла, вытекла из меня, как кровь из раны.

И — хватит об этом, надо спать. К чему тревожить прошлое? Пусть и оно спокойно спит.

Полный им, как плод мякотью, я запер его кожей суеты, ненужных встреч, бессмысленных дел. А оно царапалось изнутри, просило выхода и — перегорало... Не воплотившись.

Жизнь сама себя питет. Не я ее пишу, а она мною питет. В каком подвале сознания хранится всё случившееся, всё несбывшееся, где плесневеет? Или ждет своего часа?..

Боже, за что мне эта безвыходность? Почему заперто всё это во мне? Разве не могу я разрезать этот плод, чтоб потекла — нет, чтобы брызнула! — гранатовая кровь?..

Отверзи мне двери, отверзи, Господи, ибо не я, но Ты. Не я Творец, не я Податель духа, но Ты, если захочешь, бросишь его в меня, как молнию.

Как уже было однажды и как уже никогда не было.

Губы сохнут, ждут своего часа.

Допусти, Господи... Излей на меня, если хочешь...

Кто я? Жалкий нищий, подбирающий то, что упало. Жалкий нищий, подбирающий жалкие крохи.

С Тобою я могу всё.

«Без Меня не можете творить ничего»... Так, Господи.

Я даже не хочу никакой своей воли. Я ведь жду Тебя, Господи, уже девять лет жду, десятый. Прими меня в число наемников Твоих.

Слово, которое вспарывает тишину, пусть само будет тишиной, травой, лаской моей милой.

Мне ли быть Твоим гласом, вместилицем Твоих повелений? Я, как растрескавшаяся земля, жду Твоей божественной влаги, умираю без нее, сохну, как куст придорожный. Внемли мне, Господи, и утешь. Если хочешь.

Если хочешь...

1986, 1998



Я три дня и три ночи совсем не спал.  
Я летал, пережаренный, как в аду.  
Ты прости,  
если я в тебя не попал.  
Ты прости,  
если я еще попаду.

## II

Отделенный от пустого тела,  
как младенец в сморщенной горсти,  
в яслях неба  
слепо,  
неумело  
черный ангел надо мной гостит.

Это я — рожденный от металла,  
словно рубль от медного гроша.  
Это надо мной моя витала  
черная осколочья душа.

Это я, как на арене цирка,  
одинокий, голый, как в раю,  
вертикально тощий, словно циркуль,  
на горящей площади стою.

Это я среди безумной сечи  
легкий, как оголодавший мим,  
улетаю, чтобы пересечься  
со свистящим ангелом моим.

Это мне, забившемуся в щели,  
не дано понять в сплошном огне —  
то ли это я уже у цели,  
то ли это он уже во мне.

## III

Мы жили там,  
где счастья мрачный поиск  
на нет сводила долгая зима,  
где медленно,  
как сходит с рельсов поезд,  
сходило человечество с ума.

И потому, уйдя на зов заката,  
туда, где пляж целуется с рекой,

ты тихо скажешь: я не виновата.  
И обернешься,  
и махнешь рукой  
той пустоте,  
что мной была когда-то.

#### IV

Утром с куста опадает вода.  
Ночью с креста опадает хламида.  
Нам, как прямым по капризу Евклида,  
не пересечься уже никогда.

Мы разминулись в пустых небесах,  
мы разошлись в Иудейской пустыне.  
Ты не узнаешь, как медленно стынет  
утренний снег в подмосковных лесах.

Нам, обезумевший до икоты,  
освобожденный от праведных путей,  
через разрывы, раскаты, окопы  
пьяный чертежник прокладывал путь.

Страшен покой возбужденной душе,  
как захмелевшим словам — идиома.  
Мир — геометрия идиота.  
Нам не дано пересечься уже.

Будут прямые дружить на кресте,  
будут гвоздями пронизывать руки,  
будут, свистя, возвращаться на круги  
пули в свирепой своей наготе.

Сном Иоанновым наяву  
будет усеивать улицы падаль,  
будет звезда Вифлеемская падать  
на разоренные ясли в хлеву.

#### V

И было:  
свалившееся за клеть,  
как не остывшая стеклотара,  
солнце,  
и Днестр, похожий на плеть,  
уже изогнутую для удара,

и отдаленный лягушечий плеск,  
и тишина, как зрачок абрикоса,  
стрекот цикад  
и внезапная плешь  
остывающего покоса,

к стихосложению бессмысленный дар,  
обреченный,  
словно визит к аптекарю,  
и выстрел — будто захлопнули портсигар  
так, что потом прикуривать некому.

## VI

Я встал меж ними,  
где дышали  
воронки струпьями огня.  
И с двух сторон они решали,  
кому из них убить меня.

Но не решили.  
Солнце село,  
изнанку леса показав.  
Я спутал логику прицела,  
задачу передоказав.

И снайперы,  
сверкнув затвором,  
лишь птиц спугнули с черных крон.  
А я себе казался вором,  
укравшим пищу у ворон.

## VII

Победа — это первый теплый снег,  
укрывший поле, где бродили волки,  
сквозняк развалин,  
гильзы от двустволки,  
пустой башмак  
и истеричный смех  
у зеркала.  
И зеркала осколки,  
осколки смеха прячущие в снег.

## VIII

О, Господи, они тебе нужны?

На что тебе такая маета?

Они еще, случается, нежны,  
зато всё лучше бьют от живота,

переступая трепетную грань  
за горсть железа и железный стих.

Ну что тебе от неразумных сих,  
стреляющих и гибнущих от ран?

Предательство оплачено сполна.

Иуде не осилить эти суммы.

Они разумны, Господи!

Разумны!

И в этом суть.

И в этом их вина.

## IX

Разрывы.

Перья.

Облака.

Струя кровавого рассвета.

Давай-ка улетим, пока  
над головой хватает ветра.

Но женщина, присев к столу,  
как музыкант больную скрипку,  
пронзает ржавую иглу,  
вдевая выцветшую нитку,

пытаясь наскоро, к утру,  
уйдя от мира, как от плена,  
заштопать черную дыру  
и на чулке,  
и на вселенной.

## X

Уже однажды пересечена  
грань, за которой больше нет запрета,  
и страха нет.

Всё выбрано до дна.

И лишь ночами так болит вина,  
что всё плывет.

Одна вина конкретна.

Одна вина конкретна.  
И война  
конкретна, как конкретны пятна крови  
и небом продырявленные кровли.  
Сквозь них пока не хлынула вода,  
но виден Марс в своей нелепой роли  
Рождественской звезды.

Покуда цел  
несчастный снайпер и тасует лица,  
он взят уже другими на прицел.  
Меж снайпером и целью нет границы  
в стране, где выстрел — средство, а не цель.  
И цели нет.

Она нам только снится,  
как кочка в застывающем болоте,  
как перед смертью — высохший женьшень.  
Стрелок освобождается от плоти.  
Планета, как осколок на излете,  
нащупывает в вечности мишень.

## XI

Начинается снег,  
будто заново жизнь начинается,  
будто заново женщина  
с вечера стелет постель.  
Начинается так,  
как домашний пирог начиняется  
молодыми грибами  
к приходу внезапных гостей.

Начинается снег.  
Начинается новая вьюга,  
засыпая обломки трагедий  
и гвозди голгоф.  
Мы еще влюблены.  
Мы еще не касались друг друга.  
Да и гости едва ли касались  
твоих пирогов.

Начинается снег.  
Между рамами морщится вата.  
Заметаются вешки  
на дальней кровавой меже.

Ни войны, ни тревоги.  
И ты уже не виновата.  
Да и я не виновен.  
И все не виновны уже.

## XII

Паденье — тоже форма бытия.  
Когда стрелок летит в провал пролета  
бездонного двора на снег белья,  
на бабочку фонарного огня, —  
не отличить паденья от полета.

Не отличить полета от паденья  
в пыль облака, в пожухлую траву.  
Мы выживем,  
как выживают тени,  
на время уходящие за стены.  
Я падаю.  
И значит я живу.

Мы падаем.  
И значит мы живем.  
Как ласточки, не сеем и не жнем.  
И, как с крючка сорвавшаяся рыба,  
как в водоем,  
уходим в окоем.  
Что наша жизнь? —  
мгновенье после взрыва.

## XIII

Расщеплен, как адамова плоть,  
как единый язык в Вавилоне,  
этот мир.  
И как пробковый плот,  
я отпущен в свободный полет  
с неушедшего от погони  
корабля.

И над водами мчась,  
уподобившись снегу и граду,  
понимаю, что я в этот час —  
часть ковчега,  
воздушная часть,

не приставшая к Арарату.  
Я смотрю с опустевших небес,  
как, цепляясь за землю, за племя,  
за огонь перезрелых невест,  
за межи,  
за отравленный лес,  
за ненужное, жалкое время,

за случайность кукушечьих лет,  
ослепленно, как ратник во гневе,  
вы бредете по пояс в золе.

Я — один.

Ваши корни — в земле.

А мои — в небе.

*1993—1995*

## ИВАН ИЛЬИН И ЕГО ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

*После смерти (в марте 1995 г.) выдающегося русского писателя, основателя и в течение семнадцати лет (с 1974 по 1992) бессменного главного редактора журнала «Континент» Владимира Максимова редакция «Континента», Американский университет в Москве и Издательский дом «Воскресенье» приняли решение учредить в ознаменование его памяти ежегодные Международные чтения «Прошлое, настоящее и будущее России». Первые такие чтения под названием «От диссидентства к демократии» с большим успехом прошли в марте 1996 года в Париже, и о них мы в свое время подробно рассказывали нашим читателям. Вторые Максимовские чтения состоялись 5—6 июня 1997 года в Москве. Помимо учредителей Чтений в их организации приняли участие Институт социально-политических исследований РАН, Русский Дом (Вашингтон), Социологический факультет МГУ, Международный ПЕН-клуб и ИНКОМБАНК. Чтения эти, прошедшие в Московском университете и в Российской Академии наук, тоже привлекли к себе большое общественное внимание, и в обсуждении их стержневой темы «Россия сегодня: куда мы идем и что нас ждет» приняли участие Лариса Пияшева и Григорий Явлинский, Жорж Нива и Мишель Окутюрье, свящ. Георгий Кочетков и Андрей Zubov, Томас Марулло и Анджей Валицкий, Отто Лацис и Геннадий Осипов, Алексис Берелович и Гильберт Макартур, Фазиль Искандер и Юрий Давыдов, Юрий Карякин и Алла Латынина — равно как и многие другие видные ученые, писатели и общественные деятели России и Запада. Мы давно уже обещали нашим читателям познакомить их с материалами этих Чтений, но, к сожалению, недостаток журнального пространства, особенно чувствительный в условиях всего лишь квартальной периодичности «Континента», не позволяет нам выполнить это обещание в том объеме, в каком хотелось бы. Поэтому мы решили ограничиться публикацией на страницах журнала хотя бы тех материалов, которые могут дать некоторое представление об обсуждении во время Чтений проблемы, вызвавшей по отношению к себе наибольший, пожалуй, интерес их участников. Это вопрос о том, нужна ли современной России какая-то новая «Общациональная Идея» и в чем она могла бы состоять, каков мог бы быть ее характер, — вопрос, вокруг которого завязалась действительно весьма острая и оживленная дискуссия. Мы открываем публикацию этих материалов докладом профессора Орегонского университета (США) Олега Хрипкова и продолжим*

*обсуждение этой темы в следующих номерах. Кроме того, доклады иностранных участников Чтений мы намерены опубликовать в специальном приложении к «Континенту» в виде отдельной брошюры.*

90-е годы в России принесли с собой не только разрушения, но и обретения. Одним из таких обретений было наследие И. А. Ильина. Его идеи о нравственности и религии, о сущности и исторических формах государства, права и правового сознания, о специфике русской цивилизации и о путях возрождения России интенсивно обсуждались в печати и на конференциях в 1992—1995 гг. Поклонники Ильина называли его пророком, учителем жизни, выдающимся ученым и духовным наставником возрождающейся России. Вместе с тем после поражения т.н. «патриотической» и коммунистической оппозиции на президентских выборах 1996 г. интерес к Ильину заметно спал. Отчасти это связано именно с глубочайшим упадком подлинно патриотического движения, в лоне которого только и можно ожидать дальнейшей разработки и пропаганды ильинского наследия. Нынче, в 1997 г., когда стало очевидным, что Россия пошла по пути некритического заимствования западных моделей, по пути, против которого предостерегал Ильин, судьба его идей становится еще более проблематичной. Вместе с тем нужда российского общества в духовных ориентирах и духовном лидерстве не исчезла. Проблема возрождения России и, в частности, ее духовного облика, остается от-крытой.

В этой связи возникает вопрос, в какой мере и в каких своих элементах наследие Ильина может быть использовано в деле самопознания России, поисков выхода из нынешнего кризиса и, наконец, строительства новой, независимой и духовно здоровой России. Ответ на этот вопрос зависит, в частности, и от того, кто будет на него отвечать. Противники идеи национально-самобытного развития России постараются «замолчать» либо оклеветать Ильина. Те же, для кого быть патриотом России — не пустой звук и не конъюнктурная политическая личина, равно как и вообще любой честный исследователь, заинтересованы в выявлении и удержании всего ценного, что есть у этого мыслителя. Конечно, разногласия при определении объема этого «ценного» неизбежны, но ведь каково бы ни было «правильное» решение, оно предполагает прежде всего знание *всего* комплекса идей Ильина, а не только каких-то фрагментов из издаваемого ныне десятитомного (в 20-ти книгах) собрания сочинений.

В этом вступлении я сосредоточусь лишь на одном аспекте ильинского наследия, а именно на его программе возрождения России в переходный период, наступающий сразу после падения коммунизма. Главный вопрос — что из ильинской программы устарело, что требует модификации, а что остается по-прежнему безусловно правильным или хотя бы перспективным? Таким образом, данная статья по своему заданию является приглашением к диалогу.

Разрабатывая свою программу, Ильин неоднократно подчеркивал, что она вовсе не является какой-либо догмой, предназначенной для некритического осуществления. «Моя программа, — писал он — является лишь оселком для патриотической мысли. она обращена к самостоятельно и творчески мыслящим патриотам России»\*.

Вместе с тем Ильин четко различал стратегические принципы своей программы и собственно программные положения. Стратегические принципы для него не подлежали сомнению: принятие или непринятие принципов было для Ильина критерием подлинного патриотизма. Для тех, кто принимал эти принципы, они должны были служить ориентиром в океане разноречивых идей, целей, ценностей, всевозможных программ и тактик. Они виделись Ильину так:

- Служение России, а не партиям.
- Освобождение русского народа от антинациональной тирании (какую бы форму она ни принимала).
- Единство и неделимость России.
- Защита свободной православной церкви и национальной культуры.
- Отвержение любого типа социализма, тоталитаризма и коммунизма.
- Верность совести и чести до конца.

В дополнение Ильин сформулировал еще два требования:

*Вера в Россию* (поскольку без такой веры, пояснял он, борьба за ее освобождение обречена на поражение) и в *Ценность правовой монархии*. Но здесь он сразу же оговаривал, что монархию нельзя реставрировать механически или путем чистого декларирования. Монархию необходимо «заработать» в ходе длительного духовного и правового воспитания. Только при условии созревания массового правового монархического сознания и монархических чувств, только после формирования сильной и влиятельной монархической организации и только при наличии благоприятных политических и международных условий можно всерьез ставить вопрос о восстановлении института монархии в России. Без наличия этих условий всякие попытки установить монархию в России приведут лишь к дискредитации этой идеи.

Переходя от общих принципов к программным положениям, Ильин четко учитывал временной фактор и необходимость последовательности определенных шагов по возрождению независимой, православной, духовно здоровой и политически сильной России. В многочисленных статьях, посвященных демократии вообще и ее перспективам в России в частности, Ильин настаивал, что является большим демократом, чем многие завязые демократы на Западе или в среде русской эмиграции. Разница состояла в том, что он искал условия и разрабатывал пути для подлинной,

---

\* Эти и последующие цитаты и идеи Ильина взяты из его книги «Наши задачи».

или, как он ее называл, «органической» демократии — в противоположность той, которая существовала на Западе в первой половине XX века и которую он считал внешней, формальной и половинчатой.

Среди основных дефектов формальной демократии Ильин называл следующие: 1) механицистское понимание государства и политики, основанное на представлении о народе, как о механической сумме борющихся за свои частные интересы индивидов; 2) преувеличение роли политических институтов при одновременной недооценке роли правового сознания народа в политической жизни; 3) фальшивый эгалитаризм, или уравнительство, исходящее из ошибочной идеи, что все люди рождены равными и поэтому должны обладать равной силой голоса в государственных делах (при такой идеологии голос проститутки или наркомана приравнивается к голосу ученого или профессионального политика); 4) преклонение перед фальсифицированной «волей народа» — волей, которая является результатом манипуляции со стороны партий, финансовых магнатов и зависимых от них средств массовой информации; 5) цинизм партийных лидеров; 6) антигосударственный и антинациональный характер партийной борьбы, которая зачастую поощряет классовый эгоизм и раздувает классовую борьбу; 7) ослабление национального единства; 8) деградация духовных ценностей; 9) ослабление политической ответственности.

В противоположность этому, органическая демократия исходит из следующих предпосылок: 1) понимание государства как органического и, в частности, духовного единства его граждан, предполагающего наличие духовной связи между гражданским обществом и государственными органами; 2) ведущая роль духовных ценностей, которые ставят под контроль материальные интересы, при этом их не подавляя; 3) высокий уровень правового сознания граждан; 4) преобладание духа солидарности и общих интересов над индивидуализмом и партийной борьбой; 5) экономическая независимость граждан и их уважение к частной собственности; 6) честность политической элиты и ее ответственность перед Богом и нацией, а не перед партией.

Среди общих интересов и ценностей, которые превращают совокупность людей в единую нацию и государство, Ильин указывал на а) общенациональную идею и идеологию (в противоположность классовым идеологиям); б) надежную национальную армию и честную полицию; в) справедливые законы и суды; г) социально ориентированные образование и медицину; д) высокопрофессиональное, ответственное и национально ориентированное правительство.

Западные демократии, по мнению Ильина, не обладали перечисленными качествами подлинной, или органической, демократии, на что, кстати, указывали не раз и сами западные интеллектуалы, многие из которых, считая себя либералами и демократами, сами критиковали и критикуют половинчатость и внешний характер демократии на Западе — то, что она существует больше в идеологии, в политических лозунгах, нежели в реальной жизни.

Впрочем, критика такого рода всегда предназначалась и предназначается главным образом для внутреннего пользования в достаточно узком кругу интеллектуальной и политической элиты, между собою эти люди действительно не боялись и не боятся признавать недостатки своей демократии, серьезно и по-деловому обсуждать пути их исправления. Но для широкой публики — как в стабильных демократиях Запада, так и в странах второго и третьего мира, — существовала и существует совсем другая литература — пропагандистская литература массового потребления, где всячески расхваливаются как раз мнимые достоинства демократии и всячески замалчиваются ее реальные недостатки. Демократия в этой пропагандистской массовой литературе выглядит как почти что религиозная доктрина, как безусловное, абсолютное благо и, самое главное, как первое и необходимое условие для прогресса во всех остальных сферах жизни, независимо от конкретных обстоятельств конкретной страны. Во всяком случае именно в такой религиозно-доктринальной оболочке и воспринимали идею демократии во времена Ильина многие, если не большинство русских защитников российской демократии. И именно против таких демократов-эпигонов, как и против западной экспортно-идеализованной доктрины демократии, и выступал Ильин. Он настаивал на том, что формальная демократия, то есть демократия со всеми типичными ее для Запада изъянами, весьма опасна, а потому и противопоказана России в силу ее качественного, как считал Ильин, цивилизационного отличия от Запада. Любые попытки искусственного введения демократии, — например, путем прокламирования ее правительством или путем референдума, одобряющего демократические призывы или «демократическую» конституцию, — любые такие попытки будут обречены, считал Ильин, на провал, поскольку мировая история и мировая политическая практика (детально изученная Ильиным) показывает, что никакие радикально новые политические институты (демократические, в частности) не могут привиться и дать добрые всходы в обществе, не создавшем для них благоприятную почву. Более того, настаивал Ильин, зерна формальной демократии, засеянные в русскую почву, наверняка дадут вредные сорняки, — либо в форме тоталитарного коммунизма, либо в форме антинационального компрадорского авторитаризма, которые закроют саму возможность для развития правового и подлинно-демократического общества.

Но если это так, если история чему-то может научить, то для России одним из главных ее уроков, по Ильину, должен быть временный отказ от демократии ради создания системных предпосылок для ее выращивания как органического и целебного плода в будущем. Причем отказ этот должен быть сделан открыто и последовательно не только на уровне тактического лозунга, но и ближнесрочного программного положения.

Итак, принимая и утверждая демократию как одну из действительных и очень важных ценностей (и целей) в рамках долгосрочной программы

возрождения России, Ильин отказывался от нее как от универсального принципа и как пункта ближнесрочной программы.

Что же предлагал он взамен?

Прежде всего — как настоящий реалист в политике и серьезный ученый в области истории и теории права — Ильин ставил вопрос: а что вообще возможно в обществе, подобном России, в переходный период после краха коммунизма?

Его ответ был однозначен — та или иная форма диктатуры. Единственно, что оставалось неизвестным для него и открытым для России, это то, в какую именно форму будет облачена эта диктатура, каким идеологическим оснащением она будет пользоваться и, самое главное, какую политику в отношении русской нации и культуры она будет проводить. Ильин говорил о возможности двух видов диктатуры, каждый из которых он конкретно и четко описал.

Первый вид — это национально ориентированная диктатура, основанная на авторитарном правлении подлинно-патриотической, высокопрофессиональной и национально ответственной элиты. В качестве исторических примеров такой диктатуры Ильин указывал на правления Александра II и Столыпина в России, Бисмарка в Германии, Мэйдзи в Японии. (После Второй мировой войны национально ориентированные диктатуры способствовали успешным и прогрессивным реформам в Южной Корее, Тайване, Франции времен Де Голля, Китае времен Ден Сяопина и в ряде других стран.) Ее задача будет состоять в том, чтобы сохранить национально-культурное достояние страны от расхищения, чтобы построить и укрепить государство, способное разработать справедливые, или, по крайней мере, прогрессивные законы и, главное, их выполнять, то есть обеспечить правовой порядок и базу для правового общества. И, наконец, — воспитать население в духе уважения к закону, к частной собственности, к личной ответственности, к индивидуальным правам и обязанностям, «научить» его реальному патриотизму, то есть бережному отношению к родине и нации.

Одной из первоочередных мер национального правительства, с точки зрения Ильина, должны быть поиск, отбор и выдвижение на ответственные должности всех уровней честных, квалифицированных и патриотически ориентированных лидеров. Другой стороной этой же программы, является, по Ильину, отстранение коммунистов, всевозможного ряда теневиков, демагогов, авантюристов и преступников от участия в политической жизни страны. Ильин прекрасно понимал, предвидел и четко проговаривал, что после-коммунистическая Россия будет страной с политически недоразвитым и морально дезориентированным населением, среди которого явные или неявные коммунисты и преступники будут играть заметную, а возможно даже и главную роль. Именно поэтому демократическая процедура выборов государственных лидеров будет неизбежно вести, считал Ильин, к власти бывших и новоявленных коммунистов и преступников. И именно этим объективным обстоятельством и

объясняется его отказ от ориентации на демократические процедуры и его требование национальной диктатуры.

Говоря о России в период после коммунистического краха, Ильин четко отдавал себе отчет в том, что вероятность прихода к власти правительства, способного проводить национально ориентированную политику, очень невелика. Другой, более вероятной альтернативой, будет попытка немедленно установить «демократию» по западному образцу, неизбежный провал этой попытки и, как следствие, ввержение страны в «непредставимый хаос безвластия, развал экономики, голод, холод, безработица и в конечном счете расчленение России, утрата ею своей независимости, политическое, экономическое и духовное подчинение ее своим врагам при создании марионеточного правительства, зависимого от своих западных опекунов».

Описание, которое современные патриотические, да и просто трезвые писатели, ученые и политики дают сегодняшней, то есть после-коммунистической России, воспроизводит почти дословно этот второй сценарий, предсказанный Ильиным. В какой мере и в каком объеме такие описания соответствуют реальности — это вопрос особый. В данном пункте достаточно констатировать их совпадение с ильинскими прогнозами.

Учитывая возможность второго сценария, Ильин разработал программу действий, или, по крайней мере наметил линию поведения для истинных патриотов России, оказавшихся в стране, контролируемой антинациональным правительством. Эта программа во многом совпадает с той, которую он адресовал русским патриотам в эмиграции во время господства коммунистов в России. Совпадение этих двух вариантов программ не случайно, поскольку патриоты в после-коммунистической компрадорской России окажутся, по мнению Ильина, в своеобразной внутренней политической эмиграции, типологически сходной с той, в которой был сам Ильин и его единомышленники-эмигранты в период коммунистического господства.

Итак, программа для патриотов посткоммунистического периода включает у Ильина те же восемь принципов, что и программа для коммунистического периода: служение России, а не партиям; освобождение русского народа от антинационального гнета; единство и неделимость России; защита свободной православной церкви и национальной культуры; отвержение любого типа социализма, тоталитаризма и коммунизма; верность совести и чести; вера в Россию; предпочтительность правовой монархии.

Среди способных конкретизировать эти принципы пунктов программы Ильин называл следующие:

1. Различение и даже противопоставление России как нации и компрадорского пост-коммунистического правительства.
2. Отказ всех честных людей от политических игр и политической карьеры как бесполезных в условиях господства антинационального правительства.

3. Концентрация на культурной и социальной работе; более конкретно — на сохранении, обновлении и приумножении сокровищ русской культуры, ее религии, морали, правовой мысли, литературы, искусства. Короче, — на сохранении и развитии русской национальной идеи, а также на организации «снизу» национально ориентированной экономики и социальных структур.

4. В качестве носителей национальной идеи должны выступить национально-патриотические слои интеллигенции и организаторы производства, разделяющие вышеуказанные восемь принципов.

5. Духовное преобразование России национальная элита должна начать **с самой себя**, то есть научиться трезвости, ответственности, духовной и политической независимости, творческому подходу к проблемам национального сопротивления и национального строительства, а главное — научиться истинно любить Бога и Россию, научиться видеть ее прошлое, настоящее и будущее сквозь призму Христианско-православного задания для России. Ильин призывал строить и любить не просто Россию, не всякую Россию, а Россию, верную ее Божескому и потому всемирному предназначению, следовательно — священную Россию.

6. Воспитание характера русского народа на основе обновленной национальной идеи и с помощью национальной элиты, формирование у него качеств патриотизма, уважения к праву, собственности и личности, любви к справедливости и свободе, служению правде, России и Богу.

Эти шесть пунктов и должны будут, по мысли Ильина, составить духовные и частично социальные предпосылки для возрождения России.

Особый пункт программы составлял вопрос о последовательности различных шагов, или мер, по строительству новой России. Ильин неоднократно отмечал, что после-коммунистическая Россия будет переживать всесторонний развал, т.е. дезорганизацию в сфере государственного механизма, национальных отношений, законодательства и правопорядка, экономики и финансов, кризис в сфере социальных, политических и моральных отношений. Реформировать все эти сферы одновременно будет невозможно, во-первых, из-за нехватки ресурсов, а самое главное — по причине того, что решение одних задач является предпосылкой для успешного решения других задач. Отсюда возникает вопрос о **правильной последовательности** преодоления всестороннего кризиса и положительно-го строительства России.

В этом вопросе Ильин исходил из следующего. Одним из тяжелейших наследий коммунистического правления будет являться денационализация, т.е. утрата народом своей национальной идентичности; это особенно опасно в силу многоэтнического и разноконфессионального характера населения России. Без ясной и сильной национальной идентификации русский народ будет не в силах сохранить социальное единство на своей территории, поддержать самобытность своей культуры и веры, построить национально ориентированную, а не компрадорскую экономику и государство. Таким образом, **возвращение национальной идентичности** русско-

му народу и ее укрепление является первейшей и приоритетнейшей задачей возрождения России. В решении этого вопроса Ильин выступал категорически против узко-этнического принципа национальной идентификации. Для него и татарин, и еврей, и армянин были членами российской нации, если они выражали лояльность российской культуре, нации и государству. Таким образом, Ильин отстаивал так называемый включающий, или гражданский, принцип как основу построения российской нации. Только такой принцип позволял вовлечь национальные и этнические меньшинства в общее дело национального и государственного строительства. В противном случае эти меньшинства будут строить свою, не русскую и не российскую идентичность, государственность и культуру, что чревато распадом или глубоким затяжным кризисом, ослабляющим дух нации.

Следующей задачей в последовательности реформ является воссоздание и **укрепление государства**, причем не любого, а способного защитить интересы русского народа и российской нации. Без такого государства невозможны ни власть закона, ни положительное реформирование экономики, ни культурное строительство, ни духовное возрождение.

Третьим этапом и задачей в последовательности реформ является создание **правовой системы**, обеспечивающей действительное верховенство закона и формирование **правового сознания** населения.

Ясно, что без сильного и авторитетного государства, пользующегося доверием и поддержкой нации, справедливую и эффективную правовую систему строить нельзя. Поэтому Ильин критически относился к попыткам выдумывания законов без наличия сильного государства, обеспечивающего их выполнение.

Вместе с тем Ильин последовательно выступал против узурпации государством тех сфер жизни, которые могут и должны развиваться на своей собственной основе, — таких, как всевозможные гражданские инициативы, экономическая деятельность и духовное творчество. Ильин неоднократно говорил: «Государство должно не диктовать, а вести. Оно должно обеспечивать защиту национальных интересов и внутренний правовой порядок для свободной разносторонней творческой деятельности нации, иными словами, для формирования здорового гражданского общества. Свободная гражданская инициатива бесценна». Поэтому **создание гражданского общества** является следующим, четвертым этапом (и задачей) возрождения России.

Пятым этапом реформ должно быть создание процветающей **национально ориентированной** экономики. Без существования предыдущих элементов она почти неизбежно примет криминальные формы и в таком качестве может вести лишь к ослаблению нации и государства.

Наконец, шестым и итоговым этапом является создание подлинно демократического политического механизма, или **органической демократии**, по Ильину. Если демократию не сводить только к процедуре выборов или к образованию парламента, а понимать ее как систему институтов и

законодательных процедур, регулирующих политическую деятельность гражданского общества и государства, а также их взаимные отношения, то ясно, что так понятая демократия является завершающим и надстро-ечным элементом в системе комплексных и положительных реформ России.

Таковы последовательность и основные положения программы, адресованной Ильиным русским патриотам в период их политического без-властия и бессилия, а также и на следующем переходном этапе — в случае обретения ими власти. В какой мере деятельность тех сил, которые называют себя сегодня в России патриотическими, соответствовала и соответствует выдвинутым И. Ильиным принципам, — это проблема отдельная, включающая в себя немало острых вопросов. Например, — как следует квалифицировать, с точки зрения ильинской программы, союз некоторых «патриотов» с коммунистами, идущий вразрез с пятым принципом Ильина, гласящим: «отвержение любого типа социализма и коммунизма»? Или: что означают, с этой же точки зрения, призывы некоторых других «патриотов» к демократии в условиях, когда она, по всей видимости, невозможна (по крайней мере, согласно ильинской концепции посткоммунистического развития)? И наконец, последний пример: как необходимо квалифицировать такую глубокую вовлеченность многих людей, именующих себя «патриотами», в политику — и, в частности, в безвластный парламент, в контексте доминирования так называемого «оккупационного правительства», когда отсутствуют условия для успешного патриотического действия в политической сфере (по Ильину, условия духовного, нравственного, идеологического и внутриорганизационного порядка)?

Всё это вопросы, требующие своего ответа, и я надеюсь, что обсуждение затронутой в этом выступлении темы поможет найти эти ответы.

**Елена и Евгений ПАСТЕРНАКИ**

---

---

**В О С А Д Е**

«Осада человека» — так назвала в 1950-х годах свои записки пережившая блокаду Ленинграда двоюродная сестра Бориса Пастернака Ольга Фрейденберг. И в самом деле каждый человек в Советской России находился в длительной и всеохватной тоталитарно-бюрократической осаде. Судьба Бориса Пастернака в его последние годы — яркий тому пример.

Собранные в бывшем архиве Политбюро ЦК КПСС документы показывают, что среди осаждавших были: ЦК партии, в лице своего президиума и отделов, Комитет государственной безопасности, Прокуратура во главе с генеральным прокурором, Союз писателей, начиная со своих секретарей и национальных отделений и кончая просто рядовыми членами, Общество связей с заграницей, «Международная книга», Управление по охране авторских прав и другие организации. Все эти многочисленные структуры обменивались информацией, разрабатывали стратегию, принимали решения, отдавали приказы. Всё делалось для борьбы с человеком, посмевшимся написать и издать за границей свой роман о любви и разлуке.

Эти документы проливают дополнительный свет на историю борьбы, которую вел Пастернак за публикацию «Доктора Живаго» и рассеивают миф о том, что он прожил спокойную жизнь, не страдая за свои убеждения. Они демонстрируют яростное сопротивление советских властей,

---

**Елена  
ПАСТЕРНАК**

— родилась в 1936 г. в Москве. Окончила классическое отделение филологического отделения МГУ. Автор работ о жизни и творчестве Б.Л. Пастернака. Участник подготовки текстов и комментариев при издании его переписки и собраний сочинений. Жена Евгения Пастернака, сына Б.Л. Пастернака. Живет в Москве.

**Евгений  
ПАСТЕРНАК**

— родился в 1923 г. в Москве. Военный инженер-механик, служил в армии с 1942 по 1954 год. Затем преподавал теорию автоматического управления. Кандидат технических наук. Автор биографии Б.Л. Пастернака и ряда работ о его жизни и творчестве. Участник издания отдельных книг и собраний сочинений Б.Л. Пастернака. Живет в Москве.

которое он преодолел, открыв новую страницу в истории свободомыслия в советской России. Здесь было положено начало диссидентства и всего комплекса явлений, связанных с ним, хождения машинописных копий «самиздата», обысков и изъятий литературы, подслушивания разговоров, перехвата почты и пересылки рукописей на Запад — всего, что наполняло жизнь последующих тридцати лет и так красочно было описано Солженицыным в «Теленке, который бодался с дубом» и других «диссидентских» произведениях.

Сборник этих документов (86 единиц хранения) три года тому назад был издан по-французски в издательстве Галлимара (*Le dossier de l'affaire Pasternak. NRF. Paris, 1994*), 11 из них опубликованы в «Континенте» в 1995 году (№ 83), 9 — в журнале «Источник» 1993 № 4, 12 — в газете «Труд», 1995, 22 декабря. Издание же этой книги в России, к сожалению, по непонятным причинам задерживается.

Широко известен только один эпизод этой истории — травля, последовавшая за присуждением Пастернаку Нобелевской премии. Публикация двух его писем по этому поводу у некоторых даже вызывала осуждение, — но ни о чем более не было достоверных сведений, кроме некоторых упоминаний в его переписке с Жаклин де Пруаяр («Новый мир», 1992 № 1) или достаточно сбивчивых воспоминаний Ольги Ивинской, теперь повторенных в книге ее дочери.

Чтобы выявить самое существенное в этой истории — голос и поведение Бориса Пастернака, заглушаемое многословием писательских собраний, безапелляционностью докладных записок Отдела культуры, сумбуром западной прессы и взволнованной неотчетливостью человеческой памяти, мы сочли нужным привести отрывки из известных нам смелых и мужественных обращений Пастернака к своим гонителям и из его частной переписки, передающие его отношение к этим событиям.

Послевоенное поколение мальчиков и девочек, тайно прочитавших роман в затертых до дыр машинописных списках, до сих пор не забыло то впечатление, которое в духовной пустыне 1950-х годов произвело в их душе это чтение. Пастернак не был арестован и сослан, всемирная известность спасла его от этого, но травля стала непосредственной причиной его смертельной болезни.

Теперь, по прошествии четырех десятков лет, мы уже с трудом понимаем причины того мощного противостояния и бешеного неприятия, которое вызывал в огромной машине партийного аппарата спокойный, лишенный всякой политической полемики роман, почему объявленная тогда Хрущевым либерализация и критика эпохи «культы личности» захлебнулась в травле человека, осмелившегося не считаться с невысказанными запретами.

Но для советской системы было неприемлемо само понятие аполитичности, и игнорирование политических споров вызывало ярость.

В том же факте, что эта ситуация перестала теперь быть понятной и нуждается в объяснениях, виден отрадный знак нравственного выздоров-

ления, когда очевидные современнику логические звенья повисают в воздухе и вызывают необходимость вновь выгаскивать на свет тяжкие подробности истории болезни.

Возвращаясь памятью к тому времени, мы должны представить себе проблески света и начала освобождения от «власти мертвой буквы», которые взволновали общество после секретного доклада Хрущева на XX Съезде партии и пробудили возможность критики страшных репрессий прошлого. Но нельзя забывать также о том, что со смерти Сталина прошло всего три года, и общество еще находилось в состоянии страха и подавленности, разоблачения Хрущева воспринимались с робостью, и границы их жестко контролировались. Самоубийство Фадеева позволило закосневшему сталинскому аппарату одергивать критиков необходимостью сдерживать свои порывы и не *травмировать* честных приверженцев режима. Доживший и до наших дней культ Сталина может дать представление о том, какую ненависть вызывали в больном обществе первые ростки инакомыслия. Растерянность и неразбериха рождали сопротивление Хрущеву и боязнь его непредсказуемых выходов. Организованное ЦК дело Пастернака должно было показать Хрущеву, какой вред приносит *либерализация* и размывание границ дозволенности.

Краткая литературная *оттепель*, допустившая публикацию статьи Померанцева «Об искренности» и повести Дудинцева «Не хлебом единым», позволила выплиться на страницы журналов и газет мутной пене большого сознания, запутавшегося в парадоксах стереотипного мышления.

Интерес к тому, что происходит в Москве, оживил связи с заграницей, писательские делегации из Польши и Чехословакии направлялись в Переделькино, переходя с дачи на дачу. Рукопись недавно оконченного романа «Доктор Живаго» была передана для публикации в журналы «Новый мир» и «Знамя», навестивший Пастернака Зеновит Федецкий, председатель союза польских писателей, тоже получил экземпляр машинописи для открывавшегося в Варшаве нового журнала «Opinie», обсуждалась возможность опубликовать роман по-чешски в издательстве «Свет Советов», которое предложило Пастернаку издать двухтомник его сочинений. Автор намеревался послать им текст через Иностранную комиссию Союза писателей, — впрочем, — добавлял он в письме К.Г. Паустовскому 12 июля 1956 года, — возможно, «что рукопись во время весеннего наплыва делегаций, когда она ходила по рукам, куда-нибудь увезена без моего ведома и сама собой дойдет, в числе прочих, и до них». (Б. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. 1989—1992. Т. 5. С. 547). В этих словах слышится намек на передачу одного экземпляра Федецкому, другого — итальянскому журналисту Д'Анджело. «Тогда мне смерть, а впрочем, может быть, это неосновательные страхи», — заканчивал Пастернак письмо Паустовскому, выражая одновременно опасения по поводу своего дерзкого поступка и надежду на новые смягчающие вину обстоятельства.

Той же весной, в начале мая, с группой молодых французов Пастернак посетил Мишель Окутюрье, его будущий переводчик. Пастернак

записал ему на книге текст первоначальной редакции только что сочиненного стихотворения «Быть знаменитым некрасиво».

Серджио Д'Анджело работал тогда в итальянском управлении радиовещания Министерства культуры СССР. Позже он написал о своей встрече с Пастернаком в «The Sunday Telegraph» may 7, 1961: Pasternak's dollars from «Zhivago». Он был активным членом Коммунистической партии Италии и по долгу службы извещал миланского издателя Дж. Фельтринелли об интересных литературных событиях в России. Услышав, как он пишет, по московскому радио сообщение о готовящемся к печати романе Пастернака «Доктор Живаго», он отправился в Переделкино в сопровождении «одного в высшей степени уважаемого советского гражданина, который, — как добавляет Д'Анджело, — сделал впоследствии хорошую политическую карьеру».

Передача рукописи происходила в его присутствии. Пастернак, казалось, был совершенно спокоен, однако, прощаясь, сказал Д'Анджело: «Вы меня пригласили взглянуть в лицо собственной казни».

Через несколько дней Д'Анджело без всяких сложностей доставил рукопись в Берлин, куда вскоре прилетел за нею Фельтринелли.

Д'Анджело не назвал имя человека, который сопровождал его в Переделкино, Ольга Ивинская в своей книге «В плену времени» пишет, что это был сотрудник советского посольства в Риме Владимиров. Нам ничего не удалось узнать про этого человека.

Пастернак неоднократно повторял впоследствии, что рукопись была передана открыто с ведома официальных лиц и при их участии. *«Хоть это и не соответствует нашим нравам, я не вижу в этой передаче ничего противозаконного. Я не прячу эту работу. Почти год ее машинопись лежит в редакциях наших журналов, Государственное издательство предлагает напечатать несколько отредактированный текст»*, — писал он 30 декабря 1956 года сотруднику издательства Галлимара Брису Парену.

Как уже говорилось, аналогичная рукопись была передана для публикации в Польшу, шли переговоры об издании в Праге. Если роман собираются издавать в Москве, то почему было не ускорить вопрос об издании его и в других странах? Конечно, возникали сомнения по поводу реакции советских журналов, которая подозрительно затягиваясь, и Пастернак вполне сознавал те опасности, которые ему грозят в случае официального отказа.

Фельтринелли быстро ознакомился с рукописью и через две недели, 13 июня 1956 года извещил Пастернака о своем намерении издавать роман — «произведение высоких литературных достоинств, рисующее картину подлинной советской действительности», — и послал ему контракт. Договор был рассчитан на два года и соответствовал обычным нормам. Его особенность заключалась в невозможности советского автора по законам своей страны издать свое произведение на том языке, на котором оно написано, и единственным лицом, которое получало право вести переговоры за границей, становился издатель, а владелец в своих

действиях оказывался полностью связан контрактом. Отсрочка, а затем отказ от русского издания в Москве перевернули все с ног на голову, и итальянский перевод, который Фельтринелли должен был опубликовать по договору до середины 1958 года, появился 23 ноября 1957 года и стал таким образом первым изданием, — издатель автоматически приобрел права издания «Доктора Живаго» во всем мире (world copyright).

Пастернак ответил Фельтринелли сразу по получении договора. Прежде, чем послать свое согласие, он посоветовался с сыновьями, восемнадцатилетним Леонидом и нами, и получил горячее одобрение своих действий, хотя уже в полной мере можно было оценить исключительность и опасные последствия такого поступка. Но нам была понятна также открытая готовность отца к любым лишениям во имя скорейшей публикации «Доктора Живаго», что вызывало сочувствие ему и желание вынести все вместе с ним.

Письмо датировано 30 июня 1956 года. В нем уже заложена вся будущая программа: невозможность получить заграничные деньги и намерение обойтись своими средствами, трагизм ситуации, при которой журналы отказываются от издания, а Фельтринелли их опережает, готовность на жертвы, горячее нетерпение увидеть роман напечатанным и желание, чтобы его прочли, ответственное отношение к переводу.

Советские официальные лица не чинили препятствий передаче рукописи романа «Доктор Живаго» в Италию и некоторое время никак не реагировали на это, несомненной причиной чему была неопределенность, настигившая после речи Хрущева, сместившей незыблемые прежде устои.

Несмотря на то, что «железный занавес» приоткрылся, и в страну приехали первые иностранцы, а советских людей, самых надежных и проверенных, стали выпускать за границу, страх перед встречами и перепиской все еще сковывал общество, запуганное сталинской шпиономанией. В Москве, в литературной среде поступок Пастернака воспринимался с ужасом, сначала — как очередное чудачество оставшего от жизни поэта, со временем — как предательство по отношению к негласным предписаниям Союза писателей, угроза собственному спокойствию его членов и возможность будущих репрессий.

Тем временем весенняя атмосфера оттепели быстро возвращалась к привычным жестким формам. Известие о заключении договора на издание романа в Милане встретило резкое недовольство со стороны Отдела культуры ЦК КПСС, возглавлявшегося Д.А. Поликарповым, который еще с 1940-х годов контролировал деятельность Союза писателей. По справке, составленной 31 августа 1956 года по его указанию и под его редакцией, министр иностранных дел Шепилов информировал об этом событии ЦК<sup>1</sup>. Уже в начале сентября редколлегия журнала «Новый мир» в большом письме к Пастернаку обосновала свой отказ от публикации «Доктора

---

<sup>1</sup> «Труд», 22 декабря 1995 г.

Живаго». Основной претензией к автору выдвигалось непонимание роли Октябрьской революции и участия в ней интеллигенции.

Документы из архива ЦК показывают, что эта рецензия не была частным мнением пяти членов редколлегии, подписавших письмо. По воспоминаниям Константина Симонова, тогдашнего главного редактора «Нового мира», написанным им незадолго перед смертью, отзыв отразил его личное и искреннее мнение о романе Пастернака, никоим образом не инспирированное, а члены редколлегии полностью согласились с ним и вносили в составленный им текст стилистическую правку. Он приводит большой отрывок из отзыва, сохранившийся в его архиве в автографе, самый жестокий и болезненный для автора, — о ложном христианстве Живаго, — который собственноручно вписал в рецензию близкий и многолетний друг Пастернака Константин Федин. Но полное совпадение в подборе цитат и сходство формулировок заметки, составленной И.С. Черноуцаном и Поликарповым<sup>2</sup>, и новомирского отзыва позволяют усомниться в честности признаний бывшего главного редактора. К тому же именно после отказа Симонова ЦК делает первые попытки забрать рукопись романа у Фельтринелли. И впоследствии «Отзыв «Нового мира» неоднократно использовался Отделом Культуры как средство убеждения иностранных товарищей и орудие воздействия на западную прессу (См. письмо К.М. Симонова — «Континент», № 83. С. 191—193).

Но итальянские помощники ЦК КПСС не добились никакого успеха у Фельтринелли, кроме одного: они пробудили в нем ясное представление об угрозе, которая нависла над его намерениями. Он тут же позаботился о сохранности рукописи, находившейся в Риме у переводчика Пьетро Цветеремича, и сделал дополнительные копии. И в дальнейшем, чем большее оказывалось на него давление, тем серьезнее он понимал, какую удачу сулит ему публикация романа и прилагал все меры для ее скорейшего завершения. Наследник своего известного отца, крупного промышленника и маркиза, и коммунист самых левых и радикальных взглядов, Дж. Фельтринелли был серьезной денежной опорой для Гольятти и всей партии, и после очередного нажима предпочел покинуть свое членство в ней, но не отказался от издания.

На неустойчивой атмосфере этого времени решающим образом сказались события в Венгрии. Жестокий разгром венгерского восстания вызвал полный откат от весенних надежд. Снова, как в 1930-х годах, советские люди должны были высказывать свое осуждение венгерского руководителя Имре Надя и одобрение репрессий, поразивших страну после восстановления режима. Писатели покорно ставили свои подписи под статьей, которая призвана была показать, что в России не может быть подобного инцидента, что интеллигенция полностью поддерживает крайние меры подавления венгерского свободомыслия. Приезжали за подпи-

---

<sup>2</sup> «Труд», 22 декабря 1995 г.

сью и к Пастернаку. Впоследствии долго ходил страшный рассказ, передаваемый шепотом, как Пастернак, вскипев по поводу подобного предложения, спустил пришедших с лестницы. Это обстоятельство усугубило отношение к Пастернаку со стороны властей.

Между тем в Москве подвигалась к концу работа над сборником стихов Пастернака, готовившемся в Гослитиздате. Стихотворный цикл, написанный «для прикрытия» стихов из «Доктора Живаго», включал уже 21 стихотворение. В январе 1957 года сборник был подписан к печати. Его выход в свет ожидался в ближайшие месяцы.

Дружеские отношения Пастернака с Гослитиздатом в лице его директора А.К. Котова, который восхищался его романом и хотел его издавать, после его внезапной смерти в ноябре 1956 года, стали более сдержанными. Отзыв «Нового мира» приобрел характер обязательного для всех политического осуждения идей романа и запрета на его печатание. Выискивались новые способы остановить публикацию в Италии. Договор на издание романа, заключенный в Гослитиздате с Пастернаком 7 января 1957 года, имел двойную цель. Он был как бы продолжением разговоров, начатых Котовым, но ставя автора в договорные условия, давал право издательству диктовать свои требования. Работа с автором была поручена издательскому редактору А.В. Старостину. Руководил этой *работой* главный редактор А.И. Пузиков, который вспоминал потом, как в их желании «совершенствовать произведение» «обнадеживало то, что Борис Леонидович шел навстречу, соглашался с некоторыми замечаниями».

В своих воспоминаниях Пузиков писал далее, что заключение договора было санкционировано «высоким начальством» с целью уговорить Пастернака подписать письмо к Фельтринелли с просьбой остановить издание романа и вернуть рукопись для внесения в нее новых изменений. Это стало условием заключения договора. Пузиков приводит текст телеграммы в Милан, приготовленный им для подписи Пастернаку. Но тот отказался его подписать и предложил свой собственный. В сопроводительном письме Пузикову от 7 февраля он давал четкое понимание фальшивых целей игры.

*«Это я делаю только во исполнение Вашей просьбы, от которой я долго увиливал, так нелегка она и не заключает для меня ничего отрадного. Но и только.»*

*Мне хочется, чтобы Вы знали, что я не только не жажду появления «Живаго» в том измененном виде, который исказит или скроет главное существо моих мыслей, но не верю в осуществимость этого издания и радуюсь всякому препятствию. <...> Телеграмму я должен был составить серьезно, с определенными сроками, а не в виде просьбы «навсегда», потому что хотя она и дается коммунисту издателю, но при этом человеку реальному и деловому, и надо показать, что и просят его о деле.*

*Я прошу о полугодовой отсрочке, в течение которой может выйти советское издание, но спорить о сроках не имеет смысла, так как всё это неосуществимо — противоречивое намерение (издание «Живаго» в Гослитиз-*

дате) и телеграмма только исключительная формальность. Мой ломанный и забытый итальянский язык как раз и подходит к телеграфным сокращениям и может быть понят получателем только в телеграмме».

Пузиков приводит русский текст телеграммы, которая была отправлена 21 февраля 1957 года: «В соответствии с просьбой Гослитиздата, Москва, Ново-Басманная 19, прошу задержать итальянское издание романа Доктор Живаго на полгода, до первого сентября 1957 года и выхода романа в советском издании: ответ надо направить телеграфно в Гослитиздат = Пастернак» (Сб. «Новая Басманная 19», М., 1990. С. 489—492).

За день до письма Пузику, Пастернак имел возможность сообщить Фельтринелли о возникших осложнениях. Свое сообщение он сопровождал просьбой обеспечить также русское издание романа и как можно скорее. Находясь перед угрозой искажения своего текста, он был в высшей степени заинтересован в русском издании, которое бы закрепило правильный текст романа. Он уведомлял, что возникли первые волнения в связи с нежеланием властей издавать роман и нервность по поводу рукописи, переданной в Италию. Он предупреждал Фельтринелли о возможности появления «измененного» текста, отредактированного в Гослитиздате, — это не авторские изменения, и не надо, чтобы Фельтринелли менял свой первоначальный правильный текст.

Это первое возникновение вопроса о «верном» и «неверном» тексте, упоминание угрозы чужого вмешательства и опасности, связанной с публикацией подлинного авторского текста романа.

Одновременно был послан еще один экземпляр рукописи романа во Францию известному издателю Галлимару. Он был дополнительно вычитан автором на опечатки, в отличие от того, который был дан Фельтринелли для перевода. Пастернак надеялся, что по этому тексту удастся сделать русское издание, но Фельтринелли всячески препятствовал этому, боясь потерять копирайт.

Телеграмма от Пастернака с просьбой отсрочить издание до сентября была воспринята итальянским издателем как необходимость ускорить работу над переводом. По договору он имел еще целый год впереди, но теперь понимал, что должен выпустить книгу осенью. Кроме того, даже намеренно оттягивая договорные обязательства с Галлимаром, он получал в нем сильного конкурента и должен был его опередить. Итальянский перевод был готов в середине июня. Свой ответ Гослитиздату Фельтринелли послал 10 июня 1957 года<sup>3</sup>.

К тому времени Пастернак успел предупредить Фельтринелли о нереальности публикации романа в Москве и своей готовности перенести все несчастья, которые выпадут на его долю, ради издания его за границей. Что значила для него публикация романа, он объяснил еще более подробно в записке 25 июня 1957 года итальянскому переводчику Цветеремичу. Он просил также предупредить французских переводчиков и представи-

<sup>3</sup> «Груд», 22 декабря 1995 г.

телей английского издательства Collins: «... чтобы они знали, что не надо задерживать выпуска книг из-за того, какие это может иметь последствия для меня. Я писал роман для того, чтобы он был издан и прочитан и это остается единственным моим желанием».

Тем временем отдельные главы романа стали появляться в польском журнале «Орипие», начавшем выходить в июле 1957 года. Это был перевод стихов из романа и двух сцен: встречи со Стрельниковым в штабном вагоне и последнего свидания с ним в Варькине.

Отделу культуры было доложено об ответе Фельтринелли 1 августа, снова через членов Итальянской компартии предпринимаются попытки предотвратить выпуск романа. Одновременно 13 августа Пастернак получил вызов на заседание секретариата Союза писателей. Вернувшись на прошлой неделе из санатория, где долечивался после двухмесячного пребывания в больнице, он отказался придти, сославшись на нездоровье. Вместо него поехала для объяснений Ольга Всеволодовна Ивинская.

Напуганная разговором с А.Сурковым, она обратилась за помощью к Серджио Д'Анджело. Он вспоминал об этой встрече в «Sundy Telegraph» (may 7, 1961): Ольга предупредила его о начале военных действий против Пастернака в верхних слоях литературных кругов Москвы и просила убедить Фельтринелли принять те изменения текста, с которыми Пастернак, как она обещала, по ее настоянию согласится.

Пастернак описал эти события в письме к Нине Табидзе 21 августа 1957:

*«Здесь было несколько очень странных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах мне недоступных. Видимо Хрущеву показали выборку всего самого неприемлемого из романа. Кроме того (помимо того, что я отдал рукопись за границу), случилось несколько обстоятельств, воспринятых тут с большим раздражением. Тальянти предложил Фельтринелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвет со мной, и действительно так и поступил. Было еще несколько неизвестных осложнений, увеличивших шум.*

*Как всегда, первые удары приняла на себя О.В. Ее вызывали в ЦК и потом к Суркову. Потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал, заседание характера 37 года, с разъяренными воплями о том, что это явление беспримерное, и требованиями расправы, и на котором присутствовала О. Вс. и Анатолий Вас. Старостин, пришедшие в ужас от речей и атмосферы (которым не дали говорить), и на котором Сурков читал вслух (с чувством и очень хорошо, говорят) целые главы из поэмы «Высокая болезнь».*

*На другой день О.В. устроила мне разговор с Поликарповым в ЦК. Вот какое письмо я отправил ему через нее еще раньше, с утра.*

*«Люди нравственно разборчивые никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что*

думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он-то оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и, таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».

Поликарпов сказал, что он сожалеет, что прочел такое письмо и просил О.В. разорвать его на его глазах.

Потом с Поликарповым говорил я, а вчера, на другой день после этого разговора, разговаривал с Сурковым. Говорить было очень легко. Со мной говорили очень серьезно и сурово, но и вежливо и с большим уважением, совершенно не касаясь существа, то есть моего права видеть и думать так, как мне представляется, и ничего не оспаривая, а только просили, чтобы я помог предотвратить появление книги, то есть передоверить переговоры с Фельтринелли Гослитиздату и отправить просьбу о возвращении рукописи для переработки» (Собр. соч. Т. 5. С. 550—551)

Пастернак писал это Нине Табидзе как раз в тот день, когда им была подписана требуемая телеграмма к Фельтринелли. А накануне перед этим состоялся тяжелый и мучительный его разговор с Серджио Д'Анджело. Эту встречу тоже устроила Ольга Ивинская, которая, как вспоминал Д'Анджело, появилась у него вся в слезах. «Власти предложили Пастернаку ультиматум: послать телеграмму Фельтринелли с требованием вернуть рукопись романа, которая требует серьезной доработки. Пастернак отказался подчиниться этому требованию, — сказала Ивинская, и она не может с ним сладить. Она просила меня поехать с ней к Пастернаку и использовать мое влияние, чтобы его убедить.

Моя вторая встреча с писателем была значительно труднее первой. Каждый, кто близко сталкивался с ним, знает, насколько экспансивным и доброжелательным он мог быть, насколько чувствительным и великодушным. Но они также вспомнят гордую силу его характера и приступы гнева и возмущения. Эта сторона в этот раз и проявилась».

Д'Анджело ярко воспроизвел чудовищную сцену насилия над человеческим достоинством и волей Пастернака, объясняемую «благородным» желанием спасти его от страданий. Несмотря на взрыв открытого возмущения с его стороны, их «благотворительная миссия», как называется это Д'Анджело, вполне удалась. Кроме того, что в Пастернаке говорили добрые отношения к участникам, решающими стали слова Д'Анджело о том, что Фельтринелли не обратит никакого внимания на это письмо.

«Никакие чувства дружбы или привязанности, — кричал он на нас, — не могут оправдать эту «благотворительную миссию». Мы оскорбляем и третируем его, — как будто у него не осталось ни грамма чувства собственного достоинства. Больше того, — прибавил он, — что подумает о нем Фельтринелли, которому он только что писал, что публикация «Доктора Живаго» — главная цель его жизни. Фельтринелли решит, что он трус и сумасшедший» («The Sundry Telegraph» may 7, 1961).

*«Я это сделаю, — писал Пастернак о подписи под телеграммой Нине Табидзе, — но, во-первых преувеличивают вредное значение появления романа в Европе. Наоборот, наши друзья считают, — Пастернак здесь ссылаясь на письмо Фельтринелли, посланное в Гослитиздат, — что напечатание первого нетенденциозного русского патриотического произведения автора, живущего здесь, способствовало бы большему сближению и углубило бы взаимопонимание. Во-вторых, вместо утихомиривающего влияния эти внезапные просьбы с моей стороны вызовут обратное действие, подозрение в применении ко мне принуждений и т.д., из меня сделают нечто вроде Зоценки, скандал совсем иного рода и пр. и пр. Наконец, в третьих, никакие просьбы или требования в той юридической форме, какие тут задумывают, не имеют никакого действия и законной силы и ни к чему не приведут, кроме того, что в будущем году, когда то тут, то там начнут появляться эти книги, это будет вызывать очередные взрывы бешенства по отношению ко мне и неизвестно, чем это кончится»* (Собр. соч. Т. 5. С. 551).

Пастернак подписал составленную Поликарповым телеграмму 21 августа, через два дня в письме к Симону Чиковани он так рисовал эти события: *«У меня тут были осложнения с ЦК и с Союзом, во время которых я воочию увидел степень своего значения и измерил свою силу. Это были очень радостные дни, хотя и совершенно очевидно, какие смертельные угрозы и неприятности неизбежно скрывают для меня ближайшие годы. Но только так жить и интересно, и я не понимаю, как можно вообразить себя художником и отделяться дозволенным, а не рисковать крупно, радостно и бессмертно»* (Собр. соч. Т. 5. С. 553).

В августе 1957 года в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Многие из участников фестиваля, приезжали к Пастернаку в Переделкино. В составе небольшой группы сотрудников журнала «Contemporaneo» его навестил молодой итальянский славист Витторио Страда, недавно опубликовавший в этом журнале свою статью о поэзии Пастернака. Гостей пригласили к обеду, в ходе которого оказалось, что Пастернак читал статью Страды и чтобы удовлетворить интерес молодого исследователя к своему творчеству, предложил ему познакомиться с недавно написанным автобиографическим очерком. Рукопись была дана ему на неделю. Перед отъездом в Италию Страда на машине, взятой в Союзе писателей, поехал в Переделкино и вернул ее автору. Они вдвоем прошли в кабинет, где Пастернак попросил Страду передать Фельтринелли следующее: *«Я хочу, — и он это подчеркнул, — чтобы роман был издан в Италии точно по тексту имеющейся у него рукописи»*. Он рассказал, что недавно его вызывал к себе Сурков, ему угрожали, и он вынужден был подписать телеграмму, чтобы остановить итальянское издание. Пастернак настойчиво просил сразу после приезда передать Фельтринелли, чтобы тот не слушался этой телеграммы. (Vittorio Strada. Incontro con Pasternak. Napoli 1990. P 55—59).

Сведения о выходе в Варшаве двух номеров «Opinie» поступили в ЦК только 30 августа. *«Дошли слухи, что в Польше стал выходить роман главами (в журнале) с продолжениями, — писал Пастернак в тот же день Нине*

Табидзе. — *Новая волна бешенства, новые вызовы О.В. в ЦК. Не думайте, Нина, догадываться, кто бы это мог быть, я ничего не знаю. Тучи все копятся и будут копиться все больше. Совершенно нельзя сказать, к чему это приведет и чем обернется*» («Дружба народов». 1996, № 7. С. 214). Вероятно с Ивинской, которая стала вдохновителем и координатором «деловой» переписки Пастернака, он послал письмо Поликарпову, где изложил свои соображения по поводу издания романа за границей. Со всем достоинством человека, сознающего свою правду, он открыто обращался к нему, рассчитывая на здравое понимание:

*«Было наивно думать, что двенадцать лет (1945—1957) замалчивания меня сотрут след моего существования. Этими мерами достигнуто обратное.*

*Телеграммы, которые в предложенном мне виде я подписал, вызывают мое сожаление не только потому, что я это сделал нехотя и скрепя сердце, но и оттого, что шум, которого желают избежать и которого появление романа нисколько бы не вызвало, подымется только теперь в результате запретительных мер.*

*Я ничего хорошего впереди себя не вижу. Недоразумения в отношении меня будут множиться — отзываться на мне все губительнее и острее, влечь ко мне нежелательное сочувствие.*

*Как можно думать, что в век Туpoleвского реактивного самолета, телевизоров, радиолокации и пр, в мире, связанном современными средствами сообщения, взаимным интересом народов друг к другу, именно духом мира и дружбы и т.д. — о котором столько говорилось на Фестивале, — чье бы то ни было горячее и сосредоточенное творчество может быть утаено от мира простую укупоркой при помощи пробки на подобие бутылки.*

*Не только в Польше и других странах отрывки станут известны повсюду без моих усилий... Есть только один путь к успокоению: успокоиться самим и оставить в покое меня и эту тему».*

В ответ на обвинения в предательстве, в котором упрекал Пастернака Поликарпов, он писал: *«Прочсть роман и не усмотреть в нем горячей любви к России невозможно».*

Он категорически отказывался писать вслед за телеграммой *«разгневанное письмо»* издателям, ссылаясь, что еще в 1940-х годах *«при силе Сталина»* он не соглашался писать такие письма англичанам и чехам, которые его издавали, и вину за это перекладывал на политику, которая закрыла для него все возможности издаваться на родине.

*«В чем-то (не со мной, конечно, что я, я малая песчинка) у нас перемудрили, — заканчивал он письмо.— Где тонко, там и рвется. Я рад быть поговорке этой ниткой или одной из этих ниток, но я живой человек и, естественно мне страшно того, что Вы мне готовите. Тогда Бог Вам судья.*

*Все в Вашей воле, нет ничего в наших законах, что бы я мог ее неограниченности противопоставить»* (РГАЛИ, ф. 379).

В середине сентября в Москву в составе официальной делегации, приглашенной Союзом писателей, приехал Пьетро Цветеремиш. Сразу по приезде с ним завели разговор о необходимости отказаться от перевода

«Доктора Живаго». В ВОКСе ему передали напечатанное на машинке письмо с той же просьбой, якобы написанное Пастернаком и датированное 19 сентября 1957 года. Бюрократический безликий язык послания с головой выдавал подделку. После чего Цветеремиш, не известив никого из сопровождающих лиц, поехал в Переделкино и увиделся с Пастернаком. Он многое узнал о тех мытарствах, которые тому пришлось пережить. Вернувшись в Рим в конце сентября, он 5 октября писал Фельтринелли о своей поездке и свидании с Пастернаком.

Вскоре стало понятно, что телеграммы, столь хитроумно задуманные, не возымели действия и «Доктор Живаго» вскоре появится в печати. Для предотвращения издания в Италию поехал Сурков. С текстом нового письма в руках в качестве друга Пастернака, заботящегося о его авторском праве на доработку «недописанного» произведения, он встретился с Фельтринелли, чтобы убедить его вернуть рукопись и остановить издание. Фельтринелли проявил непреклонную твердость, говоря, что знает, как делаются такие письма и не верит им<sup>4</sup>. В ответ Сурков пригрозил, что упорство издателя может оказаться роковым для автора.

Фельтринелли широко рассказывал об этом визите журналистам, о том, как были испуганы его сотрудники, слыша громовый голос Суркова, раздававшийся по этажам. Говорил, что несмотря на настойчивость Москвы, он не согласен нести убытки, так как в предвидении больших тиражей обновил оборудование типографии.

Одновременно предпринимались попытки остановить издания в Англии и Франции через торговых представителей. Оба получили неутешительные известия о невозможности расторгнуть договорные отношения с Фельтринелли.

В Москве в это время продолжали сочинять «гневные» обращения к французскому и английскому издателям романа. В архиве Галлимара сохранилась следующая телеграмма, датированная 8 октября 1957 года:

*«Мне стало известно, что итальянский издатель Фельтринелли без моего ведома и согласия передал вашему издателю фотокопии рукописи предварительного варианта неоконченного романа Доктор Живаго. Не вдаваясь в оценку поступка господина Фельтринелли, я как автор рукописи решительно возражаю против издания неоконченной книги в каком бы то ни было издательстве. Соблаговолите возвратить мне пересланную вам господином Фельтринелли фотокопию рукописи Доктора Живаго. Б. Пастернак».*

Коллинзу был послан аналогичный текст: *«В процессе дальнейшей работы пришел к заключению, что написанное нельзя считать законченным произведением. Находящийся у вас экземпляр рассматриваю как нуждающийся в серьезном совершенствовании предварительный вариант будущего произведения».*

Сохранились также другие, более распространенные машинописные варианты обращений к Коллинзу и Галлимару. На одном из них красным

<sup>4</sup> Из записки О.К. 16 ноября 1957 г. — «Труд», 22 декабря 1995 г.

карандашом почерком измученного человека Пастернак надписал: «Текст письма составлен в ЦК, угрожали жизнью» (РГАЛИ. ф. 389)

Вскоре была получена телеграмма от Галлимара: «К сожалению не можем вам вернуть фотокопию рукописи, нам выданную господином Фельтринелли. Она принадлежит ему. Что касается ее применения на французском языке мы будем во всем следовать указаниям господина Фельтринелли, с которым мы юридически связаны. Он же владеет всеми иностранными правами вашего романа = Галлимар».

Английское письмо Коллинза сохранилось в переводе Пастернака. Оно было послано на адрес Союза писателей.

«Издательство Коллинз 6 ноября 1957. Лондон. Борису Пастернаку Союз советских писателей Москва. Дорогой господин Пастернак, настоящим подтверждаю получение вашей телеграммы относительно Вашего романа Доктор Живаго. Что касается положения с книгой, то дела зашли слишком далеко, чтобы мы могли отказаться от выпуска книги, которая, надеемся выйдет в самом начале нового года. Я должен заметить, что мы по контракту обязаны издать книгу и что мы заплатили значительные задатки по ней, которые можем возместить только ее продажей.

Если бы однако Вы пожелали написать предисловие к роману, устанавливающее ваше отношение к нему, мы были бы только счастливы издать его вместе с книгой.

Мне едва ли надо добавлять, что как литературное произведение «Доктор Живаго», по нашему, едва ли нуждается в отделке, и наша величайшая задача будет состоять в том, чтобы воспроизвести его по-английски в достойном его переводе. Как переводчик с таким большим опытом и мастерством, Вы сами, я знаю, согласитесь с тем, как трудна наша задача.

Искренне ваш В.А.Р. Коллинз (директор)». (РГАЛИ. ф. 379)

Ответы Пастернак посылал с оказией. Поблагодарив Галлимара за телеграмму «с хитро составленным текстом» (Галлимар не получал фотокопии от Фельтринелли, работа над переводом делалась по рукописи, привезенной Жаклин де Пруаяр), Пастернак предупреждал его и Коллинза, чтобы они воздерживались от переписки с ним и не верили его русским телеграммам. Если он захочет что-то сообщить или спросить, он воспользуется своим плохим французским или английским языком.

*«Как я счастлив, — писал Пастернак 3 ноября 1957 года Жаклин де Пруаяр, — что ни Галлимар, ни Коллинз не дали себя одурачить фальшивыми телеграммами, которые меня заставляли подписывать, угрожая арестовать, поставить вне закона и лишить средств к существованию, и которые я подписывал только потому, что был уверен (и уверенность меня не обманула), что ни одна душа в мире не поверит этим фальшивым текстам, составленным не мною, а государственными чиновниками и мне навязанными. И под прикрытием какого нравственного благородства! Мне внушали, чтобы я в этих подлых телеграммах просил издателей вернуть мне рукопись романа только для стилистической доработки и больше ничего! Видели ли Вы когда-нибудь столь трогательную заботу о совершенстве произведения и*

*авторских правах? И с какой идиотской подлостью все это делалось? Под гнусным нажимом меня вынуждали протестовать против насилия и незаконности того, что меня ценят, признают, переводят и печатают на Западе»* («Новый мир». 1992, № 1. С. 137).

Фельтринелли ответил 10 октября 1957 года на адрес Союза писателей. Он приводит полностью текст телеграммы, полученной из Москвы. За этим следует мнение издательства, что они не нашли в тексте романа следов того, что позволило бы его считать «незаконченным произведением» и «предварительным вариантом, будущего произведения, нуждающегося в серьезном совершенствовании». Кроме того Фельтринелли добавлял, что эта телеграмма вызывает напряжение в литературных кругах Запада и показывает, что назревает политический скандал, создаваемый функционерами из Союза писателей и их желанием задержать издание.

Не получив еще этого письма, Пастернак передавал через Серджио Д'Анджело, чтобы Фельтринелли не реагировал на подложные телеграммы. Сохранились черновики его записки к Д'Анджело, датированные 22 октября 1957 года:

*«В отношении Ф. у меня к Вам две просьбы: 1) Чтобы на эту возмутительную, основанную на неслыханном издевательстве надо мной переписку (принуждают угрозами смерти и ареста и заставляют изображать мое «недовольство» Ф. в качестве личного дела свободного человека, в которое власти как бы не вмешиваются и о котором якобы не знают), чтобы на эту переписку Ф. совершенно не отвечал ни слова и ее абсолютно игнорировал.*

*Можно ли участвовать в такой подлой двойственности и насмешке над душой, совестью и жизнью человека, всем всем самым святым! Я сам все усилия употребляю, чтобы этот дешевый и отвратительный спор по мере возможности прекратился.*

*2) Чтобы Ф. позаботился, как бы эта фиктивная игра якобы «моей волей» никого не запутала, чтобы нигде на нее не обращали внимания и чтобы везде книги вышли как можно скорее»* (РГАЛИ. ф. 389).

Первые экземпляры «Доктора Живаго» появились в Милане 23 ноября. Фельтринелли дал интервью газете Nuova Stampa. В ответ на вопрос корреспондента о том, чем он руководствовался, считая посланные ему телеграммы подложными и не соответствующими авторской воле, он процитировал слова Пастернака из письма к нему, написанного 30 июня 1956 года:

*«Если обещанная многими журналами публикация романа здесь задержится и Вы ее опередите, положение мое будет трагически трудным. Но мысли рождаются не для того, чтобы их таили или заглушали в себе, но чтобы быть сказанными».*

«Судьба высказанных в романе мыслей, — прибавлял Фельтринелли, — важнее автору, чем его собственная судьба».

С заявлением о выходе романа выступила французская газета «Combat» 24 ноября 1957. Ссылаясь на интервью Фельтринелли, она повторяла его слова о том, что он публикует книгу вопреки неодобрению своей

партии и вынужденным протестам Пастернака. Он считает, что Пастернак хотел написать искреннюю книгу, не восставая против основ советского строя.

Сразу после выхода романа в Италии Отдел культуры ЦК решил устроить встречу Пастернака с иностранными журналистами. Предполагалось привезти его в Комитет по культурным связям для того, чтобы он выразил свой протест против публикации «неоконченного» произведения. Поликарпов вновь вызывал его к себе, но тот категорически отказался выступать в задуманном спектакле. Орудием воздействия служили обещания наладить нормальный заработок, пустить остановленные издания. Встреча состоялась 17 декабря 1957 года на даче Пастернака в Переделкине.

На следующий день газета «Le Monde» сообщала, что группа западных журналистов посетила Пастернака, который сказал:

*«Я сожалею, что мой роман не был у нас издан. Но принято считать, что он несколько отходит от официальной линии советской литературы. Моя книга подверглась критике, но ее никто даже не читал. Для этого использовали всего несколько страниц, выдержек, отдельные реплики некоторых персонажей и сделали из этого ошибочные выводы».*

Вынужденные уступки, сделанные в этих ответах журналистам, мучили Пастернака. Он объяснял Жаклин де Пруаяр 19 января 1958 года:

*«В этих интервью я вынужден был согласиться с тем, что подписи под телеграммами с просьбой о возвращении рукописи были подлинными, что, стиснув зубы и вопреки своему сердцу, я должен был поддаться идее «пересмотра» работы и ее «улучшения». Но, — добавлял я, — невыполнение просьбы ни в коем случае не трагедия, и я не собираюсь оспаривать текст, если он будет напечатан по рукописи».*

Одновременно Пастернак предупреждал своих французских переводчиков о намерении «Международной книги» вмешаться в ход французского издания «Доктора Живаго» и подать в суд на Галлимара.

*«Если эта новая попытка «Международной книги» возбудит процесс опирается на наиболее либеральные статьи французского авторского права (какая наглость пользоваться самыми свободными возможностями законодательства для крючкотворских уловок полного порабощения духа!), пусть Галлимар привлечет Фельтринелли в качестве свидетеля защиты перед судом. Он сумеет опровергнуть эти построения, обстоятельно опираясь на свой собственный опыт и не слишком касаясь меня. Я поручаю ему также рассказать, каким образом, желая заранее обезопасить себя от всякого постороннего вмешательства в мои планы, я его предупредил, чтобы он не обращал внимания на все, что я должен буду сказать ему против единственного и неизменного желания всей моей жизни (видеть «Живаго» напечатанным), и чтобы он знал, что все противоречащие этому проявления будут ложными документами, полученными под давлением, не важно, грубым ли или мягким» («Новый мир». 1992, № 1. С. 140—141).*

Как показывают материалы архива ЦК, это письмо Пастернак написал сразу после категорического отказа дать «Международной книге» право

выступать от его имени и получить от него письменные претензии к французскому издателю романа. Он сослался на октябрьский ответ от Галлимара и резко оборвал все попытки «защитить его авторские права».

Вопреки предчувствиям Пастернака, зима прошла достаточно спокойно. Весной он снова тяжело заболел, триумфальное шествие романа пришлось на лето, на мертвый каникулярный сезон. Французский перевод вышел в июне, в августе — английский, немецкий, датский, шведский — осенью. В газетах появлялись отзывы и интервью, описания встреч с ним в Переделкине. Невероятно выросла его переписка с границей. Количество писем достигало нескольких десятков в день, и ни одно не оставалось без ответа. Быстрее всего и почти без потерь доходили до адресатов открытки Пастернака, написанные на одном из трех иностранных языков бисерным почерком с двух сторон и без подписи. Имена собственные в них, названия издательств и романа обозначались первой буквой. Прочсть их составляло определенный труд, что по-видимому и давало им возможность беспрепятственно пересекать границу.

Осенью появился новый повод для волнений в ЦК. Дело в том, что с 1946 года Пастернак семь раз выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию по литературе. Об этом ходили разговоры в Москве и Ленинграде. Ольга Фрейденберг спрашивала своего двоюродного брата, правда ли это? *«Я скорее опасался, — отвечал ей Пастернак в письме 12 ноября 1954 года, — как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь, опять-таки, не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклой, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому Бог миловал — эта опасность миновала. Видимо предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, так рассказывают. Потом люди слышали по ВВС, будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласия правительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят»* (Собр. соч. Т. 5. С. 534—535).

Лауреат 1957 года Альбер Камю посвятил Пастернаку несколько значительных слов в своей Нобелевской речи. Летом 1958 года он прочел «Доктора Живаго» и обменялся с Пастернаком своей радостью по поводу того, что нашел в нем ту Россию, которая «вскормила и укрепила» его, всем обязанного русскому XIX веку (Canadian Slavonic Papers. 1980, 12 июня). В 1958 году А. Камю предложил его кандидатуру на премию. Пастернак считал, что и в этот раз ему ее не присудят и в письме от 30 июля 1958 года объяснял Элен Замойской:

*«Что касается Нобелевской премии, то я уверен в несбыточности этой опасности, потому что обычно действия комитета включают запрос*

к правительству, в подданстве которого находится обсуждаемая личность и о кандидатуре которой спрашивают согласия. А в моем случае этого никогда не будет» («Знамя». 1997, № 1. С. 125).

Слухи об обсуждении кандидатуры Пастернака дошли до Москвы в сентябре 1958 года (см. письмо Б. Полевого — «Континент». № 83. С. 193—194). Чтобы избежать скандала, Союз писателей предложил срочно издать «Доктора Живаго» маленьким тиражом с оповещением в печати, чтобы лишить возможности западную прессу поднимать шум по поводу публикации запрещенного в СССР произведения, но инструкторы Отдела культуры Ярустовский и Черноуцан нашли такое предложение «нецелесообразным». М.А. Сусловым и Поликарповым была разработана подробная, «строго секретная», программа действий в случае присуждения премии Пастернаку («Источник». С.103—104). Почти все намеченные пункты вскоре были выполнены послушными исполнителями. Вот только сорвалось участие Всеволода Иванова, который, услышав поздно вечером 23 октября о присуждении Пастернаку премии, радостно кинулся поздравлять его: «Ты лучший поэт эпохи и действительно по полному праву заслужил любую премию мира» («Воспоминания о Пастернаке». 1993. С. 255). На следующий день, когда Иванов получил повестку на президиум правления Союза писателей, то потерял сознание и упал и всю неделю пролежал в постели в тяжелом состоянии.

Пастернак тоже не так сыграл предназначенную ему в этой программе роль. Вместо решительного отказа от премии, который предполагался по плану Поликарпова, он в день ее присуждения послал в Стокгольм благодарственную телеграмму, а потом, когда его все-таки вынудили отказаться от нее, сделал это не тогда и не так, как ему предписывалось, и тем сорвал весь эффект.

Напротив Константин Федин полностью оправдал высокое доверие и с готовностью выполнил возложенную на него задачу. Записка Поликарпова М.А. Сулову фиксирует его разговор с Пастернаком, состоявшийся 24 октября 1958 года. Придя к Пастернаку, Федин потребовал от него немедленного, демонстративного отказа от премии, угрожая завтрашней травлей в газетах. Тот ответил на это, что ничто не заставит его плевать в лицо оказавшему ему высокую честь, он уже послал телеграмму Нобелевскому комитету и не хочет выглядеть неблагодарным обманщиком. Федину также не удалось уговорить его пойти вместе к нему на дачу, где их ждал Поликарпов. «Поликарпов уехал взбешенный», — рассказывал Федин в тот день Корнею Чуковскому («Воспоминания о Пастернаке». С. 277).

В докладной записке Поликарпов деликатно описал свою неудачу: «По началу Пастернак держался воинственно, категорически сказал, что не будет делать заявления об отказе от премии и могут с ним делать все, что захотят. Затем он попросил дать ему несколько часов для обдумывания позиции». Федин был вынужден уйти ни с чем, хотя некоторую надежду он питал еще на «здравый смысл» их общего друга и соседа Всеволода

Иванова, к которому он послал Пастернака посоветоваться («Литературная газета», 26 февраля 1992; «Континент». С. 195, ошибочно датирована 23 октября).

Тамара Владимировна Иванова, перед этим известившая Феина (у того не было телефона), что к нему выезжает Поликарпов, вспоминала, что его беседа с Пастернаком длилась не более пяти минут. После ухода Феина к ним сразу вбежал запыхавшийся Пастернак, испуганный не столько «ультиматумом», сколько тем, что Феин «приходил впервые к нему не как друг, а как официальное лицо». Ему было дано два часа на размышления, но после слов Всеволода, чтобы он поступал, как хочет, и никого не слушал, — он быстро убежал домой («Воспоминания о Пастернаке». С. 255).

В этот день были именины его жены Зинаиды Николаевны, среди гостей были иностранные журналисты и фотокорреспонденты, приходили многочисленные поздравительные телеграммы из-за границы. Кроме появления Феина, праздник был омрачен также принесенной вскоре повесткой из Союза писателей с вызовом на завтрашнее экстренное заседание. Чуковский заметил, как потемнело при этом лицо Пастернака, он схватился за сердце и с трудом поднялся к себе в кабинет. Чуковский посоветовал Пастернаку тут же написать письмо Е.А. Фурцевой, но концовка письма, по его мнению, могла только испортить дело. Оно не было отправлено по назначению. Пастернак писал: «... Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. Мне кажется, что честь оказана не только мне, а литературе, к которой я принадлежу, советской литературе... Кое-что для нее, положив руку на сердце, я сделал. Как ни велики мои размолвки с временем, я не предполагал, что в такую минуту их будут решать топором. Что же, если Вам кажется это справедливым, я готов все перенести и принять... Но мне не хотелось, чтобы эту готовность представляли себе вызовом и дерзостью. Наоборот, это долг смирения. Я верю в присутствие высших сил на земле и в жизни, и быть заносчивым и самонадеянным запрещает мне небо. Борис Пастернак» (РГАЛИ. ф. 389).

В 1988 году в «Огоньке» (№ 37. С. 30) были опубликованы факсимиле нескольких стадий стилистической работы секретаря правления Союза писателей Г.М. Маркова над текстом повестки, посланной Пастернаку: от чернового автографа и машинки с правкой до двух окончательных редакций, подписанных адресатом с извинениями по поводу невозможности присутствовать: «Мне стало сейчас, в 18 ч. 20 мин. плохо, я не знаю, смогу ли я приехать. Пусть товарищи не сочтут это неуважением. 24 ноября 1958. Б.П.» (почерк сбивчивый и слабый, ошибка в названии месяца тоже говорит сама за себя). На повестке с извещением о заседании 27 октября «по известному вам вопросу» Пастернак писал: «Мне правда нехорошо, при малейшей возможности я приеду. Б. Пастернак».

Но утром 27 октября он все-таки собрался и приехал в город с намерением пойти на заседание. По воспоминаниям Ивинской, она и

находившийся у нее в этот момент Вяч.Вс. Иванов отговорили его, увидев, в каком состоянии он находился. Ею уже были сделаны первые заготовки для обращения Пастернака в президиум правления с использованием первых слов письма к Фурцевой. Отказавшись от помощи, Пастернак сам карандашом быстро написал объяснительную записку из восьми пунктов, которую Вяч.Иванов отвез в Союз писателей на заседание. Оно тянулось чуть не целый день. Председательствовал старый друг Пастернака Николай Тихонов, доклад делал Г.М. Марков, в президиуме сидел Поликарпов. Присутствовавшие в большинстве своем не читали романа, но свое мнение об «антипатриотическом» поступке Пастернака они высказывали достаточно резко. Материалом для обвинений были недавние газетные статьи, случайные воспоминания и адресованное заседанию письмо Пастернака, прочитанное Марковым. К.Я. Ваншенкин вспоминал, что против исключения Пастернака из членов Союза писателей выступил Твардовский. По-видимому, это было на предыдущем заседании 25 октября, а не 27-го. В тот день, вместе с отзывом «Нового мира» 1956 года было опубликовано заявление новой редколлегии, возглавляемой Твардовским, которое рассматривало присуждение Нобелевской премии Пастернаку как «политическую акцию, враждебную по отношению к нашей стране и направленную на разжигание холодной войны». А тут Твардовского уже не было, но незадолго перед голосованием что-то заставило «хмурого, озабоченного» Поликарпова засомневаться в целесообразности исключения Пастернака и, получив подтверждение своим сомнениям у писателей, отсиживавшихся за дверью зала, в коридоре, он отправился звонить Сулову, — но то ли того не оказалось на месте, то ли он получил новое подтверждение немедленно исключать, — вопрос был поставлен на голосование, и решение принято единодушно («Воспоминания о Пастернаке». С. 637).

Письмо Пастернака в президиум Союза писателей было зачитано еще раз на состоявшемся 30 октября Московском собрании писателей. Гордая и независимая позиция несломленного человека, логика здравого смысла и благородство, которые тогда все старались подавить в себе в самом зачатке, вызывали злобное раздражение у его коллег, увидевших в письме лишь «возмутительную наглость и цинизм»<sup>5</sup>. В течение многих лет мы в различных архивах искали текст этого письма, изъятого из всех документов и стенограмм писательских собраний и по-видимому уничтоженного. Большой радостью было узнать о его машинописной копии, сохранившейся в президентском архиве:

*«Я думаю, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России, и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался.*

<sup>5</sup> Из записки О.К. 28 октября 1958 г. — «Труд», 22 декабря 1995 г.

*По поводу существования самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью. Что же касается денежной стороны, я могу попросить Шведскую академию внести деньги в фонд Совета Мира, не ездить в Стокгольм за ее получением, или вообще оставить ее в распоряжении шведских властей. Об этом я хотел бы переговорить с кем-нибудь из наших ответственных лиц, быть может с Д.А. Поликарповым, спустя недели полторы — две, в течение которых я приду в себя от уже полученных и еще ожидающих меня потрясений.*

*Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много!! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит» («Континент». С. 196—197).*

Жалобы на плохое самочувствие, помешавшее Пастернаку приехать на собрание, стали причиной появления на его даче литфондового врача. Перебои седцебиения, повышенное давление и онемение левой руки врач сочла следствием переутомления и велела ему воздерживаться от занятий. Но именно для того, чтобы поддерживать в себе силы и не поддаваться усиленно нагнетаемому страху («чтобы не сойти с ума», — как он писал Ж. де Пруаяр), он в эти дни помногу работал, переводил трагедию Ю. Словацкого «Мария Стюарт» и не хотел от этого отказываться.

В воспоминаниях О.В. Ивинской ярко описывается ее свидание с Фединым, ставшее содержанием его письма к Поликарпову 28 октября 1958 года. В нем очень важно признание Ивинской, что «она готова составить «любое» письмо кому только можно, и «уговорить» Пастернака подписать его» («Континент». С. 202—203).

Отсюда протягиваются прямые аналогии с «благотворительной миссией» августа 1957 года и подписями под телеграммами с требованием остановить издание «Доктора Живаго». И конечно — к проблеме авторства писем к Хрущеву и в «Правду».

Ничего не зная о состоявшемся разговоре Ивинской с Фединым, утром следующего дня Пастернак отправил телеграмму в Стокгольм с отказом от Нобелевской премии: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ».

Этот поступок напрямую соотносился с самоубийственными настроениями предыдущего дня и был сделан в приступе отчаяния, последовавшего непосредственно после телефонного разговора с Ивинской. Как она рассказывала нам в 1964 году, — встревоженная известиями из Гослита, где ей отказали в обещанном заказе на переводы, она в ответ на его утешительные слова, резко сказала Пастернаку: «Тебе ничего не будет, а от меня костей не соберешь». Она имела в виду угрозы своего повторного ареста, которыми ее шантажировали в КГБ, куда в это время регулярно ходила на вызовы то по поводу сына, то дочери, о «воспитании» которых

тревожились «органы» (О. Ивинская. В плену времени. Париж, 1978. С. 314, прим.).

Бросив телефонную трубку, Пастернак побежал на телеграф. Кроме телеграммы в Нобелевский комитет, он отправил еще другую — в ЦК Дмитрию Алексеевичу Поликарпову: *«Благодарю за двукратную присылку врача отказался от премии прошу восстановить Ивинской источнику заработка в Гослитиздате. = Пастернак»* (РГАЛИ. ф. 379).

Но подобный отказ от премии не устраивал никого, — ни в Кремле, ни в Союзе писателей никто его не заметил. Намеченная программа «гнева и возмущения» шла своим чередом. Эта жертва никому не была нужна.

Об этом говорит также отчет партбюро Литературного института о заседании, состоявшемся на следующий день, 30 октября 1958 года («Континент». С. 204—205). На нем были одобрены решение президиума Союза писателей об исключении Пастернака и инициатива студентов, обратившихся с требованием «сурового наказания изменнику нашей Родины». По поводу упоминаемых в отчете молодых поэтов Юрия Панкратова и Ивана Харабарова из воспоминаний Евтушенко известно, что напуганные этой студенческой «инициативой», они приходили к Пастернаку советоваться по поводу подписи под письмом. Когда тот «разрешил им предать себя», то с грустью увидел, как взявшись за руки и подпрыгивая от радости, они бежали от него по дорожке к воротам («Воспоминания о Пастернаке». С. 644).

Вероятно, вскоре после телеграммы с отказом от премии Пастернак послал открытку в Париж Жаклин де Пруаяр, своей поверенной в делах, с просьбой поехать в Стокгольм в день вручения премии 10 декабря и уполномочивал ее, пользуясь его старой доверенностью, принять участие в церемонии и выступить с ответной речью. Открытка была задержана, и через некоторое время о ней и о поручении Пастернака принять премию отчитывался в своей докладной записке председатель Комитета госбезопасности А. Шелепин («Источник» С. 108).

Пастернак не читал газет, но от близких знал, сколько ненависти и грязи выплескивалось в эти дни на их страницы. *«Перед тем, как придти к вам, мне нужно принимать ванну: так меня обливают помоями»*, — записал Вс. Иванов его слова. О поднявшейся за границей волне выступлений в его поддержку и защиту Пастернак ничего не знал. Его переписка была блокирована, и узнать об этом было неоткуда.

Некоторое представление о лавине обращений, которые в сущности и защитили Пастернака от ареста или высылки за границу, могут дать имена Джона Стейнбека, Э. Хемингуэя, Джона Пристли, Олдоса Хаксли, Франсуа Мориака, Альбера Камю, Жоржа Дюамеля, Андре Моруа, Жюлья Ромена, Альберто Моравиа, Халдора Лакснесса, Говарда Фаста и Джавахарлала Неру. Причем последний, как нам рассказывал Илья Эренбург, бывший в это время в Швеции, согласился возглавить движение в защиту Пастернака и лично звонил Хрущеву.

Случайно доходившие отголоски бури, разразившейся в эти дни в мировой прессе, не могли заглушить более близких и все более настой-

чивых разговоров о готовящемся лишении Пастернака гражданства и высылке из страны. Впервые это требование прозвучало на собрании президиума Союза писателей 25 октября 1958 года из уст Н. Грибачева и С. Михалкова, поддержанное Верой Инбер. Еще более отчетливо оно было высказано в выступлении В. Семичастного на пленуме ЦК Комсомола 29 октября и приобрело форму прямого обращения к правительству на Общемосковском собрании писателей 30 октября. В бумагах О. Ивинской, которая была в курсе этих переговоров и контролировала переписку Пастернака, оставая себе копии, а иногда и оригиналы его писем, сохранились наброски письма Пастернака с благодарностью за мягкую форму изгнания с разрешением на выезд с семьей и просьбой выпустить вместе с ним его близкого друга О.В. Ивинскую с детьми, «в разлуке с которой, в неуверенности в судьбе которой и в страхе за которую, существование мое немислимо» (РГАЛИ. ф. 379).

Там же имеется машинопись «письма Пастернака» к Хрущеву с его замечаниями синим и красным карандашом на полях. Он просил Ольгу Всеволодовну заменить «в вашем письме» абзац: *«Я являюсь гражданином своей страны...»* словами: *«Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее».*

В конце страницы его синим карандашом вычеркнуто: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносильен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры» и написано: «Я это обещаю. Но нельзя ли на это время перестать обливаться грязью». Эти слова Пастернака зачеркнуты чужой рукой простым карандашом.

История появления этого письма описана в книге О. Ивинской, однако «молодой адвокат Зоренька Гримгольц» (в действительности Грингольд), которого мемуаристка называла провокатором, решительно отрицал какую-либо свою причастность к нему. Идею письма «кому угодно» с обещанием «уговорить» Пастернака его подписать Ивинская выдвигала еще в своем разговоре с Фединым 28 октября. О коллективном авторстве письма к Хрущеву вспоминает также Вяч.Вс. Иванов. Вызвав его срочно к себе, Ивинская сообщила, что, по словам адвокатов по авторским правам, если Пастернак не напишет сейчас же «письма с покаяниями», желательное содержание которого ей было подсказано, — то его вышлют за границу. Формулировки письма, по его рассказу, принадлежали главным образом Ольге Всеволодовне и А.С. Эфрон, Вяч. Вс. их только записывал. Потом вместе с дочерью Ивинской Ириной они поехали в Переделкино к Пастернаку, взволнованному мыслью о неминуемой высылке. Поверх отпечатанного на машинке текста он на глазах Вяч. Иванова внес описанные нами выше замечания, после чего письмо было передано Ирине и срочно отвезено обратно в Москву («Доктор Живаго». С разных точек зрения. М., 1990. С. 111—112).

Так что включать этот текст в собрания сочинений, как это сделали в Америке и во Франции, и публиковать его в сборниках как «письмо Пастернака» абсолютно неправильно. В его лексике несомненно исполь-

зованы отдельные выражения Пастернака, в частности, взятые из его письма к Фурцевой, написанного 24 октября и вставлена вписанная им фраза, но этим его участие ограничивается. О.В. Ивинская действительно уговорила его подписать письмо, машинописный текст с его подписью имеется в архиве ЦК («Источники», С. 105), но это такая же вынужденная подпись, как и под письмами к Фельтринелли или Галлимару, которые рассылались в августе 1957 года Отделом культуры ЦК.

Письмо Хрущеву однако не сняло угрозы высылки, напротив, в Заявлении ТАСС, сопровождавшем его публикацию, речь шла о том, что Пастернака беспрепятственно выпустят из страны «для получения присужденной ему премии». И это при том, что ТАСС не могло не знать, что Пастернак уже отказался от нее! Предложение «лично испытать прелести капиталистического рая» самой своей формулировкой ясно предполагало нежелательность его возвращения<sup>6</sup>. Теперь мы хорошо знаем, как через какие-нибудь десять лет поездки за границу с благословения властей мгновенно оборачивались лишением гражданства, разлукой с родными и невозможностью вернуться назад.

Происхождение следующего «письма Пастернака» в редакцию газеты «Правда» сложнее, чем описывает это Ивинская в своей книге. Несколько иная версия ее воспоминаний записана в «Огоньке» и передает историю этого письма по-видимому более точно: «Борис Леонидович написал — сначала это было отнюдь не покаянное письмо. Потом над ним сильно потрудились, так что получилась ложь и признание вины. Да еще подчеркнуто добровольное» (1988, № 37, с. 31).

Среди бумаг Ивинской сохранились черновики этого письма: первоначальный автограф Пастернака, машинопись Поликарпова с заметками на полях и отдельными абзацами, написанными рукой Пастернака, приклеенными на листы машинописи и оторванными. В предложенном Пастернаком тексте было:

*«В продолжение бурной недели я не подвергался судебному преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Если благодаря посланным испытаниям я чем и играл, то только своим здоровьем, сохранить которое помогли мне совсем не железные запасы, но бодрость духа и человеческое участие. Среди огромного множества осудивших меня, может быть, нашлись отдельные немногочисленные воздержавшиеся, оставшиеся мне неизвестными. По слухам (может быть, это ошибка) за меня вступились Хемингуэй и Пристли, может быть, писатель-траппист Томас Мертон и Альбер Камю, мои друзья. Пусть воспользовавшись своим влиянием, они замнут шум, поднятый вокруг моего имени. Нашлись доброжелатели, наверное, у меня и дома, может быть, даже в среде высшего правительства. Всем им приношу мою сердечную благодарность.*

*В моем положении нет никакой безвыходности. Будем жить дальше, деятельно веруя в силу красоты, добра и правды. Советское правительство*

<sup>6</sup> «Правда», 2 ноября 1959 г.

*предложило мне свободный выезд за границу, но я им не воспользовался, потому что занятия мои слишком связаны с родною землею и не терпят пересадки на другую».*

В отдельной записке, адресованной Поликарпову, Пастернак отказывался от участия в пресс-конференции, на которой тот настаивал, просил восстановить блокированную переписку и выражал сомнение в реальности данных ему накануне обещаний (РГАЛИ. ф. 379).

«Обещания», которыми соблазнял Поликарпов Ивинскую и Пастернака, оказались чистой ложью. Переиздание «Фауста» вышло уже после смерти Пастернака, а деньги в Гослитиздате за сданные по договору «Марию Стюарт» Словацкого, так же, как и за книгу стихов и переводов, вышедшую в Тбилиси, были выплачены только через год.

Публикация в газетах покаянных писем Пастернака должна была спустить на тормозах разбушевавшуюся «ярость масс», требовавших суровой кары «предателю». Резкий спад кампании был вызван реакцией западной прессы, впервые с таким подъемом бросившейся на защиту русского писателя. Это скоро стало ясно тем, кто еще не забыл страшные дни нешуточной угрозы, встававшей тогда во всей реальности недавнего сталинского прошлого.

Но прекращение газетной кампании никоим образом не означало прощения. Были полностью остановлены все заработки Пастернака: спектакли, поставленные по его переводам, не шли, издания переводов прекратились, наборы рассыпались в типографии, новым переводчикам заказывались произведения, сделанные в свое время им.

Ивинская вспоминала, как стыдился Пастернак «этих поликарповских писем» и пенял ей на то, что она «заставила» его их подписать. *«Сознайся, — добавлял он, — ведь мы из вежливости испугались!»* (О. Ивинская. В плену времени. С. 335). Чувство стыда за сделанные уступки пробуждало дерзкую решимость.

С возобновлением переписки Пастернак стал получать многочисленные письма с просьбами о помощи. В западной прессе публиковались сообщения об огромных суммах, вырученных за «Доктора Живаго», отголоски которых волновали также Отдел культуры ЦК, желавший прибрать эти деньги к рукам, о чем открыто говорят документы из его архива.

Простые люди за границей не могли понять того, что Пастернак полностью лишен своих гонораров, что он вынужден был в безденежье занимать у знакомых.

Первые шаги по пути поисков справедливости и угрожающие ноты нетерпения звучат в гневном письме Пастернака в Управление авторских прав Г.Б.Хесину от 11 января 1959 года, сохранившемся в копии в Отделе культуры ЦК.

*«Глубокоуважаемый Григорий Борисович! Прошу Вас через посредство отдела по охране авторских прав выяснить, отчего задерживаются и не производятся два платежа.*

1) По тбилисскому Издательству «Заря Востока», за выпущенную ими весной книгу «Стихи о Грузии и грузинские поэты», а также за участие в отдельных переводных изданиях Чиковани, Леонидзе и др., в общей сложности задолженность более 21-й тысячи (без удержания налога), как явствует из октябрьского письма Г.В. Бебутова, главного редактора издательства, которое прилагаю в виде справки. Часть этих денег, в размере пяти тысяч я просил перевести по почте О.В. Ивинской, остальное — на мою сберкнижку.

2) По Гослитиздату, согласно договору № 10876 от 17/Х-58 г. означенная в договоре работа (стихотворный перевод драмы Словацкого) выполнена и сдана около полутора месяцев тому назад.

Вместе с тем остается в силе моя третья просьба, обращенная к Вам в устной форме, выяснить, будут ли действительно давать работы и их оплачивать в виде нужного мне заработка, как о том все время делаются официальные заявления, пока не соответствующие истине, потому что в противном случае мне придется искать иного способа поддерживать существование, одним из которых (путем обмена доверенностями с Хемингуэем, Лакснессом, Ремарком, Мориаком и другими) я Вам назвал.

*Уважающий Вас Б. Пастернак».*

В приложенной к письму записке Поликарпов объясняет поледнюю фразу письма как намерение Пастернака в случае, если ему не будут выплачивать деньги и предоставлять работу, «уполномочить названных в письме буржуазных писателей получать причитающиеся ему деньги за границей, а сам будет получать деньги, причитающиеся этим авторам за их книги, изданные в нашей стране».

Не получая ответа, Пастернак 16 января 1959 года обращается с письмом к Поликарпову. Оно сохранилось в автографе и звучит открытым вызовом обманутого и доведенного до крайности человека:

*« ... помнится я расписывал, что я не подвергался никаким нажимам и притеснениям, что от роскошной поездки (без оставления заложников), любезно предоставлявшейся мне, я отказался добровольно, — я бессовестно врал под Вашу диктовку не затем, чтобы мне потом показывали кукиш. Я понимаю, я взрослый, что я ничего не могу требовать, что у меня нет прав, что против движения бровей верховной власти я козьявка, которую раздавить и никто не пикнет, но ведь это случится не так просто, перед этим где-нибудь об <слово стерто> пожалуют.*

*Я опять-таки понимаю, что если я на свободе и меня не выгнали с дачи, это безмерно много, но зачем в придачу к этим сведениям соответствующим истине, два ведомства Министерство Культуры и Мин-во Ин. дел дают заверения, что я получал и получаю заказы на платные работы. <...>*

*Дело примирения с Союзом писателей Вы выделили как условие существования <...> Зачем я должен быть воплощением благородства и верности честному слову среди сплошной двойственности и притворства. <...> Для восстановления в Союзе достаточно последних слов во 2-м моем письме. Я вообще по глупости ожидал знаков широты и великодушия в ответ на эти письма. Действительно страшный и жестокий Сталин считал не ниже*

своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но разумеется, куда им всем против нынешней возвышенности и блеска. <...> Никому выше Вас я писать не буду, ничего другого предпринимать не стану».

Мы не знаем окончательного вида, в котором это письмо было отправлено; видимо, Пастернака все-таки удалось уговорить написать и «выше». Сохранились сделанные рукою О. Ивинской «заготовки» письма к Хрущеву. По машинописи, вложенной в записную книжку Пастернака, оно было опубликовано покойной М.И. Фейнберг в «Литературной газете». После краткого «вежливого» начала, которое, судя по всему создавалось в соавторстве, вступают громкие ноты обманутого и рассерженного человека:

*«... Суд вынесен о книге, которой никто не знает. Ее содержание искажено односторонними выдержками. Искажена ее судьба. Появлению ее на Западе предшествовали полуторговые договорные отношения с Гослитиздатом на ее цензурованное издание. Но мне не хочется препираться по этому поводу. Раз это не разобрано, значит такой разбор не желателен. Кроме того, такие пререкания повели бы к новым искажениям. В дни потрясений, когда я обращался к Вам за защитой, я понимал, что должен чем-то поплатиться, что в возмездие за совершившееся я должен понести какой-то ощутимый, заслуженный ущерб. Я мысленно расстался со своей самостоятельной деятельностью, я примирился с сознанием, что ничего из написанного мною самим никогда больше не будет переиздано и останется неизвестным молодежи. Это для писателя большая жертва. Я пошел на нее. Но благодаря знанию языков я не только писатель, но еще и переводчик. Я не думал, что эта полуремесленная деятельность, ничего общего не имеющая с кругом личных воззрений и служащая мне средством заработка, будет мне закрыта. Надо попросту желать мне зла, чтобы лишить меня и этой безобидной и безвредной работы. <...> По последствиям я догадаюсь о Вашем решении, они мне будут ответом. Если же они не последуют, даю Вам честное слово, я без чувства личной горечи и обиды приму судьбу и расстанусь с лишними надеждами, как с ненужным заблуждением» («Литературная газета», 5 сентября 1990).*

В это время с особой силой Пастернак ощутил ту ловушку, в которую был загнан, и острая боль по поводу уступки откровенному шантажу, орудием которого невольно стала Ивинская, вылилась в написанном тогда стихотворении «Нобелевская премия».

Я пропал, как зверь в загоне.  
Всюду воля, люди, свет,  
А за мною шум погони.  
Мне на волю ходу нет.

Эпизод с передачей этого стихотворения английскому корреспонденту Энтони Брауну был донесен Отделу культуры ЦК сотрудником МИДа. Несомненна искренность сожалений Пастернака, зафиксированная в

доносе, по поводу публикации стихотворения. Энтони Браун приезжал в Москву как турист и на следующий день после встречи с Пастернаком собирался в Париж, где работал корреспондентом «Daily Mail». Переданные ему автографы трех недавно написанных «Январских дополнений», предназначались для Жаклин де Пруаяр, которая составляла сборник, предполагавшийся к выпуску в голландском издательстве Мутона. Незадолго до этого она получила от Пастернака гослитовскую верстку неизданной в Москве (но и в Гааге тоже) книги. Пастернака рассердили к тому же плохой перевод стихотворения и грубые комментарии, которыми снабдил Энтони Браун его публикацию.

Судя по собранным в архиве ЦК документам, можно говорить о начатой тогда подготовке судебного дела против Пастернака. Об этом говорят докладные записки Комитета государственной безопасности, затребованные Отделом культуры. Они опубликованы в журнале «Источник», 1993 № 4. Вероятно, подобных «донесений», выявляющих связи Пастернака, в КГБ было достаточно, но представленные, касающиеся только нескольких дней середины января 1959 года, — поражают своей непрофессиональностью и неточностью. Связи, история его семьи и литературная биография изложены неверно, с нарушением дат и смещением событий, хотя включенные сюда обрывочные и случайные агентурные сведения 1930—1940-х годов представляют значительный интерес (вкрапление абсолютно неправдоподобных записей легко вычлняется). Существенна информация о задержанных КГБ письмах Пастернака, цитаты и содержание которых приводит А. Шелепин. Собранные и изданные сейчас линии переписки Пастернака должны учитывать приведенные здесь сведения о письмах, пропавших «в ходе контроля за корреспонденцией».

Цитата из перехваченного КГБ письма Пастернака к МакГрегору дает точное представление о его душевном состоянии в это время. Письмо написано 3 января 1959 (дается в переводе на русский): *«Я напрасно ожидал проявления великодушия и снисхождения в ответ на два моих опубликованных письма. Великодушие и терпимость не в природе моих адресатов, оскорбление и уничижение будут продолжаться. Петля неясности, которая все больше и больше затягивается вокруг моей шеи, имеет целью поставить меня в материальном отношении на колени, но этого никогда не будет. Я переступил порог нового года с самоубийственным настроением и гневом»* («Источник». С. 109).

Донесение Шелепина подтверждает наличие магнитофона, записывавшего частные разговоры на даче у Ивинской, и называет причиной ее ареста в 1949 году антисоветские настроения и связь с аферистами. Последние слова докладной записки о «беспокойстве» Пастернака «в связи с ожидаемым приездом английской парламентской делегации» во главе с МакМилланом и его «желании» из опасений «особого интереса к нему со стороны английских корреспондентов» уехать в Тбилиси являются результатом недавнего разговора с Пастернаком, которому в виде приказа было вменено на время приезда английского премьер-министра покинуть

Переделкино. Вопреки доложенному в этой записке, известно, что Пастернак с возмущением отнесся к этому бесцеремонному обращению с ним и новому посягательству на свободу его намерений. Он видел в этом прямое оскорбление и насилие, которому не желал подчиняться. В его планы никоим образом не входила поездка в Грузию или куда-нибудь еще, но Зинаида Николаевна сумела уговорить его и, созвонившись с Ниной Табидзе, повезла в Тбилиси. Вспомним, что подобные мероприятия по «очистке Москвы от нежелательных элементов» на время приездов западных лидеров стали обиходным явлением в 1970-е годы.

Сразу вслед за донесением Шелепина на сцене, как бы из-за его спины, появляется генеральный прокурор Р.А. Руденко, — когда-то обвинитель на Нюрнбергском процессе, не научившем его тому, как с позиций международного права расцениваются репрессивные действия против свободы совести. В его докладной записке ЦК, написанной по законам 1930-х годов, главным доказательством предательства Пастернака оказывается его «осуждение советской общественностью». Угроза лишения гражданства и высылки за границу вновь приобретает «законную» реальность. Основанием для рассмотрения этого вопроса Президиумом Верховного Совета должно было стать представление Генерального прокурора, проект указа прилагался тут же («Источник». С. 109—110).

В Тбилиси Пастернак пробыл две недели, вскоре после своего возвращения он был неожиданно схвачен на улице и насильно привезен на допрос к Руденко. «Стенографическая» запись рисует Пастернака запуганным и податливым («Источник». С. 111—112), что заставляет сомневаться в ее адекватности и противоречит его недавним письмам и поступкам и, в частности, его собственным рассказам об этом разговоре.

Вопреки обязательству «безоговорочно исполнить» пункт о неразглашении тайны допроса, Пастернак на обратном пути в Переделкино рассказывал нам, что был в прокуратуре, где у него потребовали письменного обязательства не встречаться с иностранцами.

*— Но я категорически отказался его дать. Я сказал, что могу подписать только то, что я читал их требование, но никаких обязательств взять на себя не могу. Почему я должен вести себя по-хамски с людьми, которые меня лютят, и расшаркиваться перед теми, которые мне хамят?*

Он просил не рассказывать никому о допросе, потому что обязался хранить тайну. Но следом после нас об этом узнала от него и О. Ивинская. Она записала также веселое согласие Пастернака признать себя «двурушником» (О. Ивинская. В плену времени. С. 313—314). Его шутливое предложение «поставить у дверей конвой» и никого не пускать к нему реализовывалось в регулярном перехвате писем из-за границы и предупреждениями о нежелательных встречах. Как сообщает сохранившаяся в архиве ЦК запись сотрудников МИДа, профессор Стокгольмского университета известный славист Нильс Оке Нильсон был задержан соответствующим «конвоем» на станции Переделкино, и без объяснения причин ему было предложено тут же вернуться в Москву.

Нильсон познакомился с Пастернаком еще прошлым летом и опубликовал в газетах свой разговор с ним. Пастернак рассказывал ему о романе «Доктор Живаго», как об итоговом произведении всей своей жизни, о необходимости для художника жить и свободно развиваться, не становясь рабом своего имени. Нильсон точно передал рассказ Пастернака о его отказе в 1937 году дать подпись под письмом с требованием расстрела генералов, несмотря на просьбы беременной жены, о пробудившейся у него тогда с особенной силой ненависти к кровопролитию, о том, как без его ведома его подпись все-таки попала в газеты, потому что боялись сказать властям о его отказе, о трудности положения, когда заставляют любить то, что ненавидишь, и ненавидеть то, что любишь, и т.д. («Le monde», 8 октября 1958; «The Reporter», 26 ноября 1958).

На дверях дачи Пастернака в Переделкине периодически стали появляться записки с извинениями, что он никого не принимает. Это вполне соответствовало желаниям хозяйки, и действительно — все возроставшее количество посетителей становилось серьезной помехой нормальной жизни и работе. Записки приходилось заменять новыми, потому что гости часто брали их себе как автографы. В письмах Пастернак отговаривал своих друзей от желания увидеться с ним, объясняя, что лишен возможности их принять, как следует. Но вскоре в его сообщениях появилось упоминание о новой угрозе, которая нависла над ним — это касалось заграничных гонораров за «Доктора Живаго».

Со времени гневных январских писем по поводу задержки денег за сделанные работы и изъятия его переводов из печати прошло уже три месяца, за которые ничего не изменилось. Никаких ответов на свои обращения он не получил, тогда как взятые у друзей долги надо было отдавать.

*«Вы недостаточно знаете, — писал Пастернак 19 апреля 1959 года Жаклин де Пруаяр, — до каких пределов за эту зиму дошла враждебность по отношению ко мне. Вам придется поверить мне на слово, я не имею права и это ниже моего достоинства описывать Вам, какими способами и в какой мере мое призвание, заработок и даже жизнь были и остаются под угрозой»* («Новый мир», 1992, № 1. С. 165).

Радостное известие из Иньюоркколлегии о возможности получения денег из Норвежского банка обернулось новым поводом для унижения: «под видом примирения» его заставляли передать государству гонорары за его «антисоветский» роман. Получение этих денег дало бы Пастернаку возможность начать новую работу, замысел которой уже назревал, и отказаться от поисков заработка, источники которых выискивала тогда для него Ивинская. Как она рассказывала нам позднее, именно она настояла на том, чтобы Пастернак обратился к Поликарпову за разрешением получить пришедшие ему деньги, и тон последних слов письма кажется продиктованным ее опасениями:

*«Как Вы знаете, до сих пор я никаких денег за издание моего романа за границей не получал и не предпринимал никаких попыток к этому. Сейчас,*

когда предложение взять гонорар сделано мне в официальном порядке официальным лицом, я полагаю, что приняв такое предложение, я не совершу чего-либо противоречащего интересам государства. Вы знаете так же, что в Советском Союзе мои книги в настоящее время не издаются, а имеющиеся у меня договоры фактически приостановлены действием, и, следовательно, на заработок внутри страны я рассчитывать не могу.

В Инюрколлегии мне сказали так же, что я могу получить деньги, которые хранятся для меня в швейцарском банке в английской валюте, и попросили моей доверенности на их получение. Я хотел бы часть этих денег передать литфонду СССР, на нужды престарелых литераторов. Если почему-либо это будет сочтено неудобным или противоречащим государственным интересам — чтобы я получил эти деньги из-за рубежа и часть их передал литфонду — убедительно прошу меня о том уведомить, чтобы предупредить ошибочный шаг с моей стороны, который имел бы дурные последствия.

1 апреля 1959 г.

Б. Пастернак»

(«Литературная газета», 26 февраля 1992; «Московские новости», 9 августа 1992).

В ответ на предложение, полученное из Управления авторских прав перевести все эти деньги в Государственный банк, он распорядился отправить их обратно и направил такую записку: «Я отказываюсь пользоваться вкладами, имеющимися на мое имя за издание романа «Доктор Живаго» в банках Норвегии и Швейцарии, о которых мне сообщила своим письмом Инюрколлегия. 29 апреля 1959 г. Б. Пастернак» («Литературная газета», 26 февраля 1992; «Московские новости», 9 августа 1992).

«Насколько возможно, — писал он в том же письме от 19 апреля Жаклин де Пруаяр, — я буду отказываться подписать неограниченное право нашего Государственного банка на все будущие и настоящие суммы, размеры и местонахождение которых мне даже неизвестны. Дело вовсе не в том, что я хотел бы скрыть деньги от их грязного, хитрого вынюхивания! Все мое существо восстает против подобной расписки, против этого договора Фауста с Дьяволом о своем будущем, обо всей Божественной благодати, которую невозможно предвидеть, против ужасной системы, которая захватывает и подчиняет живую душу, делая ее своей собственностью, системы еще более ненавистной, чем была крепостная зависимость крестьян» («Новый мир», 1992, № 1. С. 165).

В последних словах слышатся звуки его нового замысла — пьесы, посвященной крепостному актеру, жизни таланта при крепостном праве.

После отказа от получения денег в отношениях Пастернака с Отделом культуры наметились признаки некоторого потепления. Снова вспомнили о переиздании «Фауста» и гонорарах за «Марию Стюарт» Словацкого. На театральных афишах стало появляться имя Пастернака как переводчика. С ним заключили договор на новый перевод драмы Кальдерона. К этому времени относятся документы о нежелании Отдела культуры реагировать на публикацию в Италии «Автобиографии и новых стихотворений» (текст книги на двух языках: по-русски и по-итальянски) или на анкету журнала

«Visto», о которых в Отдел докладывали ревностные деятели иностранной комиссии Союза писателей. Это интервью, потерянное в прекратившемся вскоре еженедельнике «Visto», вызывает особый интерес. Пастернак отвечает в нем на существенные для себя вопросы о значении художника в современном мире, — английский оригинал интервью до сих пор остался не известен, и нам в свое время пришлось его переводить с итальянского («Русская речь» 1990, 1). Но ни о каком прощении или забвении прошлого речи быть не могло, Эренбурга заставляют отрекаться от своих слов о Пастернаке («Континент». С. 205—206), в статью в Малой советской энциклопедии по указанию Отдела культуры вводятся соответствующие осудительные фразы. В феврале 1960 года прошло широко отмечавшееся в западной прессе 70-летие Пастернака, его завалили поздравлениями и подарками. В середине апреля к нему приезжала его немецкая корреспондентка Рената Швайцер. Но он уже тогда был тяжело болен. Скрывая ото всех сердечные перебои и все усиливающуюся боль в спине, он позволил себе лечь в постель только в последние дни апреля. К этому времени были переписаны набело первые сцены пьесы «Слепая красавица», оставшейся неоконченной. Это была последняя стадия рака легкого, по предположениям врачей начавшегося полтора года тому назад.

О смерти Пастернака оповещало маленькое объявление на последней странице «Литературной газеты», появившееся на четвертый день:

«Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с.г. на 71-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного».

Ни слова о месте и времени похорон. Это постыдное извещение стало неким сигналом, подчиняясь которому с раннего утра 2 июня электрички, отходящие от Киевского вокзала, высаживали в Перedelкинe большинство своих пассажиров, отправлявшихся прямым ходом на дачу Пастернака, чтобы попрощаться со своим поэтом. На стене вокзала постоянно возникала рукописная записка, срываемая и наклеиваемая вновь:

«Товарищи! В ночь с 30 на 31 мая 1960 г. скончался один из Великих поэтов современности Борис Леонидович Пастернак. Гражданская панихида состоится сегодня в 15 час. ст. Перedelкино».

Отчет о похоронах, написанный Черноуцаном для Сулова, входящий в собрание бумаг из архива ЦК, сознательно рисует неверную картину, чтобы не возбуждать лишнего волнения начальства<sup>7</sup>. Наши собственные воспоминания так же, как и записанные другими свидетелями (Т.В. Ивановой, Лидией Чуковской, В.Т. Шаламовым, М.К. Полпвановым и пр.), представляют это событие днем великого торжества людей, преодолевших страх перед многочисленными шпиками и их кино- и фотоаппаратами. «Победа, оцепленная оперработниками», — назвала это Лидия Чуковская. Было не 500 человек, как писал Черноуцан, а более 2-х тысяч, множество молодежи,

<sup>7</sup> «Труд», 22 декабря 1995 г.

студентов, тех «мальчиков и девочек», для которых имя Пастернака было синонимом поэзии и свободы. Прощание происходило в благоговейном молчании, никаких торжественных слов, которыми пытаются на гражданских панихидах заткнуть пустоту казенного ритуала, — надгробное слово В.Ф. Асмуса, за которое его потом прорабатывали на кафедре в Университете, многим показалось тогда слишком робким и осторожным. Слов о «предательстве» Пастернака, которые нарочно для «утешения» Сулова приписал какой-то женщине в своем отчете Черноуцан, там быть не могло, рабочие писательского городка обожали Пастернака. «Говорят, он против народа, — записал Вс. Иванов слова плотника из писательского поселка. — Да я его десять лет знаю. Он-то и есть самая близость к народу. А те, которые его не знают, верят» («Воспоминания о Пастернаке». С. 258).

Целая жизнь прошла с тех пор, наша и наших детей, — но перебирая в памяти страшные дни отцовской болезни, консилиумов, рентгенов и кровотечений, его прощания с нами и с жизнью, его конец, тайное отпевание дома в маленькой комнате, где он скончался, я вновь погружаюсь в ту тишину своей опустевшей души, которую не могли пробудить тогда ни поездки в поселковый совет и поиски места для могилы, ни споры с Зинаидой Николаевной, не хотевшей хоронить на деревенском кладбище («кто к нему приедет?») и мечтавшей о Новодевичьем.

День похорон был незабываемым торжеством подлинного бессмертия, вечной памяти и любви, в которой, по Пастернаку, человек продолжает жить после смерти. Это ощущение прорывало заслонявшее взор горе утраты теплым проникновением радости, неожиданность которой мешала видеть и понимать детали происходившего, запоминать отдельных людей и слова. Опустевший с отцовской смертью мир заполнился живой любовью тех самых молодых людей, отрывом от которых мучился отец, лишенный изданий на родине последние пятнадцать лет.

С раннего утра, сменяя друг друга за роялем, Святослав Рихтер, Мария Вениаминовна Юдина и Станислав Нейгауз наполняли дом музыкой Шопена, Скрябина, Чайковского, и, проходя бесконечной вереницей перед гробом, стоявшим в столовой, и заваливая его цветами, люди выходили в расцветший к этому дню сад, переполненные грустным счастьем общения со своим поэтом и единомышленниками — того «общения между мертвыми», которое Пастернак называл бессмертным и мир которого он так богато одарил своей душой, мыслями и образами. Эти безымянные молодые люди, многие из которых стали вскоре известными и составили славу русской литературы, не замечали обступавших их камер и магнитофонов, а если и видели, то смеясь показывали на них пальцами. Большинство их составляли новое поколение «непуганых», как называла их позднее Н.Я. Мандельштам, боявшаяся их смелой наивности. Мы слышали потом от знакомых и читали в воспоминаниях, как страшились ехать на похороны Пастернака старшие, какие придумывали хитрости, чтобы спрятаться от «всевидающего ока», как потом их вызывали «куда надо», выговаривали, грозили. Именно молодые не дали поставить

гроб с телом в литфондовский автобус, поджидавший их в нескольких местах по середине дороги, и обходили его, теснясь по обочине.

Попеременно сменяясь, они благоговейно донесли своего поэта до места его вечного упокоения на пустом косогоре под одинокими тремя соснами. Не позволяя себе нарушать скованный плотным кольцом страха краткий обряд возведения могилы, они, несмотря на налетевшую внезапно грозу, не расходясь, один за другим читали до темноты стихи Пастернака, ставшие для них руководством чести, красоты и благородства.

Потом на пришедших позднее фотографиях мы находили своих друзей, которых, погруженные в волнение, не видели в ходе похорон, узнавали, что крышку гроба несли сосредоточенные Синявский и Даниэль, вскоре повторившие «преступление» Пастернака и наказанные за это судом и лагерями.

Нельзя отрешиться от мысли, что похороны Пастернака, показавшие возможность свободы совести и мнений, были пробным камнем всех будущих выступлений и «писем в защиту», — той каменной почвой, на которой взросло будущее инакомыслие диссидентов, святых мучеников и провокаторов, фанатиков и заблуждающихся, разметанных вскоре по лагерям, психушкам и заграницам.

Именно этот взлет, запомнившийся всем нам на долгие годы как первый вздох, расслабивший петлю на шее, сделал день смерти Пастернака, 30 мая, ежегодным светлым праздником, собиравшим в последующие десятилетия на Переделкинском кладбище уходящих один за другим старых его друзей и незнакомых мальчиков и девочек с книжками его стихов, как молитвенниками в руках.

## ВОЗМОЖНО ЛИ ИУДЕОХРИСТИАНСТВО?

### От редакции

*Мы публикуем текст выступления священника Александра Менья, магнитофонная запись которого была сделана специально для последующего прослушивания группой людей, интересовавшихся религиозными вопросами. Выступление относится к 1973-му году. Это сравнительно недавнее время, оказывается, может быть куда основательнее мифологизировано ныне, чем иные далекие эпохи, — именно потому, что живы еще многие участники тогдашних духовных поисков, и они не стояли на месте, многое в своем опыте и переосмыслили. Освобождение религии от партийного надзора многих привлекло к вере, но одновременно выявило те нерадостные стороны религиозной жизни, обусловленные человеческим несовершенством, о которых в «катакомбах» иногда предпочитали не знать. Получила свободу не только религия, но и ее мрачная тень, фанатизм. Поэтому сегодня интерес к религии есть и интерес к тому, возможна ли религия без фанатизма, без взаимной ненависти.*

*В условиях России этот интерес традиционно сосредотачивается на отношениях христианства не с исламом или буддизмом, а с иудаизмом. Другой разновидностью такого благого беспокойства является интерес к отношениям православия и католичества. Не случайно Владимир Соловьев, к которому так или иначе восходят все нынешние духовные поиски, одновременно искал пути примирения и христианского Востока с христианским Западом, и христианства с иудаизмом. В начале 1880-х годов он написал благожелательный очерк об Иосифе Рабиновиче, который основал в Кишиневе движение «Вифлеем» (См.: Вл. Соловьев. Собрание сочинений в 10-ти тт. Т. IV, с. 207; С. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель: Жизнь с Богом, 1977, с. 240). На опыт движения Рабиновича (закончившийся неудачей) ссылается и Мень в своей беседе. Писал о Рабиновиче и Николай Лесков. Он достаточно верно с формальной точки зрения охарактеризовал движение «Вифлеем» как разновидность протестантизма. С начала 1990-х годов в России, на Украине, в той же Молдавии действует движение «Евреи за Иисуса», тоже формально протестантское по происхождению (оно возникло в США среди баптистов специально для миссионерской деятельности среди американских иудеев). Когда Мень произносил свою речь, он еще не знал о существовании в Израиле движения «мессианских евреев» («машехим»), которые не имеют отношения ни к одной из исторических христианских конфессий, полностью соблюдают все предписания иудаизма, однако хранят*

*и веру в Иисуса как Мессию, — это первый опыт (после эпохи апостолов) не искусственного, а естественного произрастания иудеохристианства.*

*Сам Вл. Соловьев охарактеризовал движение Рабиновича как «первобытную иудействующую форму христианства, из которой вышел не протестантизм, а Церковь» (Письма, т. IV, с. 90).*

*Своя правда в этом утверждении была. Именно в XIX веке началось движение «к истокам христианства», преодолевавшее тысячелетние шизофренические усилия забыть о синагогальных истоках Церкви. Это было прежде всего движение академическое: богословы и историки искали общее между древним христианством и древним иудаизмом. К середине XX века общего нашли уже столько, что проблема радикально изменилась и стали спрашивать, а были ли, собственно, различия. Появился термин «иудеохристианство», обозначавший сразу несколько феноменов I—II веков истории Церкви, прежде всего — исповедание Христа одновременно с исполнением Моисеева закона во всей его полноте.*

*Если накануне рождения Меня Ильф и Петров могли без лукавства утверждать, что еврейский вопрос в СССР решен и отсутствует, то вся его жизнь проходила одновременно с воскрешением этого вопроса. Социализм смог лишь механически придавить еврейский вопрос, и по мере гниения социализма вопрос этот вставал вновь. Но одно социализм проделал превосходно: не сумев осуществить полную ассимиляцию евреев (такую, чтобы никто и не воспринимал их как евреев), он сумел оторвать евреев от религиозной традиции. Если в США «Евреи за Иисуса» обращаются к людям, хорошо знающим иудейскую традицию, и объясняют им, что эта традиция не противоречит христианству, то в России те же миссионеры сперва вынуждены объяснять евреям иудейскую традицию, а затем уже действовать по прежней схеме.*

*Мень говорил о взаимоотношениях иудаизма и христианства в условиях сгущающегося расизма, прежде всего — антисемитизма (сейчас на первое место, согласно опросам, вышла «кавказофобия»). Парадокс заключался в том, что расистское утверждение, будто всякий, в ком есть еврейская кровь в любой концентрации, будь то кровь матери, отца, прабабушки или прадедушки, — это еврей, воспринималось обладателями этой крови как нормальное, нерасистское, рациональное. И многие (не все!) русские люди еврейского происхождения начинали идентифицировать себя как евреев, живущих в России (не говорим о тех, кто действительно сохранял иудейское самосознание). Этому способствовало то, что ассимиляция была далеко не полной и далась ценой не творчества чего-то нового, а разрушения — как и все, что пытался сделать коммунистический режим.*

*Следующим шагом был сознание себя иудеем, принятие не только биологического, но и религиозного статуса «еврея», — и часто за этим шагом следовала эмиграция в Израиль. Русские еврейского происхождения оказались под давлением со стороны не только расистов, но и собственно иудеев. Очень часто потомок давно ассимилировавшихся и ставших атеистами евреев спрашивал отца Александра, не будет ли принятие им крещения изменой*

«своему народу». То, что было аксиомой для Меня и его поколения — что неверующий еврей всё равно еврей, внезапно перестало быть аксиомой или, точнее, оказалось в соседстве с аксиомой совершенно другой системы измерения: только иудей, неприемлющий христианство, есть подлинный еврей. То, что казалось далеким прошлым, оказалось живым и претендующим быть единственно верным будущим. В этой парадоксальной ситуации слово «иудео-христианство» звучало как долгожданный выход. Были идеи отъезда в Израиль православных еврейского происхождения с целью проповеди там Евангелия, не принесшие ощутимых практических плодов.

Современный православный расизм не пощадил и отца Александра Меня. В коллективном труде «История Русской Православной Церкви» (СПб.: Воскресение, 1997, т. 1, с. 536) его характеризуют как «известного своей проповеднической деятельностью священника, пользовавшегося большим влиянием среди еврейского населения нашей страны и занимавшегося миссионерством среди них, привлекая их в Русскую Православную Церковь. Впрочем, ради усиления притока евреев он неоднократно поднимал вопрос о деканонизации тех святых, которые приняли мученическую кончину от рук иудейских изуверов и были за это причислены к лику святых — например, св. Гавриила Белостокского, св. Евстафия Виленского». Примечательно, что говорящие от имени русского народа авторы говорят на испорченном русском языке («миссионерством среди них» относится к «еврейскому населению»).

Правда в этой фразе то, что Меня был и остается популярнейшим в России и среди жителей России, какой бы национальности они ни были, проповедником христианства. Уже после его гибели книги Меня стали выходить в Италии, Франции, Америке и оказались востребованы и в этих странах. В этих книгах нет ничего, что указывало бы на их обращенность именно к иудеям или к людям «еврейского происхождения». Они обращены ко всем ищущим Истину и обладающим запасом знаний в пределах советской школы. Среди прихожан Меня лиц «еврейского происхождения» было, возможно, больше, чем в других приходах, во-первых, потому, что в других приходах часто был развит антисемитизм, но и потому, что в других приходах царил равнодушие вообще ко всяким запросам прихожан, кроме совершения треб. Среди духовных детей любого активного и не черносотенного священника (Крестьянкина, Дудко, Батозского) было всегда «достаточно» евреев.

Пожья является не только утверждение, что Меня поднимал вопрос о деканонизации «ради усиления притока евреев», но и утверждение, будто Гавриил и Евстафий были убиты евреями. Предвидя подобные передержки, отец Александр подчеркивал, что против канонизации Гавриила выступал и такой авторитет, как митр. Филарет Дроздов, ныне канонизированный. Гавриил — мальчик из польского (в XVII веке) городка Заблудова, вину за убийство которого взвалили на иудеев, Евстафий — монах Киево-Печерского монастыря (XI век), о котором внесено в Патерик предание, будто его распяли иудеи. Правды в легендах такого рода не больше, чем в утверждении, будто иудей Бейлис убил киевского мальчика-христианина. Только в начале XX века, когда рассматривалось обвинение против Бейлиса, уже был незави-

*симый суд, отвергнувший навет, и уже Церковь не шла на поводу у юдофобов и даже не подымала вопрос о причислении мальчика, погибшего от рук неизвестного убийцы, к лику святых. В Средневековье же такие наветы без всякого суда и следствия воспринимались как святая правда. Католическая Церковь после II Ватиканского собора признала неправду сказаний о христианах, якобы ставших жертвами «ритуальных еврейских убийств», и вычеркнула из списков святых несколько имен, которые считались подобными жертвами (например, Уильяма из Норвича). Деканонизация такого рода «святых» вытекает из обязанности христианина соблюдать заповедь «Не лжесвидетельствуй».*

*В беседе как «последние военные события» упоминается война «Судного дела» (октябрь 1973 г.), что дает основание для приблизительной ее датировки.*

*Цитаты из Библии выверены по Синодальному изданию. Примечания даны редакцией.*

Друзья! Меня попросили рассказать вам о некоторых событиях, лицах, именах, о моих соображениях по вопросу: что такое иудеохристианство? Существует ли вообще такое явление или это миф? Я всю жизнь вокруг этой темы и думал, и действовал. Не взъщигте, если что-нибудь будет коряво или недостаточно аргументированно.

Боюсь, что сегодня иудеохристианства не существует - это миф. Есть христианство евреев, так же как есть христианство русских, англичан или японцев. Иудеохристианство — термин, подразумевающий некий синтез между ветхозаветными обычаями и новозаветной верой. Пока этот синтез не существует нигде. Впрочем, должен сказать, забегая вперед, он существовал: была особая иудеохристианская Церковь, существовавшая около пяти столетий в начале нашей эры.

Маленькая преамбула. Часто вопросы религиозные смешивают с национальными. Недавно в израильской газете «Менора» некий Барсела с пеной у рта писал, что еврей-христиане пытаются отравить национальное сознание израильтян, пытаются внести ересь Христову в их головы. Для него еврей, который принял чужую веру, становится отступником от своего народа. Конечно, для меня такого рода погромные речи являются нашей национальной формой черносотенства, потому что тут нет ни разумных доводов, ни логики — одни аффекты. Происхождение этих аффектов ясно: выработанная тысячелетиями схема конфликта между евреями и христианами. Тысячелетний антисемитизм и, наоборот, презрение к гоям — всё это вызывало взаимную ненависть. Мы можем сейчас либо переживать эту ненависть снова (это легче), либо пытаться над ней подняться — как люди, как израильтяне, как представители любой национальности.

Итак, абсурдным, как мне кажется, является утверждение, что в наше время, в двадцатом веке, можно говорить об автоматическом тождестве

наций и религий. Если человек неверующий, например, Троцкий или Каганович — он всё равно еврей. Если человек — оккультист или теософ, последователь Штейнера, и он еврей — он перешел в другую веру, но он все равно еврей. Разве не еврей был Спиноза, отлученный от синагоги? Все они были евреями.

В древнем мире нация, общество и религия почти всегда были тождественны. Замкнутые цивилизации требовали этого, и это частично сохранилось в обществе более позднем. «Русский» и «православный» тоже считались тождественными терминами. Между тем мы теперь знаем, что русский может быть воинствующим атеистом, и православным, и баптистом — и не перестает от этого быть русским. Лев Николаевич Толстой был в высшей степени русским, но никогда не был православным, во всяком случае, в свой сознательный период жизни. Мы вступили в такую эпоху, когда сама жизнь неизбежно заставляет разделять веру и нацию. В высказываниях вроде заявления Барселы видятся просто рецидивы прошлого.

Напротив, я недавно познакомился с тезисами доктора Давида Флуссера, специалиста по рукописям Мертвого моря (кумранским материалам), раннему христианству и вообще по эпохе Второго храма. В этих тезисах он говорил о генетической связи между иудаизмом и христианством. Эта позиция профессора Иерусалимского университета здравая, спокойная, объективная, и под его тезисами я мог бы подписаться во всех пунктах, кроме тех, где речь идет о вещах мистических. Тут можно не спорить, а просто стараться поделить друг с другом какими-то внутренними убеждениями.

Прав ли был Давид Флуссер, утверждая, что иудейство и христианство есть единая вера, «*one face*» (так он и говорил)? Если он прав, то возможность иудеохристианства налицо.

Я могу ответить на это неоднозначно: Флуссер и прав, и неправ. Безусловно, Христос принял все то, что содержалось и в Библии, и в раввинистической духовной традиции, — всё завещанное Ветхим Заветом наследие как нечто органичное, освящаемое Им. Но выразиться, как Давид Флуссер, что Христос был иудеем, жил в иудейской вере и умер за нее, не означает ли сказать нечто парадоксальное, потому что тогда непонятно — что же нового внесло христианство? Тогда христианства не существует! Мы же видим, что все-таки есть какая-то разница. Итак, я сейчас попытаюсь проследить, где в глубине есть точки соприкосновения и где начинаются расхождения.

Прежде всего я должен поставить эпиграфом слова Христа: «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17). Далеко не все понимают эти слова правильно.

Под словом «Закон» («Тора») Христос не имел в виду весь конгломерат обрядовых предписаний. Он исходил из той концепции, которую выдвинул за несколько столетий до Него знаменитый раввин Гиллель, который

говорил, что весь Закон и пророки заключаются в нравственном служении Богу, а всё остальное — комментарии. Для Христа Закон заключался именно в этом. Главными заповедями Он считал «Шма, Исраэль»<sup>1</sup> и вторую — «люби ближнего, как самого себя». В этом для Него был Закон. Кроме того, Христос никогда не отвергал внешних обрядовых постановлений. Только толстовцы, либеральные богословы, рационалистические критики полагали, что Он хотел основать некую религию без обрядов. Напротив, Иисус и Сам совершал обряды. Скажем, исцелив человека, Он говорил: иди, покажись священнику — так, как требовало того предписание Торы. Но Христос даже увеличивал количество обрядов: Он создал священнодействие Евхаристии на основании пасхального еврейского праздника. Он создал таинство крещения на основании иудейского обряда принятия прозелитов.

Иисус исполнял и устанавливал обряды, потому что обращался к живым людям из плоти и крови, которые нуждаются во внешних проявлениях своей веры. Но когда Он говорил, что Он пришел «исполнить Закон», это вовсе не значит, что Он хотел выполнять все заповеди. Очень многие хотели выполнять все заповеди. Рабби Шаммай — антипод Гиллеля — который тоже жил в I в. до нашей эры, старался исполнить все заповеди, которые только можно было изобрести, даже те, которых не было и в устной Торе. Он изобретал новые запреты, выводя их логическим путем из старых. Разве это имел в виду Христос? Нет. Слово, которое стоит в подлиннике этой евангельской фразы, обозначает не «исполнить» в смысле «выполнить». Там стоит «плеросис» — «восполнить», от слова «плерома» — «полнота». Христос хотел подчеркнуть, что учение ветхозаветное — это открытая система, которая нуждается в восполнении. Его учение, вернее, Его явление, было восполнением Ветхого Завета.

И для Нового Завета, и для Ветхого исходной теологической точкой является непостижимость Бога. Израильское сознание с большим недоверием относится к спекулятивной метафизике. Поэтому Бог был признан непостижимым, «Кадош» — Священным, совершенно Иным, которого созерцать человек не в состоянии. Об этом свидетельствовал запрет изображения Бога. Только символически Он мог присутствовать, только через Теофанию, через Славу Свою — через «Кавод», через Облако, огненный язык, светлый дым. Но к мысли о полной инаковости Бога по отношению к миру приходили все мыслители. Это, в конце концов, высший и заключительный аккорд мышления человека о Боге. В самом деле, когда человек порывает с грубыми мифологическими представлениями, поднимаясь все выше и выше, он наконец, приходит к идее Универсального, Чистого, Мирового Разума или Действия, Энергии, Силы — Божества, о котором нельзя ничего сказать. Возникает апофатическое богословие — богословие, которое исходит из того, что о Боге нельзя высказать ни одного позитивного утверждения, потому что Он

---

<sup>1</sup> «Слушай, Израиль» (начальные слова заповеди о том: что Бог — един).

превосходит все, даже бытие. Это апофатическое богословие было развито в индийской философии, было развито в греческой философии, особенно в неоплатоновской, у христианских Отцов Церкви. В Израиле это было выражено в понятии «Кадош» — понятии Святости Божией. Но такой, безмерно превосходящий всю тварную реальность Бог оказывался Отцом мира, любящим Отцом. В этом и заключалось необычайное, удивительное, потрясающее Откровение пророков: что Бог заинтересован в мире, что Он хочет сблизиться с миром, от которого Он далек, заключить с ним союз, «Берит» — договор. Присоединить к Себе, искупить, то есть взять в Свой удел, приблизить. Это необычайное чудо ведет от Ветхого Завета к Новому. Как же оно совершилось?

Рационально описать этот процесс невозможно. Перед нами люди, действовавшие в Палестине и диаспоре в течение нескольких столетий, которые говорили от лица Божия и чувствовали в самих себе действие Бога настолько реально, что они говорили прямо от первого лица. Они не передавали слова Божии, а как бы становились Богом: «Выйди, народ Мой...» и т.д. Кто это говорит: Бог или пророк? Это говорит Бог через пророка.

Было множество попыток смоделировать это мышление, аналитически проникнуть в тайну двуединого сознания. Кое-что здесь сделано, кое-что достигнуто, но чудо остается чудом. В других религиях известно мистическое, экстагическое слияние с Богом, когда Божественное входит в человеческое. Но во всех тех случаях человеческое подавляется, оно растворяется, и это выражено в известной притче о статуе из соли, которая хотела познать вкус моря и растворилась в море.

Пифии, прорицатели, вешуны, вакханки, дионисисты, менады — все они говорили в состоянии безумия, одержимости, мании (отсюда слово «менада»). А пророки не только оставались теми, кем они были, сохраняли сознание личности, но они даже спорили с Богом. Иеремия не хотел проповедывать того, что Бог ему велел. Ему было жалко и Иерусалим, и свой народ, и однако он говорил: «Тако глаголет Господь ... будет город разрушен и ковчега никто не вспомнит, потому что не будет его»<sup>2</sup>. Он плакал, и жаловался, и говорил Богу, что ему не хочется идти с такой проповедью, но Слово Божие было в нем. Вот этот феномен (если это можно назвать феноменом — я употребляю это слово неточно) удивительной близости двух «я»: Божественного «Сверх-я» и тварного человеческого «я», — этот феномен выявляет самое глубокое в израильской религии.

---

<sup>2</sup> Это не точная цитата из Библии, а скорее выражение сути проповеди Иеремии, как она изложена в Иер. 5,16—17: «В те дни, говорит Господь, не будут говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа». Ср. Иер. 5,17: «Разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься».

Когда же является Христос, Сын Человеческий, в Нем этот феномен достигает абсолютного уровня. Достигает такого уровня, в котором Божественное и человеческое почти неразличимы. Перед нами единая Личность, а не просто посланник — хотя Христос часто говорит о Себе, как о Посланнике. Пророков жгло Слово Божие — Христос говорит: «Я и Отец — одно». Пророки так никогда не говорили: пророк Исайя, обнаружив перед собой Видение Божие, говорил: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами ... и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6, 5). У Христа никогда не было сознания греха: «Аз есмь свет» — говорит Он (Ио. 8, 12). Совершенно иное сознание: это Пророк, который полностью отождествился с Богом, Пророк, в Котором человеческое сознание и Божественное слились в одну феноменальную личность — только такая Личность могла создать мировую религию для миллиардов людей на многие-многие века. И, как правильно говорят большинство христиан, главное, что приносит нам Евангелие — это не новая доктрина, а высочайшее, величайшее соединение Бога с человеком. Христос говорит: «Я есть Путь» (Ио. 14, 6)... «Всё предано Мне Отцом Моим» (Мф. 11, 27). Он открывает Бога через Себя, потому что Он Сам в себе Его носит в абсолютном смысле.

И здесь уже может говорить только вера. Когда люди увидели Его, почему они пошли за Ним? Потому что Он сказал им: «Любите Бога»? Но так говорил и Гиллель, и пророки, и Тора. Потому что Он сказал им о Божественном Милосердии? Так ведь об этом писал и пророк Осия. Потому что Он сказал им о Царствии Небесном? Но о Царстве Божиим говорили пророк Даниил, апокрифы, все апокалиптики. Все ждали этого Царства. Что же привлекло — что Он творил чудеса? Но и чудотворцы были в Израиле. Были и предсказатели: ессей Менахем предсказал Ироду, что он будет царь, когда Ирод был еще мальчиком. Ессей Иуда около 100 года привлекал всех тем, что он прекрасно предсказывал. Был такой дар в Израиле, и сейчас он, наверное, не вымер. Но все это не то. Ни один из них не создал ничего подобного христианству.

Уникальная, феноменальная сила Присутствия Бога в этом Человеке и создала христианство. Когда критики Евангелия говорят, что там нет учения о Божественном начале Христа, что это не Богочеловек, а просто пророк, они лишают Евангелия правдоподобия. Христос, который проповедывал бы толстовство, никогда бы не смог сделать того, что было сделано. Такую личность как Христос не смог бы изобразить даже гений, а Евангелие написано четырьмя людьми. Но тем не менее, как свидетельствуют все объективно читавшие Евангелие, даже в плохих переводах, в устаревших переводах все равно чувствуется сила Христа. Откуда? Все четыре евангелиста — гении? Нет. Их свет — это лунный свет, отражающий солнечный. Была такая Личность.

Больше того, как говорил один из современных богословов, для нас Иисус не просто был, а Он есть. И есть не только в памяти, а, совершив свое дело на земле, Он включается в Богочеловеческое действие. Он

осуществляет тот самый Завет, который предсказывал Иеремия, — Завет между Богом и людьми.

Этот Завет в сознании Израиля был связан с грядущим Царством. В отличие от всех, или, по крайней мере, большинства, преобладающего большинства древних религий израильская религия была не статической, а динамической. Все религии были системами из обряда, морали и верований. Израильская религия заключала в себе некую надежду на будущее. Она была путешествием, которое начал Авраам и продолжал ее в неведомую даль. Это было всегда ожидание чего-то свершающегося впереди, причем чего-то исключительно грандиозного: «Настанет время, когда из Сиона выйдет Закон, и Слово Господне из Иерусалима, и соберутся все народы, и потрясется небо и земля. О, если б Ты разверз небеса и сошел!»<sup>3</sup>. Что-то космическое, какое-то необыкновенное Бого-явление было в предчувствии пророков. Надо считать их либо заблуждавшимися глубоко, либо слепцами — потому что если отвергать, что это случилось, что это произошло в христианстве, тогда непонятно, о чем говорили пророки. О возрождении Израиля, как государства? Представим себе, что пронесутся годы и прекратятся войны, и будет небольшое государство — одна из многих прибрежных стран, с обычным парламентом, с обычными грехами, с обычными ресторанами. Можно ли сравнить это с тем, о чем грезил пророки? Что небо и земля потрясутся, что весь мир будет потрясен?

Пророк Исайя, так называемый «Второ-Исайя», говорит, обращаясь к Израилю — к его олицетворению, служителям: «Я сделаю Тебя светом народов» (Ис. 49,6). В каком отношении? Когда это случилось? Это действительно случилось. Причем только единственный раз — больше этого не было. Две тысячи лет назад Ветхий Завет был взят Христом в правую руку, выражаясь образно, отдан народам и они пришли и поклонились. Всё совершилось. Это совершилось, хотя эти народы были грешными, столь же грешными, как и Израиль. Они так же отступали от Бога, нарушали Его Волю, как Израиль в Ветхом Завете. Но тем не менее они встали под этот знак, под это знамя. Это произошло. В Ветхом Завете ожидался пророк, царь и первосвященник. Христос был пророком в том смысле, о котором я сейчас говорил — ибо в Нем действовал Бог. Он был Царь, потому что Он является сейчас Царем — Владыкой Новой Жизни, о которой, конечно, нельзя говорить в отвлеченных терминах. И, наконец, Он — первосвященник. Первосвященник — это тот, кто был посредником, кто стоял между алтарем, народом и Небом. И вот Христос есть именно врата — Он Сам себя называет: «Аз есмь дверь» (Ио. 10,9) — открытые врата в Небо.

Противоречит ли это ветхозаветной вере? Нисколько. Потому что во времена Гиллеля, Шаммая, во времена первых таннаим верили, что этот

---

<sup>3</sup> Соединение почти буквальных цитат из нескольких мест книги Исайи: Ис. 2,3; 43,9; 13,5; 64,1.

мир («Олам ха-зэ») сменится будущим миром («Олам ха-ба»), в котором все будет иным. Верили, что Бог приблизится к человеку, что наступает иная эра. В этих же терминах пишет апостол Павел, которого многие еврейские писатели несправедливо упрекают в отрыве от иудаизма, хотя он весь жил иудейскими понятиями. «Проходит образ мира сего», — говорит апостол Павел (1 Кор 7, 31), и Христос говорит о двух мирах, о двух веках, о двух эонах. Только Он говорит о том, что с Его явлением кончился Ветхий мир и начинается история Нового. Само по себе это учение не противоречило упованиям фарисеев и книжников. Мы знаем, что многие фарисеи и книжники обратились в христианство.

Закон, который был дан Богом на Синае и после Синаея, апеллирует к человеку, к его воле, к его совести, к его разуму. Но он не дает человеку сил исполнить то, что он повелевает. Поэтому апостол Павел сравнивал его с оградой, да и в Талмуде он называется «оградой». В «Пирке-авот»<sup>4</sup> говорится: «Сделайте ограду, закон». Закон ограждал, выполнял преимущественно охранительную функцию.

Что же является в Новом мире, который возвещает Христос? Теперь уже Бог взаимодействует с человеком непосредственно, и благодаря этому возникает та сила, которую мы называем «благодатью», которая помогает человеку становиться исполнителем Воли Божией. Для этого уже не нужно выполнение всех ветхозаветных ритуалов. Они были защитным приспособлением, которое должно было сохранить нацию и веру в могущественном языческом окружении. Когда функция защиты отпала, отпало и многое из ритуалов. Священные авторы, которые собирали постановления Торы касательно ритуалов и запретов, пользовались и самыми архаическими представлениями, табу. Половина законов, которые есть в Торе, уже существовали прежде, они были заимствованы у древних вавилонян, у древних хананеев, у жителей государств Финикии и Эблы. Заимствование было средство создать такое религиозно-правовое, обрядовое, жизненное целое, которое держало бы народ, цементировало бы его, делая крепостью среди языческого моря.

В эволюции часто происходит следующее явление: защитные механизмы организма становятся не защитными, а тормозящими. Нередко так бывало и в нашей истории. Броня Торы становилась часто столь неповоротливой, что мешала духовному развитию. В Талмуде сказано: «Не делай слишком большой ограды Торы, иначе она обвалится и задавит насаждения». Весьма поучительное предупреждение. Это происходило неоднократно. Это не особенность еврейской психологии, человеку как таковому свойственен ритуализм. Каждой цивилизации свойственно тяготение к многочисленным обрядам, которые бы связывали воедино жизнь, будь то конфуцианские правила, будь то римские законы. Все это системы, имеющие функциональное значение. Но система закона может превращаться в самодовлеющее начало, может становиться фетишем, может

---

<sup>4</sup> Один из трактатов Талмуда.

мешать жить и т.д. Когда Христос выступал против книжников и фарисеев, Он выступал против их злоупотребления формой. Он никогда не отрицал субботы: суббота, говорил Он, дана для человека, т.е. для отдыха и для праздника (Мк. 2, 27). Но когда люди делали из этого культ, когда они считали, что в субботу нельзя помочь человеку, выгащить его из беды, это уже становилось карикатурой на заповедь. Подобные вещи свойственны законничеству всех времен и всех народов.

Так мы снова возвращаемся к центральному пункту. Христианство есть Откровение Бога через личность Христа. Мы познаем это откровение во внутреннем опыте, который основывается на Евангелии. Является ли это уходом от иудейского монотеизма, изменой ему, «паганизацией»<sup>5</sup> иудаизма? Нисколько. Дело в том, что задолго до христианской эры в иудейском богословии возникла мысль об ипостасях в Божестве. Руах Элохим<sup>6</sup>, и Хохма («Премудрость») и Мемра (арамейское понятие о Слове). Все эти ипостаси Бога действовали, как Сам Бог. Если вы возьмете наиболее ранние пласты Библии, вы найдете там выражение «Манеах Элохим» — «Ангел Бога», который был одновременно Богом. Есть некоторое саморазличение внутри Божества, есть некие лики внутри — это не значит, что это боги. Это не значит, что Премудрость Божия, Слово Божие и Дух Божий — это отдельные боги. Но это и не только атрибуты Бога. Если вы внимательно читаете Притчи Соломоновы, вы увидите, что Премудрость говорит о Себе, что Она присутствовала при самом сотворении мира, что Она была художницей и т.д. Божественным Теофаниям, Богоявлениям свойствен некий личностный аспект — они ипостасируются.

Когда мы говорим о действии Слова Божиего во Христе, мы продолжаем, углубляем, развиваем веру Ветхого Завета в могущественное действие Слова Божия. Когда мы говорим о Духе, который горит в огненных языках над апостолами, витает над Иисусом на Иордане, когда мы говорим о Духе, Которого Иисус обещает послать Своим ученикам и посылает, чтобы они потом шли в мир проповедывать, мы по-прежнему говорим о Боге, о том самом Руах, который созидает мир, поднимает мертвые кости (Иез. 37,7), созидает народ. Мы углубляем веру Ветхого Завета в Премудрость, когда вместе с апостолом Павлом исповедуем Христа, Божию Премудрость (1 Кор 1, 24). «Премудрость» — это перевод еврейского слова «хохма». «Логос» — слово, которое употреблено Евангелием от Иоанна — это перевод (и, конечно, углубление) на греческий чисто ветхозаветных понятий. Таким образом, Троичное богословие, бесспорно сложное — и сейчас нам неуместно говорить об этом подробно — коренится в ветхозаветном богословии и никакого отношения к многобожию, язычеству не имеет.

Другое дело, что попав в языческие страны, христианство, конечно, впитывало элементы язычества. Сами евреи, попадая в различные страны,

---

<sup>5</sup> От слова «*paganus*» — «языческий», т.е. «обязыванием» иудаизма.

<sup>6</sup> «Дух Господень».

тоже выпитывали эти элементы. Один пример. Археологи раскапывали ханаанский город и нашли там остатки жертвоприношений, причем было видно, как приносилась жертва, какие части шли жрецу. Все оказалось так, как в книге Левит. А евреи только что пришли — значит, они заимствовали это у хананеев. Херувимы, которые охраняли ковчег, тоже нееврейского происхождения, и множество других вещей. Взаимодействуют народы, взаимодействуют культуры. Ничего страшного здесь нет. С этим приходится бороться, когда это взаимодействие разрушительно.

Первые христиане не только не вызывали агрессии, подобно той, как вызывают сейчас иногда в Израиле, но они находились в любви у всего народа, как отмечает книга Деяний. Их любили как очень благочестивых людей. К ним примкнули многие фарисеи. Рабби Гамалиэль, внук великого Гиллеля, относился с симпатией к христианам. Много позже возникла легенда, что он стал тайным христианином. Во всяком случае, на суде, когда саддукейский Синедрион пытался осудить апостолов, он заступился за них и сказал: «Мы не знаем, может, это дело Божие? Не следует их преследовать»<sup>7</sup>.

Когда апостола Павла предали церковному трибуналу, то фарисеи встали на его защиту, ибо он крикнул: «Отцы и братья, я фарисей, сын фарисея. Меня судят за чаяние воскресения мертвых!». И фарисеи набросились на саддукеев и сказали: «Ни в чем не повинен человек. А если ангел или дух говорил им, то мы можем стать богопротивными»<sup>8</sup>. Мы знаем, что был убит саддукейским Синедрионом апостол Иаков, брат Господень. Из Иосифа Флавия известно, что это так возмутило фарисеев — противников Синедриона — что они отправились к римлянам, потребовали смещения первосвященника и добились своего. Это вызвало большое недовольство, как пишет Иосиф Флавий.

Больше того, когда стали появляться христиане-язычники, то к христианам-евреям они относились как к элите. Поэтому доктор Флуссер говорит, что евреи могли бы стать в христианстве своеобразной кастой брахманов. Конечно, такое было возможно, но как раз этого и надо было избежать. Еврей-христиане сами претендовали быть элитой. Более того, христиане из язычников к этому были крайне склонны: еще в V-м и VI-м веках христиане-греки, христиане-персы, когда освящали урожай, освящали дом, вообще совершали какие-то сакральные действия, обязательно звали еврея, потому что считали, что его благословение действительнее.

Я не отрицаю, что на еврея могла почтить некая тайная Благодать. Мы, однако, народ буйный, «жестоковыйный». Бог именно таких и выбрал, потому что тихие никогда бы не создали мировую религию. Гордость у нас и так достаточно развита, подпитывать ее не следует. Напротив, здоровое смирение полезней сознания своего величия. Нехорошо, конечно, унижать человека, но и не следует носиться со своей

---

<sup>7</sup> Изложение речи Гамалиила в Деян. 5,34.

<sup>8</sup> Вольное изложение событий, описанных в Деян. 23.

избранностью. Это выглядит очень навязчиво, некрасиво, и между собой мы можем это говорить. Скромность никогда никому не мешала. Слишком легко надоест. Мы и так довольно громко заявляем о себе, начиная с Библии и кончая (замечу в скобках) последними военными событиями.

Когда стали креститься первые язычники, то большинство евреев сказала: «Как, не приняв Моисеева Закона, они становятся христианами?! Нет, они должны пройти через обрезание и все прочие вещи». Это было трудно, это стало ощутимым препятствием. Для многих греков и римлян это было совершенно неприемлемо. Не надо забывать, что обрезание было принято в Египте, у арабов, но в западном мире совершенно не было известно. Поэтому и был собран апостольский Собор, о котором, может быть, некоторые из вас слышали. В 51-ом году, в Иерусалиме, было решено, что еврей-христиане могут соблюдать все обычаи Закона, но христиане из язычников освобождаются от этого. Дальнейшее развитие Церкви показало, что это освобождение стало важнейшим фактором в распространении христианства в мире. Еврей-христиане продолжали жить замкнутыми небольшими общинами, читали Библию на иврите (а не на греческом, как в первых общинах христиан из язычников). В этих общинах соблюдалась суббота, они сохранили первоначальное название христиан — «ноцрим», то есть, «назаряне», в память об Иисусе из Назарета, Йехошуа ха-Ноцри. Называли их и эвионитами, «бедняками». У этих общин были свои епископы, свои храмы. Когда после восстания Бар-Кохбы евреи стали возвращаться в Иудею, в Назарете вновь поселились родственники брата Господня Иакова, близкие к Христу люди. Там они жили — у них были свои дома, были построены небольшие храмы.

В середине II-го века Иустин Мученик писал, что он знает (он жил в Палестине) таких людей, которые соблюдают Закон и живут по-христиански. Всё это просуществовало до тех времен, пока в Палестине не начались войны, разгромы, выселение иудеев. Потом пришли арабы, и христиане-евреи исчезли. Впрочем, в значительной степени были вытеснены оттуда и «обычные» евреи. Такова была первоначальная история иудео-христианской Церкви. Она имела у себя таких авторитетов, как апостола Иакова — брата Господня, апостола Иуду, Симона. Кое-что о ней рассказывают раннехристианские писатели, но мало.

Однажды я спросил одного еврея, который с недавних пор стал считать себя религиозным, относится ли он к иудаизму как к истинной религии. Спросил я, возможно, несколько грубовато, но не без умысла. Он ответил, что считает иудаизм истиной для евреев. На что я возразил ему, что истина может быть только для всех или ни для кого. Или это истина, или это ложь. Если дважды два для китайца — это четыре, то это истина и для индуса. Следовательно, не может быть специальной еврейской религии, хотя могут быть национальные религиозные обычаи. Правда, есть и христиане, считающие чужим «еврейского Бога». Но ведь Церковь устами св. Иустина прямо говорит, обращаясь к раввину Гарфону: «Не иному Богу мы поклоняемся, как Тому, который вывел ваших отцов из Египта

рукою крепкой, мышцею высокою»<sup>9</sup>. Что касается мнения о Боге, то еще Иосиф Флавий гордился тем, что евреи не опускаются до богословских споров. Фарисеи, саддукеи, zelоты, караймы, каббалисты, реформаторы, — всё это было внутри иудаизма. В иудаизме редко возникали преследования инакомыслящих, как гонения на хасидов, Маймонида или Спинозу.

Иудейская религия задумана — я употребляю этот термин специально — Богом как мировая религия. Это явствует из всей Библии. Эта религия не может оставаться в рамках Израиля. То, что было сложено в рамках нашего народа, должно быть и было вынесено для всего мира. Несмотря на взаимные конфликты, взаимные обвинения, взаимную борьбу, о которой я сейчас не буду говорить, мысль о родстве и близости двух вер сейчас все более и более становится очевидной. Мартин Бубер называет Христа «центральным евреем». Доктор Флуссер говорит, что Христос — это не Цезарь, что Иисус раньше разъединял евреев, а теперь будет объединять. Знаменитый английский политический деятель Дизраэли говорил о том, что с Евангелием семитское культурное начало было внесено в Европу и стало неотделимо от Европы. Так же думал знаменитый историк церкви Неандер (XIX век), который перешел в христианство в сознательном возрасте, так же думал Бергсон и многие другие.

Я не думаю, что такие опыты, которые предпринимал Иосиф Рабинович<sup>10</sup> и другие проповедники, имели смысл. Деятельность Рабиновича была попыткой все-таки ассимилировать еврейские группы. Она была очень непоследовательна. Будущее разрешение конфликта должно бы иным. Кто-то из евреев может признать во Христе великого учителя и пророка — высшего из их народа. Мы же знаем, что Он более чем пророк, и для нас Его голос — это голос Божий. Его Лик — это лик Предвечного. Большого, чем это, добавить невозможно. Большого нам даже не нужно.

Сейчас в Израиле люди верующие составляют меньшинство. Большинство людей вообще отпало от всякой веры, живет в бездуховности. Мы должны считать добром, если этим людям будет не навязана какая-то официальная государственная религия, как бывало в прошлые века, а будет открыт свободный путь выбора. Если они вернуться к иудаизму — хорошо, если они будут искать другие выходы — хорошо. Если они придут к христианству, они от этого не перестанут быть евреями, а только прочнее свяжутся со своей традицией. Но это уже будет традиция не в архаическом смысле, не в замкнуто-национальном, а в широком, всемирном, могучем, как самая основа Церкви.

---

<sup>9</sup> Вольное изложение слов св. Иустина: «Не иного Бога почитаем нашим, а другого вашим, но признаем одного и того же, который вывел отцев ваших из земли египетской рукою крепкою и мышцею высокою» (Сочинения святого Иустина философа и мученика. Сост. П. Преображенский. М., 1892 (репринт 1995), с. 150).

<sup>10</sup> См. об этом в предисловии «От редакции».

## ЗАПИСКИ ПРИХОЖАНИИ\*

### 1. Внутри церковных стен

Как театр начинается с вешалки, так наш православный храм начинается с опыта стояния в нем. Действо, идущее здесь, как известно, — само воплощение красоты и евангельской мистерии, каждый раз заново переживаемой нами, на фоне которого католическое богослужение, несмотря на признание всех таинств, и еще более протестантское проповедничество при всем «его этическом даре честности» (о. Сергей Булгаков) — это «человеческое, слишком человеческое».

В сегодняшней православно-фундаменталистской прессе само «стояние» — супротив католического «сидения» — так даже возводится в особое преимущество: люди на службе «все часы стоят перед лицом Господа». Слов нет, диспозиция замечательная и к тому же — школа терпения и выносливости. Изнеженные заморские наблюдатели прошлых веков не переставали сочувственно удивляться на «москвитов», у которых сплошь распухшие ноги и больные колени — от многочасовых «стоячих» богослужений с долгими коленопреклонениями.

Но всегда ли это «стояние» остается «предстоянием» и безусловным преимуществом православных перед католиками, — вот вопрос. Человек слаб, ох как слаб! Когда со всех сторон вас сжимают потоки движущихся вперед причастников, а еще — желающих приложиться к иконе или просто стать поближе к алтарю, каждоминутно трогает за плечо рука со свечками: «это к Празднику, это Богоматери, эти всем Святым, эта Михаилу Архангелу», — и вам надо распределить их по направлениям, побеспокоив соседей; при этом, раздвигая народ, на вас движутся три женщины с блюдами и нужно достать кошелек, а вам жарко, душно (ах, надо бы снять пальто, да куда с ним потом?), — способны ли вы предаться

---

**Рената  
ГАЛЬЦЕВА**

— родилась в Москве. Окончила философский факультет МГУ. Старший научный сотрудник ИНИОНа РАН. Действительный член Нью-Йоркской Академии наук. Автор книги «Очерки русской утопической мысли XX века» (М., 1990) и многих других работ по русской философии, русской классической литературе, идеологиям XX века. Редактор журналов «Эон» и «Новая Европа». Живет в Москве.

---

\* Главки 1—4 с сокращениями публиковались в ежемесячном приложении к «Независимой газете» — «НГ—Религии» (от 27 марта, 24 апреля, 29 мая, 26 июня 1997 года); 5-я — печатается впервые.

«сладо́сти церковной»? Вспомнилось, как у о. Александра Меня в Новой деревне при входе в храм были оборудованы вешалки для верхней одежды и ручной клади, а в зимнее время у порога всегда дежурил веник.

Конечно, загородная, не перегруженная, церковь — это, к примеру, не храм Архангела Михаила в Тропареве на Юго-Западе Москвы (хотя не скажите, если иметь в виду обширный приход о. Александра...). Однако ведь и в Новой деревне могло всего этого не быть — вешалки, веника, скамеек, обильных половиков и т.п. О. Александр тоже ведь мог пойти по проторенному, запретительному пути и вывесить объявление, какое висит в храме Петербургской Духовной академии: «Сумки на окно не класть!». Он бы в крайнем случае написал: «Сумки класть под окно», — что нелегально и делает обремененная грубой повседневностью женская половина паствы, изыскивая всякие незаконные лазейки для совмещения одинаково неотменимых вещей — небесного и земного. Он тоже мог бы, наподобие одного московского настоятеля, вообще запретить являться в храм с чем-нибудь посторонним в руках (это как же такой батюшка представляет нашу жизнь?). Но ничего подобного о. Александр никогда не делал. Он думал о нуждах нашей жалкой плоти, вплоть до вентиляции храма.

А вот в московском храме в Пасхальную ночь на моих глазах, на глазах всех присутствовавших двое прихожан, мужчина и женщина, друг за другом, с интервалом в четверть часа, от духоты попадали в обморок; их тут же вынесли на воздух, но никаких перемен в атмосфере помещения предпринято не было. У левых дверей, где все мы стояли, как камень, приваленный ко гробу, бездвижно покоился огромный сундук. Фрамуги, предусмотренные в каждом окне, были, казалось, приварены к рамам. («В Москве любят закрытые двери», как-то не к месту вспомнилась фраза из фельетона М. Кольцова.)

Идет причащение. Приобщившийся Святых Даров, приявший бесценную благодать сопричастности Христу и сам ставший священным сосудом вынужден пролагать себе дорогу к «теплоте» (заправка) навстречу потоку устремляющихся к Чаше исповедников. Единократное и не подкрепленное организационными мерами восклицание церковнослужителя «Освободите дорогу!» ровно ничего, как вы понимаете, не может изменить в броуновом движении храмового пространства.

А дети, которые пробираются через плотную массу народа, как через густой лес, где за деревьями — большими дядями и тетями — им ничего не видно и не слышно (не говоря уже о том, что им вообще понятно, но это отдельный вопрос)? Пробираются они туда или обратно, раздвигая, как ветви в лесу, руками и головой полы выдавших виды пальто взрослых. Какие впечатления они сохранят о церкви?

Выходит, в этом единственном неповрежденном месте нашего общего бытия, в храме, господствует все тот же безучастный принцип *laissez faire — laissez passer*. Быть может, местное церковное единоначалие, находящееся в алтаре и нисходящее во время службы с солеи, с возвышения, просто не знает об обстоятельствах нашего существования внизу? А когда,

бывает, ему приходится двигаться через то же бурление и теснение, то дорогу ему прокладывают служки (да и без служек наш народ, испытывающий трепет перед властью, а тем более мистически священной, сам теснясь и толкаясь освободит ей царский путь). Так что из этого опыта иерей не узнает о степени совместимости молитвенного участия в литургии с долготекущим пребыванием на ногах в душном водовороте. Вот если бы пастырь, наподобие легендарного Гарун Ар-Рашида, решившего инкогнито пойти по своим владениям, чтобы узнать, как живет его подданным, захотел узнать, как «стоится» и «молится» его пастве, переодевшись в цивильное платье (и теплую шубу), пошел бы в какой-нибудь аналогичный храм на большую службу с включенным туда молебном (это еще один вопрос), быть может, произошли бы какие-то перемены в наших церковных *conditions humaines*.

Собственно не так уж много нужно, кроме внимания: ну, естественно, прибить вешалки; продумать и объяснить прихожанам, где должны проходить причастники, учтя, что Чаш бывает несколько, и поставить помощников, которые бы за этим следили; а то и расщедриться — для вящей наглядности постелить в местах движения самые дешевые, простонародные дорожки; отвести место детям.

А быть может, мои резоны — только прекраснодушные фантазии перед лицом сокровенных тайн православной «ментальности»? И тогда окажется, что дело вовсе не в обидной небрежности пастырей и окормителей наших к нашим телесным параметрам и тяготам, а в некоем, пусть подспудном и прикровенном, но глубоко укорененном в православном сознании практическом монофизитстве (Владимир Соловьев) в отношении к человеку: он рожден от двух природ — духовной и физической, но по сути — он духовен, а физическое его естество — только несущественная акциденция или, по-церковному, «поверхностная принадлежность», которую можно не учитывать. То, что задано — преображение, нам уже как бы дано. Помните притчу о разных стратегиях в деле спасения, которых придерживаются различные христианские конфессии? Предстоит перебраться на другой берег бурного моря: католики под водительством папы снаряжают большой корабль и плывут все вместе; протестанты пускаются в путь каждый на свой страх и риск в своей отдельной лодочке, а православные — «они уже тут», прибыли. Вот и человек у нас уже, яко ангел, бесплотен.

Высока, ох высока честь прихожанина в православии. И кадят ему как живой иконе Божьей. Только вот коллизия, вот антиномия: не дай Бог зазеваться перед кадиллом и не вовремя расступиться или наступить на вынесенный для священника коврик, а то как цыкнул на тебя и поставят тебя на место самым физическим образом. Антиномия между саном человека и его эмпирическим статусом. Ты Бог, ты червь!

Да и какие мы иконы?! Само хождение во время литургии и передача свечей хоть в момент Возношения Даров, хоть самого епиклезиса, призывания Святого Духа, вопиет о том, что настоящей важности в

сознании среднего прихожанина, прошедшего школу советской выучки, но не прошедшего церковно-приходской школы, содержание службы не имеет, и ему гораздо важнее передать свечку, чем услышать слова богослужения. Смысл священного слова не в чести у тех, кто его произносит; даже церковнослужители из интеллигентов, которые начинали свое поприще с демонстрации ясного произношения, неизбежно втягиваются в господствующий стиль нечленораздельной речи, топя слова в неразъемном звуковом потоке, некоем специфическом гуле (что называется: «читать, как пономарь»).

Все противодействие недолжному хождению со стороны священника сводится обычно к запретительному призыву «Не ходите во время службы!». И хотя ясно, что смысл происходящего в храме для нынешнего верующего очень смутен, я ни разу не слышала слова с амвона на эту тему, не помню, чтобы смысл службы становился темой проповеди. Назидаание — да, рассказы о евангельских событиях, — конечно! Но разъяснения хода литургии или всенощной? Нет.

Бывает, мы слышим ирреалистические проповеди, в которых учат паству, в основном состоящую из лиц пенсионного обеспечения, подавать просящему так, чтобы тому хватило на «булку и пакет молока», и призывают не отказывать в помощи подросткам, которые, рискуя жизнью, подбегают к вашей машине, лавируя на перекрестках с большим движением. Бывает даже, настоятель анафемствует собак как «нечестивых животных» (значит, вроде свиней у мусульман), рядом с которыми быть духовно опасно.

Хорошо бы вместо немилосердных и уже потому христиански сомнительных собачьих обличений пастыри научали нас основам христианской истории. Тут каждый проповедник, независимо от прирожденной злоквенции, может быть дельным просветителем, давая исторические разъяснения отмечаемых событий церковного круга. А то ведь наша подготовка оставляет желать лучшего.

*Недавно мне передавали разговор двух женщин в храме: «Говорят, Дева Мария, мать Христа, была еврейка. Значит, и Он — еврей?», — спрашивает одна. — «Да Он все равно нашу веру принял», — успокаивает другая.*

## 2. Истин много не бывает

Храм — это «единственное неповрежденное место», как-то само собой вырвалось у меня... И ведь правда. И не только для прихожан, но и для неверующих (если те еще не претерпели радикальной психологической ломки) он остается единственным прибежищем от аномалий. Все остальные места нашего общественного бытия не гарантируют соблюдения элементарных правил приличия, не страхуют вас даже от встречи с непристойностью или оскорбительным абсурдом. Газеты, журналы? Дай Бог, чтобы их заголовки и картинки где-нибудь на переходе не попались

вам на глаза. Ожидают вас там и симптомы умственного расстройства в стиле «Записок сумасшедшего», где новый критик-хлестаков может разработать проект: «О моем месте в русской культуре... ясном уме, безупречной нравственности, аналитических способностях» и т.п. Театр? Вы пойдете на чеховскую «Чайку» (и ведь не к Виктюку!), а там артисты будут на полу валяться. О ТВ ясно без слов. (Даже если вам посчастливится поймать вдруг передачу о Моцарте — платите налог: в виде посредника этого «херувима» с его «райскими песнями» созерцайте небритую, лохматую, будто вырвавшуюся из преисподней личность.) Тут идет соревнование «культурных программ» по «наглеству», выражаясь по-церковному. Они цинично и опасно чудят, ошарашивая угнетенное жизнью «молчаливое большинство» уму непостижимой роскошью чьей-то жизни, художественной заумью, а хуже всего — образами растления. На глазах у всех подчас происходит то, что могут задумать только враги семьи, школы, общественного порядка, настоящего и будущего нации.

А вот в церкви, даже если среди батюшек есть нерадивые, ленивые, лживые, буруеваемые гордыней, ни от одного не услышим мы аморального поучения, бредовой идеи, не увидим коробящего жеста. Даже те, кто преданы тайным порокам, не учат нас им, не учат нас тому, что безустанно пропагандируют в качестве достижений маргиналы от литературы, пережившие в ее центр и произведенные в мэтры.

Церковь остается скалой в бушующем море нравов и вкусов, единственным прибежищем нормы, небесным учреждением, где нашли последний приют цивилизные, мирские правила жизни.

Этим парадоксом, однако, мы обязаны не нашествию иноплеменных (как в былые времена, когда от набегов чуждых орд народ укрывался в храмах), а такой эфемерной, умственной вещи, как табу на табу, запрет на различие и оценку явлений и взглядов с точки зрения добра и зла, истины и заблуждения.

И волна этого агрессивного уравниательства, или, скажем, плюралистского мировоззрения, уже подбирается к порогу храма, ударяет о его стены, затопляет многие церковные страницы сегодняшних газет и выливается в судебные процессы с Церковью.

Удивительная история. Александр Дворкин, кандидат богословия, состоящий при Московской Патриархии, написал руководство в помощь неискущенному нашему соотечественнику, как не попасться на удочку сектантских, а то и антихристианских вербовщиков. Благое дело. И актуальное, подобно актуальной в свое время инструкции Альбрехта, как вести себя в ГБ. Однако вместо благодарности за предостережения возможным жертвам этих душевредителей на Дворкина подает в суд Общественный комитет защиты свободы совести за оскорбление чести и достоинства весьма сомнительных религиозных организаций. А некто М. Успенский (в «Курантах», 9 апреля 1997 г.) уже спешит обозначить этого смелого и пока еще ничем не нашумевшего человека почему-то «печально известным борцом с сектантством».

Понятие зла и вреда куда-то исчезло, и всякие попытки противостоять им обличаются как «тоталитарные» поползновения со стороны РПЦ. Перед нами — противоречия в подходах: смысловом, содержательном, пекущемся о душе и жизни, и — формалистическом, панюридическом, акцентирующем равнозначность, равноценность всех истин и убеждений. Ясно, что этический пафос формально-плюралистического подхода питается установками парламентарной демократии, гордящейся своей защитой «меньшинств» от большинства. Но то, что, как правило, хорошо для политической системы, требует корректив в вопросах веры. Принцип всегдашней защиты «религиозного меньшинства» от такого же «большинства» обрекает РПЦ по приговору общественного мнения вечно сидеть на скамье подсудимых (наподобие «нормального» большинства в Соединенных Штатах перед лицом «сексуальных меньшинств»).

Удивительно, что в роли таких формальных защитников прав выступают лица, числящие себя христианами, и даже христианские пастыри, призванные к миссионерству в этом мире. Еще было бы понятно, если бы атеистический плюралист (типа И. Кона), констатируя наплыв в Россию новых религиозных групп, видел тут конкуренцию разных, но равнозначных религиозных инстанций (хотя думающий атеист тоже должен представлять себе последствия такой конкуренции). При этом вы догадываетесь, что подобный уравнилельный с виду подход не содержит в себе никакой справедливости, потому что далеко не всех «новых» и «малых» стоит поддерживать против «традиционных» и «больших». Но дело в том, что эти позиции развертываются на церковных страницах популярных газет (статьи А. Красикова из МАРСа<sup>1</sup>, Д. Лекторского из «Церковно-общественного вестника» при «Русской Мысли» — см. номер от 13—19 марта 1997 — и др.), где «распространять свои убеждения и действовать в соответствии с ними» (как записано в законе о свободе совести) разрешается только «меньшинствам», а представителям РПЦ — запрещено; где сначала в кавычках пишутся «тоталитарные секты», а потом уже и само существительное подвергается насмешливому обыгрыванию, как будто такого богословского понятия, как секты, вообще не существует, а есть только «новые религии» (явление еще менее правдоподобное, чем «новые философские системы»), или «новые религиозные движения» («НРД»). По-видимому, о таком «НРД» писал в конце прошлого века Владимир Соловьев в «Трех разговорах»: «Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались вертодырниками или дыромолыями, состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь темном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди приклады-

---

<sup>1</sup> Международная ассоциация религиозной свободы (при ООН). Российское отделение МАРС<sup>а</sup> было создано в июле 1992 года, между прочим, не без активного участия РПЦ.

вали к ней свои губы и много раз настойчиво повторяли: “изба моя, дыра моя, спаси меня!”».

За вовлечением в секты подростков церковный публицист наблюдает невозмутимым взором диспетчера, отмечающего перемещение пассажирского транспорта из пункта А в пункт Б. Казалось бы, человек, числящий себя в Церкви, должен был волноваться, что молодежь уходит от Христа (и куда уходит!), и укорять РПЦ, что вместо того, чтобы лить слезы по уходящему в секты юношеству, церковные власти лучше бы подумали, как и чем ее привлечь. Но нет, нашего критика не затрагивают даже факты из текущей истории «Богородичного центра», «Белого братства», «Аум Синрикё», сатанистов, которые будоражат все общество, мам, пап, органы милиции. Ему важно, чтобы РПЦ не имела черт привилегированной религии (каковые, к примеру, англиканство имеет в образцово правовой демократической стране Великобритании) и чтобы «религиозные меньшинства» — пусть они будут страшны, как черти, — вольно расцветали на наших обширных просторах ( а не как в другой образцово-правовой стране, на европейском континенте, в Германии, где все они учтены и, как и следует, занесены в проскрипционный список, который четко определяет, где Бог, а где порог).

По мере чтения подобных статей недоумение перерастает в открытие. Поздравим друг друга с появлением на Руси нового феномена, еще одного оксюморона — христианского плюралиста, переставшего думать об Истине, которую заповедано проповедовать, и целиком переквалифицировавшегося в сомнительного правозащитника — защитника прав всех истин.

Нет, истин, как и денег, много не бывает.

Когда апостол Павел писал коринфянам о том, что надлежит быть разномыслиям, дабы открылись искуснейшие (1 Кор. 11:19), он совсем не собирался утверждать «плюрализм истин», не призывал увековечить разногласию как самоценность, а видел в ней этап на пути к уяснению Истины, нечто вроде маевтики, служившей Сократу для тех же целей.

Заметим под занавес, между противостоящими образовалась интересная симметрия: с точки зрения «либералов», никаких сект нет, а есть только «НРД», и равно хороши все; церковные власти тоже стараются не замечать радикальных различий между братскими конфессиями и тоталитарными сектами, и все они (что не суть «мь») тоже объединяются в одно, все — еретики и сектанты. Но что делать тем, кто предан заветам о христианском братстве («да будут все едины»)? Принимая предложенную РПЦ дихотомию, они должны будут заодно защищать и «НРД», включая поклонников зловредительных культов?

*Несколько лет тому назад в редакцию журнала вошла молодая застенчивая женщина, представившаяся «сестрой Софией» и предложившая для печати рукописи «глубоко религиозного содержания». Оказалось, что эти тексты представляют собой заметки ныне уже хорошо известного «Богородичного центра». В следующий раз, когда за ответом вместо*

*«сестры Софии» явились молодые люди с наперстными крестами поверх брючной пары и услышали вежливый отказ, они приступили к редактору с угрозами: «Пойми, сейчас, в эту секунду решается твоя судьба в вечности!». Потом стали извергать на голову непокорной громкие проклятия. Сбежалась редакция, «миссионеров» еле удалось вывести. А что если бы за редакторским столом оказался субъект с более subtilной психикой? Вот вам безо всякого еще зомбирования — и моральный ущерб, и нарушение свободы совести, и прав человека... А ведь с каких обволакивающих речей «сестры» все начиналось: «Вы, имярек, я чувствую, самый нам родной человек».*

### 3. Учители уныния

Газетно-судебный процесс вокруг рекомендаций А. Дворкина, как уберечься от вербовщиков-сектантов, показателен тем, что в ходе него в нашей церковной мысли обнаружилось целое течение «христианских» ультралибералов, для которых все грани между сектами и религиями уже стерлись и остались сплошь одни равноправные вероисповедания. Но жизнь — в своем неистощимом разнообразии — подбрасывает немало и противоположных (но никак не более утешительных) сюжетов. Дело идет о таких ревнителях веры, для которых, наоборот, вне их вероисповедания располагаются одни только секты и ереси да заблудшая паства, которая для правоверных — все равно что язычники и мытари. Если католики — не побоюсь этого слова — усвоили девиз Отца Церкви II века Иустина-мученика: «Все, что добро, то наше», тогда девизом наших крестоносцев можно считать обратное: «Все, что наше, то добро».

Вы, наверное, догадываетесь: автор находится под впечатлением симптоматичного явления в духовной нашей жизни последнего времени — выхода в свет программно-манифестационного сборника «Современное обновленчество — протестантизм “восточного обряда”» (М.1996). Участники акции — уже известная хотя бы по коллективным письмам в церковные верхи группа священников и их светских единомышленников, укрепившаяся в общественном сознании под именем «ревнителей православия». Озадачивает, однако, анонимность составителей сборника, авторов Предисловия. К чему бы такая таинственность?

Сборник, в котором полсотни текстов — индивидуальных отповедей и коллективных донесений — направлен прогив нескольких московских пастырей с реформаторскими поползновениями разной степени тяжести. Между прочим, построен он не без расчета на завлекательность. Начинается с принадлежащего женской руке проникновенного (даже неловко читать) элегического укора, обращенного к о. Александру Борисову, в стиле «Саша, ты помнишь наши встречи...», в какой-то момент, правда, переходящего в демарш à la войничев «Овод»—Артур, который бросает монсењору Монтанелли памятные всем с детства строки: «I believed in you as I believed in God...» В завершение, на месте задней обложки помещен грозный фотомонтаж: четыре оплечных дагерротипа нынешних

ревизионистов, скомпонованных вокруг фигуры вождя обновленчества 20-х годов А. Введенского, что в целом навевает реминисценцию распространенных прежде стендов «Не проходите мимо!» или даже «Их разыскивает милиция».

В том-то и дело, что первое тревожное впечатление — это как раз реминисценции, то и дело возникающие по ходу чтения. Сама механика и стилистика изобличения горстки церковных модернистов как «врагов Православной Церкви», подкапывающихся под ее основы, страшно напоминают показательные процессы 30-х годов по разоблачению заговоров против партии и Советского государства со стороны партийных раскольников, тайных агентов западных разведок. Та же устрашающая лексика: «провокация», «раскольничья деятельность», «духовная паранойя» и т.п. Та же фабрикация дела, растущего, как «ком обвинений», и требующего орговыводов по всей строгости закона — «своевременных решительных действий по очищению церковных рядов» и т.п.

Преамбула обвинения строится на ряде произвольных компрометирующих аналогий по схеме силлогизма: А=Б, Б=В, значит А=В. Все, кто считает, что Церковь надо обновлять — обновленцы, а «обновленцы» 20-х годов известно, кто такие, они же — живоцерковники, мобилизованные безбожной властью, чтобы разрушить Русскую Православную Церковь. Следовательно, и сегодняшние реформаторы, зачисленные в «обновленцы» — тоже церковные разрушители.

Сюда же, к «обновленцам», подверстываются все так называемые «светские богословы», блестящие мыслители русского религиозного Ренессанса, начиная с Владимира Соловьева, вечно нелюбимые «ортодоксами» за свое партикулярное умствование. Их подключение к «обновленчеству» производится игрой на другом богатом смыслами понятии — «неохристианство». Однако, на какую бы ногу последнее ни хромало, двигалось оно по другой дороге, чем «обновленчество»; при всех завихрениях их идеологов Д. Мережковского и В. Розанова «неохристиане» были разведены с живоцерковниками в пространстве и времени, не говоря уже о том, что являлись противниками большевизма и нового строя, который платил им тем же и выслал их за границу (кого не уморил здесь). Ревнителю, взявшиеся за безнадежное дело опорочения русских мыслителей близостью с советской властью, сами демонстрируют эту близость, выражая нечувствительность к пережитой народом истории. Для внимания, сосредоточенного на исключительно церковном «благополучии», эпоха послевоенного сталинского террора оказывается предпочтительней хрущевской оттепели. Аналогично отношение к будущему. «Мы не знаем учения о демократии», — заявляется тут от имени Церкви; более того: «демократия противоречит Церкви Христовой». Неужели больше, чем коммунизм, за который в лице КПРФ, по их же признаниям, голосовали многие фундаменталисты во время последних выборов?

Но идеи церковного обновления и реформирования зрели задолго до появления «обновленцев», в дореволюционных недрах самой Православ-

ной Церкви, вопреки сильному противотечению; она готовилась к Всеправославному Собору. Церковь всегда жила, обновляясь и реформируясь. Только зря Д. Лекторский, соглашаясь с этим, настаивает на приложении к ревнителям определения «неоконсерваторы». Этим только вносится путаница в твердо сложившуюся терминологию. Приставка «нео» в данном сочетании свидетельствует как раз о либеральном, творческом, реформистском уклоне в охранительном умонастроении. Популярная с 80-х годов в политической философии и культурологии категория «неоконсерватизм» означает охранение корня вечного наследия, сочетающееся с отзывчивостью на новый человеческий опыт. Девиз тут таков: все, кто хочет сохранить верность традициям, готовьтесь к переменам. Но все живое только так и живет: изменяясь, нуждаясь в подкормках, добавках и поправках, то есть реформах. Нет, имя «неоконсерватора» жалко отдавать ретроgrадам («такая корова нужна самому»), отдадим «ультраконсерватора» (в политике еще есть термин «твердолобый»). А может быть, изобретем свое определение, например, «воинствующий бездвижник»?

Авторы книги находят у новейших реформаторов целый букет ересей. Однако закрадывается сомнение в том, вспоминают ли досточтимые и безусловно ученые кригики, что ересью называется только то, что является «уклонением от ясно выраженного и сформулированного догмата христианской веры». А вот этого-то «уклонения» в большинстве пунктов обвинения и нет. Среди обнаруженного криминала такая, к примеру, «незавершенка», как софиология, которую безымянный автор Предисловия описывает в виде канонически решенного — не в ее пользу — и не подлежащего обдумыванию вопросу. Сложное и, можно сказать, головокружительное с метафизической стороны учение о Софии Премудрости Божией представляется «закрытым» на том основании, что оно было «осуждено православными богословами», отношение к которым тут выборочное: к примеру, молодой Вл. Лосский и Сергей Страгородский таковыми считаются, а о. Сергей Булгаков — нет. Чем он менее авторитетен?

Не лучше и положение со Святыми Дарами. Неисследимой глубины вопрос о претворении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, промысливаемый две тысячи лет и получивший тонкую и глубокую разработку — вспомним хотя бы Фому Аквинского, давшего дефиницию «пресуществлению» как изменению «сущности» при неизменности «акциденций», и отклик на это о. Сергия Булгакова в статье «Евхаристический догмат» («Путь», №20—21, 1930) — получает в сборнике какой-то элементарно-профанный ответ в духе чуть ли не вещественного отождествления разных природ: говорится о «буквальном понимании» (с. 117) превращения хлеба в Тело Христово, а вина в Его Кровь, о «реальном присутствии Тела и Крови Христовых в Святых Евхаристических Дарах» (с. 342).

Но если многое, вызывающее у контрреформаторов «выводы сокрушительного свойства», как выражался Вл. Соловьев, относятся к предметам, по дореволюционному энциклопедическому описанию, «еще не предусмотренным и не решенным самой церковью» (и потому еретичес-

ким квалификациям не подлежащим, а принадлежащим к неопределенной области так называемых теологуменов), то встречаются среди оспариваемых и другие — к еще большему нашему удивлению, как раз догматически решенные вопросы, которые эти критики решили перерешить, а в том виде, как они решены, считать еретическими. Непонятно, каким образом богословы, профессионалы-клирики, знающие догматику и к тому же повседневно вкушающие Евхаристические Дары отдельно от исповеди, вступают в сражение против признания этих таинств как двух отдельных, называя таковое «ересь». Вроде, пока нового Всеправославного собора не проходило, количество таинств — семь — не сокращалось и не укрупнялось. Можно обсуждать целесообразность в тех или иных обстоятельствах последовательно соединять или, наоборот, разъединять покаяние и причастие — это дело пастыря и даже более высоких церковных инстанций. Но считать, что эти два есть одно, не значит ли как раз самым немножко впасть в каноническое заблуждение?

Подобные «ереси» в рассуждениях и практике реформаторов ревнители открывают на каждом шагу: и календарь тут хотят осовременить, обмирщить, чтобы попасть в одну ногу с чуждым миром, и язык — тоже, чтобы был понятен профанам. Однако не пускаясь в содержательное обсуждение этих настроений (но наперед выражая свое нежелание расставаться с церковнославянским языком), можно уяснить одно: то, что для реформаторов принадлежит к миру человеческого, для контрреформаторов — к миру сакрального, любой сдвиг в котором грозит отпадением от Православия. Из «акциденций» здесь понатворили «сущностей». Но что это, как не идолотворение? А освящение церковнославянского языка чуть ли не наряду с Писанием разве не языкобожие? А освящение старого календаря — не времябожие?

Но самое ошутительное кумиротворение касается самой Церкви. Авторы жалуются, что модернисты «обращают в свою веру... не в веру в Церковь», «этот столп и утверждение Истины». Но ведь «столп» не есть сама Истина, а только ее опора, «утверждение» нуждается в ином себе, в утверждаемом. А что есть Истина? — на этот вопрос Христос дал иной ответ, чем внушают нам в богословской антологии. Он пришел на землю с благовестием о Царствии Небесном, ради достижения его основал Церковь «честною своею кровью». Когда, идя по берегу Галилейского озера, он призвал Петра и Андрея, то, последовав за Ним, братья обрели всю полноту Истины.

Но как в течение столетий и тысячелетий без поддержки «столпа», без соборного сознания удержать Ее?! Церковь — сосуд Истины, но не перестанет ли она им быть, если займется самообоготворением, увлечется ведомственными интересами?.. Найдется другой церковный сосуд. Вспомним предостережения нашего христианского просветителя Владимира Соловьева: «Традиционные учреждения, формы и формулы необходимы для христианского человечества, как необходим скелет для животного организма высшего порядка, но сам по себе скелет не состав-

ляет живого тела. Без костей высшему организму жить нельзя, но когда начинают окостеневать стенки артерий или клапаны сердца, то это верный признак неминуемой смерти». Таким окостенением грозит и та подмена Церковью как учреждением ее главы Христа — старая и возобновляемая ересь, которая известна как «Церковь для церкви», или «Воинствующий клерикализм», пропитавший до мозга костей сознание скооперировавшихся ревнителей.

Учители уныния! Хулимые вами «светские богословы» и литераторы, избличаемые как подрывники Православия, говорили воодушевляющие слова, писали книги, приводившие ко Христу; сочинение зловредительного Бердяева «Миросозерцание Достоевского» обращало в годы советчины в христианство. А кого обратит ваша книга?! Если только многих — в бегство? От нее веет духом того Великого Инквизитора, средоточием коего Федор Михайлович считал римскую Церковь и который стал главным критическим объектом Бердяева (между прочим, автора дифирамбической статьи «Истина Православия»). Вот ведь какая диалектика.

Вообще, хотя в заголовок книги и вынесено слово «протестантизм», главное направление удара тут — *nach Rom!* — главный объект поисков — «латинство», «латинская ересь». Помните, в «Претенденте на престол» В. Войновича был персонаж, которому в эпоху чисток (она, впрочем, всегда была) в кабинетах НКВД шили дело как «латинскому шпиону»? Наши реформаторы поставлены в подобное же положение, хотя дело приводит к самообличению судей и прокуроров.

Вот, к примеру, тема апокатастасиса, конечного восстановления всех человеческих существ в первоначальной чистоте и упразднения ада. В книге объявляются гонения на тех, кто выступает против вечных казней, и поиски обходных путей усматриваются в цитадели западных ересиархов. Однако над проблемой вечных мук всегда мучилась русская совесть, всегда искала — и находила — новозаветные лазейки по смягчению этого, по Соловьеву, «гнусного догмата». И не только слабонервный интеллигент, который не хотел «пить чай» или «ананасовый компот кушать» над адской бездной чужих страданий, но и жалостливый простой православный народ, у которого с древних времен любимым апокрифом было «Хожделение Богородицы по мукам» — всё это, порой неведомые для себя самих, сторонники апокатастасиса. А вот союзников крепким православным — опять диалектика? — оказывается надо искать как раз у «римо-католиков», в центре еретического заговора. В той же «истине Православия», где оно характеризуется как «благодатное учение любви и свободы», Бердяев выражает убеждение, что из его недр никогда не могли бы раздаваться слова о праведнике, который «в раю будет наслаждаться муками грешников в аду», слова, раздавшиеся из недр католицизма, из уст Фомы Аквинского. Так кто же больше «латинский шпион»? Хорошо, пусть это даже догмат, но тот ли это догмат, ради которого стоит объявлять преследования? Это как-то не по-русски (хотя, быть может, и по православному...).

И уже полным затмением представляется нам, русским, реакция авторов сборника в связи с вопросом о канонизации «заступника за страждущих и пленных» в России «святого доктора» и российского дворянина Федора Гааза: какое де православным до него дело, пусть католики разбираются. А чтение посмертных нотаций гулаговскому страстотерпцу архимандриту Тавриону?!

Обвинения, выдвинутые против «модернистов» в раскольниковстве, апеллируют к члену Никейского Символа веры — «Во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь» — и к более удаленным в глубь веков писаниям Отцов Церкви, и, наконец, к Евангелию самого Иоанна Богослова, современника Христа, патмосского отшельника. Но апеллируют так, будто все эти источники под «истинной» «Божьей церковью» заранее не могли подразумевать ничего иного, кроме РПЦ, отрезая остальные христианские сообщества как безблагодатные засохшие ветви. Получается, что в раскольническом модернизме упрекают тех, кто желал бы восстановления первоначального, фундаментального единства Церквей-сестер или хотя бы попыток родственного сближения с ними (что квалифицируется здесь устами иеромонаха Иоанна в качестве «главной опасности» для Православия). В некоторых монастырях в ходу тезис: «у католиков нет благодати» (неужели там установлена прямая информационная связь с Самыми Высшими Инстанциями?).

«Схизматизм», он же изоляционизм — старая беда православного ревнительства. И, конечно же, наши обличители как раскольники законченные способствуют своей бездвижностью появлению церковного инакомыслия и нестроения. Я плохо знакома с мыслью и практикой новейших московских реформистов, но то, что организация церковной жизни в приходе о. Георгия Кочеткова вносит смущение в умы верующих, предположить нетрудно. Прав был протоиерей Иоанн Мейендорф: православию присуща унификация. Разнобой смущает людей: и даже тех, кто втянулся в новации, не говоря о тех, кто попадает в их объятья из традиционного обихода и у кого непременно возникает впечатление, что они — в какой-то новой Церкви. Должны резать слух и примеры такого филологического нововведения, как перевод совершенно понятного начального возгласа из малой ектеньи «Паки и паки» на «Снова и снова». У нас привыкли исповедывать Истину «едиными устами и единым сердцем», и когда уста разногласят, тогда и сердце настраивается в разнобой.

Вообще, резкие, поспешные нововведения, к которым не подготовлено сознание паствы (пусть даже они будут благие и полезные в замысле), не оправдывают психологических издержек. К примеру, крутая реорганизация церковной общины, структурированной по принципу «семей», каждая со своим «лидером», заставляет нас вспомнить о сети кружков... Уж какая у нас история, такая и память.

Однако даже если бы все новомодные пастыри действительно впали в ересь, то, может быть, было бы лучше, руководствуясь духом любви, о котором много пишется в «Обновленчестве», не пытаться гнать заблуд-

ших из церкви, не проклинать их, не устраивать бессмысленной и пагубной церковной смуты, а вместе искать выхода из закостенелых обрядов, следуя примеру Нила Сорского по отношению к «новгородским еретикам» или Франциска Ассизского — к вальденсам?..

Процесс, направленный на чистку церковных рядов, идет вроде бы полным ходом, однако, в отличие от партийных процессов, на которых объявленные отщепенцами лица немедленно становились отлученными, приговоры собравшихся под одной обложкой клириков подобной действенной силы не имеют. Им приходится «просить и умолять священноначалие принять меры» к неугодным имярек как к «еретикам и раскольникам», призывать их «к публичному покаянию... исключить из клира» (Обращения к Патриарху 1994 и 1995 годов). Это течение, хотя и заметное благодаря своей наступательности и попытке говорить от имени Церкви, Русской Православной Церкви в целом не представляет: ни непосредственно высшей власти, ни мнения большинства наших священников (которые, если учесть провинциальные приходы, стоят в стороне от столичных противоборств), ни масс верующих, которые сами по себе, без специальной подготовки, вернее, обработки, никаких недобрых чувств «к католикам», то есть вообще к собратьям по христианству, не питают (и не питали бы). Однако своим постоянным будированием начальства ревнителям по временам удается достигнуть кое-каких паллиативов, а иногда и побед над реформаторами, но тем не менее взгляды их с Патриархом различные. De facto глава нашей Церкви сам на себе даже демонстрирует реформаторство, когда, к примеру, во время произнесения коленнопоклоненных троичных молитв вместо славянского слова «живот», сбивающего неопытного прихожанина в ненужную сторону, употребляет русское — «жизнь», дабы смысл говоримого скорее доходил до современного человека; когда учреждает при Синоде Богослужебную комиссию с функциями поновления языка (при том, что плодов ее деятельности, увы, пока не видно и не слышно).

Контрреформаторы, как выяснилось, расположились вовсе не в умеренном консервативном центре, а на праворадикальном фланге и при всем своем воинствующем бездвижничестве тоже собираются двигаться и производить реформы, только наоборот: например, снова переводить тексты с греческого на церковнославянский. Как видите, есть общее между антагонистами, апеллирующими к истокам. Но если «неообновленцы» зовут в первохристианские времена, то ревнители — во времена теократического средневековья. И в этом огромная разница.

Какова бы ни была, величина «электората», стоящего за воинственно ортодоксальными авторами, книга их стала вехой на пути сегодняшней Православной церкви в России, она выявила, обнародовала, зафиксировала раскол в РПЦ, на который пошли критики реформаторов. До сих пор мы его только подспудно чувствовали.

*Несколько лет назад после одной проповеди на животрепещущие темы в Московском храме я задала священнику, о. Антонию, вопрос,*

*почему он говорил так, когда дело все-таки обстоит по-другому (сюжет был политический, но в данном случае это не важно)? Он со мной не согласился и посоветовал:*

— *Идите к старцам в Данилов монастырь.*

— *Но, скажите, разве я расхожусь с тем, что недавно говорил Патриарх?*

— *Идите в Данилов монастырь.*

— *Отец Антоний, пожалуйста, ответьте, в чем же я расхожусь с позицией Патриарха и Церкви?*

— *Идите в Данилов монастырь, там вам все разъяснят.*

## 4. Принудительность свободы

30 мая по РТР была показана демонстрация верующих, проходившая под стенами останкинской башни — против показа вторично включаемого в программу НТВ фильма «Последнее искушение Христа». Возникло впечатление, будто мы перенеслись в залы Третьяковской галереи и оказались перед картиной Репина «Крестный ход в Курской губернии»: темный бедный народ, хоругви... Но было в этой, новой картине нечто ободряющее для сегодняшнего дня: люди шли не «за пайку», не за «отложенным вознаграждением» в виде невыплаченной зарплаты, неподанной электроэнергии, невыданных пенсий, шли и не в политической колонне, даже если оппозиция попыталась извлечь из них свой профит. Они вышли на улицу и встали в пикет по совершенно нематериальному мотиву.

Однако что-то тут же удивляло, вызывало чувство дискомфорта. Догадалась: так же, как и у Репина, здесь не было видно ни одного интеллигентного лица. При том, что дело происходило в столице, а не в провинциальном крае. И вправду, где же интеллигенция? Сами мы, однако, явно не захотели бы видеть себя среди этих новых крестоносцев, выкрикивающих упреки в адрес Запада, масонов, инородцев. *Fi done!* Однако нетрудно докопаться до истинной причины, почему среди протестантов по нравственным, духовным соображениям мы не увидим христианского интеллигента: за его щепетильностью таится страх, не изменивший своей природы за две тысячи лет с того момента, когда ученики Христа разбежались, а Петр от Него отрекся. Только страх этот — не перед «мученическим венцом», а перед «шутовским колпаком», к обоим из которых, по слову Честертона, должен быть готов христианин. Нетрудно представить, каким издевательским штучкам подвергнется этот «запретитель» и «ретроград» из интеллигенции, забывший, как напоминает нам журналистка Ирина Петровская («Известия», 7.06), что живем мы уже «в светской и свободной стране», — если так дружно по разным каналам ТВ были высмеяны простые люди, действующие, оказывается, по принципу «Бди!».

Конечно, мифология, которой вооружился простой народ в защиту своей веры и против разгула бесстыдства на телевидении вообще, остав-

ляет желать лучшего. А какие объяснения на этот счет предлагают ему «образованные»? Потому «сознательность в стихийное движение», воспользовавшись лакуной, тут — как и везде — старается внести вечная коммуно-патриотическая оппозиция. На этом основании журналистка заявляет, что протесты против показа «Искушения» и «православные вскрипы» — это «камуфляж», прикрывающий «потоки злобы». Значит, и верующих, и Патриарха тоже завертел «поток», и за отвращением к этому фильму надо разыскивать изначальную «злобу»? (И к кому, неужели к СМИ? Есть повод глубоко задуматься над собственным откровением.) Так это же теория заговора! — симметричная ком-патриотическим поискам врагов, только менее внятная и даже вовсе не оторефлексирующая.

А правда, чем объяснить, что ТВ так настырно, наперекор массовым настроениям, пробивают идею всенародно продемонстрировать «Последнее искушение», не удовлетворяясь ни возможностями его тиражирования в видеокассетах, ни показом в кинотеатрах (быть может, пугает их печальная судьба в просвещенном Париже или Нью-Йорке)? Казалось бы, во власти СМИ все: и убийные боевики, и эротика, и нецензурная лексика. На что вам Христос? Нет, послабления не будет! — заверило руководство НТВ свой авангард, «рано или поздно» «Искушение» пройдет-таки по всей Руси великой. (И оно прошло!) Подобное плохо мотивированное упорство и тотальный размах в проведении курса на всеинформирование, не терпящего, чтобы оставались не охваченные им элементы, это, увы, явные симптомы того, что перед нами тотальная идеология, назовите ее хоть идеологией нового просвещения.

Вроде бы на СМИ вас профессионально обслуживают новостями, однако это обслуживание небезобидно и не дает вам ускользнуть от какой-либо новации, какого-либо нового артефакта; вам предоставляется *не столько возможность знать, сколько невозможность не знать*. Масс медиа, этот институциональный Кочкарев, тоже хочет нас осчастливить: путем неукоснительного информационного просвещения вывести Россию в передовые страны, — но от его опеки нельзя избавиться, выскочив в окно, то есть «выключив свой телевизор», как презрительно бросает наша журналистка всем, кто недоволен телевидением. Ведь культурная среда, в которой будет дальше протекать жизнь подобных отказников, не перестанет формироваться телеэкраном, даже если все они выкинут сами ящики на помойку. Тут и стены монастыря не всегда защитят.

Сама установка на новизну, предпочтение ее уже известному упраздняет традиционный приоритет истинности и смысла, а тем самым перекрывает доступ к религиозному мировоззрению как таковому. Мало того, поскольку новейшее стало по преимуществу выражать себя в преступании очередных границ, то, улавливая эту связь (чем новее, тем страшней), защитники «права на информацию» считают первым долгом знакомить публику с разного рода отклонениями от нормы, от элементарных приличий. К нам вторгается уже по крайней мере десять лет наводящая террор в США так называемая «political correctness», запрет на различие, а тем

самым и на норму. Норма — некорректна, она ограничивает в правах ненормативные вещи; также некорректен личный выбор, выделяющий выбранное из всего остального. Корректным признается лишь непрерывный выбор сменяющих друг друга новинок при запрете на его постоянство (идеальное умонастроение и тайная пружина потребительского общества, которому не нужно, чтобы потребитель останавливался на своем выборе, привязываясь к чему-то одному).

Расхождение традиционалистского мировосприятия старых русских с господствующей на СМИ идеологией так велико, что снова можно констатировать «две культуры в одной культуре». Поэтому трудно объяснить неопросветителю, что не надо смотреть фильм и «марать воображение», а достаточно познакомиться с одним только его сюжетом, рассказанным, к примеру, с наивным умилением Марианной Шатерниковой («ЛГ», 4.06), чтобы уже преисполниться глубочайшим отвращением ко всей этой пошлости. Между тем, по убеждению корреспондентки, превращение Мессии в героя сомнительной мелодрамы, «Санта Барбары» первого века, сумеет «приблизить Христа» к широким массам (с чем, очевидно, не справляется Евангелие)<sup>2</sup>. Новая монолитная идеология во всем, что касается отношения к истинам, смыслам и святыням, автоматически рождает воинствующее невежество, разъяснить, развеять, преодолеть которое принципиально невозможно, потому что она заранее отрезала себя от того, о чем берется судить. Так, совершенно дико, а с точки зрения «political correctness» совершенно естественно звучат опасения И. Петровской, будто волнения православных вокруг трактовки личности Иисуса Христа могут «оскорбить чувства людей иного вероисповедания». Это кого же? Неужели мусульман, кому не противопоказано тоже волноваться за пророка Ису? Но главное, что в отличие от тех, кого коробит от присутствия в человеческой душе святынь, мусульманам так легко понять чувства своих авраамитских братьев по аналогии с собственными переживаниями вокруг «Сатанинских стихов».

«Церковь от телевидения отделена», — это верно. А телевидение, оно от всего отделено? И от людей тоже? Кто же стоит у пульта управления этого «стратегического объекта» и по самому своему местоположению оказывается властителями дум, неведомыми вождями нации? (Одного мы видели, это И. Малашенко другой — Л. Парфенов.) И. Петровская убеждает, что «диктат церкви не слаще диктата государства». А как насчет диктата СМИ? Их ведь даже никто не выбирал и не рукополагал.

А вот «два мира — два итога» в отношении к светской культуре, где у нас до сих пор было «наше все» — Пушкин. Президент с простодушной радостной уверенностью в том, что выражает всеобщую волю, объявил о праздновании Дня Пушкина. Но на ТВ в этот день Пушкин был «наше

---

<sup>2</sup> Теперь, непосредственное приобщившись к показанной-таки ленте, я бы могла назвать ее и боевиком с героем-отступником в центре. Но это, как говорится, «без разницы».

ничего»; где-то, на одном канале, прозвучал одинокий «Выстрел». В остальном преобладал постыдный шум. Да, еще в связи с упоминанием о Пушкинском дне была показана почему-то балетная пародия неизвестно на что, исполненная почитай голыми авангардными плясунами, вбежавшими «на тонких эротических ножках». Что это, обструкция — президента, поэта, народа?

Создается впечатление, что наши светские и духовные власти находятся за железным занавесом, воздвигнутым между ними и экраном ТВ (а также сценой модных, на шумевших театров и других культурных хэппенингов), или что пребывают они в тридевятом царстве тридесятom государстве — настолько заметна их неосведомленность в том, что делается на самоуправном капитанском мостике культурно-общественного корабля, называемого СМИ. А между тем люди, обычные люди, убеждены, что все находится во власти власти, зависит от воли Президента. «Значит, он хочет, чтобы все так и было», — сказала усталая женщина на автобусной остановке (предварительно вздохнув о том, что смотреть на экран «стало противно»). И в этом взгляде на ответственность власти не только за то, что происходит в экономике или политике, не разномыслит с просьбами людьми и Владимир Соловьев: «Анархия, то есть простое упразднение принудительного порядка и власти среди людей, руководимых злыми страстями и эгоизмом, есть гибель общественности и возвращение к дикому состоянию... Без принудительного ограничения дикого произвола ... человечество не могло бы стать культурным». А кто возьмется оспаривать, что на нашем ТВ (если исключить некоторые политические программы) не развязаны дикие страсти и не празднует победу эгоизм?!

Меня, наверное, снова обвинят, что я стесняю чью-то свободу, как это делали задетые мной Д. Лекторский и М. Успенский, в своих самолюбивых ответах действующие на манер «придельвателей рогов», — так назывались дискуссионные подтасовщики среди европейских интеллектуалов XII века (но об этом как-нибудь потом). Однако каким же образом вам удастся избежать клички «тоталитария», если, что бы вы ни высказали своего, вы окажетесь несогласны с господствующей ныне идеологией, объявившей себя поборницей свободы и занявшей всю культурную сцену? Идеологический монополист прошлой формации называл таких людей «диссидентами», а нынешний — «запретителями». Логично, ведь она одна присвоила себе звание свободолобца.

Разрыв между «двумя культурами» и даже двумя логиками приобрел колорит карнавального розгрыша, когда по НТВ после объявления о приеме Солженицына в академики тут же «Героем дня» (этой установочной на ТВ передачей в отношении публично-общественных фигур) был представлен... порнограф Вик. Ерофеев, явившийся, на манер Васисуалия Лоханкина, с книгой «Мужчина» в руках, при помощи которой надеется «развязать руки и ноги русскому эросу». А один из заслуживших доверие политических обозревателей и ведущих программы Павел Лобков впал при этом в столь женски-трепетную позу и стал так заискивающе загля-

дывать мэтру в глаза, что будто демонстрировал правоту главного тезиса книги: «мужчин в России уже не осталось» и ведущая роль в отношениях с ними принадлежит теперь женщинам. Конечно, в отношениях специфических, на которых сконцентрирован публичный жрец любви от литературы Вик. Ерофеев (pedant другому жрецу — от науки, И. Кону). Тем, для кого вопрос немощи сильного пола оказался первоначальным, должна быть очевидна — оставим даже в стороне неприличность самой темы для телевидения — вся бессмысленность этих пикантных рассуждений: «разоблачениями» и скандированием, как предлагает автор, заклинаний (вроде — простите! — «козлы не мы, мы не козлы!») тут делу не поможешь. Вспоминая передачу, трудно поверить, что все это действительно происходило на встрече с «писателем».

Одну минуточку! Но такого писателя нет; на место Солженицына назначили писателя, которого вообще не существует, поскольку его не читают, а только «изучают» и свою карьеру он сделал не перед читающей (бегущей с его чтений), а только перед пишущей публикой, конкретнее, перед пропагандистской братией из передовых критиков, кои в нем видят открывателя новых путей в литературе «телесного низа» и, быть может, даже спасителя генофонда России.

Спасаемые же не знают, каким путем их задумали спасти. А то, что им становится известно и понятно (как например, — о чем будет навязываемый по НТВ фильм «Последнее искушение Христа»), вызывает отпор и доступные им мифологические интерпретации. К сожалению, нет такой силы в обществе, которая бы провозгласила неприемлемость этого фильма *не по мотивам: «Россию погубили масоны!»*

Беда в том, что христианская интеллигенция у нас не имеет, где голову преклонить. Дело подлинного просвещения в стране она сама выпустила из рук и, выходит, отдала подкрасившимся идеологам вчерашнего дня. Перед лицом передовых просветителей разрозненные демохристиане отступают — из страха прослыть ретроградами. Быть может, мы все-таки наберемся мужества и соберемся в какой-нибудь аморфный «Клуб христианской интеллигенции», где сможем публично подавать голос хотя бы по крайним, безотлагательным поводам?

А пока... во многом разделяя чувства народа, мы остаемся с ним при разных толкованиях происходящего.

*В парикмахерском салоне клиентка жаловалась знакомому мастеру, что не может сына «оттащить от телевизора и он тоже стал бесстыжим». А мастер, Аня, местный авторитет, энергично взмахнув указующей расческой, выпалила:*

*— Так это же специально делается!*

## **5. Ответ всем униженным и оскорбленным**

Мне напомнили об обещании ответить критикам моих «Записок». Что ж, несмотря на то, что эта критика, подобно свету потухших звезд, все

еще поступает, откликнуться на нее — как писал некогда мне по другому случаю в веселом стихотворении Давид Самойлов, —

Хотя и рановато,  
Но все-таки пора!

Критики задеты мною: одни лично, другие мировоззренчески, а иные и так и сяк сразу. По сути-то они должны быть мне благодарны. Для власть имущих во СМИ церковных публицистов мои потухшие в «НГ» после летнего солнцеворота заметки послужили неиссякаемым творческим источником. И вот отцвели уж давно хризантемы в саду, а неоглядные церковно-общественные газетные развороты заполняются все новыми вразумлениями на заданную мною тему: «Церковь и плюрализм» (ЦОВ, № 23), «Религиозный плюрализм» (там же) и это только по части названий, а загляните в другие подвалы и статьи, — к примеру: «Возможна ли христианская демократия в России» (ЦОВ №25) или «Преимущественное право Церкви» (ЦОВ №21), — там тоже будет про то же.

Вы догадались, конечно, — главным возбудителем полемической многоречивости и укоризненного теоретизирования послужило именно слово «плюрализм» («плюралисты»), заброшенное мною через церковно-газетную ограду.

Энергия от соударения с этим понятием всегда выделяется в колоссальных количествах, но до сих пор подобную ядерную реакцию мне случалось наблюдать лишь в среде «абстрактных гуманистов», куда я это понятие адресовывала. И это естественно, потому что именно в так называемом «плюрализме» — фокус новейшего мировоззрения, пришедшего на смену тотальным идеологиям старого типа. Эту идею я высказывала и даже «развивала» в разных докладах-статьях (не забудем и давнее литературное эссе А. И. Солженицына «Наши плюралисты» — и что тогда поднялось!); именно здесь самый раздражающий носительницу современного сознания — секулярную интеллигенцию — пункт.

Но что оказалось неожиданным, так это яростная контратака, которую повели в защиту плюрализма мной задетые, не задетые и совсем не знакомые мне христианские журналисты (в том числе в сане); и теперь, кажется, они уж и не знают, куда бы еще приложить и приспособить эту доселе неизвестную им вещь. И хотя одно объяснение «плюрализма» в их текстах аннигилирует тут же приводимое другое и отсутствует умственное тщание свести все пестрое мелькание значений к какому-либо знаменателю, и, наоборот, вместо этого видна тенденция затуманить смысл этого понятия, — ясно, что оно дорого моим оппонентам из церковно-печатного круга и они просто так его не отдадут. Посудите сами, автор статьи «Церковь и плюрализм» А. Кырлежев сначала утверждает, что «плюрализм» — это «множественность», разнообразие, безвредная непохожесть и даже, надо понимать, благое разноцветье созданной Богом жизни. Далее он говорит, что это — «разность... духовных путей и призваний», и тут уже рекомендуется различать «плохую и хорошую» «разность», добро и зло.

(То есть, бабушка надвое сказала, плюрализм бывает разный.) Но и это не все; оказывается, «мы живем в принципиально плюралистической цивилизации», которая вся «лежит во зле» и которой Истина вообще «не нужна». Так на чем прикажете остановиться?

То же у Д. Лекторского, открывшего и возглавившего весь этот поход за плюрализм статьей «Игра на понижение» (ЦОВ, № 15), где высокопарно изрекаемые банальности перемежаются с малосведущими заявлениями (например, что Конституция — это гарант нравственного здоровья нации, что НРД — научный термин — откуда? — а «секты» наоборот — незаконный и т.п.). Собственно, появилась эта статья как выволочка мне, посмевшей оспорить Лекторского. С первых же строк, написанных, как говорится, «через губу» и в неджентельменском тоне, мне стало ясно, что текст этот — месть обидчику, а не ответ несогласного, жажда уязвить, а не разъяснить, прочитать нотацию, а не изложить концепцию. И я отложила газету. Спасибо, нашлись добрые люди, которые к тому времени уже ее прочитали и написали свой отзыв в ЦОВ; через два месяца его-таки выпустили в свет под конвоем все того же заинтересованного лица (не одна я давно убедилась, что плюралисты — они и есть самые большие тоталитарии). Речь идет о рыцарской защите Истины (и меня заодно), предпринятой о. Алексеем Гостевым в статье «Возможен ли «христианский плюрализм»» (ЦОВ, №19) и о сопровождавшей ее в качестве заключительного слова подвальной статье опять же Д. Лекторского «Христианский Бог больше христианства». Почему эти велеречивые раздумья общетеологического свойства были адресованы священнику Алексею Гостеву, выступившему с весьма конкретным, по пунктам, критическим разбором «Игры на понижение», совершенно неясно (впрочем, своя рука владыка). К исчерпывающему анализу о. Алексея мало что можно добавить. Вот только если... когда он пишет, что пропагандируемые Лекторским «подвиги неотмирной святости» и «безумие веры» «на самом деле не что иное, как агностицизм и больше похожи на дзэн, чем на веру и святость Климента Александрийского, Афанасия Великого, отцов Каппадокийцев или Григория Паламы», хочется, из любви к текущему, продолжить: что больше всего это похоже на другого Григория — Померанца, — который, впрочем, ни в чем не виноват, потому что за церковного христианина себя не выдает. В защите плюральной позиции Лекторский говорит сразу две разных вещи: что — выразимся на свой лад — Истина по природе своей христианка и что у каждого верующего она своя. Однако странно, что говорит это церковный человек, ибо для кого-кого, а для него-то она соборна и дана Спасителем, и кто ее не разделяет, считать себя христианином не может. Но он может считать себя кем угодно другим. Однако в том-то и дело, что плюралистски настроенный христианин сплавляет амальгаму из совсем несочетаемых элементов, он не хочет перестать считать себя последователем Христа, но при этом хочет сохранять за собой открытыми все двери. «Христос есть Путь», — любит акцентировать и цитировать он и реже, — что «Он Истина и Жизнь».

Выбор истины — это обязательство верности и требует отсеечения остального, сжигания мостов, отказа от блужданий в манящих даях. Этой аскезы не может выгерпеть плюралист. Но такое состояние и называется «богоискательством». Загляните в статью А. Азаревича (названную почему-то, быть может, иронически, «Преимущественное право Церкви») и вы сразу воспарите в сферах столь потаенно-несокровенного и открыто-сокрытого, что обнаружите себя уже не в доме Христа, а скорее в домене Хайдеггера. Вы также погрузитесь в сокращенно-демоническую диалектику, которая будет доказывать вам, что Бог ради нашего общего блага систематически скрывает от нас Истину, а дьявол, стремясь сбить нас с пути, силится вывести ее из сокрытости в раскрытость. Ко всему прочему, абзацы паламитско-ареопагитского свойства, где автор свидетельствует, что «Бог непознаваем даже для ангелов», перемежаются с социально-политическими филиппиками про грядущую в церковь «банду идеологических громил». Все это помечено 31-м июля, а должно бы — 32-м марта.

Апостол употреблял слово «теплохладность», а не назвать ли нам соскучившихся при Христе сегодняшних христиан, рвущихся на мирские просторы, где веет ветер свободы (от выбора) и дух равенства всех путей, охлажденными, или остывшими христианами?! Лекторский отвергает саму попытку «исключить» из христианского сознания «чуждое и чужое», «иначе от христианства остается одно только «храмовое место», которое ничем не лучше всех других «мест нашего общественного бытия» (последние кавычки свидетельствуют о полемике со мной). Неужели у христианства нет ничего своего, — кроме «места», причем того же, публичного, свойства, что и дискотека? Получается, что «христианский плюралист» только на словах признает Истину христианства.

И еще: и Лекторский, и его соратники по ЦОВ изображают дело так, будто они вступились за понятие «плюрализм» из-за травли его со стороны некоего православного и интеллигентского большинства: «ненавидеть это слово стало обязательным для «просвещенных интеллигентов» («Игра на понижение»), «в последнее время слово «плюрализм» в устах православного христианина стало словом откровенно бранным» («Церковь и плюрализм»). Где они, однако, увидели толпы негодующих антиплюралистов? Пока что эти защитники могли обнаружить только одного, а затем еще одного «интеллигента» и «православного христианина», из чьих уст и был услышан этот злополучный термин. Встретив его в возмущившей их заметке «Истин много не бывает» и затем найдя отклик ему в тайниках своего сердца, они действительно стали наполнять им звучащее пространство.

Нет, не защита релятивизма, празднующего победу в нынешнем мире, а защита истины, судя по массивной и брутальной реакции на левом религиозном фланге, требует сегодня мужества.

Однако борьба со всякой попыткой конкретизировать истину неизбежно вызывает тут не только отпор в пользу «неясного и нерешенного», но и однотипное переименование взглядов оппонента.

В упоминаемой заметке я поделилась неожиданным и горестным наблюдением: церковное лицо, возможно, христианский пастырь так увлекся защитой *прав* выбора вероисповеданий, — свобода совести свята, кто спорит?! — что даже стал настаивать на ценностном *равенстве* всех истин, забыв, что сам он уже нечто выбрал. Для Соловьева было ясно, что тот, кто верит в истину, не может быть равнодушным к пренебрежению ею, но из этого не следует, что не верящих надо «брать за горло». Однако две эти разные вещи — преданность (неравнодушие) и насилие — во многих головах почему-то связываются в тандем; почему-то современные религиозные свобододолюбцы не могут удержать в голове оба столпа христианского мировоззрения — Истину и свободу (свободу совести, в частности); и всякое слово в защиту одного превращается в отрицание другого. Неравнодушие к тому, что из современного сознания вытесняется истина, вовсе не означает равнодушия к подавлению свободы, будь она в таком же гонимом положении. И вообще, эти разрываемые между собой постулаты — о свободе и истине — в христианстве неразрывны: ведь о выборе, *свободе* выбора, имеет смысл говорить только тогда, когда мы серьезно относимся к *ценности* избираемого. Итак, *признание* чего-то истинным для себя никак не означает *запрета* считать таковым другое для других. Так, то есть иначе, думали «силовики» — «Великий инквизитор» и К. П. Победоносцев, но не мы с Владимиром Сергеевичем (кто сомневается, см. хотя бы мою статью «“Роковое слово”. Спор о свободе совести», «Новый мир», 1993, № 9) А мне в укоризну цитируют Соловьева<sup>3</sup>.

Я бы предложила редакторам (как это делается еще в некоторых старых журналах), получающим обвинительно-критические опусы, задавать вопрос критику, а правда ли «это» «там» написано: «Вы утверждаете, что Гальцева призывала «подавлять чужое», запрещать свободу исповедания, настаивала на том, что надо дать привилегии Православной церкви и преследовать всех остальных. Предъявите документ. Сверим с текстом».

Сверим с «Записками прихожанки», в них нет таких утверждений. Вот опять же М. Успенский, отозвавшийся на них в «НГ» (от 29.05.97) полемической заметкой (отнюдь не злонамеренной, в отличие от некоторых): он приводит мне в укор мною же цитированного Соловьева, с сарказмом высказывавшегося о «дыромоляях», — вот, мол, он же «не призывал их запретить!» А где же делаю это я, направляя тот же самый сарказм пропагандистам подобных НРД, «новых религий» сегодня? Где я утверждаю, что Православная церковь должна пользоваться «поддержкой государства»? Это чтение в сердцах. В заметке своей я выражала удивление

---

<sup>3</sup> Предчувствуя, что меня будут ловить на словах, я с самого начала — оказывается очень предусмотрительно — вставила в текст своей нашумевшей заметки в «НГ—религии» два «оговорочных» абзаца (от слов «Когда апостол Павел...» до «Несколько лет назад...»), но в связи с невлезанием их в газетную полосу затем ими пожертвовала. Оказалось, что лучше вернуть на место.

тому, что христианские газеты не озабочены ни отношением к христианской истине, ни опасностью, исходящей от деструктивных сект, а поглощены только правозащитной деятельностью в самом что ни на есть ее формалистическом выражении. Но я, в отличие от моего критика М. Успенского, никогда не назвала бы старообрядцев «изуверами», да еще злостными (это дело пострашнее, чем обвинения кришнаитов у Дворкина). Статья Успенского называется «Где Истина, там терпимость», но «терпимость» — добродетель из секулярного словаря, христианская же истина не предполагает терпимости, только — свободу и милосердие. Что касается «демократии», по поводу которой автор, споря со мной, утверждает, что она несовместима с монархией, то надо заметить, что она не есть только тип государственного устройства, но означает также и его качество. Иначе, пришлось бы исключить из демократических государств вместе с Англией Бельгию, Голландию и Испанию.

...Вот Ириной Лионский, он разбил гностиков, но ведь по нему можно восстановить, кто они такие; или вот опять же Вл. Соловьев, он написал статью о Валентине и валентинианах, и из соловьевской критики можно узнать, чему они учили. А из текстов моих критиков ни один потомок не сможет составить истинного представления о критикуемом предмете.

Зато появился другой способ такое представление получить.

В «НГ—религии» от 24 июля со статьей «Догматы лишь соответствуют реальности» против меня выступила Н. Михайлова, а не так давно — о дар небес! — в газете «Завтра» (№ 33) появился разнос Р. Горича «Рената, идите в монастырь!», которые открыли второй фронт против «Записок прихожанки», и теперь из диспозиции критических сил на двух флангах, левом и правом, очень многое может проясниться.

Текст Р. Горича — зеркальное отражение «Игры на понижение». Здесь тоже борьба идет не за Христа. Если в первом случае мы имеем дело с остывшими христианами, то во втором — с христианами застывшими. Первых тянет в туманные дали, они — в поисках неведомо-неизъяснимого, а храм для них, как мы слышали, одно из обычных присутственных мест; вторые забаррикадировались за церковными стенами и оградой из догматов. Н. Михайлова (кстати, одна познакомившая читателя с тем, что написано в намеченном ею к обличению отрывке «Записок») оскорблена и за тех, кого я назвала «учителями уныния», и за догмат о вечных муках, который, по ее словам, потому истинен, что он «соответствует реальности», поскольку «ад существует реально». Согласна, но реальность эта другого рода, она дана нам не как факт знания (подобно явлению Христа и его благовестию), а как факт веры и удостоверяется в качестве такового внутренним опытом и нравственным чувством (ибо никто в аду не побывал, хотя каждый, вероятно, его переживал). Догмат, отрезанный от внутреннего мира личности, недаром обрел печальный обертона «застывшей догмы». По Горичу, получается, что вблизи Христа, в его присутствии, человек пребывал в меньшей благодати и истине, чем когда пребывает на отдалении, зато — в организованной церковной институции.

Между тем современник Христа евангелист Иоанн (будем тоже бить козырной картой) думал и чувствовал иначе: «О том (...) что мы слышали, что видели своими очами и что осязали руки наши, о Слове жизни ... ибо жизнь явилась нам ... возвещаем, чтобы радость ваша была совершенна» (1-е послание ап. Иоанна 1:1-4).

Критики второго призыва так же непримиримы, как и первого, только обстрел ведется с противоположной стороны. Взглянем для большей наглядности на картину боя. Вот так выглядит автор:

### *На левом фронте*

«Православный обскурант»;

pretендует на обладание «единственно правильной религией»;

ратует за «возврат к тоталитаризму, к идеократическому государству»;

потенциальная гонительница Льва Толстого;

не разделяет защиты свободы совести у Вл. Соловьева.

(Из Д. Лекторского, А. Кырлежева, М. Успенского, А. Азарина)

### *На правом фронте*

Неправославная христианка с еретическими воззрениями, еретик, экуменистка, сектантка, поносит Церковь;

занимается богоискательством, свободный философ, пугается догматического христианства;

«прыгает в царство свободы», «слабонервный интеллигент»;

сторонница ереси Льва Толстого;

заодно с Соловьевым: так богословствуют два философа — Р. А. Гальцева и В. Соловьев.

(Из Р. Горича и Н. Михайловой)

Нетрудно сообразить, что такого явления быть не может — из двух этих отражений одного и того же ничего целого не складывается. Это только Ходжа Насреддин придумал подобный фокус: чтобы люди его не опознали и терялись в догадках по поводу промчавшегося посреди них всадника, он выкрасил свою лошадь с одного боку в темный, а с другого — в светлый цвет.

Обстреливаемый автор «Записок» выглядит неуместным на этом театре военных действий, на этой плоскости баталий, где стрелы летят мимо. Его надо вывести с поля, оставив двух достойных противников сражаться между собой. Зато само парадоксальное, межуточное положение только убеждает этого автора, что он на правильном пути.

Игорь МЕЛАМЕД

## СОВЕРШЕНСТВО И САМОВЫРАЖЕНИЕ

Нам не дано предугадать,  
Как наше слово отзовется, —  
И нам сочувствие дается,  
Как нам дается благодать...

*Тютчев*

### Гений и благодать

Чувство, неизменно сопутствующее чтению иных шедевров Пушкина, Лермонтова или Фета: стихи вовсе не написаны в привычном смысле этого слова. Безотчетная уверенность, что такое совершенство не могло быть достигнуто только человеческим, сколь угодно гениальным, порывом. Что стихи как-то угаданы, продиктованы свыше. Что в процесс их создания вмешались чудесные благодатные силы.

В этом нисколько не сомневались сами поэты. У Пушкина «Божественный глагол», касающийся «до слуха чуткого» поэта — не совсем метафора. И Ахматова, которой было хорошо известно, «из какого сора растут стихи», призналась все-таки: «И просто продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь».

Существование черновиков не должно вводить в заблуждение. Благодать не снисходит на поэта «в готовом виде». То, что называют творчеством, здесь, вероятно, означает встречный прорыв к «Божественному» прообразу стихотворения, постепенное отметание «человеческого» сора, случайных и лишних слов, неизбежно наслаивающихся на смутно брезжащий идеал. Неточное слово, небрежная строчка или неряшливая рифма сигнализируют о недоснятии какого-то слоя, недослышании «чутким слухом» какого-то звука. Художественное совершенство и есть максимальное возможное приближение к идеальному образу.

Но бывают стихи, сотворенные «слишком человеческими» усилиями, не имеющие своего небесного прообраза или не приблизившиеся к нему.

**Игорь  
МЕЛАМЕД**

— родился в 1961 году во Львове. Окончил Литературный институт им. Горького (1986). Стихи публиковались в «Литературной газете», «Новом мире», «Октябре», «Юности», «Огоньке», «Дне поэзии» и др. Автор книги «Бессонница» (1994). Сотрудник музея Б. Пастернака в Переделкине.

Стиль их сочинителя часто проступает на них, точно капли его трудового пота, точно отпечатки пальцев. То, что называют творчеством, здесь означает самовыражение. Это может быть гениальное самовыражение и высокое искусство, как поэзия раннего Пастернака, поздних Цветаевой и Мандельштама. Но даже в такой поэзии нет *благодатно даруемого* совершенства.

\* \* \*

Я прекрасно осознаю всю рискованность последнего заявления. Понятия «совершенство» и «самовыражение» здесь подобны опознавательным знакам на плане таинственной пограничной местности. Однако зыбкость границы между ними не означает ее отсутствия.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,  
Как трагик в провинции драму Шекспинову,  
Носил я с собою и знал назубок,  
Шатался по городу и репетировал...

Это четверостишие Пастернака Маяковский в своей знаменитой работе «Как делать стихи?» назвал гениальным. С оценкой Маяковского трудно не согласиться, но весьма показательно, что гениальная пастернаковская строфа была выбрана им в качестве иллюстрации образцового «деланья стихов». Беру на себя смелость утверждать также, что Маяковский ни в каком случае не стал бы иллюстрировать свои положения таким, например, отрывком из Пушкина:

Было время, процветала  
В мире наша сторона;  
В воскресенье бывала  
Церковь Божия полна;  
Наших деток в шумной школе  
Раздавались голоса,  
И сверкали в светлом поле  
Серп и быстрая коса...

\* \* \*

В одах «Бог» и «На смерть князя Мещерского» косноязычный державинский стих впервые в русской поэзии прорвался к благодатному совершенству. Преобразив ветхую словесную ткань, благодать через поэта заговорила как бы на собственном языке. (Что это так, понимал сам Державин, вспоминая на старости лет, как «проливал он благодарные слезы за те понятия, которые е м у в п е р е н ы были» [18, 307]<sup>1</sup>. (Разрядка моя. — И.М). Пусть нас не смущают «понятия» — не за одни лишь понятия проливает *поэт* благодарные слезы!) Восхитительная гармония, зазвучавшая в элегиях Жуковского и Батюшкова, тоже не позволяет усомниться в ее сверхъестественной природе.

<sup>1</sup> Здесь и далее в квадратных скобках указывается порядковый номер источника в библиографии, приложенной к концу работы, вслед за ним — номер тома (если он есть) и номер страницы.

Справедливо ли утверждать, что допушкинская поэзия своей обращенностью к верховному Источнику наших благ и скорбей, осознанием тщеты и тленности всего земного и надеждами на потустороннее утешение была особенно предрасположена к благодатным восприятиям? Но духовные оды и «размышления о Божьем величестве» писались задолго до и целую вечность после Державина. «Унылая» элегия была традиционным процветающим жанром. Почему же «ответные» волны благодати хлынули именно на Державина и Жуковского? Оставим на миг слишком напрашивающийся аргумент о превосходстве их талантов. Соблазнительно было бы рассуждать в духе Бродского, что через Державина созрел сам язык и «выталкивал поэта в те сферы, приблизиться к которым он был бы иначе не в состоянии...» [9, 4, 83] (почему это не так, надеюсь показать в дальнейшем). Соблазнительно было бы толковать о смиренной вере Жуковского, о серафической гармонии его личности, обусловившей «его стихов пленительную сладость». Но как, в таком случае, быть с Пушкиным, ветреником и «афеєм», которому был уготован дар совершенства, никем не превзойденного?

Сам Пушкин понимал, что *никакие* «потому что» здесь не правомерны. «Дух дышит, где хочет». Катастрофа с Сальери случилась не оттого, что он «поверил алгеброй гармонию», а оттого, что вознамерился стяжать благодать «в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений».

Это было великое прозрение Пушкина.

\* \* \*

Но позвольте, возразят мне, — у Пушкина всё же речь не о благодати, а о «бессмертном гении» Моцарта! Его-то и желал бы стяжать Сальери в своей безумной распре с небесами! Ведь это как будто не совсем одно и то же?

Пушкин, четко разграничивший «Божественный глагол» и «чуткий слух», конечно же знал, сколь соблазнительно отождествлять благодать даже со «священным даром» — «бессмертным гением». Всё прояснится, если мы спросим себя, кто отождествляет их у Пушкина в своем монологе? И окажется, что Сальери, осознавший неземное происхождение музыки Моцарта, так и не смог понять, что *чудо* не стягается ни моленьями, ни самоотверженьем, ни его собственным талантом, с помощью которого он «в искусстве безграничном достигнул степени высокой». И ни «бессмертным гением» Моцарта — мог бы добавить Пушкин<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> С легкой руки Белинского в литературе о «Моцарте и Сальери» утвердилось мнение, что идея трагедии — «вопрос о сущности и взаимных отношениях таланта и гения» [25, 27]. Однако такого различения нет у Пушкина. Напротив, Моцарт, защищая репутацию Бомарше, говорит Сальери: «Он же гений, как ты да я». Примечательна «обмолвка» Вяч. Иванова: «Сальери завидует благодати, отпущенной Моцарту не по заслугам» [31, 253]. Д. Дарский и М. Костолевская близко подошли к проблеме благодати, но разграничения между гением и благодатью не делали [25; 101, 821].

Расхожие выражения «талант от Бога», «гений от Бога», как ни странно, только запутывают проблему. Можно говорить о гении Моцарта, нельзя говорить о его благодати. «Священный дар», однажды полученный свыше, отныне принадлежит художнику и до некоторой степени находится в его власти. «Божественный глагол», посылаемый в редкие минуты его «священной жертвы», возвращается к своему Источнику, а «бессмертный гений» остается «гулякой праздным», «и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он...»<sup>1</sup>. Искусство, в особенности в XX веке, дает немало примеров гениальной самореализации; благодать же через художника являет миру отзвук Божественной гармонии.

Поэтому неравенство талантов не имеет здесь решающего значения. Соблазнительно утверждать, что Державин и Пушкин достигли совершенства, потому что были талантливее Ломоносова и Кюхельбекера. Случается ведь, что благодатью осеняется меньший, а не больший дар. Бродский был, несомненно, талантливей Арсения Тарковского, но, в отличие от последнего, почти не имел творческой благодати<sup>2</sup>.

## Совершенство и самовыражение

У совершенства нет и не может быть превосходной степени, — так полагает ограниченное человеческое сознание. Совершенство есть полнота. Пушкин и Моцарт (а для кого-то, предположим, иные гении) дают нашему эстетическому чувству эталон такой полноты, образец достижений, никем не превзойденных, ни с чем не сравнимых.

Но значит ли это, что в подобных достижениях заключена полнота всей возможной гармонии, какая-то «окончательная» полнота? И если для Бога нет ничего невозможного, на чем настаивал Кьеркегор, то всегда вероятно чудо, и миру будет дарована гармония более совершенная, чем прежняя, которая тоже ведь была явлена чудом!

Возможность чуда раскрывает беспредельную перспективу совершенства, возводит его в бесконечную превосходную степень. Но именно поэтому совершенное творческое достижение — всегда только *максимальное* приближение к своему небесному прообразу, а не абсолютное слияние с ним.

\* \* \*

Максимальность приближения и означает, что нашему творческому порыву положен предел. Поэтому совершенство в техническом смысле есть полная мера<sup>3</sup>. О совершенном стихотворении обычно говорят, что в

<sup>1</sup> Кьеркегор говорил о «заблуждении, согласно которому поразительная одаренность гения и есть дух, положенный как дух» [23, 193].

<sup>2</sup> У раннего Бродского было несколько совершенных стихотворений вроде «Рождественского романса» и «Черного коня». Эти стихи могли казаться «волшебными» даже Ахматовой.

<sup>3</sup> Не зря, говоря о «лирической дерзости» Тютчева, Фет настаивал: «Но рядом с подобной дерзостью в душе поэта должно неугасимо гореть чувство меры» [39, 2, 156].

нем ничего ни прибавить, ни убавить нельзя. Недостаток или превышение полной меры — уже несовершенство. Недостаток полной меры (когда «можно прибавить») легче всего замечен в официальной советской поэзии, в скудости ее изобразительных средств. Но представив себе стихи, например, Ахмадулиной и избыточность их стиля, мы поймем, что такое превышение полной меры (когда «можно убавить»). Оба рода несовершенства в их крайних проявлениях сводятся к графомании. И если в первом случае графомания — простое неумение писать, то во втором — наступает деградация стиля, и пишущий рискует постепенно превратиться в графомана<sup>1</sup>.

Но совершенная полнота меры не может быть достигнута или восстановлена несовершенным творческим усилием. Ущерб здесь нельзя восполнить прибавлением, а излишек умерить убавлением, если не происходит чудо. Чудо благодатно преобразует художественные средства, создавая возможность совершенного произведения.

Отсюда понятно, что от художника ни под каким видом нельзя *требовать* совершенства. Некорректно, например, Евтушенко или Вознесенскому ставить в укор несовершенство их стихов. Соблазнительно говорить при этом, что они как-то «замкнули» слух, вышли не на ту дорогу или руководствовались ложными эстетическими принципами. Лучше всего вспомнить стих из Евангелия: «Они уже получают награду свою». И если их поэзии не дарована благодать — ее должно судить лишь по закону, «ими самими над собою признанным».

\* \* \*

Стихотворение Пушкина «Поэт» помогает установить наиболее существенное метафизическое различие между совершенством и самовыражением. Необходимо только прочесть его «с суеверным вниманием», как нам рекомендовал Гершензон читать Пушкина [13, 15].

Стихотворение было неправильно или тенденциозно прочитано, вследствие чего и различные трактовки «Поэта» оказывались неверными или поверхностными. Вызывала недоумение, оспаривалась и искажалась несложная, в сущности, мысль Пушкина о том, что поэт погружается «в заботы суетного света» и остается «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней», пока его «не требует к священной жертве Аполлон», пока не «коснется его слуха Божественный глагол». Такой поэт одинаково не удовлетворил ни утилитаристов, ни эстетов. Революционер Белинский объявил пушкинскую мысль ложной, прибавив, что «наше время преклонит колени перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни» [6, 2, 124]. Белинскому вторил сторонник «чистого искусства» М. Катков (в будущем — реакционер): «Это только факт, а не закон. Напро-

<sup>1</sup> «Талант и графомания — понятия, не исключające друг друга», — заметил однажды Георгий Иванов [21, 3, 495].

тив, мы должны убедиться, что богатый дар природы может вполне проявить себя только при условии высокого нравственного и умственного образования» [33, 394].

Затем в пушкинском поэте обнаружили двойственность и разлад и немедленно приписали их самому Пушкину. И. Аксаков утверждал, что Пушкин «сам сильнее всех осознавал в себе эту двойственность» и патетически восклицал: «Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих божественных даров в те минуты, когда сознавал свое ничтожество?..» [3, 275]. Вслед за Аксаковым Вл. Соловьев тоже усмотрел в стихах «разлад между творческими и житейскими мотивами», будучи уверен, что «в Пушкине, по его собственному свидетельству, были два различные и несвязные между собою существа: вдохновенный жрец Аполлона и ничтожнейший из ничтожных детей мира» [31, 24—25]. Злополучную двойственность находили и Мережковский, и Вяч. Иванов, и С. Булаков, и И. Ильин [31; 130, 256, 281, 330], и Гершензон [13, 16], и Вересаев [32, 199]. Булаков, в отличие от Аксакова, даже знал, что именно «должен был испытывать» Пушкин: «Не обращается ли здесь поэт со словами укора и раскаяния, столь ему свойственных, к самому себе, к своему духу?». Ильин также писал о строгом суде Пушкина над собой.

Мережковский и Гершензон говорили о «чуде перерождения» поэта в момент творчества, устанавливая связь стихотворения с «Пророком», созданным годом ранее. Связь эта очевидна хотя бы из-за лексического сходства обоих произведений, отмеченного Соловьевым [31, 80]: «до слуха чуткого коснулся» — «моих ушей коснулся он»; «душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел» — «отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы» и т.д. Оттого и Аполлон здесь — не мифологическая метафора, а целомудренный заместитель того Бога, чей «глас воззвал» к пушкинскому пророку. Но Ходасевич был прав, призывая не отождествлять поэта с пророком во избежание спекуляций «на тему о высшем призвании поэта «по Пушкину» [41, 2, 405]. Тем более, что такое отождествление лишь углубляет пресловутый «разлад».

Гершензон, забывая собственный завет «слепо, даже суеверно верить всем сообщениям Пушкина» [13, 95], был убежден, что «Пушкин говорит метафорами: «Аполлон требует поэта», «до слуха коснулся божественный глагол» [13, 16]. Однако, куда пронидательней оказался Лев Шестов, заметивший, что эти пушкинские слова «мы п р и н и м а е м за метафору» [46, 2, 328] (разрядка моя). Во всяком случае, тут — не совсем то переносное значение, что закреплено за метафорой, скажем, в «Поэтическом словаре» Квятковского. Тонкий мыслитель Гершензон невольно смыкался с Писаревым, также увидевшим в Аполлоне и «Божественном глаголе» только «аллегорические обороты речи», отрицавшим их «самостоятельное существование» с грубых атеистических позиций [32, 74]. Гершензон, странным образом не желая понять, «чей непостижимый призыв вдруг пробуждает» поэта, договорился до какого-то «гармонического бреда», которым он определил вдохновение по Пушкину [13, 16].

«Пушкин ни единым словом не намекает, что воплощение в одного из «детей ничтожных мира» мешает поэту быть поэтом», — отметил догадливый Ходасевич [41, 2, 118]. О том, что в стихотворении изображен «нормальный творческий процесс», писала и Лидия Гинзбург [14, 187]. Справедливо также ее утверждение, что пушкинские стихи противостоят шеллингианской концепции романтического идеализма любомудров. Но «разлада» нет не потому, что «вступая из эмпирической действительности в область искусства, человек становится иным» (это всё то же мерзковское «чудо перерождения»), и не потому, что «для Пушкина художественное познание очищало предмет от всего случайного и низменного» [14, 187—190].

Обратим внимание на строки самого Пушкина: «Пока не требует поэта к с в я щ е н н о й жертве Аполлон» — «молчит его с в я т а я лира». Пушкин не случайно поставил так близко однокоренные эпитеты. Святая лира и должна молчать, пока до слуха поэта не коснется Божественный глагол (в стихотворении «Рифма» лира прямо названа Пушкиным «божественной»). Пушкин не говорит о запрете, налагаемом Аполлоном: откровенная дидактика была бы не в его духе. Но такое молчание поэта само оказывается святым, и если не вменяется ему в обязанность, то становится его доблестью<sup>1</sup>. Соответственно, и «ничтожество» поэта — допустимое («быть может»), а не декларируемое — не только «не мешает поэту быть поэтом», но и вообще не имеет никакого значения. Совершенно не важно, кто поэт — «гуляка праздный» или директор Царскосельской гимназии<sup>2</sup>. Пушкин, вопреки домыслам Аксакова и Булгакова, склонялся скорее к оправданию, нежели к осуждению подобного «ничтожества»: «Толпа (...) в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал как мы, он мерзок как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе» [30, 10, 191].

В стихотворении Пушкина, без сомнения, изображен благодатный творческий акт. «Божественный глагол» — здесь не просто «звон Аполлона, требующий поэта к «жертвоприношению», как полагал Гершензон [13, 184]. Не бывает абстрактного зова — поэты хорошо знают, что творческий первотолчок конкретно ошутим. Это может быть строка, образ, даже рифма, а чаще всего ритм будущих стихов. Пушкинский поэт — «...дикий

---

<sup>1</sup> Так получается, если «слепо и суеверно верить в с е м сообщениям Пушкина». Не знаю, было ли замечено, что Импровизатор из «Египетских ночей» — изящная насмешка Пушкина над ходячими представлениями о вдохновении. Иначе, отчего чудесные р у с с к и е стихи у него мгновенно сочиняет н е а п о л л и а н е ц, который, к тому же, «изъяснялся на плохом французском языке»?

<sup>2</sup> Не имея представления о благодатном прорыве, иные литературоведы безуспешно пытались опровергнуть праздную гульбу Моцарта тем, что гений тоже трудится в поте лица и т.п.

и суровый, и звуков, и смятенья полн», — совершает встречный прорыв к гармоническому прообразу стихотворения.

«Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудой: вдохновения не същещь; оно само должно найти поэта», — писал Пушкин в предисловии к «Путешествию в Арзрум». То и дело цитируя знаменитое пушкинское определение вдохновения («расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных»), меньше помнят, что несколькими строчками ниже поэт противопоставляет вдохновение восторгу, который «не в силе произвести истинное великое совершенство» [30, 7, 41]. В «Разговоре книгопродавца с поэтом» Пушкин недвусмысленно определяет вдохновение как «признак Бога». Всё, что написано не «по требованию Аполлона», совершенством не является. Это и есть самовыражение.

\* \* \*

Совершенное произведение всегда исполнено гармонии, даруемой свыше, и потому оно — лучшее доказательство Бытия Божьего, нежели у Ансельма Кентерберийского или Декарта. Это доказательство может входить в намерения автора, не противоречить им и даже расходиться с ними — доказывает не автор, а гармония, заключенная в его произведении<sup>1</sup>. Несовершенное произведение (самовыражение) такой гармонии лишено, и потому всегда доказывает лишь присутствие в нем автора, независимо от его благочестивых или неблагочестивых намерений.

Что такое самовыражение, было известно уже Платону. В диалоге «Федр» Сократ утверждает, что существует «вид одержимости и неистовства — от Муз (...). Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от с о в е р ш е н с т в а: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых» [29, 2, 180] (разрядка моя).

«Творения здравомыслящих» (самовыражение) не есть непременно рассудочная поэзия, как полагает комментатор Платона [29, 2, 533]. Здравомыслие противопоставлено Сократом не житейской глупости, а одержимости и неистовству. «Поэзия должна быть глуповата», скорее всего, именно в платоновском смысле. Ходасевич, на мой взгляд, блестяще разъяснил эту пушкинскую фразу: «В поэтическом видении обнаруживается начало демиургическое; (...) бессмысленным оказывается здравый смысл и на нем построенная действительность» [40, 193—194]. Напротив, «иррациональные» стихи могут быть вполне рационально сконструированы (например, футуристическая заумь Хлебникова и т.п.).

---

<sup>1</sup> Гоголь писал о Пушкине: «Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» [15, 6, 381].

Античные Музы, как известно, выступали под водительством Аполлона. Музы, аониды, камни, к которым с древних времен обращались поэты, были для них не просто персонифицированным условным украшением. Тем самым демонстрировалось целомудренное отношение к божеству: творческая благодать воспринималась от него через посредничество Муз. Батюшков и Пушкин, называя поэта «наперсником муз и граций», еще чувствовали нечто существенное за мифологическими «фантазиями». Также и Фет «выражал ясное понимание сущности дела»<sup>1</sup>, когда обещал Музе: «И стану трепетный, коленапреклоненный / Запоминать стихи, пропетые тобой». Даже в стихах Некрасова, который, казалось бы, должен был отбросить за ненадобностью всякую мифологию, есть его Муза, хотя она — «Муза мести и печали», «плачущая, скорбящая, болящая» и «кнутом иссеченная».

\* \* \*

По странной иронии судьбы Ломоносов, «первый наш поэт», оказывается и первым теоретиком самовыражения. Не желая довольствоваться великой ролью реформатора стихосложения, Ломоносов создавал для будущих Сальери универсальную «алгебру», с помощью которой можно было бы «музыку разять, как труп». Его учения о «трех штилях», о «необычных речениях» и образах, построенных на «сопряжении далековатых идей», об эпитетах «простых, постоянных и украшающих» и т.п. были, по меткому определению Гуковского, «самоутверждением поэтической речи» [16, 15]. Его «правила о возбуждении, утолении и изображении страстей» не приснились бы даже Гумилеву. Собственная художественная практика Ломоносова во многом явилась красноречивой иллюстрацией его напыщенных теорий.

Поэтому нет ничего удивительного в холодном и даже неприязненном отношении к нему Пушкина. В 1825 году Пушкин писал, что стихотворство для Ломоносова было «иногда забавою, но чаще должностным упражнением» [30, 7, 29]. Позднее Пушкин подверг творчество Ломоносова еще более суровой оценке: «Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности (...) — вот следы, оставленные Ломоносовым» [30, 7, 278].

\* \* \*

Людия Чуковская вспоминала, как однажды к Ахматовой пришел польский филолог и заявил ей следующее: «Замечательные поэты Пастернак, Мандельштам, Цветаева создали свой язык, каждый свой, и на нем писали. А вы своего языка не создали, ваши стихи написаны просто на русском». С такой безапелляционной оценкой, к тому же принадлежащей

---

<sup>1</sup> «Слова: поэзия язык богов — не пустая гипербола, а выражает ясное понимание сущности дела», — вынужден был признать Фет, обосновавший творческий акт чисто эстетически, без помощи метафизики [39, 2, 168] (курсив Фета).

иностранцу, можно бы и не считаться, если бы сама Ахматова с ней не согласилась [43, 3, 271].

Еще более тонкое замечание по тому же поводу находим у Марии Петровых: «Есть художники, для которых русский язык и дыхание — воздух — и предмет страсти. Такими были Пастернак и Цветаева. Для Ахматовой русский язык был воздухом, дыханием и никогда не был предметом страсти. Она не знала сладострастия слова» [28, 368].

Создание «своего» языка — способ самовыражения, распространенный в поэзии XX века. Для золотого века русской поэзии «сладострастие слова» в целом не характерно, а исключения вроде Бенедиктова чрезвычайно редки. Напротив, у прекрасных поэтов, отнюдь не лишенных благодатных наитий, встречаются стихи, формально безукоризненные, в которых нет ни малейшего произвола по отношению к языку и во всем соблюдено чувство меры. Это — как будто всё та же гармония, но стихи почему-то не трогают, и к числу шедевров их явно не отнесешь. О подобных стихах обычно говорят: холодное совершенство. Такое определение кажется мне наиболее уместным. Холодное совершенство — то же самовыражение, ибо стихи написаны не по «требованию Аполлона», а «гармония» их создана навьком и мастерством.

Холодное совершенство — обычно проблема поэтов второго ряда: Полонского, А.К. Толстого, А. Майкова и других. И дело здесь не столько в степени их дарования, сколько в отсутствии или ослабленности у них внутреннего «пушкинского» критерия, позволяющего безошибочно отличить вдохновение от «восторга». Творчество таких поэтов как нельзя лучше доказывает, что благодать не почует, что вдохновению присущи приливы и отливы, что чудеса не сходят с конвейера и т.п. Случается, поэта увековечивает единственное стихотворение (например, «Жаворонок» Кукольника), и это означает, что благодатное «повторение» не гарантировано вовсе.

Холодное совершенство несовместимо с благодатным: благодать — всегда «угль, пылающий огнем». Невозможно говорить о холодном совершенстве «Анчара», денисьевского цикла Тютчева или стихов Блока третьего тома.

Многие доэмигрантские стихи Бунина могут быть примером холодного совершенства в поэзии XX века. Известная недооценка Бунина-поэта вызывалась не только обычной слепотой современников, но и большим количеством его анемичных пейзажных зарисовок и туристических этюдов, среди которых терялись такие благодатные шедевры, как «Сапсан», «Одиночество», «Льет без конца. В лесу туман...» и другие. Дореволюционная поэзия Бунина — трагедия многописания. «Грешно насиловать и заставлять петь свою свежую лирическую душу, когда она не хочет петь», — эти слова Блока [8, 5, 297] сказаны именно по поводу Бунина<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В поздней бунинской поэзии благодатное совершенство уже преобладает. См. «Морфей», «Зачем пленяет старая могила...», «В гелиотроповом свете...», «Ночь» и многие другие.

Совершенство всегда целостно. Одно и то же произведение как целое не бывает частично совершенным и частично несовершенным, ибо частичное совершенство — уже несовершенство. Чудесная природа не сливается с рукотворной, и чудо не происходит наполовину или на треть. Более того, одна фальшивая нота, неуместное слово, дурная метафора способны убить гармонию замечательных стихов и не дать состояться чуду.

Не претендуя на объективность и передавая лишь собственные ощущения, приведу два примера. Вот заключительные строки стихотворения Анненского «Госка кануна»: «Иль в миге встречи нет разлуки, / Иль фальши нет в эмфазе слов?». Эта тяжелая «эмфаза», которая могла быть на своем месте в тексте какого-нибудь постмодерниста, подобно ложке дегтя, портит прозрачное, импрессионистическое стихотворение, близкое по поэтике Фету. В цветаевской «Магдалине» («О путях твоих пытать не буду...»), столь восхищавшей Бродского, почти сразу же натъкаешься на невозможный перебор метафор: «Я был бос, а ты меня обула / Ливнями волос — и — слёз». Здесь сомнительное «обувание ливнями» усугубляется тем, что оно же — «обувание волосами — и — слезами» (!)<sup>1</sup>.

Чудесная ткань стихотворения рвется, и в прореху выглядывает лицо автора. И если, как сказано у Пастернака, «...чудо есть чудо, и чудо есть Бог (...) Оно настигает мгновенно, врасплох», то столь же мгновенно и врасплох оно исчезает. Золото на наших глазах превращается в песок. Слух поэта оказывается недостаточно чуток для восприятия «Божественного глагола», и Аполлон пренебрегает его «жертвой». Стихотворение становится актом самовыражения. Оно удаляется от своего небесного прообраза, и там, где должна пульсировать живая сияющая гармония, торчат деревянные словесные костыли.

Но чудеса не подчиняются выводимым нами закономерностям — на то они и чудеса. Отдельная неудачная строчка, рифма и т.п. порою скрадываются гармонией целого. Гармония «включает» в себя и преобразует их рукотворную природу. Такое несовершенство в совершенстве, вероятно, можно объяснить тем, что стихотворение лишь максимально приближается к своему прообразу, а не совпадает с ним. И если небрежности «Госки кануна» и «Магдалины» целиком на «совести» авторов, то в данном случае достигается максимум возможного, после чего все попытки «усовершенствования» приводят только к худшему.

«Следы» благодати, совершенные строки и строфы часто встречаются в несовершенных произведениях. В таких стихах, по верному ощущению Гумилева, — «совершенство отдельных частей не радует, а скорее печалит,

<sup>1</sup> Ссылки на особую эстетику поэта в этом случае несостоятельны. У каждого художника эстетика своя, но по большому счету, в пушкинском смысле «соразмерности и сообразности» для Овидия и Элиота, для Тредиаковского и Твардовского эстетика одна.

как прекрасные глаза горбунов» [17, 3, 9]. Не исключено, что подобные «сплавы» получаются тогда, когда благодатный прорыв не осуществляется своевременно, и стихи дописываются механически, в безблагодатном состоянии. Пушкин, вероятно, знал об этой опасности и не позволял себе дописывать стихи без вдохновения, — оттого у него так много неоконченных отрывков.

## Совершенство и искусство слова

О замечательных стихах иногда говорят: «искусство слова», «произведение словесного искусства» и т.п. Но прилагая такие формулировки к пушкинскому «Я вас любил...» или к «Завещанию» Лермонтова, не чувствуем ли мы некоторую бессмыслицу? И напротив, применительно ко многим стихам Мандельштама эти определения кажутся более чем уместными. Пронзительные, отчасти пророческие «Стихи о неизвестном солдате» — высокое искусство, сотворенное человеком. Но всё же — не чудесное совершенство, дарованное ему свыше. И если в какой-то степени верно, что поэт — «только слов кошунственных творец», как сказано у Блока, то получается удивительный парадокс: в некоей незримой иерархии Пушкин и Лермонтов оказываются *менее* творцами, нежели Мандельштам, Пастернак или Хлебников.

На первый взгляд может показаться, будто «простота» Пушкина или Лермонтова сама по себе гарантирует совершенство их произведений и оберегает их от «искусства». Но не всякая простота совершенна, как, впрочем, и не всякая сложность — непременно самовыражение. Существует профанная простота, не имеющая никакого отношения к благодатной, например, простота официальной советской поэзии. Такова безблагодатная (за редчайшими, трудноуловимыми исключениями) простота Маршака, достигнутая именно средствами «искусства слова». Установка на простоту была у Исаковского<sup>1</sup>. Вероятно, это — тот самый случай, когда, по тонкому замечанию Вейдле, «сама непринужденность, искренность может стать манерой» [11, 75]. Подобной непринужденностью отличались и стихи Есенина после его отхода от имажинизма, когда он «вздернул удила классической формы» (выражение из стихотворения «Поэтам Грузии»). Есенинская безыскусность, впрочем, всегда немного отдавала имажинизмом.

Стремлением к стяжанию благодатной простоты можно объяснить неудачу поэзии «Парижской ноты». Адамович, мечтавший о том, чтобы поэзия стала «чудотворным делом», теоретизировавший о «волшебном светящихся строках, к которым нечего прибавить, в которых нечего объяснять» и «окончательных, единственно важных словах» [1;191, 84, 229], предполагал, в сущности, их рукотворное деланье.

<sup>1</sup> Сравним, например, его лубочную «Катюшу» с таким подлинным шедевром поэта, как «Враги сожгли родную хату...», нельзя не почувствовать разную природу этих простых стихотворений.

Благодатную простоту не следует безоговорочно отождествлять с той «благородной простотой», о которой писал Пушкин в заметке «О поэтическом слого»: «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем» [30, 7, 81]. У Пушкина речь шла о поэтическом слого его времени. Такой общий слог не осеняется вдохновением свыше; о благодати можно говорить лишь применительно к конкретному поэту. «Благородная простота» противопоставлялась Пушкиным «условным украшениям стихотворства», освободиться от которых значило — освободить слог от классицистской и романтической изысканности. От тех или иных «условных украшений» были не вполне свободны стихи Жуковского и Дельвига, Вяземского и Языкова, а до определенного момента — и самого Пушкина.

Пушкин говорил о благородной простоте как об общепоэтической задаче («мы еще не подумали», «мы еще не понимаем», «время еще не пришло...»)<sup>1</sup>. Но опыт последующего развития русской поэзии показал, что та простота («так называемый язык богов» [30, 7, 81]), о которой мечтал Пушкин, никогда не становилась *общим* достоянием поэтов. Одни «условные украшения стихотворства» сменялись другими, да и сама простота для Добролюбова и Трефолева, равно как для Демьяна Бедного и Долматовского, означала нечто совсем уже иное, чем для Пушкина<sup>2</sup>. Благородная простота индивидуального слога достигалась вернее и неизбежнее не «искусством слова», а чудесным наитием, диктовавшим поэту «лучшие слова в лучшем порядке». В этом смысле простота Некрасова и Фета, Ахматовой и Заболоцкого и благородна, и благодатна.

Нередко приходится слышать и читать о сложности поэзии позднего Баратынского, о его разрыве с поэтикой «гармонической точности»<sup>3</sup>, о темнотах в стихах его последнего сборника «Сумерки» и т.п.

Прежде всего стоит разобраться, какая сложность имеется в виду, что значит сложное стихотворение вообще. Существуют произведения, сознательно зашифрованные, *намеренно* рассчитанные на неоднозначное понимание. Есть также стихи, усложненные непреднамеренно, восприятие

<sup>1</sup> Сравним схожее с пушкинским по смыслу и форме высказывание Жуковского: «Мы должны более остерегать себя от излишней украшенности, нежели от излишней простоты, ибо первая и далее от прекрасного и более опасная, нежели последняя» [19, 281].

<sup>2</sup> Подробнее об этом в моей статье «Отравленный источник» (ЛГ, 10.04.1996).

<sup>3</sup> Б. Кенжеев даже обнаружил в его поэзии «отказ от связности выражения в пользу почти безумного косноязычия» (ЛГ, 20.06.1996).

которых затруднено вследствие вычурности стиля их автора. Такого рода сложность — как правило, проблема поэта, точнее, проблема его самовыражения. Но бывает иная сложность, когда то, что и как сказано поэтом, *нельзя* выразить проще и яснее, и «непонятность» таких стихов — чаще всего проблема их читателя. С подобной сложностью мы и сталкиваемся у Баратынского, в частности, в его «Осени» и «Недоноске».

Стихи Баратынского уводят нас в области темные и таинственные. Его «Глагол страстное земное перешел» и «не найдет отзы́ва» у читателя, если тот не обладает схожим с поэтом внутренним опытом. Но явленное ему Баратынский передает с максимальной добросовестностью, с ясностью, предельно возможной в таких случаях. «Есть бытие; но именовем каким / Его назвать? Не сон оно, не бденье; / Меж них оно, и в человеке им / С безумием граничит разуменье...» — какой удивительный образец точности, точнее уже не скажешь! Баратынский скрупулезно расшифровывает темноту открывшегося ему «бытия»: «не сон», «не бденье», «меж них оно»... У Манделштама иногда происходит противоположный процесс, когда внятное ему состояние бытия поэт зашифровывает темнотами самой речи: «Чтобы розовой крови связь / И травы сухорукий звон / Распростились: одна — скрепясь, / А другая — в заумный сон».

Парадоксальные словосочетания Баратынского, на которые часто обращают внимание исследователи его творчества, не имеют ничего общего, например, с «необычными речениями» Ломоносова или со «сладострастием слова». Оригинальность лексики поэта лучше всего определял Пушкин, писавший об «оттенках метафизики» Баратынского, выраженных на его «своеобразном языке» [30, 7, 84].

Пушкин постоянно отмечал гармонию и совершенство стихов Баратынского [30, 7, 221; 10, 78]. Эту гармонию вовсе не нарушает синтаксическая утяжеленность отдельных периодов в «Осени» и в некоторых иных произведениях. Другое дело, когда исследователи заводят речь о «разрушении гармоничного образа мира» в поэзии Баратынского [34, 243]. Но дисгармоничную действительность поэт умел изображать гармоническими средствами — на то ему и была дарована «гармония таинственная власть». В поэзии XX века то же самое удавалось Ходасевичу и Г. Иванову. Дурное единство формы и содержания — в иных случаях характерное для Цветаевой — тут вовсе не обязательно<sup>1</sup>.

\* \* \*

У Ницше есть замечательный афоризм: «Чарующее произведение! Но сколь нестерпимо то, что творец его всегда напоминает нам о том, что это его произведение» [26, 21, 748] (курсив Ницше).

Представьте себе, что читают вслух неизвестное вам стихотворение Хлебникова, или Цветаевой, или Бродского и просят определить, кому

<sup>1</sup> Вспоминается изречение, приписываемое Дельвигу: «Ухабистую дорогу не должно изображать ухабистыми стихами».

оно принадлежит. Вам это удастся почти наверняка и часто с первых же строк, ибо присутствие автора в произведении слишком ощутимо. И его манера, и его лексика, и его интонация как будто говорит вам: «Я — Хлебников», «Я — Цветаева», «Я — Бродский». По этому поводу рискну привести еще одну замечательную цитату: «Стол, кресла, стулья — всё было самого тяжелого и беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!».

Но вообразите аналогичную ситуацию с каким-нибудь «чарующим произведением» Фета, или Ахматовой, или Ходасевича. Что прежде всего сказало бы оно о себе самом? — «Я — красота», «Я — гармония», «Я — совершенство». Что же до авторов стихов, то Ходасевич распознается не столь безошибочно, как Цветаева, — для него требуется более тонкий слух.

Нет ничего удивительного в том, что самовыражение, *создающее* собственный стиль, легче всего узнаваемо. Ведь и посредственные стихи порою выдают своих авторов: «Я — Кирсанов», «Я — Мартынов», «Я — Дмитрий Александрович Пригов». Навязчивый стиль соблазняет дурных филологов, полагающих, что узнаваемость словаря, манеры, интонации поэта априори свидетельствует о достоинствах его произведений. Такое заблуждение, ставящее телегу впереди лошади, поощряют также всевозможные поэтические семинары, совещания и прочие «литературные учебы». Оно сбивает с толку или губит неопытных стихотворцев, занимающихся поисками своего стиля, выработыванием собственного поэтического лица и т.п.

Меж тем, поэту, пишущему по благодатному наитию, ничего искать не надо, а часто и прямо противопоказано. «Надо еще жестче, неприглядней, большее», как советовал Блок Ахматовой [8, 8, 459]. Поэзия шестидесятников даже в очень талантливых проявлениях была отравлена маниакальным стремлением к новизне, в крови ее бродило вечное ученичество. Как-то я брал интервью у Левитанского для «Литературной газеты», и меня слегка смутило одно его высказывание: «Всё или почти всё в русской поэзии уже было, и чего-то добавить к ней, такой разнообразной и такой богатой, почти невысказано» (ЛГ, 15.06.1994). Замечание казалось беспорным, но я был удивлен самой постановкой вопроса. Из частных бесед с поэтом я вынес впечатление, что Левитанский очень гордился оригинальностью своей интонации, которую нашел и «добавил к русской поэзии». Скажут, что и это — немало, но поставив то же самое в заслугу Тютчеву или Блоку, мы опять же почувствуем бессмыслицу.

Нередко приходится слышать от какого-нибудь ревностного поклонника «Столбцов» и «Сестры моей — жизни», что поздние стихи Заболоцкого и Пастернака проигрывают ранним в яркости и самобытности. На самом деле индивидуальный стиль поэта не обезличивается благодатью, а преобразуется. Поздние стихи Пастернака и поздние стихи Заболоцкого — разное, своеобразно окрашенное совершенство. Благодатное преобразование ограничивает экспансию стиля, обуздывает в нем стремление к

захвату чуждых ему сфер. Тем самым уничтожается его уродливый избыток, всё, что в нем «самого тяжелого и беспокойного свойства», роднящее его с мебелью Собакевича, всегда напоминающей своего хозяина.

\* \* \*

Метафоры и сравнения, устанавливающие подобие и взаимную связь понятий и явлений, — самое совершенное и самое несовершенное орудие поэта. Творец метафор всегда рискует насильственно притянуть друг к другу «далековатые» идеи и предметы. Поэты XIX века чувствовали этот риск и пользовались метафорами крайне осторожно. У поэта, пишущего не «по требованию Аполлона», метафора может стать наиболее опасным инструментом творческого своеволия.

Несовершенные метафоры всегда искусственны, и развитое эстетическое чувство легко изобличает их сконструированность. Они могут быть изысканными, как у Пастернака, или грубыми, как у Маяковского. Нельзя не разделить благородного возмущения Шенгели по поводу такого образа Маяковского: «Гибр, взъярясь, / Папе Римскому голову выбрил...». «Гибр, бреющий папе голову, — полный вздор», — заключает Шенгели [45, 438]. А сколько подобного «вздора» можно при желании обнаружить у современных поэтов! У Бродского таким «вздором» часто оказывались метафоры, посредством которых сооружалось какое-нибудь сомнительное *bon mot* вроде: «...луг с поляной / есть пример рукоблудья, в Природе данный». Предлагаю читателю самому рассудить, намного ли «рукоблудящий луг» удачнее «Тибра, бреющего папу».

Но сравнения и метафоры могут быть и самым совершенным «орудием» благодатного наития. С их помощью поэт кратчайшим путем соединяет понятия и образы, связанные между собой в Божьем замысле о мире. Оттого, полученные озарением свыше, они производят на нас столь неотразимое впечатление, доставляя ту самую «радость узнавания», о которой говорил Мандельштам. Вот несколько классических, хорошо известных примеров: «Нева металась, как большой / В своей постеле беспокойной...» (Пушкин); «Брала знакомые листы / И чудно так на них глядела, / Как души смотрят с высоты / На ими брошенное тело...» (Тютчев); «И тихо, как вода в сосуде, / Стояла жизнь ее во сне...» (Бунин).

Такая двойственная природа образной речи вызывала и соответствующее отношение к метафоре — от безоглядной апологии до безоговорочного отторжения. «...Для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть — сравнение», — утверждал Мандельштам [24, 3, 406]. Адамович, сторонник аскетического художества, полагал, что «настоящая простота решительно и безусловно исключает метафоричность» [2, 24]. Известно мнение Межирова о том, что на вершинах поэзии не бывает метафор. Однако чудесная природа совершенного произведения не обязана считаться с навязываемой ей железной закономерностью. Благодат-

ный творческий акт «решительно и безусловно исключает метафоричность» только как орудие нашего произвола, как инструмент самовыражения.

## Мистический соблазн символизма

Главные поэтические течения начала XX века — символизм и акмеизм — были тайно враждебны пушкинской благодатной эстетике. Но «сальеристские» притязания в каждом из них проявлялись по-разному. Если символизм стремился мистически стяжать творческую благодать, то акмеизм рассчитывал достичь гармонии с помощью филологической «алгебры». Футуризм в этом смысле оказался «невиннее» и честнее: он откровенно разрывал с предшествующей культурой, «сбрасывал Пушкина с парохода современности» и заявлял беспредельное самовыражение.

Беря на себя право творить универсальное теургическое искусство, символисты желали, по сути, выхватить благодать из рук Создателя, самовольно присвоить ее. И Вячеслав Иванов, и Белый, и Блок унаследовали утопические ожидания Вл. Соловьева, полагавшего, что поэты в будущем «опять должны стать жрецами и пророками, но уже в другом, еще более важном и возвышенном смысле: не только религиозная идея будет владеть ими, но и они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями» [35, 231]. Земное воплощение религиозной идеи представлялось символистам не менее чем «преображением мира», «пересозданием человечества» и т.п. На таком основании символизм был объявлен «вне эстетических категорий», но всё же каждое художественное произведение подлежало оценке с точки зрения символизма.

Символисты жаждали творческих чудес, но не понимали значения благодатной помощи — единственного залога каждого конкретного чуда. Иначе не ясно, каким образом Вячеслав Иванов, например, мог бы «прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей» [20, 144]. Хотя Иванов и Белый не сомневались, что магия изначально заложена в символистское поэтическое слово, в их собственной поэзии можно найти всё, что угодно, кроме совершенства. Весьма далеко от гармонии навязчивое сладкозвучие творений Бальмонта. Над стихами Брюсова успел посмеяться сам Соловьев [35; 506—517]. Брюсов был чужд мистических крайностей течения и подчас «достигал степени высокой» в своем упорном мастерстве. Но и в лучших проявлениях его поэзия оставалась холодным, вымученным совершенством ремесленника.

\* \* \*

В связи с символизмом нельзя не коснуться работы Бердяева «Смысл творчества», написанной после кризиса символизма и представляющей собой грубое развитие соловьевских и символистских идей, многократно

усиленных в пафосе. Не случайно для Бердяева символисты были всего лишь «жертвенными предтечами и провозвестниками грядущей мировой эпохи творчества» [7, 451]. По Бердяеву, в эту эпоху творчество само станет религией и даже «третьим откровением в Духе» [7, 337]. Философ не допускал сомнений в творческой силе человека, ему казалось, что «в творчестве снизу раскрывается божественное в человеке, от свободного почина самого человека, а не сверху» [7, 329]. Поэтому его слова о «даровой благодати» [7, 397] звучат неприятно и двусмысленно: такая благодать перестает быть чудесным даром и оказывается дармовой, самозаконно положенной творческой личности.

Со страниц бердяевской книги словно восстает какой-то новый Сальери и уже не спорит с небесами, а диктует им неслыханное предписание: человек должен творить как Бог!<sup>1</sup> Христианский философ почему-то забывал слова Апостола: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Оттого, читая рассуждения Бердяева о том, что творческий акт «не может быть специфически христианским, он всегда дальше христианства» [7, 448], только разводишь руками: к чему тогда все эти проповеди о теургии и третьем откровении в Духе? Столь же сомнительными при таком подходе кажутся бердяевские декларации о творческом акте как «дерзновенном прорыве за пределы этого мира» [7, 448]. Отрицание благодатной помощи превращает их в пустое словоизвержение.

\* \* \*

У Сологуба, в отличие от большинства символистов, отсутствовал энтузиазм преобразования действительности, — у него была своя мечта. Не стану касаться здесь ее конкретного содержания: гораздо важнее, что стихи Сологуба — не благодаря и не вопреки этой мечте — нередко прорывались к благодатному совершенству.

Существенно и другое — насколько диаметрально противоположно оценивалась его поэзия порой одними и теми же исследователями. «Наряду с чудесными стихами, классически прекрасными по форме, он написал целые сотни плохих, то нестерпимо банальных, то вычурных. (...) Иногда казалось, что есть два Сологуба: один — сильный и взыскательный мастер (...), другой — графоман и ремесленник». Таков приговор Корнея Чуковского [44, 6, 332]. А вот что писал о сологубовской поэзии Шестов: «Пушкин бы хохотал над этими стихами. Поэт не жертвы Аполлону приносит, а голосит, как дикий зверь (...) он бессмысленно воет (...). Как мог Аполлон благословить такое творчество?». Но Шестов тут же признавал, что в стихах Сологуба «есть дивная музыка, смысла которой ни ему,

---

<sup>1</sup> Для Бердяева это было вполне логично. Вслед за немецким мистиком Бёме он обнаружил в Боге «темный исток» и темную свободу, существовавшую до Бога и над Богом. В этом — осязаемый изъян всей его философии. Не удивительно, что в такой безблагодатной свободе всякий творец мог быть уравнен с Творцом.

ни его читателям разгадать не дано» [47, 2; 420—431]. Совершенство сологубовских стихов отмечал Блок [8, 5, 285].

Итак, — «бессмысленный вой» и «дивная музыка», графомания и совершенство. Все эти определения одинаково справедливы. И если учесть, что у Сологуба почти отсутствовала эволюция формы, как пронизательно заметил Ходасевич [41, 4, 108], то провести границу между ремесленничеством и «взыскательным мастерством» и вовсе невозможно. Не следует ли из всего этого, что «бессмысленный вой» у Сологуба превращался в гармонию, когда Аполлон почему-либо «благословлял» его творчество? И тогда поэту удавалось написать такие шедевры, как «Друг мой тихий, друг мой дальний...», «Ангел благого молчания», «Над безумием шумной столицы...» и другие, способные пройти самый строгий отбор в самые образцовые антологии. Сологуб знал о таком переменчивом отношении к себе Аполлона. В этой связи анекдотические воспоминания современников о том, как он делил свои стихи на сорта и продавал их по разным ценам, получают неожиданно серьезный смысл.

\* \* \*

«Символизм (школьный и схематический) был теоретическим затмением Блока накануне жизненного просветления», — писал Пастернак [27, 4, 704]. Однако это внешне правильное, эффектное положение, как мы убеждаемся, не имеет под собой никаких оснований.

На первый взгляд всё обстоит действительно так. Если в письме Белому 1903 г. Блок — восторженный сторонник «превращения жизни в мистирию» [8, 8, 152], то четыре года спустя он сообщает тому же адресату о своем желании «трезвого и простого отношения к действительности» и о том, что «предпочитает людей идеям» [8, 8; 190, 197]. В 1910 г., когда кризис символизма обозначился явно, Блок в статье «О современном состоянии русского символизма» берет на себя тяжкое бремя покаяния в общих грехах. «Мы вступили в обманные заговоры с услужливыми двойниками; мы силою рабских дерзновений превратили мир в Балаган; мы произнесли клятвы демонам...», — заявляет он [8, 5, 433] и далее откровенно признается в мистическом «сальеризме»: «Мы пережили безумие иных миров, преждевременно п о т р е б о в а в ч у д а...» [8, 5, 435] (разрядка моя). Это замечательное прозрение Блока было неполным (ибо оставляло возможность какого-то своевременного (!) требования чуда) и не означало отречения от символизма. Блок лишь предупреждал о том, «чего стоит смешение искусства с жизнью» и призывал к «духовной диете» [8, 5, 436].

Отказ от преждевременных символистских чудес был связан у Блока не с отрезвлением от «мистического похмелья»<sup>1</sup>, а с иным, подлинным чудом, явление которого он почувствовал в своей поэзии. Георгий Иванов едва ли метафорически говорил о «Божьей милости», приведшей Блока

---

<sup>1</sup> Выражение из предисловия Блока к поэме «Возмездие» [8, 3, 296].

«к чудесной гармонии пушкинских стихов» [21, 3; 474, 482]. Стоит ли напоминать, сколь соблазнительно ставить такую милость в прямую зависимость от теоретических затмений и просветлений?

В беспомощном и туманном самовыражении «Стихов о Прекрасной Даме» по-настоящему значительны лишь ритм и та неотразимая интонация, которая не покидала Блока до конца. Но там еще нет гармонии. Нет ее и в большинстве стихов второго тома, за исключением отдельных благодатных прорывов («Девушка пела в церковном хоре...», «Незнакомка», «Клеопатра» и др.). В «Снежной маске» и «Файне», правда, «уже чувствуется торжественное приближение Духа Музыки, побеждающего демонов», — как выразительно заметил Гумилев [17, 3, 111]. Но творческое просветление в стихах третьего тома было настолько ошеломляющим, что по сравнению с этой поэзией всё, написанное прежде, кажется каким-то затянувшимся «*Ante Lucem*»<sup>1</sup>.

Однако достаточно беглого взгляда на названия циклов и стихов этого периода («Страшный мир», «Возмездие», «Песнь Ада», «Пляски смерти»), чтобы иллюзия *жизненного* просветленья Блока рассеялась сама собой. «Святой демонизм»<sup>2</sup> его личности воплощался в божественных стихах. Но теперь Муза принесла Блоку «роковую о гибели весть», меж тем как в «лиловых мирах» символизма ему сияла весть о преображении мира<sup>3</sup>.

Мистический энтузиазм с новой силой вспыхнул в Блоке после большевистского переворота. В «бушующих лиловых мирах» зазвучала «музыка революции». «Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества» [8, 6, 22], стала последним символистским соблазном Блока и непродолжительным *жизненным* просветленьем. В то же время Дух Музыки удалился от него. Совершенства нет ни в трескучих «Скифах», ни в гениальных «Двенадцати».

Символизм для Блока никогда не был ни «теоретическим», ни «школьным и схематическим» — он был утопическим *жизненным* идеалом, разочарование в котором несло с собой тьму и гибель. Если между теорией и идеалом позволительно на миг поставить знак равенства, то пастернаковское положение оказывается верным ровно наоборот: символизм всегда был для Блока теоретическим просветленьем накануне *жизненного* затмения. Последнее такое просветленьем стоило ему самой жизни.

---

<sup>1</sup> До света (*лат.*). Название юношеского сборника стихов Блока (1898—1900).

<sup>2</sup> Определение Пастернака [27, 4, 704].

<sup>3</sup> Вот что, по свидетельству Вс. Рождественского, говорил Блок об одном из самых страшных и самых совершенных своих произведений «Голос из хора»: «Очень неприятные стихи. Я не знаю, зачем я их написал. Лучше бы было этим словам оставаться несказанными. Но я должен был их сказать (...)» [8, 3, 515].

Обозначенное выше необходимо иметь в виду для правильного понимания знаменитой блоковской речи «О назначении поэта» [8, 6; 160—168]. Глубокие прозрения смутно проступают в ней из символистского тумана, а прообразы иных формулировок без труда отыскиваются в дневниках юного Блока, замороженного Соловьевым<sup>1</sup>.

Блок то и дело варьирует определения, составляющие содержание «первого дела, которого требует от поэта его служение». Это и «освобождение звуков из родной безначальной стихии», и «приобщение к хаосу», и «поднятие внешних покровов», и «вскрытие духовной глубины». Цитируя пушкинского «Поэта» и от себя формулируя «требования Аполлона», Блок забывает о «Божественном глаголе», но вспоминает тютчевский «родимый хаос», не имеющий у Тютчева никакого отношения к творческому акту. Однако «в таких поневоле шатких и метафорических выражениях»<sup>2</sup> Блок, без сомнения, описывает благодатный прорыв, известный ему из конкретного художественного опыта. Ясно одно, что за всеми этими стихиями, хаосом и прочим мистическим материализмом стоит Нечто, обладающее подлинной метафизической сущностью. Иначе непонятно, почему же «нельзя сопротивляться могуществу гармонии», имеющей такую «безначальную» природу.

Второе дело поэта — «приведение звуков в гармонию» — Блок определяет еще как «область мастерства». Но, чувствуя по собственному благодатному опыту, что первое и второе дело, в общем-то, — одно и то же, он тут же почти упраздняет эту сомнительную стадию: «...никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совершенно связано с другим...».

Зато о третьем деле поэта Блок заявляет ясно и однозначно, без всякой мистики и обиняков. Потому что это дело в значительной мере включает в себя и «первое» и «второе» дело поэта, и знание о нем Блок почерпнул не из «безначального хаоса» и не из «области мастерства». *Внесение гармонии в мир* — таково назначение поэта по Блоку. Таково его предсмертное завещание.

## Филологический соблазн акмеизма

Иннокентия Анненского традиционно причисляют к поэтам символизма. Однако просмотренный в силу определенных причин символиста-

<sup>1</sup> В этих дневниках можно прочесть, например, что «тьма — безначальный хаос «оформленный», а «свет — безначальный хаос «очищенный» [8, 7, 47], что «действительный (небесный) свет может воссиять только из тьмы» [8, 7, 51] — не бердяевский ли это «темный исток» в Боге?

<sup>2</sup> Так сам Блок характеризует свое изложение в черновом наброске речи [8, 7, 406].

ми, Анненский своим творчеством существенно повлиял на поэтов не-символистской ориентации, в частности — на акмеистов<sup>1</sup>.

У Анненского практически отсутствовал «путь поэта» — в том смысле, в каком он был у Блока, и несколько в ином смысле, чем у «стоявшего на месте» Сологуба, — эволюции Анненского препятствовали позднее творческое созревание и преждевременная смерть. Прижизненные «Тихие песни» и посмертный «Кипарисовый ларец» — книги примерно одного периода развития, разве что в первом сборнике сильнее чувствуется отмеченный Блоком «угар декадентских форм» [8, 5, 620]. Последователям Анненского были решительно не интересны его мистические аллегории с прописной буквы («Вековая Мечта», «Здесь и Там», «Циклоп Скуки» и проч.), художественный эффект которых умер вместе с символизмом. Жизнеспособней и соблазнительней оказались иные особенности его поэтики, сформулированные им самим в «Книгах отражений». У Анненского была «чуткая боязнь грубого плана банальности», он стремился к «мистической музыке недосказанного» [4, 206]. В современной поэзии ему претил «абсурд цельности», которому он предпочитал «беглый язык намеков, недосказов, символов...» [4; 108, 102]. «... Я считаю достоинством лирической пьесы, если ее можно понять двумя или более способами или, недопоняв, лишь почувствовать ее и потом доделывать мысленно самому», — писал Анненский в статье «О современном лиризме» [4; 333—334].

Недосказанность может быть замечательным свойством совершенной поэзии: и Пушкин, и Фет далеко не всё выговаривали «в лоб». Ассоциативность и импрессионистичность лучших стихов Анненского («Свечку внесли», «Смычок и струны», «Госка припоминания», «Октябрьский миф», «Зимний поезд», «То было на Валлен-Коски» и многих других) вовсе не мешает их чудесной гармонии. Но есть у него стихи иной природы, которые словно иллюстрируют собственный конструктивный принцип, где «поэтика недосказа» становится приемом («Баллада», «Трое», «Дальние руки» и т.п.). Адамович верно заметил, что «у Анненского в противоположность Блоку поэзия иногда превращается в ребусы, даже в таком стихотворении, как «О, нет, не стан...» с его удивительной, ничем не подготовленной последней строфой» [1, 229]. Эстетика Анненского была во многом ориентирована на особенно ценимую им французскую поэзию («пробклятых» и символистов), где уже господствовало самовыражение.

Случалось, что, «уклоняясь» от посылаемого ему «благодатного потока», Анненский сам убивал уже почти состоявшуюся гармонию каким-нибудь резким лексическим диссонансом. Такова выше цитирувавшаяся «э м ф а з а слов» в «Госке кануна». Таковы «первые с и м п т о м ы» в

---

<sup>1</sup> «Психологический и «ассоциативный» символизм Анненского послужил отправной точкой для ряда поэтов послесимволистической поры» (Л. Гинзбург [14, 358]).

его «Майской грозе». Таковы несообразные «г р а б а р ы» и «к и р ь г а» в прекрасном стихотворении «Июль» и т.п.

Ахматова, считавшая Анненского своим учителем, была убеждена, что в его стихах уже «содержались» Гумилев и Пастернак, Мандельштам и Цветаева, и даже Маяковский и Хлебников [5, 2; 235—236]. Двойственный состав поэзии Анненского обуславливал и ее двоякое влияние, и многих «учеников» соблазнила именно его филология. Анненский предуготовил и предметную зоркость Ахматовой, и метафорические шифры позднего Мандельштама. Сама Ахматова не прельстилась «мистической музыкой» его ребусов — ей были предназначены иные дары.

\* \* \*

Акмеизм не просто «поверял алгеброй гармонию»: «алгебра» необходимо предписывалась поэту и становилась гарантией стяжаемой им гармонии. Несмотря на широковещательные заверения Гумилева<sup>1</sup> о том, что «поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты» и обещание «всегда помнить о непознаваемом» [17, 3; 19—20], — «прекрасная дама Теология» всё же почтительно подвигалась акмеистами в сторону. Тем самым благодатная помощь, в сущности, отрицалась, а «лучшие слова в лучшем порядке» (как определял поэзию Кольридж) зависели исключительно от освоенного ремесла. Не зря руководимое Гумилевым объединение называлось «Цехом поэтов», а одна из его акмеистических статей красноречиво именовалась «Анатомией стихотворения».

«Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов», — учил Гумилев [17, 3, 25]. Законы же эти определялись «синтезом четырех искусств — ритмики, стилистики, композиции и эйдологии» [17, 3, 227]. Такая поэзия уже не нуждалась в «санкции» Аполлона: современники вспоминали, как сам Гумилев, «мучаясь потребностью писать, прижал к ладони зажженную папиросу и заставил себя терпеть боль, а потом сел к столу и написал стихи» [17, 3, 277].

Акмеистическая филология не могла не возмутить Блока. В предсмертной статье «Без божества, без вдохновенья» Блок с раздражением писал, что акмеисты «топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий (...); в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: *душу*» [8, 6, 183] (курсив Блока). Исключение он делал для одной лишь Ахматовой. В запальчивости Блок даже футуризм объявил «бесконечно значительнее, глубже, органичнее, жизненнее» акмеизма [8, 6, 181].

---

<sup>1</sup> Здесь я, в основном, касаюсь теорий Гумилева. Акмеистические воззрения Городецкого не представляют особого интереса. Ахматова вспоминала о впечатлении, произведенном его манифестом: «...входит человек (Гумилев), а за ним обезьяна (Городецкий), которая бессмысленно передразнивает жесты человека» [17, 3, 257]. Об эстетике Мандельштама см. ниже.

Между тем гумилевские оценки конкретных поэтов, рассыпанные в «Письмах о русской поэзии», много тоньше и пронизательней его «бездушных теорий». Художественная практика акмеистов была не в пример плодотворнее исходных посылок течения, о чем свидетельствует хотя бы поэзия самого Гумилева. От книги к книге он лишь наращивал свое мастерство, но в ряде стихов «Колчана» и «Костра» появляется совершенство, не сводимое ни к каким композициям и эйдологиям («Фра Беато Анджелико», «Смерть», «Деревья» «Сон», «Рабочий» и др.). «Огненный столп» уже производит впечатление мощного благодатного прорыва. Здесь, в одном из лучших стихотворений, поэт Гумилев как бы напоминает акмеисту Гумилеву, что «Слово — это Бог» и что, «как пчелы в улье опустелом, / Дурно пахнут мертвые слова».

\* \* \*

«Бездушные» акмеистические теории подспудно готовили почву для той чудовищной науки о поэзии, которую начали разрабатывать оппоязовцы и, в частности, Тынянов. Тынянов с энтузиазмом крота рыл филологические норы, валя в одну кучу золото и шлак, ценную и пустую породу, в своей слепоте не догадываясь о существовании солнца. Его наука была вульгаризацией акмеизма: если Гумилев еще желал «помнить о непознаваемом», то Тынянов знал одни лишь «законы, управляющие комплексом слов». Он был убежден, что поэзия возникает путем селекции жанров и тем, стилей и приемов.

Сомнительное понятие «лирического героя» было выведено Тыняновым из творчества Блока, как нельзя менее пригодного для подобных теорий. Ахматова, по мнению Тынянова, находилась «в плену у собственных тем», а Ходасевича он «сознательно» недооценивал на том основании, что «полный его голос — для нас не настоящий» [38; 173—174]. Зато у Асеева и Сельвинского Тынянов обнаруживал по своему разумению подлинные сокровища. Ему бы исследовать стихотворный ритм — здесь он был по крайней мере на своем месте. Подобно Маяковскому, он понимал только «как делать стихи»; разница лишь в том, что Маяковский топорно описывал собственный безблагодатный опыт, а Тынянов пускался в тонкие филологические спекуляции.

Тыняновская методология, освобожденная от оппоязовского экстремизма, не могла не восторжествовать в последующем стиховедении. В талантливой книге «О лирике» Лидии Гинзбург убедительно доказывается прогрессивное и поступательное движение русской поэзии, проявляющееся в деканонизации стилей и поэтик, смене школ и традиций. Из каждой новой главы этой книги мы узнаем, что Пушкин что-то создал, Тютчев нечто привнес, Блок чем-то овладел и т.п. Если всё это верно, то не опровергается ли наукой о поэзии ее благодатная эстетика? А именно то, что Пушкин и Тютчев ничего сами не создали и не привнесли, и всё, чем они заслужили нашу любовь и благодарные слезы, было даровано им

чудесной милостью свыше? Но разве не менее веские аргументы Дарвина вынуждают нас усомниться в том, что человек создан по образу и подобию Божию?..

## Совершенство и Промысл

Обращение к Музе всё реже слышится в поэзии XX века. Дело, разумеется, не только в том, что Муза превращается в рудимент или игнорируется поэтами как бессмысленный архаизм. Само собой, в Музе не нуждается набирающее силу самовыражение: ее довольно сложно представить в стихах, например, Хлебникова<sup>1</sup>. Вместе с тем, возникает более печальная причина ее отсутствия.

В «сокровенных напевах» Музы Блоку чудится «роковая о гибели весть». К Ахматовой является Муза, которая «Данту диктовала страницы Ада». Блок еще в 1910 году ставит вопрос о «проклятии искусства», для него — «Искусство есть Ад» [8, 5; 433—434]. И в этом «черном воздухе Ада» всё менее возможны для художника и Музы, и Аполлон.

В «Тяжелой лире» Ходасевича роль Музы отчасти берет на себя Психея (в противном случае он, поэт очень сдержанный, едва ли стал бы именовать так громко свою «простую душу»). Его Психее дан «дар тайнослышанья», «ей вдохновение твердит свои пифийские глаголы». В стихотворении «Баллада» «тяжелую лиру» поэту дает *кто-то*, которого он не различает «сквозь ветер». В другой «Балладе» своей последней книги Ходасевич совершенно определенно заявляет: «Мне лиру а н г е л подает» (разрядка моя), — не оттого ли в «железном скрежете какофонических миров» его «Европейской ночи» гармония оказывается всё еще возможна? В последнее десятилетие жизни поэта «райская птица больше не давалась ему в руки» — как выразился Адамович [1, 329], — и «святая лира» Ходасевича хранила честное молчание.

\* \* \*

В 20-е годы некоторые эмигрантские критики объявили Ходасевича наследником Блока, в чем поспешил ему отказать Георгий Иванов. Усмотрев в «совершеннейших ямбах» Ходасевича отсутствие любви, скуку и презрение к миру, Иванов иронически вопрошал: «Какую «радость» несет его песня?» [21, 3; 512—514]. Но, во-первых, и «совершеннейшие ямбы» Блока не лишены «гневной зрелости презренья», а главное, этим своим приговором Иванов невольно высек собственную будущую поэзию. И ему впоследствии стало «гадко в этом мире гадком» и «скучно, скучно

---

<sup>1</sup> В безблагодатной поэзии образ Музы иногда становится объектом стилизации или литературной игры. Например, у Бродского, для которого «голос Музы» неизменно означал «диктат языка» [9, 1, 15]. В стихотворении современного поэта Гандлевского Муза попросту названа «б...ю».

до одуренья», и в его стихах в конце концов прорвалась «накипевшая за годы злость, сводящая с ума».

Благодатная русская поэзия началась с гимна Творцу в державинской оде «Бог». Ровно через полтора столетия в страшных и совершенных стихах Георгий Иванов скажет: «Хорошо, что Бога нет». Однако мы не верим Иванову, и не только оттого, что это «говорит безумец в сердце своем». И обнадеживает нас даже не глубина метафизического отчаянья поэта, а удивительная гармония этих стихов, сама по себе убеждающая, что Бог — есть. В мировом уродстве, среди «мировой чепухи», ужасавшей еще Блока, у Иванова разорвана связь с Музой и Аполлоном, но вдохновенье — «сияющее дуновенье Божественного ветерка» — не ослабевает в его поэзии до конца. «Музыка» становится всё более невозможной», — жалуется Иванов в письме Р. Гуло [37, 216], но благодать по-прежнему даруется ему — без посредника и вопреки «кошунствам».

В мире, в котором «Бог не сдержал обещанья», не утешает Иванова и искусство: «бессмыслица искусства вся, насквозь, видна» ему. Совершенство его зрелых стихов совсем иного рода, чем совершенство мандельштамовских «Тристий», где благодать еще уживается с «искусством слова»<sup>1</sup>. Но безыскусность поэзии Иванова, особенно в «Посмертном дневнике», — уже не пушкинская («Я вас любил...»), это — безыскусность после «искусства».

\* \* \*

Возможность совершенной поэзии, само ее существование в «черном воздухе Ада» свидетельствует о непрекращающемся Промысле в мире, гармонический образ которого окончательно разрушен. Однако трудно разделить, например, оптимизм В. Непомнящего (в его статье о «Моцарте и Сальери»): «Гармоническое искусство объективно опровергает идею, что Бог плохой художник и создал «несовершенный» мир» [25, 851]. Несовершенство мира, увы, не опровергается гармоническим искусством, ибо последнее не имеет отношения к первому. «Райские песни» Моцарта никак объективно не опровергают Освенцим. Бог же вряд ли нуждается в нашей санкции хорошего художника, оттого и всяческие теодицеи чаще всего получают надуманными и фальшивыми. Гармоническое искусство лишь вселяет надежду на оправдание человека перед Богом, а не оправдывает Бога перед «судом» человека.

Да и вправе ли мы возлагать на искусство какие-либо объективные «промыслительные» функции? В работах И. Ильина проводится мысль о том, что «через художника про-рекает себя Богом созданная сущность мира и человека» [22, 245]. Но рассуждения Ильина о «пророческом призвании» художника крайне сомнительны, как, впрочем, и любые

<sup>1</sup> Подробнее об этом см. ниже. См. также единственную оценку Блока тогдашней поэзии Мандельштама: «Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только» [8, 7, 371].

философствования на эту тему (хотя бы в статьях того же В. Непомнящего). Совершенное произведение самодостаточно, — Георгий Иванов, например, ничему кроме гармонии не служил, и пророческим призванием себя не обременял. А что и Пушкин «нимало не претендовал на «важный чин» пророка», довольно убедительно доказал Ходасевич [41, 2, 405].

Ильин, видимо, не вполне осознавал, что совершенство также «прокается» свыше и всякие попытки навязать ему какой-то критерий — заведомо не годны. И действительно, всё, что по Ильину является «критерием художественного совершенства» («верность законам внешней материи», «подчинение их живой комбинации — образу и главному замыслу» и «являемой тайне» [22, 255]) оказывается ни к чему не обязывающим набором слов. Нам не дано знать никаких «критериев» совершенства, и все наши домыслы на сей счет — не что иное, как эстетическая гордыня.

## Преображение стиля

Совершенство редко даруется поэту в начале творческого пути, как это случилось с Ахматовой или Мандельштамом. Обретению гармонии чаще сопутствует преобразование стиля, иногда — весьма зрелого и своеобразного. Преобразование стиля может означать переход к совершенному качеству творчества. Так — при всех необходимых оговорках — развивалась поэзия Блока и Ходасевича, Гумилева и Георгия Иванова, Пастернака и Заболоцкого.

Переход к совершенному качеству творчества происходит по-разному: «путем зерна», как у Ходасевича, или внезапным превращением «куколки в бабочку», как у Г. Иванова или Заболоцкого. Причем, если в зрелых стихах Иванова еще доцветали розы и догорали закаты, то с поэзией Заболоцкого случилась куда более резкая метаморфоза<sup>1</sup>. Переход к совершенному качеству творчества полностью не завершился в поэзии Гумилева. В «Рабочем», «Шестом чувстве» или «Заблудившемся трамвае» слышится предельно очищенный голос, но кое-что даже из «Огненного столпа» кажется написанным на языке «старого конквистадора».

Гармоническое преобразование стиля осуществляется благодатно и не зависит напрямую от происходящих в художнике внутренних перемен<sup>2</sup> или его теоретических просветлений. Поэтому оно может быть непродолжительным, локализованным внутри одного цикла и даже одного произведения, не являясь переходом к совершенному качеству творчества. Кузмин, мечтавший о «прекрасной ясности», поистине обрел ее лишь

<sup>1</sup> Неблагодатную простоту его отдельных стихотворений, вроде «Некрасивой девочки», можно объяснить, вероятно, их близостью к советской поэзии, иногда заражавшей Заболоцкого.

<sup>2</sup> Ходасевич писал, что «изменения стиля свидетельствуют о глубоких изменениях душевных...», но десятью строчками ниже утверждал также, что «поэтическое творчество — чудо и тайна» [41, 2, 7].

тогда, когда его стиль «страхивал с себя ветошь капризной легкости», «маскарадные и светские лохмотья», — если воспользоваться определениями Блока [8, 5, 294]. Это особенно заметно по некоторым стихам «Вожатого» и по таким поздним шедеврам Кузмина, как «Стекло сердце и стеклянна грудь...», «Декабрь морозит в небе розовом...», «По веселому морю летит пароход...» и др. Преображением стиля отмечены редкие совершенные стихи позднего Северянина (например, «Классические розы»), где нет и следа его варварских неологизмов. Лучшие стихи Набокова (прежде всего, ностальгические «К России», «Расстрел», «Поэты» и другие) абсолютно свободны от «нарциссического» стиля его прозы. Знаменательно, что этот «сноб» и «модернист» не чурался в своей поэзии старомодного обращения к Музе.

В одной из статей Ходасевича высказано замечание по поводу талантливого поэта Смоленского: «Следует пожелать, чтобы он обрел в приеме своего творчества, обретя столь же здоровую, но более оригинальную, новую, независимую поэтику» [41, 2, 437] (разрядка моя). Пожелание Ходасевича, в той форме, в какой оно выражено, мне кажется опрометчивым и даже опасным. Обретение «здоровой и независимой поэтики» — вне ее чудесного преображения — может превратиться для пишущего в неразрешимую проблему и завести его в творческий тупик.

\* \* \*

В романе Пастернака «Доктор Живаго» есть такой абзац, относящийся к его центральному персонажу: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала» [27, 3; 434—435].

В этих строках, вне всякого сомнения, содержатся автобиографические свидетельства: мечта о «незаметном» стиле, действительно, надо полагать, владела Пастернаком всю жизнь, и даже в ту пору, когда он был еще слишком «далек от этого идеала», когда о его стремлении к такому идеалу не подозревали ни критики, ни восторженные почитатели его стихов. Творчество всегда было для него «чудотворством», но, пока его поэзии не коснулось подлинное чудо, Пастернак довольствовался сотворением собственных чудес.

Б. Сарнов, на мой взгляд, напрасно приписал позднему Пастернаку «отказ от органически ему присущего и доведенного до некоего (?) совершенства неповторимо индивидуального художественного языка» (см. ЛГ, 24.09.1997). С таким мнением вряд ли согласился бы сам поэт. От совершенного языка отказаться трудно, и совсем не это имел в виду

Пастернак, когда писал: «Я не люблю своего стиля до 1940 года» [27, 4, 328]. Поздний Пастернак отрекался от стилистических «беззаконий», которые, по его признанию, творили он сам, Маяковский и Цветаева, «расшатывая свои собственные устои и расковыывая враждебные им силы дилетантизма» [27, 5, 502]. Впасть в «неслыханную простоту» Пастернак мечтал еще в начале 30-х годов, хотя она тогда и представлялась ему «ересью». Но в этой еретической мечте уже зрело предчувствие измены незаконному эстетическому идолу. Для того, чтобы ересь стала «канонном», понадобилось время, ибо срок, когда «кончается искусство, и дышат почва и судьба», не определяется самим художником. Не объясняется ли нелюбовь Пастернака к своему раннему стилю тем, что ему было даровано другое: то, ради чего *стоило* разлюбить написанное до 1940 года?

Преображение стиля вовсе не обесцветило «органически ему присущий и неповторимо индивидуальный язык». Однако «сладострастие слова» резко пошло на убыль, хотя и не было полностью изжито в его поэзии. Но избавлялся от него Пастернак решительно, вплоть до того, что иной раз даже перегибал палку, создавая безблагодатные пустоцветы «маршаковского» типа («Быть знаменитым некрасиво...» и др.).

У Бродского есть статья «Примечание к комментарию», где он разбирает три «Магдалины» — Рильке, Цветаевой и Пастернака. В своем эссе Бродский не раз цитирует особенно восхитившую его строфу из пастернаковского стихотворения:

Для кого на свете столько шири,  
Столько муки и такая мощь?  
Есть ли столько душ и жизней в мире,  
Столько поселений, рек и роц?

Здесь почти все слова (кроме «поселений») показались исследователю «явно не пастернаковскими», не принадлежащими его словарю и поэтике. Увлеченный сопоставлением, Бродский поспешил объявить их «вышедшими из цветаевской дикции, из ее взрывающегося односложниками паузника» [10, 183]. Между тем, перед нами — классический пример преобразенного стиля.

\* \* \*

В письме Нине Табидзе (от 17.01.1953) Пастернак рассказывал о своем пребывании в больнице после перенесенного накануне тяжелого инфаркта: «Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени няnek, и соседство смерти за окном и за спиной — всё это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением! (...) «Господи, — шептал я, — благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь

и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твой шк о л а, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я ликовал и плакал от счастья» [27, 5, 504] (разрядка моя).

Данный отрывок примечателен не только тем, что описанные здесь картины и чувства почти без изменений отразились в позднейших стихах («В больнице»). Но случилось это не в «длинном верстовом коридоре» и даже не вскоре после выхода поэта из больницы. Не странно ли, что явленное Пастернаку как «бездонное сверхчеловеческое стихотворение» во всей силе и свежести первоначального впечатления воплотилось в его собственном произведении лишь четыре года спустя? С этим мало согласуются наши естественные представления о природе творчества. И благодарные слезы, пролитые человеком в «соседстве смерти» и поэтом — в стихотворении («...и плачу, платок теребя...»), воскрешают в памяти благодарные слезы Державина, которыми завершается его бессмертная ода — в ее финальной строке и тотчас после ее написания<sup>1</sup>.

## Метафизика самовыражения

«Гармонии цветаевских стихов», отмечаемой Пастернаком в «Людах и положениях» [27,4,339], на мой взгляд, более всего соответствует недолгий период творчества Цветаевой после милого отроческого самовыражения «Вечернего альбома». Такие стихи, как «Идешь, на меня похожий...», «Уж сколько их упало в эту бездну...», «Вот опять окно...», исполнены в равной степени и чистоты, и силы, что прежде всего и поразило Пастернака. Говоря о перерождении Цветаевой и определяя его как «ее собственные внутренние перемены» [27, 4, 339], Пастернак, по-видимому, слегка скромничал, ибо отчасти сам был в ее перерождении повинен. И дело не только в его влиянии на ее стиль, о чем толковала эмигрантская критика. Цветаева не скрывала, что была заморожена пастернаковскими чудесами, но прельстила ее, на мой взгляд, не столько его поэтика, сколько пример и возможность подобных рукотворных чудес.

Я, разумеется, не отрицаю гениальности ее стихов и поэм, в особенности поздней поры. Я столь же далек от того, чтобы видеть в ее надрыве, рваных ритмах и головокружительных анжамбманах отказ от гармонии и объяснять его цветаевской «безмерностью в мире мер» или ее неприятием мира («на твой безумный мир ответ один — отказ»).

Ахматова как-то сказала, что Цветаевой «стало тесно в рамках Поэзии» [5, 2, 239]. От себя прибавлю — и в рамках языка. Ее «невоспитанный стих» нередко свидетельствует о насилии над словом. Даже в стихах о Пушкине она не преминула выразиться так: «н е г р с к и м и з у б ь м и».

---

<sup>1</sup> «И благодарны слезы лить», — так заканчивается ода «Бог». Автокомментарий к оде см. выше (в главе «Гений и благодать»).

С ее собственными представлениями о совершенстве, гармонии и природе творческой благодати, к сожалению, очень трудно согласиться. В статье «Поэт о критике» Цветаева полемизирует с Адамовичем, написавшим, что счастье понимания ее «Поэмы конца» можно купить лишь «ценою больших умственных усилий». «Потрудишься — добудешь», — жестко парирует Цветаева [42, 5, 292], настаивая на необходимости читательского сотворчества. (В записных книжках она обращается к воображаемому читателю от имени Пастернака: «Работай, — я бился, — побейся и ты» [42, 4, 597].) «Моя цель, когда я сажусь за вещь, не есть радовать никого, ни себя, ни другого, а дать вещь возможно совершеннее», — объясняет она [42, 5, 293]. Адамович мог бы возразить на это, что совершенное произведение (например, «Выхожу один я на дорогу...») как раз и дарит «радость узнавания» или, во всяком случае, такого рода эстетическое удовлетворение, при котором читатель попросту не имеет нужды ни «трудиться», ни «биться». В работе «Поэт и время» Цветаева демонстрирует странное понимание гармонии, объявляя Маяковского «гармоническим максимумом наших дней» [42, 5, 338]. Формулировка «гармонический максимум» и сама по себе бессмысленна, и в особенности нелепа в применении к названному поэту.

В «Искусстве при свете совести» Цветаева вплотную подходит к проблеме благодати. Отталкиваясь от пушкинского «Гимна чуме», она определяет гений как «высшую степень подверженности наитию» [42, 5, 348]. У Цветаевой, как и у Блока, творческий акт выводится из «стихий», но, в отличие от Блока, стихия у нее отождествляется с наваждением («состояние творчества есть состояние наваждения» [42, 5, 366]) и с одержимостью демоном. Поэт, по Цветаевой, — «никогда не атеист, всегда многобожец...», и «... в лучшем случае наш христианский Бог *входит* в сонм его богов» [42, 5, 363] (курсив Цветаевой). Мысль эта, прежде всего, чрезвычайно не пушкинская, — с ней едва ли согласился бы даже юный автор «Гавриилиады»<sup>1</sup>. Молодого Пушкина как раз привлекала позиция «афея» (см. его письмо Кюхельбекеру [30, 10, 87]), а подобное поэтическое многобожие непредставимо в его иерархической эстетике. Цветаева и сама протестует против «чередования Христа с Дионисом», называя это «кошунством и святотатством» [42, 5, 363], однако такая оговорка не меняет дела и, в сущности, противоречит предыдущему ее постулату.

Поэтому не удивительно, а для Цветаевой и вполне естественно, что искусство оказывается «во власти демона». Рассуждая о творческом результате, она пишет: «Не «чудно вышло», а чудом — вышло, всегда чудом вышло, всегда б л а г о д а т ь, даже если ее посылает н е Б о г» [42, 5, 369] (разрядка моя). Цветаева договаривается до того, что «лже-поэт

<sup>1</sup> В черновом наброске посвящения «Гавриилиады» («Вот Муза, резвая болтунья...») Пушкин писал, что его Музу «Всевышний осенил своей небесной благодатью».

искусство почитает за Бога и этого Бога делает сам» [42, 5, 370]. Выходит, любимый ею с детства Жуковский либо напрасно полагал, что «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли», либо был лже-поэтом.

В работе Цветаевой речь идет о гении, и не случайно в римской мифологии так именовалось божество, некоторыми своими качествами соответствовавшее греческому демону. Совершенство же всегда является атрибутом Того, о Ком сказано в Евангелии: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». У Цветаевой получается подмена понятий: ее чудо никакого отношения к совершенству не имеет, а «благодать», посылаемая не Богом, оказывается просто нонсенсом. «Благодатным» демонизмом у Цветаевой, по сути, метафизически обосновывается самовыражение. Но и такое обоснование было бы неправомерно, ибо всякий талант — от Бога, даже «кощунственный» дар Маяковского. Демонизм может быть присущ личности гения, но не его творческой природе. Отмеченный Пастернаком «святой демонизм» Блока (или — если угодно было Тынянову — его «лирического героя») исключает какую бы то ни было «демоническую» эстетику. В совершенном произведении происходит «примирение» метафизики и эстетики. Личный демонизм художника просветляется благодатью, — демонизм, собственно, и есть падшая или непросветленная духовность.

\* \* \*

Эта проблема несколько в ином смысле трактуется в работах Ходасевича. «Демонизм лежит в основе искусства, как начало, художественно устрояющее хаос чувств, как мастерство, подчиняющее переживание человека нечеловеческому опыту художника. (...) Путь, ведущий от человеческого документа (исповеди, дневника) к искусству, — демоничен», — пишет Ходасевич в статье о Савинкове [41, 2, 244]. По Ходасевичу, демонизм поэта неизменно проявляется на стадии мастерства. Эту безблагодатную стадию он вслед за Блоком произвольно выводит из пушкинского стихотворения. (Разница в том, что Ходасевич в статье «О чтении Пушкина» анализировал «Чернь», а Блок в своей речи апеллировал к «Поэту». Однако ни в обоих стихотворениях Пушкина, ни в его заметке о вдохновении и восторге нет и намека на особую «область мастерства».) Ходасевич чересчур вольно обходится со знаменитой пушкинской триадой: вдохновением, сладкими звуками и молитвами. Изображаемый им творческий процесс напоминает какое-то кошмарное многоэтапное производство: «завод вдохновения», «обработка впечатлений», «фабрика «сладких звуков»» [41, 2, 116]. Но и Ходасевич, подобно Блоку, как бы спохватывается и признаёт, что «в практической поэзии» (а какая бывает еще?) все «моменты» пушкинской триады «отчасти сливаются и сопresentствуют друг другу» [41, 2, 117].

Мастер (да простят меня поклонники Булгакова!) — всё же профанный псевдоним художника. «Сладкие звуки» поэт обретает в едином благодат-

ном прорыве<sup>1</sup>. Ходасевич, разумеется, понимал, что «поэтическое творчество — чудо и тайна» [41, 2, 7], но для чрезмерного упора на мастерство у него имелись свои резоны. К этому его подталкивала многолетняя полемика с Гиппиус и Адамовичем, приравнивавшими к полноценной литературе различные «человеческие документы», в том числе и поэтические. Проповедь «мастерства и проработанной формы» тесно увязывалась Ходасевичем с проблемой эмигрантской «литературной учебы».

## Соблазн новой гармонии

«Его чудесный талант, его огромное врожденное мастерство было не в его власти (...). Его вечно разгоряченная, изобретательная, неустойчивая голова была переполнена противоречивыми идеями, высокой умной путаницей, которую он в минуты слабости не умел изложить, морщась от невозможности отыскать необходимое ему слово или рифму, если они, как обычно, не слетали к нему «свыше» [21, 3, 617]. Так писал о Мандельштаме Георгий Иванов, близко знавший его как раз в период «Камня», одной из самых совершенных книг в русской поэзии.

Благодатное творчество Мандельштама можно лишь условно ограничить двумя первыми книгами. Слишком очевидно, что и в поздней поэзии изредка встречаются чудеса, не сотворенные в его «изобретательной голове», а «слетавшие к нему свыше»: «Концерт на вокзале», «Я вернулся в мой город...», «Есть женщины сырой земле родные...» (последнее он сам назвал лучшим из всего им написанного) и другие.

После ясных, пушкински прозрачных стихов «Камня», в «Тристиях» уже появляются смысловые темноты. Но дивная нерукотворная гармония эти темноты скрадывает и просветляет. Именно благодаря ей «бессмысленное слово» «Соломинки» или «Ласточки» оказывается «блаженным». Тем самым оно, разумеется, не становится понятным до конца, но для читателя это и не существенно. В «Разговоре о Данте» у Мандельштама есть выражение «семантическая удовлетворенность» [24, 3, 217]. Нечто подобное испытываешь, вникая в смутные и совершенные стихи «Триятий». Как известно, Мандельштам, согласно своей теории, «знакомил слова» расширяя их значения, — но в «Тристиях» полная семантическая мера чудесным образом не превышает.

Наличие совершенной меры в его ранней поэзии порой даже искушает «высокую умную путаницу» ее образного строя. У М. Гаспарова есть статья, где он пытается растолковать стихотворение Мандельштама «Зато, что я руки твои не сумел удержать...». У исследователя возникает множество справедливых недоумений, главное из которых: «с кем в этой

---

<sup>1</sup> Неприятием мастерства я, конечно же, не ставлю под сомнение необходимость овладения ремеслом для начинающих поэтов. Нестерпимы только разговоры о «мастерстве Пушкина», «мастерстве Некрасова» и т.п.

картине отождествляет себя себя авторское «я», с троянцами или с ахейцами?» [12, 216]. По мнению Гаспарова, ключ к пониманию произведения дает отброшенная поэтом начальная строфа, указывающая на «основную любовную тему». Но даже и «отброшенный ключ» никак не объясняет путаницы с ахейцами и троянцами, ибо эти мандельштамовские персонажи того же происхождения, что и знаменитая «отравительница Федра» или вышивающая Пенелопа. В благодатном гармоническом потоке его поэзии и автору, и читателю нет никакого дела до ахейцев и вышивания Пенелопы. Ахейцы нужны были Мандельштаму для того, чтобы получилось красиво. И получилось красиво.

Поэтическое искусство мандельштамовских «Тристий» напоминает подчас искусство канатоходца. За его словесным балансированием наблюдаешь с восхищением, но и с тревогой: вот-вот покажется и упадет. Однако спасительная благодатная сила поддерживает его в неустойчивом равновесии. В «Сеновале» и «Грифельной оде» он уже срывается с каната.

В поздней поэзии Мандельштама полная семантическая мера почти постоянно превышена. Слова «знакомятся» насильственно, стихи превращаются в ребусы, и у читателя отсутствует «семантическая удовлетворенность». Возникает неодолимая потребность *понимания*, и читатель погружается в пространные комментарии И. Семенко или Ю. Левина. И комментаторы худо-бедно, спорно и гадательно, с привлечением цитат и ссылок объясняют ему, что же хотел сказать поэт.

Само существование его известных «двойчаток» нередко означает, что у стихотворения нет небесного прообраза, или поэт не сумел к нему прорваться. Даже строки распадаются на варианты, и уже не важно, какой из них предпочесть: «шепотом губ» или «топотом губ» («Флейты греческой тэта и йота...») — единственное слово не «слетает» к Мандельштаму свыше. И поневоле приходишь к выводу: Георгий Иванов был не совсем не прав, когда безапелляционно заявил, что «Тристии» Мандельштама — «прекрасный взлет перед падением, гибельным пожаром, катастрофой его таланта»<sup>1</sup> [21, 3, 620].

\* \* \*

Акмеизм Мандельштама в большей степени, нежели в стихах, проявился в его взглядах на поэзию. Вместе с тем, статьи Мандельштама проникнуты более тонким, а потому и труднее уловимым филологическим соблазнам, нежели «лобовые» предписания Гумилева.

Со страниц мандельштамовских работ — я, к сожалению, несколько не преувеличиваю, — иногда веет антипушкинским духом. В ряде мест обнаруживается даже апология ... Сальери. «Сальери достоин уважения и

---

<sup>1</sup> Вернее было бы говорить не о «катастрофе его таланта», а о том, что талант (и даже гений) Мандельштама был чаще всего «не в силе произвести истинное великое совершенство», — если воспользоваться пушкинской цитатой.

горячей любви, — заявляет Мандельштам в статье «О природе слова», — Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. (...) На место символизма, футуризма, имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери» [24, 1, 231]<sup>1</sup>. В «Заметках о поэзии» («Vulgata») слова «когда великий Глюк явился и открыл нам новы тайны» Мандельштам приводит в качестве примера «пушкинского выражения для новаторов в поэзии» [24, 2, 300]. Между тем, у Пушкина это произносит Сальери, а «глубокие, пленительные тайны» Глюка всем смыслом трагедии противопоставлены благодати, осеняющей Моцарта.

В 1923 году, в статье «Буря и натиск» Мандельштам писал по поводу «Сестры моей — жизни» Пастернака: «Со времен Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой гармонии. Пастернак не выдумщик и не фокусник, а зачинатель нового лада, нового строя русского стиха, соответствующего зрелости и мужественности, достигнутой языком. Этой новой гармонией можно высказать всё что угодно, ею будут пользоваться все, хотят они того или не хотят, потому что отныне она — общее достояние всех русских поэтов» [24, 2, 298].

В этом отрывке почти все утверждения кажутся невзвешенными и голословными. В каком смысле гармония Тютчева или Блока была по отношению к батюшковской не «новой», а по отношению к пастернаковской не «зрелой»? Что значит «зрелость и мужественность, достигнутая языком»? (Нечто подобное затем станет пропагандировать Бродский.) Можно ли считать язык «Медного всадника» менее зрелым и мужественным, нежели язык «Сестры моей — жизни»? Далее, по отношению к чему гармония Батюшкова была «новой и зрелой»? К косноязычной силлабике? К «далековатым» от гармонии одам Ломоносова? К поэзии Державина, который «не имел понятия о гармонии», как писал о нем Пушкин<sup>2</sup> [30, 10, 148]? «Этой новой гармонией можно высказать всё что угодно...», — удивительно, что Мандельштама радовала, а не удручала столь отталкивающая перспектива. «Ею будут пользоваться все, хотят они того или не хотят...» — эта принудительность особенно очаровательна. «...Потому что отныне она — общее достояние всех русских поэтов»<sup>3</sup>, — Мандельштам

---

<sup>1</sup> В работе «Слово и культура» Мандельштам утверждает: «Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело» [24, 1, 215]. Не совсем ясно, как это соотносится с «живой поэзией слова-предмета», творцом которой становится суровый ремесленник Сальери.

<sup>2</sup> Пушкин также писал, что «кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый» [30, 10, 145]. «Свинец» у Державина тогда и превращался в «золото», когда гармония даровалась ему свыше.

<sup>3</sup> «Бывают странные сближения»... «Отныне нашим общим достоянием» Анненский в свое время поспешил объявить «новую гибкость и музыкальность» поэтического языка Бальмонта [4, 115].

оказался плохим пророком: ни Ахматова, ни Георгий Иванов, ни Заболоцкий пастернаковскими достижениями не прельстились, да и сам Пастернак впоследствии от такой «гармонии» отказался. Наконец, если дело сводится всего лишь к «логическому строю предложения», о чем идет речь в следующем абзаце статьи Мандельштама [24, 2, 298], то обновление стихотворного синтаксиса само по себе еще не гарантирует ни «старой», ни «новой» гармонии, ни «нового лада и строя русского стиха».

Весьма примечательно, что ни к чьей поэзии Мандельштам не питал такого неизменно благоговейного отношения, как к пастернаковской (см. также «Заметки о поэзии» («Vulgata»), «Борис Пастернак»). В «Листках из Дневника» Ахматова вспоминала его слова о Пастернаке: «Я так много думаю о нем, что даже устал» [5, 2, 199]. Это увлечение чуждым акмеизму поэтом началось у Мандельштама вскоре после «Тристий», как раз в период стихов 1921—1925 годов. Судя по всему, его, так же как и Цветаеву, прельстила не столько поэтика Пастернака, сколько пример и возможность «новой гармонии»<sup>1</sup>. Пастернак словно развязал ему руки, продемонстрировав, как легко стать «зачинателем нового строя и лада русского стиха».

В 1937 году Мандельштам писал Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, н а п л ы в а ю н а р у с с к у ю п о э з и ю; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое — что и з м е н и в в е е с т р о е н и и с о с т а в е» [24, 4, 177] (разрядка моя). В письме отлученного от литературы и запертого в Воронеже поэта явственно слышится вызов. Посему это скромное «кое-что изменив...» — не более чем фигура речи. Всем своим тоном Мандельштам притязает здесь на более важную заслугу: в письме, на мой взгляд, содержится уверенность в том, что ему удалось создать нечто вроде «новой гармонии».

\* \* \*

Гармонический строй и лад, строение и состав русской поэзии формируются благодатно. Совершенная поэзия имеет метафизическую природу, и даже кое-что изменить в ее строении и составе невозможно по чьему-либо произволу. Ее гармония не является чьим-то персональным достижением, и даже о пушкинской гармонии можно говорить лишь условно, поскольку она — допушкинского происхождения. Если Страхов прав, и «Пушкин не был нововводителем» [36, 142], то всего менее он был нововводителем в этом смысле.

Гармонические истоки русской поэзии открываются нам в некоторых одах Державина, в произведениях Жуковского и Батюшкова. Эти источники, сливаясь, но не смешиваясь окончательно, дают начало мощному

---

<sup>1</sup> Цветаева даже полагала, что Пастернак «открыл новое поэтическое сознание» [42, 5, 338].

и полноводному пушкинскому потоку, который, в свою очередь, образует гармоническое русло русской поэзии, средоточие ее строения и состава. К этим же первоначальным истокам гармонии могут восходить отдельные течения, возникающие уже внутри «пушкинского» русла. Так, гармония раннего Баратынского восходит к истокам Жуковского и Батюшкова, а позднего — еще и к истоку Державина. В истоке Державина берет начало гармония Тютчева. К Державину — через Тютчева и Баратынского — восходит гармония Ходасевича. К истоку Жуковского восходит гармония Фета, и — через Фета — гармония Бунина, Анненского, Блока. Гармония «Камня» и «Тристий» через Тютчева восходит к Державину<sup>1</sup>, а через Баратынского — к истоку Батюшкова<sup>2</sup> и т.д. и т.п.

Важно лишь понять, что все эти гармонии — оттенки и вариации одной и той же гармонии, одного чудесно созданного строя и лада. Всё, что претендует быть в этом смысле новым и небывалым, всё, что выбивается из гармонического русла русской поэзии, всё, что притязает изменить ее строение и состав, не сливается с нею и не растворяется в ней: рукотворная гармония инородна благодатной, и гегелевский диалектический синтез здесь абсолютно невозможен.

\* \* \*

После смерти Бродского много говорили и писали о том, что он открыл в нашей поэзии новое дыхание, новые горизонты и т.п. Между тем, это не совсем верно: поэтика гения самовыражения, как правило, одноразовая, малопригодная для дальнейшего использования и развития. Вот почему не сбывся прогноз Мандельштама относительно универсальности «новой гармонии» Пастернака. Во всяком случае, влияние такого гения на последующую поэзию сказывается скорее регрессом, убылью, сужением его собственного горизонта. Мандельштаму казалось, что Пастернак «Сестры моей — жизни» «ждет своего Пушкина» [24, 2, 298]. Однако тот Пастернак «дождался» не Пушкина, а Вознесенского, Сосно-ру, Парщикова... Маяковский породил не нового Маяковского, а Роберта Рождественского. Мандельштам произвел на свет целую отрасль современной стихотворной филологии, где слова окончательно утратили связь со своей семантикой. Бродский, сам сформировавшийся не без влияния Цветаевой, вызвал к жизни орду своих новейших подражателей, различных друг от друга разве под микроскопом.

---

<sup>1</sup> Этот не самый очевидный исток Мандельштама очень рано распознала Цветаева («Что вам, молодой Державин, / Мой невоспитанный стих!»).

<sup>2</sup> Даже Ахматова, к сожалению, ошиблась, усмотрев в отсутствии у Мандельштама периода ученичества отсутствие истоков его гармонии: «У Мандельштама нет учителя. (...) Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!» [5, 2, 219].

В 1959 году Ахматова записала в своем дневнике: «Знакомить слова», «сталкивать слова» — ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит как банальность. Есть другой путь — точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. (...) Х. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует — просто невозможно» [5, 2; 284—285]. Здесь, помимо драгоценного свидетельства о благодатном происхождении собственных стихов, Ахматова высказала мысль о том, что художественные ресурсы самовыражения и разнообразных «дерзаний» не беспредельны. Тому подтверждение — зашедшая в никуда французская поэзия, в которой после Рембо и Малларме не было создано ничего столь же значительного.

\* \* \*

И всё же новая гармония возможна. Ясно лишь, что это будет не та «новая и зрелая гармония», которую имел в виду Манделштам. Такая гармония может явиться лишь вследствие преобразования строения и состава русской (французской, полинезийской) поэзии, точнее говоря, ее новое совершенное строение и благодатный состав будут самой этой гармонией сформированы.

Представим себе реально существующие деревья, которые бы максимально соответствовали нашему эталону совершенного дерева. Еще более совершенное дерево («новая и зрелая гармония») должно обладать новой природой дерева, некоей непостижимой для нашего разума новой *чудесной деревянностью*. Это очень трудно вообразить, но, если для Бога нет ничего невозможного, сомнение в возможности такой новой гармонии — соблазн величайший. Художник же, пыгающийся своими силами создать новую гармонию, подобен садоводу, выводящему новый вид дерева — в безумной надежде на то, что оно окажется *деревянее* прежних.

## Ересь о языке

Потому что искусство поэзии требует слов...

*Бродский*

Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...

*Пушкин*

«...Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования», — утверждал Бродский в Нобелевской лекции. И далее: «Поэт, повторяю, есть средство существования языка. (...) Пишущий стихотво-

рение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку» [9, 1; 14—16]. Эти же положения без конца формулируются Бродским в большинстве его работ о поэзии. Так, в эссе о Цветаевой «Поэт и проза» можно прочесть, что поэзия — «высшая форма существования языка» [9, 4, 71] и т.д. и т.п.

Теорию Бродского о языке нельзя не признать грубой разновидностью филологического соблазна. О том, что поэзия — явление языка и особая форма речи, учил, например, Потебня, но Бродский пытался навязать языку еще и метафизические, благодатные функции. Он хотел, чтобы язык имел непосредственное отношение к Духу, меж тем как такое отношение всегда опосредованное (через поэта). Язык сам по себе не осеняется благодатью — как не осеняются благодатью ноты, краски или мрамор — и никого ею не осеняет. «Речь выгалкивает поэта в те сферы, приблизиться к которым он был бы иначе не в состоянии...» — настаивал Бродский в другом эссе о Цветаевой [9, 4, 83]. Однако, как бы «далеко ни заводила поэта речь», надо еще, чтобы «сферы» согласились допустить его туда вместе с речью. На самом деле здесь важна инициатива, исходящая исключительно от «сфер». Говоря об «устремлении языка вверх — или в сторону — к тому началу, в котором было Слово», «в те сферы, откуда он взялся» [9,4,71], Бродский заблуждался относительно вектора движения. Не язык «устремляется вверх или в сторону (?)», а «Божественный глагол» исходит оттуда. Наш *несовершенный* язык ни к чему в этих «сферах», и крайне сомнительно даже, чтобы кто-либо — будь он и гениальным поэтом — давал ответ на Страшном Суде по-русски или по-английски. А когда читаешь у Бродского, что Цветаева «обращается к тому (т.е. к Рильке — *И.М.*), кто, в отличие от Господа, обладает абсолютным слухом» или что «суд искусства — суд более требовательный, чем Страшный» [9, 4; 85, 123], — невольно задаешься вопросами, которые в таких случаях вырывались у его любимого мыслителя Льва Шестова: откуда он это знает? кто ему об этом сказал?

Бродский также подчеркивал, что поэзия — «форма высшей зрелости данного языка» [9, 4, 80]. Но если так, надо ли считать проявлением такой высшей зрелости «эзопову» и неэзопову «феню» в поэзии самого Бродского или нынешнюю постмодернистскую «феню»? Насколько язык заинтересован в подобном «продолжении своего существования»? В XX веке было произведено немало экспериментов над поэтическим языком, поставивших его скорее на грань вырождения, нежели высшей зрелости.

Высшую зрелость язык обретает только в совершенном произведении. Блок, вслед за Пушкиным назвавший поэта «сыном гармонии», видел его назначение во внесении гармонии в мир. Эта гармония остается в мире и после поэта, способствуя продолжению существования поэзии и самого языка. По Бродскому же, увы, получается, — если слегка перефразировать строчку его известного стихотворения — что от поэта «... остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи».

## Надежда

Не надо быть особенно проникательным, чтобы заметить, насколько бедна совершенством современная поэзия. Тарковского потому и называли последним поэтом Серебряного века, что стихи его казались нездешними и «несегодняшними». Отдельные совершенные произведения, безусловно, были и у Самойлова, и у Вл. Соколова, и у Кушнера, и у Чухонцева (большей частью в его «Слуховом окне»), и у других поэтов. Кто-то, возможно, пишет их и сейчас. Но в целом, несомненно, происходит убыль гармонии, иссякание благодати в новейшем искусстве. Как и чем это объяснить, если какие-либо объяснения здесь в принципе правомерны? Можно, разумеется, до бесконечности повторять общие места о тотальном кризисе гуманистического мировоззрения, о разложении культуры, оторванной от своих религиозных корней и т.п. Всё это отчасти справедливо, и нынешнее состояние искусства красноречиво свидетельствует о том, как жалок художник, в своем самопревозношении даже не догадывающийся о существовании благодатных наитий. Но, несмотря на то, что еще многие гуманистические представления должны быть пересмотрены, такое объяснение и не достаточно, и соблазнительно. Потому что уже завтра может случиться чудо, и поток благодати, предуготовляя новый расцвет искусства, прольется на тех, кто сегодня этого даже не подозревает.

Одной из задач моей работы было показать, что гений и совершенство — две вещи, не всегда совместные. Для нас сейчас это особенно актуально. Это актуально и потому, что мы живем в эпоху, когда — как было замечено Вейдле еще в 30-е годы — «интерес к поэту перевешивает любовь к стихам, (...) творческая личность в целом кажется священной и нужней, чем самые совершенные ее творения. (...) Мы забываем, что поэзия может быть порывом в другой, потусторонний, сияющий, бессмертный мир» [11; 80—81].

Как же быть художнику, на что ему рассчитывать в мире, где дар совершенства — лучший дар небес, ради которого только и стоит творить, — ему ничем не гарантирован? Ничто, ничто не поможет ему достичь совершенства: ни его мастерство, ни его язык, ни его собственное видение мира, ни его талант, ни даже гений. Единственное, что остается — это надеяться на то, что и ему будет дарована благодатная помощь. Не зря ведь надежда отсутствует в перечне Сальери, уверенного, что благодать положена ему по праву, «в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений». В сравнении с этими сальеристскими добродетелями надежда, по крайней мере, лишена пафоса стяжания.

\* \* \*

Читатель, по всей вероятности, обнаружит в этой работе натяжки и неувязки. В оправдание себе замечу лишь, что я пытался коснуться таинственных, труднодоступных нашему сознанию областей. Чего-то мне

поневоле не удалось выразить яснее, что-то оказалось непереводаемо на язык понятий.

Без сомнения, найдется немало читателей, убежденных, что совершенство никем не даруется, а достигается талантом и мастерством. В этом случае мне пришлось бы прибегнуть к неотразимому аргументу чеховского отставного урядника: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Чудо невозможно доказать, его можно только увидеть или не увидеть. Круг замыкается. И я возвращаюсь к тому, с чего начал эту работу — к своему безотчетному чувству.

## БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Адамович Г.* Одиночество и свобода. М., 1996.
2. *Адамович Георгий.* Критическая проза. М., 1996.
3. *Аксаков К.С., Аксаков И.С.* Литературная критика. М., 1981.
4. *Анненский Иннокентий.* Книги отражений. М., 1979.
5. *Ахматова Анна.* Сочинения в 2-х тт. М., Худ. лит., 1990.
6. *Белинский В.Г.* Избранные эстетические работы в 2-х тт. М., 1986.
7. *Бердяев Н.А.* Философия свободы, Смысл творчества. М., 1989.
8. *Блок Александр.* Собр. соч. в 8-ми тт. М.-Л. 1960—1963.
9. Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1—4. СПб., 1992—1995.
10. Бродский о Цветаевой. М., 1997.
11. *Вейдле В.В.* Умирание искусства. СПб., 1996.
12. *Гаспаров М.Л.* Избранные статьи. М., 1995.
13. *Гершензон М.О.* Мудрость Пушкина. Томск, 1997.
14. *Гицбург Лидия.* О лирике. Л., 1974.
15. *Гоголь Н.В.* Собр. соч. в 7-ми тт. М., 1966—1967.
16. *Гуковский Григорий.* Русская поэзия XVIII века. Л., 1927.
17. *Гумилев Николай.* Сочинения в 3-х тт. М., 1991.
18. *Державин Г.Р.* Сочинения. М., 1985.
19. *Жуковский В.А.* Эстетика и критика. М., 1985.
20. *Иванов Вячеслав.* Родное и вселенское. М., 1994.
21. *Иванов Георгий.* Собр. соч. в 3-х тт. М., 1994.
22. *Ильин И.А.* Одинокий художник. М., 1993.
23. *Кьеркегор Сёрен.* Страх и трепет. М., 1993.
24. *Мандельштам О.* Собр. соч. в 4-х тт. М., 1993—1997.
25. «Моцарт и Сальери», трагедия Пушкина. Движение во времени. (Антология трактовок и концепций...) М., 1997.
26. *Ницше Фридрих.* Сочинения в 2-х тт. М., 1990.
27. *Пастернак Борис.* Собр. соч. в 5-ти тт. М., 1989—1992.
28. *Петровых Мария.* Избранное. М., 1991.
29. *Платон.* Сочинения в 3-х тт. М., 1968—1972.
30. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. в 10-ти тт. М., 1962—1966.

31. Пушкин в русской философской критике. М., 1990.
32. Пушкин: суждения и споры. М., 1997.
33. Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М., 1982.
34. Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. М., 1970.
35. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
36. Страхов Н.Н. Литературная критика. М., 1984.
37. Струве Глеб. Русская литература в изгнании. Париж—Москва, 1996.
38. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
39. Фет А.А. Сочинения в 2-х тт. М., 1982.
40. Ходасевич Владислав. Колеблемый треножник. М., 1991.
41. Ходасевич Владислав. Собр. соч. в 4-х тт. М., 1996—1997.
42. Цветаева Марина. Собр. соч. в 7-ми тт. М., 1994—1995.
43. Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой (в 3-х тт.). М., 1997.
44. Чуковский Корней. Собр. соч. в 6-ти тт. М., 1965—1969.
45. Шенгели Георгий. Иноходец. М., 1997.
46. Шестов Лев. Сочинения в 2-х тт. М., 1993.
47. Шестов Лев. Сочинения в 2-х тт. Томск, 1996.

Мария РЕМИЗОВА

---

## БОЛЬШОЙ ПАСЬЯНС 97-ГО ГОДА

### Вгляд на литературу через призму Букеровского жюри

Прекрасно понимая, что всякий отбор условен — тем более связанный с премией, деньгами, престижем, рискну все-таки взглянуть на текущую литературу под углом зрения Букеровского жюри и повнимательней приглядеться к отобранной им шестерке. В конце концов, это достаточно характерный показатель (даже с учетом сопутствующих внелитературных обстоятельств) некоего *социального* заказа на литературную продукцию. По крайней мере на этом материале можно проследить определенную симптоматику спроса — в том случае, когда право голоса предоставлено не улице (т.е. покупателю), не частному лицу с частным мнением (т.е. критику), а некоей комиссии (положим, представительной), которая способна стимулировать писателя уклониться в то или иное русло — в надежде обрести вождя Букера в следующий, допустим, раз.

Букеровская премия, созданная для поддержания пошатнувшихся позиций романа и для этой же цели ввезенная в Россию, прямым своим функциям здесь, конечно, не выполняет. Дело даже не столько в деньгах. Благодаря тому, что о ней много и постоянно пишут, она — лакомый кусочек для любого, кто хоть раз в жизни брал в руки перо. Последствия очевидны. У нас патриархальная страна, и сколь бы «мыслящая российская элита» (самоназвание) ни сливалась со всем прогрессивным человечеством, от корневого самосознания никуда не деться. Поэтому Большой Букеровский Приз, который положено присуждать только за один достойный его роман и ни в коем случае ни за какие иные прошлые, настоящие или будущие заслуги, даже без учета всех этих, равно как и каких бы то ни было иных, действительных или мнимых, обстоятельств, всё равно обречен не доставаться молодым и не слишком известным.

Тем не менее, свадебный марш шестерки фаворитов в любом случае остается показательным (и в каком-то смысле *доказательным*) выступле-

---

Мария  
РЕМИЗОВА

— родилась в 1960 г. в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Ее критические статьи печатались в журналах «Литературная учеба», «Лепта», в «Независимой газете», «Литературной газете», «Огоньке» и др. периодических изданиях. Живет в Москве.

нием «наших прославленных фигуристов». Так что общий взгляд на Букеровский хоровод может оказаться продуктивным и небезыңтересным.

## 1

В этом году Букеровская премия была присуждена Анатолию Азольскому за роман (хотя в журнальной публикации было черным по белому пропечатано роковое слово «повесть») «Клетка» («Новый мир», №№ 5—6, 1996).

«Клетка» представляет собой историю гротесковую (не в смысле комичности, а в смысле невероятия), фантастическую, почти невозможную. Главный герой, Иван Леонидович Баринов, на протяжении повествования поменявший в силу обстоятельств с десятков имен, имеет двоюродного брата, гениального генетика. Сам он увлекается сначала математикой, потом химией и в конце концов приходит туда же — в мир хромосом и дезоксирибонуклеиновой кислоты. Время действия — сталинское, обстоятельства места и образа действия слишком хорошо известны. Во время войны молодой лейтенант, сын чуть было не репрессированных, но вовремя погибших родителей, оказывается на вражеской территории, сражается в партизанском отряде, оказывается в плену у немцев, чудом остается в живых и бежит, сохранив для советской власти архив НКВД и припрятав огромные деньги в лесу, затем служит, как герой войны, в том же самом НКВД, оказывается под следствием, снова бежит (оба побега — с убийствами), живет под чужим именем и по подложным документам, находит брата-генетика (тоже под чужим именем и тоже побывавшего в немецком плену, а теперь скрывающегося от милосердия родины) и посвящает жизнь науке, решив стать для неприспособленного к бытию гения ангелом хранителем и нянькой. В какой-то момент их кочевого и полукриминального существования возникает женщина — воровка и шлюха, но генетик влюблен, и Иван (в перерывах между нелегальной транспортировкой трупов в Прибалтику для захоронения в родной земле выселенных литовцев) ищет роковую красавицу, находит, сам влюбляется, женится на ней, порождает в ее чреве ребенка, но старый дружок-бандит не дремлет и убивает ее заодно с генетиком (и неродившимся ребенком). Иван жжет в печени подпольные открытия брата, и двойную спираль предстоит теперь открывать Уотсону и Крику (именно эти имена можно обнаружить в любом учебнике биологии). Иван уезжает в Сибирь и работает там на лесоповале. На последней странице он оказывается в Ташкенте, где находит новую любовь, и появляется новый ребенок. (Это только общая канва, не включившая массу прихотливых подробностей, сообщающих действию еще более эксцентрический характер.)

Весь этот почти голливудский накрут наложен на трагедийное основание — метафорическая семантика клетки задана в самом названии, двойственность которого очевидна: с одной стороны, клетка — объект исследования, элемент живого организма, скрывающий тайну наследст-

венности, с другой же — символ неволи. Герой заключен властью во внутреннюю тюрьму, и если из тюрем реальных ему удастся бежать, то из этого узилища ему не выбраться никогда, — отчасти потому, что он, принимая правила игры и сопротивляясь по этим правилам, сам становится своим тюремщиком, корежа и разламывая свою жизнь под напором наваливающихся обстоятельств. Это первый, может быть, герой в нашей литературе, показанный не как жертва и не как открытый борец, а как мечущийся по клетке, но не смиренный волк, грызущий прутья ненавистной решетки, но принимающий пищу из рук сторожей — в надежде улучшить момент, перегрызть мучителю горло и рвануть в лес.

Отчего такого героя не было раньше? Осмелюсь предположить — потому что в действительности его не существовало, не могло существовать, он — скорее удачная фантазия, чем реальный человек реального времени. Азольский явно интерполирует *современный* взгляд на события прошлого, и оттого его герой (увы!) приобретает черты супергероя американского боевика, сильного, смелого, удачливого и — не живого. Поэтому ему не вполне веришь. И поэтому трудно поверить Азольскому.

Автор словно боялся, что обычный — без сверхчеловеческих качеств, без невероятных поворотов судьбы — персонаж «не выгянет» философскую подоплеку «Клетки», что без него вещь окажется *одной из ряда*, какие уже писали до него. Вещь получилась действительно неожиданной, но, к сожалению, и достаточно эклектичной, нецельной. Обе ее составляющих, авантюрная и философская, работая в противоположных направлениях, словно разрывают «Клетку» на части, неизбежно повреждая конструкцию.

В 11-м номере «Нового мира» за 1997 год вышла еще одна вещь Азольского — «Облдрамтеатр». В этой повести все, слишком ярко подчерченное в «Клетке», дано как бы в полутонах. Сюжет авантюрный, даже детективный — на здоровье, в нем нет ничего, чего не бывает. Время действия — то же, но насколько реалистичнее проступает перед взором читателя картинка, лишенная навязанной более поздним временем интерпретации! Автор пожертвовал патетичностью, но явно выиграл в художественности.

Герой здесь снова противопоставлен обществу, фальшь которого его коробит и возмущает. Это: снова зрячий одиночка среди послушных слепцов или продавшихся власти людоедов. Но накал своей роковой невописанности в обстоятельства он скрывает внутри себя, не выплескивая в рискованные эскапады, чтобы не быть замеченным. Он прекрасно понимает, что вокруг него расставлены сети, сквозь мелкую ячею которых не проскользнуть, — это гораздо более адекватное тому времени самоощущение, чем задано в «Клетке».

Здесь вообще все гораздо органичнее. Абсурдность и антигуманность строя, при котором довелось жить действующим лицам, не афишируется навязчиво, а словно исподволь — постепенно — вытекает из самого повествования, сюжетных ходов, самой логики текста. Здесь все соразмерно человеку, не бьет в глаза излишней эффектностью, фантастично-

стью, и читатель верит — так было, так могло быть. «Облдрамтеатр» — безусловно, менее *впечатляющ*, он не изумит и нервы не пощекочет, но тем он и ценнее — потому что более человечен. А если речь — в конечном счете — идет об *антигуманности* (власти, строя, чего бы то ни было), то этот аргумент — из самых веских.

Азольский разрабатывает почти детективный сюжет. И это накладывает на его произведение определенный оттенок схематичности. Действие в «Клетке» порой разворачивается столь стремительно, что не удается заметить психологической основы поступков, зачастую бывает неясно даже, каким образом герой вообще мог получить совершенно недоступную информацию, исходя из знания которой он выпутывается из разных ситуаций или, напротив, в эти ситуации вовлекается.

Возможно, что именно жанровые рамки принуждают автора моделировать более чем странные взаимоотношения полов. Женщины у него — какие-то почти безмозглые и похотливые самки, крайне безнравственные и удивительно несимпатичные. Что не мешает, впрочем, персонажам мужского пола испытывать к ним роковые влечения (хотя бы и презирая своих более или менее постоянных партнерш от всей души). Слово любовь здесь неприменимо. Другое определение непечатно. Обойдемся определением «блуд».

Отчего Азольский столь демонстративно не доверяет женскому началу? Возможно, у него есть на то причины. Но взгляд этот очевидно грешит односторонностью, и верить ему совершенно невозможно. Тут снова возникает щель, в которую неизменно утекает читательское доверие к непредвзятой объективности повествователя. Это жаль, потому что в другом отношении произведения Азольского интересны. Чуть более спокойный, отстраненный взгляд придал бы его повествованию недостающую глубину.

С «Клеткой» состязалось еще пять текстов той или иной степени ценности. Самый, с моей точки зрения, интересный, я приберегу на сладкое, а остальные разберу по принципу хаотической выборки.

## 2

Когда критика еще только прогнозировала решение жюри, наиболее вероятными претендентами числились двое — Азольский и **Антон Уткин**. По счастью, беды не случилось, и роман Уткина «Хоровод» («Новый мир», №№9—11, 1996) все-таки премией отмечен не был.

Вообще говоря, этот «Хоровод» — явление для нашего времени чрезвычайно характерное. Когда бы ни заходила о нем речь, неизменно возникало слово «стилизация» — какая-нибудь «блестящая», «изысканная», «тонкая» и т.п.; критика будто умилялась: вот, дескать, молодой автор, а как внимательно прочитал школьный курс, да как запомнил! Действительно, читаешь «Хоровод» — и словно слушаешь пересказ усидчивого ученика, этакое попури из «хитов» прошлого века.

Кого-то, возможно, эта вариация на темы и завораживает — баю-бай, спи, разум, спи, баю-бай, я тебе знакомую песенку спою, слова чуть-чуть другие, но кое-что ты сразу узнаешь, отдыхай себе, не напрягай силы, делать тебе тут все одно нечего. Смею заметить, однако, что для Большой литературы таких штучек явно недостаточно, тем более для жанровой формы, претендующей на звание романа. Писатель от графомана отличается не только тем, что знает, как сказать, но и тем, что имеет нечто к высказыванию, графоман же, на беду свою, обладает одной лишь потенцией письма, множа бессмысленные, с точки зрения значимого целого, пассажи.

Роман Уткина эклектичен. По сусекам поскреб, по амбару помел и слепил «Хоровод». И заяц, и волк, и медведь оказались слишком доверчивы к румяной прелести «Хоровода», и только позволили себе пожурить автора за анахронизмы. Печально, но придется исполнить неприятный долг лисы. Не в том беда, что в «кавказских» главах неизменно всплывают в сознании Казбич и Хаджи-Мурат, а то и Жилин с Костылиным, а в «русских» уже такая мешанина, что почти не вычленишь отдельных источников. Беда в том, что за всем этим не просматривается никакой сверхзадачи — зачем на исходе XX века или, если сформулировать еще доходчивей, «после Освенцима», сочинять салонную безделку, обходящую все острые углы бытия человека?

А как иначе назвать заведомо беспроблемную авантюрно-развлекательную стилизацию, не обремененную иной задачей, кроме *имитации* буквы (но не духа, ибо дух поддельвать невозможно) беллетристики сто и более -летней выдержки? А буква — она сама по себе мертва, из *букв* живые тексты не составляются, плоть такого произведения иллюзорна, она не вибрирует, не увлекает, не сопротивляется, она не выполняет своего главного назначения — жить своей собственной жизнью, как даже самого высшего качества стеклянный глаз передает лишь форму отсутствующего органа, но не в состоянии дать своему обладателю зрения.

Владимир Сорокин, лично мне глубоко несимпатичный, создавая свои «подделки», хотя бы ставит перед собой цель их последующего ниспровержения и «десакрализации» (как он это понимает). Кроме болезненно разбушевавшегося комплекса неполноценности мне тут иной мотивации не видится, но здесь все же проглядывает пусть низменная, но хоть *внеположная* собственно тексту задача. Что же за вещь в себе этот «Хоровод», не имеющий никакой внешней интенции, кроме последовательного начертания букв, слов, фраз и так далее, то есть замкнутой на себя одной только *цели письма*?

Между тем требуется недюжинное читательское благодушие, чтобы, сглазывая приманку уткинских имитаций, не наткнуться немедленно на металлические прутья каркаса, сразу же выдающего подделку. Приведу несколько характерных примеров.

*«Кувшины, чашки, блюда и туесы упадают на пол, звеня и подпрыгивая»*, — ничтоже сумняшеся выводит стилизатор Уткин. Да-да, как же, помню, — умиляется читатель, — именно *звеня и подпрыгивая!*.. Теперь

потрудимся подумать. У классика «звения и подпрыгивая» катился медный пятак, что совершенно соответствует его металлической природе, здесь же выходит нелепица — если первая троица способна при падении звенеть, то уж никак не подпрыгивать, ибо звон есть для них ничто иное, как лебединая песня, зато хотелось бы мне взглянуть на счастливица, услышавшего звон туеса, изделия берестяного, и оттого если и годного к подпрыгиванию (но низенько-низенько), то едва ли склонного издавать при этом что-либо похожее на звон. Чтобы образ сработал, требуются сущие пустяки — пережить его внутри себя, а не списать из подвернувшейся книжки. Тогда позаимствованный не у Чехова даже — у Григорина — блестящий в лунном свете осколок стекла (а это было, как мы помним, *примером* того, как следует писать) не будет выглядеть дурного тона насмешкой над героем, который *воочию* наблюдает его блеск и простодушно (устами автора) сообщает это читателю.

И тогда Петр Африканыч, списанный с Максима Максимыча и пользующийся его лексиконом, не заговорит вдруг, описывая пленение горцами совершенно незнакомого ему француза, цветистыми фразами, уместными в устах разве какой-нибудь Шехерезады в мужском обличии. Откуда было ему узнать такие слова: *«Много дорог послал мне Аллах, множество стран повидал я его глазами, созерцая и размышляя над тем, что на первый взгляд кажется простым, на самом же деле — непостижимо»?* Не читал же он в самом деле «Сказки тысячи и одной ночи», где, кстати, за несколько веков до него некий христианин, подбадривая свое *неверное* войско перед битвой, восклицает на таком же голубом глазу: «Постоим за нашу ложную веру!». Древний мусульманский автор оказался прозорливей Уткина, его высказывание адекватно контексту, а наш новоявленный Петр Африканыч, заведомо православными устами восхваляющий Аллаха и аттестующий муллу *«благочестивым старцем»*, сел, благодаря своему создателю, в изрядную лужу.

А каково сопереживать или хотя бы верить на слово другому герою «Хоровода», только что похищенному черкесами, которого везут неведомо куда и на неведомо какую расправу, описывающему свое страшное путешествие в таких красках: *«Уже солнце позолотило корявые разломы гор, отдавая их нежным своим светом. Я посмотрел вдоль по ущелью и в последней дыжке расхлотившегося тумана взглядом уперся в розовые трапещи снегового хребта»*. Имело бы смысл распространить вернувшуюся из чеченского плена бригаду НТВ, доводилось ли им в сходных обстоятельствах выражать свое восхищение красотами Кавказа в столь же витиеватом стиле?

Я привожу эти примеры не затем, чтобы цепляться к словам, а для того, чтобы показать, как и почему не работает прием, избранный автором как *единственная* художественная задача. Если и она не выполнена, что, простите, остается? Очень много слов — и только. Если автора увлекают авантюрные сюжеты, пусть честно признается себе в этом и пишет, что хочет, не трогая русскую классику. Ей Антон Уткин явно не нужен, отчего же она должна, точно публичная девка, служить его прихотям? А если ему

просто нечего сказать своего, а рука все-таки тянется к перу, а перо к бумаге, то пусть лучше чуть сдержит порыв и наберет какого-нибудь хоть более современного, зато *лично* опыта.

### 3

С «Хороводом» Уткина внутренне схож роман Дмитрия Липскерова «Сорок лет Чанджоз» (Москва, «Вагриус», 1996), который тоже в высшей степени отвечает всем требованиям к современному произведению — он совершенно пустой, выпендренный, с «необязательным» сюжетом, зато с аллюзиями и откровенной претензией на какую-то внетекстуальную глубину. Другими словами, это детище, рожденное в законном браке постмодернизма с масскультом.

Пересказывать фабулу подобных опусов — пустое дело, ибо фабулы, как таковой, собственно, нет, есть совершенно случайный набор событий как псевдореального, так и фантастического толка, из последовательности каковых не следует ровным счетом ничего — никакой мысли, тем более *идеи*, содержание романа породить не в состоянии. Сильнее всего это напоминает плоскостную аппликацию из заранее нарезанных воспитательницей цветных квадратов и треугольников — я бы здорово удивилась, узнай, что какой-нибудь искусствовед попытался найти в этих детских поделках новое художественное слово. Для этого требуется минимальный взлет индивидуализма, хоть какие-то средства к выражению личного взгляда.

Здесь автор всеми силами уходит от творческой задачи породить что-либо изнутри себя (предположим, что гипотетически такая возможность существует). Перед нами эдакий шалунишка, забавляющийся игрой в слова, которые умеют сочетаться при помощи разнообразных синтаксических связей в целые предложения. Поражает лишь запредельная наивность, с которой господа сочинители предложений смело зачисляют себя в разряд писателей. Из этих фразочек не составляется целого, имеющего собственный, если угодно, высший смысл. А ведь это целое и есть конечный продукт писательского труда (иначе зачем вообще время тратить?).

Каким бы нелепыми подробностями ни наполнял Салтыков-Щедрин свою «Историю одного города», она держится не набором случайных сцен, а авторской сверхзадачей (сколь *нелепой* она ни казалась бы иному современному читателю). История города Чанджоз не держится ничем, ибо авторской сверхзадачи — ни вычислить, ни угадать.

Заметная особенность пишущих в подобном ключе — использовать одинаковые «ходы» (вероятно, это какая-то качественная характеристика сходных типов мышления). И вот что забавно: если взять и взаимопоменять *контексты*, никакого урона сюжету это не нанесет. Вот пример. В некогда широко обсуждавшемся романе Владимира Шарова «Мне ли не пожалеть...» в какой-то момент на город самопроизвольно и необъяснимо начинают надвигаться стада коров. Роман Липскерова начинается со столь

же *недетерминированного* нашествия кур. Стоит поменять их местами, и мы увидим, как катастрофически *случаен* выбор «агрессора» (не вдаваясь в подробности шаровского текста, поскольку речь не о нем) — единственное, что изменилось бы в «Чанджоз», так это то, что в городе было бы налажено производство дешевой говядины (вместо, соответственно, ножек Буша и прочей куриной снеди), да у жителей со временем стали бы расти не перья на загривке, а, положим, рога на лбу. Что же до финальной сцены со столь же необъяснимым (и необъясненным) отлетом заведомо *нелетающей* птицы, так про коров есть даже соответствующий анекдот.

Или вот тоже абсолютно непостижимая тяга подобных авторов к Книге (некоей таинственной, абсолютной и прочая, и прочая). В романе уже поминавшегося здесь Уткина фигурирует загадочный талмуд, где описано *всё будущее человечества* (в тексте этот таинственный опус выскакивает где-то ближе к концу, никакой сюжетной роли не играет, введен непонятно зачем и в итоге оказывается съеден лисицами). У Липскерова роль *первотекста* исполняет тысячестраничный бессмысленный набор букв, который то ли в экстазе, то ли в помрачении сознания печатает на машинке жена одного из основных персонажей и который затем методом экстатического же прозрения расшифровывает в забытую всеми насельниками «историю города Чанджоз» учитель и по совместительству маньяк-убийца, расчленитель трупов и пожиратель внутренних органов. То ли этим сочинителям не дает покоя слава Умберто Эко, то ли они, подсознательно ( дух Божий веет где хочет) чувствуя свою писательскую ничтожность, пытаются укрыться (внося в собственный текст и тем как бы распространяя на себя) авторитетом некоего недоступного, но *великого текста*. Ясно только, что они обречены на вечное непопадание, ибо отречение от смысла и заполнение километров бумаги словами, словами и словами всегда вело и будет вести в обратную сторону.

#### 4

Гораздо лучшее впечатление производит появившийся в «Новом мире» (№№ 3—4, 1997), тут же отпечатанный «Вагриусом» (как ни парадоксально — в одной серии с Липскеровым) роман Людмилы Улицкой «*Медея и ее дети*». Однако и он оставляет двойственное ощущение.

Чем дальше читаешь роман Улицкой, тем сильнее охватывает странная, противоестественная тоска по бывшей некогда и отмененной ныне цензуре. Ибо не случись перестроечной свободы слова, из этого подставляющего себе подножки и губящего сам себя текста мог получиться очень добротный роман в самом традиционном смысле слова. Возможно, свою злую роль сыграла тут легендарная Медея, героиня трагического мифа об аргонавтах, в отместку за предательство мужа собственной рукой заколовшая детей: хотя никакого отношения к событиям романа «*Медея и ее дети*» эта старая история не имеет, однако роковое имя каким-то метафи-

зическим способом, очевидно, повлияло на текст — и наложило свой смертоносный отпечаток...

Центральное лицо, душа романа — старая гречанка, коренная жительница Крыма, осколок во всех смыслах исчезнувшей цивилизации Медея Синопли. Не сгибая прямой спины, она всю свою долгую жизнь несет доставшуюся ей ношу — быть главой, опорой и духовным центром рассеянной ураганами истории и ветрами случайностей по всем уголкам огромной страны (СССР) собственной огромной семьи, все ветви которой время от времени обязательно отпочковывают от себя отпрысков с характерными родовыми чертами: рыжиной в волосах и коротким мизинцем (признаки внешние) и некой особой душевной привлекательностью (признак внутренних).

Сама Медея, вырастившая младших братьев и сестер, упавших ей на руки после безвременной кончины родителей, собственными детьми обделена — ей предопределена другая задача: быть вечной «хранительницей очага» для всех бесчисленных потомков семьи Синопли. И она хранит его, ежегодно принимая в своем старом доме под Феодосией всех, кто пожелает совершить паломничество к родным корням — заодно отдохнуть на море и поправить здоровье детей.

Самую интересную и достойную внимания часть романа составляет дореволюционная история семьи Синопли, события лихих лет, а затем жизни самой Медеи, ее взаимоотношения с сестрами, братьями, подругой и, наконец, с мужем. Все это написано очень хорошо и убедительно, с какими-то живыми подробностями, позволяющими свободно проникать в мир героев, будто Улицкая действительно приоткрывает для читателя дверь дома и приглашает его быть желанным гостем в этом симпатичном домашнем кругу.

Все эти перипетии служат на самом деле все новыми и новыми красками к портрету удивительной женщины, живущей по высшим законам, не позволяющим судить других, зато предписывающим себе отмерять в полную меру. Этаким почти монахини в миру, но не из тех, что посвящают себя лишь посту и молитве, а из тех, что первыми входят в чумной барак и последними из него выходят.

Этот образ — особенно на фоне экзотических мест и бурных исторических событий — захватывает и увлекает. Начинает казаться, что современная литература не совершенно потеряла способность к воплощению *положительного героя*, который, с одной стороны, был бы жизнеподобен, с другой — не совершенно скучен.

И тут происходит страшная и непоправимая катастрофа. Автор переключается на современную (относительно современную, речь идет о годах, примерно, семидесятых) жизнь — и все то чистое и благородное, что уже успело вырасти на страницах «Медеи и ее детей», вдруг словно исчезает под напором какой-то пошлейшей мелодрамы.

Возможно, художественная задача виделась Улицкой таким образом, что этим противопоставлением достойного прошлого и мизерабельного

настоящего она выносит современной жизни как бы некий приговор, но даже этого, к несчастью, не получилось. Ворвавшиеся в повествование юные родственницы Медеи, охваченные, точно кошки в известный период, пылом самого похотливого свойства, напрочь отбивают у читателя всякую охоту воспринимать произведение всерьез. И даже якобы трагическая любовь поэтессы Маши к чудо-массажисту с задатками племенного жеребца (несмотря на любовь-дружбу к мужу-ученому), закончившаяся для бедняжки сумасшедствием и самоубийством, не может восстановить рухнувшую картину.

Нельзя усидеть на двух стульях разом — христианка Медея, безропотно несущая любой крест, какой предлагает ей жизнь, и видящая в этой ноше не бремя, а смысл, исполняющая заповеди не по усилию, а по внутренней потребности, перечеркивает собой всю эту мышиную возню вокруг любовников и постельных утех (которые с непонятым безвкусием Улицкая снабжает деталями самого похабного толка), а между тем этим молоденьким сластолюбкам, кажется, предлагается сочувствовать, во всяком случае, автор относится к ним с безусловной симпатией и даже несколько раз настойчиво сообщает, что одна из них была любимицей Медеи, которая всегда все видела, но никогда ни о чем не говорила. Возможно, Медеина способность не судить и должна быть отнесена к числу ее добродетелей, но для чего же еще понадобился Улицкой ее авторитет, как не для оправдания и собственной, надо полагать, любимицы, довольно-таки резвой самки, ухитряющейся (в череде прочих мужчин) регулярно лазить в постель к роковому массажисту, по которому сохнет любимая сестра-поэтесса?

Накал пошлости достигается не столько даже всеми этими *«шевелиющимися бугорками внизу живота»*, сколько общей безвкусицей «современной» части «Медеи». Поэтесса, прямо на непросохших простынях лепечущая стихи собственного сочинения человку по фамилии Бутонов (даже если бы он не был при этом массажистом с одной извилиной в голове), не имеет права на трагический эффект. Это сцена даже не для комедии — хорошо еще для фарса, а лучше всего — для мусорной корзины. Но ни тени авторской иронии по этому поводу не заметно. Вместо этого предлагается трагическая история из детства поэтессы — нелепая гибель родителей и жизнь с помешавшейся бабушкой, умудрившейся довести ребенка до самоубийства, от которого спасает только счастливый случай. Затем история счастливого и гармоничного (sic!) брака, в каком-то супруги изменяют друг другу, предварительно договорившись о взаимной свободе и радуясь, какие у них замечательные отношения. От этой части несет таким Чернышевским, что принимать ее сколько-нибудь всерьез невозможно.

От действительно трагического, и в своем трагизме благородного, от Медеи и ее мира, Улицкая легким пируэтом переносится в сферу мыльных опер и фальшивых страстей. Зачем ей понадобилось портить этой гадостью хороший роман, знает лишь лукавый. Я же могу лишь повторить —

будь жива советская цензура, она вычеркнула бы весь «секс», без него «современная» часть «Меден» потеряла бы всякий смысл, и Улицкая либо переписала бы ее заново, придав ей, возможно, какой-нибудь более значительный характер, а возможно, и сама выбросила бы за ненадобностью. И это крайне украсило бы произведение...

## 5

Довольно спорным в отношении избранной формы повествования представляется роман **Ольги Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки»** («Урал», №№ 8—12, 1996). Это самое объемное произведение из всей букуеровской шестерки 97-го года. Он нетороплив и тягуч, как застоявшийся мед. События описаны самые обыденные и непрехотливые: история семьи — сначала матери, потом дочери (перебывающие друг друга, переплетающиеся, избобилующие флэшбэками) — история взаимонепонимания и нелюбви и одновременно неразрывной связи, подспудного взаимодействия и отражения, где внутреннее состояние одного, проявленное во внешнем поступке, никогда не находит сиюминутного адекватного отклика в другом, а только множит бесконечный ряд взаимных обид и недоумений.

Каждый персонаж замкнут на самом себе, и оттого у него нет ни единого шанса найти способ контакта с окружающим миром (ужасно притом ограниченным — двумя-тремя столь же изолированными в себе личностями), картина унылая и безнадежная. В тех случаях, когда этим стихийным солипсистам приходится напрямую сталкиваться с чужеродной стихией (другими, не принадлежащими к семейному тандему «мать-дочь»), это всегда враждебная встреча с почти персонифицированным множеством, воспринимаемым исключительно негативно, чему способствует авторская тенденция живописать массовые сцены как пьяное застолье, глухую гульбу в крайне неприглядных, каких-то неряшливых обстоятельствах. Все эти посторонние мужчины, женщины и даже дети мало напоминают людей, скорее каких-то отупевших полуживотных (хотя и сами героини отнюдь не блещут ни интеллектом, ни уровнем культуры).

Заданная Славниковой картина мира напоминает однокомнатную квартиру с низким потолком и тесной кухней (в такой живут героини романа), за пределами которой еще худший и грязный город, населенный враждебной и крайне неприятной толпой. Вынесенные за скобки этой толпы мать и дочь, таким образом, словно оправдываются в своем пассивном неприятии окружающего и вместе с тем в своем неразрывном враждебном единстве — им некуда деваться друг от друга, поскольку неприемлемая ими действительность отторгает (в силу закона обратной связи) их самих, хотя они по существу тождественны этому миру.

Собственно действия (в традиционном романном смысле) в «Стрекозе» практически нет: если что и происходит, то только на бытовом, крайне ограниченном уровне. Отсутствующее действие автор заменяет огромным

объемом до мельчайших подробностей прописанных деталей — обстановки, одежды, пейзажа, психологических состояний, так что постепенно создается ощущение, что именно эти мастерские миниатюры и являются подлинными героями повествования, они настойчиво вытесняют действующих лиц сначала на второй план, а потом и вовсе в «сферу обслуживания», персонажи становятся чистой условностью, потребной лишь для того, чтобы низать одно за другим описание за описанием, деталь за деталью.

Изобилие и все нарастающее давление приема, уничтожающее собственно содержание, не проходит (да и не может пройти) для «Стрекозы» даром. Само название начинает восприниматься как не вполне удачная шутка: сопоставление стрекозы и собаки, двух висящих рядом вышивок, ничего не значащих сами по себе, пусть даже изображение стрекозы равно по величине изображению собаки, принимает монструозный смысл, и это непропорциональное, вынесенное в заголовок увеличение насекомого все больше напоминает болезненное разрастание романной подробности до масштабов самоценного целого.

С таким прицелом на «описательный» смысл стоило бы пускаться в написание рассказа, тем более что «поступков» как раз хватило бы на рассказ, для романа же получается, что одного как будто бы маловато, зато другого чересчур. Деталь не может работать сама по себе, ей нужен воздух, пространство, иначе все это описательное изобилие начинает застаиваться, как не имеющая стока вода, и все эти принесенные потоком щепочки-листочки, перегнив, бесполезно оседают на дно, формируя постепенно вязкую болотную топь.

*Пишет* Славникова хорошо, а вот *сочиняет* плохо. Поэтому ее роман кажется неоправданно затянутым, «бесконечным». Я не могу понять, что заставило автора с явным даром к короткой форме взяться за столь масштабный замысел. Вполне возможно, что если бы разделить «Стрекозу» на несколько отдельных новелл, она смотрелась бы куда выгодней — на короткой дистанции повествование не успевало бы задохнуться и выходило бы к финишу более здоровым и свежим, несмотря на весь положенный на него груз «лирических отступлений». Да и сами «отступления» от этого только выиграли бы — ведь бесконечно можно слушать только лесть, впрочем, говорят, и она приедается.

## 6

И наконец я подхожу к тому тексту, который произвел на меня самое серьезное впечатление. Это «фуга в стиле фьюжн» (как определил свое произведение автор) Юрия Малецкого под названием «Любью» («Континент, № 2, 1996).

Когда я (раньше) писала в «Литературной газете» обзор соответствующих номеров «Континента», я, похвалив всё остальное, ругнула две вещи — и одной была как раз «Любью». Текстовая «избыточность», об

которую я тогда споткнулась, оказалась для меня роковой. Я прямо-таки обиделась: как же так, я, занятой и усталый человек, то есть конкретно представитель всего занятого и усталого человечества, берусь за труд читать (*читать!*), а меня чуть не насильственно обременяют всячески трудно перевариваемыми излишествами, на которые у меня *времени нет*. То есть давайте как бы строго по-существу, по теме конкретно.

И не одну меня, как выяснилось, обидел Малецкий. В следующем же «Континенте» — письмо обычной умной читательницы, где она, похвалив предварительно, пеняет автору все на то же: «*Боже мой, во сколько одежек со сложными застежками завернута нормальная житейская история!*».

И так, думается мне, прочли «Любью» почти все (кто удосужился прочесть) — за исключением, может быть, самой только редакции «Континента», в противном случае я не понимаю, зачем бы они стали ее (местоимение следует авторскому определению: fuga — она) у себя печатать, столь сильно противоречит этот очевидно модернистский дух общей континентальной концепции.

Теперь о главном. Я взяла и прочла «Любью» еще раз — и это было нелегко. Но в вознаграждение своих трудов я вынесла о ней *совершенно другое мнение*, каковым и могу теперь ответить и самой себе и всем прочим, кто зацепился за формальные признаки и потому «не догадался о главном» (как выразился по этому поводу критик Басинский).

Между прочим, сам Малецкий, отвечая пожурившей его читательнице, хотя и отверг «сюжетобразование постмодерна» как метод, однако признался, что «постмодернистскую структуру языка» взял, и взял сознательно. Посмотрим же, о чем сыр-бор.

Первое, что бросается в глаза и бесит ужасно — это четыре разных шрифта. Обычный, для прямой речи героев (составляет основной корпус текста). Курсив, для внутреннего монолога протагониста, остающегося неизвестным второму участнику (участнице) диалога (по объему, соответственно, второй). Рубленый, для стихотворных цитат, перемешанных друг с дружкой и в большинстве случаев перефразированных (третий по величине). И, наконец, полуустав, для библейских цитат.

Спрашивается, неужели сейчас, когда всякий имеет при себе услужливый компьютер и может набрать текст хоть сотней разных буковок, нельзя было наиграться втихаря с кнопочками и уже на публику выйти с приличествующим случаем «таймсом» и, ладно уж, так и быть, с курсивом? (Это думает раздраженный читатель.)

Дальше. Зачем опять-таки все эти «з большой буквы» и прочая, когда мы уже своими глазами прочли в аннотации, что ты окончил филфак и, значит, сдал на первом курсе фонетику. Ну, мы тоже сдали, и про озвончение глухих согласных перед звонкой еще помним. А вот это вот? «*Здесь на холо — церукал и эта — дильнике — перазин. То или то? Сначала церу. Еще из ГДР. Цээр из гэдээр.*» Что нам на это ответить? Дыр бул щыл? Старо. Вот разве: D fdnj,bjuhfabxtctjq cwtyt... — дальше лень набирать; кому интересно, может самостоятельно разыскать у Жолковского.

И цитаты-аллюзии, аллюзии-цитаты, да парафразы, да черт-те что (то-то мы их не начитались), да Led Zeppelin, да Хендрикс, да Коулмен (то-то мы их не наслушались) — и тут же «Суди мя, Боже, и рассуди про мою...» — это ведь всякому же терпенью бывает предел!

И все зачем? Чтобы рассказать «*нормальную житейскую историю*», как муж с женой ночью поругались из-за того, что ему померещилось, что он любит не *Эту* жену, а *Ту*, прежнюю, и когда он довел себя до истерики, а жену до истерики и сердечного приступа, то понял что, любит именно ее — *Эту*, а не кого-нибудь другого.

Наконец-то мы выходим к предмету обсуждения. Да, для того, чтобы рассказать *такую* житейскую историю, вероятней всего, всех этих заумностей и не потребовалось бы. Точнее, они действительно были бы излишними. Но кто решил, что автор такую историю и хотел поведать? Не чересчур ли самонадеянно мы ограничили автора рамками *житейской истории*?

Возьмем на себя смелость предположить, что авторская задача была куда шире — спрессовать *целую жизнь* и уместить ее в рамки двухчасового кульминационного конфликта, служащего одновременно и контрапунктом всех душевных-духовных исканий-метаний-герзаний и поворотной точкой личностного существования. И тогда мы опять же возьмем на себя смелость возразить Алле Латыниной, отметившей в «ЛГ», что хотя «*плотность текста куда большая, чем была бы в романе, пожелай его написать автор*», но «*все же это не роман*», — так вот, возразить, что это именно роман и есть, только совершенно новый и потому абсолютно не привычный. Именно тот, которого все ждут, никак не дождутся, но при появлении — не узнают (да простится мне такая аллюзия).

Давайте бесстрашно возьмем старый замшелый словарь литературоведческих терминов и узнаем, что «**РОМАН** — (тра-та-та-та-та-та есть не что иное, как) *изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — большой объем сравнительно с другими жанрами*». Чего же в таком случае не хватает Малецкому, точнее, его детищу, для присвоения почетного звания?

Пункт первый. Предположим (чтобы не усложнять дела), что такое *человек*, мы априорно договорились. Выясняем, что такое *сложные формы жизненного процесса*. Классический роман (со второй трети прошлого века) — опять же по тому же ортодоксальному источнику, — обретает наконец свое важнейшее свойство: «*воплощать всеобщий, всечеловеческий смысл в частных судьбах и личных переживаниях героев*», сюда же относится «*углубленный психологизм, освоение тончайших движений души*». Если я правильно понимаю авторскую задачу, то это как раз то, что мы видим перед собой.

*Земную жизнь пройдя до половины,  
Я очутился в сумрачном лесу...*

Вот так буквально прочитывается первый авторский курсив: «*Тьма во тьме темнит, и свет не победит ее. Сердце тьмы — кто? где? Я, слева.*»

*Пусти мне сердце. Переместиться вовне...*» — и дальше пошло-поехало. Так начинается «Любью». Нас берут и ставят прямо *перед* — смотрите, вот самый черный отчаянный миг, чернее не будет, хотя было гадости сколько угодно и раньше, и после будет, но этот час особый — прошлое, накопленное, собралось в комок и должно взорваться, чтобы стать хаосом и чтобы ты в этом хаосе растерял все, чтобы сам разорвался на куски, разошелся на атомы — чтобы собраться потом заново, в нового себя (если сможешь), потому что дальше со всем этим, что было, что есть, пути нет. А что будет, то видно будет.

И не в том тут даже дело, что люблю-не люблю, и даже не в том, что какие-то там внутренние распри с Церковью, хотя на словах все герой знает, как надо, как не надо, и пассаж, посвященный церковной проблеме можно хоть сейчас в любой журнал как острый полемический *материал*, нет, тут другое, тут душа разрывается, тут «Боже, Боже, почто Ты меня оставил» во всей полноте отчаянного, почти животного ночного крика... Это что? Личная проблема? Факт персональной биографии? Или мы уже настолько одурели от соцреализма, что видим *всечеловеческое* только в *движении масс*?

Я не знаю проблемы более *всеобщей*, чем трагедия богооставленности, оторванности, вследствие этого, ото всего сущего, чем трагедия *нелюбви*. Беды всей цивилизации XX века, отторжение человека от человека, неспособность к проникновению в не-я, все эти пустые небеса, этот сутубый индивидуализм с фанатическим поклонением прогрессу и материальному миру, с вечным ужасом перед *небытием* и смертью — вот они, здесь, как на ладони: не верю, не люблю — и сам себе я раб и господин.

А как прикажете поднимать такие вопросы во *всечеловеческом* масштабе, если такие переживания сутубо индивидуальны? Значит, только один путь — лично, но глубоко, лично, но *широко*. Что касается глубины, Малецкий это сделал. Этого никто не оспорит. А широта как раз и достигается за счет всех вот этих столь раздражающих нас приемов, которые мы принимаем за избыточность и постмодернистские игрища. Всеми этими Колтрейнсами и «*Встречай меня в долине Глен зеленой (Вариант: ...в долине Дагестана)*» нас отсылают к нам же, ко всем, и чем больше этого словесного мусора, то есть чем шире сеть, тем больше уловлено человек, нас, хранящих эти знаки *всеобщности* в бедных своих головах. Чья беда, что мы сами растеряли иные объединяющие начала и собрать нас воедино можно только звоня в такие дешевенькие звоночки — Роберта Планта знаешь? А Джойса, Бойса и Бориса Гройса?

Пункт второй автоматически вытекает из первого. *Многолинейность сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц*, — это не обязательно когда Наташа Ростова любит последовательно всех мало-мальски значимых мужских персонажей «Войны и мира», а с ними за это время происходят разные душевные перипетии, причем идет война и сопутствующие ей движения народных масс (я не хочу обидеть Толстого, просто у меня мало места). Это можно написать и камерно, что гораздо более свойственно

современному роману, лишь бы отражение этих судеб (в данном случае ретроспективно-перспективное) обладало неким обобщающим характером. Что я здесь, учитывая вышеговоренную поэтику, и наблюдаю.

Пункт третий. *Многоголосие*. Что есть, то есть. Вопрос исчерпан.

Пункт четвертый. *Большой объем сравнительно с другими жанрами*. 131 страница — формально вроде бы маловато. Но чрезвычайная «плотность текста» (отмеченная не мной!) — а ведь другой, который накатает ненужный, и даже лишний *объем*, он плотность-то, пожалуй, как раз и потеряет, да что там плотность, он сам *роман* потеряет — за многословием. И что такое *объем*? Листаж? Или — все-таки — что-то другое? Может быть, как раз насыщенность, и даже перенасыщенность, текста и порождает какой-то внеположный ему, неизмеримый линейкой, но ощутимый каким-то дополнительным чутьем нематериальный дополнительный вес? Опять начинает работать все та же поэтика — словно разбросанные цитаты и парафразы притягивают за ниточки свои исконные контексты. «Любью», словно снежный ком, обрастает незаписанными в ней, но родственными — благодаря текстовой трансплантации — эпизодами, главами... И — и вырастает органично, словно в родной дом вернулся, — во всю человеческую цивилизацию с порожденной ею культурой. Так, по крайней мере, видится мне.

И последний раз о художественных средствах. Героя можно описать по-разному. Дать его портрет. Сообщить о нем в третьем лице, что он думает, чего хочет, и так далее. А можно обо всем этом умолчать и просто продемонстрировать, *как* работает его сознание и *какими* реалиями оперирует. То, что сделал Малецкий, кажется мне самым точным портретом современного рефлексизирующего человека. Таким я вижу героя нашего времени. А другой, сексуальный кретин, решающий финансовые и прочие сугубо материальные проблемы, честно говоря, мало меня интересует.

Букеровской премии Малецкий не получил. Но, по крайней мере для меня, он открыл какие-то новые горизонты. Во всяком случае, благодаря ему мне наконец удалось сформулировать то, что долгое время никак не удавалось — литература жива, и ничего с ней не сделалось. Неважно, какие формы принимает слово — куда в нем есть смысл, будет и жизнь, а будет жизнь — будет и смысл. Остальное (в том числе и гибель литературы) — видимость.

## **АНТИКРИТИКА**

### **Ответ Юрию Малецкому**

О современной литературной критике всё уже, кажется, сказано. И сами наши нынешние критики в середине 90-х не раз высказались по ее (по своему) поводу так, как хотели и могли. Рассуждали о новом смысле критики, о вызванном культурными сдвигами появлении новой критики и уходе в небытие старой. Казалось, это не просто смена поколений, происходит радикальное обновление творческих задач. Общий сюжет был прочерчен довольно отчетливо. Скажем, Наталья Иванова, фиксируя конец литературоцентризма, писала о расцвете журнализма, о засилье литературного быта в прессе и о живописании критиком литтусовок, о появлении новых критических амплуа — критических кутюрье и рекламиста, об обслуживании ими «своей референтной группы» и о том, что критика все-таки повеселела. Сергей Чупринин также намечал эволюцию творческих позиций критики: от критиков-идеологов к критикам-экспертам, а от них — к критикам-нарциссам. К ивановским амплуа он добавлял еще эстета-хама и умника-сплетника. В схожем тоне Александр Агеев вел речь о двух типах критиков — «охранителях» и «нигилистах»; первые благоговеют перед классикой как перед Священным Писанием и фиксируют кризис литературы вообще и реализма в частности, а вторые не путают литературу (сиречь игру) с жизнью, но подчас сами претендуют на некоторое литературное значение, становясь соперниками прозаика-поэта. Андрей Немзер, разделяя общий взгляд, говорил об уходе критика из журнала в газету и о чертах газетной критики — эстетичности, произволе, небрежении современным писателем. Павел Басинский начертал памфлетными красками портрет самого Немзера, уличив последнего в субъективизме и претензиях на диктатуру в литературе. Сергей Костырко полагал, что только «вчерашние» критики не могут увидеть, что литература не пребывает в кризисе, а движется к норме; критики же «сегодняшние» верно акцентируют эстетическую сторону и специально обучены на такую экспертизу текстов для читателя, никоим образом не претендуя уже

---

**Евгений  
ЕРМОЛИН**

— родился в 1959 году в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Кандидат искусствоведения, преподает в Ярославском педуниверситете. Автор ряда литературно-критических и культурологических статей. Постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

на высшую истину. Ирина Роднянская же, соглашаясь с тем, что кончается критика, основанная на убеждениях, являющаяся органом литнаправлений, идейная установка вытесняется товарной и критик становится информатором публики, была этому не рада. (Отдал как-то дань теме и я, предположив, что критика, как и литература в целом, не движется одной колонной к одной цели; у нее, к примеру, есть такие «вчера», которые будущей иных «сегодня».)

Эти опыты самоосознания, произведенные в начале новой, постсоветской культурной эпохи<sup>1</sup>, были, наверное, нелишними. Рефлексия там сочеталась с манифестальностью. Но с уже образовавшейся дистанции они выглядят исключительно «внутрицеховой» дискуссией. Ни прозаики и поэты, ни читатели, если верить периодике, не пожелали в ней участвовать. И вот недавно неписаное правило оказалось нарушено. В 93-м номере «Континента» писатель Юрий Малецкий обратился в отдел культуры журнала «Итоги» и ко «всем деятелям критического цеха» с посланием<sup>2</sup>.

Нечасто — согласитесь — прозаик отрывается от своих творческих занятий, чтобы оценить критическое хозяйство и произнести о нем некие важные суждения. Тем дороже попытка Малецкого — нарушив заговор молчания, донести до всех свои авторские претензии к критической шатии-братии. Литератор хочет урезонить, усювестить хищных бездельников, присосавшихся к изнемогающему телу родной словесности. А поводом стала сочиненная С. Васильевым поденная заметка «Букеровские страсти» в журнале «Итоги» (№26/59). С ее тщательнейшего разбора Малецкий-букеровский финалист 1997 года и начинает излагать свои инвективные соображения. Но постепенно открытое письмо конкретным адресатам перерастает в обращение ко всем критикам и к околολитературной общественности. Направлено послание Малецкого предельно полярным адресатам: сразу «городу и миру», хутору и ойкумене. Кажется, надеется литератор и на какой-то отклик. Если так, то он, конечно, очень наивен. Кто ж в наше безответственное и безответное время ждет вразумительного ответа на свои домыслы?

Довольно смешно было бы отвечать за весь критический цех. Тем паче выступать за ведомство культуры журнала «Итоги». Поминает Малецкий

---

<sup>1</sup> См., например: *Иванова Н.* Сладкая парочка//«Знамя», 1994, № 5; *Чупринин С.* Элегия//«Знамя», 1994, № 6; *Немзер А.* Сказка о потерянной критике//«Дружба народов», 1994, № 8; *Агеев А.* Выхожу один я на дорогу...//«Знамя», 1994, № 11; *Ермолин Е.* Примадонны постмодерна//«Континент», 1995, № 2 (84); *Басинский П.* Человек с ружьем//ЛГ, 1995, № 46 (см. также отклики в № 48, 51); *Иванова Н.* Между//«Новый мир», 1996, № 1; *Костырко С.* О критике вчерашней и сегодняшней, *Роднянская И.* Герменевтика, экспертиза, дегустация, санэпиднадзор//«Новый мир», 1996, № 7.

<sup>2</sup> *Малецкий Юрий.* Автоапология автора, или Критика критической критики//«Континент», 1997, № 3 (93). С. 349—365.

в своем послании и меня. Но не поэтому возникла мысль отозваться на него. А просто есть о чем сказать, подталкивает к этому статья Малецкого, задевает за живое, касается важных и острых духовных сюжетов современной культуры. Вот это обстоятельство и дает основание для того, чтобы поделиться собственными мыслями, возникшими после знакомства со статьей о критике.

Вообще-то письмо Малецкого критикам — симптом. Оно является сигналом извечной несбалансированности в отношениях прозаика и критика. Им нелегко бывает понять друг друга, и почти невозможно — жить в мире. Этот проблемный план представляется мне общезначимым, отчего и ответ мой не будет выглядеть как обращение непосредственно к писателю, а примет форму нейтрального высказывания.

И еще одно, для полной ясности: писатель Юрий Малецкий лично мне очень интересен. Особенно после его повести «Любю»<sup>3</sup>, с появлением которой и разгорелся весь сыр-бор: именно ее характеризовал и оценивал в «Итогах» злополучный рецензент Васильев. «Любю» кажется мне созданием незаурядным, произведением замечательных достоинств; в нашей современной словесности такие наперечет. Но об этом я не раз высказывался; может быть, не очень удачно и без должного мыслительного напряжения, но — как сумел<sup>4</sup>. Таким образом, о прозе Малецкого речь здесь не пойдет.

## 1

Претензий у прозаика скопилось много. Его обвинения многоплановы, а планы эти не вполне соотносимы.

Пласт первый. По Малецкому, критик небрежен, некомпетентен, подчас безграмотен — а берется оценивать серьезный труд. Писатель пишет «на последнем усилии», «кровью сердца»; выкладывает, портит душу и печень. Критики же пописывают, лениво и приблизительно. А настоящих, умных и грамотных критиков мало: «10 толстожурнальных

---

<sup>3</sup> Повесть опубликована в «Континенте», № 88 и стала финалистом букеровского конкурса 1997 года. Букера же, напомним, получила «Клетка» великолепного Анатолия Азольского, наконец-то преодолевшего равнодушие литературной тусовки и признанного ею. Об этом выборе жюри нельзя сожалеть, особенно если вспомнить, что первые лучшие вещи зрелого периода у Азольского появились в «Континенте» («Окурки», № 76; «Берлин—Москва—Берлин», № 79)? И «Клетка» и «Любю» — вещи несезонные; им, думается, суждена долгая жизнь. Поручкой тому их духовная емкость.

<sup>4</sup> См., например: *Ермалин Е.* Словесные строители Храма//«Церковно-общественный вестник». Спец. приложение к «Русской мысли», 1997, № 13, 10 апреля; *Ермалин Е.* Вчера, сегодня, всегда//«Континент», 1997, № 2 (92). С. 365; *Ермалин Е.* Люди духа и люди брюха//«Северный край», 28 февраля 1997 г. Эту повесть Малецкого хвалили также Т. Касаткина, Ю. Кублановский.

негрятя, из которых стоит одному «утопнуть», как останется 9, заменить будет некем». Нимало не затрудняясь, верхогляды почесывают языком, приняв «гон ни к чему не обязывающего высказывания «по поводу», а то и «по мотивам». Откуда у них такое право? И нарочно, что ли, гадят они на полях словесности?

Прозаик прав. Критика наша бывает невероятно ленива, часто не слишком умна и слишком претенциозна. Все-таки как оскорбительно это амбициозное нахальство жургазовского стрелка! Злоупотребляя служебным положением, он без аргументов и сантиментов, с налету-с повороту хоронит труд чьей-то жизни! Когда-то, недавно, таким литературно-критическим бандитизмом грешили в «Независимой газете» и «Сегодня», теперь эстафету подхватили, кажется, «Новые известия»...

С «итоговцем» С. Васильевым я не знаком, и поэтому ни полслова за него не скажу. Я не знаю даже, имело ли персональное обращение к критику какие-то последствия. Но можно себе представить, что ответил бы Малецкому какой-нибудь невоспитанный газетно-тонкожурнальный литобозреватель, если б вообще снизошел до ответа. У вас свои игрушки, сказал бы, пожалуй, он, а у нас — свои. И куда вы денетесь? Будете сочинительствовать — а мы будем что-нибудь на сей счет произносить, сообразуясь с нашей свободной творческой волей, на автопилоте. В ритм выходу нашего издания... И не вмешивайтесь в нашу специфику. А угрожать — этого и вовсе не надо. На наш век литературы как-нибудь хватит. Точка. Тупик.

В какой-то момент начинает казаться, что сыр-бор раздут по пустяку. На всякий роток не набросишь платок. Одни говорят так, другие эдак. Одни умны и деликатны, другие грубы и невежественны. Таков уж дух демократической эпохи. Не лучше ли вовсе не обращать внимания на злые укусы и пошлые комментарии?

Не лучше. По Малецкому — не лучше. И его можно понять. Его поймет всякий несправедливо обиженный.

## 2

Эпоха придала ситуации дополнительную остроту. Малецкий объясняет нам, что ныне, как никогда, критик приобрел огромное влияние. В сознании вероятного читателя регулярно пишущий и быстро читаемый газетный критик естественно занял место тех, о ком он, казалось бы, и пишет. Он и есть теперь писатель. Не о тех, о ком пишет, и не вместе с ними, а вместо них...

Что-то на самом деле случилось. Заговорили о потере в обществе интереса к литературе, даже об отмирании изящной словесности. О бесперспективности писательского ремесла. О том, что главное уже сказано, что и так уже слишком много всего написано, а человеку для жизни нужно только самое важное. Читательская аудитория у литератора то ли еще существует, то ли уже нет. Она почти никак себя не проявляет, как

будто отказавшись от права иметь и выражать собственное мнение. На таком, «нейтральном», фоне суждения критика и получают статус единственной истины. Ведь писатель не знает другого читателя, кроме критика. Отсюда, из такого мироощущения, и вырастают, наверное, острота и болезненность реакций прозаика на критические суждения.

Слово теряет отношение к истине, становясь риторическим украшением. Культура теряет литературоцентричность. Писатель теряет статус властителя дум... Только критик — протобестия! — приобретает и приобретает.

Духовный и историко-культурный контекст рассуждений Малецкого необъятен. И что ж тут поделывать: так складываются карты нашей судьбы! Вот только не нужно населять современность еще и демонами воображения. Надо спуститься на землю.

Прозаика заботит, что читатели журнала «Итоги», познакомившись со статьей о буковерских страстях, этим и ограничат свое общение с современной словесностью, решив, что взять им оттуда для жизни нечего. Но не столь уж, вероятно, легковверен читатель. Навряд ли критик может скомпрометировать крупного писателя так, чтобы отнять у того последних читателей, если только сам писатель не даст для того достаточного повода. Повесть Малецкого — заведомо не для всех. Однако те, кто наиболее готов к ее восприятию и приятию, едва ли удовлетворятся беглыми замечками журналиста. У них есть другие пути выхода на самое значительное в текущей литературе. А с другой стороны, весомое, аргументированное слово критика авторитетно и сегодня, как это было всегда. И едва ли мнение о прозе Малецкого Татьяны Касаткиной, например, осталось незамеченным.

Хотя, нет слов, жаль, что сегодня мало изданий, способных полноценно удовлетворить информационный запрос читательской элиты. Наши газеты и иллюстрированные журналы, как правило, почему-то крайне невразумительно, невнятно, избирательно регистрируют главные события в литературе. (Имея некоторый опыт работы в прессе, могу предположить, что это, возможно, дефект не столько даже критики, сколько — журналистики, неумение спланировать работу.)

### 3

Мало-помалу выясняется, что едва ли не основной объект атаки Юрия Малецкого, ради коего и затеян весь поход, — вовсе и не журнальный поденщик, работающий спустя рукава. Возникает в инвективах писателя еще один пласт — важнейший по своему смыслу. Главным вредителем объявлен иной противник: добролюбовская по типу, «концептуальная критика».

От нее, выходит, все беды.

Писатель не может принять, как выясняется, того, что критик от него чего-то *ждет*, причем чего-то довольно определенного, выверенного

убеждениями, духовным опытом, жизненной школой. Критика эта, во-первых, подходит к литературе с заказом, то есть предвзято. А во-вторых, она оценивает литературные свершения так, как будто обладает абсолютной истиной и по принципу «что объективно сказалось в произведении»; «отныне суждение критика наделено статусом непререкаемой имперсональности, что дает рецензенту индульгенцию по отношению к бедолаге рецензируемому на всё». Такая критика занимает «верховно-судейское место». (Вот, в частности, и ваш покорный слуга, оказалось, претендует на ношение строгой судейской мантии...)

Малецкий создает впечатляющую своей ненормальностью картину, как настоящий художник слова. И невольно соглашаешься, отделяя, вероятно, личность от функции: несимпатичная это критика. Слишком много на себя берущая, предельно монологическая и авторитарная, если не сказать — тоталитарная. Эти претензии на обладание неоспоримой истиной, на суд и приговор — не нужно ли отвергнуть?

Таков кстати лейтмотив суждений не одного Малецкого, но чуть ли не общий ныне глас. Идея, в общем, не нова. Сегодня подобные заявления звучат особенно часто, в том числе из уст самих критиков (скажем, от упомянутых Агеева и Костырко), а «новый курс» в критике и не кончается только предложениями. Этот запрос получает статус легального критерия при публикации, превращается в редакционное кредо, в политику издания...

Рассмотрим, однако, ход соображений прозаика. И то ему не так, и это не эдак. Какая же, собственно говоря, критика его устраивает? Каков, согласно Юрию Малецкому, идеальный критик?

Он — должен явить себя «настоящим читателем-со-творцом-медиатором». А если конкретнее — то просто-напросто писателем, «действительным *литератором*», «чтобы художника судил равный художник же», — но никак не критиком, который понимает «не в литературе, а только в критике литературы». Идеал — чтобы сам друг-писатель писал о другом писателе. «Давно пора», — твердит Малецкий. Пора отобрать незаконно присвоенное право у самозванцев и препоручить золотые ключи от литературного процесса творцам, настоящим сочинителям, которые кое-что кумекают в ремесле художника и знают, как трудна эта планида, как непросто рождается образ, как неизбежно вступают в единственно возможную связь слова... По сути, идеальный критик — это сам автор произведения или кто-то очень к нему близкий. *Alter ego*...

Идея фантастическая. Но в попытке идти до конца Малецкий решается на почти беспрецедентный шаг: производит критический анализ собственного текста, той самой «фути в стиле фьюжн» «Любью». Впрочем, прозаик понимает, что задача этим экспериментом не решается. Он вздыхает: написал когда-то про него писатель Мелихов хорошие слова, а он — не ответил взаимностью... Приходится считаться с нежеланным присутствием независимого критика. И тогда важно нагрузить того жестко определенными поручениями — от цеха прозы.

По Малецкому, критику «не мешало бы (...) быть гурманом, любить хорошую кухню и ценить в себе прежде всего вкус, а потом концептуальность». «Ведь если я ничего *заранее* не хочу от произведения, кроме наслаждения вкусным словом, то вкус мне моментально и сигнализирует: вкусно, съедобно, несъедобно. А если я своему вкусу, сколь бы хорош он ни был, говорю: это *д о л ж н о* быть хорошо, а это никак не может, по концепции идейной или эстетической, или потому, что опять повесть, а не роман, или... да мало ли еще у каждого личных, культурологических и даже космологических поводов для недовольства, — то для дегустатора это уже катастрофа...»

Писатель добрался до сути: он, судя по всему, при первой попытке изъяснения своего кредо, предлагает замкнуть критику в пределы реализации «гастрономического», панэстетического вкуса, чтобы она впечатлялась и наслаждалась исключительно очищенной от всех и всяких примесей «художественностью». Требуется освободить, иными словами, критическую экспертизу от любых «внешних», смысловых предпосылок.

Как главное условие профпригодности писателем заявлена компетентность. Это значит, что критик, рассуждая о литературном произведении, обязан объяснить читателю, в чем состоял авторский замысел, как он реализован, какими средствами и с каким результатом. «Читателю нужно, чтобы ему максимально «предметно» объяснили, о каком литературном блюде идет речь, чем оно отлично от других блюд русской литературной кухни, с чем его едят, и — *ad libitum* — по вкусу оно рецензенту или нет. Последнее интересует читателя только тогда, когда уровень изъяснения трех первых внушил ему чувство интимного доверия к означенному вкусу рецензента». Критик — «гид или даже сталкер интеллектуальной «зоны»; по сути же — эксперт, дающий квалифицированное заключение о качестве и особенностях литпродукта. Однажды Малецкий произнес: «критик должен быть литературоведом современной литературы». То есть исключить малейший субъективизм, свести к минимуму присутствие собственной личности при разборе художественного произведения. Прозаик называет почитаемых им критиков-классиков. Выясняется, что это — Пушкин, Розанов, Анненский, Ходасевич, Тьнянов, Чуковский, — все, как один, заметим, успешно совмещавшие критические занятия с созданием кунстверков в прозе и стихах. Оговаривается, что и ныне есть-таки заветная десятка авторов, чьи суждения он уважает (это, например, Рассадин и Архангельский). И даже рассыпает в своей статье комплименты лучшим среди критиков. Но не очень-то верьте похвалам. Если додумать за Малецкого, то выходит, что в обычном, неэкстраординарном случае лучший критик — аноним, свободный от имени и личности, нейтральный, чистый профессионал, некий работающий без трения механизм экспертных процедур.

Дегустация — дело важное. Но что-то уже здесь смущает. Некий утилитарный минимализм при определении задач критика — вполне понятный в устах прозаика, но внушающий неопределенные, отнюдь не только узко-цеховые опасения за участь критика.

Трудно спорить с писателем, когда он предъявил убедительный пример непрофессиональной, халтурной работы. Поневоле оцепенеешь. Пошлепешь голову пеплом, удрученно облачишься во власяницу и босиком побредешь в Каноссу, смирив глупую гордыню и истребив гнилые мечты о собственной значимости. Однако отвлечемся от магии заданного примера. Попытаемся осознать, к чему ведет логика Малецкого.

Все бы ничего. Наверное, и вправду мы переусердствовали с идейным заказом к литературе. Пора дать ей отдых. Или хоть отдушину. Но отчего же путем превращения литературной области в какую-то резервацию, в заповедник «чистой» словесности, предельно далекой от всего иного, внешнего, мирского, ближнего и дальнего? Отчего путем предельного ограничения задач критики?

Хороший экспертный отзыв — это весьма немало. Приобрести к нему способность, его навык — необходимое, пожалуй, требование к критику. Это то умение, которое дают и тренировка, и опыт. Его не назовешь чисто «техническим», поскольку оно предполагает не только умелость в применении приемов анализа, но еще и обладание обширными познаниями. Но должен ли критик ограничить себя этой, прикладной, задачей — *экспертизой текста*? Действительно ли идеальный критический текст — это не столько критика, сколько (цитирую Малецкого) «чистое, феноменалистическое, непредвзятое восприятие *самой* литературы», при котором личность критика, его, скажем так, *уникум* \* отсутствуют?

Полагаю, что на все эти вопросы нужно ответить «нет».

#### 4

Малецкий один раз заметил, что писатель создает вторую реальность (а критику-де создать третью — слабо). Эта «вторая реальность», мне кажется, — только метафора. На самом деле реальность — одна и едина. Нет и не может быть ни второй, ни пятой особой, суверенной реальности. И в пределах этой единой реальности писатель, читатель и критик вступают в осмысленное взаимодействие. Эти трое пребывают в одном бытии и имеют дело с одними и теми же идеями и ценностями.

Отсюда следуют несколько выводов.

В диалоге все полноправны и свободны. Кто спорит, всегда важно учитывать замысел творца. А порой бывает нужно анализировать соотношение замысла и его воплощения. Это может быть даже отдельной, главной задачей критика. Всегда важно, добавлю, стремиться и к тому, чтобы постоянно сознавать уникальность, неповторимость писательской личности, претворившейся в произведении, — и уметь, когда это бывает нужно, раскрыть, засвидетельствовать хотя бы в какой-то степени это сокровенное Ты. Не знаю, — да важно, наконец, просто любить литературу, чтобы писать о ней без зубовного скрежета, без тайной ненависти или явного презрения. Как бы ни было мучительно трудно.

Но едва ли можно *обязать* критика к чему бы то ни было. Даже любить писателей. И есть-таки, кажется, критики, которые действительно напроць лишены такой способности. (С другой стороны, что такое любовь, какое острое это лезвие, как близко ходит она рядом с ненавистью — про то едва ли нужно объяснять автору сочинения, названного «Любью».)

Далее. Критика — *тоже литература*, для ее читателей. Критик — кто бы и что бы ни думал по его поводу — тоже *писатель*. Причем писатель вовсе не обязательно — второго сорта, отнюдь не слуга. Стоит заметить, что крупное критическое дарование — вещь не менше, а пожалуй, и более редкая, чем дарование прозаика или поэта. И не менее ценное и значимое — в литературном процессе, в культурной жизни, для публики, для истории литературы, для судеб, быть может, народа и мира. В русской литературе, скажем, великих критиков вовсе не больше числом, чем великих прозаиков. А и место в ней критика Белинского, например, как бы мы к нему ни относились, не упразднить росчерком пера.

И критика — это голос публики, *свободное мнение читателя* (умного, глупого, всякого) — для сочинителя. Критик — еще и *«первый» читатель*, читатель-универсал, потенциально способный говорить обо всем на свете.

В конце концов, критик служит не писателю и даже не литературе. Он вправе найти себя на службе у истины, у Бога. Он призван — и должен всегда эту призванность ощущать и нести как сладкое бремя. Этим он, кстати, не отличается от настоящего, большого писателя, философа. У него есть убеждения, которые он вовсе не обязан скрывать. Неизбежно ли он в них субъективен? Есть ли вера по определению что-то субъективное? Не думаю. На личной вере всегда лежит какая-то печать ограниченности личного опыта. Это понятно. С этим трудно спорить. Но критик имеет право знать и понимать не меньше писателя, даже что-то иное, чего писатель не знает или не понимает. Имеет право выявлять в художественной ткани нить смысла, выходящего, быть может, за пределы рассудочного усмотрения писателя, раскрыть свое понимание истины. Реализующие это право статьи Сергея Булгакова «Чехов как мыслитель» и Василия Розанова «Наш «Антоша Чехонте», бердяевские «Духи русской революции» и «Ставрогин» — это неотменимые вехи нашего духовного опыта и, кроме всего прочего, великая литература.

Теперь легко, конечно, убивать Николая Добролюбова, основные идеи которого оказались весьма уязвимы. Но по совести: кто откажет этим идеям в значительности, а самому критику — и в известной эстетической чуткости, едва ли даже меньшей, чем была у Аполлона Григорьева? Имеет право на существование и добролюбовская аналитика, его понимание Тургенева и Островского как критиков общества и исследователей социальных проблем. Дмитрий Писарев с его воинствующим антиэстетизмом — не просто фигура драматического склада, но и вечный полус в литературе и культуре, точка отсчета не менее значимая, чем почти любой из его современников. Многословный Михайловский важен и для нас как тем, что вполне выразил в своих статьях целостное и отнюдь не примитивное мирозерцание, так и диало-

гом с литературой своего века. Причастны к вершинному уровню русской литературы философская критика Николая Страхова, Константина Леонтьева, Владимира Соловьева, Дмитрия Мережковского, Льва Шестова...

Границ у критики нет. Критик вправе задавать себе любые задачи. И чисто эстетический подход для него — только один из возможных. Гавриил Попов со своей знаменитой статьей о «Новом назначении» Бека — блестящий пример того, как критик может обойтись вовсе без эстетического анализа, ресурсами «реальной критики».

На мой взгляд, самое привлекательное в искусстве практикующего критика — это как раз разнообразие регистров, в которых он может работать. Разумеется, необходима эстетическая чуткость, доходящая до способности смаковать даже духовно чуждые артефакты. Ценил же, к примеру, Георгий Адамович Алексея Толстого за уникальную способность к образотворчеству, даже отказывая писателю в серьезной идейной оснастке: «...он пишет «Петра». Превосходный роман. Морозный рассвет над Москвой незабываем. И вообще «сочная кисть», — как выражаются рецензенты, — выпуклые образы (...) Все силы ушли на затейливую, волшебную роспись оболочки, а внутри — нет почти ничего»<sup>5</sup>. Но не в последнюю очередь имеют значение и идейное кредо критика, его особый духовный опыт, приходящие в стычку с художественным произведением.

Критик, если ему это дано, вводит сочинителя с его шедевром в большой контекст истории, культуры, религиозной жизни, житейской сиюминутности... Он соотносит литературный факт с самыми разными смыслами и понятиями — литературными, философскими, богословскими, бытовыми, со всей полнотой своих мыслей и чувств, — а меж тем раскрывает емкость литературного произведения так, как ему заблагорассудится<sup>6</sup>. Эта соотнесенность литературного и внелитературного в критическом опусе — вот немалозначимый предмет читательского интереса. Концептуализм — не прихоть словесного жонглера. Читатель ждет от критика такого разговора о том, что дорого и важно. И на этом, кстати, паразитирует подчас современная газетная критика-однодневка, изрекающая свои безапелляционные приговоры. Но тут уж ничего не поделаешь...

Критик — философ, литератор, социолог, историк культуры, политик, артист, человек с улицы... В этом его риск и его возможный выигрыш.

---

<sup>5</sup> Адамович Г. Критическая проза. М., 1996. С. 234—235.

<sup>6</sup> За это, бывает, и платит. Не анекдот, а быль: совсем недавно моя попытка отрефлексировать между делом, в рецензии на прозу Горлановой, эстетически смешной жест провинциального начальства разрешила вопрос о наличии у меня местного, ярославского читателя. Один заслуженный сочинитель отследил кощунственно-бестактную мысль, не удержался и наябедничал на вольнодумца. Буду теперь с нетерпением ждать, как опытный доносчик отреагирует на это примечание.

Совмещение в одной личности какого-никакого интеллекта, эрудиции, аналитической зоркости, литературного таланта (стиля), идейности и прочих замечательных качеств — вот к чему стоит стремиться мало-мальски амбициозному критику. Нет писателей на одно лицо. Нет и таких критиков («экспертов»). Отставим в сторону возможные кастовые обиды. Просто спросим: возможно ли освобождение от личностного «осадка», забвение себя — в принципе?.. Едва ли. Возьмем в союзники здравый смысл. Во-первых, далеко не всякий согласится просто так, за здорово живешь потерять, отсечь при выполнении профессиональных обязанностей свое *Я*. Не всякому это и удастся, при всех стараниях. Возможно, это не удастся до конца никому. Хотя, притом, далеко не каждый критик безвылазно и безысходно пристрастен, капризно-прихотлив и необъективен. (С этим-то субъективизмом и можно, и нужно, наверное, бороться<sup>7</sup>.) А во-вторых, самоистребление в критике непродуктивно. Настоящая критика, мне кажется, не может не быть личностной в своих истоках. Она существовала и существует отнюдь не только для дегустации и экспертного обслуживания прозаиков и поэтов, а также читателей. Критик — не просто медиатор, лишенный собственного литературного существования. Он еще и отдельная, весьма, в общем-то, даже самодостаточная величина, причем центральная, стоящая на границе литературы и других сфер бытия. Он привносит в жизнь, а кажется и в саму ткань литературного произведения нечто особое, отдельное — и весьма нелишнее. Вот этот довесок никак не отделить от его личности, его судьбы и веры.

Критик постоянно в диалоге, и не может не вопрошать и не отвечать на вопросы. И от писателя критик ждет. И странно ему было бы не ждать. Ждет прироста бытия. Ждет прояснения смысла, определения истины. Той истины, которая не может же быть у каждого своя. Есть же в ней что-то объективное — и притом не обязательно «имперсональное».

Наверное, столкновения и конфронтации между писателем и критиком при таких условиях неизбежны. Должны быть разногласия, чтобы полнее выразилась истина. Удивительно, однако, что писатель, предпринявший в «Любью» смелую попытку преодолеть модный игровой панэстетизм во имя и ради подлинно значительного духовного содержания, требует от критики, чтобы та оставалась в тесных пределах эстетической экспертизы, литературной гастрономии.

---

<sup>7</sup> Мне самому не нравятся подобные цветы литературно-критического декаданса, расцветавшие одно время в нашей периодике (см.: *Ермалин Е.* Примадонны постмодерна // «Континент», 1995, № 2/84), а потом все-таки приувадishing от сезонных невзгод. Не уверен, что настал момент тихо торжествовать по этому поводу (в чем попытался уличить меня С. Костырко в «Литгазете», 1997, № 45). Никто не выиграл от того, что в газете «Сегодня» пропал отдел искусств. А вот в «Независимой газете» дела пошли иначе. Но это — особый сюжет.

Вероятно, я усугубляю позицию Малецкого. Как-то слабо верится, что он стремится именно к такому результату. Но есть дисциплина мысли. Есть логика творческой ориентации. Поэтому бумерангом возвращаю упреки Малецкого ему же самому. Его заказ к критику, присвоенное им право учить критика — чем они, собственно, отличаются от тех грехов, какие находит прозаик у своих недругов? Рыбак попался в собственные сети. Роль сыграла актера. Теперь он может убедиться: если критик мыслит концептуально и оформляет запрос к прозе или даже поэзии, то дело не только в его личной прихоти, но и в самой той специальной роли, входя в которую вы часто не можете обойтись без испытанного арсенала технических средств и духовных стимулов.

Согласен с оппонентом в другом: текущая критика наша нередко жалка, фатально неумна — детский лепет, птичий щебет, ужимки и прыжки. Но ведь и проза сегодня далеко не всегда глубокомысленна — часто о ней нечего сказать. Малецкий удивляется тому, как невысоко оценил я роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Ему видится здесь предвзятость. Сам-то он от романа «получил удовольствие, которого не получал со времен «Золотого тельца» или «Уловки-22», и нашел в «Чапаеве» «блеск литературного артистизма». Это, конечно, право писателя — отрешившись от духовной содержательности произведения, абсолютизировать в своем восприятии наслаждение от артистизма, с которым создана вещь. Но тем, наверное, критик и отличается от периферийно и маргинально ориентированного прозаика, что не может подобным образом ограничить свою задачу. Писателя может интересовать исключительно стиль. Критика интересуется истина.

Честно говоря, я с сильным воодушевлением прочитал первые страницы объемистого пелевинского произведения. Интересная завязка, блестящий слог, занятный (хотя отчасти как бы и списанный откуда-то) очерк пореволюционной эпохи... Но дальше... какое уж там удовольствие. Дальше было просто скучно.

В романе, признаю, больше среднестатистического «маленьких чудес», мелких изобретений. Образ часто живет полноценной жизнью. Анекдотическая сторона дела подчас увлекает. Но не в избытке там *большое* чудо. Мне недоставало в нем содержательности. Смысловой емкости. Популяризация дзен-буддизма на материале российской истории и современности, путем игровых допущений, — как это, в общем, неинтересно. Ну ничего особенно нового я оттуда не узнал, ничему не поразился как откровению. И заскучал. Вот такая у меня патология восприятия, аномалия, если хотите, вкуса.

Случай Пелевина предельно отчетливо показывает, что такое настоящая, стержневая литература, а что — почеркушки на полях, маргинальные забавы. На мой пристрастный взгляд, феномен Пелевина очень удачно и вполне адекватно отражает и одну занятную особенность современной жизни: тенденцию ее к опрощению, к культурной энтропии, не к консервативному даже, а к регрессивному повторению то ли азов, то ли задов. Так мало сегодня подлинно творческого, испытательского, так редок

персональный риск, влечение к тайне, стремление к открытиям. Писатели зачастую открывают давно известные америки: кто «красоту зла», кто релятивную дзенскую мудрость, кто специальную эротику. Не то чтобы подобно в литературе не было раньше. Но, кажется, едва ли мог бы претендовать на роль серьезного и крупного писателя автор со столь скромным (если судить по его творениям) или столь тщательно законспирированным духовным багажом.

Недавно Ирина Роднянская, похвалив Пелевина-художника, вычитала в его романе тоску человека демократической эпохи по замысловатому эстетическому рельефу, по аристократическому неравенству, в духе Константина Леонтьева<sup>8</sup>. Поистине: у нас теперь каждый сноб записывает себя в леонтьевцы; бедный аристократ и отшельник Леонтьев пошел в массовый тираж... Но я не уверен, что именно эти оттенки для Пелевина так важны. Наряд, мне кажется, — не по размеру. Это скорее уж тема Антона Уткина, да и то — на вырост, когда от милых тонких инфантильных стилизаций этот прозаик перейдет, может быть, к подлинному человековедению... Однако важным мне кажется и то, что философический настрой и острота ума, рефлексивный изыск очевиднее сказались в небольшой статье Роднянской о романе Пелевина, чем в довольно объемистом прозаическом произведении, претендовавшем, кажется, своими дзенскими заморочками и на философское, интеллектуальное значение. (Не горничным же и не швейцарам, не работягам с «Автодизеля» предназначен, судя по всему роман, а студентам, конторским клеркам, завсегда-таям Интернета, всяческой богеме, праздным отпрыскам богатых семейств, просвещенным московским домохозяйкам.) Критик и прозаик в этом отношении оказались не на равных. И это уже, позвольте заметить, проблема в первую очередь для прозаика, а не для критика.

\* \* \*

Полемическое послание свое Юрий Малецкий писал в немецком городе Аугсбурге, вдали от Третьего Рима, в глухой европейской провинции. И заканчивает он рассуждения кратким рассказом о том, как германский полицейский, штрафую вас за переход улицы на красный свет, подписывается — «с дружеским приветом». К чему сия притча и что она значит? Почему прозаик как бы подменяет себя стражем порядка?

Писатель — он всегда писатель. Не может договорить «прямым» публицистическим текстом. Подавай ему многозначный образ. Намек. На что? На всё. Как хотите, господа «деятели критического цеха», так и понимайте; на то вы и квалификацию с должностишкой имеете.

Возможно, это вящее самоумаление, уничижение паче гордости. А можно, к примеру, угадать в этой историйке указание на проживание автора в цивилизованной стране, где даже и полицейский являет собой

---

<sup>8</sup> Роднянская И. ...И к ней безумная любовь//«Новый мир», 1996, № 9.

образец благорасположения, не говоря уж о тамошних, надо думать, литературных критиках, крайне, вероятно, далеких от сочинительского хулиганства. А мы-де — варвары, азиаты, скифы... С раскосыми и жадными...

Обидно, коли так. Но чего тогда писатель ждет от родимого хаоса? На что надеется, печатая свои опусы у нас? На то, что тьма услышит его и откликнется, разродится светом?.. Едва ли.

Что-то тут не так. Наверное, мое прочтение неточное. Боюсь, Юрий Малецкий уже смущен. Или даже возмущен.

Но я — спешу утешить — и не претендую на истину в последней инстанции. Я, как обычно, строю предположения, вступаю в общение и участвую в том диалоге, в том процессе поисков взаимопонимания, которое все-таки, наверное, отнюдь не химера.

Вспоминаю, например, как в предновогодье у нас в Ярославле два милиционера на моих глазах деликатно ссаживали из троллейбуса сильно подвыпившего пассажира с подозрительным пакетом. Как он обреченно отдался им в руки. А они, хотя мешали «вы» с «ты», но величали клиента «уважаемым» и обещали в пункте охраны правопорядка все прояснить и уладить... Я же остался со смешанными чувствами. Всё равно как Малецкий — после того как он прочитал про себя в журнале.

Но неужели же есть что-то общее у милиции с литературой, с критикой или прозой? Как знать...

## **ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ**

*Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль*

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК)** — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

## 1. Художественная проза

Проза конца 1997 года разнообразна и многожанрова. В ней трудно выделить какой-то генеральный вектор. Можно начать с произведений, имеющих тематической основой **события ближнего или далекого прошлого**. Немало, в частности, в периодике ценных *мемуаров и хроникально-очерковых произведений*. Как обычно, в лидерах такой прозы идет «Звезда», на наших глазах ставшая не в последнюю очередь журналом нашей истории, в том числе культурной и политической.

«**Записки заложницы**» **Анны Сазоновой** («Звезда», №11) — воспоминания жены Сергея Сазонова, министра иностранных дел у Деникина, Колчака и Врангеля, о большевистских тюрьмах Симбирска и Москвы, где ее держали в качестве заложницы в 1919—1920 гг. Богатое подробностями повествование делится на главки по числу мест заключения (коих оказалось девять) и кончается освобождением рассказчицы. Автора поддерживала в заточении вера в Бога и Его промысел. Мемуары являются фрагментом большой рукописи «Мои переживания в 1916—1924 годах».

«**Письма в Париж**» **Е. А. Свиной** («Звезда», №11) — публикация писем вдовы царского боевого генерала из советского Петрограда—Ленинграда к родственникам в Париж (1922—1938). Воссоздается строй жизни и чувств пожилой дамы, остро чувствующей свою чуждость всему новому порядку, воспринимающей новизну как уродство, печальнейшей о гибели России, ищущей помощи у Бога.

Подробнее остановимся на **повести Екатерины Мещерской «Конец «Шехерезады»** («Москва», № 11). Мы уже писали об интереснейших воспоминаниях княгини Мещерской «Жизнь некрасивой женщины. История одного замужества» (см. «Континент» №90). Повесть о «Шехерезаде» (потайной комнате во дворце Мещерских) написана о том време-

ни, когда голод страшной тенью простерся над Россией, когда страну, поверженную в хаос, раздирали на части белые, красные, банды грабителей и убийц, когда сжигались целые деревни, а беженцы устремлялись длинными и безрадостными веренищами в полную неизвестность, куда глаза глядят, прося подаяния и крова. Княгиня Мещерская и княжна Екатерина — «чуждые элементы, классовые враги, лишенцы», не имеющие никаких прав даже на пайку хлеба из изрубленной соломы, — возвращаются из Москвы в свое бывшее имение Петровское, которое занято земской больницей. Бывшие хозяйки Петровского поселяются во флигеле своего родного дома, где все мелочи с болью напоминают им о том времени, «когда в каждом из нас еще не поселилось чувство затравленного зверя, когда еще никто не думал, что таких, как мы, будут физически уничтожать». Им на свой страх и риск помогают крестьяне, врачи земской больницы, железнодорожники. Кое-как налаживается скуднейший быт, дух гордых, мужественных женщин не сломлен, они поддерживают друг друга, как могут, считая невозможным в любых условиях проявление собственной слабости или эгоизма, они счастливы тем, что живут на своей родине, на своей земле и могут быть ей полезны. Но волеисполком «принимает меры» для прекращения «бесконечного паломничества крестьян к своим бывшим помещикам» и вселяет во флигель политкомиссара Агеева и четверых солдат, которые сперва учиняют варварский разгром, а затем начинают диктовать условия, на которых имеют право на жизнь несчастные женщины: им запрещено писать, читать, выходить за ворота имения, запирают на ночь двери комнат. Начинается эпоха противостояния людей «новой формации» и «классовых врагов» не на жизнь, а на смерть, как говорит сама автор: «Совместная жизнь с комиссаром Агеевым была сплошным анекдотом, под которым скрывалась ежеминутная опасность, но мы не сознавали всего трагизма нашего положения и не понимали того, что ходим по краю пропасти». В этой борьбе «гегемонов» с беспомощными женщинами отношения их то обостряются, то становятся если не мирными, то дружелюбными. Люди присматриваются друг к другу, помня о том, что их разделяет, однако с удивлением обнаруживают друг в друге и человеческую общность. Но противостояние все равно фатально — никогда одни не поймут других, не простят. И хотя формально женщины одерживают победу, добившись того, что солдат отзывают из Петровского и снимают с лишенков наблюдение, наслаждаться свободой они смогли недолго, так как вскоре Ленин издал указ о том, что ни один помещик не имеет права проживать на территории своих бывших земель. Тем не менее, княжна Екатерина, вспоминая об этих труднейших днях, отдает должное Агееву, олицетворению того, что зачеркнуло всю ее жизнь: он имел возможность сделать с ней и ее матерью всё и не сделал. Ведь сколько таких жизней гасло по произволу местных властей, а имена убитых уносились в общем потоке политических казней! Воспоминания Екатерины Мещерской написаны прекрасным языком, это пространство языка проникает всюду и позво-

ляет видеть детали и людей, как на экране. И так же, как и после прочтения «Жизни некрасивой женщины», остается сожаление, что продолжение — не следует.

**Повествование Александра Нежного «Князь Ухтомский, епископ Андрей»** («Звезда», №10) — это апологетическое жизнеописание известного церковного деятеля, «человека высочайшего духовного напряжения». Излагаются его взгляды и описывается подвижническая жизнь в первые советские десятилетия; опровергаются домыслы и клевета, которыми окружено имя архиепископа Андрея. Дается критическая оценка деятельности митрополита Сергия Старгородского. Автор использовал материалы из архива КГБ.

**«Город Архангельск в начале 30-х годов XX ст.» В. И. Смирнова** («Звезда», №11) — **записки** костромского краеведа, сосланного в 1931 г. в Архангельск — «стольный град советской ссылки» — и прожившего здесь десять лет, до смерти. Они представляют собой подробное описание повседневной провинциальной жизни на советском Севере: пейзаж города, памятники, пригороды, пища, торговля и очереди. Текст был стилизован автором под свидетельство иностранца, переведенное якобы с датского языка. К сожалению, публикатор выпустил главку с красноречивым названием «Жилища и клопы».

**Хроникально-документальное исследование Серго Ломинадзе «Девятнадцатое января»** («Знамя», №11) раскрывает перипетии жизни отца автора, Виссариона (Бесо) Ломинадзе, который 19 января 1935 г., будучи первым секретарем Магнитогорского горкома, покончил с собой. На основе архивных данных и научно-исследовательской литературы автор пытается выстроить связную биографию своего героя, раскрыть особенности его взаимоотношений со Сталиным и с Орджоникидзе.

**«Средь неведомых равнин...» поэта Леонида Ситко** («Знамя», №11) — **тюремно-лагерные воспоминания**. Автор был арестован в 1948 г., попал в Бутырку, а после отбывал срок в Степлаге и Инталии (Коми). Продолжение этих мемуаров — публикация **«Дубровлаг при Хрущеве»** («Новый мир», №10). Ситко был снова арестован в 1959 г. Новый лагерный срок дал материал для воспоминаний о тюрьме и лагере этого времени.

**«Подневольное путешествие длиной в шесть лет»** («Звезда», №11) **Александра Сновского** — **лагерные воспоминания**. Автор был арестован в 1949 г. и провел в лагерях в районе Игарки шесть лет, в основном работая фельдшером. Хроника встреч, событий, удач и потерь. Политические и уголовники.

**«После реабилитации» Михаила Нарницы** («Звезда», №11) — тоже лагерно-тюремные **мемуары**. Автор сидел в сталинских лагерях, был реабилитирован, написал повесть «Неспетая песня», а в 60—70-е годы снова подвергся политическим и психиатрическим репрессиям, о чем и повествует.

**«Двенадцать сокамерников» Анатолия Бергера** («Знамя», №11) — **мемуарные записки** ленинградца, арестованного в 1969 г. и теперь портре-

тирующего своих сокамерников, у каждого из которых — своя, подчас причудливая жизненная стезя.

**Рассказ Нины Катерли «В-4-52-21»** («Звезда», №10) — это краткие, полные живого чувства, любви и грусти воспоминания автора о своем детстве, о матери — красавице и писательнице. Автор пытается соотнести опыт замечательных людей с ужасом и бредом советской эпохи, которая им досталась для жизни.

**«Записки бывшего цензора» Нинель Максименко** («Звезда», №10) — небольшие мемуары о том, как автор, закончив в 1954 г. факультет журналистики МГУ, была распределена в Мосгорлит и служила в этом цензурном ведомстве. Она имела дело с изобразительным искусством — с картинами, а также с книжными магазинами и библиотеками. Описаны сослуживцы, гротескная атмосфера учреждения, случаи и события из жизни цензоров.

**«Памяти одного стукача» И.П. Смирнова** («Звезда», №10) — краткие воспоминания о том, как автор, живущий ныне в Германии, в бытность свою в Ленинграде, в 50-х, дружил с однокурсником Майклом, соперничал с ним из-за женщины. Потом Майкл от безнадёжности, бытовых тягот и профессиональных проблем добровольно стал агентом КГБ, писал «объективки». «Он радел изо всех сил, хотя и не был патриотом, предпочитая жить за границей». Гибель советского строя свела его в могилу.

**«Как закрывался занавес» Адольфа Шапиро** («Дружба народов», №10—11), одного из крупнейших театральных режиссеров позднесоветского времени, — пространные воспоминания о детстве, о людях театра (Кнебель, Акимов, Смоктуновский и др.), о рижской театральной жизни, о советской эпохе и перестроечном времени, когда Латвия обрела независимость. Особый сюжет — латышский хуторской патриотизм, нездоровые политические страсти вокруг рижского Молодежного театра, руководимого Шапиро, которые в итоге привели к его закрытию.

**Главы из книги Григория Бакланова «Подводя итоги»** публикует «Знамя» (№10). В них писатель вспоминает о временах, когда он стал главным редактором этого журнала, о взаимоотношениях с партийными инстанциями, КГБ, с сотрудниками редакции. Происходящее описывается как процесс упорной борьбы за свободу слова. Подробно рассказано о взаимоотношениях автора с В. Лакшиным, о переезде редакции в новое помещение, об успехе журнала у читателей, о том, как готовились публикации «Нового назначения» Бека, «По праву памяти» Твардовского, прозы Булгакова, Владимова и Жигулина, как и почему не удалось напечатать Солженицына (ответственность за это возлагается и на С. Зальгина), как В. Распутин дирижировал хлопаньем и топаньем во время выступления Бакланова на XIX партконференции. Автор удовлетворен: он оставил журнал с неплохим именем, финансово окрепшим.

**Александр Солженицын в своих «Крохотках»** («Новый мир», №10) размышляет о «невылазности человеческой истории», об утреннем обновлении души, о духовном смысле сердечной болезни.

Непростые отношения с документальностью возникают в последних вещах **Анатолия Наймана**, одарившего нас своими обширными мемуарами в разных жанрах. С одной стороны, автор признается, что ему все меньше хочется уходить от документа, но с другой — он не отрекается от права на вымысел... Эта свобода художественного претворения прошлого в прозе Наймана придает ей особое значение, интригует и забавляет. В романе **«Б. Б. и др.»** («Новый мир», № 10) автор от имени поэта Александра Германцева («это имя могло попасться вам на глаза, если вы читали книгу Анатолия Наймана «Поэзия и неправда») повествует о богемно-литературной среде Ленинграда 60—70-х годов, концентрируя внимание на колоритной фигуре литературоведа-фарцовщика, обозначенного инициалами Б. Б. Чтобы рассказать о Б. Б., «должен уйти том, и обязательно неоконченный, как у Музиля»: это «человек из свойств», причем крайне противоречивых. Он добр, заботлив, услужлив, завистлив, безжалостен... Хваток и непрактичен. Подробно воссоздается семейный фон, описаны отношения Б. Б. с кругом его товарищей (причем упоминаются реальные лица: Ахматова, Бродский, Рейн и др.), история его ареста и лагерной жизни. Тщательно реконструированы социокультурные реалии советской эпохи. Герой примерно разоблачен как «имитатор» — но и награжден иногда участием. Роман Наймана — очередной опыт его интеллектуально-бытовой прозы, связанной с реалиями собственной жизни автора. Несомненный мемуарный план сочетается с элементами художественной условности. Причем автор находит здесь оригинальный способ такого сочетания, при котором крайне трудно уловить грань реальности и вымысла. (См. реплику на этот роман М.Ардова в разделе «Критика».)

Продолжаются и публикации глав из книги воспоминаний и размышлений «в жанре баек» Анатолия Наймана **«Славный конец бесславных поколений»** («Октябрь», № 11). Это богатые яркими характеристическими подробностями и весьма интересными соображениями свидетельства очевидца, ленинградского шестидесятника, — о жизни и литературе. В новых фрагментах автор касается разных сюжетов. Один из них — «Наш Запад, наш Восток»: соответственно Эстония и Средняя Азия с Кавказом в их историко-культурном своеобразии, на карте души, в закоулках памяти. Другой сюжет связан с воспоминаниями о слежке за вольнодумцами (в частности — за автором), которую вели в советское время гэбисты, о перипетиях почти открытого преследования. Здесь, кстати, опять мелькает таинственный Б.Б. Затем Найман рассуждает о театре, о парадоксальной сущности этого искусства. В этой главе возникают фигуры Ефремова, Козакова, Баталова... Заслуживает внимания утверждение автора: «Театр, который пришелся на мое время, был посредственный и скучный (...) Исключение составил один спектакль — за всю жизнь! — «Идиот» в театре Товстоногова, где Мышкина играл Смоктуновский». Еще одна глава посвящена отношениям автора с Богом и церковью. Это редкий в нашей литературе по остроте и напряженности переживаний очерк дрящегося воцерковления. Здесь есть и личные признания (автор — крещеный еврей,

и пыгается пережить и осмыслить эту ситуацию), и небанальные мысли о пути человека к вере, к Богу, о соотношении искусства и религии, и свидетельства очевидца-наблюдателя о жизни современных христиан. На страницах очерка появляются известные христианские подвижники — архимандрит Гаврион, настоятель монастыря в Эссексе и автор книги о старце Силуане Софроний. В послесловии к циклу Найман замечает, что в целом книгу правильнее было бы назвать «Бесславное начало славных поколений».

Как водится, и совершенный вымысел в литературе подчас оформляется в виде воспоминаний. Такова, например, «Повесть о бесовском самокипе, персиянских слонах и лазоревом цветочке, рассказанная Асафием Миловзоровым и записанная его внуком» Фреда Солянова («Новый мир», №12). Вымышленный рассказчик вспоминает, как в молодости, в первой половине XVIII века, он служил при императорском дворе в Петербурге, преимущественно при слонах, и каких треволнений полна была его жизнь. Волею обстоятельств у него случился роман с принцессой Анной Леопольдовной; родился мальчик — будущий государь Иоанн Антонович, вскоре оказавшийся в темнице. Рассказчик же очутился в Тайной канцелярии, откуда чудом спасся. На всю жизнь сохранил он память об Анне — «лазоревом цветочке» и чувство вины за то, что получил свободу и жил довольно благополучно ценой забвения о сыне, об его печальной участи. Автор верен своей теме: русский человек у него необычайно талантлив, а русская власть бессмысленна и беспощадна. По форме повесть — затейливый, немного архаизированный сказ.

Схожая установка — у **Ирины Поволоцкой**: «Разнообразие. Собранные пестрых глав» («Новый мир», №11). Это история девочки-сироты, всю жизнь проработавшей кухаркой-поварихой и достигшей в этом деле необычайной искусности, об ее любви и печалях. Поволоцкая создает живописный, красиво вытканый сказ, находит для героини особенную, доверительную интонацию. Героиня — человек душевный, добрый, по-настоящему талантливый не только в ремесле, но и в отношениях с ближними. Она не забывает о Боге и весьма трезво смотрит на социальные перевороты эпохи. Фоном этой жизни становится драматичная российская история XX века. Описаны белорусская провинция до и после революции, а затем и московская жизнь; на страницах повести появляются целые россыпи анекдотических и трагикомических подробностей бытия, иногда в текст вставляются цельные, законченные новеллы (скажем, о полной перипетий любви поляка Стефана и еврейки Хаечки); возникают священники, лилипуты-актеры, чекисты, городские обыватели, любвеобильная, страстная писательница Зинаида Николаевна и важный столичный «начальник по культуре» Микола Ефимович... Изредка сказ дополняют собственные соображения автора, из коих вытекает, что повествование имеет реальную жизненную основу.

А **Лев Усыскин** осознанно конструирует прошлое, ориентируясь, очевидно, не на личный опыт, а на существующие в культуре модели

истолкования исторических реалий. В рассказе «Колобок» («Нева», №11) он воссоздает эпизод Гражданской войны. В плен к батьке Отрубю попали два человека, из тех, кому судьбой назначено стать жертвой междоусобной розни. Перед смертью они разговорились, даже понравились друг другу. А между тем у бандитского отребья свои заботы... В другом рассказе, «История карамышинского привидения», покончивший с собой в конце XIX века инженер является своим родственникам. После революции в дом с привидением вселяются два чекиста и ведут разговоры с лакеем Степаньчем. Однако дальше интрига почему-то не идет, хотя, кажется, могла бы.

**Василь Быков** в рассказе «Народные мстители» («Дружба народов», №11) обращается к драматическим перипетиям народной судьбы. Когда-то, в 30-х, Усов крепко насолил односельчанам, активно участвуя в чекистских репрессиях, — и вот, спустя много лет вернулся в село, на место преступления. Несколько селян решаются мстить злодею. Но решимости надолго не хватило, и задуманная месть не состоялась, так что и сама затея стала вылядеть комично. В другом рассказе, «Желтый песочек» (время то же), приговоренных к смерти чекисты везут к месту казни. У них — крестьянина, поэта, вора, партийца, чекиста — разные судьбы (и о них рассказано довольно подробно), но один конец. Иные впали в оцепенение, другие никак не могут поверить, что за верную службу родная советская власть собирается вознаградить их пулей в затылок. Машина застревает в колее, и — вот парадокс — смертники принимаются вытаскивать ее, чтобы продолжить свой путь. Кончается всё развернутым описанием казни. Быков рассказывает о происходящем с эпическим спокойствием, не обнаруживает своих эмоций, однако общая логика повествования должна, кажется, не просто раскрыть бесчеловечность советского режима, но и зафиксировать характерные для белоруса покорность, терпеливость и незлобивость, дающие большой простор для самовыявления зла.

**Георгий Балл** в «плаче» «Васта Трубкина и Марк Кляус» («Знамя», №11) рассказывает о горемычной жизни староверов в Литве, особенно во время мировой войны. По форме это речь селян, разложенная на реплики, причем автор с таким успехом стремится к воссозданию полубесвязного потока речи, что история становится неудобочитаемой.

**Анатолий Азольский** — рассказчик «житейских историй». В одной такой, «Гейнц Гудериан, Николай Гребенкин и другие» («Дружба народов», №11), вниманию читателей предлагается некий казус. В детстве Коля Гребенкин общался в своем доме с немецким генералом Гудерианом. А после «сам вместился в эпоху». Случилась с ним странная история. Некая дама-помпрокурорша («лепёха») спасла его от незаслуженного обвинения, он же вдруг испытал к ней жгучую и радостную ненависть и решил свести с ней счеты. Как и у быковских селян, у Коли ничего не вышло, и потом никак он не мог понять, «что нашло или накатило на него?». Небольшой рассказ-«быль».

Гораздо более значительна повесть Анатолия Азольского «Обл-драмтеатр» («Новый мир», № 11). Действие ее отнесено к 1949 году, к сталинскому юбилею. Главный герой — преподаватель-правовед Гастев — это характерный для писателя персонаж: опытный, трезвый, иногда циничный, лишенный малейших иллюзий относительно общества, где ему выпало жить, — подпольный, затаившийся человек, сохранивший, однако, кое-какие представления о чести и достоинстве. На свой страх и риск он занялся личным расследованием преступлений, всколыхнувших город, — и докопался до смертельно опасной, идеологически вредной истины. Азольский создал очередной социальный детектив, читаемый, как и положено детективу, запоем. Но писатель, по своему обыкновению, использует острую жанровую форму для того, чтобы пролить очень резкий свет на своеобразие советской социальности. В этом свете становится видно, как бродит в этой стране донная, страшная преступная энергия, как идеология искривляет и патологически деформирует жизнь человека и общества. В полной мере наделенный таким знанием герой впридачу обременен экзистенциальным комплексом: он постоянно пытается нащупать ускользающий смысл существования, утыкаясь в тупики абсурда. Увенчанный недавно букеровскими лаврами, Азольский предстает в новой повести в полном блеске своего яркого, самобытного и глубокого дарования. Однако печать жанровой условности, как это нередко у него бывает, подчас кажется и чрезмерной. Впрочем, в целом читателю предложен интересный опыт повести *для всех*, сочетающей аналитическую зоркость с жанровой увлекательностью. Азольский, как никто у нас сегодня, сопоставим с виртуозами подобной прозы на Западе, скажем с Грэмом Грином — мастером детектива и экзистенц-реалистом; только католический вектор долга, определяющий у Грина аскезу героя, у Азольского заменен отчаянным стремлением человека как-нибудь сохранить ощущение собственной личности, подлинный остаток в мнимом мире советской фальши. Детектив оказывается продиктован этим экзистенциальным порывом: герой затевает расследование, надеясь докопаться до беспартийной, настоящей истины факта.

Действие повести Михаила Кураева «Золотуха по прозвищу Одышка» («Новый мир», №11) также происходит в 1949 году. Мальчик-ленинградец, которого зовут Золотуха или Одышка, поет в хоре на филармоническом концерте в честь 7 ноября «Песнь о лесах» Шостаковича — и удостоился персональных аплодисментов за «непритворство». Далее рассказано, как Одышка совершает подвиг самопожертвования по образцу пионеров-героев: берет на себя чужую вину в школе. Однако его признание в несовершенном преступлении, отраженное в личном деле, с той минуты становится криминальной деталью биографии. Кураев, как обычно, создает богатый контекст, обогащая коллизию собственными рассуждениями и ассоциациями, разнообразными подробностями ленинградской жизни 40-х годов. История приобретает некую особую значимость, принимает характер чуть ли не притчи о бесплодном героизме, о

роковым несовпадении в советскую эпоху стимула к действию с последствиями оного. Рифмой к жизнеописанию Одышки становится история ленинградского партийного лидера Попкова, который также пытался взять всю вину на себя во время судебного процесса над ленинградскими вождями в том же 1949 году.

**Повесть Максима Гуреева «Калугадва»** («Октябрь», №10) — это тоже история о мальчишке, но на сказание Кураева ничуть не похожая. У гуреевского мальчишка умерла мать. Описаны первые дни после ее смерти: блуждания героя, нашествие родственников и т.п.. Сюжета нет, есть брожение жизни, расходящейся в разные стороны: смешиваются явь и фантазия, сегодняшнее с прошлым; возникают новые и новые персонажи, в чей внутренний мир вводит читателя автор; производятся некие внешние наблюдения неизвестно чьим, пристальным, но то и дело словно бы цепенеющим взглядом... Различными средствами автор остраняет (оригинально воспроизводит) образ позднесоветской нищезавоеванной провинции (какие-то окрестности Калуги): томительный, тягостный, убогий быт; люди, живущие бессмысленно, по инерции... Вещь, однако, не бытовая. Она претендует, кажется, на бытийное обобщение. В этой действительно незаурядной повести есть кое-какие реалии религиозного быта, но нет Бога. Запечатлен пустой мир, лишенный основы, мир тлеющей материи, исходящей в грязь, в вонь, в тину. Воссоздан хаос большой души, ее оцепенение, мука, тоска. Иногда манера Гуреева заставляет вспомнить болезненную прозу Добычина. Техника Гуреева — довольно изощренная, но его средства как будто не сведены к единству, не дают впечатления художественной цельности. Возможно, однако, именно такую задачу и имел в виду автор, фиксирующий дисгармонию, ставшую нормой.

**«Этопея» Александра Морозова «Чужие письма»** («Знамя», №11) создана в 1968 году (слово «этопея», поясняется в примечании, означает правдоподобные речи вымышленного лица). Тогда автор отнес свой опус в «Новый мир», где ему, как изложено это в послесловии, сказали: «Вы схватили самый нерв идиотизма нашей жизни». Но напечатана вещь не была ни тогда, ни после. По форме это письма любящего мужа, москвича Адама Абрамыча, своей жене Любе, пребывающей где-то в отдаленки. Их можно отнести к концу 50-х годов. Адам Абрамыч — бытовой заурядный герой, весь погруженный в мелочи обыденной, ежедневной жизни: «сква-льба, квартирный склочник, вздорный моралист, безвольный путаник». Эта рутинная быта подробнее и воссоздана в письмах. Автор виртуозно стилизует небрежно-обиходную эпистолярную манеру.

А джазовый критик **Алексей Баташев** в фрагменте из книги «Баташ» «У каждого мальчишка был отец» («Дружба народов», №12) излагает историю своего рода, оставившего следы в российской истории. Это в то же время история обретения родовой памяти, семейных корней.

**Два рассказа Людмилы Агеевой** печатает «Звезда» (№10). Автор — физик, лауреат конкурса на лучший женский рассказ Колумбийского

университета и журнала «Октябрь» (1993). В рассказе «Феномен хронопаузы» речь идет об одном богомном питерском семействе уже далеких, «застойных» лет. Описана бестолковая, бедственная, роскошная и свободная жизнь людей, которые изъяли себя из повседневности и обитают в своей замурзанной, закопченной квартирке, как в ковчеге — среди своих, в атмосфере вечного салонно-клубного застолья. В центре повествования — Наташа: красавица, притягивающая к себе людей, обладательница чудесных даров, которые она, однако, не пыгается употребить пользы ради. Потом семья распадается, внешняя жизнь вторгается в этот мирок. Рассказ написан с сочувствием к героям и без попытки расставить все акценты. Автора занимает редкостный феномен, и она внимательно разглядывает его, поворачивая так и эдак. Повествование ведется прихотливо, но тщательно, с изыском, с щегольством, с обаятельными причудами слога и смысла. В рассказе из современной питерской жизни «Сны Алины» в актуальных декорациях разворачивается вневременная драма. Героиня — жена «нового русского» — страдает от ревности, замечая влечение мужа к его умной, целеустремленной и юной секретарше, и готова уже нанять киллера, чтобы разрубить этот узел. Автор снова очень тщательно и довольно тонко, с красотами слога, выписывает логику страсти и больной души, не пыгаясь как-то отнестись к происходящему.

Юлиу Эдлс в рассказе «Синдром Стендаля» («Новый мир», №12) повествует о первой своей поездке в Рим, случившейся в перестроечные годы. Его провожатым там оказался бывший москвич, театральный критик, эмигрант, осевший в вечном городе и до самозабвения полюбивший его. Впечатляет рассказчика встреча с редкостно счастливым, не скрывающим своего упоения человеком, чьим домом стал Рим. С утра до ночи он водит московского гостя по городу, и того настигает в конце концов от перенасыщения эстетическими впечатлениями «синдром Стендаля», род гипертонического криза, вызываемый знакомством с Римом.

Исторический психологический роман Карла Ристикиви «Школа колдовства» («Галпинн», №№ 7—9) построен как исповедь доктора медицины Падуанского университета Иоганнеса Фабера, обвиненного церковью в сговоре с дьяволом и колдовстве. Доктор в течение трех дней рассказывает о своем жизненном пути монаху-доминиканцу, прежде чем будет сожжен на костре. Жизнь Иоганнеса Фабера, человека средневековья, фантастична и увлекательна. Младенцем он подкинут в семью бедного раввина и воспитывается по иудейским канонам и под именем Иегуды бен Эзры. Затем мальчик уходит из еврейского гетто к христианам, крестится, выучивается на доктора, и начинаются его скитания по свету, полные опасностей и причудливых необъяснимых эпизодов, он старается проникнуть в тайны металлов, занимается алхимией, изучает магические действия знаков, трав, читает судьбы по звездам, чуть не погибает в замке, где властвует культ вампиров, лечит высокопоставленных вельмож от импотенции, приближен к герцогу Баварскому и приговорен за то, что смел сочувствовать и помогать «незаконной» жене принца Верхней Бава-

рии Альбрехта, родившей принцу наследника и сброшенной с моста во время «испытания водой». Доктор кается в грехах, но берет назад свой самооговор (признание в умении колдовать), вырванный пытками. В день сожжения происходит солнечное затмение, и все уверявшие, что колдун Иоганнес Фабер, несмотря ни на что, понес наказание и тело его сгорело в очистительном огне, не могли с уверенностью повторить это самим себе, ибо даже обгорелых костей не нашли в пепле костра. Так постепенно человек этот стал легендой, образ его менялся, но если попытаться прорваться сквозь наносную муть домыслов, то можно сказать, что Иоганнес Фабер (он же Иегуда бен Эзра, Ганс Шмидт, Ян Ковар) был не более чем «ищущий и заблуждающийся человек, и, несмотря на свое звание доктора, всего лишь усердный и смиренный — пусть порой и неосторожный — ученик», и ученик светлых сил, желавший творить добро и почитавший Спасителя, и школа, пройденная им, отнюдь не была школой колдовства или потусторонней силы, а всего лишь школой опыта, «сына ошибок трудных». Роман хорош своим уверенным сюжетом, подогревающим любопытство читателя острыми переплетениями и неожиданными развязками, описаниями средневекового быта.

Разными средствами воссоздают литераторы и современность.

**Роман Солнцев в повести «ЦБ»** («Нева», №10—11) рассказал историю о коррупции и интригах, связанных с перераспределением-захватом бывшей госсобственности. Попутно убедительно воссоздается тон и стиль современной жизни. Провинциальный журналист сделался госчиновником и по глупости, а также и по жадноватости, продается, после мучается угрызениями совести, берется за расследование злоупотреблений при приватизации, потом, вроде бы, снова продается и т.д. В том и беда персонажа, что он, будучи человеком энергичным и бойким, не имеет твердых моральных принципов, а к тому же не слишком далек — и потому его мотает по жизни без руля и без ветрил. Но испытания закаляют его духовно. Солнцев верен своей открыто публицистической, полуочерковой, простой и динамичной манере.

**Сергей Залыгин в рассказе «Государственная тайна»** («Новый мир», №11) дает довольно характерную ситуацию: в вымирающей деревне Савельевке остались одни старики. Разговорчивый старикан по прозвищу Охламон имеет единственную слушательницу одноногую Елизавету. Ей он раскрывает глаза на происки нынешних властей, намекает на то, что знает некую «государственную тайну», доступ к которой он получил во время службы в армии под Магаданом; эту тайну Охламон обещает открыть Елизавете перед смертью. Связана эта тайна, вероятно, с тем, что был Охламон на службе палачом, расстрельщиком. Автор подробно передает мнения Охламона, полагающего, что всё ныне погрязло в коррупции. А когда-то, в ранней молодости, Охламон и Елизавета дружили; именно тогда волей злого случая и потеряла видная, красивая девушка ногу, оставшись навсегда одинокой. Теперь Охламону нужна аудитория, а

Елизавета пытается понять: была ли в ее жизни любовь: «если не любила, тогда она себя не прощала (...) если любила — это оправдание, легче становилось на душе. Значит, была все-таки причина для ее увечья...». Оригинальный поворот истории о Филемоне и Бавкиде. В этом тонком, умном рассказе Залыпин не столько сочувствует героям, сколько стремится к высшему объективизму, фиксируя скудную и даже страшную логику их существования и передавая глухую, непроявленную работу души, ищущей оправдания человеческой жизни.

**Валерий Исхаков** в повести «Пудель Артамон» («Новый мир», №12) рассказал современно упакованную мелодраматическую историю о братьях, пребывающих в неведении друг о друге, хотя судьба сводит их лицом к лицу. Преподаватель античной литературы Артамонов переживает семейный разлад: его третья жена занялась коммерцией и отделилась от мужа, он чувствует себя приживалом при ее больших деньгах и подозревает, что она изменяет ему с неким аванажным «хозяином жизни». Сей «хозяин», по имени Петр Великий, и есть его неведомый брат. Однако насчет его возможностей Артамонов сильно заблуждается. На самом деле тот является любовником только первых двух жен Артамонова, у третьей же он лишь в мелком услужении, а еще играет при ее деле роль босса, фиктивного руководителя всей фирмы. Роль оказалась опасной, Великий был застрелен наемными убийцами. Артамонов же нашел себе новую спутницу жизни. История увидена с нескольких точек зрения, глазами разных персонажей, и полна разнообразных, не всегда обязательных подробностей, иногда забавных.

В повести **Алексея Иванова** «Зеленый лимон» («Знамя», №10) предлагается поверить в то, что рассказчику, живущему бедно и уныло, волей случая достается миллион долларов. Деньги меняют человека. Он проводит эксперименты над нищими, уличным воришкой, путаной, собутыльниками. Соблазняет монашку, которая окунается в разгул и увлекает за собой героя, а потом покидает его, прихватив с собой немалую долю капитала. После этого рассказчику приходит в голову помочь денежно бывшей жене, которая когда-то так и не дождалась момента для того, чтобы завести ребенка: «сколько бы ни копили денег, их, как всегда, оказывалось слишком мало». Но та отвергает помощь, чем окончательно сокрушает героя, бросающего деньги в огонь и уже готового к самоубийству. Малосимпатичный персонаж оказывается, с одной стороны, жертвой обстоятельства, а с другой — рефлексизирующим провокатором и гедонистом, расплачивающимся за свое моральное ничтожество. Такой персонаж претендует, вероятно, на роль героя нашего времени. Автор пытается говорить о характерных приметах современной эпохи, презрения к которой он, впрочем, не скрывает. В целом наблюдения Иванова над жизнью и человеком нельзя считать слишком оригинальными или глубокими, повествование затянуто; однако в повести есть и свежие детали, схваченные острым взглядом.

А в рассказе **Олега Тарутина** «Приблудная Ньюкжа» («Нева», №12) деньги достаются герою, литератору Спасову, другим способом. Он подо-

брал щенка, который — представьте — совсем не выделял твердых остатков, но зато помногу писал. Однажды герой обнаружил, что в подносе, существующем для собачьей надобности, бумага, орошенная тугой струей, превращается в деньги. Сначала в ход пошли газеты, а после и рукописи Спасова. Своеобразный способ получения дохода с писательства и фиксирует Тарутин как забавный парадокс.

**Елена Новикова** в рассказе «Скучная жизнь» («Нева», №12) излагает несколько маленьких историй о странных поступках, так или иначе связанных с разрушением моральных норм и деградацией человеческих отношений. Благовоспитанный сотрудник института убивает на улице грабителя. Молоденькая словесница отдается директору своей школы прямо на парте. Некто Самсонов тихо ненавидит больную, надоевшую жену и смакует эту ненависть, влекущую за собой (неясно как) смерть супруги.

**Дмитрий Стахов** в подборке рассказов «Ночь в конце века» («Дружба народов», №12) представляет читателю очередную дозу своих плутовских, авантюрных повествований о современном криминальном быте, в некотором подчас мистическом остраннении заурядных реалий. Так, один из героев превращается у него, выпив некоего снадобья, в женщину и немалое время обслуживает клиентов («жоп») в борделе, а после возвращается к своему исходному состоянию.

**Александр Бойм** в повествовании очеркового характера «И, а, сын» («Нева», №10—11) рассказывает о челноке из Питера, торгующем с китайцами. Описывается изнурительная поездка в Китай.

**Михаил Дайнека** в «романе-анекдоте» «Пасынки Гиппократы» («Нева», №12) рассказывает о буднях бригады реаниматоров, о жизни отделения неотложной помощи. Повествование окрашено иронически.

**Олег Постнов** в «Ночных повестях Валерьяна Сомова» («Нева», №10) от имени заглавного персонажа делится различными петербургскими историями, иногда загадочными, иногда интригующими, иногда забавными.

**Роман Сенчин** в рассказе «Вдохновение» («Октябрь», №12) передает неврастаничную исповедь молодого сочинителя, жизнь которого полна неприкаянности и неудач.

**Вячеслав Пьецух** в рассказе «Успехи языкознания» («Знамя», №11) поведал о том, как после смерти старухи ее родственники собираются на семейный совет, чтобы изыскать средства на ее похороны. Разговоры персонажей начинают привольно растекаться в разные стороны, касаясь, как это обычно бывает у Пьецуха, истории и философии, экономики и мистики. Ситуация приобретает черты бредовости. Деньги, было, нашли — но пропили; а потом и бабушку потеряли где-то в моргах, а она под конец уже чуть ли и не воскресла.

**Анатолий Ким** в рассказе «В облаках» («Знамя», №10) повествует о том, как где-то в ином, небесном, что ли, бытии, встречаются два субъекта, один из которых рассказывает другому о минувшей, земной

(точнее — о полуподземной) жизни. Рассказчик с рождения оказался в подполье роддома, которое, по прихоти главврача, обжили дети, от которых отказались матери. Хищной и дикой ордой набрасываются они на верхние этажи. После неудачной попытки усыновиться герой оказался в подземельях Казанского вокзала в Москве, где когда-то и повстречал впервые своего нынешнего собеседника. Фантастический гротеск, навеянный неприятием реальности.

**Рассказы Андрея Вершина** — дебют молодого прозаика («Дружба народов», №10). В рассказе «Троица» попадая верует в апокатастасис (спасение всех, даже сатаны), убивает собаку и ластится к попу, а поп чем-то все время недоволен, в апокатастасис, судя по всему, не верит и собирается, кажется, покончить с собой, но его выручает какой-то парень, утешая дрынком по темени. В рассказе «Ворона» Анна поймала и отпустила ворону, а после, кажется, и сама куда-то улетела; брат же ее, грубиян и злока, пишет иконы. В умело написанных рассказах Вершина есть намеренная недоговоренность и модный квазимистический колорит.

**Валерий Хазин** в рассказе «Фрау Целер» («Октябрь», №12) построил (под сильным влиянием Набокова-Борхеса) логическую головоломку на тему безусловной роковой любви, перетекающей в литературную условность.

**Михаил Лайков** («Москва», №10) продолжает развивать тему потери связей между людьми, начатую им в хронике «Безотцовщина» (см. БСК в «Континенте» №92). Рассказ «Одиночество» короток и печален, суть его в том, что люди меняются незаметно, но кардинально, что ценности обесцениваются стремительно и подменяются ложными, сиюминутными идеалами. А рассказ «Игорь Ухтин» имеет более жизнеутверждающую интонацию, он назван по имени главного героя, асоциальной, в общепринятом понимании современности, личности. Игорь Ухтин живет без денег, без еды, без работы, роется в помойках и совершенно не понимает, почему стыдно подбирать выброшенный кем-то хлеб. И при всем при этом он — не «бич», потому что бич ради простых потребностей и удовольствий так же хлопочет, как хлопочет в своей жизни достойный человек, а Ухтин ничего специально не ищет — ему искренне все равно, чем и как он сыт, есть ли у него крыша над головой, он живет тем немногим, что посылает ему Господь, и всегда готов отдать это немногое «мальм сим»: «Отдал ему старую куртку, смотри — он опять в одном трико. Оказывается, отдал какому-то бомжу. Дашь ему с собой бутерброды, он ими собак кормит». Для автора Ухтин — истинный герой нашего времени, свободный ото всех условностей нашего светлого мира, тот праведник, без которого не стоит село. Рассказ лишен тяжеловесного навязчивого пафоса, которым нередко переполнены современные произведения на эту тему, и привлекает тем, что после прочтения остается реальное сожаление, что герой — вымышлен, хотя наверняка имеет свой прототип.

Название повести **Михаила Ворфоломеева** «Записки из провинции» («Москва», №11) обманчиво, ибо вопреки ожиданиям не находишь

в повести длительных описаний провинциального быта, многозначных сентенций типа «вот где наши корни, вот где настоящая Россия» и т.п. «Записки» — драматическое произведение, о любви прошлой — к замужней женщине, о любви нынешней — к дочери этой замужней женщины, о гибели обеих и о невозможности изменить ход судьбы. Ярко прорисована параллельная повествовательная линия, тоже о любви, неразделенной — пожилой простой женщины к пастуху. Пастуха убивают неведомо за то, что он отказывается отдать им барашка на шашлык. Узнав об этом, женщина идет на могилу любимого человека и возвращается с твердым намерением идти «доживать на его место». Эта мощная тихая сила, таящаяся в немногословии простой малообразованной женщины, контрастирует с нервной изматывающей тоской-страстью, которой наполнены обе любви главного героя: первая сходит с ума, вторая погибает от наркотиков.

Зато название повести Юрия Красавина «Провинциальные страсти» («Москва», №12) полностью соответствует содержанию повести. Автор от первого лица рассказывает о том, как он искренне хотел написать историю своего городка и как менялась перспектива написания этой книги в зависимости от смены власти. От отчаяния и безденежья автор даже пытался избираться депутатом, чтобы получить финансовую поддержку для работы над книгой о своем крае. Все кончается ничем — никому в этом городке не интересно знать его историю. Только нетривиальное восприятие жизни и здоровое чувство юмора позволяют автору без особых моральных потерь выйти из безумных по своему идиотизму перипетий хождения по инстанциям. От этой «бюрократической» повести Красавина трудно оторваться, сатирические страницы ее — не разочарование во времени, но сердитая насмешка надо всем, что мешает этому времени стать духовным и свободным.

Короткий рассказ Вячеслава Дегтева «Четыре жизни» («Москва», №11) о недавней братоубийственной югославской войне, на которой погибали и наши солдаты-наемники, воевавшие против мусульман. Черно-белый безоттеночный рассказ — неприкрытый повод для автора очередной раз высказаться по поводу нравов современности, какими он их видит: «...он поплатился за то, что ходил на встречи подтянутых ребят в форме, которые изучали русскую историю, называли себя не россиянами, а русскими и смели рассуждать о том, о чем рассуждать в стенах художественной академии не рекомендовалось...» (читай: носили на рукавах знак свастики, радели за чистоту расы и планировали погромы). Текст, конечно, обильно одобрен церковнославянскими воззваниями к читателю, который должен помнить, каким должен быть истинно русский воин.

Рассказ Юрия Самарина «Новый Вий» («Москва», №11) — забавная страшилка о микшировании реальности, вымысла и потусторонних сил на съемках фильма по мотивам произведений Гоголя.

Рассказ Вадима Куфеля «Просто истерика» («Москва», №12) оставляет надежду, что это все же художественное произведение, то есть вымысел, и что автор не идентифицирует себя со своим героем и не

говорит его устами, хотя сам текст по своему напору и пафосу заставляет подумать об обратном. Монолог героя говорит о том, насколько злобен, бездушен и человечески бездарен этот одержимый «истерикой» субъект, который то ли убил, то ли не убил человека только за то, что тот был «новым русским». Никакая «истерика» не оправдывает сладострастного озверения, в которое впадает герой, избивая человека. Впрочем, это лишние рассуждения. Resume: просто плохой рассказ.

**Повесть Геннадия Карпунина «Прощеное Воскресение»** («Москва», №12) удручает бедностью фабулы и невнятными героями, говорящими вымученными штампами. Безвкусная жвачка текста, предсказуемый финал.

**В повести Николая Якушева «Люди на корточках»** («Волга», №7—8) господствует власть бытового провинциального абсурда. Пространство человека испещрено его абсурдными безумными желаниями, которые поддерживают нас над бездной и в итоге нас же и повергают в нее, а все потому, что *наши* желания, будь они даже гадкими, запредельными, противными всем законам, — нам понятны и простительны, не то что желания *чужие*. И появляется в провинциальном городке этакий аналог волшебной палочки — грязный белый театральный пиджак, исполняющий желания. Люди, прибегающие к этому волшебному средству для исполнения своих желаний, попадают в ситуацию андерсеновских калош счастья: всё исполняется буквально и формально. Можно при помощи пиджака устроить так, чтобы великолепная красавица ушла к тебе от новорусского мужа, но нельзя сделать так, чтобы она в тебе видела не то, что ты есть на самом деле. Поэтому герой, заштатный учитель, не получает никакого удовольствия от того, что она приходит и ложится с ним в постель, потому что сама она относится к нему с невыразимой брезгливостью, понимая, что делает всё это по приказу неведомых сил. В конце концов за пиджаком является некий «хозяин», то ли зомби, то ли терминатор, то ли что еще похлеще, крушит всё и вся, находит пиджак и предает его сожжению. Потому что «всё должно быть правильно — на этом построен мир», как писал М.Булгаков. Повесть порою даже перегружена событиями и параллельными сюжетными линиями, но в целом привлекает своими резкими переходами от реальности обывателя в реальность циничной волшебной фантастики.

**Рассказы Анатолия Медведева из цикла «Окна»** («Север», №10) хорошо отшлифованы, в них, кажется, нет ни одной лишней детальки, ни одного лишнего вводного слова или запятой, от чего «оконные» кусочки являются «полетом голой сути, прорвавшим глупый слой лузги». «Го-по, го-по» — буквально тридцать строчек, в которых уместилась жизнь человека от и до, на смертном одре он вымучивает из себя невнятные звуки, и только за час до прихода врача, наконец, выговаривает — «Господи, помоги!». «Урок осознания» — мальчик читает подряд газетную шелуху за 65-й год, отцу это надоедает, и он произносит универсализм: не верь газетам, верить можно только тому, что можно потрогать, увидеть,

понюхать, укусить, а чем жизнь проще — тем лучше. Это произносится с такой потрясающей уверенностью в непреложной истинности слов, что мальчик, видимо, запомнит это на всю оставшуюся жизнь. «Домбай» — полгоры страницы с предысторией, развитием действия, кульминацией и спадом действия: мать и дочь, любовь-ненависть-жалость, правда-матка друг о друге в глаза, отчаянная драка, циничная и жестокая, как всегда бывает между женщинами, потом релаксация. Полное взаимопонимание и сознание невозможности что-либо изменить.

**Рассказы Ольги Мишиной**, переведенные с ливвиковского диалекта карельского языка («Север», №10), — об ускользающей красоте родного края, языка, обычаев, образа мыслей. «Гоштикой» — прозаический любовный гимн кормилице-корове. «Родные камни» — о том, как девочка пытается посеять песочек, чтобы из него выросли большие камни, следуя поговорке «что посеешь, то и пожнешь».

Жанр своего произведения «**О карлике бедном**» («Постскриптум», №2, 1997) **Алексей Винокуров** определяет в послесловии: **сказка**, которая не лжет. Будто пресловутая действительность поддается правдоподобию объяснению или нуждается в таковом. Волшебная повесть, история фантастическая и мистическая. «О карлике бедном» — загадка без разгадки, только в эпиграфе, выписке из Большого советского мифологического словаря, дается некоторая подсказка к прочтению сказки. Большой человек внезапно меняется обликом с карликом и надеется вернуть всё на круги своя. Но это не так просто: оказывается, что бывший карлик — мистическое средоточие всех антикарликовых сил зла, он — источник страдания всех карликов (или, как они себя сами называют, народа кулебяк — «карлики склонны скрываться под псевдонимами — см. например, «Гномы» — выписка из мифологического словаря). Герой находит союзников и вступает в смертельное противостояние со злом. Всё действие разворачивается на московской натуре, на фоне исторически случившихся событий, и заканчивается во время обстрела Белого дома — все хорошие кулебяки гибнут в заминированном коридоре. Мистическая сказка-притча как бы разрывает оболочку, обнажая свои космические волокна и нервы, все вещи и герои изначально лишены своих привычных мест, их нельзя упорядочить, они не могут быть увиденными и понятыми, они бегут от собственного ума и от всех пяти чувств. Смешались орбиты и траектории живых и ирреальных существ, и только антикулебяковый дьявол едко издыхает, поверженный, наконец, самим мирозданием. Обращаясь опять-таки к определению самого автора, сказка о карликах-кулебяках есть образец нового русского гофманизма.

**Рассказ Алексея Иванова «Попытка»** («Постскриптум», №3, 1997) тематически и лингвистически напоминает номинированный на премию Букера роман Ольги Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (см. «Континент» №92), точнее, являет собой экстракт романа, за тем исключением, что героиня рассказа (носящая, кстати, то же имя, что и героиня Славниковой — Катерина) человек не гиблый, и внутренний

стержень ее не ломается, а все-таки протягивает тонкую веточку в жизнь: Катерина должна совершить попытку выжить.

**Рассказы Леонида Костюкова из цикла «Галерея»** («Постскриптум», №3, 1997) — небольшие портреты, болванки типажей. Основой такой галереи может быть аксиома: каждый человек — уникален, неповторим, даже самый серый и недалекий может иметь такие глубинные душевные пласты, которые недоступны и величайшим умам.

**Рассказ Сергея Могилевцева «Царь Ханаанский»** («Урал», №4) — о явлении на землю сублимированного дьявола-Хама, принесшего непогрешимость, жестокость, разврат, внедрившего в умы культ пошлости, сексуальной распущенности, газетной грязи, политической возни. Автор ставит в один ряд Лукулла, Нерона, Ивана Грозного, Сталина, называя их царями ханаанскими, ибо все они были пиитами, — или занимались языкознанием, или писали трактаты об улучшении мира, рисуя царство тысячелетнего хамства, хамства нового космоса.

Постмодернистский короткий **рассказ Татьяны Титовой «Явление фотозффекта»** («Урал», №4) трудночитаем и непересказуем, подтекст и подмысль прописаны в эпиграфе из Леконта де Лиля — «Время. Пространство. Число.// С черных упали небес// В море, где мрак и покой».

**Записки Сергея Казначеева «Горные вершины»** («Лепта», №38) имеют подзаголовок: *«очень своевременная проза»*. Автор поясняет своевременность своей прозы так: она не хорошая, не плохая, она — новая, ее еще нет, вроде бы ее ждут, но она только-только нарождается. А все остальные «мастера современной прозы» пишут в усредненной манере между Викторией Токаревой и Ритой Райт-Ковалевой. Видимо, автор своими записками полагает явить образец этой новой прозы, написанной «вне ограничений, запретов, табуирования, знаковых клише, но при этом в пределах традиции, жанра, правил трех единств и трех штилей». А если попросту, то «Горные вершины» — это осколочные пунктирные наметки о жизни «замечательного людя» Михайлова. Чем он замечателен, чем замечательна эта его жизнь, его видение мира, диалоги, знание жанров китайской поэзии и «даоских побасенок», в чем-таки заключается своевременность этой никакой (ни хорошей, ни плохой, как и хотел автор) прозы — that is the question.

**Рассказ Дмитрия Бортника «Яблочко»** («Лепта», №38) написан от первого лица — от имени воспитателя, работающего с подростками, учащимися в «классе коррекции», который в просторечии называли зверинцем. Он пишет о ребятах из рабочих семей, которыми в школе «путали учителей». Автор отдает должное нетривиальности каждого из «трудных подростков», их трактовке мировых вопросов и восприятию друг друга, их человеческому таланту, умению наслаждаться и понимать концентрированное одиночество, то есть всему тому, чем в большинстве случаев не обладает благополучное, «нетрудное» большинство.

О нашем современнике пишет **Владимир Леонович** в повести «На завалинку» («Лепта», №37). Его герой — пенсионер Андрей Лукич, человек

одинокий, работающий вахтером на плодоовощной базе, мужик основательный и оборотистый, имеющий свое мнение о происходящих в стране социальных и экономических изменениях, к которому он пришел сам, не принимая на веру догмы как патриотов, так и демократов. Он ходит на митинги, но горло не дерет, а больше наблюдает. «В силу своей жизненной опытности Андрей Лукич стал отчасти фаталистом, он с пониманием слушал объяснения о необходимости двигаться вперед, но по опыту ЗНАЛ, что от этого больше вреда, и поэтому существовал по принципу: человек жив — движение всегда есть, само по себе, спокойное, без смуты». И живет герой повести хорошо, удачно подворовывает на базе, лишнего не берет, а когда случился прокол — быстро уволился, понял, насколько ему чуждо всё теперешнее — говорящее, орущее, поющее. И с легкой душой застремился «на завалинку», не на ту, что с улицы, а на ту, что со двора. Заклочительный монолог героя окончательно определяет его жизненное кредо: «Да, я маленький человек, карлик, по-вашему, но я и не тянулся за вами, большими, не желал дорастать до вас. Я никогда никому не завидовал, и никто из-за меня слез не лил». Что ж, всяк сверчок знает свой шесток, учитывая свои потребности. Повесть несколько затянута, герой выпукло очерчен и не слишком привлекателен, как не может быть привлекателен любой, чья рубашка настолько ближе к телу, что срослась и с телом, и с душой.

**Рассказ Георгия Давыдова «Виноградная косточка»** («Лепта», №37) — о случае с дедом автора во время первой мировой войны. Раз в обществе преимущественно молодых офицеров «дед брякнул, что за отличие в японской кампании он был не только награжден, что было правдой, но и получил часы из рук самого государя». Некий офицер, армянский князь, желчный и жестокий человек, дуэлянт с плохой славой, потребовал показать часы. Единственное, что оставалось сделать — вызвать князя на дуэль. Проведя последнюю ночь в обществе вдовы-польки, будущий дуэлянт рассуждает, глядя на виноградину и косточку, проглядывающую сквозь дымку сока: «Вот через несколько часов куда как меньший кусочек свинца может угодить мне прямо в голову». Но судьба распорядится проще — по месту предполагаемой дуэли немцы устраивают недолгий обстрел, и армянский князь погибает. Офицеры называют это странным случаем, а солдаты — гневом Божиим.

**Повесть Александра Кузнецова «Проклятие»** («Наш современник», №10) представляет собой очередной опус в ряду оголтелых тенденциозных спекуляций на непростую тему гибели сотен людей 3—4 октября 1993 года во время попытки государственного переворота. Сплошная «однозначная» чернуха о проведенном «расследовании» кровавых преступлений властей, с конкретно названными виновниками.

**Три рассказа** известного публициста-«деревенщика», прозаика **Владимира Ситникова** («Наш современник», №10) — просты и безыскусственны. **«Женька Перетягин и товарищ Сталин»** — рассказ о том, как после войны маленький мальчик написал письмо вождю всех времен и

народов с просьбой выделить им с матерью какую ни на есть жилплощадь. И комнату им действительно выделяют, потому что подошла их очередь на жилье, но мальчик твердо верит, что это товарищ Сталин о них позаботился, автор объясняет это тем, что *тогда* почти все верили в такое. Почти зощенковская **«Автодорожная трагикомедия»** — про случайное столкновение интеллигентного пожилого человека с хамским молодым мотоциклистом, который ломает фалангу большого пальца ноги, пнув со злости жигуленок «очкаря», после чего вопит о компенсации за моральный, физический и материальный ущерб, короче, садится интеллигенту на шею, требуя всё новых и новых расходов — на еду в больнице (кормят невкусно), на покраску одной царапины на мотоцикле, на путевку в семейный санаторий и т.д. Только вмешательство решительного друга «очкаря» прекращает наглое вымогательство, на прощание он велит запомнить незадачливому водителю правило из трех «Д» — дай дорогу дураку. А в рассказе **«Жужелица»** выведена монструозная хитрющая баба-хлопотунья с редким именем Марксина, наживающаяся на пенсионерах и ветеранах.

Мягкая, тягучая, чувствительная повествовательная манера представлена в рассказах **Надежды Перминовой** («Наш современник», №10). **«Березовые пули»** — закат человеческой жизни, умершая любимая жена, не вернувшийся с недавней войны сын и застрявшие в стволах берез пули Великой Отечественной, оставившие раны в душах людей и сердцах деревьев. **«Соловьиная ветка»** — символ счастья: если сорвать ветку, на которой сидел соловей и пел, то можно надеяться на благосклонность фортуны. Потерявшая мужа — и вместе с ним смысл жизни — женщина возвращается к реальности и к способности видеть краски в небе, природе и людях, столкнувшись с горем еще более страшным, нежели ее собственное.

В аллегорическом небольшом рассказе **«Карусель» Валерий Казаков** («Наш современник», №10) замечает, что люди делятся на тех, кто крутит карусель, и тех, кто на ней сидит. И при всей неприязни к тем, кто сидит, карусель кому-то крутить надо — иначе дом на берегу не устоит, берег реки не удержит, реки вспять потекут и человек опустится на дно бытия.

**Дмитрий Зеленин**, этнограф с мировым именем, собирал в начале века сказки на территории тогдашней Вятской губернии. Записанная им озорная сказка **«Иван Гогаринов»** («Наш современник», №10) в литературной обработке В.Морозова — о том, как солдат победил царя-колдуна, войдя в стовор с чертом.

Обширную «повесть-стенограмму» **«Мы не люди, мы вятские»** («Наш современник», №10—11) **Владимир Крупин** предваряет уверениями в том, что весь текст есть лишь расшифрованная стенограмма и что автор только подредактировал его, расставил абзацы, придумал эпиграф и подписал, не получив, естественно, гонорара — «нынче хорошо платят только за клевету на Россию». По форме это остросоциальные диалоги

неких современных «вятичей» из Предуралья, ходивших походом на историческую родину — в Москву, дабы очистить ее от иноземной скверны и возродить культуру и традиции. Дидактические размышления о современных нравах, о засилье иностранного дьявола; бесконечные вариации на тему национального вопроса, единства, тотального уничтожения всего русского, славянского; набившие оскомину и даже уже не смешные пародии на телерекламу и на кальки с иностранных языков (якобы так мы разговариваем: «В каком анклав у нас электорат? — Чать, в диаспоре, где референдум по рейтингу» — полная ахинея!); неизменные еврейские банкиры, правящие миром в целом и Москвой в частности, и прочая, и прочая атрибутика «джентльменского набора» истинного патриота, с неновым выводом: «спасется Россия — спасется мир».

**В рассказе Сергея Перевезенцева «Чудная история»** («Наш современник», №11) жених и невеста решили позвать на свадьбу Брежнева, ответа от него всё не было, жених с невестой по этому поводу разругались и передумали жениться, а Брежнев возьми да и приедь. Пришлось спешным порядком регистрироваться, о чем до сих пор ни разу не пожалели.

**Рассказ поэта Валентина Сорокина из цикла «Золотой чёлн»** («Наш современник», №11) прозрачен и воздушен. Герой рассказа Митька Ручей оберегает лесные родники, знает их на вкус и дает ласковые прозвища, а когда родники уничтожили ради стройки, он пробует воду и плачет над ней — горькая, слезами земными пахнет. Мальчик вырос, стал ученым-ядерщиком и погиб, спасая людей от ядерной катастрофы. **А рассказ «Часы Горбачева»** — невнятный, нелепо скроенный и довольно злобный «поток сознания», который по большому счету и рассказом-то назвать нельзя — какие-то часы, насадка Раиса, идиот Горбачев, гнусный канцлер Коль — одни голые отрицательные эмоции, сдобренные истовыми, но плохими стихами автора. Контраст двух рассказов режет глаз настолько, что трудно поверить, что они принадлежат одному и тому же перу.

**Рассказ Леонида Бородина «Коровий разведчик»** («Наш современник», №12) напоминает нам об изломанных послевоенных судьбах людей, потерявших близких, спивающихся и погибающих от тоски.

**Мистический рассказ Галины Джугашвили «Трином Ликоны»** («Молодая гвардия», №12) повествует о целительнице Агриппине, доброй вещунье, которую сжигают за то, что она говорила всем правду в глаза, ничего не скрывая. В рассказе присутствуют омерзительные новорусские взрослые и их новорусские, но еще не очень испорченные дети, которые как раз и тянутся к доброте Агриппины и сильно переживают после ее смерти.

В периодике много произведений и с явным документально-очерковым компонентом.

**Документальная повесть в воспоминаниях и письмах «Судьба капитана» Олега Хомякова** («Урал», № 4—5) посвящена выдающемуся

человеку, капитану Павлу Федорову, его многотрудной жизни на земле и на море, прежде чем он сошел с корабля на берег под сень преклонных лет. П.П.Федоров был настоящим морским волком, прошел путь моря от кочегара до капитана. Трижды арестовывался НКВД и МГБ, сидел в тюрьме, в лагере в Башкирии. Морская тематика писем капитана разнообразна, обилие подробностей не наскучивает, а мудрость пожилого, пожившего человека проникновенна.

**Александр Паникин** в «Записках русского фабриканта» («Новый мир», №11—12) рассказывает о своем пути в коммерцию. В двенадцать лет он «решил писать собственный сценарий» жизни и обнаружил немалый коммерческий талант. «Фартовость и удачливость выбирают веселых и уверенных». Ныне автор — глава производственного концерна «Панинтер». Паникин довольно откровенно и без жеманства повествует о своей жизни, богатой занятыми перипетиями, делится мыслями о текущем моменте. Есть в его манере и тоне и гордость за свои удачи, и трезвое видение реальности, и даже юмор. В целом получились весьма увлекательные воспоминания.

**Владимир Яницкий** в «Монастырских этюдах» («Новый мир», №10) рассказывает о жизни недавно возрожденного монастыря где-то ближе к Уралу. Это поделенное на отдельные новеллы, подробное повествование о бытовом строе монастырского жития. Вероятно, оно основано на каком-то личном опыте. Яницкий недавно уже обращался к монастырской теме (повесть «Пришедшие найти»: «Знамя», 1997, №5). Его новая вещь при кажущейся скромности художественных средств выглядит, пожалуй, даже более убедительно. Но и в повести, и в «этюдах» автор верен главной задаче: без недоговоренностей и умолчаний, честно и трезво рассказать о людях, которые ищут сегодня Бога и ходят по монастырям, о монахах и мирянах, о своеобразном строе души наших новых (а то и «старых») христиан... Здесь Яницкий сообщает много нового, подчас и нелицеприятного. Однако пафос его лишен стремления к разоблачениям. Он пытается фиксировать моменты, когда из хаоса, из привычек тупого обихода, из своекорыстия и эгоизма, из безотчетной греховности возникает вдруг тяга к небу. Пожалуй, служение обитателей монастыря Богу ушло для автора на второй план. На первом же — страдание и претерпевание недостатков друг друга, трудный опыт общей жизни, не всегда благолепной, но все-таки духовно обогороженной памятью о евангельских заповедях и стремлением как-то им соответствовать. «Трудно послушание, сильны искушения и явны здесь, тягостны грехи, которые каждый вешает на других...»

Под псевдонимом **Нонна Юченко** не назвавшая себя московская переводчица публикует в «Дружбе народов (№10) «оптимистическую хроникку» «Лягушка в молоке». Это описание жизни автора с мужем в отдаленной деревне, где ими был приобретен дом. Сюжет не нов в современной столичной прозе. Юченко рассказывает о буднях, о радостях и нелепостях сельской жизни, о современных деревенских типах, точнее — о реальных, как будто, людях, соседях и дачниках, встречных и поперечных (в основном

это женщины). Возникают здесь талантливая, умнейшая старуха Марья Петровна, эмигрантка — завклубом Белоснежка, аристократка — сестрина свекровь Августа... Хроника Юченко богата подробностями, в ней дается довольно рельефная панорама, срез современной сельской жизни в одной отдельно взятой местности. Новизна в том, как интонировано повествование. Автор не впадает в меланхолию или тоску. Она не ставила перед собой громоздких задач, не пыталась слиться с народом, навсегда включиться в ритмы здешней жизни и т.п.; поэтому ей довольно легко даются не только симпатия к героям своей хроники, но и ирония, юмор. В этом она близка к Ларину с его хроникальными рассказами о жизни московского дачника в российской глубинке.

**Ян Гольцман** — писатель одной темы. Но писатель, безусловно, значительный. Замечательный, кроме всего прочего, стилист. В подборке рассказов «Уголок уцелевшего бора» («Новый мир», №10) он снова приобщает читателя к опыту своей карельской робинзонады. На сей раз у него меньше чисто природных этюдов, он охотнее наблюдает за аборигенами, с которыми время от времени сталкивается в этих глухих лесных и озерных местах. Это тонкое, лирически фрагментированное и задушевное, полное сочувственных вздохов и грустных отточий, хватающее порой за сердце повествование о том, как извечно в терпении и трудах протекает здесь человеческая жизнь. Впечатляет погруженность автора в этот далекий от сиюминутной злобы дня строй бытия. Для Гольцмана его выключенная из городской сутолоки, из политической и культурной мельтешни жизнь — это последний, может быть, способ ежедневно приобщаться к чему-то основному, незряшному, а также и оправдать приверженность к сугубому традиционализму «художественных средств»... И в то же время он не видит оправдания существованию здешних крестьян, для которых фотографические карточки — «единственное доказательство того, что жизнь, монотонно-медлительная, обескураживающе мгновенная, вытянутая в череду непрерывных унижений и потерь, томительная и непостижимая жизнь в самом деле случилась».

Интересны и богатые реалиями современной жизни очерковые заметки **Валерия Писигина** «Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург» («Октябрь», №10, 12). Автор движется по традиционному «литературному» маршруту в направлении, в котором когда-то выехал Пушкин, оставивший об этом записки. Писигин останавливается в разных населенных пунктах, встречаясь со старожилками или с самыми знающими и авторитетными людьми, узнавая разные истории, делясь соображениями о народе, властях, истории и т.п. Общий фон — тяжелая, неудобная, малорадостная жизнь, жалобы на существование (далеко не всегда убедительно мотивированные), личные попытки противостоять общественному хаосу. Особенно впечатляют история о враче Галине Степановне из Городни — настоящей христианской подвижнице; очерк о селе Хотилово, пораженном «мистической напастью» — пожарами: почти на глазах у автора сгорела знаменитая хотиловская церковь. Завершаются очерки главой о Новгороде.

**Повесть Дмитрия Добродеева «Путешествие в Тунис»** («Дружба народов», №11) — это небрежный, путаный путевой дневник. Автор делится впечатлениями от своей поездки туристом в Тунис, оценивая мир и самого себя несколько иронически. Экзотика сочетается с флиртом, эротика с политикой. Путешествие влечет рассказчика по дороге воспоминаний и соображений о жизни. Добродеев вспоминает о перипетиях бурной жизни в СССР, в Египте, где он служил по дипчасти, и на Западе, куда он бежал в 1989 году; отвлекается на историософские комментарии (отношение его к современности в планетарном масштабе — иронически-критическое) и на замечания вообще по любому поводу. Повесть обрывается в разгар рискованной интрижки рассказчика с тунисскими путанами Сарой и Басмой, оставляя читателя заинтригованным. Читать об этом разнонаправленном «путешествии» нескучно, поскольку рассуждения автора незанудны, наблюдения остры, а происшествия забавны.

**Людмила Штерн в рассказах из цикла «Парижские знакомства»** («Звезда», №12) делится анекдотическими впечатлениями от своих встреч на улицах Парижа.

**Олег Павлов в «вольном рассказе» «Яблочки от Толстого»** («Дружба народов», №10) рассказывает о том, как он недавно участвовал в научной конференции в Ясной Поляне по случаю дня рождения Толстого. Тщательно фиксируются и хронометрируются впечатления от усадьбы, от тамошних обитателей, а больше всего — от братьев-писателей и околослитературной суеты. Мелькают Балашов и Ганичев, Басинский и Уткин. Павлов демонстрирует тонкость натуры и искусственность в секретах своего ремесла: он весьма наблюдателен, виртуозно инструментизирует повествование, смешивая дух приязни и иронию, наслаждение от разнообразной экзотики и сатиру. Не очевидна только дальняя цель этих изысков. Возможно, Павлов решил наглядно показать, что он пишет ничуть не хуже, чем окруженный в его рассказе сонмом фанатичных поклонниц мужиковствующий юдофоб, лауреат Толстовской премии и «великий писатель земли русской» Димитрий Балашов.

Вообще сюжеты из околослитературной жизни неудержимо влекут сочинителей к их передаче всему обществу. Приятнейшим образом, увлеченно, азартно, подчас иронично литераторы повествуют о том, с кем они общаются, едят-пьют, кто против кого интригует, кто кого печатает, а кто кого нет. Творчество в их изложении оказывается необязательным приложением к беспрерывному тусовочному оттягу. **Алексей Варламов в очерке «Антилохер»** («Октябрь», №12) делится своими беззаветными и безответными симпатиями к русским «правым» патриотам-почвенникам, обидами от критиков и неких немецких доброхотов, а затем сплетничает о том, как он получал премию «Антибукера» и что при этом творилось, а также почему критик Иванова оказалась в его объятьях. Премия, узнает читатель, материализовалась в кухню из карельской березы. Тут же **Владимир Березин в «Хронике нулевого года»** повествует, как он сторожил знаменитый московский Дом на набережной, как

на сей счет рефлексировал, какие ассоциации производил на свет, какую прибыль от этого имел, кто заглядывал к нему на огонек (все приятели из литературного мира поименованы и кратко обрисованы). Наконец, и **Владислав Отрошенко** в том же номере в очерке «**Волжский мужичок, или Вечный Горький**» рассказывает о своем приятеле критике Павле Басинском, без стеснения, но и любовно входя в сознание и в подсознание сего героя, а попутно насыщая повествование сочными подробностями литературного быта, отвлекаясь то на Немзера, то на Кузьминского... Зримо встает перед читателем картина веселой, бодрой, боевой жизни поколения сорокалетних литераторов, озабоченных взаимными счетами и расчетами.

## 2. Литературная критика

При явном дефиците обзорных и проблемных статей в конце 1997 года обращают на себя внимание краткие заметки **Михаила Золотоносова** «**Одна тина морская...**» («Московские новости», №44). Они посвящены «среднему уровню» в литературе. Золотоносов отмечает, что в литературе нет теперь идеологического романа (кроме как в «Нашем современнике» и «Москве»), нет и семейного романа. Остаются либо варианты масскультовские (приключения, детектив, эротический роман), либо производство литературного «одеколона», либо поиск паллиативов, симбиозов серьезного романа с устойчивыми массовыми формами (например, «Самовар» Веллера, оцененный отрицательно), либо, наконец, фиксация «мыслей врасплох» (эти появляются в прозе в массовом количестве). Что касается мастерства романного построения, то за последние годы лучше «Эрона» Анатолия Королева ничего не было.

**Олег Павлов** в статье «**Антикритика**» («Москва», №12) не видит в современном литературоведении места литературной критике. «Совковая» критика, по мнению автора, потому и толковала литературу, что не доходила до ее художественных глубин, и литература понималась как бездвижная система, в которой все места поделены, художественные величины раз и навсегда заданы. С «торжеством нового мышления» прошлое стало более доступным для исследования, но таких исследований катастрофически мало, критика «странным образом прошла мимо целых писательских громад». Даже произведения Солженицына, их художественное значение, по мнению Павлова, осмыслено не было, а имела место только праздная хвалебная риторика. Сегодняшнюю критику, в том виде, в котором она существует, «обесмысливают бесконечные предположения о будущем литературы, что есть скрытая форма демагогии. Но удивляет, когда литературу отказываются *изучать*».

**Карен Степанян** в статье «**Ложная память**» («Знамя», №11) взволнован тем, что литераторы, воспринимающие современную действительность как хаос и безумие, подчас склонны идеализировать советское прошлое, что ведет к репродуцированию советского мифотворчества в

новых условиях. Те или иные симптомы этой болезни Степанян находит у Варламова, Бородини, Чулаки, Сорокина и Зельдовича. Скорбь о неустроенности нынешней жизни грозит пошатнуть у многих веру в безусловную победу Добра над злом.

**Вячеслав Куприянов** в заметке «Нечто ничто, или Снова о постмодернизме» («Новый мир», №10) утверждает, что интерес к постмодернизму искусственно насаждается. Как пример берется составленная монреальским профессором Серафимой Ролл книга «Постмодернисты о посткультуре» (1996). Куприянов полагает, что «предлагаемая нам постмодернистами и славистами «альтернативная культура» претендует всего лишь на разрушение бытующих еще «способов организации нравственной и духовной жизни» народа.

Ряд статей посвящен **современной прозе**.

В конце года происходит присуждение премии Букера. На сей раз ее получил **Анатолий Азольский** — прозаик, который постоянно отмечался в критике «Континента» (в том числе в БСК) как один из самых интересных и значительных наших мастеров. После выдвижения его «Клетки» на премию в «Новом мире» вышла **статья Никиты Елисеева** об Азольском (№8; изложение см. в прошлом выпуске БСК). Предпремиальное время было отмечено смутным брожением. Журнально-газетная клака выражала крайнее недовольство тем обстоятельством, что в число финалистов премии не вошел роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Однако серьезных аргументов в обоснование высокой ценности этого произведения, к сожалению, не прозвучало. Дело ограничивалось почти магическими пассажами и снисходительными указаниями на «отсталость» жюри от запросов продвинутой литературной публики. Между тем, в периодике делались попытки (правда, не очень активные) прогнозировать окончательное решение жюри. **Алла Латынина** («Кровь и кубики»: «Литгазета», №39) отмечала «Клетку» Азольского — как вещь мощную, страстную; роман этот эклектичен — есть в нем что-то от Достоевского, а что-то и от Крестовского. Вторым возможным вариантом Латынина считала «Хоровод» Антона Уткина. **Павел Басинский** («Несварение души»: там же) соглашался, что Азольский и Уткин реально представляют какие-то серьезные тенденции в современной литературе. «Хоровод» — филологическая проза, игра во всевозможные культурные «знаки», и вместе с тем — прекрасный литературный язык, «поднятие серьезных бытийных проблем». Азольский же написал историко-социальную и психологическую повесть. Смоделированностью эта проза напоминает Солженицына. Отозвались Латынина и Басинский и о повести Юрия Малецкого «Любью», которая, по совести, также явно могла претендовать на высшую премию. Латынина заметила, что это не роман, а Басинский продолжил: Малецкий пишет так, чтобы никто не догадался о главном в его вещи... Когда решение жюри стало известно, появилась **статья Марии Ремизовой** «Зрячий одиночка среди послушных слепцов»

(«Литгазета», №50) о двух повестях Анатолия Азольского. (Позиция критика изложена в её статье, публикуемой в этом номере «Континента».)

**Владимир Славецкий** посвящает большую статью «Элизиум теней» («Новый мир», №11) Алексею Варламову и Григорию Петрову. Критик показывает, что оба они работают не с жизнью, а с культурой, с ее «отраженным светом». Основная «онтологическая схема» в творчестве Варламова — рождение-смерть, жизнеспособность-нежизнеспособность. Анализируя «диалог с деревенской прозой» в «Доме в деревне», Славецкий утверждает: Белов и прочие деревенщики владеют искусством непосредственного наблюдения мира, людей — Варламов же оперирует с отблесками идеологических, культурных и прочих «кодов», пользуется готовыми идеологемами... Петров — артист, стилист. Чтобы воссоздать «иные бытия», писатель обращается к средствам фольклора. Это «литературный лубок». Искусством сказа, считает Славецкий, Петров «заставляет проглотить» такие пародийные игры, которые могли бы «навести на мысль и о бестрепетном кощунстве». Происходит «удвоение мира». «Ощущение, осознание и творение двойной, физической и метафизической, посясторонней и потусторонней, святой и грешной, жизни» — творческий принцип писателя. Универсальное средство удвоения мира — пародирование. «И Бог нынче стал концептом», Его тоже можно воспринимать «только как знак культуры», — и Петров «вновь и вновь эстетизирует Священное Писание, христианское вероучение», а также «низовую» народную мифологию, литературу, театр. Путем композиционного нагнетания он снова и снова перемещает читателя вместе с персонажем в разные миры. Но в итоге оказывается, что «иных миров нет, и иные бытия нет, и двойной жизни нет, а есть лишь эффект удвоения, создаваемый системой пародийных удвоений». «Отчасти снимает его кощунства» «онтологическая схема» в творчестве Петрова: «соотношение вины и прощения», реальность чувства вины у его героев, побуждаемых к покаянию то кнутом, то «пряником святости»... Бог спародирован, Рай спародирован, Смысл неразличим, стерт с книг. Отчего происходит такое манипулирование культурными знаками? Оттого ли, что расфокусировано не только художественное зрение, но и рассредоточена, лишена теологического смысла сама действительность? Или искусство утратило способность доверять действительности, предпочтя ей культуру с ее кодами и шифрами?

**Павел Басинский** в статье «Куперовский герой в лесах под Архангельском» («Литгазета», №45) рассуждает о повести Алексея Варламова «Дом в деревне», которая «прошла незамеченной». А ведь это — лучшее, самое значительное у Варламова. Автор поехал купить русское. А в итоге Россия выперла Варламова из его дома. (Стоит заметить на полях, что география родины лучше освоена все-таки не критиком, а писателем: варламовские леса гораздо ближе к Вологде, чем к неимоверно от них далекому Архангельску.)

**Татьяна Касаткина** в статье «Дар уединения» («Новый мир», №10) пишет о романе Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик» и его

герое-«авторе» Одинокое. Это не роман мнений. Высказывания здесь — только способ подтвердить «авторскую» гениальность. Содержание книги — не отдельные высказывания, а личность «автора». Причем это личность неопределимая, находящаяся в состоянии непроницаемого одиночества. Создана «книга молчания». Этот текст обладает чудовишной *поглощающей* способностью, он втягивает в себя, и вместимость его бесконечна. Касаткина определяет один из ключевых образов романа: *вешалка* (Одинокое когда-то одноклассники подвесили в школе на вешалке и раскачивали). Это место бесконечного унижения — и место одинокого превосходства, в отсутствие «Голгофы». Форма примечаний позволяет говорить с самим собой, без другого. Касаткина далее размышляет о противоположности творческих начал у Розанова и Галковского (при декларированной близости); о близости Галковского и Набокова. В конце концов Розанов знает, что он — сын Божий, в этом его достоинство. Достоинство Набокова в том, что он сын человеческий (боготворимый отец и «гениальное детство»). У Галковского нет достоинства, и он ведет безрезультатные поиски Отца и Отечества.

**Алексей Козырев** в статье «Опраздан ли Пелагий?» («Новый мир», №11) занят философской, богословской критикой романа Игоря Ефимова «Не мир, но меч». Ефимов заявляет себя как сторонник «пелагианской» свободы воли против августирианского «предопределения». Но свобода у Ефимова основана скорее на чаяниях и упованиях светского гуманизма. Он не потерял интереса к человеку как к религиозному существу, однако если вдуматься в логику свободного выбора у героев Ефимова, то окажется, что выбором этим руководит всего лишь «плотский эрос». «Такую свободу можно было бы обосновать и не адресуясь ко Христу», так что волнующая проповедь Пелагия в романе обесценивается. Позицию Пелагия Ефимов домысливает в духе максимы Юлиана Экланумского — «что естественно, то не безобразно». Ефимов реабилитирует человека ценой упрощения его природы. Взгляды писателя выглядят упрощенно и дидактично на фоне того, что было сказано о свободе в русской религиозной философии. Не промерена во всю глубину онтологичность свободы, ее участие в миротворении, грехопадении и искуплении... Заметим все-таки, что редкий ныне образец философской критики в исполнении Козырева не мог бы случиться, не появившись роман, дающий возможность плодотворно поразмыслить над основными антропологическими проблемами.

**Алла Латынина** в статье «Беспечный кочевник перед бурей» («Литгазета», №41) делится суждениями о романе Олега Ермакова «Транссибирская пастораль». Молодого героя в нем не разочаровывают природа, Байкал — но разочаровывает человек. Тут видится привет от романтизма. Событий в романе мало, зато очень подробно описан сам Байкал. Текст производит впечатление растянутости, неполноты, непроявленности, незавершенности. Подождем, замечает критик, продолжения романа.

**Александр Генис** в статье «Чузьн и жидо» из цикла «Беседы о новой словесности» («Звезда», №10) ведет речь о Владимире Сорокине, а

в статье «Поле чудес» («Звезда», №12) — о Викторе Пелевине. Со взглядами автора на творчество этих писателей можно познакомиться по статье А.Гениса в №94 «Континента».

**Марина Кудимова** в статье «Живое — это мертвое» (КО «Ex libris НГ», 4 декабря 1997) размышляет о некромире в произведениях Людмилы Петрушевской. Ее главная тема — смерть. Это коматозное творчество. Петрушевская не дает умершему никакой иллюзии насчет «неба в алмазах». Она лишена надличностной идеи, это самый безыдейный русский писатель. «Ее порождения забыли, выпустили Бога как текст». Кудимова сопоставляет Петрушевскую с Чеховым и Решетниковым (находя ее продолжательницей и завершительницей духовных традиций обезбоженной разночинной интеллигенции).

**Евгений Ермолин** в статье «Жить и умереть в Перми» («Новый мир», №12) размышляет о творчестве пермской писательницы Нины Горлановой. Ее проза — своего рода дневник. Его главный герой — круг житейски и духовно близких автору людей в советские и перестроечные времена. Критик пытается определить, что это за люди, извлекая из текста разные варианты их самоопределения (интеллигенты, то есть «люди небудничного запроса к жизни, пренебрегающие бытом ради ценностей и смыслов духовного характера»; богема; культурная элита; веселые нищие; внутренние эмигранты; евреи; западники; либералы; провинциалы). Критик связывает самореализацию таких людей с «контркультурной поведенческой практикой» («жизнь врасплох») и выводит отсюда особенности авторской манеры Горлановой (писательство как образ жизни). Эти люди, по мнению критика, ушли или уходят. Время сменилось. Меняется и сама Горланова, пришедшая к твердой вере в Бога. Но ее проза актуальна: убедительностью и обаянием изображенного способа жить и мыслить она опшонирует как ползучей коммерциализации духа, так и бумажным драконам популярной идеологии, настоянной на едком уксусе воинствующего шовинизма, заидеологизированного клерикализма и полупатологической ксенофобии. Эта проза дает прививку душевной щедрости и чистоты, воли к духовной работе, бесребреничества, бескорыстия.

**Михаил Ардов** в рецензии-реплике «Когда Молчалин разговорился» («Кулиса НГ», №1, ноябрь 1997) делится впечатлениями от прозы Анатолия Наймана. По Ардову, Найман постепенно впал в проповеднический тон и в злословие. Особенное неприятие вызывает его роман «Б.Б. и др.». Это, по Ардову, «пасквиль на семейство Мейлахов, а главный персонаж — злобная карикатура на нашего друга Михаила Борисовича». Ардов предполагает, что Наймана снедала зависть, когда он наблюдал обустроенный профессорский быт, — и в конце концов эта зависть заявила о себе. Помянута Фаина Раневская, сказавшая когда-то про Наймана, что «это еврейский Молчалин» — по умению вступать в доверительные отношения с людьми влиятельными и знаменитыми. Ардов приходит к выводу, что Найман «явил себя личностью мелкой, завистливой и неблагодарной».

**Владимир Бондаренко** рассуждает в статье с броским названием «Плебейская проза Сергея Довлатова» («Наш современник», №12) о том, что есть глубинная суть произведений кумира нынешний околосредств массовой культуры молодежи и что заставляет друзей Довлатова, таких же, как он, фрондериствующих эмигрантов, поливать писателя нецензурной бранью и уличать в бесталанности. Апеллируя к высказыванию «одного из русских классиков» о том, что всю мировую литературу можно разделить на разрешенную и написанную без разрешения, на мразь и ворованный воздух, критик пытается установить, что есть проза Довлатова — мразь или ворованный воздух. Автор статьи вменяет в вину Довлатову то, что он «бил по своим» и не стеснялся ошибаться, даже делал это преднамеренно, сознательно путая все жанры — мемуары, повесть, новеллу, эссе, анекдот, что по сути есть прием аморальный. Хотя, отдает должное писателю критик, при всей своей плебейской грубости, Довлатов чувствует потребность в истине, проводя для себя ясную нравственную черту. Но это не перевесило довлатовского плебейства: «Он халтурил скучно и нетеатрально... он надыхался ворованным воздухом «Зоны», но, увы, очень легко сдался примитивным приказам, занизил свою мечту... сел в лагерь литподенщины», — заключает В.Бондаренко свои размышления и в доказательство своих слов приводит фразу, написанную Довлатовым незадолго до смерти: «Бог сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно. У Бога добавки не просят».

Все чаще критики пишут о *современной русской жанровой (массовой) литературе*. Обычно анализ эстетического качества сочетается здесь с социологическими наблюдениями, а иногда — и с конкретной рецептурой. Отдел критики «Нового мира» привлек к обсуждению популярного явления несколько критиков (№11). **Андрей Василевский («Он нашелся»)** подробно и одобрительно говорит о романе А.Лазарчука и М.Успенского «Посмотри в глаза чудовищ», в конце концов соглашаясь с Александром Генисом: масскульт поставляет художнику формы, взамен растраниженных ХХ веком; все лучшее в литературе питается живительным конфликтом массового искусства с творческой личностью. **Евгений Пономарев («Книжка на все случаи жизни»)** анализирует роман М.Семеновича «Волкодав», замечая, что масслит берется учить читателя жизни, отвечает на вопросы простого человека. **Ирина Слюсарева («Федор Лустич как зеркало русского маркетинга»)** неодобрительно отзывается об эротизме в романе Лустича «Убить нежно». **Марк Липовецкий («Рецепт успеха: сказочность+натурализм»)**, опираясь на материал американского кино, вычисляет секрет успеха произведения масслита, обозначенный в заголовке статьи.

**Лев Аннинский** в «Дружбе народов» (№11, «Свидание с суперменом») в своей авторской рубрике «Эхо», рассуждает о прозе Николая Псурцева (роман «Счастливые люди»). Признаваясь в том, что он заражен

«толстовским сентиментальным морализмом», критик не всё принимает в новой русской прозе (в частности — «сцены, где супермены с треском вонзают члены в задние проходы своих друзей и подруг, а до того всё это нюхают»). Реальность в романе, «хотя и составлена из достоверных элементов уголовно-политической хроники российского первоначально-первобытного капитализма» (взламывают, берут на мушку, собирают компромат, грабят, дырявят, трахают), но сгущена, «провокационно доведена до абсурда». На жизненный простор после слома советской власти вырвался «новый русский». Он убивает и «трахается». Ему важно подчинить другого, сломить его волю. Заставить другого ползать в соплях и мастурбировать на заплеванном полу. Супермен убивает, насилует, калечит, истязает. Он нападает *безмотивно*. Это инстинкт, природа. «В итоге мы получаем впечатляющий образ современного хозяина жизни, который лежит на диване в гигантских апартаментах отеля «Ритц» в Мадриде, вкушая кайф от модного прикида (носки от Армани, туфли от Штайгера), но не меньший кайф имея и от похода в музей Прадо: музей он «таранит насквозь», «дрожит от восторга перед Босхом, скептически цепенеет перед Эль Греко, настороженно посмеивается над Веласкесом и Гойя, умиляется Мурильо и Рубенсом...» После чего возвращается к своему основному и естественному занятию: «к охоте за людьми». Каков смысл костоломной охоты? Супермен преследует людей за слабость, за неспособность сопротивляться, за их «бедность и аккуратность», за то, что им «на всё наплевать», что им «всё по хрену». Аннинский комментирует: «Весьма нетривиальный подход. «Сами виноваты!» Не Бог, не царь и не герой, а сами»; хотят, ничего не делая, жить весело и достойно. Итак, народ в прострации, из народа выламывается крутой индивидуум; но у этого героя — вот страшное и глубокое открытие Псурцева — нет цели. На месте «смысла» у него вакуум, и он не может этого вынести.

**Александр Соколянский** в заметке «Служба кабаку» («Общая газета», №42) откликнулся на выход в свет мемуаров певца Михаила Шуфутинского (1997). Критик признается, что он с огромной симпатией относится к ресторанной музыке, дающей поверхностные, бесхитростные удовольствия. Но когда человек выпивает и закусьивает, рядом с ним не должно быть настоящего, окончательного искусства. И обратно: симпатии к ресторанным шлягерам сохраняются только на территории кабака. Соколянский отмечает, что на советских людей когда-то произвела неизгладимое впечатление культура Брайтон-бич — Вилли Токарев, Шуфутинский, Люба Успенская. На расстоянии эмигрантский Брайтон казался неотразимо забавен: живут же люди! Сами себе жульническим образом сотворили небольшой веселый мирок, теперь развлекаются: беззастенчиво и круглосуточно. Как глупа, как омерзительна жизнь, целиком превращенная в кабацкое гулянье, — это удалось понять гораздо позднее... И вот мемуары Шуфутинского свидетельствуют: ресторанный певец твердо уверен, что ему отведено место в Большой Культуре. Их публикация подтверждает, что сейчас выйти куда-нибудь из кабака почти невозможно.

Брайтон-бич покорил Россию. Большой Культуре придется пропитаться до креста.

Еще одна статья Александра Соколянского, «Интеллигент анекдотический» («Общая газета», №48) посвящена анализу того, каким представлены «герои умственного труда в современном фольклоре». За основу автор берет сборник анекдотов «Анекдоты об интеллигентах». Первый вид интеллгента — Студент. Он в анекдотах ленив, находчив, неопрятен и постоянно голоден. Далее — Профессор. Он отдается работе и издевательствам над студентом. Причем его труд не приносит никаких практических результатов. Затем — Артист. Он бездарен, самовлюблен, завистлив. Потом — Знаменитый Артист, у коего в анекдотах главное занятие — не творчество, а хохмачество. Наконец, просто Интеллигент. Он живет скудно, робко и ничемно. Можно утверждать, что традиционный образ Интеллигента по-прежнему дорог народу.

Дмитрий Зернов в статье «Анкета. Тайнопись открытым текстом» («Волга», №7—8) лихо, но не зло пародирует манеру написания романа Алексея Слаповского «Анкета»: критик сам себе задает как бы анкетные вопросы относительно романа и сам же на них отвечает. Внятные выводы отсутствуют.

Знакомясь со статьями о поэзии, можно прийти к выводу, что современные поэты отчасти перешли на самообслуживание, вероятно — отчаявшись дожидаться внимания к себе. Такое впечатление может возникнуть, когда встречаешь в периодике весьма квалифицированные критические статьи поэтессы Татьяны Бек. Одна из них, «Сев на Пегаса задом наперед, или Здравствуй, архаист-новатор!» («Дружба народов», №11), — это «связка рецензий» на книги и журнальные подборки трех молодых поэтов («каждому нет еще тридцати»). А в этой форме — размышление о новом направлении в поэзии, далеком от игрового метода «постмодернистов со справкой» и реализующем преемственность Державин—Маяковский—Бродский (словотворчество и корнесловие, крутая инверсионность, совмещение антитезных стилевых пластов, постоянное заземление мифологем и символов, геологические сдвиги в ритмике). Первый поэт, Максим Амелин, в своих «холодных одах» никого не воспевает, не хвалит. Он прохладен, ироничен, закрыт. Как бы поджимает губы в безразлично-аскетической гримасе, чужд пошлой и вульгарной современности. Его надежда в омоложении усталой от сугубого «новаторства» русской лирической речи — архаичностью, откуда и цитатность с реминисцентностью. Бек видит тут готовность *отдышать* ушедшие времена; поэт становится то Катуллом, то Хвостовым — их рупором, зеркалом, альтер эго. Второй, Всеволод Зельченко, предлагает *мертвым* солидарность не менее преданную, но иную: «он умножает внутри себя самого... смерть». Стузает и смакует мертвость. Его, наследника Ходасевича по прямой, манят *красотой некрасоты* уродство, болезнь, недуг. Фантазия Зельченко интонационно и образно вторична — боль же первична абсо-

лютно. Его личные признания звучат сквозь чужие монологи и через внеиндивидуальные карнавальные одеяния. Третий из поэтов, Александр Леонтьев, — «романтик текста, подвижник письменности» — также нередко пишет стихи в поэтике попури, *ородняя* чужие строки, привержен к аллюзиям, но более прочих монологичен и впрямую исповедален.

Еще одна статья **Татьяны Бек** «**И был бутоном каждый атом...**» («Новый мир», №12), посвящена публикациям Бахыта Кенжеева последних лет. Кенжеев — *аэд*. Стихи его дневниковы и автобиографичны (портрет «ада»), но в них есть и мистика инобытия. Между «адам» и «музыкой» предполагается «мучительный труд». Поэт презирует литературство как навык. Смеется и над собой. Он ощущает разрыв связи времен и кризис речи — но его стихи говорят о том, что русская поэтическая речь не погибла и не остыла. Его ценностность — сыновья фамильяризация всего культурного окоема, доставшегося самобытному поэту. Он — шифровальщик своих устремлений и фобий, плакальщик по уходящему, скупец, дрожащий над сокровищами, перебирающий мелочи канувшего обихода. Такое *веществование* представляется Бек веткой акмеизма. В поэзии Кенжеева огромное место занимает мысль о смерти как о небытии, о бренности и мимолетности. Его вера искренно-неканонична, это неформленно-стихийная *тяга*.

Татьяна Бек откликнулась также на выход в свет книги Олега Чухонцева «Пробегающий пейзаж» («И опыт поздней зрелостью правдив»: «Общая газета», №50). Чухонцев создал лирическую энциклопедию провинциального российского городка. Выйдя из павлопосадских «низов», он пишет себя тамошнего и «своих» кистью уже городского интеллектуала. Отчуждение (как более сильный и неразрешимый синоним одиночества) — самая тугая и подспудно самая большая тема поэта. Эта отчужденность дает ему и могучую силу зоркости. Острее всего этот мир поэт воспринимает *на слух*. Поэт традиционный и даже филологичный, Чухонцев отличается от близких поэтов «ленинградской школы»: его литературность теплее, сердечнее, разговорнее.

Статья **Виктора Баракова** «**Далекий плач**» («Москва», №10) посвящена творчеству трагически погибшего в армии девятнадцатилетнего поэта Алексея Шадринова. Бараков анализирует романтические мотивы лирики молодого поэта: душевную двойственность, сознание своего бессилия, одиночество, автобиографический характер лирического героя и исповедальность, которые, отмечает автор, не случайны не только в контексте его поэзии, но и в контексте времени. Шадринова критик причисляет к поколению «новых почвенников», поколению XXI века, не отягощенного отрицательным атеистическим опытом столетия минувшего.

О творчестве поэта Геннадия Ступина повествует статья **Валентина Курбатова** «**День перед вечером**» («Наш современник», №11). Критика радуется, что читатель имеет возможность, наконец, «пройти путями прошлых книг поэта, вспомнить покойное, ровное юношество его музыки, увидеть ее ясную золотую зрелость и понять из этого, насколько ограничен

и плодотворен нынешний день». Сборник стихов Геннадия Ступина «Красные цветы» всем строем и каждым стихом тоскует по евхаристическому служению поэзии.

В последнее время разноречивые суждения вызывает творчество Геннадия Айги. В присланной из Лондона заметке «Обманувшийся и обманутый» («Новый мир», №10) Юрий Колкер на фактах показывает, что Айги — один из самых знаменитых на Западе современных русских поэтов, и утверждает, что эта репутация ничем не оправдана («нет ни новизны, ни метафизических глубин, ни сложного и загадочного содержания»; «по форме это самый расхожий неоконформизм — приспособленчество к запросам западных университетских славистов и испорченному вкусу российской окололитературной публики»). Налицо цепная реакция «эпидемических внушений», первой жертвой которых стал сам автор.

Владимир Новиков возвращается «к спорам о поэзии Геннадия Айги» в полемической статье «Свободы не бывает слишком много» («Дружба народов», №11), давая отпор неназванным оппонентам. По Новикову, поэт ведет нескончаемую беседу с полем, лесом, соснами, цветами; а книга «Тетрадь Вероники» — поэтический эквивалент бессловесного, дословесного диалога отца с младенцем. Его мир открыт для любого человека, «чьи эмоциональные импульсы вступают в резонанс с ритмами поэта. С чисто статистической точки зрения таких людей не очень много». Из них складывается «духовная семья» (Леон Робель), причем духовных родственников Айги «имеет не только на Западе». Новиков замечает: «Гражданин второсортной постмодернистской эпохи, я знаю, что «айгисты» не могут не быть меньшинством, пока на дворе еще только второе тысячелетие и полноправным кумиром «фэн-де-сьекля» не может быть никто, кроме Бродского». Бродский — «поэт конца», а Айги — «поэт начала». Критик не берется доказывать гениальность Айги, полагая, что она самоочевидна; а горбатых скептиков могила исправит; слепцам и «лучший в мире оптик не поможет». «Айги, быть может, самый религиозный из нынешних российских поэтов, хранящий свою веру в чистоте и душевной тишине, чуждый позы, аффектации, экстаза — всего, что он сам называет «религиозной грязью» (...) Стиховые страницы Айги можно уподобить иконам, нередко в них просматривается неназойливый графический рисунок — крест».

Николай Александров в статье «Оправдание серьезности. Иван Жданов — непонятный или непонятый?» («Дружба народов», №12) полемизирует с Николаем Славянским, который в «Новом мире» (1997, №6) весьма критично оценил творчество названного поэта. Александров, напротив, находит у Жданова много достоинств. Мир поэта целен и по-своему логичен. Только логика эта проясняется из всей совокупности ждановских текстов. Это логика лирического цикла, тематических и мотивных переключек. Есть у Жданова ключи-образы: клятва, листопад, крест, дом, снег, луна и т.п..

**Иосиф Нелин** в статье «И горный ангелов полет, и гад морских подводный ход» («Звезда», №10) пишет о стихах Елены Шварц. Среда ее обитания — межзвездные миры, недра земли и глубины океана. Ее спутники и собеседники — бестелесные духи, серафимы и ангелы. Ее личный Бог — Христос. Верование Шварц не лишено истовости. Во всем ей видятся знамения или присутствие высших сил. В ее стихах есть тяга к смерти; у нее «смерть — это веселая прогулка при луне». Ее душа заразительно скорбит. Поэт видит в основном мрачные стороны бытия. Все ее мироощущение требует гнета, беды, чувства надвигающейся гибели. Ей нет конкуренток на роль Музы Экзистенциальной Скорби. Язык ее «мясист», грубо-предметен, свободно включает в себя архаизмы, оксюмороны; но есть у нее и неряшливость, невнятица едва ли простительная. М.Эпштейн дал творчеству Шварц наименование «метареализм», имея в виду взаимодействие не только с видимым, ощущаемым миром, но также с миром интеллигибельным, умопостигаемым. Но здесь Шварц, конечно, не пионер. Если уж искать ей предшественников, то это — молодой Гютчев. Она создала образцы великолепной поэзии, но все-таки, пожалуй, не нужно объявлять ее самым крупным современным русским поэтом (как это сделал В.Шубинский). Нелин предостерегает Шварц от «сползания к чистой мистике», ожидая от нее «еще немало нового и интересного: о безнадежных, необоримых метаниях души и обнадеживающих реинкарнациях».

**Ольга Славникова** в присущей ей неповторимой манере рассматривать как будто «в микроскоп» образы образов пишет об «эмигрантской» поэзии Рины Левинзон в статье «Маленький квадратик и большое колесо» («Урал» №4). Стихи поэтессы, считает Славникова, есть радостное открытие в наборе эмигрантской литературы и доказывают, что они создаются вне зависимости от реального места создания — Нью-Йорка, Иерусалима, а в некоем ином пространстве — пространстве языка. Вокруг поэта всё — «сплошная прокрутка времени в одну-единственную (смертную) сторону, сам он песчинка в таинственно сопряженных колесах, — и все-таки он остается в своей человеческой точке весь и целиком — с детством, первой любовью, с мамой и папой, со своими стихами».

Несколько публикаций отражают рефлексию на почве знакомства с критикой и эссеистикой.

Эссе «В лабиринте проклятых вопросов» **Виктора Ерофеева** разбирает **А.Курский** («Волга», №7—8). Эссеистика Ерофеева кажется критику интереснее постмодернистских «наворотов» Ерофеева-прозаика, сдерживающего с устоявшихся архетипов горькую правду о гомо сапиенс — животном в дисгармоническом мире. «Он теребит наши собственные умственные мета-цепочки и заставляет перечитать то, что казалось раз и навсегда определенным».

**Отклик Любови Киселевой** на книгу **М.Ю. Лотмана** «Мандельштам и Пастернак (попытка контрастивной поэтики)» («Таллинн», №8—9) однозначен: давно не появлялось такой свободной, освежающей, как струя чистого воздуха, книги о поэзии. Она отвечает внутренним умст-

венным запросам настоящего момента — «это уже не прорыв к свободе сквозь цензурные рогадки и эзопов язык, а подлинная свобода мысли, не только политическая (что естественно в современных условиях), но и интеллектуальная свобода: отказ от утомительного наукообразия» — и вместе с тем отсутствие столь же утомительного волюнтаризма и самолюбования, строгость и продуманность изложения и языка описания. Книга Лотмана побуждает к поискам, к диалогу, к сотворчеству: «Она заражает любовью к поэзии и к интеллектуальным усилиям по ее постижению».

**А. Гаврилов в рецензии на книгу Бориса Парамонова «Конец стиля» («Стилист эпохи конца Большого Стиля»: КО «Ex libris НГ», №20, декабрь 1997)** называет последнего воином передовых рядов буржуазных ценностей. Парамонов осознал, что демократическое общество — бесстильно. Чтобы появился стиль, требуется давление извне. И, в отличие от Леонтьева, Парамонов выбрал человека, а не красоту. Это и есть буржуазная позиция. Культура, по Парамонову, не стоит того, чтобы ради нее жить; жизнь, какая ни есть, выше. Гаврилов сближает Парамонова с Розановым, а также с Фрейдом, Юнгом, Шестовым. И отмечает парадокс, вынесенный в название статьи: сам Парамонов — яркий стилист, именно этим он всю жизнь кормится...

**Елена Невзглядова в статье «В блаженном краю, прозаическом и стихотворном» («Новый мир», №10)** делится впечатлениями от эссеистики Алексея Пурина в книге «Воспоминания об Евтерпе». Вся книга — сплошное лирическое отступление, антиучебник.

**К. Озерова в форме письма** главному редактору откликнулась из Лос-Анджелеса на публикацию книги Нелли Биуль-Зедгинидзе «Литературная критика журнала «Новый мир» (1958—1970)» («Вместо рецензии»: «Знамя», №10). Автор в те годы работала в отделе критики журнала. Ныне она выражает благодарность судьбе, что такая книга существует, а также восхищение ее автору за серьезный труд. Произведена беспрецедентная работа. Особо К. Озерова отмечает мысль о том, что в «Новом мире» впервые за многие советские десятилетия возобновилась традиция русских журналов самоопределяться через свою литературную критику. Одновременно критика журнала выражала позиции демократически настроенной части общества и сыграла немалую роль в становлении общественного сознания и формировании литературного процесса. Есть у рецензента и моменты несогласия с автором книги, которые она фиксирует с разнообразными реверансами. Озерова считает, что не только после, но и до 1965 года журнал находился в противостоянии официозу самой заявкой на правду о жизни. Не согласна она и с тезисом о преобладании в новомирской критике публицистического начала, полагая, что и эстетический подход играл важную роль. Критика журнала была богаче, чем это представлено в книге, а виновен в таком перекосе излишне политизированный подход автора.

**В свержкраткой реплике под рубрикой «Отсебятина» («Литгазета», №45) Сергей Костырко** откликнулся на также весьма краткое заме-

чание автора статьи в «Континенте» (№92) Е. Ермолина, касающееся судьбы отдела искусств газеты «Сегодня». Это замечание вызвало у Костырко тягостное недоумение, заставив его отказаться от адекватной реакции на статью «по существу». В суждении Ермолина Костырко разглядел тихое торжество по поводу закрытия отдела и внушительно резюмировал: радоваться, что оппоненту заткнули рот, нельзя; тут проблема в этике.

### 3. Культурология, философия

Обзор работ, связанных с историко-философскими сюжетами, стоит начать с прелюбопытнейшей статьи, интересной и внутренне, а еще больше тем, как внешние обстоятельства ее публикации иллюстрируют ее пафос. Павел Кузнецов в очерке «**Метафизический Нарцисс и русское молчание**» (где напечатан — ниже) анализирует творчество П. Чаадаева, объясняя «невозможность философии в России». Эту невозможность он выводит из «преломления на отечественной почве апофатической традиции греческой патристики», утверждая, что в России «святость ... являлась единственным критерием истины». Характеризуя Чаадаева как первого русского философа, вовсе не знавшего патристики (надо заметить, ее тогда и никто нигде не знал), Кузнецов называет его «метафизическим Нарциссом». Автор заявляет смело, что «никто из русских религиозных философов ... внятно не изложил основы мистического миропонимания православия», исключением он полагает С. Булгакова и В. Лосского и почему-то современного *греческого* либерального богослова Х. Яннараса. Он считает, что исихазм есть завершение апофатической традиции, показывающее, что «земное историческое бытие, в сущности, уже завершено» (228). Еще одно, не менее показательное утверждение автора: он заявляет, что С. Соловьев, племянник Вл. Соловьева, стал «католическим священником», хотя тот был православным священником в течение 10 лет, а в 1922 г., не изменяя Православию, перешел в юрисдикцию Рима, продолжая опыт по восстановлению христианского единства, начатый Чаадаевым. В результате авторская позиция оказывается достаточно невнятной: с одной стороны, он вроде бы восхищается тем, что считает русской спецификой и исихазмом, но одновременно похвалит Чаадаева и его преемников за попытку внести «критическое самопознание в царство недумания», «идею религиозной и моральной ответственности» «в отеческий мир благодатной безответственности и очаровательной невменяемости, где все как бы отвечают друг за друга, но никто не отвечает за себя». Что такое «благодатная безответственность» превосходно иллюстрирует тот факт, что статью свою Кузнецов опубликовал одновременно в августовских номерах журнала «Знамя» и журнала «Вопросы философии».

Эссе Жоржа Батайя «Счастье, несчастье и мораль Альбера Камю» публикует со своим очерком о самом Батайе С. Фокин («Знамя», №9). Фокин подчеркивает влияние Анри Бергсона и его философии смеха на

Батайя, хотя приводит цитату, из которой явствует, что влияние было негативным — Батай довольно плоско воспринял смех как «противоположность смирения», триумф конечности над бесконечностью. Любопытно, что Батай отмечал отсутствие у Льва Шестова чувства юмора (что говорит, что у Батайя оно было).

Значительное место в журналах стала занимать тема терпимости, толерантности и связанные с ними сюжеты. Так, **Т. Павлова** («**Джон Вулман и его дневник**», «Вопросы истории», №12) дает портрет американского квакера (1720—1772), который одним из первых пришел к мысли о необходимости отмены рабства, а методом борьбы с этим злом избрал путь индивидуального убеждения рабовладельцев. Он уговаривал их отпустить рабов на свободу хотя бы по достижении теми 30 лет. Отчасти под влиянием трактата Вулмана «Некоторые соображения о содержании негров» в июне 1758 Лондонское Ежегодное Собрание квакеров отвергло работорговлю, а в сентябре так же поступили квакеры Филадельфии. Когда был введен специальный налог для нужд войны, Вулман (в отличие от единоверцев) отказался его платить, записав в дневник: «Отказаться от активной уплаты налога, который наше «Общество» в целом уплачивало, было крайне неудобно; но делать то, что противоречило моей совести, казалось мне еще более ужасным». Как и Чаадаев, Вулман считал рабство самым страшным пороком своей родины. В отличие от Чаадаева, Вулман имел, с кем спорить, увидел одобрение своих идей по крайней мере узким кругом единоверцев, не был объявлен сумасшедшим. Правда, Чаадаеву не приходило в голову, подобно Вулману, объезжать помещиков российских, объясняя им, что владение рабами противоречит христианству, — сюжетец из этого вышел бы, право, посильнее чичиковского.

Ныне в России рабства нет, но философы не дают людям спать спокойно и теперь борются с более утонченными формами насилия человека над человеком. Заместитель директора ИНИОН Л.В.Скворцов в статье «Общество и насилие», оплаченной французским Домом наук о человеке («Вопросы философии», №9), критикует различные формы насилия (религиозное и секулярное, родственное и государственное) и призывает перейти от насилия к терпимости. Путь перехода: построение информационного общества, основанного на власти знания и на новой концепции истины. «Если раньше истина определялась характером религиозного откровения или принципами разума, то теперь она зависит от того, в каком информационном поле оказывается человек». Раз попытки «найти основания абсолютной надежности» связаны с насилием, надо строить общество абсолютного скепсиса (слово «скепсис» автор не произносит). Так изящный агностицизм французских «интеллектуэль», перегнанный через совковую номенклатуру, обнаруживают свою, по сути дела, интеллектуальную корявость (ведь вера в абсолютную Истину не обязательно ведет к насилию, этого еще никто не доказал, как никто не доказал, что скепсис всегда ведет к терпимости). Впрочем, лучше уж отказ от насилия на таком основании, чем насилие на любом другом.

**В. А. Лекторский** («О толерантности, плюрализме и критицизме», «Вопросы философии», №11) описывает различные виды толерантности (от безразличия — исторически первый вид, у Бейля и Локка, вообще у либералов; другие виды: от невозможности взаимопонимания, от снисхождения, от жажды расширить собственный опыт, вступить в критический диалог, от жажды полифонии). А сотрудник института философии **В. С. Малахов** («Война культур», или **Интеллектуалы на границах**», «Октябрь», №7) опровергает учение о том, что межнациональные конфликты порождены глубинной несовместимостью национальных культур («культурцентризм» Хантингтона).

Оригинальный характер носит статья английского математика русско-го происхождения **Теодора Шанина** «Социальная работа как культурный феномен современности» («Вопросы философии», №11). В ней отмечается постмодернистский характер общения, в который вступают работники социальной сферы, контактируя с самыми разными людьми, но принципиально не оценивая их «разность». Шанин анализирует общие черты между капиталистическими и коммунистическими странами недавнего прошлого (и там, и там власти подавляли выступления бунтарей, будь то пражане или парижские студенты, только власти Запада, подавив, многое меняли, а власти коммунистические не меняли ничего). При всей спорности его сопоставлений капиталистических и социалистических реалий, они взламывают стереотипы времен холодной войны, когда общие черты двух систем игнорировались ради победы одной из них.

Достаточно внезапно возродился интерес к **взаимоотношению науки и религии**. Физик **Е. Фейнберг** («Наука, искусство и религия», «Вопросы философии», №7) отмечает, что основой науки является интуиция при четком разделении логики и интуиции. Однако в науке интуитивное суждение не должно противоречить логике и опыту, а в искусстве и в религии такое противоречие необходимо (хотя и в них интуиция не господствует безраздельно). Вера требует признания чудес, нарушающих данные опыта. В религиозных текстах заложено отражение научного знания своего времени, отказаться от которого верующие не могут. Наука, разоблачая чудеса, «размывает» основные элементы религии — мистицизм и тайну». Кроме того, религия запрещает сомневаться в существовании Абсолюта, а наука начинается с того, что сомнение — мать истины. «Теологи, конечно, исследовали проблему сомнения. Но трудно представить себе, чтобы кто-либо из них допускал сомнение в существовании Бога». Заявление, обнаруживающее бездну наивности. Зато искусство не противоречит религии и потому в будущем заменит ее.

Более кротко настроена **Л. А. Маркова** («О возможностях соотношения науки и религии», «Вопросы философии», №11). Она подчеркивает, что конфликт существует не только между наукой и религией, но и между наукой и философией. Наука выводит на первый план причинность, выводит вещи не из человека, а из аксиом, отказывается от философии

(философия ставит исходные начала под вопрос, ученый же не может работать на базе неопределенности). Отказавшись от идеи Творца, ученый не отказывается от уверенности в том, что мир не хаотичен, а гармоничен (это интуитивная уверенность, квазирелигиозная). Анализируются взгляды Бердяева, Яки, Гейзенберга и делается вывод: «Продукт научного исследования в своей сути тем ближе к истине, чем решительнее из него устранены и Бог, и человек, чем он объективнее в этом смысле. Поэтому и мировоззрение, основанное на науке, всегда тяготеет к атеизму». Однако сейчас постепенно идеал разделения субъекта и объекта сменяется приданием объекту изучения черт субъекта.

Замечательна публикация размышлений о науке знаменитого английского астрофизика **Артура Эддингтона** (1882—1944) — «**Селективный субъективизм**» («Вопросы философии», №9). В тексте 1939 года он пытается преодолеть кризис естествознания, признавая, что характер многих (если не всех) научных наблюдений и законов природы может объясняться инструментарием науки. Эддингтон нашел удачный образ: если ихтиолог забрасывает в океан сеть с ячейками в пять сантиметров, он сделает вывод, что нет рыб меньше, чем в пять сантиметров. Но тот же вывод можно было сделать, исследуя не океан и рыб, а сеть. Ученый спасается только тем, что сужает проблему и рассуждает не вообще о «царстве рыб», а заранее предполагает, что «то, что моя сеть не может поймать, не является рыбой». Примечательно, что при этом одним из главных критериев научности оказывается *чистота эксперимента* — понятие же чистоты носит специфически религиозный, обрядовый характер, и не случайно современное помешательство на гигиене восходит к Кальвину. Наука стоит не вообще на опыте и наблюдениях, а на чистых опытах, «хороших» наблюдениях. Причем критерии чистоты эксперимента определяются заранее: «плохое определение точки плавления серы может быть хорошим определением точки плавления смеси серы с другими элементами». Значит, Вселенная, которую описывают физики, частично субъективна (отсюда и название философии Эддингтона).

**Владимир Косарев** в очерке «**Кто будет жить на Земле в XXI веке?**» («Нева», №10) предсказывает, что детей будут выращивать в пробирках, компьютеры будут управлять обществом, появятся киборги («уже сегодня многим нынешним людям хорошие электронные мозги совсем бы не повредили»), а вот потреблять люди станут меньше, зато расселятся по Вселенной. Ну, страшен сон... С Косаревым тут же полемизирует Вячеслав Рыбаков в очерке с милым названием «**Камо вставляеши?**» (выражая протест против вставления микросхем человеку).

**Споры «западников» и «восточников», тема евразийства** и практической политической реализации выводов из историсофских построений в последние полгода стали на более академическую основу. **М. Дмитриев** («Влияние православия и западного христианства на общество», «Вопросы истории», №12) описывает многолетний исследовательский проект, осу-

ществляемый русскими учеными совместно с западноевропейскими. К сожалению, судя по описанию методологии проекта, речь идет о подходе, отягощенном многими типично советскими атеистическими предрассудками, соединившимися со скепсисом западных интеллектуалов.

**Владимир Легойда** (аспирант МГИМО и один из издателей православного журнала «Фома») в «Журнале Московской Патриархии» (№11) анализирует феномен «гражданской религии в США». Совершенно в духе американских христианских публицистов он критикует чрезмерное усердие властей США в разграничении религии и общественной жизни. Правда, он одновременно оговаривает, что «среди американцев очень много искренне стремящихся к Богу людей и мы не вправе осуждать их за то, что в жизни у них не было возможности услышать проповеди о христианстве, отличной от выступлений Билли Грэма». Неясно, что неортодоксального нашел Легойда в проповедях Грэма, но ясно, что он не подозревает, что в США есть возможность услышать самые разные проповеди о христианстве, вплоть до проповедей Патриарха Алексия II.

**С. Оболенская** в очерке «Немцы в глазах русских XIX в.: черты общественной психологии» («Вопросы истории», №12) анализирует стереотипы, нашедшие отражение в мемуарах и в беллетристике, отмечая, что во время войны 1870 г. «пушкинская» симпатия к Германии «в одночасье умерла», уступив сочувствию Франции, после чего стали расти антигерманские настроения, но в среде интеллектуалов, не в народе.

**А. Миллер** («Что нам Польша?», «Знамя», №10) исследует отношение к полякам в XIX веке — к Польше относились с большей враждебностью и подозрительностью, чем к другим «окраинам Империи», видя в поляках вечных соперников.

**Юрий Лотман** в одной из своих последних работ («Современность между Востоком и Западом», «Знамя», №9) отмечает, что барин-народолюбец, барин, пытающийся даровать народу выкованную на Западе свободу, казался народу большим врагом, чем откровенный барин-угнетатель. В сущности, Лотман иллюстрирует старый тезис о том, что интеллигенция и аристократия были иностранцами в собственной стране, поскольку не принимали неписаного общественного договора о круговом холопстве.

**Александр Панарин** («В каком мире нам предстоит жить?», «Москва», №10) рассматривает варианты развития России при отсутствии национальной идеи и при ее наличии. Без идеи выходит плохо, а в качестве идеи автор предлагает «социальную идею», которая бы взяла от капитализма «инвестиции в человеческий капитал». Он критикует русский номенклатурный капитализм, скорбит о том, что «фундаменталистский потенциал православия исчерпан уже давно — со времен разгрома старообрядчества» (а то бы Россию оживили вливанием фундаментализма). Он предлагает не отождествлять европеизм с атлантизмом, американизмом, романо-германским началом, а отождествлять европеизм с Россией, которая должна «держат факел Просвещения в Евразии», предотвращая

конфликт западного, мусульманского и тихоокеанского миров. «Факел Просвещения» — образ неплохой, ясно, что это не совсем тот факел, который держит известная статуя в Нью-Йорке, и вспоминаются предостережения г-на Щедрина о том, что Просвещение не для того, чтобы истреблять мирное население. А факелом, пожалуй, мы обязательно что-нибудь подожжем и истребим.

**Ю. Каграманов** в статье «**Мировой юг бросает вызов**» («Новый мир», №10) продолжает (ср. «Дружба народов», №4) размышлять о том, как не хватает европейцам «ясности и четкости веры», одновременно упрекая христианство за то, что оно уступает исламу в исполнении нравственных предписаний Библии. Мусульманский фанатизм представляется автору единственно возможным способом верить, хранить «страх Божий». Даже и мусульман Каграманов упрекает за недостаточное исполнение Корана: они-де ведут священную войну против христиан без должного «религиозного такта». Самых христиан (европейцев) автор призывает все с тем же «религиозным тактом» соединять технический прогресс с верой, интуицией, «чутьем», сообразуясь с «мерой необходимого риска по ходу движения». В общем, факел Просвещения следует держать с религиозным тактом и осторожно, но рискуя, двигаясь вперед... Нет, точно что-нибудь подожжем.

Об этой опасности что-нибудь спалить пишет **Сергей Королев** («Поглощение пространства», «Дружба народов», №12). Он критикует «геополитические утопии» (как имперские, так и мелко-националистические Израиля и Тайваня). Вывод: «Ставка на реванш «большого пространства», на якобы неодолимую евразийскую геополитическую традицию сегодня смертельно опасна для России». Простое поглощение пространства ведет к овладению «мертвым пространством».

Казалось бы, простой очевидный тезис, но вот **Николай Черняев** в очерке «**О русском самодержавии**» («Москва», №11) объясняет, что для России самодержавие обязательно хотя бы в силу ее размеров и наличия враждебных соседей (почему-то для США размеры оказываются неважными, а соседи — неопасными, хотя чем Мексика «неопаснее» Афганистана, неясно). Звучит все очень актуально, хотя Черняев — харьковский литератор конца XIX столетия. Тем очаровательнее фраза из последнего абзаца: «Наше самодержавие с уверенностью может смотреть в будущее».

Связь прошлого и настоящего обнаруживается и в статье **Андрея Савельева** (из Российского общественно-политического центра) «**Потерянный опыт кавказской войны**» («Москва», №12), в которой заявлено, что в Чеченской войне современная русская власть показала свою неэффективность, связанную с отсутствием национальной идеи. Он противопоставляет этому опыт Кавказской войны XIX века, которую якобы Россия выиграла, потому что тогда была цивилизацией, обладала имперской идеей.

Примерно о том же, но с совершенно иных позиций, пишет **Я. Гордин**. Поставив в заглавии своей статьи вопрос: «**Что увлекло Россию на**

**Кавказ?»** («Звезда», №10), утверждает, что чаяемая Савельевым идея была сформулирована уже в манифесте Александра I к грузинам от 12.9.1801: это идея крестового похода в сочетании с задачей цивилизационной, точнее — благотворительной. Горцам-чеченцам, оказывается, несли мирное гражданское существование. В отличие от Савельева, историк не восхищается этой идеей.

Академик **Никита Моисеев** («Русский вопрос», «Москва», №7) анализирует российскую цивилизацию и отмечает, что она характеризуется коллективизмом (для защиты от сурового климата). Он предлагает возродить «евразийство как фундамент планетарной безопасности» (то есть бросить все силы на «организацию совместной жизни русского народа с народами исламской культуры»), критикует расширение НАТО и скорбит, что «с Украиной Запад не даст нам объединиться» (как будто украинцы спят и видят, как бы повторить воссоединение). Он выражает веру в русский народ и одновременно заявляет, что «надежда только на то, что первый ядерный грохот разбудит людей».

Материалы по истории России украшены блестящей статьей **А.Л. Юрганова** (который явно понемногу занимает пустующую «зиминскую нишу» в отечественной историографии) **«Символ Русского государства и средневековое сознание»** («Вопросы истории», №8). Автор дает великолепный анализ того, какое значение имел образ всадника, поражающего змея, в России XV—XVI вв. Он считает, что этот символ реализовывал идею Мефодия Патарского о пришествии антихриста и о православном царе, который его поражает. С конца XVI века эсхатологические чаяния ослабевают, идея Третьего Рима теряет свою популярность.

Другой полюс — непрофессионализма — воплощает **П.В. Лукин** (**«Представления о царе и царской власти в сочинениях соловецкого инока Герасима Фирсова о митрополите Филиппе Колычеве и Иване Грозном»**, «Вестник МГУ», сер. 8, История, №4, 85—103). Автор выясняет, действительно ли у раскола была некая «почва», о которой так часто говорят исследователи. Он анализирует сочинение соловецкого монаха Герасима Фирсова о митр. Филиппе Колычеве, написанное накануне переноса мощей митрополита. Однако Лукин даже не сопоставляет памятник с предыдущими текстами жития Филиппа, отчего все его наблюдения лишаются ценности: неясно, есть ли в воззрениях Фирсова что-либо оригинальное.

**П.С. Стефанович** (**«Патронат и приходское духовенство в центральных уездах России в XVI—XII вв.»** — тот же «Вестник МГУ», с. 104—117) собрал все сведения о распространении ктиторства (опеки аристократов над храмами) в России (переход церковью вместе с вотчинами от собственника к собственнику, распоряжение патрона церковной казной, закладывание церковных земель светским вотчинником, ответственность вотчинника за обеспечение духовенства). Лишь с XVI в. государство обязывает наделять церкви минимум земли (до 20 четей в трех

полях). Первое описание приходов в фискальных целях проведено в 1522—1533 гг. Право собственности светский владделец получал не за вклад на строительство, а благодаря владению землей, на которой стоит церковь.

Особенно притягивает исследователей конец XIX столетия. **А. Полун**ов в статье «Церковь, власть и общество в России (1880-е — первая половина 1890-х годов)» («Вопросы истории», №11) дает систематический очерк истории православия в одну из наименее изученных эпох российской истории, отмечая на конкретных примерах провальность «подмораживающей» политики Победоносцева, а также и то, что с середины 1890-х он практически отошел от дел, передав их В.К.Саблеру. **С.М.Новак** («Я.В. Абрамов — пионер «теории малых дел», «Отечественная история, №4, 80—85) и **В.В.Зверев** («Эволюция народничества: «теория малых дел», там же, 86—94) описывают судьбу и учение основателя концепции «малых дел». Пытаясь оградить Россию от печальных последствий капитализма, Я. Абрамов (с 1885 г. сотрудник популярной именно благодаря его статьям о «малых делах» «Недели») дал интеллигенции хорошо усваивавшийся миф. Интеллигенты несли цивилизацию в народ, организуя своеобразные «культурные скиты». В борьбе с субъективной социологией Михайловского, Абрамов призывал городскую интеллигенцию оторваться от своей нищей жизни и «омужичиться», сделав тем самым больше, чем сановники в высоких канцеляриях. Идея была не глобалистской, традиционной, — вписать деревню и интеллигенцию в новые товарные отношения.

Эссе церковного историка **Сергея Фирсова** «Экспроприация со-  
вести» («Знамя», №9) посвящено анализу хулиганства. Он отмечает, что слово в России зафиксировано в печати лишь в 1905 г., объясняя это тем, что только тогда хулиганство из случайного явления стало системным. Он отмечает возрождение хулиганства, перечисляет свидетельства церковных деятелей начала века, критикующих это явление, объясняя его «разрушением традиции... при невозможности получить новые знания через просвещение». Под разрушением традиции имеется в виду 1861 год и урбанизация. Он отмечает, что в 1911 г. в журнале «Приходский священник» стали регулярными заявления, что русский народ перестал быть религиозным, хотя иллюзии о церковности его сохранялись.

Журнал «Москва» (№8) публикует материалы круглого стола «Террор и культура в русской исторической перспективе», где участвуют С.Антоненко, Анна Гэфман из США, А.Шаталин и др. Шаталин интересно анализирует позицию Вл.Соловьева и его призыв простить террористов, убивших царя. Елизавета Федоровна в письме к Николаю II писала (и подчеркивала): «Общество не должно сметь открыто выражать свои мысли!», но она же пришла к убийце своего мужа и просила помиловать его. Однако по мере того как террор становился все более безнравственным, нарушая неписанные правила, выработанные в конце 1870-х годов, интеллигенция и общество в целом переставали симпатизировать террористам (перелом произошел после 1905 года).

**Михаил Матвеев**, сотрудник еженедельника «Самарское обозрение», в очерке «Драма волжского земства» («Новый мир», №7) излагает историю земства в Самаре, приписывая его крушение «бесу большевизма». «Должно быть преодолено отчуждение между земской и государственной жизнью; новое земство видится более почвенным, чем прежнее, «февралистское», более защищенным и сильным». Не совсем понятно, чем такое земство будет отличаться от государственной власти вообще и областного управления «ЧК-ГБ» в частности.

**П. Чхартишвили** («Черносотенцы в 1917 году», «Вопросы истории», №8) описывает, как в первые месяцы после Февраля шел распад черносотенного движения, как Временное правительство «на тормозах» спустило расследование преступлений черносотенцев и к октябрю 1917-го движение возобновилось, начались погромы, против которых выступали и большевики, и Поместный собор Российской Церкви. В отношении к Временному правительству черносотенцы были едины с большевиками, в отношении патриотизма — с церковной иерархией. Одновременно черносотенцы утверждали, что правительство «приказало все кресты на церквах обломать», налицо «явное безверие и богохульство, отвержение всяких истинных начал веры», евреи поддерживают капиталистов, собирают уничтожить церкви, взвинтить цены, скрывают товары и продукты, в очередях не стоят. Движение, хотя и перестало финансироваться сверху, возобновилось уже за счет стихии народной.

**И. Архипов** в статье «Кривое зеркало российского парламентаризма» («Звезда», №10) анализирует феномен Пуришкевича как предтечи Жириновского, отмечая, что после Февраля 1917-го он резко изменился и стал даже извиняться перед евреями.

**Очерк В. И о ф ф е** «Первая кровь (Петроград, 1918—1921)» («Знамя», №8) посвящен анализу свидетельств, указывающих на место расстрела Н.Гумилева. Изюминкой материала является использование аэрофото-съемки расположения военной части, произведенной люфтваффе в 1943 году и сохранившейся в архиве США.

Этот частный сюжет превосходно дополняет **В. Измозик** («Политический контроль в Советской России. 1918—1928 годы», «Вопросы истории», №7), описывая установление тоталитаризма в Советской России, сообщая неизвестные данные о численности ВЧК: в 1924 г. штатная численность составляла 26 тысяч человек, причем Дзержинский еще держал сеть сосотов в 9000 человек («платные резиденты в каждой волости»). Треть затрат ОГПУ составляла слежка, прежде всего — перлюстрация. Если в 1882 г. было вскрыто 38 тыс. писем и сделано 3 600 выписок, то в 1924 г. — 5 миллионов писем и 8 миллионов телеграмм. Система поставляла информацию руководству и дезинформировала народ.

**Статья В. С. Парсадановой** «Польша, Германия и СССР между 23 августа и 28 сентября 1939 года» («Вопросы истории», №8) скрупулезно прослеживает историю четвертого раздела Польши, добавляя такие новые

факты, как отвратительное состояние российской армии, проявившееся в ходе наступления.

**Статья священника Дионисия Поздняева «Церковь в Китае. На пути к автономии»** («Альфа и омега», №3) посвящена периоду в истории Китайской Православной Церкви, начавшемуся после Второй мировой войны. В 1954 г. китайцы добились массового отъезда русских вообще и православного духовенства в частности, причем собственность экзархата (не-малая) отошла китайскому правительству. В другой статье того же автора («Альфа и омега», №2) («**Понятие юрисдикции Московского Патриархата и церковный раскол в Шанхае**») описывается образование Харбинской епархии и попытка оставить ее под управлением «карловчан» после прихода коммунистов. После окончания Второй мировой войны местный карловацкий епископ, ныне канонизированный Иоанн Максимович, отказался принимать советское гражданство, а паства разделилась: 10 000 жителей Харбина уехали в СССР, а 5000 — в США. Судьбы их сложились весьма различно.

**Сергей Михайлов («Ассирийцы в России», «Истина и жизнь», №7)** описывает историю небольшой этно-религиозной группы, около ста лет пребывающей в нашей стране, делая акцент на религиозном аспекте (ассирийцы — несториане, их Церковь является одной из древнейших поместных Церквей мира).

**Современная российская действительность** описывается прежде всего как реальность сословная. Вряд ли случайно встретились на полугодовом пространстве две статьи, посвященные полярным сословиям России: бюрократии и интеллигенции. **Ирина Николаева в статье «Интеллигенция: превратности свободы»** («Октябрь», №12) пытается проследить происхождение самого термина. Боборыкин (определивший интеллигенцию как людей прогрессивных общественных идеалов, ратующих за достоинство личности) взял термин из «Основ общего наукоучения» И.Фихте. Первоначально духовное представление об интеллигенции как хранительницы полноты свободы постепенно окутывается «социальными измерениями». Автор связывает различие в представлениях об интеллигенции со спором Тютчева и Хомякова об источнике вероучительного авторитета в Церкви. На Западе авторитетно рассуждение («резон»), на Востоке — духовный и чувственный опыт («интелижанс»), — различение, которым воспользовался Хомяков. Западный рационализм — Сальери, восточная интеллигенция — Моцарт. Интеллигенция подчиняет свободу воли нравственному чувству. Недопустимо сужать понятие «интеллигенция» до социальной группы, это «духовная сущность», «определенная осознанным пределом свободы форма действий человеческого духа». **А. Оболенский («Бюрократия: теории, история, современность», «Знамя», №7)** дает неплохой обзор историографии вопроса и выражает надежду на то, что у нас еще не поздно перейти от восточной бюрократии, повелевающей, к западной, работающей.

Своеобразной касте внутри ордена интеллигентов посвящена подборка анкет в журнале «Знамя» (№9) под общим названием «Диссиденты о диссидентстве». В. Аксенов заявляет, что диссидентское движение «было явлением скорее литературным, чем политическим», безобидным с точки зрения нормального государства, диссиденты — не «создатели ситуации, но лишь ее персонажи». Лариса Богораз подчеркивает различие диссидентов и правозащитников (не каждый диссидент — правозащитник). Первый критерий — несогласие с монополией государства на жизнь, второй — отказ играть по «их» правилам, обходить закон тропой обычного права. Скептичен Леонид Бородин, почему-то называющий Г.Померанца «идейным наставником диссидентства того времени» и сокрушающийся о судьбе России. Юлия Вишневецкая, продолжая обобщения, критикует диссидентов за поддержку Ельцина и Гайдара, Чубайса и пр. С.Ковалев, напротив, подчеркивает, что диссидентство — это «спектр движений», сплотившийся перед общим врагом. Г.Померанц подчеркивает персоналистический аспект движения, Феликс Светов — нравственный. Своеобразным постскриптумом к этому «круглому столу» звучит статья М. Масарского «Демократия, угрожающая свободе» («Знамя», №11), описывающая идеальную форму правления как сочетание демократии с республиканизмом. К сожалению, автор не только не объясняет, чем один компонент отличается от другого, но и откуда в России взять хотя бы один из двух равно дефицитных ингредиентов.

**Владимир Цуканихин** возлагает надежды на социализм («Утерянный рай совдепов», «Нева», №12). Он хвалит социализм за преодоление вещизма и отчуждение человека от мира путем конфискации у человека всякой частной собственности. Можно надеяться, что это ирония, тем более, что очерк заканчивается призывом «профессионализм повышать». **Сергей Залыгин** в «заметках» (так помечен жанр) «Культура, демократия и тоталитаризм» («Новый мир», №8) отмечает, что культура должна предшествовать демократии, не наоборот, и что социализм потому и пал, что не выработал собственной культуры. «Культура нашего бытия несравненно уступает культуре его изображения», — изящно сказано. Тоталитаризм Залыгин определяет как «стремление к единомыслию», мягко осуждает Николая II.

На границе культурологии и политологии выступает **Е.Ихлов** («Юбилей столицы», «Знамя», №8). Анализируя пропасть между столицей и страной, он приходит к выводу, что Москва воплощает в России Запад, а провинция — Третий мир. Тут же **С.Файбисович** («Москва как поле боя истории и мифа») подтрунивает над «православной идиосинক্রазией к смрадному» материальному миру и неспособностью поддерживать чистоту в собственном доме из-за мечтаний о высшем. Это отражается в нынешней Москве: грязь соседствует с самоварным золотом храмов и банков. **В.Паперный** («Московское сознание глазами иностранца», «Знамя», №9) подчеркивает преемственность между утопией православной монархии и утопией коммунистической. Он отмечает азиатский

характер московского гостеприимства (гостя надо кормить дома, человек, идущий в ресторан, — отщепенец, ему не к кому пойти из друзей, а уж дома человека надо кормить до бесчувствия). Противоположный полюс: американская готовность обслужить потребителя — большая, чем готовность обслужить гостя у себя дома. Поэтому во многих московских учреждениях посетителя воспринимают как разрушителя уюта, нежеланного (и недостойного) пришельца, которому «нечем заняться».

**Татьяна Чередниченко** в статье **«Время — деньги» как культурный принцип** («Новый мир», №7) анализирует современную русскую телекультуру, отмечая продажность и примитивность телевидения, его свободу «от внутренней смысловой обязанности» (не уточняет, чем это телевидение отличается от западного и советского, которые тоже не пиры духа). Более свежей представляется мысль о том, что телевидение выполняет функцию «календарного регулирования жизни». **Капитолина Кокшенева** в «заметках о современной культуре» (**«Все стало спорно со времени «гражданских идеалов», «Москва», №9**) утверждает, что в современной культуре вседозволенность оборачивается полной несвободой, пропагандой порока, вечным ожиданием нового удовольствия. Изгоняется абсолютное, православное.

Практические шансы России на возрождение оценивает социолог **Владимир Чупров**, у которого прямо в заглавии статьи вынесен вопрос: **«Возродят ли Россию добры молодцы и красны девицы?»** («Москва», №9). Он дает анализ опросов современной молодежи, с прискорбием отмечая падение инициативности, интереса к труду, недооценку своих возможностей, рост страха безработицы, цинизма, негативного отношения к родителям. В общем, добры молодцы страну не возродят, что жаль, потому что старые кони, хотя борозды и не портят, но к возрожденческому делу все-таки не слишком приспособлены. Картина более чем печальная.

**Ирина Медведева** и **Татьяна Шишова** в статье **«Отказ от идеалов»** («Москва», №11) оплакивают современных детей России, которые стали меньше читать, погрузились в компьютерную реальность, примитивны. Авторы призывают к просвещению населения. Они же в статье **«Страхи взрослые и детские»** («Октябрь», №9) критикуют литературу, прессу и телевидение за развращение общества через изображение зла: «В православной культуре не принято вступать в прямой контакт с дьяволом». К сожалению, авторы не отмечают, в какой же контакт с нечистым в православной культуре принято вступать.

**Марк Голанский**, экономист (**«Россия на перекрестке двух дорог», «Москва», №8**) утверждает, что Россия безвозвратно разрушена транснациональными корпорациями, но выражает надежду, что Россия сможет найти себя «на внеэкономическом поприще». В качестве примера он упоминает занятие экологией за счет международных организаций. Выход почтенный, но грантов сладких всегда не хватает на всех, как намекнул некогда великий бард.

По-своему разрабатывает экологическую тему **Юрий Воробьевский**, рекомендованный редакцией «Москвы» как «давний автор нашего журнала», в последнее время работающий «в русле православной апологетики». Он посвятил свое творчество изучению «психотронного и этнического оружия». **Статья «Творцы серой расы»** (Москва, №7) утверждает, что в импортируемых с Запада продуктах содержатся «психотропные вещества, вызывающие заданные изменения в физиологии и психике человека. Для стран НАТО эти продукты не производятся». Видимо, только на Западе и остались нормальные православные, а русские все отравлены, — но автор делает несколько другие выводы. Очерк дополнен переводом статьи о Серафима Роуза (американского православного, не отравленного химикатами, чистым апельсиновым соком вспоенного) «Недочеловечество», в которой гуманизм объявляется причиной абсурдизма. В 8-м номере того же журнала (**«Визит рыцаря мести»**) Воробьевский дает очерк истории тамплиеров, которые отождествляются с масонами: тамплиеры якобы вырыли под храмом Соломона сокровища библейского царя. Где лица известной национальности могут получить свою долю вырытого, не указано.

Поиском сокровищ озабочен и **Павел Пономарев**, начальник НИИ МВД, который в статье **«Россия: криминал и рецепты от страха»** («Москва», №11) призывает «принять юридические документы, предусматривающие изъятие преступно нажитых средств и направление их на укрепление и развитие правоохранительной системы». Яркое свидетельство того, что наша милиция воспринимает преступность прежде всего как источник дохода для себя и хочет монополизировать этот доход. По сравнению с такой милицией любые тамплиеры (которых называли «милицией Христа») — последователи Ганди.

По-своему весьма «практичен» **Александр Русецкий** (**«Вид из соседнего окна»**, «Дружба народов», №11). Он призывает правозащитников «сменить приоритеты», отойти от политики и выйти из изоляции. Впрочем, статья заканчивается довольно категорическим утверждением, что на смену старым правозащитникам (которые, видимо, безнадежны) должны прийти новые — «сильные, знающие, не вынужденно отдающие себя обществу, а действующие профессионально». Провокацией или наивностью вызваны подобные рассуждения, — не нам судить.

**Владимир Кавторин** (**«Откуда и куда бредем мы, господ»**, «Нева», №7) отмечает десятилетие перестройки ностальгией и анализирует «сталинские реформы» (сравнивая их с наступлением Грозного на боярство), намекает на то, что «косыгинская реформа» якобы «колоссально» недооценена и вполне реализована в «капитализме» 1990-х (передача собственности номенклатуре). Он призывает к ограничению государственной власти, чье гипертрофированное влияние считает импортированным из Византии вместе с православием. **Поэль Карп** (**«Несостоявшаяся революция»**, «Нева», №11) сожалеет о том, что так и не было создано Учредительное собрание, что государство осталось монстром, давящим российскую действительность, критикует Гайдара и Чубайса, отмечает,

что в обоих путчах между собой сражались разные партии одной и той же власти, считает, что свободы слова и критики нет (что, заметим, опровергается фактом опубликования его собственной статьи). Карп призывает к ненасильственной борьбе за либерализацию.

Жанр очерков, живописующих **российскую действительность**, представлен как путешествиями по России, так и путешествиями по социальным слоям российского общества. Очерк **Светланы Розенфельд «Соловьи и соколы»** («Нева», №8) посвящен Псковщине, откуда ее с мужем выжила местная мелкая номенклатура за нежелание занимать отведенное сельской интеллигенции место. Вот злокозненные Розенфельды — то они борются за право жить в столицах, то за право жить в глуши!

Завуалированным очерком жизни современной Татарии, плавно переходящим в рекламу политики ее правительства и в критику правительства имперского, является статья **Альберта Рывкина и Владимира Шевцова «Коммунальная реформа: «про» и «contra»** («Новый мир», №12). Они критикуют план реформы Б.Немцова и хвалят политику в данной сфере властей Татарии — эталон, не вызывающий доверия к работе авторов в целом. Смысл работы — пора понемногу всё переваливать на частника — «всё», конечно, в смысле оплаты счетов, не в смысле свободы и ответственности, это власти оставят за собой. **Борис Василевский «Ностальгия по ностальгии»**, «Дружба народов», №11): очерк о Чукотке, золотых приисках, оплакивание народов Севера, уничтоженных (под видом окультуривания) хищной цивилизацией.

«Путешествие в профессию» совершает **Сергей Шишов («Реквием по Гишпократу»**, «Дружба народов», №7) — записки врача, отличающиеся от вересаевских и булгаковских тем, что посвящены прежде всего пациентам, а не себе. Врач не раскрывается, остается своеобразным черным ящиком, — элегантно черным и ироничным.

«Новый мир» продолжает публикацию очерков **А. Михеева** о том, как он «был предпринимателем» («Золотое копчение», «Новый мир», №9). Откровенность автора обнаруживает поразительное сочетание в одном человеке высшей нравственности, неподдельной порядочности в отношении ближних с непониманием того, что нарушать закон — в принципе все-таки нехорошо.

## 4. Религия

**История христианской мысли** достойно анализируется в статье **Т. Миллер**, сопоставляющей «Диалог» Иустина Мученика, произведение христианской литературы второго века, с диалогами Ксенофонта и Платона («Альфа и омега», №3). Автор отмечает, что черт сходства с платоновскими диалогами больше, чем принято считать, и они носят не только характер текстуальных совпадений. Диалоги Иустина и Платона

равно строятся на парадоксе как движущей силы беседы, на конфликте и его преодолении.

**В. Лосский** («Боговидение в Священном Писании и первые отцы Церкви», «Путь», №5) отмечает, что разные западные авторы предъявляли прямо противоположные упреки восточным Святым Отцам: в XVI веке Габриэль Васкес упрекал их, что они не сделали из Бога предмета познания, а в XX Андрес Нигрен — что они подменили откровение Бога Его созерцанием. Любопытно, что свой анализ восточной патристики Лосский начинает с западного богослова св. Ириния Лионского, который и другими авторами часто воспринимается как некая противоположность «западным» отцам (это помогает понять, не ранее какого момента возникает психологическое противостояние Западу). У Ириния впервые возникает тема Преображения: во Христе свет Отчий разливается людям, чтобы они постепенно привыкали к славе Отца.

**Монахиня Елена Казимирчак-Полонская** анализирует богословие книги С.Булпакова «Два града» («Путь», №5).

Богословие иконописания разрабатывает протоиерей **Михаил Олекса** («Иконы и космос: их смысл в миссионерской службе», «Путь», №5). Он отмечает, что «в иконопочитании заключается уникальная для Восточной Церкви перспектива духовной оценки Космоса, которая дает Православию отличную возможность познать традиционное и не-западное мироощущение». Иконоборчество он считает «отрицанием внутренней ценности сотворенного мира». «Даже в Римско-католической Церкви, где изображения не были отвергнуты, их функция была сведена до узко вспомогательной в чисто визуальном плане, и во всяком случае католики не склонны понимать иконы как необходимую часть всеобщего откровения». На Западе изображение помогает понять текст, «на Востоке же богослужебные тексты ... содействовали сознательному восприятию сакрального начала в видимом мире». Вопрос о стиле иконописания становится богословским, т.к. стиль должен «передать ощущение внутреннего и вечного измерения». На Западе художник стремится вызвать эмоциональную реакцию верующего, на Востоке «представить истину учения». Иконопочитание уберегло восточное христианство от редукции богословия к Писанию. «Функция материального мира — возвещать историю спасения». «Почитание икон для Православия внутренне означает подтверждение изначальной благодати сотворенного мира, из чего прямо вытекает богословская мотивировка для более терпимого, всеобъемлющего подхода к традиционным культурам (исторически оно так и было). Поэтому католическая миссия разрушала языческую культуру, а православная — нет, и в Уганде, Японии, Финляндии православие быстро начинает восприниматься как исконная вера. Менее академичен **Аркадий Небольсин**, который в эссе «О свете» («Путь», №5) бранит концепцию света, легшую в основу Просвещения: там тьма подлежит истреблению как абсолюте, а для христианства зло — ничто, поэтому борьба ведется не с тьмой, которая сотворена Богом, а «против направлений» (?).

**Религия и воспитание** — предмет оживленного интереса самых разных авторов, что свидетельствует о безнадежных попытках возродить Православие через школу. Игумен **Андроник Трубачев** в статье «**Духовная школа и воспитание пастыря**» («Путь», №5) излагает взгляды митр. Филарета Дроздова на воспитание будущих священников, выраженные в проекте 1828 г. **А.И.Абрамов** «**Философия в духовных академиях**» («Вопросы философии», №9) дает очерк платонизма в преподавании в духовных академиях, перечислительного характера. **Владимир Крупин** в статье «**Как из русской школы изгоняли священнослужителей**» («Москва», №7) описывает, как до революции сужали преподавание Закона Божьего в школах, и радуется, что делаются первые шаги в восстановлении этого предмета. **Герман Стрюков** («**Эксперимент и ответственность**», «Москва», №9) критикует программы развивающего обучения в школе, вообще новаторов от образования, «злоупотребляющих абстрактными моделями» и отвергающих традиционное обучение. Их «научообразные придумки при ближайшем рассмотрении оказываются либо ересью, либо очередным словоблудием».

**Христианство и литература** — тема столь же охотно обсуждаемая, как и взаимоотношения веры и школы. **Роберт Джексон** («Путь», №5) в статье «**Послезавтра — Пасха**» анализирует рассказ **Чехова** «**Студент**» как христианский текст, и тут же **Валентин Недзвецкий** разбирает «русскую философию любви» в связи с творчеством **И.Гончарова**. Он считает, что **Вл. Соловьев** (и его преемники) неправильно поняли любовь, а **Гончаров** — правильно. **Тамара Жирмунская** анализирует библейские мотивы в творчестве **Тютчева** («Истина и жизнь», №10).

**Иеромонах Рихард Чемус** («Путь», №5) описывает распространение на Западе русской духовной литературы XIX века, особенно отслеживая переводы **Игнатия Брянчанинова**. Он подчеркивает, что **Брянчанинов**, в отличие от **Феофана Затворника**, не исключил «предлагаемые в **Филокалии** (**Добротолубии**. — *Ред.*) психофизические методы» **Иисусовой молитвы**, и этим особенно ценны его книги.

**Церковная история нашего века** пока остается предметом сплетен и мемуаров. **Диакон Михаил Немнонов** («**Поместный собор 1917—1918 гг. и его предыстория**», «Москва», №9) подробно пересказывает сплетню **С.Нилуса** о якобы выраженном **Николаем II** желании стать патриархом. Он радуется тому, что Собор закрылся, не успев провести реформ, подобных реформам **II Ватиканского собора**, и тому, что уже принятые постановления Собора остаются не канонами, а «скорее ориентиром» для нынешней **Русской Церкви**.

Замечательную переписку литургиста **Д.Огицкого** (1908—1994) с архиеп. **Афанасием Сахаровым** опубликовал **А.Кравецкий** (архив Сахарова хранится ныне в **Тихоновском богословском институте**) («**Альфа и Омега**», №3). Здравомыслящий консерватизм сочетается у обоих с культурой

спора и литургической критики. Иногда столкновение друзей становится немного комичным: когда владыка назначает профессору 33 поклона за стрижку волос, а профессор критикует возведение длинных волос у священника «в нечто почти столь же обязательное, как антиминос. Разве эта скверная бабья басня не унижает нашу веру?» — вопрошает Огицкий.

Оригинален очерк Людмилы Крутиковой-Абрамовой «Федор Абрамов и христианство» (Нева, №10). Известный писатель, оказывается, с детства мечтал походить на святого Артемия Веркольского, собирал материалы о св. Иоанне Кронштадском, многих героев приводил к раскаянию, восхищался церковной архитектурой. Абрамов «не был воцерковлен», но если бы остался жив, «упования на возрождение России во многом связывал бы с решающей ролью православной культуры». 13 апреля 1969 года он вместе с Вл. Солоухиным простоял всю заутреню в Никольском соборе и даже записал в дневнике: «Видел, как облачали епископа и митрополита (!) Никодима»...

Очень интересны записки Всеволода Александровича Кривошеина (1900, Петербург — 22.9.1985, там же), в монашестве еп. Василия («Поместный собор Русской православной церкви в Троице-Сергиевой лавре и избрание патриарха Пимена (май—июнь 1971 года)», «Знамя», №9). Кривошеин отмечает, что на Западе карловчане и католики ожидали избрания митр. Никодима патриархом, но было ясно в России, что кандидат не может быть моложе 50 лет. Сам Кривошеин хотел предложить архиеп. Ермогена или Павла Новосибирского, но потом все же решил, что лучше Пимена действительно никого нет. На собор не смог приехать Павел Новосибирский, который один мог выступить против открытого голосования и за пересмотр решений совещания 1961 г. (ему обварили руку; подозревали провокацию). Куроедов, по словам о. В.Шпиллера, был в панике, боясь, что архиереи станут выступать с критикой, — тогда бы слетел и он, и митр. Алексей Ридигер, заведовавший организационной стороной собора. Молодой француз, еп. Корсунский Петр назвал митр. Антония (эксарха Западной Европы) «флюгером» за отказ настаивать на тайном голосовании и пересмотре решений 1961 г. Кривошеин полностью цитирует письмо собору свящ. Георгия Петухова и иерод. Варсонофия Хабулина, отметив «дикость и нелепость первой его части с его мифами о «сатанизме» и «сионизме» в стили Протоколов сионских мудрецов, препарированных, однако, так, чтобы в них не было ничего антисоветского, и серьезность второй части с ее списком церковных реформ». В письме говорилось, что «агенты сионизма и сатанизма ... искусственно создают трения между Церковью и Государством с целью их общего расслабления». Письмо трех еп. Филарет лично отбирал у архиереев, те покорно отдавали (Кривошеин свой экземпляр не отдал). Кривошеин не выступил, как хотел, на соборе, поверив доводу Никодима (якобы это выступление нанесет ущерб Церкви) и Блума (выступление будет воспринято как желание выглядеть героем по сравнению с «советскими» архиереями). Потом Кривошеин жалел, что поддался на такие

доводы. Правда, он выступил против политических мест в заявлении собора, ему отомстили, не продлив визу, как другим зарубежным епископам. Мемуар написан 11 февраля 1972 г. Публикатор Никита Кривошеин приводит рассказ еп. Павла о том, что ожоги у него появились после долгого сидения в кабинете у уполномоченного, — видимо, отравляющее вещество ввели через одежду. Врача, который сказал ему, что это было боевое отравляющее вещество, уволили.

С особенно большой охотой церковные журналы печатают **биографические очерки**. С. Голубцов («Путь», №5) дает очерки жизни Пимена Хмелевского, прославившегося своей активностью на посту наместника Сергиевой лавры в 1953—1964 гг. и отправленного «подыхать» на кафедру Саратова (ум. 10.12.1993). С. Бычков («Истина и жизнь», №8) вспоминает архим. Тавриона Батозского. Замечательно, что есть и живые персонажи, достойные внимания: Анна Курт пишет о Н.Трауберг («Истина и жизнь», №10). Марианна Вехова об о. Мартирии Багине, очень либеральном и терпимом («Истина и жизнь», №12). Содержательны очерки о священниках из рода Трубачевых, опубликованные их потомками в «Журнале Московской Патриархии» (№9).

Очерк Н.Бобровой посвящен политике М.Москвину-Тарханову («Истина и жизнь», №11), который очень критикует интеллигенцию и современную российскую власть (забывая, видимо, что является частью и той, и другой). Он отмечает, что «если мы, христиане, будем заниматься только душеполезными вещами, то мы не выполним свою христианскую миссию в обществе. ... Если ты живешь в миру, то не должен гнушаться политики. Иначе в политике, во власти будет одна шпана и мы будем гадать: отчего у нас такое ужасное государство? Оттого, что христиане не захотели идти в политику». Рассуждения, напоминающие те, которыми некоторые шестидесятники оправдывали свою работу в разных учреждениях, вплоть до КГБ. Тарханов считает, что «неплохо», что «Московская Патриархия стала влиятельным общественным институтом».

Своего рода успокаивающим противовесом циническому православию Москвина-Тарханова является статья А.Зубова «Если бы от мира сего было царство Мое...» («Знамя», №10). Автор дает историософский очерк истории Русской Церкви, критикуя ее союз с государством, и призывает к секулярному государству и борьбе с национализмом в религии.

Журнал «Истина и жизнь» дает также очерки о различных христианских организациях: Нины Ступиной о московском хосписе для умирающих (№7), Н.Бобровой о Кестон-институте (№7). Ксения Деннен, представительница Кестона, без ложной скромности заявляет, что этот информационный центр — «единственный, кто лучше всех знает и понимает» происходящее в России, и жалуется на бедность (не упоминая, что Кестон получил Темплтоновский приз в миллион долларов на свою деятельность). Налицо факт приобретения англичанами, долго занимаю-

щимися Россией, чисто русских манер, к сожалению, не самых лучших. В 8-м номере того же журнала **Мария Таривердиева** описывает историю английского же Содружества св. Албания и преп. Сергия (англикано-православного братства).

Животрепещущие **вопросы богословия и жизни** представлены прежде всего **статьей игумена Иоанна Экономцева «Православный взгляд на экологический кризис современной цивилизации»** («Путь», №5). Автор критикует крайности современной экологии, когда первоисточником всех бед видится христианство, и предлагает обосновать ценность живого на учении В.Лосского о том, что у каждой твари есть свой логос, основанный на Божественном Логосе. Критикует он и учение о том, что высшей потребностью человека является общение, и вообще западное общество за то, что в нем реклама насаждает «мнимые потребности». Он считает, что надеяться на науку нельзя, она даже опасна без «этического стержня», а экологический кризис надо преодолевать «ростом религиозного самосознания и добровольным самоограничением».

Архим. **Августин Никитин («Россия и Запад», «Путь», №5)** дает обзор «сношений» русского православия и католичества, со скорбью отмечая, что попытки диалога блокировались «социально-политическими факторами».

Антиэкуменическая позиция представлена в журналах намного шире. **Михаил Кригер («Не преклоняйтесь под чужое ярмо», «Москва», №8)** считает «экуменическое» синонимом «еретического», а экуменизм — порождением либерализма и прагматизма. Вывод из этой позиции см. в названии статьи. **Диакон Андрей Кураев в эссе «Нетерпимость как право на мысль» («Москва», №12)** критикует экуменизм как учение о равной истинности всех религий, отказ от действия, и противопоставляет ему то, что, подобно Кригеру, вынес в заглавие статьи. К традиционным для автора обличениям прессы и интеллигенции добавлено доселе неслыханное обвинение интеллигенции в том, что она «чаёт» объединения Патриархии со старообрядцами. **Кирилл Фролов («О церковной ситуации на Украине», «Москва», №7)** спорит с Аленом Безансоном, который утверждает, что в 1930-е годы на Украине был геноцид униатов. Фролов предлагает считать, что истребление униатов было частью геноцида русского народа. **Статья В. Шохина «Мнимые влияния» («Альфа и омега», №3)** справедливо критикует попытки найти индийские истоки в Евангелии, а затем уже менее справедливо критикует диалог христианства с буддизмом и попытки заимствовать у восточных религий какие-либо молитвенные практики.

**Борьба с инакомыслием** в церковной среде ведется по нескольким направлениям сразу и очень активно. **Константин Тихонравов («Буревестник от богословия», «Москва», №8)** критикует о. Г.Чистякова за его отступление от православия в призыве к ненасилию. Впрочем, больше

досталось другому о. Георгию — Кочеткову. Разве что **А. Костромин** в статье **«Язык как проблема миссии»** («Путь», №5) защищает «его дело»: перевод богослужения на русский, причем предлагает переводить не с греческого, а с церковнославянского. Зато все остальные материалы — против Кочеткова и его прихода. **Интервью Николая Каверина с о. Михаилом Дубовицким** («Конфликт в московском храме», «Москва», №7) обличает о. Г.Кочеткова за неправославие (интервью взято еще до печального инцидента, в ходе которого Дубовицкий был госпитализирован). **Диакон Андрей Кураев** («Искушение модернизма», «Москва», №10) критикует «антиправославные действия» Кочеткова, призывает осознать, что реформа Церкви на Западе убила остатки духовности и религиозности у западных христиан. Он утверждает, что интеллигенции много во всех московских приходах, не только у Кочеткова и Борисова, а их приходы выделяются тем, что там «почему-то отсутствуют бабушки», что обедняет жизнь общин, делая их элитарными клубами. Интересно определение Кураева: «Вообще, реформаторы — это люди, некогда что-то потерявшие и потом всю жизнь ищущие не то, что они потеряли». «Реформировать что-либо в Церкви можно, только руководствуясь глубочайшим чувством любви к Церкви». Понятно, кого Кураев считает любящим Церковь, а кого — нет. «Я был недавно в храме у отца Георгия Кочеткова. И я не смог там молиться, потому что молитвы, которые читал отец Георгий, он читал ... настолько артистически, что можно было наблюдать за батюшкой, но соучаствовать в его молитве было совершенно невозможно. ... Именно актерство этого человека вызвало отторжение ... На церковном же языке это выражается словом «прелесть»... Не ересь, а прелесть». Что за прелесть этот Кураев — и на церковном языке, и на светском. Патриарх комиссии созывает, изучает документы, а отец дьякон со слуха определяет, впал человек в прелесть или нет. Правда, в следующем (11) номере «Москвы», помещена статья **свящ. Константина Буфеева**, озаглавленная именно **«Ересь кочетковщины»** (которая оказывается отрицанием церковной иерархии, заменой епископа — общиной).

**Свящ. Алексей Уманский** критикует современное ханжество («Альфа и омега», №3), когда неопиты пытаются механически воцерковить всю свою жизнь. Это приводит к профанации церковного искусства: «К примеру, православная мама кормит своих детей и ставит на магнитофон кассету с «Херувимской». Это ли не дикость? Правда, скоро нашелся выход: начали петь под гитару грустными лирическими голосами «духовные» романсы, которые, при всем своем катастрофически низком, примитивном музыкально-поэтическом уровне, стали провозглашаться чуть ли не новым словом в православной культуре. По сути, между рок-оперой «Иисус Христос — Суперзвезда» и «православным романсом» большой разницы нет; это явления одного порядка, это — псевдокультура». Он противопоставляет псевдокультуре книгу Сэлинджера «Над пропастью во ржи», называя ее книгой о мальчике, который хочет стать священником, но сам пока этого не осознает.

## Архивные публикации

Переписка М.Горького и И.Сталина. — Новый мир, №9.

Письма К.Д.Бальмонта к Дагмар Шаховской. — Знамя, № 8, 9, 1997.

Письма Жоржа Дантеса к Екатерине Гончаровой (1836—1837). Публ. проф. Серены Витале, подготовка В.П.Старка. — Знамя, № 8, 1997. Семь писем, из которых явствует, что Екатерина Гончарова была беременна от Дантеса до дуэли.

Из записок известного писателя Михаила Слонимского. — Знамя, № 8, 1997. (Отрывки, не вошедшие в официальное издание 1966 г., показывающие «бессовестные нравы и весь ужас беззащитности».)

«...Смиренно переживать теперешнее смутное время» (письма дочери Льва Толстого Т. Сухотиной, 1917—1925 гг.). — Октябрь, №9.

## ПИСЬМА В «КОНТИНЕНТ»

## 1.

Главному редактору журнала «Континент»  
И.И. ВИНОГРАДОВУ

Уважаемый Игорь Иванович!

Просим опубликовать на страницах «Континента», не раз обращавшегося к судьбе Б.Л. Пастернака, следующее письмо. Оно было напечатано в «Известиях» 2.01.1998 года, но мы хотели бы, чтобы оно осталось и на страницах «Континента».

«Досье Пастернака» всё еще, увы, не закрыто. Дело, начатое при советской власти, потрясшее и взволновавшее весь мир, как это ни странно и ни возмутительно, продолжается. Поэта Пастернака преследовали и прямым образом, и косвенным — через его подругу жизни Ольгу Ивинскую. Умер поэт, пала советская власть, умерла сама Ольга Ивинская (в 1993), но злые нападки не прекращаются.

Мы знали Бориса Леонидовича, знали Ольгу Всеволодовну, и потому нам невыносимо было прочесть еще одну клеветническую статью о подруге поэта, о женщине, которой посвящены торжественные, печально-траурные стихи «Августа» в конце «Доктора Живаго». И именно потому, что мы любим Россию, любим и ценим новую русскую демократию, нам непонятно и то вопиющее нарушение прав человека, которое выразилось в сороколетнем и все еще продолжающемся аресте архива Ольги Ивинской, т.е. частного архива человека, который был дважды реабилитирован. Пора России понять, что частная собственность — неотделимая часть «прав человека».

Нас обвинили в «хамстве» — за то, что мы вмешались в это дело. Но мы намерены и дальше вмешиваться — по той простой причине, что Пастернак принадлежит не только России, но и общей культуре человечества. Кончено время экспроприации и национализации (и тем паче уничтожения) русской культуры.

Поскольку, увы, досье Пастернака не закрыто, мы и хотим прибавить к нему это наше открытое письмо, опубликованное «Известиями».

\* \* \*

В одной московской газете недавно появилось сенсационное открытие: Ольга Ивинская, последняя любовь Пастернака, подруга его жизни в течение четырнадцати лет, не более и не менее как агент советской власти, приставленный к поэту чуть ли не самим КГБ. Причем газету нисколько не смущает неблагодарность этой власти, оплатившей Ивинской за ее «заслуги» сперва пенсию, а затем восемью годами лагерей.

Напомним, что Ольга Ивинская была освобождена в 1964 году, после четырехлетнего заключения, лишь под давлением мировой общественности. Напомним также, что клевета по ее адресу распространялась из Советского Союза уже в то время: тогда, правда, ее обвиняли в «антисоветчине» (тайное донесение Александра Шелепина в ЦК), а не в сотрудничестве с органами советской власти.

«Открытие» «Московского комсомольца» основывается на письме, якобы недавно обнаруженном в архиве ЦК. В его подлинность мы готовы поверить, даже без обещанной читателям заверенной фотокопии. Если бы автор публикации внимательно прочитала хотя бы досье дела Пастернака, книгу докумен-

тов, опубликованную в Париже в 1994 году с предисловием Жаклин де Пруаяр, она бы, наверное, своему «открытию» не удивилась.

Да, во время «дела Пастернака» Ольга Ивинская, — как самый близкий поэту человек, — часто служила посредником между высшими представителями советской власти и Пастернаком. Да, она всеми силами старалась сглаживать углы, предотвращать беду, одним словом — спасти любимого человека. Да, несмотря на то, что была, по словам самого поэта, его «ближайшей единомышленницей», она пыталась подчас, как все близкие Пастернака, склонить его к уступкам, хотя в главном он всегда решал только сам (так было и с отказом от Нобелевской премии).

Да, потеряв после его смерти свою единственную защиту (чего, как известно из его переписки, больше всего опасался сам Пастернак) и став бесправной заложницей властей, решивших — в расчете, может быть, на посмертную реабилитацию опального поэта — свалить на нее все его политические грехи, женщина, только что снова несправедливо осужденная, вполне могла, прибегнув к жалким, явно неискренним и надуманным оправданиям, просить фактически о сохранении жизни всесильную и мстительную власть. Таких обещаний, это знаем и мы, писали из лагерей тысячи!

Одним словом, опубликованное письмо ничем не пятнает облик той, которая на протяжении четырнадцати лет была любимой и любящей подругой великого поэта. Автор публикации, между прочим, оспаривает мнение, согласно которому Ивинская является прототипом Лары в романе «Доктор Живаго». Культурному читателю не нужно объяснять, что у великого писателя художественный образ никогда не сводится к простому изображению одного или нескольких прототипов. Все понимают, что так же, как Живаго — не Пастернак, Лара — не Ивинская. Но всем знавшим Пастернака во время создания и опубликования романа известно, что любовь, описанная в романе и одушевляющая весь его поэтический строй, — это именно его любовь к Ольге Ивинской, о чем он сам неоднократно говорил и писал. А хамски посягать на память женщины, вдохновившей эту любовь и бессмертные страницы романа, не говоря уже о стихах, непосредственно навеянные ее образом, — значит посягать на имя и память самого поэта.

Пытаясь очернить образ Ивинской, автор публикации возвращается к старой сплетне, отразившей недоброжелательство или зависть некоторых знакомых Пастернака к чужой в их кругу молодой женщине, сплетне, давно отвергнутой самой будто бы жертвой «корыстолюбия» Ивинской (Н.А. Адольф-Надеждиной), которая до конца своих дней оставалась ее верной подругой. Сколько можно повторять беспардонную ложь!

Нет смысла оспаривать все ложные утверждения, измышления и подтасовки автора. Не по книгам и не понаслышке знаем мы, какое огромное место занимала Ольга Всеволодовна в жизни, в мыслях и во всех начинаниях Бориса Леонидовича, вплоть до самого его конца. А что говорить о многочисленных текстах самого поэта, об официальных документах, о бесспорных свидетельствах самых разных очевидцев!

Грубая и невежественная клевета не скрывает своей цели: помешать возвращению наследникам Ольги Ивинской автографов, рукописей и писем Пастернака, отобранных у нее КГБ во время ареста в 1960 году и переданных органами на хранение в ЦГАЛИ. Возвращение архива — казалось бы, законное следствие ее полной судебной реабилитации, наступившей в 1988 году. В нормальном правовом государстве это не подлежит ни малейшему сомнению. Но ЦГАЛИ не захотел отдавать свою добычу, и Ивинской пришлось обратиться в Московский город-

ской суд, чтобы добиться возвращения архива. Суд, естественно, решил дело в ее пользу. Госкомархив (которому подчиняется РГАЛИ, наследник ЦГАЛИ) опротестовал решение Московского городского суда и почти добился его отмены. Однако президиум Верховного суда в октябре 1993 года полностью подтвердил решение о возвращении архива.

Но и это постановление верховной судебной инстанции осталось невыполненным. Руководители РГАЛИ попытались использовать законных наследников Бориса Пастернака, чтобы оспорить право собственности Ивинской на отобранный у нее архив («незасекреченная» его часть, кстати, была возвращена дочери Ольги Ивинской в 1962 году).

Старший сын поэта, Евгений Борисович Пастернак, отказался от участия в таком маневре. Но вдова младшего сына, Леонида Борисовича, самого поэта не знавшая, все-таки возбудила дело о «признании за собой права собственности» на рукописи и письма, полученные Ольгой Ивинской из рук самого поэта! За этим иском нетрудно угадать руку людей, поставленных еще при советской власти во главе учреждения, не гнушавшегося пополнять свои собрания за счет многочисленных жертв политического террора.

Нам хочется сказать три вещи: пытаться очернить память Ольги Ивинской не просто морально недопустимо, это подло. Невозвращение незаконно арестованного частного архива ничем не может быть оправдано и способно только бросить тень на демократическую эволюцию России. И еще нам, как иностранным славистам, знавшим и любившим Бориса Пастернака, переводившим его произведения и писавшим о нем, хотелось бы, чтобы всё то, что было когда-то подарено Ольгой Ивинской ее дочери, Ирине Емельяновой, и то, что должно быть теперь возвращено, — весь этот бесценный архив составил бы единый фонд и открылся наконец исследователям. Насколько мы знаем, этого же хочет и семья Ольги Ивинской. Как она это сделает — это ее решение.

Возвращение архива ее наследникам — вопрос этики и права. Почитатели поэта ждут, когда кончится это совершенно не понятное нам в новой цивилизованной России, которую мы любим, затянувшееся беззаконие.

*Жорж НИВА, Мишель ОКУТЮРЬЕ. Париж*

## 2.

Уважаемый Игорь Иванович!

В связи с появившимися в российской прессе публикациями, посвященными Ольге Ивинской, прошу Вас опубликовать в «Континенте» этот текст.

*Э. ЛОЗАНСКИЙ. Вашингтон*

### Была ли Ольга Ивинская агентом КГБ?

Газета «Московский комсомолец» напечатала недавно сенсационную статью, обвиняющую Ольгу Ивинскую — любимую женщину Бориса Пастернака, явившуюся прообразом Лары в «Докторе Живаго», — в сотрудничестве с КГБ с целью помешать публикации этого романа на Западе. В качестве доказательства газета использует материалы из архивов КГБ, в которых цитируется переписка Ольги Ивинской с этим почтенным ведомством. Мировая пресса проявила большой интерес к публикации «МК» и поместила многочисленные комментарии к ней, но для полноты картины, мне кажется, было бы интересно выслушать мнение человека, глубоко вовлеченного в эту историю. Его зовут

Серджио Д'Анджело, и он сыграл в жизни Пастернака далеко не последнюю роль. Именно он вывез рукопись романа «Доктор Живаго» в мае 1956 года в Берлин, где передал ее из рук в руки итальянскому издателю Фельтринелли.

Вот как вкратце это происходило.

В начале 1956 года Д'Анджело приступил к работе в итальянском отделе Московского Радио. Работу эту он получил не без помощи Коммунистической партии Италии, активным членом которой он в то время был. Молодой и весьма преуспевающий издатель Фельтринелли, также член КПИ, попросил Д'Анджело подыскать в СССР интересную поэзию и прозу для переводов и публикаций в его издательстве. Когда Московское Радио объявило о предстоящем выходе романа Пастернака «Доктор Живаго», Д'Анджело решил, что это как раз то, что может пригодиться Фельтринелли. С помощью коллеги по работе Владлена Владимировского, Серджио разыскал дачу Пастернака в Переделкино. Был прекрасный майский день. Пастернак принял гостей запросто и приветливо. Они расположились в саду, где и состоялась историческая беседа, повлекшая за собой грандиозные события в литературной и политической жизни многих стран.

Когда Д'Анджело сообщил Пастернаку о цели своего визита, тот был весьма удивлен, так как идея публикации романа за границей не приходила ему в голову. Пастернак погрузился в длительное размышление, однако через некоторое время, попросив извинения, пошел к себе в кабинет и вынес рукопись. «Всё равно это здесь не будет издано, — сказал Пастернак и, провожая гостей к калитке, добавил — приглашаю Вас заранее на свою казнь». Уже через несколько дней Д'Анджело увозил бесценный груз в Берлин, куда срочно прилетел Фельтринелли.

То, что произошло потом, описано в тысячах статей во всем мире. Неуклюжие попытки советских властей помешать публикации романа, признание Пастернаку Нобелевской премии, разнузданный вой советской пропаганды, грандиозная слава и признание в цивилизованном мире и одновременно беспощадная травля в собственной стране, приведшая к преждевременной гибели великого человека. Меньше известны финансовые аспекты этой истории, хотя понятно, что роман, пользовавшийся таким феноменальным успехом, принес огромные деньги. К сожалению, Ольга Ивинская и ее дочь Ирина были жестоко наказаны за то, что получили часть этих денег. По просьбе Пастернака тот же Д'Анджело привозил в Москву некоторые суммы и передавал их Пастернаку, а после его смерти — 30 мая 1960 года — напрямую Ивинской.

Было бы наивно предполагать, что эти действия не попадут в поле зрения КГБ. Пока Пастернак был жив, Ольгу не трогали, но после его смерти ее с дочерью арестовали за «незаконные валютные операции». 23 августа Ольгу осудили на 8 лет, а 5 сентября осудили и Ирину — сроком на три года. Благодаря давлению мировой общественности эти сроки были сокращены, но обе женщины пострадали сполна.

В настоящее время Д'Анджело пишет книгу об этих событиях, и наш офис Американского университета в Москве помогает ему в поисках необходимых материалов. Я позвонил Серджио в Италию, чтобы узнать его мнение о статье в «МК». Между нами состоялся следующий разговор:

*Э.Л.* Здравствуйтесь, Серджио. Я думаю, Вы слышали о статье в «МК» либо о ее пересказе в «Нью-Йорк Таймс». Есть ли у Вас какие-либо комментарии?

*С.Д'А.* Обвинения против Ольги Ивинской в этой статье настолько абсурдны и смешотворны, что комментировать здесь нечего.

*Э.Л.* Всё же учитывая то, что в России и в других странах люди мало знакомы с личной жизнью Пастернака, многие могут поверить, что Ольга действительно работала на КГБ, что вся история ее любви к Пастернаку — это выдумка и что Пастернак был жестоко обманут, выбрав ее в качестве прообраза Лары в «Докторе Живаго». Вы один из немногих, кто хорошо знал этих людей, поэтому Ваше даже краткое свидетельство было бы очень важно.

*С.Д'А.* Краткое свидетельство? Прежде всего нет нужды повторять то, что я публично и многократно высказывал, основываясь на своих личных впечатлениях о Пастернаке и Ольге. Я имею в виду ее благородные чувства и абсолютную преданность Пастернаку, а также ее невероятные страдания. Я упомяну лишь несколько фактов. В конце 1956 года после волнений в Польше и восстания в Венгрии в СССР после «оттепели» наступили «заморозки». Влиятельные советские политические и литературные круги делали отчаянные попытки остановить публикацию «Доктора Живаго» на Западе. На Фельтринелли оказывали давление через Компартию Италии, активистом которой он был, а на Пастернака — через Союз писателей во главе с Сурковым. Советская сторона настоятельно «рекомендовала» Пастернаку потребовать от Фельтринелли возвращения рукописи якобы для доработки. Разумеется, ни тот, ни другой не собирались остановить публикацию романа, однако, не желая накалять ситуацию, они пытались любыми способами тянуть время. Ольга Ивинская была фактически представителем Пастернака на многочисленных переговорах с Союзом писателей. Ей приходилось применять незаурядное дипломатическое искусство, чтобы защитить Пастернака от гнева властей, которые вовлекли в эту историю даже Генсека ИКП Пальмиро Тольятти, попросив его оказать давление на Фельтринелли, что тот и сделал, правда без особого успеха. В начале 1957 года Гослитиздат предпринял еще одну неуклюжую попытку помешать или хотя бы затянуть публикацию, написав Фельтринелли, что в сентябре этого же года «Доктор Живаго» будет издан в СССР и поэтому они просят не публиковать его за границей до этого времени. Фельтринелли согласился, так как такая задержка не слишком влияла на его планы. Причина, по которой Гослитиздат написал такое довольно миролюбивое письмо, остается загадкой, ведь ранее пять членов редколлегии «Нового мира» — Б. Агапов, Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов и А. Кривицкий направили Пастернаку послание, в котором подвергли «Доктора Живаго» беспощадной критике, назвав его идеологически вредным произведением, не подлежащим публикации.

*Э.Л.* Не было ли это письмо Гослитиздата тактической ошибкой Советов, так как оно принципиально не решало их проблему и практически играло на руку и Пастернаку и Фельтринелли?

*С.Д'А.* Думаю, что они сразу поняли это, так как вскоре, весной 1957 года, Пастернаку был направлен ультиматум. Либо он в течение 48 часов направляет Фельтринелли телеграмму с требованием остановить публикацию и возвратить роман, либо он будет арестован. Ольга прибежала ко мне в слезах с просьбой о помощи, и мы вместе отправились к Пастернаку. В течение нескольких часов мы пытались убедить его послать эту idiotскую телеграмму, делая упор на то, что она не сыграет никакой роли. К этому времени Фельтринелли уже продал права на перевод и издание во многих странах, и работа над публикацией шла полным ходом. Кроме этого, поскольку Пастернак писал Фельтринелли, что издание «Доктора Живаго» является главной целью его жизни, издателю будет ясно, что телеграмма послана под давлением властей и на нее не стоит обращать внимание. После наших долгих уговоров Пастернак согласился подписать эту бесполезную телеграмму, которая уже ничего изменить не могла.

*Э.Л.* Тогда с таким же успехом «МК» может написать, что не только Ивинская, но и Вы сотрудничали с КГБ с целью помешать публикации романа?

*С.Д.А.* Конечно, они могут написать всё что угодно, но если говорить серьезно, то Ольга делала всё возможное, чтобы помочь Пастернаку издать «Доктора Живаго» за границей и в то же время уберечь его от мести КГБ и его подручных в Союзе писателей.

*Э.Л.* Не кажется Вам, что появление статьи в «МК» связано с борьбой за архивы Пастернака, которая сейчас ведется в Москве?

*С.Д.А.* Несомненно. Я не знаю всех тонкостей российских законов, но никто не ставит под сомнение тот факт, что Пастернак завещал все свои архивы Ольге, и если Россия считает себя цивилизованной страной, то это его последнее желание должно быть выполнено, нравится ли оно кому или нет.

*Э.Л.* Как Вы можете прокомментировать обвинения в непомерной жадности Ольги и ее стремление получить как можно больше денег, принадлежащих Пастернаку?

*С.Д.А.* Всё, что получала Ольга, было определено самим Пастернаком, и размер этих сумм никого не касается, так как это было их личным делом. После получения Нобелевской премии в октябре 1958 года Пастернак был исключен из Союза писателей и тем самым лишен средств к существованию, даже за счет литературных переводов. Конечно, он мог официально перевести свой гонорар в СССР, но в таком случае его враги начали бы кричать, что он продался Западу за тридцать сребренников. Было ли это правильным решением или нет, но Пастернак лично решил переправить часть гонорара в Москву по неофициальным каналам. Я получил от него письмо, которым я назначался его представителем для получения денег в Италии и перевода их в Москву, что я и делал в точном соответствии с его указаниями. Разумеется, я понимал, что рано или поздно КГБ об этом узнает, но, с другой стороны, я полагал, что власти будут закрывать на это глаза, чтобы лишний раз не будоражить западную общественность. Более того, высокопоставленный советский чиновник Дмитрий Поликарпов «намекнул» Ольге, что Пастернак может получать деньги от своего издателя, не опасаясь преследования властей. Так всё и продолжалось до мая 1960 года, когда я привозил деньги и передавал их либо прямо Пастернаку, либо, по его указанию, через Ольгу.

*Э.Л.* А что это за таинственная история с Ириной, когда миссис Гаритано передала ей на Центральном телеграфе дипломат со 180 тысячами рублей?

*С.Д.А.* Ирина или, как мы ее все называли, Ирочка, действительно встретила с Гаритано, и та по просьбе Пастернака передала ей пишущую машинку и какую-то одежду. Мне доподлинно известно, что никаких 180 тысяч там не было. Как я уже говорил, всё было тихо, пока Пастернак был жив. Как только он умер, власти решили нанести удар. Я полагаю, что на самом верху было принято решение «реабилитировать» Пастернака, чтобы сохранить его наследие для советской литературы и не отдать «врагам социализма». Поэтому была выдвинута версия о том, что поэт попал под дурное влияние жадной и коррумпированной женщины. Вскоре, как мы знаем, эта женщина и ее дочь были арестованы. Деньги, которые хранились в, казалось бы, надежном месте, были сразу же обнаружены.

*Э.Л.* Как Вы думаете, КГБ действовал по чьей-то наводке?

*С.Д.А.* Несомненно. Один человек сумел втереться в доверие к Ольге и часто навещал ее квартиру. Он считался другом, и ему в этом доме доверяли. Я уверен, что именно он донес на Ольгу в КГБ. Кстати, это еще один пример ее истинных отношений с этой злобной организацией.

### 3.

Дорогой Игорь Иванович!

В № 93 Вашего журнала напечатаны страницы из выходящей в 1998 году в издательстве «Радуга» книги Димитрия Михайловича Панина «Мысли о разном». В кратком предисловии, предосланном мною публикации, по моему недосмотру следующие фразы могут быть неправильно поняты читателями, и я должна их пояснить:

«Много внимания в этой работе («Мир—маятник». — *И.П.*) уделяет Димитрий Панин и экономическому мироустройству — так называемому «Обществу Независимых», разделенному на секторы, согласно склонностям людей, и предусматривающему «рынок-конкуренцию» под надзором «Палаты регулирования» и «этического контроля», порученного элите людей благородного духа. Мысли о необходимости этического контроля и роли благородства в обществе мы находим также в вышедшей позднее работе А. Солженицына «Как нам обустроить Россию». С этими идеями перекликается и «Политэкономия на основе закона сохранения энергии» (1972), показывающая неприемлемость господствующих марксистских понятий прибавочной стоимости и эксплуатации рабочих для современного производства, широко использующего машины-орудия, которые работают от природных источников энергии, в связи с чем любая работа определяется затратами энергии и прибавочным трудом».

Эту фразу не следует понимать так, что новая политэкономия Д. Панина перекликается с работой Солженицына. На фундаменте новой политэкономии Д. Панина, противостоящей марксистской политэкономии, построено «Общество независимых».

«...в главе «Как наладить жизнь в новой России» (Д. Панин. — *И.П.*) предлагает ряд мер для переходного периода, близких многим положениям работы А. Солженицына «Как нам обустроить Россию».

Разъясняю читателю, что Д. Панин умер 18 ноября 1987 года и «Держава созидателей» была его последней рукописью. Брошюра Солженицына «Как нам обустроить Россию» вышла в 1990 году. В ней есть ряд мыслей — в частности о необходимости этического контроля в обществе, о роли благородного начала Думы, земств. Полагаю, что эти идеалы действительно были близки Солженицыну, раз он опирается на них в своей брошюре.

*С глубоким уважением, Исса ПАНИНА.*

*Север, Франция, 20 января 1998 года.*

*Художник В. Лаврентьева*

*Компьютерный набор и верстка М. Егоровой*

ЛР № 010184

Подписано в печать 23.03.98. Формат 84×108/32. Бумага типографская.

Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 22,68. Тираж 5000 экз. Заказ № 83.

Редакция журнала «Континент». Тел.: (095) 928-97-42.  
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати.  
107005, Москва, Денисовский пер., 30

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»  
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:**

*Новые стихи*

**Беллы Ахмадулиной  
Аяны Наль**

**Евгения Рейна  
Олега Чухонцева**

*Новые повести и рассказы*

**Анатолия Азольского  
Сергея Бабаяна  
Ирины Васюченко**

**Сергея Каледина  
Евгения Попова  
Рээт Куду**

В разделах

***РОССИЯ, РЕЛИГИЯ и ГНОЗИС***

- Продолжаем публикации по материалам Чтений памяти В.Е. Максимова «Прошлое, настоящее, будущее России» (Москва, июнь 1997);
- статьи и очерки **Сергея Аверинцева, священника Иллариона Алфеева, Игоря Виноградова, Юрия Н. Давыдова, Наума Коржавина, Марины Родман, Ларисы Пияшевой, Лидии Польской, Григория Померанца.**

В разделах

***ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО***

- Статьи и очерки **Павла Басинского, Евгения Ермолина, Якова Кротова, Станислава Рассадина, Инны Ростовцевой;**
- беседы о современном искусстве с **Сергеем Арцыбашевым, Анатолием Васильевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Евгением Колобовым, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским.**

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
ИНКОМБАНКА,**

генерального спонсора журнала,  
и других предпринимательских структур  
позволяет редакции «Континента» предоставлять

**БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ  
БИБЛИОТЕКАМ РОССИИ**

на условиях самостоятельного получения  
выписанных экземпляров в редакции журнала  
или оплаты почтовых расходов по их пересылке.  
Для оформления библиотечной подписки  
необходимо прислать на адрес журнала  
заявку и гарантийное письмо,  
определяющее способ получения  
выписанных экземпляров.

**ПЕРЕСЫЛКУ ПО ПОЧТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  
ОО «Центрэкс»**

ИНН 7712021130,  
р/с 3467739 в Железнодорожном филиале МИБ,  
БИК 044583438,  
кор. сч. 438161200

сийской мафиозно-номенклатурной псевдомократии, способной привести страну к тотальной катастрофе, — **то это Ваш журнал;**

— Если Вы осознаете, что возрождение России невозможно вне общих для современной цивилизации измерений демократии и либеральной экономики, способной стимулировать развитие национального производства, науки и культуры, обеспечить надежную социальную защиту и гражданский порядок, но при этом отдаете себе отчет и в том, как губельны поиски таких путей не в русле органического для России опыта ее истории, ее духовных традиций и ее самосознания, а по чужим образцам и векам, — **это Ваш журнал;**

— Если Вам дороги наши национальные традиции, духовная и культурная уникальность России, но Ваше национальное достоинство оскорбляет всякий крен в сторону шовинизма, ксенофобии, националистических мессианских или имперских амбиций, — **это Ваш журнал;**

— Если Вы, будучи верующим или неверующим, понимаете, как много может сделать Русская Православная Церковь для возрождения России, но видите всю опасность намечающегося опять сращения ее с государством и трансформации в своего рода духовно-идеологическое ведомство при нем; если Вы приветствуете только подлинную свободу ее деятельности в обществе, несовместимую ни с какими правовыми конфессиональными привилегиями ни для нее, ни для других конфессий и ни с каким подчинением ее собственной жизни тотальной фундаменталистской политизации, диктатуре и казарменности, — **это Ваш журнал;**

— Если Вы открыты в искусстве любым формальным поискам вплоть до чисто игровых эстетических конструкций, но отстаиваете при этом приоритет его духовно-эстетической содержательности; если Вы стоите на том, что духовное безразличие и тем более ценностно-нравственный релятивизм разрушительны для него, а потому Вам и сегодня дорога классическая русская культурная традиция, всегда исходившая из признания высокой духовной значимости искусства как формы творческого искания и утверждения Истины, Добра и Красоты, — **это Ваш журнал;**

— И даже если, наконец, Вы по каким-то из этих позиций и не совпадаете с нами, но готовы их обсуждать и Вам важно знать, какие точки зрения на этот счет существуют, — **это всё равно Ваш журнал.** Потому что, как уже сказано, именно готовность к серьезному обсуждению любых проблем — наш неперемный и важнейший принцип. «Континент» всегда хотел бы оставаться и в этой области континентом порядочности, честности и добросовестности, журналом подлинной культуры дискуссий, терпимости и уважения к любому добросовестному мнению, какое бы мировоззрение, религию или культуру оно ни выражало. Это всё тоже входит в наш журнальный кодекс чести, и всё это мы тоже имеем всегда в виду, когда говорим о «Континенте» как о журнале, который хотел бы и всегда стремится быть журналом **христианской культуры.**

